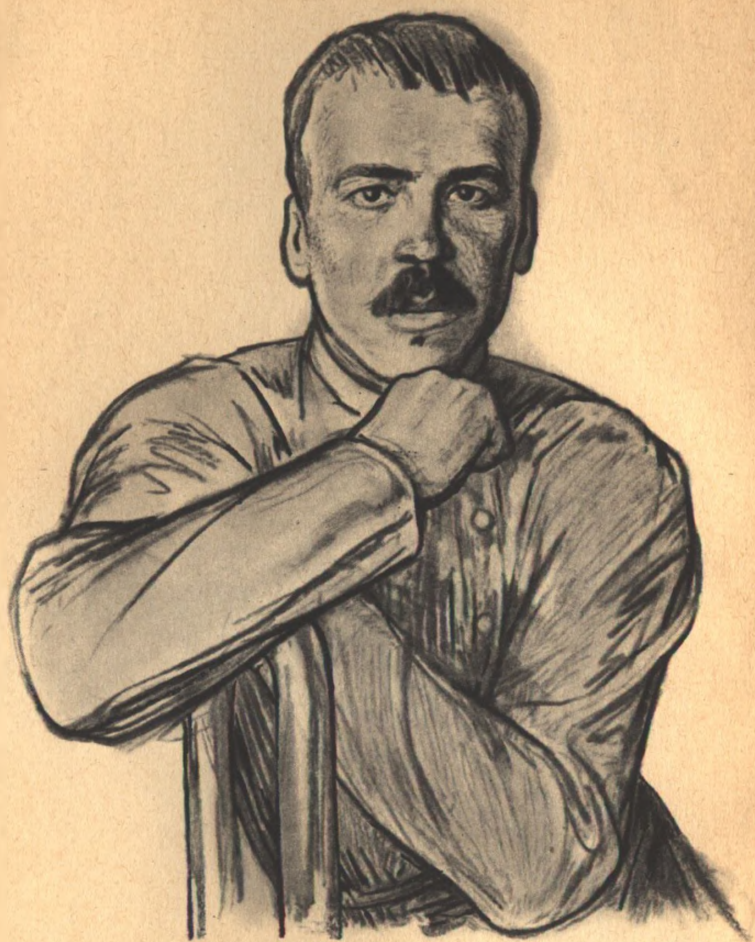


Артём Веселый



Арттем Веселый

ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

МОСКВА · 1958

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Вступительная статья
М. ЧАРНОГО

Подготовка текста и примечания
З. ВЕСЕЛОЙ

Оформление художника
Ю. БОЯРСКОГО

АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ

1

Большой и славный путь прошла наша советская литература.

Она отразила величайшую в истории революцию, художественно запечатлела полную глубокого исторического смысла борьбу с силами и традициями старого мира и сама стала орудием борьбы за победу самого передового, подлинно прогрессивного общественного строя.

Главная линия нашей литературы, ее кровная связь с жизнью народа и политикой коммунистической партии, воплощающей великий разум нашего века, утверждалась в сложной, напряженной борьбе с чуждыми течениями, ложными теориями и тенденциями.

В этой борьбе формировались идейно-творческие принципы социалистического реализма и рождались лучшие, ставшие классическими, произведения, в которых эти принципы нашли воплощение.

В 20-е годы были созданы такие, стоящие на главной магистрали нашей литературы, произведения, как «Чапаев» и «Мятеж» Фурманова, «Разгром» Фадеева, «Железный поток» Серафимовича.

Но в литературной жизни активно участвовали и другие, нередко талантливые и честные советские писатели, которые в силу тех или иных объективных или субъективных факторов не могли подняться до такой высоты исторического мышления и до такой глубины художественного воплощения исторической действительности. Их книги тоже не могут быть забыты нами сегодня, ибо в них не только живая история прошлого, но, и отражение славного опыта и боевого пути, пройденного нашей литературой.

Талантливым, своеобразным, но немало ошибавшимся писателем был в 20 — 30-е годы Артем Веселый. Его рассказы и повести, романы «Россия, кровью умытая» и «Гуляй Волга» выходили многократно в раз-



ных изданиях и привлекали внимание широких кругов читателей. Артем Веселый рисовал картины революции и гражданской войны, которым часто не хватало исторической полноты, но они были насыщены яркими красками и революционным чувством.

Биография Артема Веселого чрезвычайно характерна для того нового типа писателей, которые появились из недр разбуженного революцией народа.

Семнадцатого сентября 1899 года в семье волжского крючника Ивана Кочкурова в Самаре родился сын Николай. Как прошла пора «золотого детства» будущего писателя Артема Веселого, можно судить по его собственным словам, которые он обронил как-то в письме к другу: «Страшное детство среди скотов и зверей».

В этом нелегком детстве был, однако, светлый луч. Это мать, Федора Кирсановна Кочкурова — одна из тех женщин из народа, которые даже в самых тяжелых условиях умели сохранять и ясный ум и чуткость поэтической натуры — талант сердца, как говорил Белинский.

Жизнь была такова, что уже с 14 лет будущий писатель должен был зарабатывать хлеб насущный. Он поступил на завод. Особенно усиленно работал летом, чтобы иметь возможность хоть немного учиться зимой. Так ему удалось закончить четырехклассное городское училище.

С первых же дней революции юноша рабочий Кочкуров становится ее активным участником. В марте 1917 года он уже член партии большевиков. Работает агитатором, начинает сотрудничать в большевистских газетах. Но первые же литературные опыты перемежаются политическими схватками с врагами революции и боями в прямом смысле этого слова. С осени семнадцатого года Николай Кочкуров — боец коммунистической дружины. В конце мая 1918 года в Поволжье начинается белогвардейский мятеж. Через несколько дней, 7 июня, в одном из боев с белыми молодой большевик был ранен.

Очерк об этом бое, написанный Н. Кочкуровым вскоре же после событий и напечатанный в 1919 году в Самаре, хорошо передает ощущения революционной молодежи тех дней.

«Призрак революции, светлый, как утренняя заря, стоит за нашими спинами. А вот здесь близко подошла контрреволюция и протягивает свою мохнатую грязную лапу к горлу революции».

Едва избежав белогвардейской расправы (Самара была захвачена на время белыми) и кое-как залечив рану, Николай Кочкуров снова берется за работу. В конце года он член редакционной коллегии газеты «Приволжская правда», пишет статьи, очерки, рассказы. В одной из своих кратких автобиографий Артем Веселый писал: «С весны 1917 года занимаюсь революцией. С 1920 года — писательством». Разделение это, однако, весьма условное. Уже с 17 года началась его активная журналистская работа. До сих пор еще не собраны и не изучены многочисленные очерки, статьи, рассказы Н. Кочкурова, печатавшиеся в разных газетах и журналах тех лет и посвященные Красной Армии, фронту, комитетам бедноты.

С декабря 1918 года по март 1919 — в напряженные месяцы гражданской войны — Николай Иванович на ответственной партийной работе в Мелекесе: он секретарь уездного комитета партии и одновременно редактор местной газеты.

В августе 1919 года Николай Кочкуров уходит добровольцем на деникинский фронт, который стал к этому времени решающим.

В 1920 году он приезжает в Москву, возобновляет работу в газетах. Через год в журнале «Красная новь» появилось первое крупное произведение Артема Веселого — драма «Мы». Строго говоря, это даже не пьеса, а скорее драматические сцены революции и гражданской войны. Десятки действующих лиц различаются не столько по характерам, сколько по социальным категориям: бедняки, середняки, кулаки, рабочие. Уже здесь привлекает внимание превосходное знание народного языка, красочность речи.

Впоследствии Артем Веселый говорил об этих годах своей работы, как о поре «оголтелого ученичества». Современному молодому человеку, может быть, трудно представить себе, что скрывалось за этими словами. Ведь, помимо сложности самого литературного дела, Веселому приходилось, будучи уже взрослым человеком, овладевать основами знаний, которые сейчас каждый советский юноша получает в обычной десятилетке. Потом необходимо было подыматься на высоты той общей культуры, без которой писатель невозможен.

— Хорошо было, — сказал однажды Веселый, — писателям из дворян: гувернеры, лицеи, университеты, семейная вековая культура. А я в своем роду первый грамотный.

В 1922 году Николай Кочкуров служит матросом на Черноморском флоте. Но вскоре демобилизуется, возвращается в Москву и поступает в Литературно-художественный институт им. Брюсова, а затем и в Московский университет. Учение в те времена у большинства студентов совмещалось с работой. И Артем Веселый работал, разъезжал по стране в поисках материала для задуманных произведений, а в промежутках между разъездами и усиленной работой сдавал зачеты.

В московских редакциях, на собраниях литературных кружков и объединений появлялся иногда высокий молодой человек в рубашке и сапогах, с несколько угрюмым взглядом, с большой головой и крупными чертами лица. Он был молчалив, сдержан в жестях, и казалось, что обстановка редакционных кабинетов и собраний (весьма скромных в те времена) все же смущает его. Критик Вяч. Полонский писал об Артеме Веселом: «Сам он, человек дикий, малообщительный, не навязывал себя читателю... Артем Веселый остался в стороне от поветрия саморекламы, которая, как дурная болезнь, заразила некоторых молодых».

Но стоило в 1924 году выйти первой книжке Артема Веселого, как читатель и критика заметили ее. Это была небольшая повесть «Реки огненные».

Герои повести матросы царского флота Ванька Граммофон и Мишка Крокодил «с памятного семнадцатого годочка из крейсера вывалились», все годы гражданской войны «посуху плавали», шатались по разным землям, воевали, «и через них хлестали взмыленные дни». Сам Мишка говорит, что в семнадцатом он «ривалюцию завинчивал».

Но страшно р-революционный максимализм Ваньки с Мишкой на поверку оказывается тем подозрительно мутным анархизмом, который переходил в бандитизм. Шатаясь по свету красну, они «за длинными рублями гонялись» и, по-видимому, лучше всего себя чувствовали в лагере батьки Махно. Это ясно из самого текста повести. Однако вся ее эмоциональная окраска, соотно-

шение положительных и отрицательных персонажей таковы, что создается впечатление, будто автор безотчетно любит «подвигами» разудалых Мишки и Ваньки.

В этой повести, так же, как и в некоторых произведениях других писателей того времени, ощутимо звучала романтизация стихии и анархического своеволия.

II

Основным произведением Артема Веселого является роман «Россия, кровью умытая». Можно сказать, что всю свою писательскую жизнь он создавал главным образом это произведение — о родной стране, о России, вздыбленной революцией и в громе и бурях гражданской войны ищущей пути в лучшее будущее. Если не считать исторического романа «Гуляй Волга», то почти все его рассказы, очерки, повести, — о гражданской войне, о разных ее проявлениях на Кубани и в Поволжье, на фронте и в тылу. Постепенно он включал эти рассказы и повести в многоплановый роман, который назвал «Россия, кровью умытая».

От издания к изданию роман пополнялся, некоторые герои, уже известные читателю, получали развитие, но одновременно появлялись новые, одни сюжетные линии приобретали большую цельность, но зато другие, вновь включенные, оказывались еще не законченными. Последнее издание романа относится к 1936 году, но и на нем автор написал: «Фрагмент». Он видел сюжетно-композиционную и общую незавершенность своего произведения и собирался работать над ним и дальше.

Роман начинается с общего лирико-публицистического вступления о мире, сотрясаемом ураганом первой мировой войны, о России, пьяной горем. Первый человек, с которым мы знакомимся, — это солдат Максим Кужель, крестьянин-хлебороб с Кубани, посланный царскими властями воевать на турецкий фронт. Кужель был взят в армию еще в 1913 году, прошел через все адавы круги царской солдатчины и войны. «Война оборвала, — говорит он, — обломала меня, стал я жесток без меры и скупен. Злоба во мне по всем жилам течет, а на кого лютовать, и не придумаю толком».

Образ Максима Кужеля вырастает в романе в большое художественное обобщение. Процесс революционизирования сознания солдатских масс, тот исторический час, когда многомиллионная царская армия, раскинутая по разным фронтам империалистической войны, узнала о свершившейся в стране революции, изображены красочно и убедительно. Рухнул режим, господствовавший три столетия, треснули по самой сердцевине привычные представления, укоренявшиеся веками.

Артем Веселый показывает, как тает, рушится та гигантская мрачная сила, которая называлась российской императорской армией, как пропадает почти мистический трепет мужика-солдата перед его высокоблагородием, как высвобождается исконная ненависть угнетенных к угнетателям и начинает просыпаться сознание решающей противоположности классовых интересов.

В первые дни революции, когда выстроенному полку генерал сообщил о том, что царя уже нет, солдаты «испугались и молчали». Так терроризирована эта крестьянско-солдатская масса, так приучена не смеять рассуждать, так

привыкла не ждать радости, что первая реакция — только «испугались и молчали».

Уже потом, после того как фейерверкер Пимоненко развернул красный флаг и прорвал напряженную тишину лозунгом: «Долой царя, да здравствует народ!» — хлынули слезы радости, речи и крики «ура». И только позднее солдаты начинают постепенно разбираться в новой обстановке.

Артем Веселый пишет широкой кистью, резкими, сочными мазками. Он не вырисовывает ни деталей обстановки, ни тонкостей переживаний, как бы торопясь сказать одно слово, но самое в этот момент громкое, зафиксировать одну черту, но самую выразительную. И картина создается впечатляющая и незабываемая.

Броским словом, короткой фразой необычайной концентрации, стремительным, как пулеметная стрельба, диалогом Артем Веселый вводит нас в атмосферу первых лет революции с ощущением невероятно раздвинувшихся горизонтов, с восторженной жаждой свободы и подвига.

«Дребезжащие теплушки были насыпаны людьми под завязку, как мешки зерном».

Железнодорожные теплушки, тысячи эшелонов, кочующих по российским путям, вокзальные митинги занимают в романе значительное место и сами по себе являются одним из выражений пришедшей в неслыханное движение России.

Ненависть крестьянских масс к старому, непримиримую злобу, которой, «как пушка», был заряжен каждый фронтовик, жажду новой свободной жизни и готовность бороться за нее Артем Веселый изображает с большой силой, — именно это в первую очередь определяет его как революционного писателя.

Отлична по своей реалистической выпуклости и красочности сцена братания русских солдат с турками. Автор воспроизводит не митинговые речи, а картины тяжкого солдатского быта.

Артем Веселый показывает, как от инстинктивного отвращения к войне, от усталости и не всегда осознанного озлобления против господствующих классов рядовой солдат приходит к политической идее революции и к восприятию большевистских лозунгов.

Максим Кужель из фронтового солдата, оглушенного громами революционных событий, вырастает в хорошо сознающего свои задачи борца против «контры».

Кум Микола полагает, что «ежели оно разобраться пристально, власть она нам ни к чему. Бог с ней, с властью, нам бы землицы». Кужель, однако, уже смекнул, что земляца непосредственно связана с властью; поэтому он интересуется, есть ли в станице ревком, и готов за новую власть бороться до конца — «и в огонь пойдем, и в воду пойдем, а от своего не отступимся».

III

Мы уделяем внимание Максиму Кужелю, но не можем сказать, что это главный герой романа; нельзя сказать этого и о других персонажах — ни о матросе Галагане, ни о командире партизанского отряда Иване Черноярове,

ни о первых строителях советской власти в уездном городе Клюквине, большевиках Капустине и Гребенщикове. Одна из особенностей «России, кровью умытой» в том, что основным героем романа является масса, множество, многоголосый хор революционного народа. Артем Веселый не столько выделяет общее через индивидуальное, сколько обращается непосредственно к этому общему.

«В зной и стужу, по пояс в снегу и по горло в грязи солдаты наступали, солдаты отступали, жили солдаты в земляных логовах, мерзли в окопах под открытым небом. Осколок снаряда и пуля настигали фронтовика в бою, на отдыхе, во время сна, в отхожем месте... И вот в глухую полночь по окопам и землянкам перелетывала передаваемая трепетным шепотом команда: «Приготовься к атаке». Люди разбирали винтовки, подтягивали отягченные патронташами пояса. Кто торопливо крестился, кто шептал молитву, кто сквозь сцепленные зубы лил яростную матерщину. По узким ходам сообщений полк подтягивался в первую линию окопов и по команде: «С богом выходи!» — люди лезли на бруствер, ползли по изрытому воронками снежному полю. Встречный ливень свинца и вихрь рвущейся стали, подобно градовой туче, обрушивался на идущий в атаку полк».

Осколок снаряда и пуля настигали... команда перелетывала... полк подтягивался... ливень свинца обрушивался. Речь идет не об одном конкретно описываемом событии, а о многократно бывавшем. И если указан определенный полк — Сумский, а потом в дальнейшем упомянуто, что упал и захрипел, задержался сормовский слесарь Игнат Лысаченко, а горячая пуля чмокнула в переносицу рыбака Остапа Калайду, то это почти ничего не меняет. Потому что ни раньше, ни позже на всем протяжении романа мы можем не встретить ни слесаря Лысаченко, ни рыбака Калайду.

Так же часто безличен и диалог.

«— Гуляй, ребята... Последние наши денечки... Гуляй, защитники царя, веры и отечества!

— Царя?.. Отечества?.. Ты мне больше этих слов не говори... Я там был, мед и брагу пил... Слова твои мне все равно, что собаке палка.

— Брательник, тяпнем горюшка?

— Тяпнем, брат».

Кто это говорит? Чьи это слова? Нет имени, нет индивидуального образа. Это образ массы, народа.

Как изображать массу?

Наши писатели столкнулись с этой проблемой уже в самом начале становления советской литературы.

Никогда и ни перед кем этот вопрос не мог стоять с подобной значительностью и остротой, потому что никогда массы не приходили в такое движение и не играли такой исторической роли, как в Октябрьской революции. И еще потому, что само мировоззрение советских писателей толкало их на то, чтобы правильно оценить эту историческую роль.

Как изображать массу? Над этим думал А. Серафимович, когда он приступил к «Железному потоку». Эта проблема волновала и автора «Чапаева» и «Мятежа» Дм. Фурманова, и Михаила Шолохова. Советская литература, — да

и вообще советское искусство,— достигла таких высот в изображении жизни и движения масс, народа, каких нет больше нигде. В этом проявилась одна из новаторских черт нашего искусства.

Но к своим лучшим достижениям советская литература пришла, разумеется, не сразу. Некоторые писатели в поисках путей так увлекались изображением массы, что пропадали иногда черты человека, как личности. Так было и у Артема Веселого. В подобных случаях трудно говорить о действующих лицах. Черты лица, индивидуального характера тонули в толпе, в множестве. И действовало множество.

Преобладание массовидности, общего является одним из выражений все того же увлечения стихийностью. На этом следует остановиться обстоятельней.

Увлечение стихийностью имело у писателей 20-х годов разные источники, иногда внешне даже противоположные, но приводившие к одному и тому же. Стихийный порыв поднявшихся многомиллионных масс Российской империи был явлением невиданным в истории — и по широте, и по мощи революционного чувства. Оно не могло не привлечь и не увлечь художников. Леонид Леонов, вспоминая о первых годах советской литературы, сказал на I съезде советских писателей: «Нас привлекала тогда необычность материала, юношеское наше воображение поражали и пленяли иногда грозные, иногда бесформенные, но всегда величественные нагромождения извергнутой лавы и могучее клубление сил...»

Это «могучее клубление сил», величественный и бурный разлив стихии настолько увлекали некоторых молодых писателей, что они как будто забывали о том, что уже давно созрели силы, которые руководят стихией и направляют ее в определенное русло. Забвение, или хотя бы недооценку роли революционного сознания, организованной воли в революции, допускали чаще всего те писатели, которые мало были связаны с рабочим классом.

Сказывалось и влияние некоторой литературной традиции. Ведь для одной из основных школ русской предреволюционной литературы, для символистов, было характерно восприятие революции как извечной российской бунтарской стихии. Для некоторых писателей из среды старой интеллигенции путь к революции лежал именно через такое восприятие.

Еще в начале века В. И. Ленин предостерегал против преклонения перед стихийностью, настойчиво и неуклонно доказывал, что без руководства стихийными силами победа невозможна, что задача заключается в том, чтобы поднимать массы от революционной стихийности к революционному сознанию. И ленинская партия большевиков в практике величайшей из революций дала образец овладения огромными бушующими стихиями.

Такие писатели, как А. Серафимович, Дм. Фурманов, А. Фадеев, нарисовавшие превосходные картины массово-стихийных движений, сумели в то же время показать, какой руководящей, цементирующей и направляющей силой являются большевистское сознание, организованность и целеустремленность.

Артем Веселый всем опытом своей молодой, но кипучей жизни, казался, уже был подготовлен к тому, чтобы воспроизводить революционные события реалистически верно. Но его пример — лишнее доказательство того, как сложен процесс искусства, как прихотливо отражается в нем действительность и как своеобразно складывается характер каждого художника. У Артема Веселого, особенно первого периода, мы находим такое увлечение стихийностью,

такое смещение пропорций, что под угрозой оказывается сама художественно реалистическая достоверность изображения.

Возможно, что недостаток теоретических знаний сказался на мировоззрении, что здесь, как и в ряде других писательских судеб, проявилось влияние литературной среды. Уместно вспомнить, что символисты Андрей Белый и Вячеслав Иванов выступали в «Пролеткульте» и в «Кузнице», этих литературных объединениях первых лет революции, в качестве прямых и законных учителей. В сумятице литературных групп, группочек, направлений, существовавших в 20-е годы, Артем Веселый долго и трудно искал себе друзей, которые были бы ему близки по духу и характеру исканий. Одно время он подошел к ЛЕФу, привлеченный туда революционным пафосом Маяковского. Ошибки ЛЕФа не могли, разумеется, принести пользу молодому писателю. Потом он попал в среду «Перевала», где вопросы мировоззрения в искусстве решались с враждебных позиций. Вопросам этим в то время больше всего внимания уделяла Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП), от которой А. Веселый был далек, и не по своей вине.

Характерна запись, сделанная Дм. Фурмановым в 1925 году о тогдашних руководителях РАППа: «Артема (речь идет об Артеме Веселом.—М. Ч.)... преступно отогнали от себя, преступно». Лишь в 1929 году Артем Веселый вступил в РАПП.

Было и еще одно обстоятельство, о котором следует сказать особо. У части писателей появилось настроение некоторой подавленности, связанное с непониманием нэпа. Они не оценили тактического значения отступления, которое должно было помочь революции накопить силы для еще более решительного движения вперед.

Об этом говорил Ленин. Весною 1922 года, выступая с докладом на XI съезде партии, Владимир Ильич сказал:

«Мы не могли удержать всех позиций, которые с налету захватили, а с другой стороны, только благодаря тому, что мы с налету, на гребне энтузиазма рабочих и крестьян, захватили необъятно много, только поэтому у нас было так много места, что мы могли очень далеко отступать, и сейчас еще можем далеко отступать; нисколько не теряя главного и основного... Самая опасная штука при отступлении — это паника. Ежели вся армия (тут я говорю в переносном смысле) отступает, тут такого настроения, которое бывает, когда все идут вперед, быть не может. Тут уже на каждом шагу вы встретите настроение, до известной степени подавленное. У нас даже поэты были, которые писали, что вот, мол, и голод и холод в Москве, «тогда как раньше было чисто, красиво, теперь — торговля, спекуляция». У нас есть целый ряд таких поэтических произведений.

И понятно, что это порождается отступлением¹.

У молодого Артема Веселого, с романтическим пафосом прошедшего через годы революционного напора и войны, нэп тоже не вызывал энтузиазма.

Писатель обращается к годам гражданской войны, когда «отваги зарево» стояло над всей взбаламученной и рвущейся вперед страной. Но если в произведении приглушается организующая, сознательная воля революции, воля, которая и ведет в стремительное наступление и дает, когда это необходимо, при-

¹ В. И. Ленин, т. 33, стр. 252.

как отойти назад, тогда неизбежно начинает выпячиваться на первый план стихийная сторона. Так оно и произошло в ряде произведений Артема Веселого.

Увлечение бурным разливом стихийных сил в революции вы ощущаете на многих страницах романа «Россия, кровью умытая». К главе «Пирующие победители» Артем Веселый дал эпиграф: «В России революция — пыл, ор, ярь, половодье, урывистая вода». Весеннее половодье, взломавшее льды старого, режима, заливают всю страну, без конца и края, неудержимое, бесконтрольное.

Изображение Артемом Веселым революционной стихии отличает прежде всего тон глубокой заинтересованности и сочувствия. Героическо-самозабвенное очень близко и дорого Артему Веселому. Он его воспринимает и рисует романтически приподнято, иногда готовый простить какому-нибудь бесшабашному храбрцу то, что партийный работник Николай Кочуров вряд ли простил бы.

Одно из наиболее ярких выражений стихийности — образ матроса Васьки Галагана. Удаля безграничная, в бою — вернейший друг и воин, но свободу склонен понимать прежде всего как всеобщий разгул без конца и края.

Иногда кажется, что Васька Галаган недалеко ушел от Ваньки Граммофона из «Рек огненных». Степенный Максим Кужель, при всем уважении к храбрости Галагана, относится к нему все-таки с некоторой настороженностью. И когда лихой матрос одаривает его биноклем и портсигаром, Кужель начинает сомневаться в честном происхождении этих вещей.

«— Может, зря это, Вася?

— Чего гудишь?

— За два оглядка куплено?— подмигнул Максим и неловко улыбнулся.

— Ни боже мой... Никогда и нигде грабилочки ни на грош не сочинили... Все у мертвых отнято. Скажи, браток, зачем мертвому портсигар в семь каратов?»

Галаган уверяет, что на одном из миноносцев триста мест золота валяются на палубе без охраны, и никто пальцем не трогает. «Тут, браток, особый винт упора, понимать надо». Особый винт упора заключается в том, что даже мало-подготовленной головы Васьки Галагана коснулась своим светом идея великой революции. Но в голове этой еще черт знает сколько путаницы, и если наконец лопнула та «жизня», которая была сплошные «горьки слезы», то Васька решил: «Али и теперь не погулять?.. Первый праздник в нашей жизни...»

Сцены разгула вообще занимают в романе слишком много места, приобретая иногда натуралистический характер.

Что касается Галагана, то после очередной свадьбы-гулянки он готов тут же отправиться на фронт против контры.

Любуясь безотчетной удалью и ловкостью Галагана, Артем Веселый все же дает понять, что удержаться на высоте революционного долга Галагану помогает присутствие рядом с ним рабочего Егорова, человека с отчетливым революционным сознанием.

Образ Ивана Черноярова, другого партизанского героя, которому Артем Веселый уделил много места и красок, серьезнее и трагичнее. Если при Ваське Галагане был Егоров, рабочий-большевик, то при Черноярове такого друга-руководителя не оказалось. Да и характер этого человека, его своеволие, его

особый путь к революции таковы, что, может быть, он и не вытерпел бы рядом с собой никакого официального или неофициального комиссара.

Ненависть Черноярова к старому, его революционный запал, стремление к свободе и готовность воевать за нее не дополнялись сколько-нибудь ясным сознанием путей нового. Он бросился в водоворот гражданской войны со всем самоотвержением храброго и убежденного в своей правоте воина, поражал врагов с отвагой и талантливостью, открывшимися в этом простом казаке, но сложность событий, запутанный переплет классовых и политических интересов ставили его в тупик. Он немало плурует в бурях революции и кончает трагически, так и не сумев понять, как сочетается удаль революционного размаха с непреклонностью революционного порядка.

Советский читатель не может не осудить партизанствующего Черноярова, когда тот покрывает такие анархистско-бандитские поступки своих сподвижников, как убийство красного командира за отказ отдать лошадь, и, более того, сам совершает подобного рода «подвиги». Чернояров фактически противопоставляет себя реввоенсовету. Романтизация образа Черноярова вызывает протест еще и потому, что в романе почти нет тех, кто составляет ядро Красной Армии, ее организующее начало, тех, кто сделал Красную Армию центром притяжения всех красных партизанских отрядов и кто главным образом обеспечил победу революции.

Армейскому реввоенсовету не уделено в общем и десятой части внимания, которое поглощают в романе джигитские подвиги Черноярова, но тем не менее впечатление создается уже отдельными замечаниями совершенно определенное: «Реввоенсовет еще заседал, слепо веря в силу своих решений, и, как ракеты, выбрасывал приказ за приказом»; «А за зеркальными окнами штабных вагонов... члены совета... дни и ночи напролет взывали к сознанию друг друга, сочиняли воззвания и приказы». Живым, непосредственным, боевым партизанам противопоставляется далекий реввоенсовет, воюющий бумажными приказами. К тому же еще такой эпизод: уполномоченный реввоенсовета Арсланов разъезжает на автомобиле, пугает степных лошадей, опрокидывает повозку с ранеными, и Чернояров, к восторгу партизан, срубает уполномоченному голову...

Увлеченный стихийностью, Артем Веселый сосредоточил свое внимание больше на Ваське Галагане, чем на слесаре Егорове, больше на партизане Иване Черноярове, чем на тех, кто олицетворял основную силу революционной армии, ее идеи и ее большевистскую волю.

Иногда кажется, что Артем Веселый стоит замороженный бурей страстей, кутерьмой характеров, стремительно, как пружины, разворачивающихся инстинктов, состязанием отваги и разгула. Но увлечение мощным характером, как таковым, отвагой, независимо от того, куда и на что она направлена, может привести к совершенно неожиданным и маложелательным результатам.

Советский писатель, который хочет дать художественную историю великой революции, обязан разобраться в том, где и когда говорила стихия восставших против старого порядка масс, стихия, в которой иногда звучали голоса самые разнообразные, исторически переплетавшиеся, и где стихийность начинала приходить в противоречие с революционной сознательностью и порядком.

Артем Веселый старался отмечать это противоречие, но в его произведениях не всегда ощущается моральный перевес за революционной целеустремленностью и сознательностью.

Три заключительные главы «России, кровью умытой» переносят нас с юга в Заволжье и представляют собой, в основном, повесть, которая под названием «Страна родная» была опубликована в 1925 году. Мещанско-купеческий городок Клюковки, село Хомутово, раскольничью Вязовку, дремлющее в сонной одуре мордовское Урайкино захлестывают волны революции. Ряд эпизодов воссоздают атмосферу исключительных лет — 1918—1920 — первых лет революционной власти с их невероятными трудностями в условиях всеобщей разрухи и гражданской войны, с первыми поисками новых форм общества, с энтузиазмом революционеров и злобной враждой потревоженного в своем благополучии кулачья.

Основное в этих заключительных главах — это деревня, ее размытые революционным половодьем дороги, вековые устои, расшатанные революционными вихрями. Деревенская свадьба, сватовство, гулянка, со всем узором песен и прибауток, торговля с продкомиссаром из-за разверстки, разговоры по избам, обход дворов в поисках зерна, необходимого для революции, дезертиры и жестокий кулацкий бунт — все это изображено Артемом Веселым с большой силой.

И здесь есть основание говорить о чрезмерном увлечении стихийностью. Красочное изображение деревенской стихии составляет основной эмоциональный тон этих глав. Артем Веселый, разумеется, не представлял себе деревню, как нечто цельное. В романе можно различить разные голоса. С одной стороны, кузнец коммунист Пронька, с другой — кулацкое собрание. Но голоса представителей бедноты даны несколько ослабленно.

Социальная функция главарей восстания вроде кулака Демки Кольцова совершенно ясна, но распределение художественного «света» в романе таково, что революционная часть деревни остается затененной. Кулацкие подголоски склонны были противопоставлять деревню революционному городу, показано это очень убедительно (например, живописный рассказ Петра Часовни), но контрреволюционный, ложный характер этого противопоставления недостаточно разоблачен. Ведь в действительности революция побеждала и победила именно потому, что пролетариат города был поддержан пролетарскими и полупролетарскими слоями деревни.

Рядом с представителями стихии в романе появляются и те, кто овладевает ею, кто говорит и действует от имени революции, ее воли, смысла и непреклонной цели. Председатель уездного исполкома Капустин прошел школу революционного подполья и теперь старается крепко держать в руках только формирующийся аппарат молодой власти, в который успело набиться в суматохе немало дряни. В борьбе со случайным человеком, пролезшим на пост продовольственного комиссара, и в ряде других эпизодов Капустин проявляет себя подлинным большевиком, для которого высшим принципом являются интересы народа и революционная целесообразность.

В руководителе местной партийной организации Павле Гребеншикове Артему Веселому удалось показать неразрывную связь его с рабочей средой. Когда забастовали изголодавшиеся рабочие железнодорожного депо, он приходит к ним и, несмотря на всю сложность ситуации, быстро и естественно находит контакт с ними и добивается перелома. Этот психоло-

гически трудный эпизод сделан с большой силой реалистической убедительности.

Интересен и содержателен образ деревенского кузнеца коммуниста Проньки. В Проньке чувствуется рвение молодого боевого парня, которому совсем недавно раскрылась правда и который готов теперь крошить, везде и всюду искореняя обман дореволюционной жизни со всей решительностью наивного, но безусловного убеждения.

Герои Артема Веселого не столько люди мысли, сколько действия. И весь пафос «России, кровью умытой» — в стремительном рывке великой потрясенной страны, поднявшейся для борьбы за новую жизнь. Здесь нет ни теоретических размышлений, ни проникновений в психологические глубины. И это естественно для страниц, где господствуют Васька Галаган или Иван Черноярков, где изображается разлив могучей стихии. Содержание определяет в значительной мере и форму письма — стремительный, отрывистый язык, композицию, без строгой связи одного эпизода с другим.

Тем характернее, что с появлением в романе Капустина и Гребенщикова начинает созревать серьезная мысль о руководстве революцией, о взаимоотношениях с крестьянством, о важнейших политических проблемах, которые в эти огненные годы определяли судьбу революции.

«Страна родная» была уже закончена в первом варианте, а молодой автор, как и в процессе работы, то был полон высокого удовлетворения, чуть ли не восторга, от достигнутого, то впадал в отчаяние оттого, что видел, насколько еще далеко до совершенства, до того гармоничного образа, который жил в его душе. То ему казалось, что в «Стране родной» он добился «большой победы», то уныло заявлял: «Какая победа? И боя настоящего не было. Еще только маневры. Опять: сырье, мгла, хаос. Размахнулся широко, гребнул мелко».

Такого рода состояния знакомы почти каждому писателю. У Артема Веселого «муки слова» осложнялись резкой диспропорцией между недюжинным талантом; большой образной силой, которыми был наделен этот человек, и недостаточным владением законами большой литературы.

Увлечению стихийной стороной революции способствовали, как мы уже отметили, многие произведения писателей-интеллигентов 20-х годов. Но не следует забывать, что и тогда уже в нашей литературе были писатели и произведения, гораздо более полно выражавшие тенденции социалистического реализма. Влияния, которым подвергался Артем Веселый, отнюдь не были односторонними.

С этой точки зрения интересны воспоминания Ольги Ксенофоновны Орловской о встречах Веселого с А. Серафимовичем. Роман «Железный поток», вышедший в 1924 году, произвел на Артема Веселого большое впечатление. Он был близок Веселому по материалу — движение революционной полупартизанской армии, пафос трагических обстоятельств, «отваги зарево», — и в то же время Артем Веселый увидел в нем нечто новое, самое для него, Веселого, трудное и пока недостижимое: умение художественно запечатлеть то главное, что превращало революционную лавину в силу целенаправленную, осознанную и побеждающую.

«Это вещь! — восторженно говорил Веселый.— Взлет в бессмертие! Слезы выжимает, хорошие думы родит... Ты слышишь, Ольга, как они идут, идут... Ты видишь это человеческое море с босыми солдатами, почернелыми до костей, с малыми детьми, с бабами Горпинами... Буйное людское море в железных берегах. Вот этих-то берегов и не хватает мне, Ольга!»

Веселый был знаком с Серафимовичем, приносил ему свою «Страну родную» и слушал «Железный поток» в чтении автора. «Железный поток», как выражался Артем Веселый, содействовал зарядке «пролетарским духом».

Однажды, когда разговор зашел о «Стране родной», Александр Серафимович сказал:

— Капустина надо оживить, расширить образ, добавить ему живости и страстности... Надо более рельефно показать организующую волю партии, которая перетягивала мужицкую стихию на свою сторону.

Веселый слушал жадно и, все более разгораясь, выкрикивал:

— Учи, учи, старик! Тычь носом сосунка! За науку — в ноги поклонюсь!

— Ты не сосунок, ты — орленок,— возразил Серафимович.— И полетишь дальше меня.

— Обязан! — загремел Артем.— Чай, мой класс восходящий, как выражаются профессора. Жилы порвать, а довести дело до революционного конца!

Артем Веселый не только внимательно и благодарно слушал Серафимовича. Слова одного из зачинателей советской литературы, как вспышка молнии, вдруг освещали перед ним самые сложные и запутанные проблемы его писательской судьбы.

— Мой Капустин,— говорил он своему старшему другу,— против твоего Кожуха,— кисель, войлок, чахлая кобыла. А вот Васьки Граммофоны и Фильки Великановы прут из меня, как родные, живые детища! Надзору за ними нет. И ни одно ярмо к ним не подходит.

— Это потому,— сказал Серафимович,— что ты сам-то еще по-настоящему в порядок не включился...

Под «порядком» Серафимович мог разуть в данном случае только отчетливое мировоззрение. Артем Веселый это понимал и принимал. Но для того, чтобы справиться с «безнадзорными» Ваньками Граммофонами и наполнить живой кровью Капустина, ему нужно было положить еще немало трудов.

V

Артем Веселый превосходно знал язык, которым говорит масса революционного народа, особенно крестьянская, солдатская. Его образность и опирается больше всего на крестьянский и солдатский опыт.

«Дым костров стлался по лугу, будто овчина». «Часовой зашипел, как гусь перед собаками». «Ветер спускал с осени рыжую шкуру». «Широкий, как бычий язык, нож». «В хомутах плеч мотались косматые папахи».

Так пишет Артем Веселый не только тогда, когда говорит о деревне. Образ отнюдь не носит у него локального характера.

Веселый знает деревню, ее людей, ее природу, ее лексику, ее природу, он читает, как книгу, перешептыванья лесов и легко разбирается в переливах голосов зимней

вьюги. Язык Артема Веселого часто по-народному афористичен, поговорочен, а иногда переходит чуть ли не в стихи:

«Кругом

серым-серо! Ходи, Расея!

Заорали, засвистали:

— Рви погоны!

— Ложи оружие!

— Галуны и погоны до-ло-ой под вагоны!»

В духе народной речи и фонетическая игра словом, которую очень любит Артем Веселый. Иногда он добивается удивительного усиления звуком смысловой силы фразы: «дыра в робе всю робу угробит», «с лапоть лапа».

Временами Артем Веселый естественно и непосредственно переходит на стиль сказа: «Мутнехонька-быстрехонька бежит-гремит Кубань-река, а впристяжку с ней ухлестывают люты речки горные, стелются протоки малые. Шумные станицы да сытые хутора — всеми тополями своими, ветряками, садами, столетними дубами и сонными волами — смотрелись в быстрые воды Кубани». Это стиль русской сказки, исконного народного говора, органически присущего Артему Веселому и легко входящего в общую ткань его письма.

Любовь к гиперболам («Ржали матросы — штукатурка с потолка сыпалась, советские обои вяли, стружкой по стенам завивались», «музыка стены рвет», «на дню выталкиваем по тыще резолюций») — в духе той же народной, крестьянской речи, которая родственно-близка Артему Веселому.

Говоря о крестьянском языке 20-х годов, нельзя забывать, что деревня была отнюдь не однородна. Были и до революции, и в первые годы после революции писатели, которые под видом крестьянского стиля и крестьянского языка подносили читателю густую запеканку из лексики, ритмов, архаических традиций, от которой бьет в нос запах вековой плесени и кулацкого консерватизма. Но сочный, как чернозем, язык Артема Веселого неизмеримо более богатый, чем наклепанный по ветхим молитвенникам язык Клюевых, не оставляет никакого ощущения древности, нет в нем вязкости, сложности и медлительности старины. Это язык современной революционной деревни, язык солдатский, острый, замешанный порохом и злостью язык фронта, иногда — язык матросов, в котором удивительная смесь революционного пафоса, морской соли, а то и портового кабачка.

Своеобразие языка Артема Веселого в том, что образная речь, опирающаяся в основном на крестьянский опыт и мироощущение, окрашена переживаниями лет войны и революции. Отсюда — «вьюга несла со степи снежные знамена», «солнце мечет блещущие копыя», «сосульки блестили под солнцем, как штыки». Когда Иван Чернояров отвечает отцу: «Что мне библия? Нельзя по одной книге тысячу лет жить, полевой устав и то меняется», — то одна эта фраза дает выразительное представление о молодом казаке, пропущенном через опыт четырех лет солдатчины и уже встревоженном революцией. А как значительна фраза: «Кто был чин, тот стал ничем», — эта солдатская трансформация революционного лозунга!

Но любовь к слову подчас переходила у Артема Веселого в любованье им, в игру, которая приобретала, казалось, самодовлеющее значение — «шелуха шороха».

По-своему отразилось в языке и увлечение стихийностью, партизанщина.

тематическая и идейная. Про Мишку и Ваньку из «Рек огненных» Веселый говорит, что «изъясняться на штатском языке, по понятиям дружков, было верхом глупости». Поэтому Ванька Граммфон и Мишка Крокодил изъяснялись на особом языке, в котором было много от портового жаргона, немало от блатного словаря и больше всего, пожалуй, междометий.

У Мишки с Ванькой своя «философия» языка. Но похоже, что в ранний период своей работы сам Артем Веселый относился с предубеждением к «штатскому» языку. Вот, например, как описывается начальник белой охраны Черныш в рассказе «Дикое сердце»: «В тюрьме сам деловых тряс: кончика искал. На допрос — на ногах, с допроса — на карачках: «Как да что, да как твои мнения? Здорово живешь, сукин сын... Поп, бяк, брык, ах, ах...»

Это матросско-партизанский жаргон, и здесь чувствуется зависимость автора от своих героев, которым он в той или иной мере сочувствует. Встречающиеся у Веселого выражения вроде «тяжело дрюнулся в седло», «Гришка в землянку ушился» — характерны не столько для масс, сколько для деклассированной вольницы. Этой же среде соответствует и строй речи — дезорганизованный, отрывистый, стремительный и грамматически недисциплинированный.

Там, где мысль, отчетливое сознание отодвигаются на задний план разливом чувств и бурного, бесконтрольного действия, там блекнет и смысловое значение слова. О партизане из «зеленых» Гришке Тяпте Артем Веселый говорит, что он «слова накалывал редко и нехотя — разговаривали за Гришку руки, ноги, чмок, фык, сап, марг, плевки».

Это уже на грани зауми. У Артема Веселого первого периода было немало словечек вроде: «Берзай-вылезай!», «Языком ледве-ледве» — междометий, затягивающихся на целые строчки (гу-у-у-у-у... зу-зу-зу-у-у...). Нельзя это объяснять просто звукоподражанием. В зауми крайних футуристов был свой принцип: отсутствие принципиальности — поэтому они упрекали еще дореволюционного Маяковского за содержательность, идейность его творчества. Несомненно тут есть и прямое влияние футуристов-лефовцев. Не случайно Артем Веселый одно время печатался в журнале «Лефа» и старательно изучал Хлебникова.

Но основное направление творчества Артема Веселого определялось, разумеется, не Хлебниковым. С накоплением жизненного, идейного и литературного опыта он строже стал относиться ко всем элементам своей работы: замыслу, идее, к формам, в которых они должны быть воплощены.

VI

То, как совершенствует писатель свое произведение, представляет, естественно, большой интерес, потому что не только открывает творческую лабораторию писателя, но и наглядно показывает тенденцию его развития. В отношении Артема Веселого этот интерес тем более законен, что речь идет даже не о правке писателем рукописи до ее появления в печати. Одно и то же произведение печаталось много раз и изменялось на глазах сотен тысяч читателей.

Возьмем для примера эпизод, в котором матрос Васька Галаган пирует с своей компанией в Новороссийске. В рассказе «Горькая кровь», изданном в

1926 году, эпизод этот продолжает в общем изображение беспредельного разгула партизанской стихии. Разгул кончается, правда, организацией и отправлением партизанского отряда, но куда едет отряд — если на фронт, то против кого и во имя чего — неизвестно. К изданию 1931 года (в рассказе под названием «Большой праздник») эпизод претерпевает уже значительные изменения. В обществе Васьки Галагана появляется деповский слесарь Егорыч, который вносит в весь эпизод новые интонации. Егорыч рассказывает, что рабочие депо, «пятеро суток не жрамши», сломив сопротивление администрации, поставили на колеса два бронепоезда. Одно упоминание о таком факте уже вводит в описание революционного Новороссийска пролетариат, о котором раньше почти ничего не было известно. «Погоуляли, морячки, пора за дельце,— так закончил свою краткую речь Егорыч.— Пятьдесят стукнуло, а с вами в огонь и в воду пойду. Буду кашу варить, лошадей ваших ковать».

И самый митинг, о котором из первого варианта можно было узнать только то, что это был пьяный митинг («со слезами»), буйный и крикливый («Гра, бра, дра...»), теперь приобретает другой характер. «Васька ровно из огня слова хватал с мясом, с кровью, с шерстью. О фронте он говорил грозно, о революции — с большой торжественностью, о буржуях — с неукротимой злобой». Преображается несколько и сам Васька, который на стол уже не «влез ревом», а просто «вспрыгнул». Потом оказывается, что были еще ораторы и, в частности, Максим Кужель, который «с пятого на десятое рассказал про свою станицу, путаясь в словах, как лошадь в коротких оглоблях».

Так вместо сумбурных слез и криков пирующей компании начинает вырисовываться революционный митинг тех лет с участием матросов, рабочих и представителей села. Теперь уже точно известно, что отряд Васьки отправляется на фронт, отправляется «в полном порядке». И еще характерный штришок: «прослыша про выступающий на позицию отряд, прибежали проститься рабочие, матросские девки и просто жители».

Тем не менее уже в следующем году этот отрывок появляется в «России, кровью умытой» опять в новом виде.

«— Хорошие вы, ребята,— говорит слесарь Егоров матросам Васьки Галагана,— а пьяночка вас зашибает... В море не тонете и в огне не горите, а тут есть риск и утонуть и погореть, не мимо говорит пословица: «Нет молодца, кой поборет винца».

— Ты, отец, нам обедню не порть... Первый праздник в нашей жизни...

— Не рано ли нам праздновать?.. Помни, ребятишки, враг не спит, враг наступает... Выпить? Почему не так, выпить можно, только этого... не пора ли и за дельце браться?»

Егоров изменился чрезвычайно. Раньше это был «свой парень», который пьет вместе с матросами, добродушный дядя, сознающий свою какую-то второклассность в сравнении с боевыми матросами, но готовый идти вместе с ними. Теперь он выступает как сознательный представитель рабочего класса. Он твердо знает свой путь и, маневрируя в водовороте разыгравшихся в революции сил, неуклонно идет к своей основной цели.

Инициатива организации партизанского отряда переходит от Васьки Галагана к слесарю Егорову. Крестьянско-матросская партизанщина еще шумит, гудит, разливаются за берега; там, за пределами городского сада, еще продолжается как будто торжество анархического деревенского лапта, поднятого из

озорства над одним кораблем вместо флага, продолжаются пьяный шум и угар. Но старый слесарь Егоров уже начал поворачивать этот поток в подготовленное русло.

Таких преображенных эпизодов, больших и малых изменений у Артема Веселого много. Тенденция и значение их совершенно очевидны. Писатель старается усилить революционно-идейное звучание произведения, тщательно вырисовывает роль рабочих, четко определяет классовую дифференциацию.

В главе о Ключевин-городке Артем Веселый пишет: «Революция требовала от слободки людей с трезвой мыслью и твердой рукой». В этом суть. И большевик Капустин напутствует деревенских ходоков, комбедчиков, председателей сельсоветов: «Подкручивайте кулакам хвосты!.. Без кулака и буржую городскому не воскреснуть... Себя блюдите пуще глазу — чтоб ни пьянцовки, ни разбою не было... Помни: у нас престолярная революция... Держи уши вилкой и стой на страже!»

В романе появляется полная глубокого значения и драматизма беседа Капустина с редактором Гребенщиковым о том, как следует молодой революционной власти подходить к крестьянству, о совершенных ошибках, о сложности положения. Так намечается преодоление стихийности.

Вместе с углублением идейного содержания Артем Веселый от издания к изданию очищает язык, отказываясь от орнаментальных выкрутасов, от зауми, от игры на местных диалектах, блатных словечках, от натуралистических сцен, последовательнее и стройнее развивает сюжет, вводит в значительно большей степени описательный материал, который дает лучшее представление об исторической обстановке и конкретной среде. Из бесформенного множества начинают отчетливее выделяться люди с их индивидуальным обликом. Появляется углубленный, лучше продуманный и прочувствованный образ.

Артем Веселый работал много, работал с упоением и целеустремленно, относясь к себе строжайшим образом и ставя перед собой все более серьезные задачи. В послесловии к книге «Пирующая весна» он писал в 1929 году: «Не гневайся, читатель, если что не нравится. Меня и самого коробит от недоработанности и блеклости многих страниц». Веселый указывал, в частности, на свою неудовлетворенность рассказами «Дикое сердце» и «Зеленый куст». Последнее издание «России, кровью умытой» вышло, как мы уже говорили, с указанием «Фрагмент».

В архиве Артема Веселого¹ оказался план «России, кровью умытой», составленный в 1933 году. Этот план чрезвычайно интересен, он говорит о направлении всей работы Артема Веселого, о характере его поисков и усилий, о том, каким он сам хотел видеть свое произведение, которому отдал свои лучшие годы и замыслы.

Роман должен был начаться с изображения России на переломе 1916—1917 годов. «Провинция, деревня, фронт, большие города. Экономика, политика, быт. Разгорающееся забастовочное движение в промышленных центрах. Февральская революция в Петрограде». Глава вторая: «Москва рабочая, Москва большевистская, Москва первых месяцев 1918-го. Уличные митинги. Заводы. Буржуазия. Политические партии. Большая семья рабочего Игната Гребенщикова».

¹ Находится у дочери писателя Э. А. Веселой.

Уже эти две первые главы дают представление о том, какой характер приобрел бы роман, если бы Артему Веселому удалось осуществить свой план. В напечатанных вариантах «России» преобладают южные области и заволжская деревня. План предусматривает ввести в роман крупнейшие пролетарские центры страны — Петроград и Москву. И не только в первых двух главах, но и во многих последующих. Так под главой двадцатой автор записывает: «Юденич, защита Петрограда. Северный фронт. Петроград. Москва, Иваново-Вознесенск и др. промышленные районы — организаторы победы на фронтах гражданской войны». Во второй же главе имелось в виду показать: «Состояние московской партийной организации и развертывание организационно-пропагандистской работы в низах. Ленин. Первые декреты».

Интересна запись, в которой Артем Веселый ставит себе задачу: «побольше конкретности... Побольше имен и характеристик низовых большевиков...» Чем решительнее стремится Веселый показать организующие идейные силы революции, тем яснее становится, что прием изображения революционного народа при помощи безличного хора реплик, описания массы вообще, прием, который он широко и не без успеха использовал, уже недостаточен. Необходим конкретный человек, образ, который, при жизненно рельефных чертах индивидуальной личности, выражал бы типичное для массы.

Сейчас мы узнаем о коммунисте Павле Гребенщикове, партийном работнике, только на 417 странице романа (издания 1936 г.). В плане Артем Веселый намечал показать московскую рабочую семью Гребенщиковых уже во второй главе, представители этой пролетарской семьи должны были пройти через весь роман. Перемещались идейно-художественные центры, переформировывалась композиция романа. То, что мы имеем сейчас в виде разрозненных глав, не всегда связанных между собой действием и героями, в окончательном варианте должно было быть увязано, пустоты — заполниться новыми главами.

Артем Веселый сохраняет, однако, и в плане «этюды», интермедии между главами, вольные отскоки в сторону, ритмические и смысловые, где он может дать свободно разгуляться своему воображению. Вот как сам Артем Веселый говорит об этом: «После каждых трех глав, как продох или пауза музыкальная, — идут семь этюдов. Этюды — это коротенькие, в одну-две-три странички, совершенно самостоятельные и законченные рассказы, связанные с основным текстом романа своим горячим дыханием, местом действия, темой и временем». Какого характера этюды имел в виду писатель, можно судить по уже известным нам «Сад блаженства», «Письмо», «Суд скорый». Всего этюдов должно было быть сорок девять.

План «России, кровью умытой» говорит о том, что роман был задуман как монументальное произведение, в котором хронологически последовательно, от 1917 года до боев на Перекопе в 1920, должны были быть изображены события величайшей в истории революции и гражданской войны. Артем Веселый успел осуществить только часть замысла. Но и в таком виде его роман представляет интерес для современного читателя.

Другое значительное произведение Артема Веселого — роман «Гуляй Волга». Книга о XVI веке, о завоевании дружиной Ермака Сибири стоит несколько особняком в творчестве Артема Веселого, но не случайно, обратив-

шись к историческому роману он избрал именно этот эпизод. «Гуляй Волга» переключается со «Страной родной», со многими страницами «России, кровью умытой». А. Веселого, талантливого изобразителя революционной стихии, привлекала возможность заглянуть в те исторические глубины, где шумела бурлацко-казачья вольница, буйная и отважная, громившая татар, грабившая купцов, завоевавшая далекую страшную Сибирь, а потом приведшая к огромным крестьянским восстаниям Степана Разина и Пугачева.

Артем Веселый проделал огромную работу. Он не только изучил летописи, большое количество исторических документов, чтобы извлечь из-под горы случайных фактов и свидетельств сущность эпохи; он как художник проник в быт далекого века, сумел подобрать такие детали, которые дают читателю живое ощущение далеких земель и давно ушедшего времени. История предстает в романе конкретной, чувственно осязаемой жизнью, жизнью с большим разнообразием красок, с густотой волжских, уральских и сибирских запахов, со своеобразием XVI века.

В «Гуляй Волге» Артем Веселый охотно и со вкусом описывает удалой разгул, отвагу и быт казаков, проплывших на стругах и проскакавших на конях от Дона до берегов Тихого океана и Америки. Характерен уже эпиграф к роману: «Отвага мед пьет и кандалы трет». Но тут же немало картин большого историко-социального значения, картин, дающих наглядное представление о том, какой эксплуататорский характер приобрело казацкое господство в Сибири и как казачья вольница становится орудием царя, купцов и тех же ненавистных бояр.

И над «Гуляй Волгой» писатель предполагал еще работать. Некоторые главы развернуть, другие переписать, добавить новые. «Может быть, когда-нибудь падет на меня радостных дней орлиная стая,— писал он,— с новой силой загремит и заблещет перо мое: тогда-то на роман и будут положены последние краски и жары...»

Радостное ощущение жизни, ее красок и запахов, быстроты движения, беззаветной удали составляют основной эмоциональный тон Артема Веселого. Даже в природе он не любит тишины и покоя: в пейзажах отбирает преимущественно бури, выюги, ветровые смерчи. О них он говорит с нежностью: «На сугробах играл зачесами гребней переметчивый ветруга». Даже годы «бежали, будто стада диких кабанов». И вся история часто представляется Артему Веселому как постоянное столкновение грозных сил, как непрерывная битва. «Гремел и сверкал поток времени». «Мир плутал в кромешном разливе метелей и мятежей». О Кавказе: «В веках — земля ломилась, камень кипел под конским копытом, рев бесчисленных орд, свист каменных ядер, грохот падающих крепостных стен — сметая целые народы, вытаптывая пирующие царства, походом шла слепая кровь».

Литература была для Артема Веселого не просто профессией, даже не только любимым делом, а — служением, мечтой и неодолимой внутренней потребностью одновременно, подвигом. «Беззаветность и фанатизм в искусстве,— писал он,— так же оправданы, как и в любви».

В апреле 1935 года литературная общественность отмечала третью годовщину со дня постановления ЦК партии о ликвидации отдельных литературных

организаций и создания единого Союза советских писателей. Артем Веселый, приветствуя это постановление и вызванные им перемены в литературной жизни, писал: «Последние три года были для меня творчески насыщенными и плодотворными... Мое единственное юбилейное пожелание — работать еще больше и лучше».

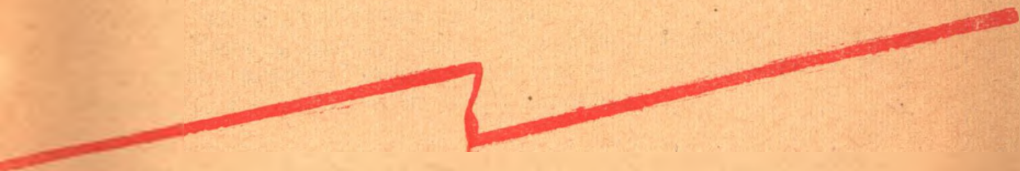
Но много поработать Артему Веселому уже не удалось. Его полная творческого нетерпения и труда жизнь оборвалась рано.

В историю советской литературы Артем Веселый войдет как писатель яркого и своеобразного дарования, как талантливый художник революционной бури, свободолюбия и отваги русского народа.

М. Чарный

Турецкий
Волга

РОМАН



1

Заря, распутив сияющие крылья, взлетела над темной степью... Переблески зари заиграли в просторах ликующего неба, расступились сторожевые курганы, на степь выкатилось налитое золотым жаром тяжелое солнце, и зеленое раздолье дрогнуло в сверканье птичьих высвистов.

Степь

весна

ветер...

По большому Раздорскому шляху, что пролег меж Доном и Волгою, на горбоносых ногайских конях легким наметом бежала казачья ватажка голов в полста. Одеты казаки были небогато, как всегда одевались, отправляясь в дальние походы. На одном — смурый кафтанишко; на другом, для ловкости, безрукавый зипун; на ином — татарский полосатый халат, из дыр которого торчали клочья ваты; многие в холщовых, заправленных в штаны рубашках. За кушаками — пистолеты, широкие — в ладонь — ножи, кистени на перевязях из пожилины да кривые — азиатских статей — шашки. За плечами кое у кого еще болтались луки, но у многих были уже и ружья, кои в ту давнюю пору являли собой диковину на всю знаемую Азию и на все Дикое поле¹.

День разыгрывался.

Играла степь хорошá-прехорошá. Ехали долом, ехали ува-лом, ехали как плыли: трава-то стояла густá да высокá — у коней и голов не видать.

В небе, еле шевеля крылом, кружил орел. За дальним курганом, подобен тени, промелькнул отбившийся от стада олень. Куземка Злычой сорвался и, гикая, припустился было за ним, но скоро вернулся.

— Ну как, Куземка, не догнал? — окликнул его чернобородый казак, похожий обликом на турка.

— Коня пожалел, Ярмак Тимофенч, — отозвался Злычой и потрепал жеребца по запотелой шее. — Коня пожалел, а то не утек бы, бес рогатый, от моего аркана.

¹ Д и к о е п о л е — степей зеленый разлив от границ рязанских земель до предгорий Кавказа и от Яика — через Дон и Запорожье — до рубежей литовских. (Все примечания принадлежат автору.)

— Гуторь... Не провóр ты малый, погляжу я... Прямо прб-мах парень...

— Я-то?

— Ты-то. Га-га-га-га-га!..

— Да я, твоя милость, позапрошлой весной на Сагизе-реке бородатого орла зрел и чуть-чуть не словил... Такой орлина богатырский, на трех дубах гнездышко пораскинул... Еду я турхменской степью, по сторонам остренько поглядываю... Тут сыру-ярью река протекла, там камышовое болото повылегло — место глухое, место страшное...

Был Ярмáк не молод и не стар — самый в соку — мастью черен, будто в смоле вываренный, и здоров, здоров как жеребец. Ржал Ярмáк, задрав голову, — конь под ним садился. Из хвоста ватаги на голос атамана нежным ржанием отзывалась кобыла Победка. В сдержанной усмешке сверкали зубы казаков.

— Весть подает...

— Ночь темна́, лошадь черна́, еду-еду да пощупаю — подомной ли она? — рассказывал Куземка.

Казаки перемигивались и жались поближе к баляснику.

— Бородатый, говоришь?

— Ну-ка, ну, развези!..

Угадав в голосах насмешку, Куземка замолчал и на все упрости товарищей отмолчался. Батыжничать он любил по ночам у костра или при блеске звезд, а так был несловоохотлив.

Пылал и сверкал над омертвевшей степью полдень. Взъерошенный перепел сидел в травах, раскрыв горячий клюв.

Приморенные кони начали спотыкаться.

У степного озерца, в тени онемевших от зноя ясеней, ватага стала на привал.

Наспех похлебали жиденького толокна, пожевали овсяных лепешек и провонявшей лошадиным потом вяленой баранины, — нарезанное тонкими жеребьями мясо вялилось под седлами, — и, выставив охраняльщика, полегли спать.

Степь

травы

марево

стлалась над степью великая тишина, рассекаемая порою лишь клетотом орла.

Спутанные кони, спасаясь от овода, по уши заходили в озеро и, вздыхая, скаля зубы, тянули теплую мутноватую влагу.

Вольно раскинувшись по примятой траве, на разные лады храпели казаки.

Жара мало-помалу свалила. Сквозные светлые тени ясеней легли на дорогу, загустели синеющие дали, дохнуло прохладой.

Снова тронулись пустынной степью.

Путь-дорога, седые ковыли...

Ехали — как плыли — в сумерках. Ехали и по́темну, слушая тишину да крики ночных птиц.

Во всех звездах горела ночь.

Ехали молча.

И снова поредела ночная мгла, степь залило росой, как дымом.

В лоб потянуло свежим ветром.

Ярмак привстал на стременах и, раздувая на ветер тонкие ноздри горбатого носа, сказал:

— Ну, якár мар, Волга!

И не из одной груди вылилось подобное вздоху могучее слово:

— Волга...

Дремавшие в седлах гулѣбщики приободрились, пустили коной рысью и загайкали песню.

Степь

простор

безлюдье...

На курганах посвистывали суслики. В небе маленькие, словно жуки, плавали орлы. Ветер колыхал траву, гнал ковыльную волну.

Впереди показались, выгибая щетинистые хребты, нагорья, ныне они голы, а в былое время стояли в крепких лесах.

— Волга...

По нагорному приглубокому берегу ватажка направилась к устью речки Камышинки.

На луговой стороне в сочной зелени трав сверкали, тронутые легкой рябью, густой синевы озера; зеленым звоном звенел подсыхающий ковыль, и далеко-о-о внизу, как большая веселая жизнь, бежала Волга...

2

Заросшая папоротником тропа вывела Ярмака на поляну, нагретую солнцем, — малиновым духом так и обдало казака. Увидав в чаще ивовые шалаши и землянку, он закричал:

— Гей, гей, есть ли тут крещена душа?

Из землянки вылез до глаз заросший седым волосом старик. Он был бос, и наготу его еле прикрывало ветхое рубище. Из-под трепещущей руки долго вглядывался в пришельца.

— Али не узнаешь, Мартьян Данилыч, своего выкормыша? — не в силах сдержать радости, кинулся к нему Ярмак и загремел: — Га-га-га-га-га, здоров будь, атаманушка!

— Чую, с Дону казак...

— Эге.

— Ба-ба-ба... Да никак ты, Ермолаюшко?

— Я и есть.

Они обнялись и поздоровались по ногайскому обычаю, троекратно — как кони — кладя друг другу голову с плеча на плечо.

— Жив-здрав?.. Принимай гостя.

— Рад гостю.

— Поклонов тебе приволок и с Дону и с Волги от ножевой орды, от рыбацких куреней...

Ярмак сбросил баранью шапку, заскорузлой от лошадиного потаполой чекменя отер разгоряченное лицо и уселся в тень ракитова куста, подвернув под себя ноги.

— Помню я тебя, Ермолаюшко, вот каким, а ноне гляди-ка какой вымахал!.. Поди-ка и сам в атаманах ходишь?

— Эге,— довольно усмехнулся казак.

— Так, так... Узнаю сокола по спуску... Велика ль артель?

— Чубов под сотню.

— Где станом стоите?

— На Булане-острове.

— Доброе место, рыбы невпробор и от лихого глаза укрыто. Когда-то мы с твоим батюшкой, Тимофеем, два летичка на Булане пролетовали и ох не молвили...

Веткими зелени старик застлал земляной стол и поставил перед гостем деревянную чашку с медом да чашку с ключевой водой.

— Не обессудь, сынок, без хлеба живем... Леса у нас дикий, места просты, голосу человеческого не слышно, следу зверьего не видно, змеиных ходов — и тех негу.

Ветхие сети были раскинуты по кустам орешника. Ветрилась нанизанная на лычки пластанная рыба, светлые капли, вспыхивая на солнце, скатывались с рыбьих хвостов. В жирных лесах травах дух стоял ядреный да сычный. Из облепленного пахучими травами дупла по лубяному носку стекал мед в долбленную бадейку. Под липами гудели пьяные пчелы.

— А народы где?— спросил Ярмак, оглядывая рыбацкий стан.

— Уплыли к монахам рыбу на хлеб менять, в полуутра возвратятся... Што, Ермолаюшко, с орды вестей?

— Ордынцы ныне приутихли, не слыхать.

— Так, так...

— Лонись ходили мы, волские и донские атаманы, ногайцев проведывать и в устьях Яика сожгли столицу басурманскую, Сарайчик... За таковое удалство царь хвалющую грамоту на Дон прислал, а на Волге атамана Бристоуца да атамана Иваньку Юрьева рассказал, а они ни сном ни духом про тот наш поход не ведали.

— Лют царь-государь, хитер и лют.

— Так-то ли лют, и не сказать! Нас на орду натравливает, ордынцев к себе на дружбу зазывает и торговлишку с ханами ведег.

— Старая песня!..— Мартьян крепко потер на лбу рубец сабельной раны, и в его еще не утративших зоркости глазах как тени промелькнули какие-то воспоминания. — Ну, а што с Руси вестей?

— Шатается народишко, ровно чумовой. К нам на Дон бредут и от нас бредут.

— Так, так...

— Шлет Москва до низовых и верховых атаманов ласковые грамоты, зовет оберегать Поле от ордынцев и за ту службишку порошу, сукна и хлеба сулит. А воеводы с большого ума да по государеву указу отгоняют нас от русских городишек, ровно бешеных волков, а где поймают — там и языки урезают, ноздри рвут, батогами бьют, на дыбу дыбят и в удаленные монастыри да заводы в ссылку шлют для крепкого береженья.

— Чего же хочет царь Иван?

— Клонит нас гроза-царь на покорность.

— Вот оно што!

— Вредительны-де ему разбои наши.

— Угу...

— Мы-де его с басурманами ссорим и торговлишку рушим. — Ярмак крутнул головой и залился каленым смехом, ровно гору камней раскатил. Нрава он был веселого и бешеного, сила распирала его, тугие кудри на его голове вились из кольца в кольцо. — Николка Митрясов, Раздорской станицы казачок, прислал из Суздаля писаную грамотку... Сидят, слышь, наши казаки в тюрьме земляной, и по цареву велению корму им совсем не дают, волочатся в наготе, босоте и голодной смертью помирают.

— Не ведаю, какой ноне народ пошел, — сказал Мартьян, — а мы, казаки старого корня, бывало, самому богу не кланялись, хошь и верили в бога крепко.

Ярмак потянулся — хруст по костям пошел.

— Ордынцы присмирели, скушно на Дону...

— Вольному воля, бешеному поле.

— Скушно на Дону, а на Волге тесно. По горам сторо́жи порасставлены. У Караульного яра, на Пролей-Кашах и выше воеводы, слышно, остроги городят. Сила поразгуляться просится... Уговор держим кверху плыть — за сурскими осетрами, за камскими бобрами.

— Добро удумали...

— Худа не умыслим... Айда-ка, Мартьян Данилыч, с нами! Ты казак видалый. Будешь у нас над атаманами атаман и попом тож... И рыбакам твоим дело найдется. Будем плыть, песни петь и рыбку ловить.

— Хе-хе, братику, упустия время да ногой в стремя?.. Брюхо есть хотело — ел, брюхо пить хотело — пил, сердце кровей жаждало — крови лил, а ноне алчет душа моя покою и молитвы.

— Наказано мне приволочь тебя, — с веселостью в голосе сказал Ярмак. — Не пойдешь охотой — силóm уведу.

Старик замахал руками.

— Куда мне, дуплястому пню?.. Плывите, молодые, добывайте зипуны мечом да отвагою, а я помолюсь за веру Христову, за полоняников, томящихся в неволе басурманской, за повольников, слепнувших в тюрьмах земляных и на дыбе стоном исходящих...

— Помехи молитве твоей и в походе чинить не будем, молись во всю голову — бог кругом видит, кругом слышит.

— Любезный Ермолаюшко, зверь под старость — и тот, почувяв смерти приближение, сноровит от шайки отбиться и умереть в одиночестве, а ты меня сызнова на мир волочешь?

— Ну, ты поди-ка еще чарки не прольешь и любого коня объездишь...

3

С понизовья грозил ветер. Стремил Волга к далекому морю бег мутной волны. Пустынны и глухи лежали берега, над песчаными косами курились пески, текли синеющие дали... Крутой ветер буянил на просторе, кипящие волны были похожи на пирующих победителей какой-то несметной орды.

Над Буланом-островом гам и гал и дым многих костров.

Хмельная волна хлестала в берег. Столкнутые с отмели, мо- тались на волне будары¹ и насады², лодки плавные и лодки клад- ные.

Артельный уставщик Фока Волкорез похаживал по берегу да прикрикивал:

— Соколики, ходи веселее!..

Босые и оборванные бегали по хлюпающим дощаным насти- лам, грузили кули толокна да гороху, связки вяленого сазана яицкого да свежеловки малосольного сазана астраханского, рыболовную и звероловную снасть, выделанные из цельных свиных шкур чувалы с порохом и свинцом да всякий воинский припас.

На высокой корме двенадцативесельной атамановой каторги влаивал от нетерпенья Орелко, седой кобель с волчьим зубом. В походах он вырос, в походах успел и состариться. За свою недолгую собачью жизнь побывал в Персии и Турции, лакал воду из Терека, ганивал кабанов в придунайских гирлах, и по всем заволжским аулам не было, кажется, ни одного пса, с кото- рым Орелко не грызся бы.

Дела доделаны, песни допеты, казаки шумной ватагой сошлись к атаманову шатру.

Мартьян, обратившись к востоку, читал напутную молитву.

Ватажники молились в глубоком молчании, задубевшие лица их были суровы.

— Избави нас Иисус Христос и царица небесная от огня, меча, потопу, гладу, труса и хвороби...

После всего, по обычаю, распили стремянную чарку и с шут- ками да смехом пошли к лодкам.

¹ Б у д а р ы — долбленые легкие лодчонки.

² Н а с а д ы — речные суда или большие долбленые лодки с нашатыми по бортам досками.

— Чалки выбирай!

На дощаники были выбраны чугунные плюхи и дубовые с вязанными камнями якоря.

— Ну, якар мар...— повел Ярмак карим дремучим глазом и положил крепкую руку на руль.— С походом, братья!.. Брык копыто, тюк квашня, бери-и-сь!

Мартьян снял шапку и перекрестился.

— Господи благослови.

И все торопливо закрестились.

Весельники поплевали в руки, взялись за весла, ударили, еще ударили и, расправляя кости, принялись неспешно покидывать тяжело стонавшие весла.

Ярмак прошел на нос и, высоко подняв над головой, метнул в воду колодку меду, потом разломил через коленку ковригу ржаного хлеба и тоже бросил волнам в лапы.

Старики, чтобы погладить путь-дорожку, бормоча молитвы, кидали за борт по горсти соли.

Дурашливый Яшка Брень швырнул в воду шапчонку и завопил:

— Волга-а-а, разливные рукава-а-а!..

Бородатый Иван Бубенец, с лицом, забрызганным порохом, точно маком, диким голосом завел песню

подхватили.

Навалился ветер, и заходила, задышала Волга.

Весла были приняты, латаные и рогожные паруса поставлены.

Ярмак покрикивал:

— Держись по струе!..

Ходко шла атаманова каторга, а за каторгой ухлыстывали будары и насады, лодки плавные и лодки кладные.

4

Плыли.

5

Бежала Волга в синем блеске, играючи песчаные косы намывала, острова и мысы обтекала, вела за собой крутые берега да зѣлены луга...

Размах гор

навалы больших лесов.

Дремали над Волгой, карауля тревожный покой Азии, русские городки и острожки.

За бревенчатыми стенами жил и кормился *от слез и крови рода христианского* воевода с челядью.

Жили стрельцы с семьями в своих дворах. Занимались они ремеслами, вели торговлишку, справляли государеву и всякую расхожую службишку.

Жили для души спасения — на слуху острожков — монахи в скитах и монастырях.

Жили татары в слободках, покидая с весны по осень дворища и откочевывая в степь.

Жили, перебиваясь с хлеба на воду, черные мужики и всякий нашлый, гулевой народ.

Жили купцы хлебные, рыбные и всякие иные.

По весне скликались купцы кораблями и, под охраной принаятых людей, большими караванами сплывали к Астрахани и в море — в Турхменскую и Кизылбашскую орду.

Зимами от дыма к дыму и от города к городу и ото всех городов к Москве пробирались обозы с товарами купецкими. Везли воск и сало, пеньку и соленую рыбу, сафьян и кожи воловы, лен, соль и всякую всячину.

Жили.

Воевода над всеми суд и правёж чинил, попы за всех молились, а мужики на всех работали.

Так и жили, не мудрствуя, да еще по зимам люди посадские тешились кулачными и палочными боями, сокрушая друг другу скулы и ребра, — то играла в народе молодая кровь.

С купцов оброк брался смотря по торгам и промыслам. С кабаков и харчевен бралась денежка уловная. И с судов, приставших к берегу с товаром, взыскивалась копеечка побережная. На перевозах, перелазах и заставах тамга¹ собиралась за весчье², померное, явку и за пятно. Да с рыбацких слободок шла в казну гривна волжская.

Катилась деньга из кулака в кулак, из сумы в суму и изо всех сум — в Москву, в государеву мошну.

А в Москве на корню сидел царь Иван.

Вокруг Москвы, на лучших землях сидели царевы согласники — князья и бояре с дружинами.

Любил царь, забравшись на башню кремлевскую, побыть в одиночестве: далеко отсюда было видно.

Там, старыми степными шляхами, в тучах вихрящейся пыли с гиком и визгом летела крымская орда для губительного удара.

Там, от лихости воеводы народ разбежался, и его, государев, город остался пуст.

Там, с далеких наволжских становищ, бесовская сила подняла и замешала покоренные племена кочевников, и они, преступя многие клятвы, уже седлали коней и клинками высекали искры мятежа.

¹ Тамга — особый сбор за приложение клейма.

² Весчье — пошлина откупщика за торговые весы.

Там, соседствующие страны, поддавшись дьявольскому наваждению, замыслили против Москвы недоброе.

Там, знатные потомки удельных князей, таясь воровски по углам, раскидывали тенета заговора; да они ж, сбежав в чужие земли, ярились оттоль, лаяли и всяко поносили своего государя.

Там, буйствующие казачишки, колеблясь в вере и свожжавшись с разноязычным сбродом, шли на города русские с разбойным приступом...

Печалился царь Иван о неустроении царства своего и все придумывал, как бы сотворить земле русской приращение, прибыточную торговлю со всякими странами завести и веру православную распространить, дабы возвеличилась Русь над всеми народами и языками.

На холмах лепились сторожевые городки, посады и слободки, бревенчатыми стенами да рвами обнесены.

Плутала Русь в лесах и болотах. Качали ее ветра, секли дожди, заметали злые сиверы.

Облачившись в смиренные одежды, в слезах молился царь. Деньги и дарующие грамоты по городам рассылал; сам ездил по монастырям, богадельням и тюрьмам, кормя из рук убогих, прокаженных и злодеев; да по цареву ж указу царицы холуи развозили на телегах по улицам московским милостыню.

Лились звоны печальные

галчиный крик...

Но скоро, по слову летописца, *возненавидя грады земли своей*, скакал царь с опричниками по дорогам русским и в исступлении ума крушил города, жег деревни, побивал и топил множество народа и неугодных вельмож. Так в лето 1570 года были подняты на меч Клин, Тверь, Псков и Новгород.

В страхе и трепете, подплыв кровью, лежала земля русская.

В кремлевских же палатах жарко горели свечи, гремели песни подблюдные, плясали девы наги. Веселился царь, веселились и его согласники, а на помостах стучали топоры, рубя — и черным людишкам, и попам, и боярам — головы.

Из Москвы на всю страну шла гроза и милость царская.

Войны, то затихая, то разгораясь, велись непрерывно из года в год.

Под звоны колокольные полк за полком и рать за ратью гнала Москва...

С разудалой песнью и пьяною слезою выстудали пеши, выступали конны...

— Прощай, прощай, Москва!

Далеко вослед уходящим неся плач и стон, и долго со стен кремлевских знатные москвичи махали шапками.

— Час добрый, братцы, спаси Христос!

Заранее чая иноземной торговли посрамление и прикидывая в уме грядущие барыши, расходились купцы по лавкам.

Ратники же, миновав заставы и слободки, все еще оборачива-

лись и, бормоча во хмелю слова молитвы вперемежку с руганью, крестились на церкви.

Дружины, позатираясь на дорогах от множества, валом валили на крымцев, из лесов муромских выходили на казанцев, за Смоленском встречались с ляхами и литовцами.

С иконами на древках и с хоругвями, развеваемыми ветром, под свист и брань бросались дружины на приступ, и, опрокинутые встречным потоком картечи и копьем рыцаря, разбегались дружины по степям, лесам, болотам, где и мерли и мерзли от наготы, духоты и бескормья.

Не раз русские были биты, и сами бивали.

Многие язЫки, как потоки, вливались в русскую реку, увеличивая мощь и многоводность этой реки.

Шумели над Русью беды.

Набеги кочевых орд и пожары опустошали страну. Моровые поветрия, голод и жесточЬ правителей истребляли народ, но народ был молод и нестробим, как трава.

Большого давил на́больший, бо́льшие ехали на середних, середние обдирали меньших. Меньшие же, черные людишки, жили по пословице: «Не страшно нищему, что деревня горит — взял сумку да пошел». И когда становилось невоготу, сбивались лапотные людишки в шайки и брели куда глаза глядят, кормясь бурлачеством, разбоем и войнами.

Дика́ стояла земля

жил на ней дикий народ

управляемый дикими властителями.

Царь за всех думал, князья и люди ратные воевали, а мужики пашню пахали, траву косили и всякие дела делали, — истари крепка стоит Русь горбами мужичьими.

6

Валила по Волге волна волговáя, мыла вода желты пески, кусты со кустами споласкивала. Ветры трепали березу, рябину. Раздували ветры дубравы зеленые.

Берега пусты́, леса густы́.

На перекатах, на быстрой воде, в лямочных хомутах хрипели, бились бурлаки.

Вы, робята, не робейте!

Свою силу не жалейте!..

Э-э, дубинушка, ухнем!

Эх, зеленая сама пойдет!

Идет

идет...

Идет

идет...

Идет

идет...

Сама пойдет
Идет идет... Идет
идет... Идет
идет...

С баржи — прикащик!
— Оравушка, бери дружно!
Запевала заводил:

На лугу стоит Васёнка,
Ищет, ищет с поросенка...

Подхватывали:

Дубинушка, ухнем!
Зеленая сама пойдет!
Идет пойдет... Идет пойдет...
Идет пойдет...

Сама пойдет.
Пошла пошла... Пошла пошла...
Пошла пошла... Пошла пошла...

С баржи — купец:
— Робятушки, старайся!
Вел ватагу гусак:
— Не засарива-а-ай!..
В хвосте ватаги — косной:
— В ногу!

Эх ты, тетенька Настасья,
Раскачай-ка мне на счастье...
У-у, дубинушка, ухнем!
У-у-у, зеленая, сама пойдет!
Идет идет... Идет идет...
Идет пойдет...

Сама пойдет,
Идешь пойдешь... Не хошь — пойдешь... Пошла пошла...

Ухали с утра дóтемна.

В понизовье бурлаки рядились:

— Куски не в счет... Ты, хозяин, во всяк день два горячих варева нам выстави.

— Не постою.

— Опять же, думай не думай, а на холоду да в сырости без вина нам не вытерпеть.

— Не постою, братцы. Поживете за мной, как за каменной горой. Только уговор: чин блюсти и не буянить.

— Выстави нам во всяк день чарку отвальную, чарку причальную, да по большим праздникам и в холодные ночи по третьей чарке — для здоровья.

— В таком деле я не спорщик: ведро на день выставлю — хошь пей, хошь лей, хошь окачивайся.

— Положь на путину по штанам да по рубахе, да на неделю по двое лаптей, да по семи рублей на голову за всю нашу работу.

— Не жирно ль?

— Какое, батюшка!

— По семи рублей?.. Таких деньжат у меня и в заводе не бывало. Коли с трешницы скинете по рублику — с богом.

— Побойся бога, Фрол Кузьмич, подумай-ка: где Астрахань, где Ярослав!

— Путина великая.

— Как не великая! Переть да переть... Посудина твоя гружена тяжело. Утром поту, хлебнем слезы...

— Дойдем полегоньку.

— Легко сказать!

— Дойдем, где способными ветрами, где как.

— Вестимо, пойдем так дойдем... Мы тебе, Фрол Кузьмич, уважим, да и ты нас, твоя милость, копейкой не прижимай.

— Стоните, сударики, не стоните, а из меня и гроша ломаного не выстоните.

— Ну, по шести рублей с полтиною...

— По три рублика на рыло, да накину вам на пропой по медному пятаку.

— По шести рублей.

— Трешница.

— Пять с полтиною.

— Трояк.

— Пять рублей.

— Трынка.

— И по четыре не дашь?

— Не дам.

Бурлаки переглядывались, шептались, и гусак, хлеснув шапчонкой о землю, невесело выговаривал:

— Эх, где наше не пропадало! Плыть — так плыть!.. Давай, хозяин, гладь дорогу.

Купец выставлял угощенье, ватага пропивала свою волю.

Гуляли день, гуляли ночь, дурными голосами орали пропащие песни.

На заре гусак поднимал зыком:

— Хомутайся!..

Артельный козел привозил с баржи бочонок вина полугарного, и бурлаки, похмелившись, впрягались в хомуты.

— Берись!

— Взяли.

— Ходу!

— Разом, эх, да!..

Тяжел первый шаг, а там — влегли и пошли, раскачиваясь, пошли, оставляя на мокром песке клетчатый след лаптя. Набегала шаловливая волна, зализывала бурлацкий след.

Секли бурлаков дожди, сушил ветер.

На тихих плесах шли ходко, верст по сорок в пряжку, а на перекатах и у бычков — где вода кипмя кипела — маялись, сволакивая порою посудину с камней или с отмели.

С-за угла копейку срубим,
На нее краюху купим...

Э-эй, дубинушка, ухнем!
Э-да зеленая сама пойдет!
Дернем
 подернем...
 Дернем
 подернем...
 да еще разок
 поддернем...

Идет-ползет!

Ух

ух...

Ух

ух...

Уу

ухнем!..

Бывало и так.

Ночью с берега кричали:

— На барже-е-е-е-е-е-е!..

Караульный не вдруг отзывался:

— Што орете?

— Нам самого.

— Спит.

— Ну, Сафрон Маркельча.

— Спит.

— Буди.

— Пошто?

— Буди давай!

Слышно было, как караульный, шаркая босами, проходил на корму в жилое мурье. На борту появлялся старый прикащик, сладко зевал в непроглядную темень и окликал:

— Кто там? Чего там?..
 — Сафрон Маркелыч, яви божеску милость, выстави по чарочке... Ззадрогли!
 — Не припас, не обессудьте.
 — Ну, хошь полупивца по ковшику, погреться.
 — Не наварил, не прогневайтесь.
 Бурлаки снимали шапки.
 — Удобрись.
 — Ззадрогли!..
 — Выкати хошь бочонок квасу пьяного.
 — И квасу не наквасил, не взыщите.
 — Што ж, пропадать?
 — А вы, глоты, зачерпните водочки из-под легкой лодочки да вскипятите, вот вам и грево.
 — Эх, рядил волк козу
 Сафрон Маркелыч, выслушав их богохульную брань, сплевывал, мочился прямо за борт и, дернув, уходил к себе в мурье.
 — Вишь, распирает черта. С хозяином поди гороху наперлись, а нас на рыбке доржит.— Бурлаки кутались в лохмотья и рогожи, гнулись на холодном песке, кляли белый свет...
 Чуть зорька — гусак поднимал:
 — Хомутайся!

Укачала уваяля,
 Нашей силушки не стало.

Дубинушка, ухнем!
 Зеленая сама пойдет...

Идет

пойдет...

Идет

пойдет...

Идет

пойдет...

Сама пойдет...

Дернем

поддернем...

Дунем

грянем...

Да еще разок

У-у-ухнем!..

Солона ты, слеза бурлацкая!

Приходили до места, — мясо на плечах ободрано до костей, деньги забраны и прожиты, лапти стоптаны, рубахи вшами съедены.

Вязали плот и опять сплывали на низ.

По Волге, Каме и Оке

по Дону, Днепру и Волхову

шли бурлаки, погрязая в болотах, утопая в песках, дрожа от холода и задыхаясь от жары. По всем рекам русским, подобна надсадному храпу, кружила песня да трещали хребты бурлацкие...

Летела Волга праздничная да гладкая...

На стрежне играли солнечные скорые писанцы. Ветришка по тихой воде стлал кошмы, гнал светлых ершей. На перекатах взметывался жерех, гоняя мальтявку. Там и сям, как рыжие бычьи шкуры, были раскиданы песчаные отмели.

Над Волгой город

в городе торг.

Лавки меховые с растянутыми на рогатках звериными шкурами, прилавки с сукнами и белеными холстами, да межлавочья заезжих купцов и ремесленников.

Широкие скамьи были завалены калачами, кренделями и подовыми маслеными пирогами.

От рыбных шалашей несло злой вонью, крутили носами и отплевывались проходившие именитые горожане.

Телеленькали на церквах колокола и колокольцы, крепкий хмель бродил в толпе.

Ряд шорный, ряд бондарный, ряд горшечный, ряд блинный. Люду праздничного — не продохнуть.

Бочки квасные, корчаги с говяжьими щами да киселями. Высоко взлетали качели с хохочущими девками и парнями.

Баба-ворожея гадала на бобах, две девоньки-подруженьки глядели ей в рот и от страха дух не могли перевести.

Ребятишки на разные лады дули в глиняные свистульки, кро-вопуск ржавой бритвой отворял кровь стрелцу.

Божба торговых людей, крики охрипших за день зазывал. Старуха-лепетуха продавала наговорную траву.

Табунами валили нарядные девки, грызли сладкие рожки, шелкали орехи. Поводыри водили слепцов.

В стороне от торгу, на поляне дымились ямы дегтярей и смолокуров. В черных кузницах сопели горны, тюкали молотки.

Ползли калеки и нищие, голоса песни скорые и песни растяжные. Пьяница храпел под лопухом у забора.

До ушей перемазанный купоросными чернилами подьячий, в долгополом, оборванном собаками кафтане и в шапке клином, набивался за медный трешник хоть на кого настроичить жалобу, клязузу или донос.

Одну зазевавшуюся девку окружили бурлаки. Вихрастый буян ухватил ее за наливные груди и крикнул:

— Ребята, ведьму пымал!

— Отзынь, ирод!

— Ведьма.

— Што ты, злыдень, напустился? Поди прочь! — отбивалась девка. — Я скорняка Балухина дочка.

— Рассказывай, сарафаночка! Али забыла, — видались мы с тобой в крещенскую ночь на Вакуловой горе?

— Пусти, змей!

— Ведьма!

Заготовали бурлаки:

— А ну, погляди, нет ли у ней хвоста?

Буян облапил красавицу, завернул ей юбки на голову и, шлепнув по румяному заду, крикнул:

— Крещена!

Плачущую девку отпустили, а сами со ржаньем и шутками гурьбой повалили в кабак.

Окруженные стражей стрелецкой, брели колодники — выпрашивали подаянье, под звон и грём кандалный со скорым причетом и завывом распевали псалмы и жалобы:

Гнием мы и чахнем
В стенах тюрьмы.
Нас гложут и душат
Исчадия тьмы,
Не виден закат нам,
Не виден восход.
Православные братья,
Пожалейте сирот...

Кто бросит тюрьмарям пирог обкусанный, кто — яблоч-заедок, кто — чего.

Приехавшие из дальних заволжских скитов молчаливые монахи толкались в народе, выменивали товары на иконы и книги рукописные.

В тени каменной церковной ограды на дорожных сумах отдыхали седые от пыли бездомки. Над костром в котелке булькал и пенился грязным наваром шулюм — жиденская кашица-размазня. Полунагой нескладный парень выжаривал над огнем вшей из рубахи.

— Гинь, бесопляс, натрясешь тут мне, — отгонял его суетившийся у котла старичишка.

— Наваристее будет, с говядиной! — ухмыльнулся парень.

Старик хлеснул его горячей мутовкой по голой спине. Парень с воем отскочил, ногтями соскоблил прикипевшую к спине кашу и съел ее.

— Уу, облизень! — погрозил старик.

Рядом переобувался мученый мужичонка с козлиной мордой и глазами, полными печали.

— Отколь бредете, старинушка? — спросил он.

— Из Калуги, родимый.

— То-то, слышу, разговор у вас тихий да кроткий, расейский... Тутешний народ, господь с ним, буен, и голосья у всех рыкающие.

— С благовещеньева дня идем, отощали.

— Далече?

— Куда глаза ведут.

— Жива ль земля калужская?

— Не спрашивай, милостивец.

- Туго?
- И-и-и, не приведи бог!
- Голодно?
- Чего не голодно! Оков ржи пятнадцать алтын, овса оков десять алтын... Которые с семьями, помолясь, в Литву побрели.
- Худо.
- А вы чьих земель будете?
- Мы, отец, костромские.
- Куда путь правите?
- На низ, бурлаковать.
- Как у вас?
- Глад и мор, мается народ.
- Ишь ты...

Мужик пылью присыпал созревшие язвы.

— Ногами вот разбился, затосковались мои ноженьки.

Подостлав дырявый армяк, мужик блаженно разлегся, повел неспешный рассказ:

— Прошлым летом налетел в наши края белый червь, дотоле не виданный: сам гол, головка мохнатенька, похож на мотыля. И такая-то ли его насунула тьма — ни реки, ни огонь не сдержали. Объел червь нивы, траву в лугах, мох на болотах, листву древесную и иглы ёлные... Старого и малого страх ума объял. Подняли мы иконы, раскрыли могилы праведников, кинулись строить церкви... За тяжкие прегрешения отвратил господь от нас лик свой. Земля почернела, деревья посохли, всякая ползающая и бегаящая тварь сгибла, разлетелась птица... Осень еще перебивались кое-как. У кого был запасец — подъедали липовый да рябиновый лист, древесную кору и молотую рыбу кость. Зима пришла и смерть с собой привела. Поедали кошек, собак и глину. Человечи, поснимав кресты с шеи, поедали человек. От голоду и морозу на улицах и по дорогам многие помирали, и некому было хоронить мертвых.

— Страсти! — перекрестился старик и, выхватив из огня котелок, позвал глазевшего на торг парня: — Епишка, шулюм простынет.

— Простынет к завтрашнему в брюхе, — отозвался Епишка, подходя и отвязывая от пояса большую обкусанную ложку.

— Пододвигайся, похлебай с нами горяченького, — пригласил старик костромского.

— Спасет Христос!

Мужик подсел, вывязал из своего мешка окаменевшую ржаную горбушку, круто посолил ее и вздохнул:

— Идем-бредем, и конца-краю нет земле русской, а жить серому негде и не при чем. Хлеба много, а жевать нечего! Дивны дела твои, господи!

И все трое припали над котелком.

Торг шумел

торг гремел.

Со свистом и воплями шлялась по торгу буйная ватажка скоророхов, глумцов, чудесников и смехотворцев. Бороды мочальные, маски лубяные раскрашенные, плетенные из соломы островерхие колпаки и высокие, наподобие боярских, шапки. Гусляры на гусельках брэнчали, гудошники в гудки гудели, а дудошники на липовых да камышовых дудках выговоры выговаривали. Иные в сурьмы выли, иные в накры и бубен били, иные кувырканьем народ потешали. А впереди-то в поддевке-разлетайке, легок на ногу, притопывал и на губах подыгрывал уклюжий плясунок Славка Ярец.

Народ за позорами валом валил.

— Рожа-то, рожал!

— Во, рожал! Всем рожам рожал.

— Хо-хо-хо, хо-хо-хо!..

— Гляди, Сысой, вот того ровно черти трясут.

— Свят, свят!

— Провальные.

— Ухваты ребята.

— Га-га-га!

— Дивовище, брат...

Заскорузлые руки разматывали портянки, доставали из-под штанин черные медяки и кидали в бубен, с которым шел по кругу, кланаясь, ученый медведь.

Ватажка остановилась перед рыбной лавкой и в лад заголосила:

Уж как купчине Ядреюшке

Слава!

Чадам и потомцам евоным

Слава!

Рыбный купец Ядрей вынес игрецам тухлого судака.

— На игрища вы люты, на дело вас нет.

— Эка выворотил! — Ярец швырнул рыбину через голову купца в лавку. — Сам жри, урывай-алтынник!

Позоры принялись петь срамные песни и всяко охальничать, — девки и бабы от лавчонки и из всего рыбного ряда разбежались. Кривой и косоротый мальчишка-глумец ухитрился поджечь Ядрею бороду, после чего ватажка, взывав, двинулась дальше.

Разъезжал по торгу верхом на раскормленной лошади сын боярский, Пантелей Чупятый, и потешался тем, что разбрасывал на все стороны польской чеканки серебряную и медную монету, которой, по слухам, он привез с войны два воза.

Народ кидался за деньгами в драку-собаку, рыча, давя и калеча друг друга.

Чупятый захлебывался смехом, щеки его были мокры от слез.

На помосте палач сек мужика.

Кругом тесно стояла притихшая толпа. Иные вздыхали и со страху крестились, иные, чтоб умиловить палача, бросали на помост деньги.

Кнут, расчесав мясо, с пристуком хлестал по костлявой спине, запавшие бока ходили, как у загнанной лошади.

Стоны мужика помалу затихли.

— За что он его?

— За рыбу... Помалкивай, тетка!

— Забьет.

— Кровопивцы!

На голос заплакала баба

толпа загудела и придвинулась.

— Стой! — рявкнул угрожающий голос подвыпившего гусака бурлацкого Мамыки. Своим богатырским ростом он возвышался над всеми, кудри лежали на его непокрытой голове в три ряда, бровровая борода была полна репьев и соломы. — Стой, душегубец!

Народ качнулся, зашумел:

— Насмерть забьет.

— Всю шкуру слупил.

— Ахти нам, православные!

— Всех переведут...

Голова стрелецкий зыкнул на бурлака:

— Эй, борода, не баламуть народ!

— Я такой...

— Вижу, какой... Али сам захотел на кобылу лечь?

Мамыка промышчал что-то невнятно и, оттолкнув стрелецкого голову, полез на помост.

Палач шагнул ему навстречу, кнутом играя.

— Куда прешь, неумытое рыло?

— Не костери, ты меня не кормил.

— Сойди прочь!

— Силой не хвалюсь, а тебя не боюсь.

— Цыц! — палач замахнулся.

— Ударь, попытай.

— Держись!

Кнут хлеснул

еще хлеснул

и еще...

Мамыка стоял недвижно. Посеченная в ленты посконная рубаха сползла с его крутых плеч, хмельная улыбка блуждала на растерянном лице. Но вот он сердито засопел, маленькие соминные глазки его блеснули, и, вдруг повернувшись к палачу, глухо выговорил:

— Будя!

— Не пьешь! — распалившийся палач в ярости хлестал бурлака и по рылу, и по глазам, и по чему попало...

Мамыка шагнул, поймал своего мучителя за руку и, выломив ему руку в локте, крикнул:

— Бей приказных!

Покатились голоса:

— Бей!
— Бей, чтоб не жили!
— На саблю да на пистолю — дубинки Христовы!
Мамыка, ухватив палача за ноги, бил его с размаху головой
о столб.
— Дай ему!
— Ломи, ребята!
Под напором многих плеч помост затрещал и повалился.
Толпа взвыла и понесла.
Смяла толпа стрельцов и устремилась громить торжище.
Из лавок полетели, расплываясь, легкие меха, сувой сукон,
связки сушеной рыбы и грибов.
Народы, будто по уговору, бросились к кабакам, выкатывали
бочонки с зеленым вином и тут же, высадив днища, пригоршнями и
шапками расчерпывали вино.
Колодники сбивали камнями с ног деревянные колодки и
железные оковы.
Там и сям запылали дома.
Над городом взмыл сполошный звон, ударила вестовая пушка,
и гулкое эхо пошло разгуливать по горам, замирая в отдалении.
Ко двору воеводы сбегались и скакали стрельцы, разматывая
с ружейных замков просаленные тряпки.
— На Волгу! — прогремел призыв Мамыки, и он побежал к
берегу, унося на руках стонавшего, засеченного в полусмерть
мужика.
— На Волгу!
— По стругам!..
За Мамыкой бежали бурлаки, колодники, ярыжки кабацкие,
бездомки и побродимы гулящие.

8

Плыли, кормясь рыбной ловитвой и отвагою.

9

.....

10

Гремит и блещет Волга, с ветра пьянá.
Летит Волга, раскинув пенистые крылья... Волна громит-
качает берега, волнуются-кипят кусты, да э-эх да! стонут синие
леса.

Ветер выдувал паруса

простор просил песни.

Ночуй, ночуй, Дунюшка,
Ах, да ночуй, любушка.
Ты ночуешь у меня,
Подарю, дружок, те я...

Ах, да ты ночуешь у меня,
Да подарю, дружок, те я...
Подарю дружку сережки
Я серебряные.

Подарю дружку сережки
Я серебряные,
А другие золотые
Со подвесочками...

Ах, да другие золотые
Со подвесочками...
Я на славушку пойду,
Да жемчужные куплю...

Э-эх, как я в разбой пойду,
Я жемчужные куплю...
Соглашалася Дуняша
На Ивановы слова...

Ах, да соглашалася Дуняша
Да на Ивановы слова,
Ах, ложилась Дуня спать
На Иванину кровать...

Ах, ложилась Дуня спать
На Иванину кровать.
Мало Дуне поспалось,
Много виделось...

Бежала Волга в крутых берегах. Дружным строем, играя пенными завитушками, катились волны. Намытые корни свешивались в воду, как бороды вросших в землю богатырей.

Над Волгой, под бурями и грозами, невозмутимо стояли широкоплечие дубы, похожие на мужиков в праздничных кафтанах. Тяжелые струги бежали косяком.

— Яры, — показал Мартьян в сторону, — омуты да уямы, — само место, чертям притон.

— Ну-у-у?

— Да-а-а... Проплывали тут наши низовские атаманы, Тришка Помело да Федор Молчан, и, попутай их бес, заварили замятню, подрались и потопли оба. Доныне по ночам из-под коряг стон слышен.

— Царство небесное, вечный покой! — перекрестился Иван Бубенец.

Плыли.

— А вон и Соколиные горы... За ними легла Уса-река да речка Усолка. В той Усолке соляные ключи бьют.

С горы, подобна ручью, стекала виазь каменистая тропа.

— Девичья тропа.

— А чего она так прозывается? — в голос спросили два дружка, Полухан и Серега Лаптев.

Мартьян засыпал в трубку, выделанную из коровьего рога, горсть смешанного с вязовой золкой табаку и поведаль:

«...День за день идет, как трава растет. Год за год идет, как вода текет...

Самые старые старики сказывали, будто в давних годах под тем вон горелым осокорем жил рыбак Дорофейка с дочкой Забаушкой.

Дорофейка рыбу ловил, дочку кормил. Забава пиво варила, портки на батю мыла, да все на бережке посиживала — на воду глядела, воду слушала, казака-бурлака Игнашку поджидала.

И такая-то ли гожая да голосистая девка росла, — сокол спускался из-под облак слушать песню ее, и осетры выплывали со дна реки зреть на ее красоту.

А за горами, в шатре с золотой кистью, жил татарский державец Чарчахан. Слыл он славой и богатством, лихой был аламанщик ¹, не чаял ни коней своих изъездить, ни удаль свою размыкать, а вот, как делу быть, и он попал в перетурку.

Объезжал Чарчахан кобылу Подыми-Голову, и вынеси она его на Волгу. Увидел татарин Забаву — ахнул. И черти в горах Соколиных, передразнивая его, ахнули. Борода его крашенная от радости сразу начала в кольца завиваться... Хлеснул он кобылу, залился к своему кочевью и песню басурманскую залотошил.

Наутро опять приехал.

— Молодуха, дай испить.

Девка ему и говорит:

— Лакай, Волга большая, а ковша поганить тебе не дам.

Сказала так-то, да и пошла.

Поглядел ей Чарчахан вслед, крикнул:

— Айда, баская ², со мной! Будешь кумыс пить, салму ³ и бишбармак ⁴ ашать, меня целовать...

— Тьфу!

— Будешь жить со мною в хороше да в радости. Большой шатер, золотые махры...

— Тьфу!

— Подарю тебе сапожки казанских козлов — окованный носок, серебряна подковка...

— Тьфу!

— Подарю бухарский кушак с кистями, как поток...

Повела на него девка серым глазом и еще плюнула.

¹ Аламан — набег.

² Баская — красивая, пригожая, нарядная.

³ Салма — еда вроде лапши.

⁴ Бишбармак — вареное и крошеное мясо с прибавкой к навару муки или круп.

Урезал Чарчакан плетью кобылу свою Подыми-Голову и погнал ее во всю ноздрю лошадиную, грива стоём встала.

Не спится татарину, не ложится.

Чуть заря занялась, как бурей понесло его опять на Волгу.

— Во сне тебя видал, — говорит, а самого ровно бересту на огне ведет. — Во сне видал — смеялся, проснулся — заплакал...

— Тьфу!

— Снаряжу караван с товарами, и поедем мы с тобой из земли в землю. Ты будешь там, где буду я. И я буду там, где будешь ты. Ветра всех степей будут обдувать нас, будем пить воду из всех колодцев. Солнце поведет нас через горы и пустыни, звезды будут указывать нам дорогу. На привале мокрым рукавом ты оботрешь мне подмышки и пузо, разуешь меня, раскуришь кальян да ляжешь со мною...

— Тьфу!

— С тобой никакая беда не сокрушит меня, как ключ, бьющий из-под камня, не разрушает гору. Будешь пить со мной из одной чаши, есть от одного куска, дыхание свое мы будем смешивать в одно. Мои богатства — твои богатства. Последнее пшеничное зерно раскушу пополам и половину отдам тебе...

Вспомнила Забава бурлака Игнашку, и заиграло в ней...

— Ох, — говорит, — злее зла мне честь татарская! Откачнись, окаянный, не улещай! Мила мне моя сторона русская. Никуда я с Волги не пойду, не поеду.

Раззадорился Чарчакан:

— Подыму народы свои, велю рыть новое русло и Волгу, как верблюда за повод, поведу за собой в пески Монголии, и куда бы мы ни заехали — Волга, сверкая, покатится у наших ног...

Много чего он сулил — не сдалась девка на его упросы.

Уехал — туча тучей.

Малое время спустя налетела на рыбачий стан татарва. Рыбака Дорофейку с камнем на шее метнули в омут раков ловить, а Забаву уволокли с собой.

— Корись! — говорит Чарчакан. — Корись, девка, силе и славе мсей.

Девка ухом не ведет и отвечает:

— За стыдное и за грех почитаю некрещеного любить.

И стала она просить, чтоб отпустил ее.

Долго думал Чарчакан и выдумал.

— Пущу тебя на вольную волю, коли сделаешь, что велю.

— Загадывай.

— Видишь озеро? Перетаскай его ведрами в Волгу и тогда пущу тебя.

Согласилась Забава.

День за день идет, как земля гудет. Год за год идет, как метель метет...

Бурлак Игнашка то ль в гульбу пошел, то ль аркан азиятца увлек его в дальнюю сторонку.

Забава протоптала через гору тропу в человеческий рост. Птицы склевывали ее слезы, ветер раздувал тоску. Она стала старухой, пока таскала озеро.

Чарчахан в те поры кочевал с ордой на Иргизе-реке. Ему сказали — не поверил. Приехал и, дивясь, зашел в заросшее травой сухое озеро.

И вот, — каждому на рассужденье, кто хочет, верит, а кто и нет, — поднялись все слезы, выплаканные девкой, и в них утонул татарский державец...»

Гулебщики, задрав головы, взирали на Девичью тропу.

Со сторожевой, пущенной вперед будары пыхнул переливистый свист, и махальный заорал:

— Ватарба-а-а!..

На стругах зашевелились.

— Харч...

— Добыча...

Ярмак:

— Вали мачты!

Паруса упали.

— На весла!

В весла сели свежие смены гребцов.

Струги скрылись у берега в талах.

С приверху, вывернувшись из-за мыса, самым стрежнем спускалась расшива¹. Жирно высмоленные бока ее лоснились под солнцем. За рулем стояли двое в цветных рубашках.

— Ружья на борг... Разбирай кистени... Гость топоры... — вполголоса отдавал Ярмак приказания и, выждав время, махнул шапкой: — Поше-е-е-ол!..

Плеснули весла

блеснули очи

струги побежали на переём.

— Рви!

— Сильно!

— Взяли!

— У-ух...

— Наддай, ребятушки!

На расшиве чугунный колоколец забил тревогу.

На палубу высыпали холуи в дерюжных зипунах и нанятые на путину для обереганья стрельцы в голубых выгоревших кафтанах. У иного в руках бердыш на длинном ратовище, у иного — пистоль, а то и ружье.

Атаманова каторга бежала ходко.

С борта расшивы сверкнул огонь, ухнула пушка...

Казаков обдало брызгами и картечью.

— Гей, холуй, не балуй! — пригрозил Ярмак пушкарю. — А нето, якар мар, тебя первого засуну дурной башкой в дуло пу-

¹ Р а ш и в а — большое парусное судно.

шечь и дам полный заряд, чтоб твоя проклятая душа до самого ада летела с громом.

— Поберегись, злосвет! — ответил пушкарь выстрелом.

Картель хлеснула и качнула каторгу, каторга черпнула бортом.

— Навались!

Гребцы вваривали вовсю.

Взмокшие рубахи обтягивали взмыленные спины.

Горячие пасти были раскрыты.

— Качай, покачивай!

Осташка Лаврентьев схватил кожаное ведро и принялся окочивать гребцов.

Расшива блистала и гремела огнями.

На передних стругах уже кряхтели раненые.

Стреляли и казаки.

Сближались.

Наконец Куземка Злычой изловчился и метнул на расшиву веревку с крюком.

Рывок

и атаманова каторга у цели.

С криком, гаем бросились на приступ. Кто взбирался по рулю, кто по горбам товарищей.

Расшиву завернуло, паруса заполоскали.

Подлетели остальные струги.

— Сарынь!

— Шары на палы!

— Дери, царапай!

— Шарила!..

Купец Лучинников в длинной холщовой рубахе, с непокрытой головой метался меж людей и вздымал над собой икону.

— Выручай, отцы святители!.. Не поддавайся, ребята! Держись дружно!..

Лезли, матерились.

Есаул Евсюга свергнулся в воду с разрубленной головой.

Отсеченная топором лапа Берсена осталась на борту расшивы, а сам он свалился за есаулом.

Стонал, зажимая на груди стреляную рану, Бубенец.

Опрокинулся один струг.

Но распаленные яростью казаки уже вломились на палубу и схватились врукопашную.

Взмах

и удар

брань

и стон.

Расшива была взята и разграблена, защитники ее перебиты... Медленно поплыла расшива по воде, завертываясь в полотнища пламени и в клубы смолистого дыма. На высокой мачте раскачивался удавленный купец, над купцом поскрипывал и бойко вертелся жестяной ветряной колдунчик.

Катилась Волга— торговая дорога стародавняя, голодной отваги приман да дикой песни разлив.

Нагие, подмытые скалы нависали над быстриную, как недодуманные думы.

На суводях воду вертело котлом... Вода несла, вода рвала. Леса темны, берега немы.

Ярмак шагнул в будару, будара качнулась и осела. Есаул Осташка оттолкнулся от берега, разобрал весла.

Всю ночь плыли, как и подобает, молча.

Луна метала во всю ширь реки маслянистые блики, стлалась над Волгой живая тишина: нет-нет да и плеснет рыбина, взлает лисица, ухнет сыч на болоте.

Река дышала спокойно, скрипел кочеток весельный, и где-то далеко-далеко кигикал лебедь.

Атаман, на корме сидя, обмахивался от комара веткою. Предвещающая близкий рассвет, Волга закурилась туманом. Луна уползла в засаду. Низко над водой, свистя крылом, пронеслась стайка чирков.

— Ударь! — кратко приказал Ярмак, направляя лодку к серевшему в тумане яру.

Осташка несколькими сильными гребками достиг берега, выпрыгнул, подернул лодку и бросил через топкое место слегу.

Ярмак прошел по следе, не замарав сапога, оставил есаула в талах, а сам, осторожно разгребая сонные кусты, полез на кручу.

Стан спал.

На разостланных одежинах, на рогожах и так просто на песке валялись люди, разбросав ноги босые и ноги, обутое в лапти из ивовых прутьев и в сочни из кожи дикого кабана.

Сонный кашевар заваривал кулагу в подвешенном на железную цепь артельном котле; котел был столь велик, что в нем можно было сразу целого быка сварить. Два кухаря, кашеваровы подручники, долго перекорялись, кому первому идти за водой в родник, потом стали биться на спор — ложками по лбам. С десятка перекололи, но так друг друга и не переспорили. Кашевар плеснул на них варом, и они, схватив бадейки, побежали к роднику.

Ярмак выступил из прикрытия и крикнул:

— Здорóво зоревали!

Кашевар с перепугу упустил в котел мутовку и пересмякшим голосом ответил:

— Слава царице небесной...

— Мир на стану!

— Мир.

Громкий окрик многих разбудил.

Из-под овчин и сермяг высовывались всклокоченные головы, заспанные глаза пялились на гостя.

- Чьих родов, каких городов?
- Чего тута стоите?— спросил Ярмак.
- Стоим.
- А чего стоите?
- Атаману ведомо,— ответили хором.
- Где ж ваш атаман?

Ему указали на полотняный, раздернутый под дубом шатер. Ярмак подошел к шатру и, сложив кулаки трубой, загукнул филином.

- Пу-гу, пу-гу...
- Кого нанесло?
- Казак с лугу.

Пола шатра откинулась, из шатра, почесываясь, выполз похожий на косматого кобеля Иван Кольцо.

- А-а-а! — взвыл он, увидав Ярмака, и вскочил.— Ты?!
- Не ждал?

Они обнялись.

- Как гуляется твоей милости?

— Славно! — усмехнулся Ярмак. — Живем не тужим, по Волге кружим... Рубь добудешь, ну, полтину пропьешь, полтину пробуюнишь. Всего и барышу, что голова болит.

Он снял шапку и обратился к стану:

- Атаман, товариство, ваши головы!

Узнав Ярмака, кругом закричали:

- Ваши головы, ваши головы!
- Рады гостю преславному!
- Поди-ка на наш хлеб-соль, на нашу кашу!

Иные подбегали и кланялись ему в пояс.

- А вам, соколы, как гуляется?

— Богато живем, с плота воду пьем.

— Торопко плывете, — сказал Ярмак. — Какой день гонюся за вашим дымом и никак не догоню.

— Атаман понуждает, такой он у нас скорохват.

— А вы его на мясо — да в котел.

— Га-га-га!..

— Хо-хо-хо-хо-хо!..

— Откуда к нам?

— С Дону, братья.

— Не один?

— Ватага со мной, да древний старец Мартьян, да черкасы — обнеси головы — Полухан, Лытка, Иван Бубенец и иные.

— Чуем.

— Кличь ватагу!

— Честь и место!

Посланный с расторопными казаками есаул Осташка Лаврентьев скоро привел и весь свой караван.

Встретились друзья, товарищи, земляки — лей-перелей, и пошли выспросы, охи да ахи...

Шайки попиrowали на радостях

дальше поплыли в одном хлебе.

И снова — плесы, перекааты да ветер...

За лето к Ярмаку пристали атаманец Яков Михайлов с людьми, атаманец Никита Пан с людьми, гусак бурлацкий Матвей Мещеряк с людьми и еще несколько бурлацких ватаг и ватажек, меж них и Мамыка, а всего набралось гулебщиков пятьсот и сорок голов.

Довольно оглядывая ножевую оравушку, Ярмак говаривал:
— Ну, якар мар, многие от нас города подрожат!

Засвистала осень

ударили-грянули обломные ветра.

Вскосматилась, заревела Волга, закачалась Волга на корню своем... Текли пески, текли кусты, гонимые дыханием ветров свирепых. Обтекал ржавый лист с дерев, никла посеченная седыми дождями тощая трава. Птица вперелет полетела, зверь вперелеб побежал, скатывался сом в омуты.

Струги с Волги обратились в Каму.

12

Плыли.

13

Пышна Кама-река, урывистая вода.

С протоками большими и малыми, как волчиха с волчатами, плутала Кама в дремучих лесах, в немых болотах.

Когда-то премогучие царства стояли на Каме и Волге.

Города шумели многолюдством.

Большая вода несла парусные караваны восточных купцов. Берега оглашались разноязычным говором. Жажда наживы сводила к одному котлу прокаленного горячими ветрами араба, русобородого новгородца и мокроглазого чудина.

Народы умирали, народы рождались.

Из недр Азии, будто ветром выдуваемые, подымались несметные кочевые орды и мчались по многим дорогам, как вестники грядущих бедствий. Лбами окованных железом бревен кочевники разбивали торговые города, на развалинах строили свои крепости да заводили свою торговлю.

На смену приходили сильнеешие завоеватели и на костях побежденных утверждали свое владычество.

И снова — рев и ржанье, лай и топот, взмах клинка и пожаров мятущееся зарево! — снова накатывалась орда, втапывала в землю вчерашних победителей и кровью смывала их веру, законы и саму память о них...

Из просторов Монголии взялись и татары.

На большеколесых арбах, в тучах песка и сами неисчислимые, как песок, они текли, гонимые властною рукой Батыя, текли и завивались на бродах и на кормных пастбищах, как песок завивается около кустьев.

От топота монгольских коней, от скрипа и грохота арб *дрожала и стонала земля.*

На Руси в те поры жила смута.

Город подымал спор с городом, волость — с волостью, удел враждовал с уделом, и князья русские, пускаясь на пронырство, призывали и наводили друг на друга иноплеменников.

Из-за Волги, обесаясь, хлынула монгольская конница и затопила землю русскую от степей придонских до рубежей литовских, от Киева до Твери и Новгорода.

Князья с ханами худо ли, хорошо ли, а поякшались — на обе стороны гости с подарками хаживали. Простому же народу была тягость великая, томленье и кровопролитие многое.

Три века

плясала над Русью

сабля кочевника.

Добру и злу, по поверью наших дедов, свои положены судьбою сроки.

Время утишило лютость ханов, размыло время силу Золотой орды.

Москва, раденьем церкви и стараниями хитроумных князей, исподволь копила мощь, наполнялась народом, скупала и покояла села и города.

Мало-помалу отдохнула земля русская, собралась с кровью, назвала под свои знамена силу многу и стряхнула с себя татар.

Отхлынув, они осели в Крыму и на волжских рубежах. Однако при Иване Грозном, прокладывая на восток торговые пути, Русь сбила татар с Волги, подмяла их, примучила и обневолила.

Распустив паруса, полетели купецкие да царевы орленые корабли к кавказским берегам и в Персию.

Мужики жили, как и ранее, в великой скудости и убожестве. Батоги князя и вотчинника были не слаще плети татарской. Работали холопы на земле, были сыты и бары. Голод и беды кабального житья сгоняли холопов с родных мест, — баре худели и шли в службу к царю или, набрав товаришка, пускались за наживой в далекие края.

Светла Кама, рыба.

Давным-давно бродили по межречью охотничьи племена разноименной чуди. Незамысловатой снастью ловили чудаки рыбу и птицу, били зверя, выламывали дикий мед.

Завоеватели — болгары, татары, русские — отогнали охотников в глубь лесов и болот.

Задолго до основания и разорения Казанского царства с далекой новгородской стороны, с тверских земель, ростовских и суздальских уделов, с озера Ильменя и с реки Волхова, по притокам и протокам пробирались к верховьям Волги отважные русские зверобои и торговые люди. Кто гнался за счастьем да богатством, кто чаял удаль поразмыкать, кто искал пашенного места. Отовсюду ж набегали на Волгу опальные и худородные князья со своими дружинами: из них-то и собирались удалые шайки ушкуйников.

Пришельцы выжигали и секли леса, бороздя меж пней еловым суком; расчищали дороги, через речки и грязные места мосты мостили и ставили на *сыром кореню* первые поселки. Правом на владение считали затес топора, борозду сохи и взмах косы.

Да этими ж прошатаями и землепроходимцами были построены города Чердынь, Соликамск, Усолье и многие иные.

Во времена стародавние в пустынную наволжскую землю приплыли со многими людьми промышленник Кузьма Строганов. Порыл он землянки, заложил церковку, укрепил земляной город всякими укреплениями и стал жить-поживать да добришко свое приращивать.

По догадкам некоторых историков, корень Строгановых идет от новгородского купечества.

По другим преданиям, отец Кузьмы—Спиридон—был перекрещенным татарским мурзою. Великий князь московский Иван III, пожелав будто бы испытать верность прикормленного мурзы, послал его с малым полчком погромить выдвинутые к границам Рязанского княжества сторожевые улусы Золотой орды. Рать московская была перебита, сам Спиридон попался в плен, где претерпел немилостивые пытки, но ни от веры Христовой, ни от князя своего не отрекся. Татары ножами *сострогали* с пленника мясо до костей, отчего будто бы и весь род Спиридона стал называться Строгановым.

Кузьма, умирая, наказывал сыну Луке:

— Сей хлеба больше, сей, насколько сила взгребет. На хлеб, как птица, налетит к тебе народ, и умножатся достатки твои... Привечай зашельцев, не жалей для гостя ни куска, ни подарка, ни слова умильного, — далеко понесут они про тебя славу и худую и добрую... Пущее прилежанье имей к торговле, погоняй копейку рублем... Там богатство твое и детей твоих... — Кузьма умер с простертой на восток рукой.

Потомки Строгановы, кроме охотничьих промыслов и бортничества, принялись селитру и соль вываривать, завели прибыльную торговлю с камскими и зауральскими народами; правдами и неправдами выбивали крестьян с насиженных дворов, скупали у мелких солеваров варницы с местом и со всем нарядом; вызволяли из орды русских, отатарившихся пленников и сажали их на своих землях, обязывая соль и селитру варить, серебро и руды из недр копать; выкупали из тюрем пленных немцев и литовцев и под надежным присмотром посылали их торговать мехами за границу.

Прикащики, тайком посылаемые на Русь, шлялись по рекам, дорогам, ярмаркам и посулами привольной жизни да задатками сманивали за собой гулящих людишек.

Брели на Каму из-за хлебной скудости и от пожарного разорения мужики с семьями, беглые холопы и всякие вольники.

Всех побродимов Строгановы привечали и к работе допускали, — жить с народом было и веселей и безопаснее.

Рыскавшие всюду русские промышленники наведывались к купцам-солеварам, находили тут приют и ласку и далеко развозили о них славу добрую, речь хорошую.

Сдавна цари московские обращали взоры свои на Заволжье и Урал. Места там были нелюдимы — городишки в счет не шли: были они малолюдны и отстояли один от другого на многие сотни верст. К заселению край был весьма способен и всем изобилен.

Москва, закрепив за собой Волгу, занялась войною с прибалтийскими странами. К восточным же соседям Иван Грозный проявлял большую осторожность и до поры, до времени не решался вступать с ними в открытую борьбу, но зато всячески поощрял к захватам купцов и промышленников, чтоб в случае неудачи самому остаться в стороне.

Повалило Строгановым счастье.

За недолгое время Строгановы купцы были награждены землями и всеми угодьями в Устюжском уезде, на Каме от Лысьвы до Чусовой, на Чусовой и речках, впадающих в нее, — до вершин.

Приводим одну из грамот, ради стройности — в незначительном сокращении.

«Се аз, царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси, пожаловал есми Григория Аникиева сына Строганова, что нам бил челом, а сказывал, что-де в нашей вотчине ниже Великой Перми, за восемьдесят за восемь верст по Каме-реке — места пустые, леса черные, речки и озера дикие, острова и наволоки пустые, а всего-де того пустого места сто сорок шесть верст. И прежде-де сего на том месте пашни не пахиваны, и дворы-де не ставливаны, и в мою-де цареву казну с того места пошлина никакая не бывала, и оные не отданы никому, и в писцовых-де книгах и в купчих и в правожных то место не написано ни у кого. И здесь на Москве казначеи наши про то место спрашивали пермитина Кадаула, а приезжал из Перми от всех пермич с данью. И пермитин Кадаул сказал, о котором месте нам Григорий бьет челом, и те-де места искони вечно лежат впусе, и доходу в нашу казну с них нет никоторого, и у пермич-де в тех местах нет ухажаев никоторых. И будет так, как нам Григорий бил челом и пермяк Кадаул, и с тех будет с пустых мест дани ни шло, и ныне с них дани никоторые нейдут, и с пермичи не тянут ни в какие подати, и в Казань ясаков не дают, и предь того не даывали пермичам и проезжим людям никоторые споны. И аз, царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси, Григория Аникиева сына Строганова

пожаловал, велел ему на том месте ниже Великой Перми за восемьдесят за восемь верст по Каме-реке, по правую сторону Камы-реки с усть Лысьвы-речки, а по левую сторону Камы-реки против Пыскорские Курьи, вниз по обе стороны по Каме до Чусовые реки, на черных лесах городок поставити, где бы место было крепко и усторожливо, а на городе пушки и пищали учинити, и пушкарей и пищальников и воротников велел ему устроити собою для береженья от ногайских людей, и от иных орд, и около б того городка ему по речкам и по озерам и до вершин лес сечи, и пашню спахивати, и дворы ставити, и людей ему в тот городок неписьменных и нетяглых называти. А из Перми и из иных городов нашего государства Григорию тяглых людей и письменных к себе не называти и не принимати. А воров ему и боярских людей беглых с животом и татей и разбойников не принимати. А придет кто к Григорию из иных городов нашего государства, или из волостей тяглые люди с женами и детьми, и станут о тех тяглых людей присылати наместники, или волостели, или выборные головы, и Григорию тех людей тяглых с женами и с детьми от себя отсылати опять в те же города, из которого города о которых людях отпишут имянно. А у себя ему тех людей и не держати и не принимати их. А которые люди, кто придет в тот город нашего государства, или иных земель люди с деньгами или с товаром, соли или рыбы купити или иного товару и тем людям вольно тут товары свои продавати, и у них покупати безо всяких пошлин. А где в том месте рассол найдут, и тут ему, Григорью, варницы ставити и соль варити, и по рекам и по озерам в тех местах рыбу ловить безоброчно. А где буде найдет руду серебряную, или медяную, или оловянную, и Григорию тотчас о тех рудах отписати к нашим казначеям, а самому ему тех руд не делати без нашего ведома, а в пермские ему ужожи и в рыбные ловли не входити. Льготы ему даны на двадцать лет от благовещеньева дня лета 1558 до благовещеньева дня лета 1578. И кто к нему людей в город, и на посад, и около города на пашни, и на деревни, и на починки придут жить неписьменных и нетяглых людей, и Григорию с тех людей в те льготные двадцать лет не надобна моя царева дань, ни ямские деньги, ни ямчужные, ни посошная служба, ни городовое дело, ни иные некоторые подати, ни оброк с соли и с рыбных ловель в тех местах. А которые люди едут мимо того городка нашего государства или иных земель с товарами и без товару и с тех людей пошлины не брати некоторые, торгуют ли они тут, не торгуют ли. А повезет он, Григорий, или пошлет ту соль или рыбу по иным городам, и ему с той соли и с рыбы всякие пошлины давати, как и с иных торговых людей наши пошлины берут. А ведает и судит Григорий своих слобожан сам во всем. А кому будет иных городов людям до Григория какое дело, и тем людям на Григория здесь выправляти управные грамоты, и по тем управным грамотам обоим истцам и ответчикам ставиться на Москве перед нашими казначеями на тот же срок, на благовещеньев день. А как те урочные

лета отойдут, и Григорию Строганову наши все подати велеть возити на Москву в нашу казну на тот же срок, на благовещенье день, чем их наши писцы обложат. Коли наши послы поедут с Москвы в Сибирь, или из Сибири к Москве, или с Казани наши посланники поедут в Пермь, или из Перми в Казань мимо тот его городок и Григорью и его слобожанам нашим сибирским послам и всяким нашим посланникам в те его льготные двадцать лет, — подвод, проводников и корму не давати; а хлеб и соль и всякий запас торговым людям в городе держати, и послам, и гонцам, и проезжим людям, и дорожным людям продавать по цене как меж себя купят и продают, и подводы, и суды, и погребцы, и кормщики нанимают полюбовно всякие люди проезжие, кому надобна их помощь. Григорью же с пермичами некоторые тяглы не тянути и счету с ними не держати ни в чем до тех урочных лет. А будет Григорий нам ложно бить челом, или станет не по сей грамоте ходити, или учнет воровати, и ся моя грамота не в грамоту.

Дана грамота в Москве лета 1558 апреля 4 дня».

У подлинной грамоты — на шнуру вислая красная печать. Да на обороте той грамоты подписано так:

«Царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси.

Приказали окольничий Федор Иванович Умной, да Алексей Федорович Одашев, да казначей Федор Иванович Сукин, да Хозяин Юрьевич Тютин, да дьяк Дружина Володимиров».

Спустя несколько лет грамотой, повелевающей крепиться всякими крепостями накрепко и в Сибирской стране, и за Югорским камнем на Тахчях, и на Тоболе-реке, и на Иртыше, и на Оби, и иных реках, — царь и вовсе развязал Строгановым руки.

Так, по слову летописи, *высокими государевыми милостями и благодатью божьей*, труды к трудам прилагая, происходили Строгановы из рода в род и из силы в силу на лучшее.

14

В верховьях Камы, на светлом яйвинском плесе стоял, во всех стенах крепок, будто налитой орех, Орел-городок, рвами и боевыми завалами обнесен.

В бревенчатых стенах трое ворот да наугольные глухие башни с боем пушечным, пищальным и лучным. На башнях караульные шалаши, в шалашах несводные караулы.

Над главными воротами двухъярусная башня с малыми оконцами да с колоколом вестовым, да с образом Николая-чудотворца в резном киоте.

На земляных накатах пушки и к ним каменные, облитые свинцом ядра. Пищали затинные, пищали семипяденные, пищали ручные и к ним свинец и ядра. На дощаных щитах — луки и к ним в кожаных торбах пучки мелко точеных стрел.

Церковка немудрая из бревен слажена и узорной резьбы крышей крыта. В церкви образа на камне и дереве, образа на празелени в серебряных окладах, сосуды оловянные, сальные свечи своего литья, паникадило медное невелико — немецкое дело, евангельце печати литовской и закапанный воском святырь (псалтырь) монастырской работы: по пергаменту затейливо вилась, играя златописными титлами, кудрявая строка.

Против церкви стоял, как слитой, двор самого Строганова; рядом с ним — двор попа да двор палача; дальше как попало разбросались дворы прикащичьи, дворы соляных поваров да подварков, дворы пишальников да людские черные избы.

За городом лепилась слободка, в слободке — дворы посадские, дворы крестьянские, землянки бобылей, нищих и задворников, юрты и шалаши иного языка народов, которых в город не впускали, особенно к ночи.

Сидел в Орле Никита Строганов.

Не ладившие с ним дядя Семен и двоюродный брат Максим уплыли на Чусовую-реку и состроили там Чусовской городок.

В Великой же Перми¹ в городке Чердыне воеводствовал царев наместник Василий Перепелицын.

Жили Строгановы, как царьки.

Широко были раскинуты пашни, промысла и рудники, разработки на рудниках производились тайно от царя.

На свой страх и риск затевали они с дикими народцами войны, строили города и крепости. По рекам и на усторожливых местах, на пути ногайских и сибирских людей ставили острожки и караульные вышки.

Торговое знакомство Строгановы вели от Бела моря до ногаев и от Волги до Югорских земель². Людей своих с мелочным товаром рассылали по рекам и землям. Целыми годами шастали доглядчики по дальним странам, примечали и выспрашивали, где, кто и как живет, и, вернувшись с соболями и лисами, выменинными на ножевые железа, обо всем купцам докладывали.

В Устюге, в Калуге, Москве и Вологде торговали строгановские соляные лавки и меховые магазины.

В устьях Северной Двины на своей верфи строили Строгановы свои корабли да на Мурманском побережье был заведен торг немецкий, на который каждое лето приплывали иноземные купцы.

¹ Пермью Великой называлась область с городами Чердыню, Сольвычегодском, Соликамском, Кай-городком, хотя был и город Пермь, известный более под именем Старой Перми; он стоял на Выгегде, в ста сорока верстах от ее устья. Нынешняя Пермь на Каме построена позднее, уже при Екатерине II.

² Югорская земля — страна, раскинувшаяся по северным склонам Урала и нижнему течению Оби.

Никита, проведав от прикащика, гонявшего в Казань соляной обоз, о зимующих на Каме казаках, заложил тройку и не мешкая погнал в Чусовской городок.

Крутила-мела поземица

буй снѣги вил.

Большой дом старших Строгановых был отделан еще только вчерне. Волоковые, завешенные меховыми наоконниками и обмерзшие, как медведи, окна еле пропускали свет. Широкие некрашенные лавки ровно из стен росли, стены и потолок были закопчены чадом лучины. Во весь передний угол — иконы живописные, подризные и чеканные, выбитые на меди. В мерцающем свете лампы вспыхивали разноцветными искрами драгоценные камни, суровые лики угодников казались живыми.

Никита вошел в дом, обратился в передний угол и, еще не кончив креститься, начал рассказывать о казаках.

— Много ль тех сбродников? — спросил Максим.

— Того, брат, не скажу. Видать их мой человек видал, а считать побоялся.

— Што так?

— Буйственные, слышно, казачишки. К оружию сручны и в боях удалы, во всю Волгу храбруют.

— Вот как!

Порасспросив о городовом строении и о промыслах, Никита вдруг сказал:

— Напустить бы тех казачишек на наших азиатцев, живо припугнули бы поганцев.

— Ы-ы-ы-ы!.. — перекрестился дядя Семен. — Пронеси царя на небесная! Они и сами хуже орды, и нас разорят да на дым пустят... Ты, Максимушка, как мыслишь?

— По мне, коли што, отдариться.

— А по мне, — сказал Никита, — послать казачишкам зазывное письмишко, пускай придут и обороняют нас.

— Они оборонят, — своих волос не досчитаешься.

— Даром не пойдут — найдем. Разве ж не повелел государь родителю нашему называть в сей край вольных людей?

— Ы-ы-ы, не люби мне речи твои, племянничек. Отцы и деды наши зазорным почитали якшаться с разбойниками и нам заказали.

— Они и разбойники, а своеземцы и крещены. А вогулы с зырянами — и разбойники и нехристи. Ты как мыслишь, братушка?

— По мне — отдариться!..

— Телятина! «Отдариться»!.. Не позволю, так сами придут, допухом от них не загородишься.

— Вестимо.

— А коли так...

— Погоди, — перебил его брат. — А как взглянет на наше своевольство царь-батюшка?

— Будем в надежде, что сие до Москвы не дойдет, как многое не доходило и ранее.

Максим собрал в кулак черную, в кольцах, бороду и сморщился.

— А ежели дойдет?

— Невелика беда, — сказал Никита. — Гоже ему сидеть в кремлевских хоромишках за нашими спинами. Мы со своей мощной туда, мы — сюда, мы — на все стороны, а он... — Никита махнул рукой и досказал: — Не одни мы и на умишке у него, пока еще дознается...

— Уймись, злоязычная безотцовщина! — рассердился дядя Семен и схватил со стола медный витой подсвечник. — Не изрыгай хулу на помазанника божия. Не его ли щедротами живет все купецкое сословие? Не его ль милостями и ты, смерд, жив?.. Ы-ы-ы, сила нечистая, сгинь с глаз моих, а не то — за ноги да об угол!

Максим встал меж ними.

— Не гневайся, батюшка, Семен Яковлевич, Никита брякнул не со зла, а по дурасти. Оно и страшно, а не миновать нам казаков на подмогу звать.

Никита упятился к порогу, сорвал с деревянного гвоздя тулуп и, с шапкою в руках выбежав на двор, крикнул своему человеку:

— Запрягай!

Кони дружно взяли с места и понесли.

Весь обратный путь Никита разметывал умом и так и этак.

Призывать казаков было страшно, а житье без сильной охраны было тоже не уедно: редкий год проходил, чтоб какой-нибудь зауральский князек не учинял набега на освоенные Строгановыми места.

Торговать с инородцами было и выгодно, но дороги кишели лихими людьми.

Не входило в его расчеты ссориться накрепко и с братом Максимом, — дядя в счет не шел: съедаемый недугом, он быстро близился к могиле.

Надумал Никита поговорить о том деле со своим первым советчиком, Петрой Петровичем.

Старший прикащик Петрой Петрович Жарков был беглым монахом и служил еще отцу Никиты, Григорию Аникиевичу. Грамотей и пройдоха, вел он книги памятные и уговорные, сметные и ужимные, хлебные и соляные; языки и наречья туземных народов разумел; знал, сколько в острожках деревень, починков, дворов крестьянских и бобыльских, сколько во дворах детей, братьей, племянников, внучат, зятей, приемышей — всех по именам и по прозвищам, да сколько пашни распаханно, да перелогоу, да лесу, да рыбных ловель и звериных гонов, да с кого сколько и когда оброку брать.

Вызванный с дальних промыслов, куда он ездил раздавать людям урочный корм, Петрой Петрович явился наскоре.

Хозяин сидел в горнице и попилал вишневую наливку. Вбежал Петрой Петрович и отвесил истовый поклон.

— Вызывал, Никита Григорьевич?

— Ты, братец, того, надень шапчонку-то, а то поди вшей там набрался и мне тут напустишь... Да потуже, потуже нахлобучь, чтоб не расползались... Ну, рассказывай.

— Слава богу все живы-здоровы, — скороговоркой начал было Петрой Петрович.

— Не тараторь, — остановил его Никита. — Говори ровнее, а то у меня после твоих речей три дня в голове копать стоит.

Петрой Петрович осклабился, раздернул пуговицы домотканого, подбитого беличьими черевами кафтана, откинул полу и, вывернув карман, высыпал на стол горсть дикого серебра.

— Вот, при мне с десяти лопат намьли.

Хозяин ухватил буроватую крупинку, покатал ее в толстых пальцах, подышал на нее, прикинул на руке, надкусил зубом.

— Доброе серебришко. Отколь?

— Из-под Вздохни-горы.

— Еще чего там?

— Баловство, батюшка Никита Григорьевич. Десятник Демидка Савин посягает на девку Лушку Вятчанку.

— Не по рылу каравай.

— Я ему всяко говорил — и слушать не хочет. «Женюсь» да и только.

— Этак все захотят с женами спать, а кто же о добре моем радеть станет? Пошли Демидку под Вздохни-гору в мокрый рудник, там с него живо дурную кровь сгонит. А Лушку... Лушку ворота в золотошвейню, а то они, подлые, всю ее красу расклюют. Да скажи ей... или нет, пускай лучше ко мне сама придет.

— Слушаюсь, батюшка Никита Григорьевич.

Никита тянул душистую наливку, лукавый огонек играл в его сером глазу, а Петрой Петрович часто сыпал:

— За Вишерой опять зыряне пошаливают, лес твой жгут, на нашу сторону за лисами ходят, одного нашего человека прозвищем Колобок забили до смерти и втоптали в болотце. Никудышный был мужичишка, а все-таки божья душа. Долгу за ним полтина пропала, да ржи на масленицу мешок взял, да сапоги яловочные, да...

— Не до того мне ныне.

— Совсем разбаловались ордынцы, грозы над собой не чувят.

— Я тебя, Петрой Петрович, по нужде вызвал. — Никита рассказал о казаках и о своем свидании с братом и дядей. — Призвать думаю.

Прикащик отпрянул и перекрестился.

— Что ты, батюшка, господь с тобой! В своем ли ты уме? Называть казаков — все равно что волков к стаду прикармливать. От них и от неприкормленных отбою нет. Я эти народы знаю, видал их да видал. Ощиплют нас, как гусей, и сожрут совсем с потрохами.

— Бог милостив.

— Как знаешь... Мое дело холопское.

Никита немедля еще раз съездил в Чусовской городок и вернулся оттоль веселый; позвал прикащика и решительно сказал:

— Пиши.

Петрой Петрович достал из-за божницы письменный снаряд, развел полное блюдо голубой киновари да, спустив с плеча кафтан, высвободил из рукава правую руку и, помахав ею, — кровь-де застоялась, — сел за дубовый стол.

— Сказывай, батюшка.

— Пиши. «Во имя отца и сына и святого духа. От русских купцов Семена, Максима и Никиты Строгановых казачьему атаману Ярмаку с товарищи, которые казаки зимуют на Каме-реке близко Волги. Имеем крепости и земли, но мало дружины. Идите к нам оборонять Великую Пермь и восточный край христианства...» Пиши. «Приходят басурманы войной на нашу землю и своими безбожными набегами нашим посадам и городам многое пленение и запустение учиняют и всякий задор творят, и нету силы отбить их. Летом 1572 года черемисы и башкирцы русских торговых людей на Каме побили восемьдесят семь душ. Летом 1573 года, на Ильин день, из Сибирской земли, с Тобола-реки приходил с мурзами и уланами султан Маметкул — дороги на нашу русскую сторону проводывал, многих ясачных остяков побил, жен их и детей в полон повел и посланника государева Третьяка Чебукова и с ним служилых татар, кои шли с ним под Казань в орду служить, иных побил, иных в полон повел...» Пиши, да помасленнее...! «Вы б приплыли к нам, единовверные казаки, и нам служили б. Мы вам за вашу службу жалованье хлебное и денежное хотим дать. Пока шлем малые подарки: селитры батман (десять пудов) и свинцу против селитры в меру, и рыболовную снасть, и гвоздей, и казны бы прислали, да не ведаем, сколько вас голов. Посылаем два постава сукна настрофилю, десять половинок сукна яренку, десять половинок сукна ярославского, да десять половинок сукна гагрецу. Посылаем шестьдесят четей сухарей ржанных, семь четей с осьминою круп, десять четей толокна, двадцать колодок меду и вина две бочки под пятьдесят ведер. А коли похотите к нам ехать, то доверьтесь нашим посылам, они проводят вас по бесстрашным местам. Аминь».

Великим постом, отговев и помолясь угодникам, Петрой Петрович с людьми и подарками санным путем отправился к устью Камы, где, по сказкам тамошных чувашей, и разыскал казачий стан.

Уснула Волга, скованная льдами. Уснула Кама, зарывшись в пушистые снега. Мороз рвал дуплястые деревья, выжимал мороз из камня ледяную искру. Стыла в дубах темная кровь. Над полянками клубился туман. От холода птица колела на лету.

Порыли казаки землянки по пяти сажен меж углов и зажили. В прорубях рыбу ловили, рыли ямы под волка и лося, капканы и ловушки с заговорным словом ставили.

Кругом леса, в лесах зверье.

Мордвин Зюзя вышел ночью помочиться, волки утащили его от самой землянки. Двое заплутались в лесу и замерзли. Еще один потерялся в болоте: окна — прососы — в болотах не замерзали всю зиму.

В глухом овраге набрел Мамыка на медвежью берлогу. Обвязал себя бурлак веревкою, другой конец которой укрепил за пень, спустился в логово и зарезал сонного медведя, а молодую медведку привел на стан и стал жить с нею в особой землянке. Скоро он научил ее всяким проказам и прокудам. Спали они нос в нос, грея друг друга, ели из одного котла. — Мамыка сопел, а медведка мурмыкала.

В метелях летели мутные дни, летели ночи, налитые свистом ветра да — э-эх! — растяжелой тоской.

Под завывы вьюги много было сказок и бывальщин порассказано. Народ собрался разноземельный и гулевой: иной побывал в Крыму, а то и в самой Туретчине; иной залетывал в Литву или Венгрию; иной кроме Дона да Волги нигде не бывал, но в рассказах и видалого за́ пояса затыкал.

Наконец, зимушка подломилась, обмякла и стала сдавать.

В распутицу, как обняла весна, в самое расколье, по последнему санному пути приехал Петрой Петрович с людьми и подарками.

Шумел и гудел на крутом берегу казачий сход.

Мартьян принародно читал зазывное письмо Строгановых: — «Имеем крепости и земли, но мало дружины...»

Через плечо походного попа, дивясь премудрости божьей, в грамоту зорко вглядывался сотник Фока Волкорез. Его ль ухо не было тонко, и его ль глаз не был остер? Шипенье селезня он слышал через всю Волгу и в темноте на слух стрелял крикнувшую в кустах утку...

Мартьян вычитывал:

— «... С Тобола-реки приходил с мурзами и уланами султан Маметкул — дороги на нашу русскую сторону проводывал...»

Фока ждал: вот дрогнут стражи, и меж них плеснет вода, блеснет огонь, сверкнет клинок... Но письма не лежали ладом, не шелохнувшись: покойно текла строка, играя титлами... Сотник отошел, сокрушенно вздохнув.

Внимали Мартьяну и — кто про себя, кто вслух — вторили:

— Всем по штанам.

— Крупа...

— Порох...

— «... и вина две бочки под пятьдесят ведер...»

Закричали, заметались:

— Винцо на кон!

— Засохло, отмачивай!

— Бочку на попа!

Ярмак:

— Вольное буянство, не галчи! Оравою гоже песни орать, а говорить надобно порознь. Думай думу с цела ума, чтоб нам не продуматься.

И старший кормщик Гуртовый показал горланам свой облупленный и пребольшой, в телячью голову, кулак:

— Во!

Горлохваты понурились, зная, что от кормщика не получишь ни синь пороха, пока не решится дело.

Долго молчали, собираясь с мыслями, потом разбились по куреням и заговорили:

— На Волге жить — нам таловнями (ворами) слыть.

— На Дон, братцы, переход велик.

— Не манит и на плесы понизовые.

— Да, в понизовье нам возврату нет.

— Тутошний купец пуганый, добычи нет.

— В Казани стоит царев воевода Мурашкин с дружиною. Коли попадем ему в лапы — всех на измор посадит, а атаманов наших до одного перевешает.

— Большим людям, хо-хо, и честь большая!

— Пускай сунется Мурашка со своими зипунниками! Колодили мы их раньше — и впредь колачивать будем.

В стороне, засунув руки за кушак и полуприкрыв глаза, стоял Петрой Петрович со своими людьми, дивовался на вертеп разбойников и, слушая поносные речи да дерзкую брань, творил шепотком молитву.

А гулебщики уже ярились крутенько.

— Не красно нам, — мычал Мамыка, — не радостно к купцам в службы идти. Воля...

— Волк и волён, да песня его невеселá.

— Помолчи, высмерток!

— Я и мал, да удал, а у тебя, полудурок, и в бороде одни блохи скачут, ума ни крупинки.

— И-их, ворвань кислая!

— Уймьтесь, каторжные!

— Костоглоты!

— Не задразнишь!.. У рыбака голы бока, зато уха царска.

— Духа казачьего в вас нет, мякинники!

— А вы — блинохваты!

— Не бранись, ребята, играй в одну руку.
— Будя шуметь! От шаты-баты не станем богаты.
— Там нам будет кормно. Поживем, отдохнем, кровью со-
беремся, а далее видно будет.
— Обещают бычка, а дадут с тычка, и пойдем утремся.
— Правда твоя, Лукашка, с купцами нам рыбы не едывать,—
костями заплюют.

Слово за слово, зуб за зуб.

Двое раздрались, остальные бросились разнимать, и пошла потеха, только клочья полетели. Мамыка сбылся и отошел к старикам: по силе ему не было ровни во всей ватаге, в драку бурлак никогда не ввязывался, после того как однажды чуть не убил человека — в лоб пущенным с ногтя — медным пятаком.

Старики посмеиваясь глядели на побоище, посасывали трубки, а иной еще и покрикивал:

— Ругайся на стану вволю, бейся дома досыта, чтоб в походе жить нам в ладу да в миру.

Долго пришлось старикам ждать, пока драчуны утихомятятся.

Мартьян поднял руку и призвал:

— Будя, товариство! Думай во весь ум, что нам делать и как нам быть?

Гулбещики потирали шишки на головах, щупали разбитые носы и понуро молчали. Превеликие умельцы кистенем бить, на игрища и на хитрости горазды, которые и на работу слыли валкими, а языки у всех были привешены криво.

Иван Бубенец, с казачьей стороны, зыкнул:

— Плыть!

Бурлаки опять заспорили:

— Не плыть!

Казачи в один голос:

— Плыдем, плывем!

Мамыка:

— Думай не думай, сто алтын не денежки... Плыть так плыть!

— Поплыли!

— Атамана за бока!

Повременив и послушав голоса, Мартьян сказал:

— Всяк своей голове хозяин. Вольному воля, бешену поле, удалому легкий путь... Кто с нами — гуртуйся ко мне, кто не с нами — отходи прочь.

Закачались, зашумели, как камыш под ветром.

Иные отошли было, но поглядели друг на друга, поскребли затылки и вернулись в общий круг.

— А коли плыть,— опять приступил Мартьян,— то надобно нам выбирать коренного атамана на камский поход. Кого похотите?

— Ярмака!

— Ярмака на круг!

— Хорош, сулил за него черт грош, да спятился.

— Никиту Пана, умен...
— И умен, да неувертлив, сам себе на пятки навалил.
Гогот подобен залпу.
— Нам хитрого да погрознее.
— Ивана Кольцо.
— Долой Кольцо! На него надёжа, как на старого ёжа.
— Запивоха и до баб ходок. В Астрахани кинжал и последние штаны с себя пропил. В Дубовку к нам без штанов прибежал. Хо-хо...
— Мещеряка в атаманы.
— Не гож, не гож! Не ходить нам, казакам, под гусаком бурлацким.
— Ярмака!
— Ярмака-а-а!..
Мартьян:
— И я мыслю — Ярмака. Люб или не люб?
— Люб!
— Гож!
— Люб, люб!
Ярмак снял шапку, шапка — малиновый верх, из-под шапки чуб волной.
— Благодарствую, братья, за привет и ласку, а только постарше меня атаманы есть.
— Люб!
— Послужи!
— Из старых порох сыпится.
— Волим под Яр-ма-ка-а-а-а!..
Ярмак долго отказывался, как того требовал обычай, и пятился за спины других.
Старики вывели его под руки и поставили в круг.
— Люб!
Ярмак поклонился:
— Ну, коли так, добро... Только, якар мар, на себя пеняйте.
Я сердитый.
Круг гудел и стонал:
— Люб! Ладен!
Мартьян подал Ярмаку обитую медными гвоздями суковатую дубинку.
— Милуй правого, бей виноватого.
И всяк, кому хотелось, подходил к выбранному атаману и, по древнему обычаю, мазал ему голову грязью и сажей с артельных котлов и сыпал за ворот по горсти земли, приговаривая:
— Будь честным, как земля, и сильным, как вода.
Кормщик Гуртовый выкатил на круг бочку с даровым вином и позвонил ковшом о ковш.
— Налетай, соколы!
Ковши пошли вкруговую, загремели песни, — повольщина обмывала своего коренного атамана.

Гулкий ветер обдувал поля.

Ноздристые снега сползали в низины. Синие сороки-стреко-тухи расклевывали почки зацветающей вербы. На лесной поляне, на солнечном угреве резвились пушистые лисенята.

С галчиным граем, с косяками курлыкающих журавлей прилетела весна-размахниха.

Разыгрались как-то Мамыка с медведкой да и раскатали землянку по бревну. Медведка, фыркающая и обнюхивая прелую хвою, припустилась в лес с такой прытью, что бурлак и смигнуть не успел, как она скрылась в чащобе. Он, как был в одном сапоге и без шапки, кинулся за ней и — пропал. Спустя время вернулся и — вернулся один.

— Ну, — потешались товарищи, — к осени пойдет твой косматый сынок по лесам, по болотам чертей полошить.

И до того был нелюдим Мамыка, а тут и вовсе задичал, — задавила удалого чугунная тоска.

Ночью

река дрогнула

тронулась...

Разбуженные треском и шорохом плывущих льдов, гулебщики вылезали из прокопченных логовищ и, тарасца в темень глаза, размашисто крестились.

— Ого-го-го!.. Пошла матушка!

— Пошла!

— Час добрый!

— Гуляй, голюшки! Гуляй, гуленьки!

— Запевай, братцы, артельную!

Во всю-то ночь мы темную,
Непроглядную, долгую

ухнем,
грянем!..

Нам гусак кричит: «Давай!»

Мы даем, сильно гребем

да-а-ы,
ухнем!..

На берегу костры и говор, песня, звонкий перестук топоров, смрад кипящей смолы. Кто из лыка веревки вьет, кто дубовые гвозди строгают.

Разметала Кама льды, хлыном Кама хлынула: тут остров слизнет, там — двинет плечом — берег сорвет.

И Волга, играя и звеня под солнцем льдиною как щитом, всей силой своей устремилась в дальний поход.

На дереве начал лист разметываться; птица суетливо завивала гнездо; подобны облакам, гонимым полуденным ветром, летели станицы гусей да лебедей; пролилась весна зеленым дождем, хлынула красна в долины, зажгла лес, затопила луг и поле...

Плыли, отдыхая на радостных местах.

Славна́ Кама осетрами!

Высокое небо

синий простор.

По верхам дерёв дремотно шумел ветер. Солнце падало на воду, качалось солнце на волне, тонуло и вновь всплывало, взвивалось над водами и твердью. С черемух и диких яблонь осыпался цвет, дух от того цвету шел веселый. Пчелы пили росу. И от вечерней зореньки да до утренней в темных лесах гремел и сверкал соловьиный свист.

Плыли.

Вешняя вода тащила деревья и дряг и копны сена. Шумела грозная вода, трепала ветви точно всплывших прибрежных кустов. Ухая обваливался подмываемый берег. В быстрых струях колебалось и угасало отражение висящей над кручью березы. Чай, листоватая серебристым крылом, с суматошным криком гонялся за чайкой.

Плыли.

Мимо яров, мимо развалин старинных болгарских и татарских крепостей. Попадались безыменные деревнюшки, и дети, провожая караван, далеко гнались по берегу с заунывными криками. Дремлющие в зеленых зарослях озера были полны тишины и света. На озерах табунилось великое множество птицы, — казаки набирали полные лодки гусиных и утиных яиц.

Плыли.

Немудрой снастью ловили икряную рыбу, били на мясо медведя и кабана. Однажды орда белок преградила стругам путь: несметной силой, подняв хвосты торчком, два дня и две ночи кряду переправлялись зверки через реку, — казаки хватали их руками, били палками и из шкурок беличьих нашили легких шубеек и одеял.

Плыли.

Гад заедат — никакими хитростями и сбруями немислимо было от него защититься. Гад лез в глаза, в рот, в уши, не давая вздохнуть. Порою за гуденьем комара не слышно было плеска волны и шума леса. Лось, спасаясь от гада, покидал дебри, выбегал на открытое место и ложился в воду да так, выставив морду, и дремал. Один сохатый запутался рогами в прибрежных талах, и его взяли жива, освежевали, растяпали на куски, и, пока наводили костры, комары высосали мясо добела — лосину не стали есть и собаки. Иногда на пригорок, под ветер, со стонущим ревом вы-

лезал закусанный гадом медведь. Уличенного в лихой корысти астраханца Истому Беса, по приказу куренного атамана, раздели догола и привязали к дубу: всю ночь комары висели над ним гудящим столбом и к утру заели насмерть. Когда варили варево, то кухари собирали нападавшего в котлы гада полными ложками. Жалил комар, душила мошка, била пестрая муха, жало которой было острее шила. Ошалелые от изнурения люди задохались от едкого кура, разложенного на стругах и вокруг стана, метались, лезли в огонь и нигде не находили себе спасения. Повизгиванье и воркотня осатаневших собак; псы зарывались в песок, забивались в гущину колючих кустов или, кувыркаясь через головы, как бесноватые мыкались по лугам, по лесам, но свирепые комариные орды всюду настигали их, липли к кровоточащим ранам, объедали голые места в ушах, под хвостом и под брюхом, объедали губы, нос, веки, да так, что глаза совсем заплывали кровью. Слепшие собаки, стеная, бежали за караваном по берегу и, выбившись из последних сил, отставали, гибли.

Плыли.

Ждали крепкого ветра, как праздника.

Сказка засольщика Панкрашки Лоскута:

«...Давно, братцы, было, в те блажные времена, когда козы волков драли.

Жил на гречушных горах царь Федул, и был он тяжел для народа своего. Головушка на него была насажена с пивной котел, а ума в ней было чуть. Знал он песни играть, в дудки дудеть, а всеми делами завладели и ворочали мудрецы-думщики. От вольной жизни, то ли от дурости такая у царя борода разрослась,— залетит в нее воробушек и не найдет, бедный, вылету.

Росла при отце дочь Светлянка, красавица-раскрасавица.

Вот раз поехал царь Федул на охоту, а вперед пустил тыщу прислуг. Они и давай чертей полошить: лес рубят, траву секут, камень ломают, камнем дорогу мостят, метлами метут и коврами устилают. Сам царь на золоченой телеге едет — только колеса гремят. По сторонам дурни и холуи скачут: кто от царя мух гоняет, кто ему песни поет, кто в барабаны бьет, кто бороду по волосу расчесывает, кто в пасть ему съедобье лопатой сует, кто волосату спину чешет, кто хвалит его дородность и красоту, кто славит ум и доброту, кто мужиков разно ругает.

Наохотился царь,— навалили перед ним зверя гору,— устал и лег спать под дубом. И привиделся ему диковинный сон. Проснулся весь в черном поту, созвал мудрецов-думщиков и спрашивает:

— Што такое?.. Лежу будто я поперек реки, запрудил ее, а вода через меня хлещет. Из ушей, из ноздрей у меня пшеница растет... Што такое?

Мудрецы-думщики три дня в книгу глядели, три ночи думали и ничего не выдумали.

Рассердился царь и говорит:

— Кто разгадает мне сон, тому полцарства и дочь в придачу отдам!

Позвали одного усача рыбака, он не стал много растабаривать и сказал коротко:

— Так и так, царь, завтра тебе умирать.

Испугался царь Федул, и волосы на нем медведем поднялись.

— Я с тебя, — кричит, — такой-сякой, завтра шкуру спущу!

— Это дело нехудое, — отвечает рыбак. — Ты переживи завтрашний день, тогда и спускай с меня шкуру.

Царь объелся медом, и к утру дух из него вон. Полцарства он рыбаку не дал и в дочери отказал, ну, а все-таки перед смертью поставил его старшим над всеми мудрецами-думщиками.

Живут.

Рыбак вино пьет, яйца вволю ест и к царевне молодой подбигрывается. Светлянка царствует, а рыбака к себе ближе чем на сажень не подпускает. Ну, а мудрецы были свирепы, — зависть берет, рыбак в царски дела путается, — и всяк только и думает, на какую бы хитрость пуститься, чтобы рыбака со света сжить.

Приходит к царевне один мудрец и говорит:

— Было мне виденье и голос от твоего батюшки. Велел он рыбака к себе прислать, чтобы окуньков ему на ушицу наловил.

Согласилась Светлянка. Рыбак с похмелья во дворце мучился. Холун схватили его, завернули в сети и поволокли на реку. Сгребли на берегу деревьев пребольшую кучу, рыбака взвалили, сучьями забросали да и зажгли, чтобы душа его с дымом на небо летела. Рыбак унюхал — паленым пахнет, сразу очухался и думает: «Жить тошно, да и умирать не находка». Выпутался из сетей, в дыму потихоньку к воде сполз и уплыл на остров. Мудрецы-думщики обрадовались, что избавились от него и опять за свое, начали царством ворочать.

Живут.

Прошло сколько-то время, подъявился рыбак как ни в чем не бывало — и прямо к царевне.

— Так и так... Близко ли, далёко ли, долго ли, коротко ли, низко ли, высоко ли, а побывал я у твоего батюшки и рыбки ему наловил, насолил.

— О чем он с тобой побеседовал? — спрашивает дочь.

— О чем ему со мной, дураком, беседовать? — отвечает рыбак. — Просил он для умной беседы всех мудрецов-думщиков той же дорогой к нему прислать.

Мудрецы — круть-верть, туда-сюда, не тут-то было. По приказанью царевны, свалили их всех на кострище и сожгли

под барабанный бой. Рыбак не будь дурен, царевну на себе оженил и сам царем стал. Весь народ возрадовался. На целый год пошло у них пированье. И я там был, вино и мед пил, украл царев шлык, в подворотню — шмыг, и поминай как звали...»

Отгремела весна

отсверкала красна.

Кама вбралась в берега, загустели леса, в лесах — калина, малина и дикое вишенье, хоть косою коси.

Заря зорю встречала.

В лесах тосковала кукушка, на перекатах судак бил малька, и по ночам — в грозы — над омутами, как свиньи, плескались сомы.

Крепко спится под шум ветра, под плеск волны.

Шли своей силою на веслах и на шестах, и бечевою, подпрыгая в лямки набранных по пути татар и чувашей, бежали парусным погодьем.

Секли дожди, хлестала волна.

Полон дикого своеволья и напористой силы, Ярмак не шадил ни своих, ни чужих костей и — гнал. Вставал он раньше всех, наскоро молился на закопченную складную икону и тормозил караванного:

— Поплыли!

Караванный поднимал куренных старшин:

— Поплыли!

Куренные старшины будили людей:

— Поплыли!.. Поплыли!..

Подымались лохматые, рваные, с запухшими от комариных укусов рожам, крестились на алевший восток, обжигаясь хлебали заранее сваренную кухарями ушицу и, на ходу дожевывая обмусоленные овсяные лепешки, валялись к стругам.

— Поплыли!

— Водопёх, выбирай бросовую, толкайся!

— Загребные, на весла!

Струги гуськом пробирались вдоль бережка.

— Ох, братцы, спал я нынче, — клюй ворона глаз — и носом бы не повел.

— Всех нас атаман примучил, ребро за ребро заходит.

— Торопыга.

— Крутенок батюшка, да пререкаться-то с ним не приходится.

— Терли, кость, плывешь в гости.

— Вестимо, на то и гульба...

— Горе наше тут гуляет..

В самую жару устраивали привал. Наскоро пожевав чего придется, расплозались в кусты и, укутав головы в тряпье, отдыхали. В полуденной тишине сонно бормотал ручей, переби-

рая обмытые камни. Склонившись над ручьем, как замороженные дремали ивы.

И снова атаман гнал по стану позыватых:

— Поплыли!..

В полулета добрались до Орла-городка, бревенчатые башни которого были видны издалека.

Горел праздничный день.

На звоннице звякал колоколишка. Усыпанный народом берег гудел, переливался цветными рубахами и сарафанами.

Купались невдалеке ребятишки,— были накатаны они на песчаную отмель словно крашенные луковым пером пасхальные яйца. Голые девки лежали на светлом песке одна подле другой, будто тугоносые осетры на багренье.

Из глоток казачьих лился яростный свист и хохот:

— Э-э, пчелки!медок!

—

— Бабы, бабы, соловья вам нады, а то собакам выброшу...

Девки расхватили одежду и, сверкая наготою так, что у гулебщиков глаза ломило, бежали в талы.

Атаманова каторга легонько ткнулась в берег. Ярмак в чекмене темно-зеленого сукна шагнул через борт.

— Мир на стану!

— Мир! — отозвался старший Строганов.

— Славу Иусу и царице небесной.

— Аминь.

Мужики, по хозяйскому наученью, сдернули войлочные шляпчонки и пали на колени.

Позади Ярмака степенно переминались с ноги на ногу есаулы, из стругов на берег выпрыгивали казаки.

Строганов шагнул навстречу атаману.

— Кланяемся вам, достославные казаки, хлебом-солью!

Ярмак принял пудовый каравай с берестяной солоницей, доверху насыпанной крупной, зернистой солью.

Дочка Семена Аникиевича обносила есаулов чаркою. Есаулы пили и, обсасывая ус, кидали в чарку по золотому.

Дружина покинула струги и направилась к церкви. Заворотники размахнули крепостные ворота на пятую, и гости вошли в городок. Дорога была устлана белеными холстами, дома убраны ветками зелени.

18

Привальный пир, хмельные речи.

— Ешь, гостечки, досьта! Пей, гостьюшки, дьлюби!

Атаман и есаулы очестливы, в слове уметливы:

— Мы, хозяин, в чужом дворе бесспорники,— что поставят, то и пьем.

Строганов ножом перекрестил хлеб, нарезал крупных ломтей и налил по первой чарке.

— Буде пьешь до дна, так выдаешь добра.

Ярмак:

— Мы приплыли не большие пиры подымать, а землю пермскую стеречь и своей службой показать вам нашу казацкую правду... Так ли, товариство?

— Так, так!

Старший Строганов, Семен Аникиевич, кланяясь, пошел вокруг стола со всеми чокаться.

— Слово твое, Ярмак Тимофеевич, мне приятно. Один у нас бог, один и царь. Велеумный царь, с Волги татарву пугнул, полячишек за Смоленском гоняет, Литву поганую душит. Что ему своевольщики новгородские? Затычки оконные! Бьет он их, кладет, кровью умывает. Что ему думные бояре и зазнайки князья? Пыль толоконная! Кнутом он с них шкуры спускает, а которым и головы тьяет... Первые подручники государю мы — купцы, да вы — удалые казаки. Преславный царь, грозные очи...

Мамыка заржал, заметалось пламя свечей.

— Чего ты нам его нахваливаешь, как цыган лошадь? Мы его и сами не хаем и видом его не видали, а вот псаря у него ой люты!.. Так ли, товариство?

— Так, так!

— Верно!

— Не перетакивать статью.

Захмелевший Матвей Мещеряк поднялся, расплеснул из полна кубка вино и сказал:

— Мы на Русь лиха не мыслим. Царствуй царь в кременной Москве, а мы казаки — на Дону и Волге.

Есаулы закричали:

— Правда твоя, Мещеряк, правда!

Купец засмеялся через силу:

— Э-э, кто богу не грешен, царю не виноват? О том ли нам речи весть?.. Музыка!

Заглушая дерзкие голоса, взвыли дудки, согласно заиграли литаврчики. В хоромах будто и просторнее и светлее стало.

Мещеряк подпер скулу кулаком и рывкнул:

Венули ветры
Да по полю.
Грянули весла
Да по морю...

А лихой на язык Иван Кольцо подсел к хозяину и начал похваляться:

— Я на своем веку сорок церквей ограбил. Попы поволские и рязанские поныне клянут меня и предают анафеме. Ха-ха-ха!.. Я, борода, в походы ходил, я орду громил, купцов обдирал и в Волге топил...

Строганов отодвинулся.

— Бог тебе, братец, судья да атаман твой.

Ярмак:

— Шабала, без ума голова, несет невесть что... Уведите его! Брязга тащил буяна прочь, но тот разбушевался:

— На Волге...

— Молчи, пустохваст!

— ...городов и деревень я пожег бессчетно! В орду пойман был — из орды ушел. В астраханском остроге двупудовой цепью, как кобель, был прикован к стене, да и то сорвался, на Волгу убежал. Сам царь, слышно, клянет меня. Не ляжет мне могильным камнем на сердце и царская клятва... Ха-ха-ха!..

— Емеля, Емеля, вымыслы твои лихие... Вяжите его! Брязга засунул буяну в раскрытую пасть меховую шапку и уволок его в сени.

На столах, застланных вышитыми скатертями под одно лицо, — саженный осетрище; да олений окорок; да медвежий, приправленный чесноком и малосольными рыжиками, окорок; да подовые пироги с вязигую; да лосиная губа в кровяной подливке; да тертая редька в меду; да стерляди копченые и ветряные; да белые с красным брызгом яблоки по кулаку; да на большом деревянном блюде выпеченный из теста казак на коне и с копьём.

Подавали проворно меняли яства.

Чашники разливали по кубкам брагу, наливки и настойки, привозные с Бела моря фряжские вина и меда домашние — мед пресный, мед ягодный с пахучими травинками, мед красный, выдержанный в засмоленной бочке до большой крепости, мед обарный с ржаной жженой коркой.

Никита Строганов круто солил Ярмаку кусок и приговаривал:

— Ешь солоно, дом мой знай.

В лад ему Ярмак отвечал:

— Хлебу да соли долог век.

Мартьян:

— Места тут у вас нелюдимые. Плывешь, плывешь — ни дыму не видно, ни голосу не слышно.

— Справедливо твое слово, батюшка отец Мартьян. Сидим в нашей вотчине, как сычи. Лес палим, пни корчем, ставим новые роспаши, а земля мясига — ни соха ее, ни борона не берет. Где рассол найдем, тут и варницы строим, и соль варим, и трубы соляные и колодцы делаем к соляному варению.

— Какие народы соседствуют с вами?

— На Ирени и на Сылве татары и остяки кочуют, на Яйве и Косье — вогуличи, а под Чердыню и далее на Устюг зыряне и вотяки бытуют... Лешая сторонка!

— Татар мы знавали, а вот о зырянцах, вогульцах и остяках не слышаны.

Слово старшего Строганова:

— Народишки те ремесел некоторых не знают и продолжают свою дикую жизнь выпасом скота, ловлею рыбы и зверя. Противны им обычаи и все дела наши и наша христианская вера. Соль варить и руды разрабатывать сами не хотят и не умеют, а когда мы за дело взялись, смотрят на нас с завистью. Через наши руки царь Иван Васильевич, по доброту своей, шлет поганцам подарки, чтоб от сибирского султана Кучума их к себе в ясак переманить, а я, грешник, последнее сукнецо придержал: свинью горохом не накормишь, хе-хе... Живут, будь им неладно, как-то нехотя — ни двора, ни амбара. Кругом лес, а у них полы земляные. Кнутовище прямое лень выломить, привяжет на кривую лычко узлом и гоняет. Скотина зимой на юру мерзнет, а летом ее гад заедает. Тонут в трясинах и болотах, мосты настелить не смыслят. Только и глядят, какую бы пакость русскому пришельцу сотворить. Всякими укреплениями и лихими вымыслами от злых неприятелей оберегаемся, многие скорби и досады от них принимаем...

И долго еще наперебой сетовали Строгановы на свою горькую судьбину.

На дворе пировала ватага.

Столы были завалены хлебом, пирогами с рыбой и рябиною, заставлены блюдами со снедью да корчагами с говяжьими щами, киселями и кашею. На кострах палили свиней, жарили баранов.

Над гульбищем стон стоял, стлался жирный дым да сытый говор. Обожравшиеся ватажники сидели и полулежали на кошмах и одежинах, набросанных на убитую землю. Один бывальщину рассказывает, другой похваляется тем, что осквернил сто девиц...

Петрой Петрович прохаживался меж пирующих и приговаривал:

— Просим вашей чести, чтоб пили, ели да веселы были. Гостю наш почет, гостю наша ласка.

— И то, старик, едим сладко, носим красное, работаем легко.

— По заслугам и кус.

— Мы приплыли не с разбойным подступом, а по-доброму.

— Коль с добром пришли, то и приняты будете приятно.

Бурлак Кафтаников шел в обнимку с казаком Лыткой и пьяно, с надсадою хрипел:

— Друг...

— «Шутырила-бутырила», — напевал Лытка.

— Друг, на Руси житье мужику хуже медвежьего...

Лытка тронул волосяные струны балалайки и сыто рыгнул:

— Оно так, дядя Лупан, плавать веселее: то золота полна шапка, то до пупа гол... «Шутырила-бутырила на лапте дыра...»

— Медведь всю зимушку дрыхнет, лапу сосет, а мужик и зиму и лето знай ворочает...

Лытка остановился, поглядел на бурлака, сбил его кулаком с ног и не оглядываясь пошел дальше, распевая во всю глотку:

Шутырила-бутырила
На лапте дыра.
Жулики-разбойники
Ограбили меня...

А Кафтанников, размазывая кровь по усам, кричал:

— Друг, облей-обкати сердце!

По кругу шли, кланяясь, кувшины с вином и брагою.

У погреба были расставлены бочки с квасами — квас сычный, квас малиновый, квас вишневый, квас житный, квас выкислый.

На даровое угощение приплелись дряхлые старики и старухи. Одного, совсем умирающего, сыновья привели под руки; хлебнув вина, он ожил, а потом и песню затянул. За амбарами в темноте нищие и подростки допивали из опорожненных бочек гуцу и ополоски.

Вокруг Куземки Злычого собралась дворня, слушала развеса губы. Врал Куземка, аж земля под ним зыблилась, врал — сам себя не видел...

— У нас на Дону живут богато, казаки ходят в сапогах, а бабы все до одной брюхаты. Добра-то, братцы, добра! Золота, серебра, бархата и холста на каждого аршин по ста. А землю у нас быки рогом пашут, козы боронят. Птица на Руси зерно уворываает и, возвратившись на Дон, поле казачье засеваает. Солнышко ниву пасет, бог ниву дождем сечет. Глядишь — и поспел урожай. Снопы сами на двор приходят, бабы молотят, мелют, лепешки пекут, а мы, казаки, поедаем да винцом донским запиваем. А пчелы, братцы, на Дону и Донце — каждая по овце. С поносу летят, аж кусты трещат. Вот она где жизнь!

— Послушать тебя, казачок, так житье вам было на Дону, как воробьям в малиннике. И чего вам не пожилось там?

— Мы народы гулевые, народы тертые, не любим на одном месте сидеть... А бывал ли из вас кто на горах Жигулевских? Въедешь на те горы, и солнышко — вот оно, пикой достать можно. Привязал я раз коня месяцу за рог, а сам спать лег. Проснулся, гляжу со сна: мать честна! Месяц ушел и коня увел. Парень я догадливый, пальцы в зубы, да как свистну! Конь был удал, услышал меня, поводок оборвал — и бултых в Волгу. Скоро и ко мне на зов приплыл... Эх, Волга-мать, река быстра, по тебе сомы бьются, аж пыль столбом!

Смех дворни заглушал Куземкины рассказы...

Фока Волкорез хлестал в ладони.

— Гей, юр, юрки, вор с ярмарки!

Черны руки размахались, скоры ноги расплясались.

Много чего ватажники стрескали, а не могли яств повесть, пития выпить. Иной, распустив брюхо, ел стоя, чтобы больше утряслось; иной отбегал в сторонку и, запустив палец в рот, изрыгал съеденное и вновь, приплясывая, возвращался к столам.

— Жри, Митюха, калач мягкий, рот большой!

Взгрустнулось о Доне, в песне всплакнули о Волге...

Есаул Осташка Лаврентьев — брови черны, огневые глаза — и с ним несколько казаков, что были потрезвее, прикудрявились и пошли в слободку к девкам.

Всю ночь на крепостных башнях перекликались охраняльщики и били колотушками в чугунные доски.

Гулебщики до́ свету песни орали — над городом, как зарево, зык стоял...

19

Пала осень, стрежни затягивало песками. Мерцающая, текла усталая осенняя вода. Зверь, напуганный шорохом опадающих листьев, покидал дебри и выходил на открытые места. Ветер расплетал березыньке косу рыжую. Мокрая ворона, хрипло каркая, качалась на голой ветке.

Закормили, задарили Строгановы казаков. Разделившись на малые отряды, несли казаки по острожкам сторожевую службу и показывали свою *казачью правду*.

Бунтовали на Каме черемисы и башкирцы, задавленные непосильным ясаком. Казаки к ним сплавали — самых пущих перевешали, остальных всяко настращали и обложили двойной данью.

Таясь, как волк по чащобам, приходил под Чусовской городок и под Сылвенский острожек мурза Бегбелий с вогулами и остяками. Казаки тех налетчиков перебили из головы в голову, а самого Бегбелия поймали и в земляной тюрьме ему жить указали.

Украдом, пусться на многие хитрости и козни, приходил под Пермь мурза Кихек с тюменскими татарами и косьвинскими зырянами. Казаки и этих находцев переловили, перебили, а самого Кихека сотник Черкиз застрелил на приступе в припор ружья.

Согнали казаки с дедовых стойбищ иренских и сылвенских татар и остяков. Строгановы на тех землях расселили своих людей, приставив их к соляному и пашенному делу.

Жители одного лесного аула не захотели уходить с обжитых мест и, усоветовавшись, порыли земляные норы, укрепя их жердяными подпорами, и спрятались туда со всеми животами и со всем имуществом своим. К храброму казаку жители выслали одетого в смертную одежду древнего старика, он пал на колени и сказал:

— Мы живем тут с искони веков и крепко привержены к болотам, лесам и травным удолиям своим...

Казак дивились тишине точно вымершего аула и стали выпрашивать старика, много ли у них богатства и куда попрятали девок?

— ...в озере рыбу ловим, по лесам зверя бьем, тем и кормимся. Мы злодействуя не ходили на войну, и к нам злодействуя никто не приходил войною.

Иван Задня-Улица опрокинул его пинком,— носок сапога Иванова был окован медью,— и взревел:

— Глаза нам не отводи! Кажи, где чего есть!

Старик бормотал свое:

— Обираем по лесу дикий мед да лубья дерем, смолу гоним да пиво варим, молимся...

Илюшко Чаграй за волосы поднял его с земли.

— Сказывай, коли хочешь жив быть, где ваши девки, где зверобойная снасть, где всякая хурда-мурда?

Посыл понимал, что кротостью их не возьмешь, и начал плевать, ругаться и выкрикивать заклятья и наговоры косвинских и кондинских колдунов:

— Захлебнуться бы вам своими грехами, горячие угли вам в глаза, сосновые иглы в печень, в кости ломота!.. Тьфу, тьфу, тьфу!.. Камни и пеньки вам в брюхо, муравьи с семи полей в глаза, рак в бороду! Госкою, как дымом, да застит и разъест глаза ваши!

— Ну, будя, старый, шуметь,— сказал Чаграй и, накинув ему веревку на шею, повел к сосне.

Старик подал условный свист, и лесные жители, возрыдав, вышибли жердяные подпоры и погребли себя под землю со всеми животами и со всем имением своим.

Широко раскинулись владенья Строгановых.

В земляных и каменных норах рылись копачи, добывая железную и медную руду да закамское, с голубым отливом серебро.

На поляне гончары выдeldывали горшки, в кузницах из своего железа ковали сохи, копыя и всякие поделки, нужные к соляному варению.

Зимогоры, расчищая место под пашню, секли лес на дрова, жгли уголь, корчевали пни.

Блестали огнями, дымились варницы. Где из озер, а где из глубоких колодцев приставленные люди черпали соленую воду и наполняли ею железные цирени (корыта), из коих повара и подварки выпаривали соль.

Лопата звякала о камень, хлопал кнут погонщика, копач врубался в грудь горы. В темном забое слеп глаз, могильный холод знобил кость, но упорно гремели удары, из-под кайла стреляла искра. Скрипело маховое колесо, выматывая из шахты плетушки с породой.

В варницах по закрайкам чанов и корыт губою настывала соль, соль текла под ногой, соляные сосульки свисали с матиц и тележных осей, солью, как инеем, были засыпаны дороги от промыслов до соляных амбаров и далее на Каму до соляных барж.

Бабы где на лошадях, а где и лямками по воде подтаскивали дрова к варницам.

По горным и лесным тропам сновали подростки с угольными коробами на загорбках.

Густой говор северян мешался с цветистой речью более скорых на язык волжан. Текла прошитая звенящей тоской, родная и русскому уху, песня азията. С далеких рыбацких станоз ветер наносил стонущий напев «Дубинушки». Засевшие на мели плотогоны, наваливаясь на рычаги, ухали, как черти в болоте.

С реки лились бабьи на́визги да смех.

Тут — сопит пила, стучит топор, там — прикащик тычет в рыло, матюжит сплеча:

— Не ленись!.. Ходи борзо!..

Работа велась день и ночь

работали за хлеб да за́ воду.

Жили на своих жирах (станах) приуральские народцы. Строгановы и их не оставляли своими милостями: сгноенным в ямах хлебишком подкармливали; рваной, отслужившей свой срок одежкой снабжали; отпускали в долг всякую хозяйственную мелочишку — иголку, шило, огниво, топор, прядь неводную. Все выловленное народами в реках и озерах купцы забирали за долги. Вся добытая птица и пушнина, мед и самоцветы шли в уплату долгов. Те, что были побогаче и поудалее, бежали с семьями за Камень¹, где попадали под двойную кабалу вогульских и татарских князьков. Слабосильные приходили на промысла отрабатывать долги. На самых худых плательщиков Строгановы напускали своих людей с наказом: «Убей некрещеного или вышиби и отгони от юрты, а жену и детей заberi себе, пусть работают на тебя, а ты заодно с ними — на меня». Да с тех же народов тайно от царя драли купцы ясак жареным, вареным и так, чем придется.

Копачи Вишерского рудника, проведав, что артельный кормщик, по научению прикащика Свирида, кладет им в кашу суслиное сало, возмутились и побросали работы.

К копачам пристали солевары двух близлежащих промыслов.

Разгневанный Свирид затравил собаками присланных к нему с рудника выборных людей и одному из них, Ивашке Редькину, плетью выхлестнул глаз.

Тогда Ивашка, помолившись пресвятой богородице и подговорив себе товарищей, ночным делом приступил к прикащикьей избушке, железною высадил дверь и немилостивым боем

¹ Камнем, или Каменным поясом, звались горы, хребет Уральский.

заставил прикащика сожрать дохлую мышь, а потом — слово за слово, словом по слову, распалясь и припомяв многие прежние обиды, уходили они прикащика Свирида до смерти.

После того целой гурьбой бросились к варницам, сожгли два соляных сарая со всем нарядом; подрубив запоры, *вдруг* спустили пруд и затопили несколько рудников, но скоро сами устрашились своего злодейства и приутихли, а старики заковали в цепи двух своих главарей — Редькина и Рыжанко — и стали ждать, что будет.

Никита Строганов бросился к казакам.

— Беда!

Увидав перепуганного и полураздетого купца, Ярмук подал боевой клич:

— Ватарба!

Есаулы, срывая со стен оружие, вопрошали:

— Набег?

— Орда?

— Отколь?

— Хуже! — схватился за сердце и пал на лавку хозяин.— Хуже!.. Именья моего разорение, смута и душегубство... Ежели по твоему, атаман, слову не будут заворуи наказаны, то и впредь ждать мне от них еще больше того дурна. Людишки у меня из разных земель схожие, людишки беспокойные...

Ярмук набрал надежную сотню и поскакал на промысла.

Копачи и солевары, гремя сбитыми из листового железа сапогами, окружили казаков и застонали:

— Батюшка...

— Ярмук Тимофеевич...

— Помилосердствуй!

— Не покинь нас на погибель.

— Мы всеми оставлены и забыты.

— На тебя, атаман, вся надежда!

— Принимай нас в свою ватагу...

Ярмук, дернулась косматая бровь Ярмука:

— Мне такие не надобны, я таких-то и своих в куль да в воду... С чего, злецы, выиграла в вас сила окаянная? Ребра вам расшатаю и все языки одним гвоздем на одну доску приколочу!

Пали на колени и сдернули с коротко стриженных голов берестяные колпаки и войлочные шляпчонки.

— Помилосердствуй, атаман!

— Бить нас и без тебя есть кому...

В мольбе тянулись изъязвленные соляным раствором руки; лица, запеченные в огненной работе, были жалостливы. Закованный по рукам и ногам Ивашка Редькин, — вытекший глаз его был заткнут окровавленной тряпицей, — звеня цепью, подскочил к атаману.

— Бей меня первого! Все одно пропадать! Постояю за мир, пострадаю за правду Христову!

Он, как бесноватый, скакал перед мордой коня и, захлебываясь, кричал какую-то невнятицу.

— Не суерыжничай, Ваньша, я все обскажу ладом,— бряцая ржавой цепью, поднялся с колен, сажень в груди, соляной повар Рыжанко. Он одернул прожженный искрами кожаный фартук, угрюмо глянул на казаков и степенно заговорил:— Мы не бунтовщики какие, мы... терпежу нашего не хватает! Прикащик Свирид деньги с нас собирал на церковное строение и те деньги с сыновьями своими пропивал... Мы не недоверки какие, крест на шею носим и душу свою поганить суслиным салом не дадим...

Голоса ропота:

— Не дадим, не дадим!

— За что нам терпеть?

— Не тут нам пуп резан.

— Мы народы тверские да суздальские...

— От долгов сбрели.

— В работы нас купец лукавством да насильством охолопил.

В толле возмутителей шныряли зыряне, башкиры и татары.

Вытолкнутый вперед Юлтама нерешительно, заговорил:

— Хазяйн, бох ево знает, один день — бульно хорош, другой день — бульно палахой... Один день хлебишка давал, лаптишки давал, котел давал. Другой день приходил хазяйн — рыбка отбирал, птичка отбирал, шкурка отбирал, лошадку отбирал, все отбирал.

Рыжанко отсунул Юлтаму.

— Ты погоди, у нас тут свои заботы...

— Какой такой свой забот? Твой брюхо ашать хочет, мой брюхо ашать хочет — один забот...

Ярмак:

— В ваш уклад и правез мне дела нет.

Общий голос:

— Правду говорим!

— Не спорю.

Казаки, иные взирали скучая, иные — хмуро.

— Ая-яй-яй, палахой дела, помирать надо,— сокрушенно сказал Юлтама.

— Помирать не надо, бежать надо,— негромко отозвался кто-то из толпы татар.

И снова заговорил Рыжанко:

— Живем мы тут помилуй бог как! Сыты бываем щедротами хозяина четыре дня в году — на пасху, рождество, прощенное воскресенье да Дмитровскую субботу. Хлеб выдает такой, что он и хлебом не пахнет. Кормить не кормит, а все понуждает, чтоб соли нагребали перед прежним с прибылью. Работа душит, некогда глаз поднять, солнышка не видим. Я сам ворочаю, жена со мной ворочает, детишки ворочают, и самый малый — по шестому годку — приставлен лыки драть, корзины и короба плести.

Родитель мой, что насилу бродит и весь дряхл в забвении шатается, за единое грубое слово услан прикащиком в рудник на гнилую работу. За его хозяйской пашней да солью ходючи, одежку всю передрали, волочимся в наготе и босоте. Рыбы на уху добыть некогда, и мы с весны с женами и малыми детьми кормимся травой. Иные на Русь сбежали, иные от болезней и с голоду примерли. За самую чутошную вину, а то и без вины, палач Абдулка батогами нас, крещеных, лупит нещадно и каленым железом пытается, на шею цепь с чурбаном вешает да на головы железные рогульки набивает. Хозяин нас в уезд ушлет, а сам с прикащиками в наши избы для блудного дела ходит, жен и дочерей наших ворует и после над нами же надсмехается. Греха купец не боится, людей не совестится. Велит нам в церковь ходить во все праздники церковные и господские. Кто не придет, с того в первый раз берет по две гривны, в другой раз — грош, а кто не придет в третий раз, с того дерет алтын да приказывает палачу привести того немолыя-невера в церковную ограду и, чтоб не забыл он дорогу к угодникам, бить его палками. Чего мы в церковь пойдём? Поп службу ведет не по-русски, а по-латынски: прислушиваешься-прислушиваешься, а так и уйдешь, не поняв ни шиша... В хоромах, где иконы висят, курит хозяин табачище, а нас за табак кнутом бьет и лбы каленым пятаком клеймит. Да он же, по злой неволе, на спасов день и в благовещение сгоняет народ на свой двор и стрижет с нас волос, да подбавив в тот волос овечьей шерсти, валенки для прикащиков валет, а мы, сироты...

— В ваш уклад и правож мне дела нет,— повторил Ярмач и нагайкой указал на Рыжанко и кривого Ивашку Редькина:— Этых заковать в железа и посадить в яму, хозяин в их головах волён. Остальных выпороть и не мешкая приставить к работам.

Из-под локтя атамана вывернулся палач Абдулка; круглая, ровно из красной меди литая, морда его жирно блестела.

— Пороть, бачка?

— Лупи всех из головы в голову, лупи принародно, чтоб, смотря на то, бабам и малым ребятам неповадно было смуту заводить.

Стон качнул толпу:

— Батюшка, бес нас попутал!

— Горе липовое...

— Живое мясо с нас рвут!

— Лучше бы мне и на свете не жить!

— Кроме бога, не у кого нам искать защиты!

— Ну, атаман, помни... Отрыгнется тебе наша кровь ядом!

Кнутобойцы засучивали рукава, разбирали с возу розги.

— Ложись!..

Подходили, побелевшими губами шептали слова молитвы и, спустив портки, покорно ложились.

Скупые охи, зубовой скрежет, мельканье плетей и розог над распростертыми телами, а тела были худющие, шкуры вытертые, шелудивые, в мокрых соляных язвах.

Кнутобойцы хлестали без злобы до первой крови, а там обезумели и принялись за дело с остервенением.

Абдулка крутился, как бес, и покрикивал:

— Серчай, крепчай!

Подручные отзывались:

— Сухо!

Хозяин послал за вином.

— Будя кровавить руки,— сказал через несколько дней казак Васька Струна и, набрав себе шайку, сбежал на Волгу. За Васькой поднялся гусак бурлацкий Трофим Репка.

— Истома злее смерти,— сказал он и, подговорив шайку, по последней воле сбежал на Волгу.

Пала зима глубока́.

20

Жили казаки, крепи держали.

21

Сибирь, Сибирь, страна мехов, край великих рек, дорога народов...

В давнюю пору монгольский завоеватель Чингидий прислал в Сибирь своего князька Тайбугу, который собрал на Туре-реке городок Чингий — ныне Тюмень — и обясачил народы, бродившие в тамошних дебрях с незапамятных времен. После Тайбуги княжил сын его Ходжа, по Ходже — Мар, женатый на сестре казанского царька Упака. Далее летопись повествует: Упак убил Мара, завладел Тюменью, и туземцы стали платить дань казанцам. Внук Мара Мамет убил Упака, разорил Тюмень и собрал на Иртыше городок Сибирь, ныне Тобольск; по городу и вся страна стала зваться Сибирью. После Мамета княжил его племянник Агаш, и сын Казий, и сыны Казия — Едигер и Бегбулат. Потом из степей Монголии пришел Кучум, Муртазалиев сын; он убил Едигера и Бегбулата и сам стал царем.

Русь ходила на Сибирь с мечом, рублем и крестом.

Новгородские ушкуйники, подговоренные купцами или по своей воле, лазили за Камень по старому печорскому пути. Да они ж с Мурманского берега на утлых суденышках морем проплывали в богатую мехами Мангазею, что лежала в полунощной

стране, меж низовьями Оби и Енисея, где досужие промышленники и разменивались с тамошними народцами товаром.

Воеводы московские, посланные Иваном III покорять Пермь, коей когда-то владели купцы новгородские, край пермский покорили и по своему почину прошли за Урал, в землю Югорскую, привели тамошних жителей в покорность и обложили ясаком.

Еще за сто лет до Ярмака князь Федор Курбский с товарищем своим Салтыком Травиным и с дружиною воевал вогулич на Тавде, громил тюменских татар да по рекам Туре и Тоболу выплыл на Иртыш, а с Иртыша на Обь, в Югорскую ж страну.

Об одном из таких походов в разрядной книге кратко записано:

«Послал великий князь московский Петра Федоровича Ушатого, да поддал ему детей боярских вологжан, а пошли до Пинежского волочку реками 2000 верст, да тут сождались с двиняны да с пинежаны да с важаны, а пошли с Ильина дня Колодою-рекою 150 верст. С Оленья броду на многие реки ходили и пришли в Печору-реку до Усташа-града. И тут воеводы сождались: князь Петр со князем Семеном Курбским да с Васильем Ивановичем Гавриловым, да тут осеновали и город зарубили. С Печоры-реки воеводы пошли на введенъев день святые богородицы. А от Печоры воеводы шли до Камня две недели, и тут развелися воеводы: князь Петр да князь Семен через Камень щелью, а Камня в облаках не видать, а коли ветрено, ино облака раздирает, а длина его от моря до моря. И убили воеводы на Камени самоеди 50 человек, да взяли 2000 оленей. От Камени шли неделю до первого городка Ляпина. Всего по тем местам шли 4650 верст. Из Ляпина встретили с Одора на оленях югорских князей, а от Ляпина шли воеводы на оленях, а рать на собаках. Ляпин взяли и поймали еще тридцать три города, да взяли 1009 человек лучших людей, да 50 князей привели. Да Василий же Бражник взял 8 городов да 8 князей, а простых людей, всех побил. И пришли к Москве, дал бог, здравы на велик день к государю».

Бывалые люди много чудесного рассказывали о Сибирской земле да привозили с собой достаточно мехов, золота и всецветных камней. Выделяемые всюду ткани были плохи и дороги. Меха сибирские шли на рынки Европы и всего азиатского востока.

Истари Москва подкармливалась сибирской пушницей, переправая ее на Запад.

Помимо купцов хаживали за Камень на вымотры и царевы посылы.

Убитый Кучумом Едигер недолгое время платил русским дань, а по его и некоторые князцы туземные, радея о спокойствии своих земель, даывали Москве ясак.

Дальность и бездорожье мешали прочно связаться с краем.

Иван Грозный, отняв у татар Волгу, и на Сибирь уже глядел

как на свою вотчину, но пока не трогал ее и все силы устремлял на ливонцев и крымчаков. Да через Сибирь же мнил он завязать торговлю с неведомым Китаем и далекой Индией.

В 1570 году Кучум писал царю московскому:

«Бог богат!

Вольный человек, Кучум-царь, слышали мы, что ты, великий князь и белый царь, силен и справедлив есть. Коли мы с тобой развокемся, то и все народы земель наших развоюются, а не учнем воевать — и они будут в мире. С нашим отцом твой отец крепко помирились, и гости на обе стороны хаживали, потому что твоя земля близка. Люди наши в упокое были, и меж них лиха не было, и люди черные в упокое и добре жили. Ныне, при нашем и при твоём времени, люди черные не в упокое. По сю пору не посылал тебе грамоты, случая не было. Ныне похочешь мира — и мы помиримся, а хочешь воевать — и мы вокемся. Полон в пойманье держать, земле в том что? Посылаю посла и гостей, да гораздо помиримся, только захоти с нами миру. И ты одного из тех моих людей, кои у тебя в пойманье сидят, отпусти и с ним своего гонца нам пришли. С кем отец чей был в недружбе, с тем и сыну его в недружбе быть пригоже. А коли в дружбе бывал, ино в дружбе быти, кого отец обрел себе друга и брата, сыну с тем в недружбе быть ли? И ныне помиримся с тобой — братом старейшим. Коли захочешь миру, на борзе к нам гонца пришли. Молвя, с поклоном грамоту сию послал».

Замыслы Кучума были нехитры. Ему хотелось иметь сильного покровителя, чтоб именем его стращать своих врагов.

Иван Грозный большую рать двинуть в Сибирь не мог, а малую поопасался. В Тобольск был отправлен посол и *дорога*, — *дорогой* в старину звался сборщик дани. Кучум, уразумев, что от Москвы поддержки не дожидаться, казнил послов русского царя и объявил себя вольным человеком.

Силён, удал Иртыш водою, славен разливами.

Играя плесами, свиваясь в кольца, покойно льется Иртыш по степям киргизским; катит мутную волну через топи болот барабинских; гремит Иртыш и тащит по дну обкатанные камни в ущельях Алтая.

Текла вода

за водою текла жизнь.

Старые доживали век в беседах и молитве.

Молодые, скаля зубы и визжа, летели в битву.

Мудрый славился мудростью, богатый — богатством, бедный кормился от трудов своих.

Кости стариков тлели в земле; объятья молодых были неистовы, стоны сладостны и слезы горячи. Ночью, на осторожный

посвист любовника, как лисица, выбегала любовница,— свет звезды пламенел и струился в глазах любовников.

Туманы кочевали в долинах.

Челн рыбака скользил по реке, блистало весло, взметая брызги. Крапивная сеть волокла на желты пески трепещущую рыбу орду.

Скуластый сохарь трудился на поле, вспарывая чрево земли лловым суклом.

По заросшему берегу озера, колебля метелки камыша, крался охотник,— легок летал глаз его, легка ступала нога, легка и умна взвивалась стрела.

В тайге, вокруг костров, на разостланных шкурах дремали звероловы.

Над вечерней синеющей степью лился древний плач пастушьего рога. Брели стада в тучах пыли, багровоющей в закатных лучах. Над кошменными юртами вился дым. В юртах родились и умирали, смеялись и плакали...

Богато жил Кучум.

В травных долинах, меж озер, нагуливались тьмучисленные отары баранты его, косяки коней, табуны возовых и верховых верблюдов. Бедняки кочевали вослед царских юрт и пасли стада его.

Разлив степей

зеленое приволье

да гоны звериные.

Сверкали, пронятые светом, синие потоки. Синий ветер качал-покачивал траву, гнал-плескал ковыльнюю волну. По разлужью, полному жарких цветов, скользила тень облака. Напрягая тетиву легкого лука, скакал Кучум по своим землям,— предсмертный стон зверя веселил его старческое сердце.

В женах хан плутал, как в фруктовом саду.

Старые жены с детьми жили все вместе на большом дворе, молодые жены жили каждая в отдельном дворе, и юная Сузге жила против городка, за рекою, в своем урочище.

Дань подвластных народов отовсюду стекалась в царев котел.

Беднач давал царю кобылу с жеребенком, богач вез ему нечто от богатств своих, рыбак вел за лодкой на привязи саженого осетра, охотник метал на широк царев двор шкуры бобров карих и рыжих, лисиц черных и красных, соболей голубых и куниц прокрасных. Калмыки пригоняли в ясак трепетных степных коней. Таежные жители тасили мед и воск, медвежьи и серебряные, в черных кольцах, барсовые шкуры, что на базарах Самарканда и Тавриза, Багдада и Цареграда ценились особенно высоко. Из Кузнецкой волости мастера привозили медь зеленую и красную в котлах и тазах, удила конские, олово в блюдах и тарелках, а также слитками и в прутье. Пастушеские народы в уплату дани рвали с каждого барана по клоку шерсти, свозили

князькам кошмы и кожи и одеяла, сшитые из разноцветных локутьев лошадиных и коровьих шкур.

В уездах сидели подручные мурзы. У мурз в подчинении были князьки, у князьков — старшины и сотники.

Кучум-царь, а заодно с ним и все его послуги и угодники с женами, детьми и собаками, вознося хвалу аллаху, кормились меж рук народа своего.

Весною — по просухе — к низовьям Иртыша скорили караваны купцов алтайских, ногайских и бухарских.

Ветер вздымал косматые верблюжьи гривы.

Заунывная песнь и крики погонщиков,— лица их были запылены, как придорожные камни,— и резкие хлопки ремешков кнута с навитым из волоса концом.

— Ааа-аа-аа-аа!..

По степи, дремлющей в зеленом полусне, далеко разносился трубный рев верблюдов, мерно плывущих под тюками товаров.

Базар заполнял город и через рукава тесных улочек выливался на степь.

Чего, чего тут только не было!

Материи всякие и кафтаны стеганные, сафьян и вытканые затейливыми рисунками холсты, кошмы с ввальянным узором, подоженные южным солнцем бухарские шелка и афганские ковры столь яростных расцветок, что от взгляда на них слеп глаз. Писаная посуда, пшено сарацинское, лекарственные снадобья в порошках и листьях, самоцветные камни и граненые рубины, янтарь, масла и сласти и китайский табак столь мелкой резки, что мельчиною своей он мог поспорить с рубленным человеческим волосом. Табуны прядающих аргамаков и диких карабаиров, толпы полоняников с колодками на шеях, да привозили купцы из глубин Азии юных дев в обмен на меха.

Наведывались на сибирские торжища промысленники и с русской стороны. Располагались они своим табором поближе к реке, мылись и отдыхали с дороги, потом на скорую руку мастерили лавчонки, распарывали кожаные мешки, раскрывали лубяные короба и по застланном рядом прилавкам раскидывали немудрые товары: топоры и огниво, сковороды и котлы, бубенцы и перстни, оловянные пуговицы и берестяные солонки, прядь неводную и веревку смоленую, чарки литые и выплавленные из голубого уральского серебра зеркальца сгущенного и светлого блеска; чулки шерстяные и пояса гарусные, крашенные пряники и железца ножевые, сукна сермяжные и полотнишко реденькое и пригодное разве лишь на то, чтобы им дерьмо цедить.

Охотники и кочевники славились простодушием и жили в первобытном непорочии.

За иголку с ниткой купец выменивал кобылку с жеребенком, за латаные штаны и рубаху выбирал лучших бобров и песцов, железный наконечник для стрелы шел в одну цену с сободем.

Шумел торг
 ржали кони
 ржал ветер
 плясал Иртыш, седой бородою потрясая.

22

Зима. Пыхали морозы. Навалило снегов выше избяных труб. Лежали снега пушисты и легки, как сияние. Морозная пыль остро сверкала в лунном луче.

Не красна ты, сидячая служба.

По праздникам, от великой скуки, сходились казаки со слобожанами в кулачном бою. Дрались казаки и друг с другом: то была у них любимая забава.

Старики докучали Ярмаку:

— В пьянствах люди быются и режутся до смерти, крестов на шеях не носят, посты не блюдут, гуляют с слободскими девками и, вернувшись, не помыв рук, за хлеб хватаются да заодно с холопами своих атаманов и есаулов лают... Ты, Ярмак Тимофеевич, своим молчанием всему тому потакаешь... Васька Струна на Волгу сбежал, бурлак Репка на Волгу сбежал...

— Горячий камень им вослед!

— Дай дело людям, атаман, не то все разбредется розно.

— По времени будет и дело.

— Осатанели от скуки, друг на друга с ножами кидаются. Поставил бы ты которых старателей доброхотов к соляному и рудничному промыслу.

— Черт их заставит работать, обленились, псы... Да и то сказать: потная работа нам не в обычай, и в работники к купцам мы не давались.

...В дальние урманы хаживал Ярмак с собаками.

Тут примятый подтаявший снег — лежбище лося; там след зверя путался с подследком зверенка; белка скакала с ветки на ветку — с зеленых ресниц сосны опалили снежные хлопья; из-под куста прыскал зайчишка выторопень; хвостуха лисынька ловила тетерва в лет...

— Орел, бери!

Собаки тяв

 лиска верть

и

 хлынули!

— Бери-и-и-и!.. Га-га-га-га-га!.. Посчитайте в ней блох! Катилась золотая лисынька, ныряла в распушистых снегах. За нею, разбирая путаный след, в крутящемся облаке снеж-

ной пыли, мелькали собаки. Передом на весь мах стлался собачий атаман Орелко. Стая, взлаивая с пристоном, уходила из глаз.

На раскатах под ногой охотника посвистывала лыжа, разлеталась на ветру черная борода.

В непролазные заломы уходила лиска, замывала лисынька след хвостом.

...По праздникам, после обедни, Строганов зазывал к себе на пирог атамана и есаулов. О чем бы ни велась беседа, а купец нет-нет да и закинет словцо про Сибирь:

— Богатеющий край!

— Сам там бывал?

— Бывать не бывал, а премного наслышан.

— Чужому языку как верить?

Никита навивал на кулак русую бороду, хитринка, словно ясный зайчик, играла в его сером глазу.

— Не с ветра вести ловлю.

— Говори.

— Вернулись на неделе прикашики — с товаришками моими в Мангазею гоняли, и каждый привез себе по десятку соболей, по два десятка недособолей, по полусотне выимок да пластин собольих, по два сорока пупков (ремни из шкурок с брюшка), белых и голубых песцов привезли, бобров привезли, заячины по вороху да по меховому одеялу, да по шубе, да немало всякого лоскута... Дивный край!

Разгорались у гулебщиков зубы.

— Лихо!

— Да-а, кусок!

— Что ж, добыли — не у царя отняли.

— А тут?.. Живем из кулака в рот.

Думали.

— Дорога-де трудна, — осторожно оговаривался Строганов. — Дичь, глушь, заломило дороги лесами.

— Мы в походы бегаем налегке: где зверь пройдет, там и казак пройдет.

— Заломило дороги лесами, а реки порожисты, много по рекам злых мест.

— И то нам не страшно, Никита Григорьевич, — на воде и с воды живем.

Ярмак думал и, усмехнувшись, невесело выговаривал:

— Пожили, попили — пора, якар мар, и бороды утирать.

— По мне, еще хоть сто годов живите, — раскидывал купец руки как бы для объятья. — Будем кормом кормить, доколе бог изволит, и род наш стоит.

— Время зовет.

Потягивая винцо, думали и мало-помалу утверждались в мыслях отправиться в сибирский поход.

Строганов:

— Коль примыслите в Сибирь идти — со господом. Поход тот будет богу угоден, государю приятен и нам прибылен. Ведем торговлю с Бухарой и Хивой, а товаришки обвозим морем, Волгою, Камой — голый убыток. Царь давно пожаловал нам землишки зауральские, да руки не достают прибрать. Места там вовсе дикие, топор и коса туда не хаживали, зверя всякого изобильно, а люди живущие не храбры, и урядства воинского у них намале.

Простодушный Никита Пан брякнул:

— Нет ли у вас где такой высокой горы, чтоб мне с нее сразу всю Сибирь глазом поднять?

— Горы такой нет, — дивясь дурости бородатого вопрошала, любезно отвечал купец. — Горы нет, а пути в Сибирскую землю никому не заказаны.

Думали.

— Гайда, братья атаманы, наудалую! Раз туда слетаем и — завей горе веревочкой!

— Ты, Пан, горячку не пори.

Но Никита Пан хмельно орал:

— Не дойдем горами — доплывем речками, а будем мы тарву огнем жечь, острыми саблями сечь, да пушками пушить! С головою до края света пройдем, возьмем Сибирь без свинца и пороху...

Строганов ласково:

— Чего ж без нужды нужду терпеть? Свинцу-пороху вам отпустим. Дам хоругвь святую да икону Миколы-можая, — он, батюшка, пособит вам в промысле над некрещеными.

А Ярмак говорит, усом шевелит:

— Ты, Никита Григорьевич, коли на то пойдет, людей нам давай. Икон у нас и своих много. Снаряду готовь, сухарей и всего такого... Будет в Сибири добыча — за все отплатим с присыпом.

— И людей дам предобрых, стрельцов гораздых и просужих, которые разговаривать на всякие языки знают.

— У нас языки не палки, и своими обойдемся.

Думали.

В хоромах было жарко натоплено. Чадили сальные свечи своего литья. Вьюга острым коготком царапалась в обмерзшие оконца. В тяжелых кубках пенилось цветное вино, вино горячило головы. Слушая гул голосов, купец смекал: «Сибирь — царю, а все, что в Сибири, — наше».

Казачья старшина валила к гулебщикам.

— Так и так, товариство...

— Сибирь...

— Золотое дно...

Казачи говорили разное:

— Что Сибирь! Нам и тут не дует.

- Сидеть вот надоело — это' верно.
- Жить весело, да бить некого! Хо-хо...
- Плыдем!
- Время зовет. Плыдем!
- Куда там!.. В пень головой.
- Погонимся за крохой — без ломтя останемся.
- А тут чего высидим?
- Удалому горох хлебать, а лежню и пустых щей не видеть.
- Богачество...
- Что казаку до богачества? И богатый и бедный лягут в могилу. Нам бы веселой жизни.
- Погулять охота.
- Правда твоя, Микишка.
- Плыть!..
- Плыть!
- Верстай, атаман, людей по сотням!
- Зима на дворе.

Ярмак:

— Любо мне слышать храбрые речи. Мыслью: поплыдем, когда время присплет, а пока пошлем в Сибирь своих доглядчиков, чтоб не было нам промаху.

- Слать.
- Кого?
- Думайте.

Намеченных людей разбирали по всем статьям и наконец, сложившись разумом, выбрали четверых: Фоку Волкореза — казак рассудительный и бывалый; Зарубу — удал и вынослив: сотник Черкиз между дела вспомнил, как однажды на охоте Заруба целую ночь проспал на снегу и в кулак ни разу не дунул; избрали зудливого на язык Куземку Злычого, чтоб веселее было в дороге; за толмача шел полубраток, новокрещеный татарин Мулгай.

Ярмак зазвал подсылщиков в атаманскую избу и обо всем *подробно* растолковал:

— Перелезете Каменный Пояс, и будет вам татарская орда. Разузнайте, много ль рек и какие под Уральским Камнем верхове-ем вяжутся? Приметьте воды копаные и родниковые. Где через реки перевозы и перелазы есть, коими нам до татар добраться бы? Какие на реках завороты и много ль урочищ? Сколько верст каждой реке протоку? Под какое царство какая река подтекла и к которому народу которая земля подошла? Велика ль держава Кучума, и много ли у него войска, и где раскинуты главные кочевья? Высмотрите, какие племена и народы вокруг Кучумовых владений бытуют: сильны и храбры ль, каким оружием владеют, от чего имеют пропитание и каким богам молятся?.. Выведайте и обо всем прочем, что к продолжению нашего пути способствовать будет.

Посылы переглянулись.

— Послужим.

— Ты, Фока, пойдешь за хозяина — борода хороша, а вы, все другие, — его работники.

— Добро, атаман! Все разведем допряма.

— Ну, а попадетесь — будьте удалыми и в беде, лишнего не болтайте и славу казачью не роните.

— Бог нам защита да смекалка казацкая.

Разузнайщики нарядились торговцами и с караваном мелочного товара отправились в невиданную и неслыханную Сибирь.

В то же время зауральский князек Ярлаш, набрав татар, вотяков и вогул, внезапно набежал на пермские места, к Чердыне и к острожкам приступал; чего успел — сжег, крещеных, кои под руку подвернулись, перебил, а иных в полон угнал. Казаки тот набег проморгали и за дальностью да бездорожьем не успели к бою, чтоб помочь. Строгановы к тому казаков и не понуждали, — пускай-де воевода чердынский своей силой отбивается: сводили купцы с воеводою старые счета.

23

Мартьян зашел к Ярмаку проститься.

— Ухожу, Ермолаюшко.

— Куда поднялся?

— В орду.

— Што так?

— Чую тягость старости своей и в силах умаленье. Хочу напоследок послужить богу и тем вымолить себе грехов прощение.

Прослышав о том, в атаманскую избу налезли казаки. Мартьян обратился к ним:

— Ухожу, братцы, прощайте! Устал я злодействовать, душа заколела от холода.

Карп Большой да Карп Меньшой сказали:

— Живем не по-христиански, а по своей воле. У нас в землянках помолено, а за некрещеными, кои ходят к нам, как хвост тянется всякая нечисть. Напустим анчуток, они нас ночью и душат.

Мартьян с грустью посмотрел на них.

— Купцы и холопы, цари и князья — все от корня Адамова. Русский и черкашенин, ордынец и лях — люди рода и племени Адамова. Мы же, отступая от заповедей и подавшись бесовским прелестям, пустились в злодейства многие.

— Звери и те поедают друг друга, а чего бы им делить? Не одной ли они веры? — спросил Гуртовый.

— Зверь — тварь бессловесная, человек же создан по образу и подобию божию... Пойду. Буду учить ордынцев добро пони-

мать.— Он пал казакам в ноги.— Простите, братья, суди вас бог!

Ярмак поднял его и сказал:

— Твоя воля, батюшка Мартьян Данилыч, держать не смею. Иди, сей слово Христово да молись за нас, грешных.

И побрел Мартьян по лесам и болотам, услаждая одиночество пением псалмов.

Зыряне и остяки поклонялись огню, воде и болванам; язык их был темен и убог, но Мартьян скоро осмыслил его.

Шел путем-дорогою, шел лесами, горами, помогал жителям рубить дрова, тянуть невод, учил печь хлебы, проповедовал слово божье, ставил кресты и часовни да вырезывал из дерева иконы столь искусно, что дикарям они нравились больше, чем свои идолы.

Народы, подстрекаемые кудесниками, накидывались на проповедника с криками и угрозами, но он ласковым словом чудесно гасил их гнев да тем смирением своим побеждал мечтательную вражью силу и покорял самые упорные сердца.

Жители одного селения по уходе Мартьяна скоро забыли русского бога и снова сделали себе болвана. Когда Мартьян возвращался обратно рекою, они, смеясь, бежали по берегу и ему в досаду разрывали и поедали белок. С реки Мартьян благословлял их, говоря без ропота: «Не ведаете, чада, что творите»,— да той кротостью многих опять обратил на путь истинной веры. В другом селении заспорил с Мартьяном кудесник Пама.

— Как верить тебе, с русской стороны пришедшему?— спросил Пама.— Вы искони угнетаете наши народы тяжелой данью и насильями. От вас ли ждать нам истины и добра? Служим своим богам, изведенным долговременными благодеяниями. Променяем ли их на одного неведомого бога?

— Христианский бог сильнее всех ваших богов.

— Как тому верить?

— Испытаем силу богов огнем и водою.

В кипящий котел был насыпан песок. Мартьян, по преданию старины глубокой, выхватил из котла горсть песку и сказал:

— Меня бог укрепил твердостью. Теперь пусть и тебе твои боги помогут достать из котла хотя бы одну щепоть песку.

Посрамленный Пама ушел кормиться за Камень, к березовским осяткам.

Работал Мартьян и на Вишере-реке, на каменном заделье, где сбродники тесали камни на мельничные жернова. Его приняла за колдуна, стали над ним смеяться, дергать за волосы, плевать в чашку с тюрей. Мартьян, по сказанию церковного мракписца, скатил жернов в реку, сел на него и поплыл. С берега, уверовав в его святость, кричали: «Воротись!»— а он ответил: «Оставайтесь с богом». Каменщики стали поклоняться ручью, из которого старик пил воду.

Край разорялся и с русской и с сибирской стороны. Всюду

шныряли строгановские и иных купцов прикащики, торговцы с Вологды и Устюга. Где лаской, а где хитростью выманивали у жителей пушнину, самоцветные камни, мороженую рыбу и птицу. Воинственные вогулы опустошали улусы соседей. И в ту злую годину они большой силой нагрянули в зырянскую землю. Навстречу, в долбленной лодчонке, выплыл Мартьян, одетый в ризу. Диким вогулам лицо его показалось грозным, а сам он представился облаченным в пламя и мечущим огненные стрелы, — бежали вогулы и с той поры боялись русского старика, как могущественного волхва.

В голодный год ездил Мартьян в Устюг и пригнал оттуда хлебный обоз, да вскоре вступил в спор с лихонмщиком, воеводой пермским Василием Перепелицыным: за правду свою был бит на воеводском дворе палками и, похворав мало, получил блаженную кончину.

По следам Мартьяна пришли стрельцы, налетели шайки соловецких, макарьевских и иных монахов. Городили острожки, ставили монастыри, забирая лучшие пашни и луга, рыбные ловы и звериные гоны.

Казак ждал — затоскует Мартьян и вернется, а потом, прослыша о его смерти, выбрали себе нового попа — Семена Чернышева. Ленивый на работу Семен был рад тому несказанно. Хотя круг церковный он править и не мог, да и молитвы целиком ни одной не знал, зато и тех немногих божественных слов, кои удержала его память, действие было столь велико, что дружина была в надежде. Ерощка Дунь говаривал про своего попа: «Он у нас в божественном не силен, зато такой заговор знает — враз любую болезнь сшибет».

Был еще в ватаге колдун Митя Косой. Поп с колдуном жили дружно: где не брала сила божья — призывали на подмогу чертей.

На Строгановых — грозная царева грамота.

Купцы всполошились.

— Ты называл, ты и выкуривай, — сказал Семен Аникиевич своему племяннику.

Никита Григорьевич кинулся к Ярмаку.

— Беда, атаман!

— Опять ты с бедой? Выкладывай.

Никита пересказал грамоту:

— ...Послали-де вы из своих острожков казаков воевать всяков, и вогулич, и татар, и пелымские и сибирские места, всяко их задирали да тем задором с сибирским салтаном ссорили нас. А волских атаманов к себе призвав, воров-де наняли в свои остроги без нашего указа. А не вышлете-де из своих острогов волских казаков, будет положена на вас опала великая, а атаманов и казаков, которые слушали вас и вам служили, а нашу землю выдали, велим перевешать...

Ярмак — к дружине.

— Ватарба!

Гулебщики на дыбы.

— Не быть нам, казакам, под рукой воеводской!

— Не видать воеводам нашего покору, как ушей своих!

— Бежим, братцы!

— На Волгу, в отход!

— В Сибирь! В Сибирь!..

Ватага разверстана по сотням, полусотням и десяткам. Выбраны походные атаманы. Каждой сотне приданы знамена да иконы. Поддали Строгановы своих людей несколько, Мамыка был поставлен над ними атаманом.

Посылал Никита Григорьевич с казаками и своего старшего прикащика.

— Заведи, Петрой Петрович, книгу плавную. Дороги и битвы описывай. Руду и каменья, какие попадутся,— образцы прибирай. Зверя, птицу, рыбу и последнюю букашку описывай. Меха, кои казачишки добудут, скупай и ко мне присылай. За людьми нашими присматривай.

— Слушаюсь, батюшка...

Сделали суда подо всю рать. Загрузили суда порохом, свинцом, мукой да крупами, сухарями да солью, копченым мясом да рыбой сушеной.

Отвальный пир

день и ночь утиху нет.

После всего перед церковью пили прощальный ковш вина и с песнями двинулись к стругам.

Старый солевар Макарка, провожая слезящимся взглядом подбритые казачьи затылки, с завистью сказал:

— Гулевой народ, пришли с песней и ушли с песней... Эх, кабы мне да годков поменьше!

Казачи, крестясь, отплыли.

Народ, чтоб погладить гулебщикам дорожку, доканчивал на площади недопитое винцо...

Вдали замирал многотысячный гул...

24

Плыли.

25

Суров Урал в кряжах лесов.

С тяжким стоном и ревом металась речка, сдавленные горами. Водопад висел над кипящей пучиной. В горах паслись племена мирных озер, в камень закованных. По утрам на тихой воде озера солнце прядало будто саженное серебряное веретено на

синем блюде. До облак взлетала широкогрудая, обросшая мхом скала. С утесов шумные свергались потоки...

Тайга темна́

берега пусты́

места неме́.

Чусовая металась в камнях, как щука в сетке. По реке рубцом виляла струя толщиной в руку. Клубилась и шумела мутная вода на каменных переборах.

Плыли, претерпевая многие трудности и боря их,— не в обычае было от затей своих отступаться.

Жили дружной артелью: не мимо говорит пословица — «Нужда и кошку с собакой дружит».

Без конца дивовались и смеялись над строгановскими людьми. Сядут лапотники сообща щи варить — хлебово заодно, а свой кусок мяса каждый спускал в котел на своем лычке да, мало уварив, сам и съедал. Зипуны на них были столь толсты, что когда намокали от дождя, то под тяжестью их мужики не могли идти; портки и рубахи были столь крепкой дерюжины, что— повисли на сучке — и будешь висеть, пока высохнешь.

С Чусовой, по сказкам вожей, свернули в Серебрянку.

Подымались по Серебрянке с превеликим трудом,— речка та крута и резва, как огонь, стремит меж высоких гор. Тяжелые суда покинули, пошли на легких, но скоро и легким ходом не стало.

Тогда с берега на берег парусами принялись запруживать узкое русло, оттого вода в речке поднималась: так-то продвигались, пока было можно.

В верховьях Серебрянки срубили Кокуй-городок, порыли землянки и зазимовали.

Ударил зима, взыграла погодушка.

Мороз гулко рвал нагие скалы. В тихом сне стояли леса. Под вой вьюги крепко спалось медведю в берлоге.

Бездыханна лежала река.

Затомились гулебщики, в сырых норах сидючи, заедали их вши, гнула лихорадка.

— Эх-ха-ха!..

— Не стони, друг милый, а закручинишься — в первом бою тебя могилою придавит.

Скучали без баб да от безделья. Все помыслы — в бабу. И разговоры и сны полны бабами. Манила весна, бредили близкой наживою. Самые беспокойные, не считая вёрсты, налегке бегали в остяцкие и вогульские становища — забирали мясо медвежье, мясо лосино, рыбу вяленую и мороженую, забирали всю рухлядь ¹, все пожитки, и собак сводили, и оленей угоняли, и все, что можно было увезти, увозили — до штанов и шуб, а вогулич и остяков оставляли в юртах нагих и голодных.

¹ Рухлядь — в старину так звались меха.

О тех жестокостях скоро и по всей стране рассеялся слух злой.

— Бог скотину и ту приказал миловать,— говорил совестливый старик Осокин, но словам его никто не внимал.

Аламанщики похвалялись:

— Ухватил я ее за бок и тихо говорю: «Ты меня не бойся, я не такой, как Ванька за рекой». Визжит, што кобыленка, и зубами меня за руку — хап! А я, братцы, и крови своей не слышу, волоку ее, ровно собака кость, в угол и давай трепать-целовать...

— Скусно?

— Обхлебался.

— Невелика поди утеха,— ни губ, ни носа, целуешь будто лопату.

— По мне, хошь из корыта, да досыта.

— Хо-хо!

— Хе-хе!

— Одна старуха на зуб попалась... Развалили и все, чего там было, до зернышка подклевали.

— В поле и жук мясо... По сю пору поди-ка спасибо сказывает, ежели богу душу не отдала.

— Еще пойдете — и меня, сироту, возьмите,— тоненьким голоском попросил застолетний дед Елисей Кручина, и круглые ястребиные глаза его блеснули задором.— Не глядите, что лыс: старый конь борозды не испортит.

Хохот молодых прогремел ему в ответ.

— Прыткий!

— Да-а, на кашу да на баб он накатиственный.

— Не смейтесь, сынки, старших и в орде почитают.

— Подыхать пора, чужой век заедаешь! — ради злой потехи кинул есаул Осташка Лаврентьев и, отдышавшись от смеха, спросил: — Али, Кручинушка, бесово ребро взыграло?

— Грешен, молодцы, томит меня по ночам нечистый.

В метелях летели мутные дни, летели белокрылые ночи, налитые свистом ветра да растяжелой тоской...

Жили казаки, как волки, впóлсыта, а толмачей и вожей вовсе не кормили, понуждая промышлять себе пропитание воровством да разбоем.

За зиму иные перемерли от болезней и голоду, иные пустились в разбег.

26

И снова грянула весна!

Сизые леса разбегались по скатам гор, терялись в низинах, полных белесого тумана. Речки с речками срастались, ярынь-вода играючи ломила берега. Сокол острым крылом чертил небесный простор. В горах гремел звериный рев. Под обстрелом солнечных лучей горел, дымился луг весенний...

Поднялся муравей

поднялись и гулебщики.

В горных краях тяжел, угрюм лежал Тагил... Разбежавшись с гор, в пене и брызгах зарывался Тагил в Туру-реку.

Тура пьяно плутала по зеленым лугам, стремилась на восход солнца, вливалась в многоводный — по весне — Тобол.

Плыли.

Глаз русский был поражен диким и мрачным буйством сибирской природы.

Передом, на слуху ватаги бежал яртаульный (караульный) челн. За ним спускались в двух сотнях струги и стружки, насады и лодки и похожие на корыта однодеревые долбленные лодчонки. В хвосте сплывал огороженный жердями плот со скотом и съестным припасом, — под солнцем жирно лоснились туши свежетенных бревен, в деревянном гнезде певуче скрипело правильное весло, кипела вода у отпорных плуох.

Первую весть о грозе подали бабы Япанчина урочища.

Старуха Самурга, лицо которой было подобно кому засохшей грязи, на рассвете пошла на реку за водою и огласила пустынные берега суматошным криком:

— Алла, алла!

Жители аула высыпали на берег.

— Там люди, много чужих людей! — показала старуха на плоть.

По реке, крутясь в мутной струе, плыли свежие щепки, клочья гнилой соломы, птичьи перья и ветки зелени.

Сойдясь в круг, зашептали бабы.

Чуя недоброе, взлаивали собаки, взлаивали и умолкали, к чему-то прислушиваясь.

Ребятишки вылавливали из воды и с победными криками пожирали не виданные дотоле арбузные корки.

Степенные старики опирались на подоги, оглаживали крашенные бороды и негромко переговаривались:

— К нам плывут люди.

— Дальнеземельные.

— Беду за собой ведут.

— Купцы?

— Нет, то не купцы: купцам не время.

— Русь?

— Русь, больше и быть некому.

— Давно злой слух шел.

— Беда, старики!

— Русь...

— Война будет, горе будет. Субханалла!

И всю ночь чуткое ухо степняка ловило далекий перестук топоров, далекий лай псов и еле слышные в песенном разливе казачьи голоса. Да еще с самой высокой сосны, что росла на яру, было видно легкое зарево далеких костров.

Урочище князца Япанчи высылось на яру и с приступной — степной — стороны было обнесено насыпным валом и бревенчатой стеной. Тесно лепились саманные, облитые глиной мазанки. Убогие землянки были похожи на барсучьи норы. Жили в них лишь по зимам, с весны же все от стара до мала откочевывали в степь.

От дыма к дыму

от табуна к табуну

в рыжем облаке пыли мыкался

посланный Япанчою скорец с развевающимся на копые зеленым лоскутом.

— Алача!

С боков коня облетали, обиваемые плетью, клочья шерсти.

— Тамаша... Тамаша...

По дорогам, тропам и целиною на арбах и верхами скакали татары, направляя бег коней к урочищу.

Визги да крик:

— Арга булга... Алача-а-а-а!..

Подняли завалившуюся в одном месте крепостную стену, перерыли сбегавшую к реке дорогу и, наполнив саадаки переными стрелами, стали ждать врага.

Всю ночь по аулу дымились костры, под ножом резакИ вячел баран, в котлах варилось мясо.

Но лишь на востоке забелела заря и на седую от росы степь пролились первые лучи солнца, из-за мыса, держась середины реки, выплыл бережный, яртаульный челн, а вскоре в блеске ясных доспехов показалась и вся дружина.

Скрипел кочеток под веслом, с весла вода стекала блистая...

На одних стругах люди еще спали, на других — уже бречал бубен, заливались на разные голоса камышовые дудки, в ловких руках поляка Яна Зуболомича самодельная гармонь торопливо плела незатейливый наигрыш.

Со стругов — смех.

— Аман ба! (Здравствуй!)

С берега робко:

— Аман, Русь!

Казаки:

— Шайтан голова!

С берега смелее:

— Сама шайтан... Тьфу, донгус!

Есаул Осташка Лаврентьев появился на носу атамановой каторги с вестовой трубой и проиграл — та-та-та-та-а, та-та-та-а-а... — построиться в боевой порядок.

На стругах — движение.

Князь Япанча, чтобы устроить казаков, выставил по бровке крутояра все войско свое — и лучников, и копейщиков, и конников, сам же с абызами (попами) вышел вперед, надел на большой палец правой руки широкое костяное кольцо, употреб-

лявшееся для натягивания тетивы, поставил перед собой большой лук, уперев один рог его в землю, и пустил первую стрелу.

Струги греблись к берегу, со стругов гайкали:

— Гей, волчья съть!

— Пади!

— Абыз, свинье ухо обгрыз!

— Подбери полы кафтана, не то стащу!

— Подавай нам вашего князя на мясо!

Казачи — кто наводил на берег пушку, раздувая дымящийся фитиль, кто, опираясь на пищаль и раскуривая трубку, стоял по борту в ожидании команды.

Со шмелиным жужжанием густо летели, подобны косому дождю, остро точенные стрелы.

Абыз запел:

— Аллах вар... Аллах сахих...

Свирепый клич татар:

— Ал-ла-а!..

А встречь:

— Бей с нагалу!

Казачи подняли пищаль

залп.

С обрыва свалилось несколько, — взметывая рыжую пыль, устремились по откосу и шлепнулись вниз, у самой воды.

Стон:

— Ал-ла!..

В упор:

— Огонь!

Залп.

Орда взвыла и шарахнулась прочь от дышащих огнем и смертью, не виданных дотоле пушканов.

На арбах и верхами ринулась орда в степь, гоня перед собой баранту, коней и верблюдов. Пospешала и старуха Самурга, волоча за собой упиравшегося старого козла с ободраным боком.

Свист и гайк победителей неслись орде вослед.

Поп Семен из ведерка покропил свяченой водой берег, ватажники полезли на яр.

Урочище было разграблено и сожжено.

Пожили тут сколько хотелось, погреблись дальше.

Татары караулили на многих местах, где берега были высоки, а река узка, но вреда причинить не умели.

Казачи, где не брали с бою, там брали хитростью: так, они наплели из таловых прутьев легких щитов, в которые и утыкались все стрелы, пускаемые с берега.

В одном злом месте, замысля похитить крещеных, тамцы (там живущие) открыли плотину, — заржала река, хлынула волна в сажень, но гулебщики вовремя поставили струги гусем и укрылись за плотом. С плоту волною смыло муку, смыло кое-какие съестные припасы и сухари подмочило.

Жители Маитмасова городка в самом горле реки вбили в дно — вершка на три ниже уровня воды — поперечный ряд кольев, обращенных острием вверх. Обычно берестяные лодки зауральских народцев пропарывали на колья днища или опрокидывались, но казаки проплыли невредимы, расколотили мурзу Маитмаса и городок его земляной разгребли.

В другом месте узком вогулы преградили реку цепями, казаки и тут проплыли здраво да набили вогулов кучу. Те одеты были в лохмотья, казалось — поживы с мертвых мало, но и тут русцы маху не дали: убитых ободрали да каждому ноги у щиколоток вязали лыком и, навздевав мертвых по десятку и более на бревно, пускали плыть по воде, на страх внизу живущим. Поделали травяные чучела, обрядили их в те вогульские лохмотья, рассажали по запасным лодкам и под ночь пустили вниз по воде. В предрассветной мгле люди Бабасанова урочища, цепенея от страха, увидели караван бревен с торчащими босыми ногами и много лодок с людьми, что молча проплывали вниз, сбивая тех воинов с толку.

Из Туры выгреблись в Tobол.

Тюмень пограбили и сожгли да по жадности натаскали тут столько добычи, что под тяжестью ее стали тонуть струги. Оставили себе самое ценное, остальное — чего в землю зарыли, чего топорами потяпали.

Осадили и прогнали князца Алышяя.

Вогульские жилища князца Кошуги разграбили и сожгли.

Чандырский городок разграбили и сожгли, забрали тут много меда, сняли с поля недозревший хлеб — тем и кормились, а свои заплесневелые сухари стравили собакам и рыбе.

Сбили с урочища князца Каскара и множество тут басурман погубили: лежало при урочище озерко тридцать на сорок сажень, в него были пометаны битые, а через несколько дней мертвяки всплыли столь густо, что под ними и воды не было видно. Оставили в живых только одного и отпустили — да расскажет о казачьей силе и жесточи.

По Туре и Tobолу волости Калымскую, Ворляковскую и многие улусы приречные пограбили и сожгли.

Мирные кочевники и рыбаки в страхе жилища свои покидали, с женами и детьми удалялись в недолазные места.

27

Ночь по тайге да лютая тишина.

Лишь сонное журчанье воды на камнях колеблет тишину. По другому берегу в черной завеси кустов сплывали, тревожно окликакая друг друга, утка с селезнем. Застонет собака во сне, гукнет филин, забредит казак Доном-Волгою, и опять все стихнет.

Казачи спали в лодках и на берегу. У костра спал караульный Бусыга, дремал караульный Игренька, а третий — Якушка Дедюхин, боря дремоту, рассказывал адову сказку:

— ...идет наш удалец по каленым камням — тут смола кипит, там червь шипит. Над пеклом грехи людские выются, адов пламень раздувают. Братоубийца падает на острие меча, меч под ним свертывается. Черти возят воду на опойцах, быки жуют бороду жадному хозяину. Сидит на цепи двуголовый монах — одна голова смеется, другая — плачет. Скучно стало удалому, на такое глядячи. Тяпнул он вместо горилки ковш горячей смолы, схватил головашку и давай чертей крушить! Черти в страхе кинулись от него какой куда и потоптали многих грешников. Нарвал казак хвостов у чертей, навязал хвосты веревкою, по той веревке и вылез из преисподни, да еще сколько грешных душ, что за него понацеплялись, за собой выволокло...

Ломая тишину

затрещали кусты

из кустов трепетный голос:

— Братцы...

— Кто таков? — испуганно окликнул Игренька и выхватил саблю; в ответе огня она так ярко пересверкнула, что Бусыга проснулся и — за дубину:

— Свят, свят...

И тогда уже все трое спросили хором:

— Кто?

— Я.

— Да кто ты?

— Заруба.

— Врешь?

— Пра!

Из-за кустов вышел лохматый, ободранный, в котором караульные признали товарища, но:

— А ну, перекрестись!

Заруба перекрестился.

— Читай молитву!

— Богородица, дева, радуйся... Братцы!

— Ты один?

— Один.

— Где растерял товарищей?

Заруба опустил ся около огня и вытянул босые, в кровь ободранные ноги. Лохмотья еле прикрывали его наготу. На месте начисто срезанных ушей чернели дыры.

Стан проснулся, — спали по привычке вполглаза, — люди сошлись к костру слушать вернувшегося из Сибири подсыльщика.

Вот что, можно думать, рассказал Заруба:

— Из Орла-городка путем-дорогою добрались мы до Туринского волоку, и отсюда повела нас за собой первая сибирская река Тура. Ходу туда летним путем с большими выюками семь

дней, а зимним путем четыре дня. Живут на Туре вогуличи и татаровья, говорят своим вогульским и татарским языком. Дорога такая, хоть медведь ногу ломи. Об острое камень наши верблюды ободрали пятки до мослов. Покинули верблюдов, дождались весны, дальше поплыли на стружках. В Туру падает салда вода — Тагил-река и Ница-река. Земли сибирские и земли русские, как вы и сами видали, разгорожены горами, достигающими иными вершинами до облаков. На горах растет деревье различное, в лесах имеет притон зверье различное — иные потребны на съедение человекам, иные — на украшение и одеяние, сладкопесневые птицы витают, скотопитательные травы и цветы травные красуются. С тех гор многие реки истекают: иные на русскую сторону, иные в Сибирскую землю. Воды в горных речках сладчайшие, и рыбы довольно: в протоках по весне столько набивается рыбы, что по ней можно идти и ехать, как по мосту. Дебри плодovиты на жатву и травные удоля... Тура вливается в Тобол-реку, Тобол — в Иртыш. Тяжелым ходом идти туда от Камня три недели, а скорым делом — десять дней. Иртыш течет в Обь. Обь — неведомо откуда и куда, столь она пространна. По рекам жительствоуют татары, киргизы, мугалы, вогулы, пегая остяцкая и самоедская орда да многие иные языки, но все неверны... Плываем, торгуем и к житьишку тамошнему остренько присматриваемся... Татары закон Магометов держат, киргизкайсаки и мугалы живут по преданьям своих отцов. Пегая орда и вогуличи закона не имеют, болванам поклоняются, гадают по лету и пению птиц и волшебной хитростью правят домами своими. В одном городке довелось нам видеть моление деревянному болвану. Зарезали они перед тем болваном большую черную собаку, потом главный шайтанщик уткнул себе нож в брюхо, наточил из раны пригоршню крови, испил ее да вымазал своей кровью морду болвану и после того стал в бубен бить и плясать и всяко дьявола тешить, а по его и все начали скакать и прыгать, как бесы перед светлой заутреней... Народ робкий, от пустяка трясется: бури боится, грома и молнии боится, промаха стрелы боится, треснет сучок под ногой — и того боится. Сырядцы, хлеба не знают, сырую рыбу жрут, траву и коренья болотное жрут, всяку зверинину жрут и скверну кровь зверью пьют, как воду. В юртах у них такая вонь, что крещеному и дух не перевести. Какой у них умирает — в землю не зарывают: мерзла, крепка земля. Одежду имеют иные из рыбьих шкур, иные — из звериных и оленьих. Паруса шьют из рыбьих шкур. Ездят на псах и на оленях. Без собаки и топора никуда не ходят. По болотам и зиму и лето бегают на коротких широких лыжах с шестом: прососы в болотах, будь мороз-размороз, не замерзают. Торгуем, о тамошнем бытѣ выспрашиваем, сами на стружке плывем да за собой два стружка с рухлядью (мехами) ведем... Река Суета — вода в ней черна живет: какое в нее дерево упадет, то скоро и каменеет. Птица в тех местах не поет... На черном Яру,

на Оби, стоит капище вещей птицы Таукси. Каждую весну сюда наезжает пегая орда с дарами. Шайтанщик, что живет при птице, принимает дары и открывает народам их будущее. Богов у них много, на каждом стану свой бог, но боги те не страшны, вот нечисть страшна. Сколько мы по тем местам плутали, того и не рассказать! В одном месте заночевали на грязном берегу. За ночь вода убыла, а грязь была липуча, что струги присосало намертво, ни рычагами, ни силою своей не оторвать. Поохали, поматюшились... И жалко стружков, а пришлось бросить. Связали плот, поплыли дальше. Лес мелкой, по лесу болото, по болоту комариная тундра — места сухого мало. Места скушные — ни елани, ни поля. Народ немисливо пересчитать, живут не на одном месте, а кочуют. Гоняет их ветер, как песок, с места на место. Ростом невелики, плосковидны, носы малы, но резвы вельми и стрельцы скоры и горазды. Рыбы невпробор — ловят прутявыми мордами, жердяными запорами и костяными крючками. Дикого оленя ловят деревянным щитом да раскидывают петли по деревьям на тропах, ведущих к водопою и на места кормежек. И на иного копытного зверя раскидывают петли и роют ямы, птицу и зайца кроют крапивной сеткой, на лису и песца, на росомаху и горностаю ставят плашки, кулёмы и пасти. Собак держат помногу, и собаки у них столь свирепы, что когда случается голод, то друг друга поедают, а которые и хозяева своих собак опасаются. Вогулы — кузнецы добрые. Делают ножи, топоры, копыя и мечи: себе и на сторону променивают. Бой лучшей и копейный. Ловят бобра, соболя, лисицу, выдру, белку, горностаю. С зверями и птицами иные разговаривать знают. Есть у них лекари: у которого человека внутри нездорово, они брюхо режут да из нутра болезни вынимают и оттого человек иногда умирает, иногда здоров бывает. Родятся по тем местам добрые соболи — зверь предивный и многоплодный, а красота зверя приходит вместе со снегом да с морозом. Как снег сойдет — шубка на соболе красоту свою теряет... Татары — народ мысленый, ремесла разумеют: плотники, гончары, суконщики, кузнецы, и землю пашут, но мало. Зверя бьют, по рекам бобров бьют, хмель дерут, рыбу ловят. Хлеб сушат в шалашах, — прокопченное дымом зерно долго не портится. Молотят хлеб зимою, расчистя на реке на льду круг, а мелют на ручных мельницах, водяные построить не смыслят. По татарским местам степи дивны и леса крепки... Стали мы подумывать и на русскую сторону возвращаться, стали про дороги выспрашивать. Наехали на семь татарских станов, и на каждом стану по двадцать и более котлов насчитали. Был у них праздник большой — на конях скажут, в зурны играют, и борцы по кругу ходят, друг друга за кушаки ухватив. Стали нас угощать бараниной и пьяной аракой. «Хороши у вас кони, — говорит Фока Волкорез, — а у нас на Дону лучше». Осердился старшина татарский, однако — ничего, молчит. «Сильны и ловки у вас борцы, — говорит Ку-

земка Злычой,— а у нас на Волге сильнее». — «Того быть не может,— ускоряет старшина татарский.— У нас такой силач есть: кулаком лошадь с ног валит». Раззадорился во хмелю Фока и кричит: «Давай своего борца! Я его на один кулак подниму, а другим ударю — и мокро будет». Выставили они своего силача, не так чтоб хорошего росту, но крепонек и жиловат. Схватился с ним Фока, прошел по кругу раз, прошел два, да, изловчившись, и шмякнул его об землю,— на том шкура лопнула, изо рта, из носу кровь хлынула... Нам бы тут схватиться да утекать, а Фока еще араки хлебнул и почал князей сибирских всяко лаять да атаманов своих донских выхвалять. Мы-де скоро придем и турнем вас из здешних мест... Татары сгребли нас, отвели в аул и поставили перед своим мурзой Карачею. Карача, обо всем татар дельно расспросив, велел нас пытать. «Сказывайте-де, что вы за люди есть?» Фоке бороду по клоку рвут — молчит. Мулгаю глаза выковыривают — молчит. Мне уши режут — молчу. А Куземка, чтоб ему ни на том, ни на этом свете добра не видать, с огненной пытки о всех наших тайностях поведал; поволокли нас с теми песнями к сибирскому султану Кучуму в город Искер... С пути, бог дал, удалось мне уйти здоровым. Да не только татар,— и собак ихних перехитрил: закрестил вокруг себя место в болоте, кругом меня по болоту рыщут, а усов моих не видят,— весь в воде лежу, один нос наружу торчит, лопухом прикрыт... Зима доспела, а я, сирота, босоплясом бегу степями, бегу болотами да об лес всю морду ободрал. Бегу голодный. Палкой подбил сорску и съел ее сырую, мало общипав. Разрыв нору, крота задавил и, ободрав, съел. Потом из вогульской ловушки лису вынул, разорвал и съел... Жил у мугалов, жил у вогулов... Сколько горя хлебнул — того мне за ночь не пересказать, а вам не переслушать.

Заруба сразу съел котел каши и, повалившись в стружок, захрапел. Проспал он целую неделю: откроет глаза да, свеся голову за борт, напьется и опять в сон покатится...

28

Плыли, воюя и разбивая сибирцев.

29

Мчал-крутил Иртыш рыжую волну.

Развал степей, прошитых тихоструйными речками, течение ковыля, мерцанье синих глаз воды. На кургане, озирая сонным оком дали, дремал высеченный вечностью седой орел.

В город прибежал лазутчик Чумшай. Он пал перед входом в цареву юрту и воскликнул:

— Велик бог!

Кучум велел позвать его.

Чумшай, как собака, на брюхе вполз в юрту и, не смея поднять засоренных песком гноящихся глаз, замер.

— Откуда ты?

— С Тобола, хан.

— Какие вести?

— Худые.

В большой, обшитой поверху зеленым шелком юрте Кучума собрались князья и мурзы, старшины родов и военачальники.

Чумшай, умягчая свой скрипучий голос почтительными интонациями, заговорил:

— Немалое время прожил я у казаков, смотрел ихние обычаи, слушал речи и ел с ними из одного котла...

— Дед мой, — вставил слово мурза Бейтерек Чемлемиш, — дед мой, да будет милость аллаха над ним, говаривал: «Хорошая лошадь, храбрый зверь и храбрый народ умеренны в еде. Нечего бояться того, кто больше всего думает о брюхе». Скажи, Чумшай, много ль едят казаки?

— Едят помногу, а когда в пище нехваток, то и малым довольствуются без ропота. Горькое вино, что они пьют целыми ковшами, кажется им негорьким, и они настаивают его на волчиной желчи. Сильны и — ух! — зверострашны. Все с бородами. У одного атамана борода столь велика, что конец ее, чтоб не путал ветер, он затыкает за кушак. Голоса такие, — когда ругаться или смеяться начнут, листья с дерев осыпаются, и зверь от страху забивается в нору.

— Какова у них ратная сбруя?

— Топоры на длинных ратовищах и кистени, что и медвежью голову разбивают, как орех. Ножи и сабли. А у многих железные пушканы, из коих огонь и дым и смерть с гулом вылетают. Ни молитвою, ни заговором, ни пансырем невозможно защититься от тех пушканов.

— Простые они люди или знатные? Какой веры? И какие князья их ведут? — опять спросил один из военачальников.

— Ведет их атаман Ярмак, в железа закован, да атаман Мамыка — столь силен, что с маху втыкает весло в песок на всю лопатку, да иные атаманы, и у каждого под рукой шайка. А молятся своим русским богам, которых у них много. И над богами есть атаман, зовомый Николай-угодником, тоже с бородой, ликом темен и взглядом грозен. Его казаки чтут выше всех своих богов.

Кучум закрыл глаза и тихо сказал:

— Напустили на меня казаков Строгановы купцы. Мстят мне свои обиды... Уйди, Чумшай.

Лазутчик, кланяясь, упятился вон.

Бабасан-мурза, лицо которого было похоже на стоптанное конское копыто, охая поведал о пришествии казаков под Тюмень, к его, Бабасанову, урочищу и о битве с ними.

Япанча и иные туринские и притобольские князцы и мурзы, спугнутые громом пушканов со своих становищ, наперебой пустились рассказывать про свирепость пришельцев и неотразимую силу их оружия да стали просить у хана защиты.

Кучум молчал

и военачальники молчали

мысли всех окоротились.

В глубине юрты сидел на корточках Маметкул, племянник хана. В полутьме мерцали его быстрые кошачьи глаза, и в них угадывалась, как бледная тень, насмешка. Он всех врагов заранее считал своей добычей, нападал на них и побивал, не спрашивая, какому они богу молятся и сколь они сильны. С волчьей сотней улан он летывал за Урал, победным ревом оглашал склонную к вероломству тундру, замирял и приводил в покорность воинственные племена кочевников, бытующих в киргизских степях.

Бейтерек Чемлемиш первый подал голос:

— Русские вторглись в нашу страну и мечи свои напоили кровью сибирцев, а мы сидим. Русское горло проглотит всю нашу землю, а мы сидим, и страх сковал наши языки. Русские плывут, они уже недалече, а мы сидим и руки наши пусты... Говорите же, старики! Мы, молодые, послушаем вас.

— Говорите, старики,— страстно воскликнул Маметкул.— Да будут речи ваши мужественны и да потекут они, как воды реки, в одну сторону!

— Русское горло проглотит нашу землю,— повторил Бабасан.— Они разроют могилы отцов наших, и кости мертвых растаскают собаки.

— Зима близка... Верблюды валяются в золе... Зима близка, старики. Не пустим казаков в город, и они померзнут на реке и в степи.

— Чем удержишь? — нараспев сказал князек Каскар.— Они перебили лучших людей моего урочища. Храбрые лежат без дыхания, и сильные изнемогли. С горя во мне самом душа еле держится.

Мурза Кутугай, пряча в жиденькие усы усмешку, ответил Каскару, своему давнишнему недругу:

— Нет обычая умирать с умершими, есть обычай хоронить умерших... Если ты умрешь — земля останется землею и место местом.

— Да, да,— схватился Каскар за клинок.— Чьи жилища далеки от русской руки, тому можно хабриться.

— Уймись! — остановил Кучум молочных братьев, Каскара и Кутугая. — Псы одного аула походя грызутся друг с другом, но когда со степи подходит волк, псы собираются все заодно и бросаются на волка. Мы все — люди одного корня и одной веры. Пророк, да будет благословенна пыль следов его, учил: молоко идет так же далеко, как и кровь.

Кутугай замолчал, а его неприятель, теребя бороду негнущимися пальцами — так много на них было навздвано перстней, как бы про себя бормотал:

— Да, да... Редко вижу жен и детей, гоняя в разъездах по твоим, хан, делам. Правый рукав мой поистерся, заменяя подушку. А другие, которых считаешь верными, зажирели, сидя у твоего котла, зажирели так, что у них ушей не видать, и собаки ихние зажирели — хвосты торчмя стоят.

Бейтерек Чемлемиш сказал:

— За Иртышом не укроемся и Чувашиевой горой, как щитом, не защитим себя. Укрепим молитвою твердость сердец наших, выйдем на Тобол и встретим казаков в месте узком, у Лосинога броду.

— Война! — вскочил Маметкул и сорвал с себя тубетейку, обнажив выбритую полумесяцем, похожую на эфес шашки, острую голову. — Ни одного русского не выпущу из Сибири! Война!

Кучум движением руки остановил племянника и обратился ко всем:

— О храбрые моего племени, думайте не о себе, а о бедствии всего народа. Тяжела для нас будет война. Ближе время охоты и рыбной ловли. Охотники разбрелись по тайге, и оленные люди кочуют по берегу далекого моря. Как созову их под свою руку?.. Табаринцы тайно от меня возят ясак киргиз-кайсакам и будут плясать, видя мою беду. Чем образумлю лукавых?.. Вогульские князья своевольны, как жеребцы из дикого табуна. На каждого воина, что они приведут в подмогу, и на жену воина, и на детей, и на всю родню воина, и на каждую собаку, что прибежит с ними, князь будет просить подарок. Где возьму столько богатства?.. Низовские тунгусы и жители болот не ведают ни сабельного, ни копейного боя. На них ли возложу надежду свою?..

— Дадим казакам на щит нечто от богатств своих, и они уйдут, — сказал столетний мурза Ерикбай.

Мысль его иным пришлась и по душе, но старику никто не ответил: воинственные степняки почитали за благо брать на щит и за постыдное — давать.

Кучум:

— Видал во сне — на песчаном острове гулял волк, из Иртыша выплыла собака и загрызла волка. Русь загрызет мою Сибирь. Яростью сверкающий меч победителя выхлестнет дыхание из народа моего. Головы моих воинов через губу ремнем будут приторочены к седлам казачьим. Ветер разнесет золу наших становищ. Тяжела, тяжела для нас будет война.

Тогда поднялся Канцелей, ученый ахун и советник царева двора, и в волнении заговорил:

— Дед твой Садык, да озарит аллах могилу его, вывел весь народ наш из Монголии. Отец Муртаза пришел в эту страну неверия и заблуждения, где не было ни одного человека, проносящего слова великого исповедания мусульманского. Ты, Кучум, да течет благополучие в потомство твое, достойный внук мудрого деда и храбрый сын славного отца. Блеск твоих мечей осветил этот край уныния и дикости. Как ветер раскатывает по голой земле сухой овечий помет, так и ты раскатыл по степи головы врагов. Ручьями мечей лицо пустыни ты обратил в цветущий сад. От тундры до предгорий Алтая и от тайги до Камня народы ползут к тебе в пыли дорог и протягивают уши к твоим словам. Ты — тень бога на земле, а мы — тень тени твоей.

Гул одобрения...

Храбрые и робкие, умные и недоумки оценили красноречие ахуна, всю жизнь просидевшего над раскрытой святой книгой. Кучум же сказал в скорби:

— Я лягу в могилу, ты, Канцелей, и все вы, отважные моего племени, ляжете в могилу, и жены наши лягут под других мужей, и на конях наших будут скакать русские бородачи.

Все молчали.

Канцелей сел против хана и, глядя ему в глаза, вновь заговорил:

— Тебе ль страшиться врага?.. Мечи твои легче орлов. Славой своей ты перешагнул за пределы подвластных владений. Дикие югрские племена, приобские остяки, кондинские и табаринские вогулы, ишимские и барабинские кочевники, сургутские самоеды и таежные охотники, тюменские и пельымские князцы платят тебе ясак и опускают перед тобой крыло покорности. Потомки свергнутых княжеских родов, и порубежные русские села, и далекие киргиз-кайсацкие аулы страшатся меча твоего и аркана. Помни слова пророка: «Под сенью мечей сияет рай». Аллах осыпает благодеяниями того, кого захочет. Скажи одно слово — и скорцы обегут страну, призывая молодых и сильных...

— Война! — опять выкрикнул Маметкул. — Джамагат! Лепешки, что напекут нам жены на дороге, лепешки не успеют простыть за пазухой у моих улан, как мы доскачем до русских, и — горе им! Джамагат! Не успеет народиться молодой месяц, как я вернусь и брошу к твоим, хан, ногам кожаный мешок с головами казачьих атаманов...

Бейтерек Чемлемиш поддержал Маметкула:

— По всем дорогам и потаенным тропам расставим несводные караулы, чтоб не только казак, но и птица с той стороны не пролетела. Узрев нашу твердость и убоясь многосильства, русские повернут назад, и мы будем колоть их пиками в курдюки.

Воспрянул и Япанча:

— Они разгребли мой земляной городок, отняли богатства, побили много людей, но сила и храбрость моя остались при мне, да со мною же три сотни самых удалых, и мы готовы защищаться и нападать!

— Много ли у нас оружия, Гасан? — спросил Кучум сидевшего рядом с ним старшего оружейника.

— Оружия у меня наготовлено столько, сколько в твоём войске храбрых.

— Где наши коренные табуны коней?

— Они близко.

Кучум двинул седой бровью и гневно засопел:

— Положимся на помощь бога... Пусть будет война.

Извлекая клинки, военачальники закричали:

— Война!

— Война!

— Велик бог!

Молодые, не дослушав стариков, выметнулись из юрты хана и, вскочив на коней, поскакали в степь, к табунам.

Кучум же оделил щедрой милостыней базарных нищих и на легкой лодичке поплыл за Иртыш к Сузге, где всю ночь по мере сил и предавался любовным утехам.

Сузге, Сузге... Под покровами её одежд, по слову мудреца, играли все сады рая.

По крутояристу берегу лепились врытые в землю закопченные кузницы. Около них костром были составлены приготовленные для грубых поделок плахи твердых пород черного и красного дерева, валялись куски комового и тянутого железа, полосы неотделанной стали, доставляемой в Сибирь из Лагора и Кутша.

Близ кузниц приткнулись и оружейные мастерские. Затянутые скобленным рыбьим пузырем оконца были похожи на бельма. С низких запаутиненных потолков свисали хлопья жирной сажи. По стенам были развешаны связки распиленных оленьих и турьих рогов, из которых вытачивались наконечники стрел и копий.

Проворная рука мастера, склонившегося над низким столиком, кабаньей щетиной и сырой рыбьей костью наводила рисунок на воск, облепляющий клинок. В медных плошках, куря зеленым смрадом, кипела смешанная с прогорклым маслом древесная смола, употребляемая на протравку рисунка. Скобель выбирал с древка кудрявую стружку, сопела пила, потюкивал легкий деревянный молоточек, вколачивая и наколачивая на клинок золотые и серебряные украшения.

Старший оружейник Гасан, будучи в молодости невольником, изъездил с купеческими караванами весь азиатский восток

и до тонкости познал искусство выделки холодного оружия. Азия еще не знала порошу и огненного боя. Оружейники все свое умение и старание обращали на выделку клинков и дали миру образцы, не превзойденные до нашего времени.

Гасан бывал в мастерских Самарканда и Герата, Керманаха и Сираха, Испагани и Хоросана, знал работы лучших мастеров Дамаска и Ахлата.

Куску железа Гасан умел придать бледно-серый цвет, что для оружейников всей Сибири являлось непостижимой, достойной удивления тайной. Железо и золото, сталь и серебро были одинаково покорны его руке. Много он выделал ценного оружия и под старость ослеп от ядов и кислот, употреблявшихся при работе, но дела своего не оставлял.

Мурлыкая под нос стихи Корана и прислушиваясь к визгу напильника и дрели молотка, он расхаживал по мастерским, брал изделия оружейников и, осязанием обнаруживая изъяны, ворчал:

— Хайрюла, насеченный тобою узор бледен. Тебя плохо кормит жена? Силы недостает твоим рукам, или тебе изменяет глаз? Каждая линия узора должна прощупываться, как кость в худой собаке... Возьми и доделай.

Останавливался около другого мастера:

— У тебя, Тагир, кислота излиха глубоко проела сталь. Шашка перелетит при первом крепком ударе. Резьба, сколь она ни была бы мелка и густа, не должна умалять гибкости булата: все жилки и желобки направляй так, чтоб удар клинка скользил вне соединений.

Шел дальше и бормотал:

— Наше дело святое. Нет ремесла выше нашего. Думайте, как из железа выгнать вес, оставив ему силу его... От меча требуется тяжесть, а щит и копье должны быть только прочными и легкими.

Последней работой Гасана была шашка, над которой он высиел много лет. В рукоятку ее были вделаны тигровые когти, на полете она поражала легкостью, но была столь прочна, что при умелом ударе ею можно было рассечь быка. По хоросанскому булату клинописью струился коленчатый узор, который, проходя во всю ширину клинка, повторялся по его длине. При падении клинок давал золотистый отлив, был бурен, как горный поток, и сверкал при свете дня, как сколок чистого льда: было удивительно, что он не прозрачен. Насеченная по тупию клинка строка арабского письма гласила: «Не надейся на меня, если у тебя нет храбрости».

Гасан подарил шашку Маметкулу.

Руки мастера дрожали, и от волнения слеза заливала его незрячие глаза, когда он передавал шашку Маметкулу:

— Бери. Ты самый храбрый в нашем народе... Много бес-

сонных ночей, как молитве, отдал я этой работе и ослеп на ней...
Бери. Шашка окупит себя: один удар ты заплатишь за Алтай,
другой — за Русь.

Маметкул поцеловал иссохшую руку мастера.

30

В лесных кряжах, в крутых берегах сытая текла река.

По лесным тропам, рекою и по болотным стежкам на призыв
вождя спешили вогулы. Всклокоченные черные волосы ниспадали
до плеч, а смуглые лица и горячий блеск глаз обличали в вогулах
южное племя, заброшенное в этот край волею судеб в пору вели-
кого переселения народов. С ними бежали своры свирепых псов.

На лесной поляне, над искрящимся ручьем — мольбище:
груда белых вымытых дождями костей, увенчанные ветвистыми
рогами высохшие головы оленей. Валялась старая, ислеканная
птицами оленья шкура.

В зеленом сне стояла тайга. Ели да сосны изливали смоли-
стый дух. Собаки, высунув горячие языки, скакали вокруг кедра,
на котором резвилась белка, перелетая с ветки на ветку. Тишина
была выткана нитями комариного звона.

На берегу охотники ставили костры, наводили котлы.

— Какие вести, Кваня? — спросил один другого.

— Воевал маленько... Хорошо.

— С кем воевал?

— С русскими воевал... Все стрелы выметал и убежал.

— Где твой брат?

— Убили брата... Заберу его жену, оленей, собак, нарту.

Все заберу, буду богатый.

— Глупый! Завтра и тебя убьют.

— Ну-у-у! — свистнул Кваня. — Убегу на Конду. Я умный.

— Казаки и на Конде тебя достигнут да ум твой смоят кровью.

Из-за поворота реки вывернулся челн вождя Ишбердея.
Под сильным ударом весла челн летел — на обе стороны с шумом
разбегались волны. Вождь подплыл и, оперевшись веслом в дно
реки, легко выпрыгнул на берег, прямо на сухое место; непокры-
тая голова его была охвачена пламенем первой седины; на левое
плечо был накинут яргак из косматой шкуры дикого козла;
на ногах кожаные, обшитые железом чулки; на поясе болтались
пристегнутые ремешками — нож, огниво, игольник, остроко-
нечная костяная бляха для чистки трубки и костяной, величиною
в ноготь, идол.

Приветствовали вождя, припадая на одно колено.

Шаман вывел в круг жертвенного оленя и, засучив меховой
рукав, взмахнул клинком.

Олень

грохнулся.

По нежной коже его, как рябь по воде, заструилась дрожь; трепетал воткнутый в сердце нож; и вот уже смертной пеленою, словно дымом, затягивает слезящийся тускнеющий глаз его, устремленный в чащу леса.

Собаки, поджав хвосты, отбежали.

Шаман выдернул нож да, наточив в горсть крови, хлебнул и заткнул рану пучком мха.

— Горе! — с тоскою и страстью воскликнул он, ударив в бубен, и, как чумной, закружился в быстром танце. — Горе вогулам!..

В хмуrom молчании слушали охотники завывания шамана и далекий перестук топоров: то посланные на высмотры разведчики ударом обуха о ствол дерева, от жилья к жилью и от стойбища к стойбищу подавали условный знак о продвижении врага, — так жители тайги и болот на огромные расстояния за самое короткое время узнавали, рано ли казаки остановились на ночевку, где плывут да какого берега держатся.

Мрачно гудел бубен, созывая богов.

Прислоненный к пеньку болван — грубая, намазанная кровью морда — безучастно глядел дырочками глаз на беду племени.

— Горе! Горе вогулам!

Чуя беду, подвывали собаки.

Шаман упал, бубен откатился в сторону. Страшное лицо его было перекошено судорогой, клочья пены стекали по бороде. Собаки, задрав клыкастые морды, взвыли, жалуясь своему собачьему богу.

Вождь:

— Слушай, народ!.. Плывут... Закованные в железо... Хартсали-уй... (Железные волки.) Несут нам гибель... Всех перебьют или навечно обневолят... Ихние собаки сожрут наших собак... Разрушат наши жилища... Сядут на наших реках, выжгут леса под пашни и отгонят зверя... Встретил я на Яскалбинском болоте Кучумова скорца. Зовет хан все ясачные племена заодно воевать против казаков. Богатые подарки сулит хан... Пойдем ли, вогулы, воевать? Отвечайте мне, я отвечу скорцу, скорец — хапу.

Иные сурово молчали, иные вскинули копыя с костяными и железными наконечниками:

— Война!

— Война!

Но вот заговорил старый охотник Якаш, и все притихли:

— Мы сильны силою, русские сильны пушканами. У нас — копые и лук, у них — огонь и железные стрелы. Старые боги не помогают нам, новых — не знаем. Как будем воевать?

— Как будем воевать! — подхватил молодой вогул и, приспустив с плеча овчину, невесть в который раз показал всем стреляющую рану; на рану от жары уже наклоннулись черви. — Сами шайтаны помогают казакам.

— Горе вогулам!

— Кориться?

— Нет, нет! Боги русских нашьют на нас болезни, а на оленей и собак наших — мор.

— Казаков мало, нас много... Думайте, старики, как бы напустить на них с какой хитростью да перебить их, да попиравать на ихних могилах.

— За ними след в след придут другие.

Седовласый Якаш воткнул копьё в землю и сказал:

— Воевать не надо, бежать надо... Мы воевали с русскими в Лялинской волости, и они разбили нас, — там лег мой старший сын Хрокум... Мы напали на них у Большого Янцаевского озера, и они разбили нас, — там лег мой другой сын, Агалак... На Лобве и Косьве казаки разорили вогульские юрты и богов наших со смехом пометали в реку, — там лег мой брат Ебелко. Я остался один среди баб и детей. Убьют меня, кто их будет кормить?

— Я, — ответил вождь.

— Ты, Ишбердей?.. Ты сам рвешь из наших ртов и кормишься меж юрт наших. Весною мы мокнем по горло в ледяной воде, а ты со старшинами выбираешь из наших сетей самую крупную рыбу. Зимами мы гоняемся по тайге за зверем, а лучшие шкурки, добытые нами, ты, Ишбердей, своими руками отдаешь купцам в обмен за погремушки и сукна, в которые наряжаешь жен своих, да сыновей своих, да всю родню свою...

— Молчи, Якаш!

— В Лялинской волости лег мой старший сын Хрокум; в Большом Янцаевском озере казаками утоплен мой другой сын, Агалак; на берегу реки Косьвы железная стрела пробилла голову моему брату Ебелке: они не велят мне молчать... У тебя под яргаком, Ишбердей, жирное брюхо, а у нас в яргаках — вши. Вокруг твоих юрт олени и собаки клубятся, как комары...

— Молчи! — крикнул вождь и тупием копыя сшиб Якаша с ног. — Весь народ глядит в одну сторону, ты глядишь в другую сторону. Откочевывай от нас, живи где похочешь один, пускай волки съедят тебя да изблюют твои кости на гнилом болоте.

Вождь, попирая ногой возмутителя, подверг его самой позорной казни, какую знали охотники: сломал над головой Якаша лук и стрелу.

Ни один не посмел поднять голоса в защиту Якаша. Поели мясо жертвенного оленя и разъехались по своим станам, чтоб собраться и идти туда, куда звал вождь.

Отверженный пришел в полную сирот юрту да, взыв в отчаяния, зарылся в холодную золу очага и уснул, чтоб завтра собрать свой скарб на нарту и откочевать куда глаза глядят.

Широко разбросалась тундра.

Реки и речки, озера и озера, ржавые в тусклом блеске болота, кочки бурых лишаев и поляны светло-зеленых мхов.

На моховищах, выбирая ягель, паслись олени. Ветвистые рога оленьи качались, как лес.

Закинув голову и кидая копытами ошметки мерзлой грязи, по одному следу мчались лоси, а вдогонку за ними стлалась стая храпящих остервенелых волков. Сохатые, стремясь уйти от зубов смерти, перемахивали ручьи и преграды, задние перепрыгивали через передних.

На вой волка и на лай лисицы из далекого моря с плывущей льдины хриплым ревом отзывался белый медведь.

На озере дальнем лебедь с лебедушкой кружились в брачном танце.

Веснами в протоки и затоны набивалась такая сила рыбы, что воткнутое в рыбу урево весло оставалось стоять торчком. А там — отплещут, отсверкают рыбы свадьбы, схлынет ярая вода, — икрою, как грязью, затягивало обмелевшие места: собаки лазили и вязли в икре по брюхо.

По горам, по долам гулял непуганый зверь, на счастье каждой руке, несущей лук и копье.

В пору охоты в чумах не угасали огни, с очагов не снимались котлы, в которых варилось мясо. Охотники много ели и были сильны.

В широкой долине, меж двух лесных кряжей, раскинулось остяцкое становище.

В дымных, крытых берестой чумах горели огни, в котлах варилось жирное мясо. Закопченные голые ребятишки катались по земле, играли с собаками. По окрайку болота бродили жирные, обленившиеся олени. В оленьей моче, собранной по горсти неспособными к охоте стариками, квасились кожи, приготавливаемые к выделке.

Паслись мирные озера. Солнце, скользя по небосклону, макало в озера рыжую бороду.

... Олень выискивал ягель. За оленем охотились комар и волк. За комаром — паук и лягушка. Собаки заедали волка. Птица склевывала паука и комара, лягушку хватала щука. Мышь точила болотный корень, лиса промышляла зайца, тяжелого глухаря и тетерева, разрывала мышиную нору. Таежная пчела собирала ясак с цветка; медведь грабил пчелу и громил муравьиные орды, лакомясь муравьиными яйцами.

Много хитрых и сильных, прожорливых и кровожадных бегало, ползало, плавало и летало.

Охотник Ях был хитрее и сильнее всех.

Оленя и собаку он запрягал в нарту, щуку ловил на костяной крючок, молодых медведей душил руками, был столь скор на

ногу, что лис и песцов хватал на скаку, а в беге по весеннему насту догонял волка и лося. Изъеденные дымом, гноящиеся глаза его по отчеркнутому острым когтем следу определяли вес и породу зверя. В ночном лесу волосатое ухо его среди множества шорохов и звуков различало писк мыши в земляной норе и дыхание спящей в гнезде птицы.

Ях сидел перед очагом на корточках, выгнув еле прикрытую истертой медвежьей шкурой могучую спину. Камнем он обтачивал нож из оленьего ребра и во все горло распевал песню...

Седой туман,
Пьяная вода,
Гуляет река,
Под ногами грязь
чак, чак...

Буянит вода,
Бежит река,
Мечет петли,
Рыба
прыг, скок...

Кусты обросли
Зеленой шерстью,
Весело зверю,
Скушно охотнику
ха, хах...

Белокрылая
Прилетит зима,
В ледяную нору
Спрячется река
кук, кук...

На добычу
Выйдет зверь,
Охотник побежит
По следу зверя
(Свист лыжи)...

Зима,
Метель фффффф,
Чум гудит,
Как бубен
зун, зун...

Белые хвосты
Крутятся над сугробами,
Шурга-пурга,
Темный вой
уу-у, уу-у...

Бог Саляй,
Жена Алга,
Сын Мулейка.
Другого сына
Сохатый
Унес на рогах
а-аа, а-аа...

Собаки лютые,
Густошерстные.
За высокой оградой
Олешки мои
а-ээ, а-ыы...
Запрягу двух седых,

Самых быстроногих,
Поеду в гости,
Буду есть чужое
чч-чч-чч...

Ко мне приедут гости,
Заколю важенку,
Будут сыты гости
И собаки их
ык-ык, ык-ык...

Зима-а-а-а...
В белой мгле,
Как тень птицы.
Летит нарта моя
э-ке-кей...

Свист полоза,
Храп оленей,
В ноздрях у них льдышки,
А копыта
тах-тах,
тах,
тах-тах,
тах,
тах-тах,
тах...

Снежная пыль
Спит глаза.
Я везу к себе
Вторую жену,
Красивую Кулу.
Она гладка,
Как лисичка...

Возившаяся у очага женщина быстро обернулась и оскалила зубы:

— А я?

— Ты — ты.

Ях приналег на точильный камень и опять завел:

Зима-а-а-а...

Алга выхватила из кипящего котла кусок мяса и сунула ему в раскрытую пасть, чтобы оборвать песнь.

Ях сглотнул мясо, которое летело до дна его пустого желудка, как горячий уголь, и заговорил:

— Ухожу далеко на охоту, уезжаю в гости, — вы будете болтать, скука улетит с дымом очага.

— Мне и так не скучно.

— Она станет помогать тебе мять кожи, выколачивать снег из пологов, латать дыры, прожженные искрами, — тебе будет меньше работы.

— И одна перемну кожи, выколочу полога, залатаю все дыры, хотя бы их было так же много, как шерстинок в самой большой собаке.

— Вы для меня будете все равно, что для гуся два крыла.

— Зачем тебе крылья? У тебя есть две ноги, за которыми не поспевают четыре волчьих.

— Люблю тебя столько, — отмерил он ножом кисть руки. — Буду любить вот столько. — И он показал по локоть.

Она взяла его тяжелую руку и выдернутой из волос рыбьей костью отчеркнула полногтя.

— Люби хоть столько, но одну меня.

Печалью, как дымом, подернуло его глаза, грустно сказал:

— В долгую зимнюю ночь вы обе ляжете со мной под одеяло и будете греть меня.

— И одна согрею, — скрипуче засмеялась она и поцеловала его в шершавую, разодранную в весенней охоте медвежьими когтями щеку.

Он вытянул из глубины меховых штанов снизанное из волчьих зубов ожерелье и набросил жене на шею, а про себя подумал: «Ты — гниль на костях моих... Пойду в лес проверять ловушки и там допою свою песню. Голос мой будет громче лосиного рева. Кула услышит меня, хотя пьет она воду из другой реки и далеко ее становище».

На верхней тропе хрипло забрехал старый кобель Наян. Ему отозвался Порхай, и скоро, влаивая с лихим пристоном, кинулись другие.

Ях по голосам знал всех псов своего становища, и каждый из них по-особенному лаял на всякого зверя, птицу и человека.

— Гость к нам, — послушав собачьи голоса, сказал Ях и вышел из чума.

С пригорка, верхом на косматой лошаденке спускался Кучумов скорец Гирей. Отбиваясь от собак плетью, он проскакал до большого чума князька и осадил храпящего иноходца, с груди и с тяжело ходивших боков которого клочьями стекала грязная пена.

Сбежался народ.

Гирей, отлично знавший нравы тундры, не пренебрег угощением. Ему подали отваренные набитые морошкой медвежьи кишки, — он ел и похваливал хозяина и все его потомство. Подали печеного в золе осетра и нарезанное тонкими ломтями оденье мясо и блюдо с топленным нутряным жиром, — он объел осетра, макал в жир и, давясь от отвращения, глотал оленину и нахваливал охотника, убившего медведя, рыбака, поймавшего осетра, и весь славный остяцкий народ. Прислуживали ему, в знак особого уважения, сыновья князька.

Люди стояли перед чумом князя, переступая от нетерпения с ноги на ногу, но, по обычаю тундры, никто ни о чем не спросил гостя, пока тот не насытился. Вот он рукавом отер жирные губы и отвернулся от недоенного, показывая, что сыт.

Кругом заголосили:

— Откуда ты, татарин?

— Какие вести?

— Чего привез в сумах?

— Зачем приехал? От нас будешь брать или нам дашь?

Гирей поднял руку.

— Война!

Гул... Ахи...

Гирей выждал, пока схлынул шум, и заговорил:

— Со стороны западного ветра, там, где живет ночь, к нам идут воины, стреляющие огнем. Они поедают все, что попадает на зуб, грабят все, что зацепит рука, остальное затаптывают в грязь, топят в реке и жгут огнем. Люди те злее зла и хуже чумы. С ними боги ихние. За воинами русскими приплывут жены и дети. Они вытаскают мясо из наших и из ваших котлов, выловят всю рыбу, переведут зверя. Они сильны и прожорливы, будут в радости день и ночь есть чужое. Жены их будут родить, а наши голодные жены не будут родить. Все жители рек, болот и тундры перемрут с голоду и тоски... Кучум, хан сибирских князей и народов, которому вы платите ясак, собирает против нашельцев войско. Из края в край я проскакал тайгу и тундру. Был на реке Тулобе, Пыгме, Яжее и на других реках. Я поднял становища князцов Алачея и Выкопы, Урлюка и Кошеля, Вони и Бардака и многих иных. Они уже снялись и спешат к городу на подмогу своему хану.

Гирей подал остяцкому князю баранью лопатку, всю исчерченную знаками: то вожди племен и родов клали свои клейма, извывая тем покорность и готовность воевать за Кучума. Лопатка переходила из рук в руки, ее внимательно осматривали все охотники и все старики.

Князец, обмахиваясь от комаров крылом селезня, спросил:

— Что мне подарит хан, если я выставлю своих людей на его защиту?

— Много будет подарков... — воскликнул Гирей. — Хан богат: за всю зиму не обскачешь его земель, и один человек за всю жизнь не успеет пересчитать его табуны. Наряды царевых жен стоят богатства всего вашего племени...

Вздых изумления качнул толпу.

Гирей продолжал:

— Вы получите новые котлы, в которых будете варить мясо. На шее каждого вашего бегового оленя и на шее каждой ездовой собаки každый бубенцы. Каждый воин получит столько соли, сколько сможет унести в поле своей шубы... Много жеребят заколет хан, в жеребятках хрящи сладки. Так накормит, что у всех у вас долго будет болеть брюхо.

— А нам чего подарит хан? — крикнула молодая женщина и от страху спряталась за других.

Почитая для себя недостойным разговаривать с женщиной на людях, Кучумов посол продолжал, обращаясь ко всем:

— Железные иголки, что крепче самой твердой рыбьей кости, сученые нитки, что не ломаются подобно сухим жилам, которыми вы сшиваете кожи, табак, дающий сердцу веселье, огниво и ножи, столь острые, что ими можно резать и мясо и дерево...

И такой, — Гирей поднял над толпой ползавшего у него под ногами голого ребенка, — и такой получит горсть кедровых орехов, а губы его будут намазаны сладким.

Князец, моргая красными мокрыми глазами, восторженно встряхивал всклокоченной головой и приговаривал:

— У-уй... Ножи и чашки, костяные причешечки и гнутые дуги для нового чума, длинные арканы и железные хватцы, ловящие ногу и мелкого и крупного зверя...

Слушали, стараясь не пропустить и не забыть ни одного слова, повторяли за посульщиком:

— Котлы... Табак... Топоры...

Ях тряхнул головой и прервал скорца:

— Зимой была война. Наш князь Кокуш высватал себе невесту в племени увак. Невесту ему, страшному, не давали, и он плакал перед нами: «У-у-у, хочу невесту... У-у-у, пойдём на них войною... У-у-у, я награжу вас подарками.» Была война с племенем увак. Невесту мы добыли, но потеряли двух своих охотников, ещё один вернулся без глаза, и ещё у одного отгнила пробитая копьем нога. Пойди и посмотри, он лежит в чуме. А кривой на озере ловит рыбу, его можно позвать, и ты увидишь, и все увидят, что один глаз у него пуст. Кокуш устроил свадьбу и много дней пировал со своей родней и с родней невесты, а нам от его пира достались обглоданные кости. Молодая жена родила ему двух сыновей, а у наших вдов дети высохли с голоду, и с голоду подымают последние собаки... И твой хан ныне плачет: «У-у-у», — а, как минет беда, наградит нас вот чем. — Ях поднял ногу и гулко стрельнул.

Смех и отгул одобрения...

— Свадьба была давно, и не к чему о ней поминать, — сказал князец Кокуш, давя на шее комаров. — Ты, Ях, ещё с прошлой весны должен мне две горсти соли и полсорок бобров и соболей... А тебе, Нуксый, не простил ли я мясной долг? И не я ль подарил тебе старые полозья под нарту?.. И ты, Ныргей, на меня же развеаешь пасть в смехе? Не ты ль добил близ водопоя раненного моим сыном сохатого, и не его ль шкура растянута над входом в твой чум?..

И долго бы ещё мог говорить князец о своей доброте и щедрости, если бы посланец не перебил его.

— Хан зовет вас, храбрецы, под свое крыло, — сказал Гирей. — Если не выйдете на защиту Сибири, то да не доходит ваша одежда до колен, рукава до локтей, да будут бесплодны ваши совещания и пусты котлы... Велик бог! А коли пойдете на зов хана, то и заживете лучше, чем прежде жили, — одежда ваша всегда будет в сале, котлы грязны и табуны многочисленны.

Кокуш почмокал мокрыми губами.

— Как будем воевать?.. Людей у меня осталось на счету, собак и оленей осталось на счету.

Охотники заговорили меж собой:

- Уйдем, а близко время охоты.
- Мы бедны...
- Ясак не по промыслам твой хан дерет.
- Дай табаку!
- Дай! Мы покурим, и мысли наши прояснеют.

Гирей отвязал от седельной сумки выделанный из коровьего вымени мешок и всех оделил табаком.

— Русские богаты, — продолжал он убеждать, обращаясь то к одному, то к другому. — Мы перебьем русских, а все их богатства хан поделит меж вами. Трус получит столько, а храбрый — вот сколько... Кучум ничего для вас не пожалует.

Долго шумело становище.

К вечеру же князец Кокуш нацарапал на бараньей лопатке свое клеймо — изображение бегущей лисицы.

Гирей, следуя обычаю, выколотил золу из трубки в очаг, чтобы не уносить родового огня, и, заседлав отдохнувшего коня, поскакал дальше, в глубь тундры.

32

Плыли.

33

Скрипела осень... Догорал багряный лист на дереве, звенел червонный лист, обрываясь на ветру. Дышал стужею, дымил Тобол. Прихватывали утренники, по ночам вода у берегов застывала. Низко над рекою, шелестя тугим крылом, пролетали последние караваны гусей, — казаки с тоской глядели им вослед.

Сеялся по тем местам слух злой:

— Плывут...

Снимались народы с обжитых станов и уходили подальше от реки, забирали с собой рыболовную и зверобойную снасть, съестные запасы, угоняли скот.

Берега оставались немые и безлюдны.

Посланный Строгановыми вдогонку хлебный и соляной обоз был перехвачен туринскими вогулами. Питались казаки кое-как и кое-чем, перебиваясь с ягоды на болотное коренье, стреляли птицу, кистенями били медведей, доедали плесневелые сухари.

Заклевали удалых горести да скорби, напали на гулебщиков лихие болезни.

Глухой ночью, на стану близ устья Тавды, в шатер Ярмака вполз есаул Осташка Лаврентьев и:

— Проснись, атаман...

— Ммм...

— Против тебя зашептывается недоброе, и злоба уже просится в дело... Проснись.

— Чего там?

— Дуруют... Побили кормщика Гуртового, соли просят и хлеба... Уговариваются прорубить днище да затопить твою каторгу.

Ярмак откинул меховое одеяло и сел.

— Кто?

— Яшка Брень, Забалуй, Угрюм, Игренька, Полухан, Мишка Козел и другие...

— Опять Полухан? Опять Игренька? Ну ж погодите, сучьи дети, я вам побиваю рога! — Ярмак раскурил трубку и внимательно осмотрел пистолы, кои даже во время сна были у него засунуты за пояс. — Чего они хотят?

— Хвастают всяким лихим, злым умышлением, похваляють малыми шайками розно брести... Иные изнемогли, иные собрали богатство немалое... Атаманы куреней меж собой перелаялись: Иван Кольцо Мешеряку ус с корнем выдрал, Брязга Пану ножом руку распластал, Мамыка, ухватя весельце, громит всех подряд... Такая заварилась замятня! Ты бы вышел, атаман...

— Иду.

Ветер хлопал полотняной полою шатра, висели нити дождя, глухо шумела тайга.

Вокруг дымных костров стояли и сидели, кутаясь в рубища. Ярмак, держась тени, шел по стану и слушал ругню...

— Пируют атаманы нашей кровью.

— Зарез, братья... Воды много, хлеба нет, — без смерти смерть...

— Провались она пропадом, эта самая Сибирь!

— Да, да... Много сюда силы гнали, да назад не выганивали.

— Слава...

— Славой сыт не будешь.

— Сибирь... Господи, места-то какие страшные! — оглянувшись и перекрестился бурлак Дери-Нос. — Куда забрели? Сколько народушку примерло! Погнались за крохой, без ломтя остались.

— А по мне все одно где жить... Мужуку там родина, где хлеба побольше...

— Оно так, дядя Лупан, сыты были — нас сюда и на аркане не затащить бы.

— Погуляли, пора бы и на Русь возвратиться.

— Возвернись... Кабы, как журавлю, крылья!

— По Тавде уйдем, покуда идти можно и река не смерзлась, а в месте добром пересядем на коней и гайда через Камень.

— Река быстра, встречу воды не выгребем.

— А по мне, пуститься на волю божью и — вперед! Возь-

мам город Кучума, перезимуем-перебедем, дождемся хорошего тепла и на конях степями через киргиз и башкир утечем на Яик да на Волгу.

— Чего жрать будем? Кровь из-под зубов идет.

— А бог-то? Нам только бы до русских мест добраться, а там прокормимся — где милостыней, где отвагой.

— Смерть свою тут ищем... Не допечет нас Сибирь огнем, так проберет морозом.

— За грехи господь насылает. Погубили мы много сибирцев где по делу, а где и не по делу.

— Кручинно, насадно плавную службу нести. Выбраться бы на дорогу и шагать потихоньку...

— А на Дону-то, братцы, ныне благодать...

— Помолчи, Лыч, о Доне — не растравляй сердца.

Яшка Брень стоял перед костром на коленках, громко и смело кричал:

— Пльвем и пльвем... Мы не гуси, а человеки, надоело нам плавать... Царь рублем манит, грош дает да за тот грош шкуру с нас дерет! Донские и волские раздолья исстари наши. Нечего тут искать чужого. Погуляли, пора и ко дворам. Добра нагребли бугры — хватит и себе на рубаху и Маланье на рукава, коли у кого Маланья есть. Кучум, слышно, собрал силу несметную: поднял вогул и кара-киргиз, ведет на нас остяцкую землю, а нас — и семи полных сотен не осталось.

Отовсюду слышались прелестные речи, задиришки возмущали казаков, вспоминая все перенесенные лишения и грозя еще большими бедами.

Но вот проиграла есаульская труба, казаки сошлись к атаманову шатру.

Ярмак стоял на стволе поваленного бурей кедра. Остроконечная с заломом шапка, малиновый верх; длиннополый, сшитый из черных жеребьячьих шкур, ярмак с двойными рукавами, — одни надеты, другие болтались для красоты. Со всех сторон из крошечной темноты в бороду атамана летели дерзкие голоса:

— Мир!

— На Дон!

— На Волгу хотим!

— Будя кровавить руки, сиротить здешний край!

— Растрясли тут силу свою.

— Атаманы завели нас и продали за царевы калачи.

— Али на Русь нам возврату нет? Какой год не слышим звона колокольного.

— Чего тут ищем? Погибель свою ищем!

— Кто вынесет из Сибири добычу, а кто и голову свою оставит.

— Отпусти нас, атаман, в отраду!

— А на Дону-то, братцы, ныне благодать — теплота, светлота, степь, ковыли...

Ярмак молчал, ватага шумела.

— Куда идем?

— В Сибирь идем, татарских ханов громить и свое, казачье царство ставить.

— Кому на царстве царевать, а кому горе горевать... За купцов воюем.

— Сибирь велика, нас мало, — потеряемся.

— Напутали, не страсти.

— Мир!

— Назад на Русь!

— Спусти нас, атаман, на свою волю.

Черкас Полухан, сблизившись с Иваном Кольцо нос в нос, кричал:

— Атаманы! Отцы вы наши родные! Поманили вас Строгановы купцы блином масляным, вы и губы распустили... Зачем мы сюда шли и чего тут нашли? Одежка поистрепалась, сапожишки поизносились, волосенки свои порастеряли, пропада-а-а-ем!..

Поп Семен взобрался на колоду и поднял над толпой железный крест:

— Слушайте, послушайте, громители и добрые стояльцы за веру Христову и землю русскую!

— Брысь, травяной мешок! — За полы кафтана кто-то сдернул попа с колоды.

Осташка Лаврентьев звонко и нараспев, по-есаульски, прокричал:

— Помолчи, честная станица! Помолчите, атаманы-молодцы. Ярмак Тимофеевич свое слово скажет.

Мало-помалу затихли.

Ярмак — глухо:

— От вас ли слышу срамные речи? Давно ли целовали святой крест? Губы ваши еще не обсохли после крестного целования... Ко мне широка дорога, — вдруг бешено закричал он, — а от меня дорога одна — к черту в зубы!

Топоры ропота:

— Легче, атаман, с пупа сорвешь!

— Горе наше тут гуляет.

— Ты грозен, да и мы ныне облютели... Ты нас боем не стращай, мы ныне и сами медведя испужаем.

Никиты Пана выкрик:

— Мещеряк!.. Он, он, мордовский лапоть, всему злу начальник.

— Врешь, язычник, — обернулся к нему Мещеряк, — уцеплю вот тебя за рыжий чуб, отверчу голову, как подсолнечник, да и кину собакам.

Ватага Мещеряка заволновалась:

— Его голову и собаки жрать не станут.

— Карсыгай!

— Рыжий палёный, чертом подаренный!

В руке Пана сверкнул засапожный нож.

— Заколю...

Пана и Мещеряка казаки растащили в разные стороны.

В толпе шныряли подговорщики и возмущали людей, а косо-плечий Игренька уже наскакивал на Ярмака с кулаками.

— Злоехидный зверь, злокозненная душа... Умел завести, сумей вывести!

От стругов, из темноты кричали:

— Смерть атаману!

— В куль его да в воду!

— Под обух!

— Мир!

— На Русь!

— Смерть Ярмаку!

Возгорелось сердце Ярмака гневом, в буйном омрачении он рыкнул:

— Так-то?!

Выдернул из ножен меч

передние попятились.

Он перехватил меч за лёзо и протянул рукоятью в толпу.

— Ну, якар мар, кто удалой? Руби голову своему атаману!

Откачнулись

притихли.

— Назовись, удалой! Руби голову своему атаману! А потом беги к Кучуму-султану и служи ему, забыв веру свою, землю свою, заветы отцов и дедов своих!

Молчали буйаны.

Ярмак бросил меч в ножны и повернулся к стоявшим отдельной кучкой атаманам и сотникам.

— Ваша совесть, как цыганов кафтан, и коротка и латана... Дуром-валом да поблажкою распустили своих людей. Коли и впредь будете слабину пускать да мутить казаков, а меж собой не перестанете лаяться на всю губу, не взвидать мне красного солнышка,— он перекрестился,— перевешаю вас всех на одной осине.

Атаманы стояли понурясь, казаки стояли понурясь, где-то и чье-то прорвалось заглушенное рыданье...

Ярмак:

— От вас ли, казаки, слышу окаянные речи?.. Куда бежать? Осень достигла, в реках лед смерзается... Трусость никого не спасет, а храбростью мы и зипуны добудем и жизнь свою пробавим... Бежать, когда повоевали толикое множество мест и народов, а до Кучума — вот он, шапкой докинуть... Где прошли с головней там нам не идти в обрат, а иных дорог не ведаем... Кричали: «По Тавде упльвем до вершин, а там-де пойдем на конях». Дуросветы, дуropyяны... Тавда ныне жива, завтра стала. А Каменный Пояс давно зима обняла, — ходу через Камень ни пешему, ни конному нет. Бежать, когда земля Сибир-

ская сама нам под ноги катится?.. Коли повоюем Кучума, так будем и сыты и пьяны... Не дадимся трусу и худой славы себе не получим, ни укоризны на себя не положим. Не от многих войнов победа бывает. Коли всемогий, в троице славимый бог помощи подаст, то и по смерти нашей память о нас не оскудеет, а слава наша вечна будет... Бежать? Нет, не бывать тому... Вы сами выбрали меня своим коренным атаманом да тем волюю с себя сняли. Кончится поход — приговаривайте себе другого, а ныне бог да я в ваших головах вольны... Что думаю — то и говорю, что говорю — то и делаю, было бы вам ведомо... Есаулы, атама- ны, куренные старшины, — ко мне!

Молчали

ни один не сдвинулся с места.

— Слышите слово мое? — спросил Ярмак, сверкая очами и сдерживая игравшую в нем ярость.

Молчали, собираясь с мыслями. Наконец Никита Пан тихо отозвался:

— Слышим.

Глаза Ярмака ходили, как ножи.

— Три раза атаманское слово не говорится, один раз атаманское слово говорится... Ведаете ли про таков обычай?

— Ведаем, атаман.

Никита Пан, Иван Кольцо, Мещеряк, Брызга, а за ними и есаулы и куренные старшины обступили Ярмака и сняли шапки.

— Наши головы поклонны...

И снова Ярмак заговорил с твердостью:

— Ватага крепка атаманом. Чтоб и впредь не было меж нас смуты и шатости, велю вам, не мешкая ни часу, самых языка- стых расказнить принародно, дабы, глядя на то, и иным не было повадно в походе размир чинить да заваривать замятню. А все другие завтра поплывете за мной дальше, на восход солнца... Будь что будет, а будет то, что бог даст! — Ярмак ударил шапкой оземь.

Все, кто был с атаманом заодно, а за ними и иные — страхом одержимы — сперва как бы нехотя, а потом все поспешнее и поспешнее подходили и бросали свои шапки на его шапку: на- бросали шапок ворох.

Началась казнь.

Игреньку за непослушанье и смутные речи камнями били, кулаками били, пинками пинали, палками щучили да после то- го в рогожный куль посадили, песком досыпали и, раскачав, метнули в реку.

Яшке Бреню за поносные речи насыпали в рот горсть поро- ху и огнем зажгли.

Мишке Козлу, что давно похвалялся на Волгу утечь и дру- гих к тому звал, подрезали под коленками жилы и засунули его головой в шиповый куст.

Лыча, что ходил меж казаков да говорил: «А на Дону-то, братцы, ныне благодать», — Ярмак простил юности его ради.

Лытка был посажен на заостренный кол. Кол, просадив всего казака, вышел у него под затылком. Так-то Лытка мучился до утра да еще всяко ругал атаманов, да еще наказывал своему побратиму Черкизу, чтоб тот, возвратясь на Дон, разыскал бы в Раздорском городке девку Палашку да сказал бы ей его, Лыткин, смертный поклон.

Есаул Осташка Лаврентьев макал плеть в горячую смолу и сек черкаса Полухана по нагому телу, а тот из-под плети рычал:

— Хоть ты меня бей, хоть ломи, а все равно тебе с атаманом живыми не бывать!

Ярмак, услышав те речи, подскочил и сам отрубил Полухану голову да велел повесить его за ноги на горелую сосну.

И иные, самые пушние, всякими злыми казнями были рассказаны, да и покорным добрая была пристрашка дана.

...Мутное подымалось над седой тайгою солнце, дружина плыла. Передом, распустив паруса, ходко бежала атаманова каторга.

34

Осень... Линяла степь, сытый волк катался по жухлой траве. Лысые стояли леса, ознобный ветер грабил лесов последнюю красу. Бежал Иртыш, гремящею волною, как щитом, играя.

К городу со всех сторон поспешали смельцы и стояльцы за Кучумову державу.

Верхами на оленях пригнали самоеды. Одеты они были полетнему, в длиннополые, сшитые из рыбьих шкур кафтанцы, обуты в стянутые из рыбьего пузыря и набитые мхом сапоги или в вывертнн из цельной шкурки молодой нерпы; каждый был подпоясан жильной веревкой, а то и просаленной моржовой кишкой.

В лодках, подпряженных возовыми собаками, большим караваном шли сургутские и самаровские остяки, которых изда-лека можно было узнать по высоким островерхим шапкам. Хозяин, по своему обычаю, сидел на корме и, лениво шевеля веслом, думал, как жить дальше. А жена и дети, еле поспевая, бежали по берегу за собаками; ребяташки отдевали цеплявшуюся за кочку и за куст лямку, помогали матери выбирать из выброшенного волною дрязгу размягченные гниением съедобные водоросли, на бегу хватали лягушек и, надкусывая им головы, сovali в кожаный мешок, что у каждого болтался сбоку.

Привел свой народ нарымский князек Воня. Нарымцы, в отличие от других, сидели в лодках не шелохнувшись. Работали они только кистями рук, быстро действуя коротким веслом — толстый валеk, широкое перо. Лодка князя была застлана само-

лучшими соболями, соболя свешивались за борт, касаясь оскаленными мордами воды.

На плотках и челнами приплыли вогулы, вооруженные боевыми топорами на длинных ратовищах да копьями с костяными и железными наконечниками. Ишбердей разогнал свою ловкую лодчонку и, на удивление глазевшим с яра остякам, заставил ее извиваться, как выдру, прежде чем пристал к берегу, да на весле, оперев его в дно реки, махнул прямо на сухое место.

Толпою пришли идоломольцы Васюганских болот с огромными — расписанными чудовищными харями — щитами, кои должны были нагонять страх на врагов. Да они ж приволокли с собою самого большого своего болвана, груборубленая морда которого до ушей была измазана кровью и облеплена присохшей рыбьей чешуей.

Налетели кочевники Ишимских и Барабинских степей. Обряжены они были — взамен кольчуг — в кожаные воловьих шкур рубахи с короткими рукавами да в верблюжьи охабни (верхняя одежда), валянные из смоченной и выкатанной в песке кошмы. Каждый род под своим знаменем, у сотен различительные значки — разноцветные ленты и лоскутья на длинных пиках. На древках двузубчатых копий развевались пучки крашенных конских волос.

Таежные охотники привели с собою своры густой злобы псов, которых на войне они напускали на врага. Саадаки таежников были туго набиты оперенными стрелами, а луки стянуты тетивами из медвежьих жил, — пущенная с такой тетивы стрела валила волка с ног, лису пробивала навывлет. За плечами двулёзные рогатины, на поясах тяжелые чаканы с гвоздевым обухом.

Прикочевали любопытства ради и с тайным умыслом ударить при случае по тылам Кучума чатские татары двоеданцы, что давно уже якшались с киргиз-кайсацкой ордой, ясак тамошним князьям даывали и других к тому тянули. С ними пришли с караваном мелочного товара курганские купцы и шайки бродячих пээтов да музыкантов, не пропускавших ни одного сборища народного, будь то война, праздник, свадьба или похороны богатого человека.

На косматых шустрых лошаденках примчались алтайцы с луками из рогов буйвола и с шилообразными, для пробивания железных кольчуг, метательными копьецами на десятисаженных ремнях. Запыленные всадники въехали в город, развернув над собою, как знамя, боевую песнь. В клёкоте чистых, напоенных горными ветрами голосов слышалась сила и удаль народа. Скуластые, медноликие, в пестрых халатах, помахивая в лад песни нагайками, они сидели в высоких седлах небрежно, чуточку свешиваясь на левую сторону. Китайских статей меховые шапки с репейками на макушках были лихо сдвинуты на затылки.

В чаянье военной поживы пришли и иные народы сибирских земель. Каждое племя облюбовывало себе место для стана.

Вогулы, остяки и самоеды жались к реке; глава семьи составлял костром четыре жердины, сверху накидывал сшитый кошелем мех, и — походный чум готов. Кочевникам тесно казалось в стенах города, раскидывали юрты по степи, далеко одну от другой, для выпаса лошадей. Болотные идоломольцы жили под открытым небом, спали, сваявшись в одну кучу. Вокруг ханских жилищ были устроены коновязи для коней самых почетных и богатых гостей.

Всем собравшимся было выставлено угощение.

Иноходью бегали кухари, разнося медные и серебряные блюда со всячиной: дымилась жирная баранина, куски махана разили лошадиным потом, гуси были набиты изюмом и фисташками, дикие голуби и тетерева сдобрены пряностями, да залиты сваренной из лимонов подливкой, сушеная икра и бухарские дыни, сахарные завитки на бараньем сале да полные турсуки кумыса.

Жителям тундры и болот были изготовлены любимые кушанья: грибная похлебка с оленьей кровью и сырое тесто из овсяной муки с медвежьим нутряным жиром; жареные на рожне рыбы и оленин, вываленный в горячей золе мозг; жирные, срезанные с живых осетров горбы; чуть опаленные на огне губы и копыта молодого оленя.

Мужья, проворно действуя ножами, отхватывали куски, дробили мозговые кости — грызли, чавкали, обсасывали да кидали остатки женам, а жены, насытившись сами, кормили объедками своих собак. Чего не могли пожрать, то расхватывали и прятали за пазухи, в штаны, в голенища просторных сапог. Дети грызли гусиные лапки, жевали листовничную серу, обглаживали хрящи с оленьих рогов. Обожравшиеся собаки, прежалобно скуля, катались по земле. Да иной и хозяин валялся рядом с собакой, тиская себе кулаками брюхо; иные, чтобы опьянеть, пили отвар мухомора и корней ядовитых болотных трав.

Кучум, мало с костей мясо окроша, раздавал мослы князьям, мурзам и вождям племен, что с женами и детьми и со всеми родичами своими вились около его юрты, как комары весной.

— Рад вам, — зорко приглядывался он к гостям. — Звал вас с народом, вы пришли. Опасался казаков, а ныне они мне не страшны.

— И мы рады, — прохрипел, чуть ворочая осоловелыми глазами, остяцкий князек Алачей. — Ты богат, мы сильны. Ты нас кормишь, мы за тебя выйдем воевать. Ты всем нам чего-нибудь подаришь, мы после войны с песнями разбредемся по своим кочевьям и становищам и долго будем вспоминать тебя сладкими речами.

— Повеюете казаков, так никаких подарков не пожалею.

— Да не будет, хан, гнило слово и мутна память твоя!

— Я на своем слове тверд. Не за тем вас сюда созвал, чтоб махать ваши уста жиром. Много дам подарков... До народов слово

мое донесите. А пока — ешьте, ешьте, до того, чтобы из горла наружу торчало.

— Мы... Бк! — Алачей отрыгнул неразжеванную, вываленную в шерсти баранью почку.

Кругом сыто засмеялись.

Алачей спрятал почку в широкий рукав и досказал:

— Мы насытились и готовы нападать и стрелять, колоть и тяпать.

Кучум:

— Выждем вестей... Послан мною в тобольские места на вышмотры Маметкул с уланами. Русские, слышно, сидят в беде — собак своих последних съели, лыко с голоду сосут... Выждем добрых вестей и согласно ударим на казаков.

Вожди и князцы, мурзы и военачальники подобно гусакам загагакали:

— Ударим.

— Горе чужеядцам!

— Они бараны, мы волки, — умнём.

— Не будем щадить!

— Навечно падем мы им в память.

— Стрелы моих воинов отравлены гнилым жиром, — ослабился и торжествующе посмотрел кругом зобатый вождь идоломольцев Васюган. — Зверь от той стрелы скоро умирает.

— А у меня, — князец Самар всем дал пощупать шапку, — сюда зашита кость мертвого отца: будет удача.

— Окружим казаков и и-и-и-и-и-и-и!. Не найдут норы, куда бы спрятаться от наших стрел и топоров.

● — Убитых скормим собакам.

— С нами боги.

— Война! Война!

— Пьем, едим...

Алтайский старый князь, Тулай, женатый на дочери Кучума, сидел бок о бок с тестем и нашепывал ему на ухо:

— Не спусти ль та выхваль, хан? Не погнулись бы суесловы на труса? Затверди ихнюю похвальбу клятвою. Свяжи их шертью¹, как веревкой. — Из кости точеной чашкой черпал Тулай кумыс и медленно тянул сквозь зубы. Сафьяновые, с кисточками на голенищах, сапоги его были расшиты цветными шелками и украшены серебряными поделками, подобными коготкам белки. В перстне князя крупный рубин горел, как глаз разъяренного тигра. — Не дайся обману, хан. В бою пусти их вперед, да секутся с казаками.

— Пущу вперед, — согласно повторил Кучум, — да секутся с казаками. Мусульман у меня мало, буду беречь.

— А те, что побегут с поля, убоясь русского огня, — те будут наткаться на наши пики.

¹ Ш е р т ь — присяга народов нехристианского вероисповедания.

— Иншалла!

Кучум встал и обратился ко всем:

— О храбрачи! Веселят меня смелые речи. Да отведают казачи силу руки и твердость копий ваших. Посшибайте с них головы под копыта коней и оленей, втопчите их тела в землю! Вы — моя радость и утешение. С вами, молодыми, я и сам молодую. Хочу видеть народы, слушать песни, зреть игрища и пляски.

— Айда, хан, с нами!

— Покажем тебе свои станы, оленей и собак... Луки и топоры, щиты и копыя...

— Подивисься на ловкачей и силачей наших.

Кучум вышел из юрты. Табунщик подвел ему арабскую, сказочной красоты, гнедую кобылу. Хан с юношеской легкостью вскочил в седло и тронул шагом. У стремян его, как тени, шли князья, мурзы и вожди племен с женами, детьми и родичами своими. И кто бы ни попался на дороге, всяк повертывал и шел или ехал вослед хану, как того требовал обычай.

Наплывал вечер, над темными тяжелыми лесами сиял и пламенел ликующий закат. Червонным жаром отливали прямые, как мечи, сосны. Далеко по степи стлался горький дым костров, коней ржанье, разноязычный говор, слитный гул торжества.

Богатыри похвалялись силой да, ухватив друг друга за ошкур меховых штанов, тяжело ходили по кругу. Дыханье из могучих грудей вырывалось с шумом, лица были измазаны грязью и кровью.

Сургутские остяки в лубяных, расписанных углем масках вели медвежий танец. Таежные охотники, удерживая дыхание, следили за каждым движением танцующих, ноздри их трепетали, глаза блестели.

Зашитые в цельные конские шкуры табаринцы исполняли лошадиную пляску: жеребец гулял в табуре кобылиц. Степняки взирали на игрище с волнением, и время от времени из их глоток рвались крики одобрения.

Молодые состязались в беге и ловкости, играли в казло-мазлю, метали копыя.

Ях на полном скаку остановил пятилетнего оленя, накинув ему на шею аркан.

Другой силач вышталал деревцо с корнем и с яру бросил его в реку.

В ином месте были поставлены гуськом три оленя. Молодой вогул с разбегу, опершись о рога переднего, перемахнул и сел на спину заднего.

Самоеды и самаровские остяки гонялись на лодках, тянулись на палках, стравливали собак.

Идоломольцы над головою своего болвана высекали огнем из кремня искры, точили боевые ножи, голося с завойкою заунывную, хватающую за сердце песнь.

Поэты и музыканты показывали свое искусство. Дико выла зурна.

Всюду сновали и горланили купцы, расхваливая товары.

В кругу охотников и рыбаков кондинский шаман Алейка жег на углях баранью лопатку и по трещинам, что стреляли по кости, предсказывал будущее.

Кочевники являли дивеса джигитовки.

Охотники состязались в стрельбе из лука. Один подкидывал шапку; другой стрелою попадал в шапку на лету. Вот седоусый старшина Мукей из рода назимов ножом затесал на кедре зальсинку и, отойдя шагов на тридцать, пустил стрелу, она попала в цель. Второй стрелою Мукей расколол свою первую стрелу, попав в ее тупеё. Слава такого стрелка живет века, передаваясь из рода в род и из племя в племя, обрастая седою шерстью легенды.

Кучум проехал к яме с русским ясырем.

Ослабевший от пыток и голода Куземка Злычой сидел на дне ямы. Замученные глаза его были пусты и одичалы, щека от губы до уха рассечена, залубеневшая от крови шапка была кинута под ноги. Фока Волкорез в рубахе, разорванной от ворота до пупка, бегал по яме и лаялся с караульными уланами, кои забавлялись, протягивая пленникам на концах копий куски мяса. Слепленный полубраток Мулгай лежал свернувшись и скупо стонал.

Кучум остановился над ямой и некоторое время молча глядел на ясырей. Исхлестанное глубокими морщинами лицо его было черство, а крепко сжатый рот суров и тверд, как когтистая лапа зверя. «Так вот они, искры пожара, что надвигается на Сибирь! — должно быть, думал он — Вот они, пальцы железной руки, что тянутся к моему горлу!»

Привстал на стременах и заговорил:

— Вы, люди, пришедшие из-за Камня с злым умыслом, слушайте!

Фока, будто камнем, запустил в хана сибирского матюком. Кучум гневно засопел и указал на него плетью:

— Голову!

Мурза Кутук Енарасланов, ухватив за чупрыну, выдернул казака из ямы, оторванной полрой кафтана завязал ему глаза и отрубил голову.

— Кто пришел? — спросил Мулгай Куземку.

— Похоже, самый наибольший, — отозвался Злычой, — кобылы такой вовек не видывал.

— Волкореза порешили?

— Фока испекся... Молись, Мулгай, и наша смерть накатывается.

Мулгай поднял лицо с кровавыми пятнами вместо глаз и торпливо закрестился, забормотал:

— Бог Миколка, бог Егорка, бог Мишка... Я, новокрещеный татарин Мулгай, помню вас, и вы меня в обиду не давайте.

Кучум стоял над ним, горько морщась:

— Шелудивый пес! Ты отрекся от закона отцов и дедов своих? Принял чужую веру, которой не знаешь?

— Вера Христа истинна, а все другие — тьфу!

— Кто тебя тому научил?

— Атаман Мартьян.

— Биллягы! (Божба.) — воскликнул Кучум, подняв очи к пылающему небу. — Пусть забудется имя мое, если я не убью тебя раньше, чем закатится солнце. Велю срезать с тебя мясо кусками и накормлю собак твоим мясом. Джиргыцин! (Божба.) Тебе не гулять больше по степи, не топтать травы.

— Бог Миколка возьмет меня к себе на небо да подарит мне глаза беркута. До скончания веков буду смотреть с неба на степь и на табуны. Увижу, как и тебя, хан, казаки разволокут по полю конями.

— О шакал! Ты еще скалишь зубы и мечешь хулу на меня? Сдеру с тебя кожу и набью ее гнилым сеном! Вырву язык твой да велю засунуть его свинье в гузно!

— Сквозь и твои ребра, хан, трава прорастет, и твои кости, хан, полынь оплетет... Недалек тот день, когда и из твоих ноздрей, хан, черви потекут...

Кучум кричал в беспамятстве:

— Сабли улан, как молнии, скрестятся над Русью! Кровью русской залью дороги! Разорю мох на крышах жилищ, города и села подыму огнем да пуцу на дым!..

Приказал обоим расказнить и ускакал прочь на кобыле своей, быстроты дивной.

Пленников выволокли из ямы.

Пастух Садык плетью, усаженной конскими зубами, оббил с Мулгайя мясо по кускам, и тот умер. Куземку Злычого терзали, пока он не перестал стонать. Бабы шагали через мертвых, чтобы опоганить. Потом привязали одного к одному дереву, другого — к другому, безголового Фоку Волкореза прислонили к стене и пускали в них стрелы, пока не надоело,— все трое стали похожи на ошетилившихся кабанов.

Кучум с мурзами и князьями объезжал станы, принимал от народов присягу.

Самоеды в знак своей покорности целовали щучий нос и медвежью морду.

Вогулы шертовали на дружбу по своему обычаю — нюхали конец пики, лизали лёзо меча, окропленного кровью жертвенного оленя.

Табаринские хлебопашцы клялись с комом земли в руках.

Князь Тулай тоже обещал лиха на хана сибирского не мыслить и стоять в бою до крови и до смертного посещения да по своим преданиям пил воду с золота.

Остяки присягали на верность перед медвежьей шкурой, на которой были скрещены топор, нож и стрела. Вождь, а заодно с ним и все воины разноголосили, повторяя за толмачом слова клятвы:

— Пусть растерзает меня медведь, пусть подавлюсь первым куском мяса, пусть топор отрубит мне голову, пусть зарежет меня сонного этот нож, пусть стрела, пущенная мною, возвратится и вопьется мне в глаз, пусть стрела, пущенная мною, возвратится и вопьется мне в глаз, если я не сдержу клятвы...

В степи взмыла пыль, со степи к городу наметом летела сотня Маметкула. Уланы играли копьями, на скаку подбрасывая и ловя их, да крутили перед собою шашками столь быстро, что за потоком сверкающей стали, как за щитом, лиц не было видно.

— Казаки близко!

— Война, война!..

— Велик бог!

В юртах и чумах жены прощались с мужьями, матери с сыновьями, — тихий плач и шепот.

35

Сплыли казаки с Тобола, навстречу им быстрый Иртыш повыкатил. Драл понизовый ознобный ветер, ветер топтал волну, слепая волна хлестала в глинистый берег. Где-то уже выигрывали первые метели, — вьясь летели редкие снежинки, колючая крупа засекала глаз. Косматые — в густом инее — качались вершины сосен и кедров, выла и стонала седая тайга. По кроме лесных кряжей немое плыло солнце. По ночам берега обмерзали, морозом рвало и корежило струги, порою доводилось вырубать струги изо льда топорами.

На мысу, что вылег на схлестке Тобола с Иртышом, ватага стала на привал. Голодные и хмурые грелись у костров, негромко переговаривались, озираясь с опаскою.

— В беде сидим, бедой кутим.

— Держали замах большой, да вот оно — рылом в землю.

— Стужа, ветер... Ветер нос на сторону воротит... Пришли и зиму за собой привели.

— Не журишь, братья, завтра бой... Ударим — и Сибирь наша, или с коня и прямо в рай.

— Ждут нас с тобой, односум, в раю на самом краю, где черти горшки обжигают.

— И то дело не худое, хоть погреемся... Так ли, товариство?

— Ужо ордынцы зададут тебе жару, враз нагреешься.

— Ништо, бог милостив.

— Удалой перед смертью не пятится, а иной и рад бы упятиться, да некуда.

— Задавит нас орда многой силой своей. Назвал, слышно, Кучум народов великое урево, а нас и семи полных сотен не осталось.

Приумолкли, понасупились.

— Не журись, братья, в сечи не всем лечи... А вот, — говорок метнул глазом туда-сюда, — коли кто станет далеко язык выпускать, не избыть тому беды.

— Ведаем.

— Поперечников атаман бьет без промаха... Не забыли Забалуя, Костыгу, Мишку Козла?

— Забалуя он добре секанул, аж шапка локтя на три кверху подлетела.

— Ништо! С седых веков ни единая казацкая слеза в пусто не канула. Попомним атаману кровь Забалуя, Игреньки, черкаса Подухана и иных.

— Попомним!

— Не рука нам, ребятушки, в походе раздор чинить. Стонем, ропщем да тем ропотом гневим и бога и атамана.

— Мы, деда Саркел, так... До поры наши головы и послушны и поклонны.

Кто-то вздохнул, кто-то крикнул.

— Одним грехом, как цепью, сковал нас черт... Было б нам подобру-поздорову на Волгу скатиться...

— А на Дону-то, братцы, ныне благодать!

— Побереги, Афонька, голову. Помалкивай.

— Молчу.

— Мы с тобой давно у атамана как порох в глазу. Услышит — враз сломает тебя, дурака.

— Молчу.

— Заутра бой... И не хотелось петушку на пир идти, да за хохолок потащат.

— Ой, темна ты, могила, во чужой земле...

Приумолкли усачи, приуныли смелачи.

А Ярмак с вожем Ядулкой, забравшись на вершину самой высокой сосны, оглядывали просторы заиртышья. Мотались на ветру прибрежные талы. По угорьям разбежался лес мелкой, сумрачен и дик. Далее расстилалась рыжая степь с плешинами наметенного там и сям снега. Волновались, вскипали под ветром озёра. Далеко по заиртышью двигались в тучах пыли то ли табуны, то ли конные лавы сибирцев.

Закусив конец перевитого первой сединою уса, Ярмак бормотал:

— Сибирь... Орда... Выноси, угодники!

Зоркие глаза степняка Ядулки рыскали по далям, показывал вверх по реке:

— Во-о-о-он Кучумовы юрты и сакли... Водюю до города день ходу, конями того меньше... На полдороге живет городок Атик-мурзы, близко за городком стоит Чувашиева гора, а за Чувашиевым мысом в трех поприцах¹ — Искер.

¹ П о п р и щ е — старинная мера длины, примерно — верста.

— Берега каковы? — спросил атаман.
— Местом берега голы, местом лесисты.
— Острова и наволоки есть?
— Два острова. Один о бок с городком мурзы, другой пониже Чувашиева мыса.

Ярмак еще раз внимательно оглядел стремя реки, речные завороты и крикнул вниз:

— Поплыли! Мещеряку с сотнею идти передом, усторожливо... По сторонам глядеть остренько.

Караванный, задрав голову, выслушал атамана и опрометью побежал по стану, взметая песок подолом собольей шубы.

— Поплыли!.. Не мешкать там у огней, уху хлебать в лодках на плаву... Сотне Мещеряка идти головною, по сторонам глядеть во все глаза...

Затомошились старшины и есаулы:

— Поплыли, братцы, поплыли!

Казакки разбирались по ватагам, ссовывали лодки на воду и тоже озорно орал:

— Поплыли!

— Водопёх, толкайся!

— Лады крюки в гнезда!

Из кустов вылетел с ременным поясом в зубах Мещеряк-атаман и, на бегу застегивая меховые штаны, устремился к своей сотне:

— Поплыли!.. Разбирай паруса, крепи парусные подтяги!.. Кормчие, на весла. Пушкари, заправляй пушки картечью!

Полетели струги, подхваченные попутным ветром, запенили простор реки лопастями навесных кормил.

Проплыли плес, другой.

За мыском вдруг открылся городок Атик-мурзы: убогие с плоскими крышами мазанки, крытые лубьем землянки, войлочные юрты.

Мещеряк, что умотал с сотнею вперед, взял тот городок с уда-ра да скоро выбежал на яр встречать дружину. Махал Мещеряк с яру шапкою и орал:

— Жители порезаны, город взят порожний!.. Держи к берегу без опаски!

Тут и заночевали.

Ярмак прихватил с собой есаула Осташку Лаврентьева и отправился с ним на развед под Чувашиеву гору.

По-осеннему стремительно густели сумерки.

Атаман рассматривал берег, примечал места, способные для пищального боя и высадки. В темноте подлезли под самую гору и залегли. Доносило еле слышные голоса, разноладный лай псов, мотались на ветру огни многих костров. Совсем близко, по насыпи земляного вала, шатались дозорные в островерхих шапках.

Раздувая ноздри на волнующие запахи жареного мяса, Ярмак дохнул есаулу в ухо:

- Чуешь?
- Угу.
- Баранина...
- Угу...

Атаман глотнул голодную слюну, ляскнул зубами и прошептал:

- Языка мне добудь.
- Добре.
- Живой ногой.

— Я скоро!.. Господи, благослови,— перекрестился Осташка и, ослабив в ножнах шашку, осторожно пополз в густую темень.

Ночь, глухо.

Сморенный усталостью Ярмак задремал... Есаул тронул его за плечо:

— Атаман!

Ярмак схватился за пистолет.

— Атаман, пора и к стану. Языка словил.— На тонком сыромятном ремешке, захлеснутом под горлом петлею, есаул держал татарина и, слегка подкальывая его острием шашки, шипел: — Пикни — развалю на́двое!

На казачьем стану было тихо, хотя почти никто и не спал. Сидели и лежали в стругах, кутаясь в меха и дерюжину. Во тьме простуженно бубнили голоса; кто-то однозвучно, в треть голоса тянул заунывную песенку. У огня, опираясь на пищали и рогадины, дремали караульные.

На допросе оробевший татарин кланялся обступившим его бородачам и приговаривал:

— Ум мой мешался, память кунчался, сапсем нисява не знаю...

— Ну, нам с тобой квас квасить некогда,— сказал Ярмак и велел позвать охочего к крованому делу сотника Черкиза.

С бою да с пытки язык поведал все по ряду: об укреплении и подступах к Чувашиевой горе, о воинских хитростях и нравах народов, воюющих за Кучума.

После того Ярмак созвал к себе в шатер атаманов, есаулов, стариков и всю ночь с ними совещался, а чуть забрезжил свет — вышел атаман к казакам.

Проиграла серебряная есаульская труба, дружина сошлась к шатру атамана.

Слово Ярмака:

— Слушай, братья, и на ус мотай! Брели мы лесами, брели горами,плыли многими реками и речками. Слышу стоны малодушных — устали-де, ноги под нами подгибаются, руки не поднимают весла и пищали, глаза не глядят, и языки от усталости и голода не ворочаются... Ходил я с вечера с есаулом Лаврентьевым в подгляд к татарским станам. Баранину, псы, варят и жарят. Мыслью, коли грянем на ордынцев дружно, так не минет та баранина наших зубов. Собьем орду с горы, выкурим из покоища

змеиного и погоним к городу да с маху подыдем на мечи и город тот. Там перезимуем и дух переведем, в тепле да в сытости, а весной,— что бог даст. Вспомним, братцы, все пакости и лютые скорби, что приняты нами от тех злохитрых и окаянных волков басурманской веры. Вспомним...

— Город не миновать брать, — махнул голицею Никита Пан,— река не нынче-завтра встанет и куда же нам тогда свои головы приклонить? Город Кучумов близок, ура и — вперед! Так ли, товариство?

Голосов блеск:

— Так, так...

— Грянем.

— Шатанём сатану.

— Вчера кишки пусты, нынче кишки пусты, да лучше — головой в кусты!

Ярмак послушал голоса и опять заговорил:

— Ладь струги к бою немедля. Рассаживайся просторнее, чтоб друг другу не мешать. Стругам в кучу не сбиваться. Держать струги косяком. Не забывай: пищальный бой ведем с правого борта, а пушечный с носу. Мыслью: засядет сила Кучума под прикрытие засеки да оттоль станет метать в нас стрелы и копыя. Навалом нам басурман не взять, пустимся на хитрость: дабы выманить неприятелей наших на чистое место, дадим изо всех пищалей и пушек по одному холостому выстрелу, а конные пускай заварят под засекой свалку и пустятся в притворное бегство. Старшинам и есаулам доглядеть, все ли укреплены по бортам упорные сохи для наводки пищалей. У каждой пушки быть троем пушкарям. Храни сухую пороховую полку и фитиль. Заряд давать полный, пороху и жеребьев не жалеть. Может статься, бросятся на нас кои народы на челнах,— багры держи наготове, челны кувыркай, топи орду нещадно, полону из огня не брать. Полусотню Богдана Брязги сажаю на коней,— будет в стругах просторнее. Конной полусотне идти по бровке берега и вперед без моего слова не соваться, дабы не попасть под свой огонь. Весельникам махать веслами вполсилы, да не выдохнуться раньше срока. Кормчим глядеть в оба: не посадите мне, сукины сыны, стругов на мель, как то учинили под Тюменью,— разорву по клоку! Заплывай к горе с носка, берег там чист и спрятаться ордынцам от нашего огня некуда, а коли красный выдастся денек, то и солнце станет нам за спину, а сибирцам будет бить в глаза. Стреляй не кряду, а через ружье. Покажет дело выйти из стругов на берег.— выйдем. На берегу не рассыпайся и от воды без нужды далеко не отходи. Держись в пешем бою кучками человек по десяти: стой крúгом, зад к заду, как кабаны, когда на них насакивают волки. Пушкарей Самойлика и Худяка беру на свою каторгу. Атаманам, есаулам, сотникам и полусотникам быть при своих ватагах неотлучно, биться примерно—волос не жалеть! Помни, бежать нам некуда и не с чем...

Ну, а коли сломят нас поганые и задавят силой своею — живыми в руки не давайся и славы казачьей не рони... Молись, братцы, и — с богом!

Дружная закипела работа: кто принялся вычерпывать из струга воду, кто прочищал от порохового нагара запал, ввертывали в пистолы новые кремни, точили шашки и ножи, рубили свинец. Есаулы подсчитывали и разводили по стругам людей, раздавали запасное оружие, досыпали кожаные гаманки порохом. Каждый получил по последней горсти плесневелых толченых сухарей и по ложке горячего пареного овса в полу кафтана. Одни бежали к попу исповедоваться, другие — к колдуну заговариваться, а иной, по простоте сердца, приставив к пеньку складную икону, стучал в землю лбом и приговаривал: «Пресвятая пречистая богоматерь и вы, угодники, напустите на меня смелость, не велите лечь костями в проклятой басурманской стороне». Багровое подымалось над тайгою солнце, налетный ветришка взвихривал по гладкой воде ершей, на стрежне разгуливалась волна...

Лихой пушкарь Мирошка ворчал, взирая хмуро на свинцовую волну:

— Будет стругам колтыханье. Как тут некрещеного выцелить да стрелить? Слезы!..

Разобрались по стругам.

Застучали раскидываемые по гнездам весла.

Ярмака клич:

— Яртаульные, пошел на взлёт!

Головным побежал яртаульный челн, за ним — атаманова каторга с медной пушкой на носу, а за каторгой, раскачиваясь на крутой волне, ухлестывали в двух сотнях струги и стружки, насады и будары, лодки плавные и лодки кладные.

По каравану перелетывал разбойный посвист и заказное словцо:

— Ша-ри-ла-а-а...

Плыли.

Берегом пылила конная полусотня Брязги, прикрывая дружину от внезапного нападения.

По венцу Чувашиевой горы мотались одиночные всадники. Да еще доносилось коней татарских ржание и надсадный лай псов.

Плыли.

— Ша-ри-ла-а-а-а!...

С яртаульного челна зык:

— Орда-а-а!..

Степь — насколько глаза хватало — была залита войском сибирским. Двигались толпы пеших, заткнув для ловкости за пояс полы наваченных халатов и овчинных полушубков. Ехали на арбах, верхами на оленях и верблюдах. Скакали, джигитуя, конные уланы. Под солнцем вспыхивали концы копий и чешуя

панцирей. Главные силы кучились под Чувашиевой горой, опоясанной понизу насыпным валом и засекою.

Сибирцы, утвердившись на своих местах, стали высылать навстречу казакам задирщиков, кои на быстрых конях подлетали совсем близко и, выметав стрелы, гнали обратно.

Казаки из полусотни Брязги вступали с теми охотниками в словесную брань да мало-помалу от слов переходили к делу, размениваясь за стрелу пистольной пулею, а кое-где уже начали заигрывать и врукопашную, сшибаясь шашками.

На бойком иноходце прямо на казаков неся пастух Садык и, воздев над собой пустые руки, озорно кричал:

— Моя твоя!.. Атма, казак, кынама! (Не стреляй, не бей меня.)

«Сдается», — сообразил Брязга и, отделившись от полусотни, наметом припустился навстречу татарину. — Кая барасом? — окликнул он и потянул из ножен шашку.

— Моя твоя, казак, йеее! — дурашливо завизжал Садык и, сорвав с луки седельной да развернувшись, метнул аркан

миг

и он скакал прочь, волоча за собою на туго натянувшемся аркане казачьего атамана. Тот царапался за кочки, за кусты, но удержаться не мог.

Полусотня бросилась на выручку своего ватажка.

А с горы, потрясая копьями и топорами, стремительно стекли густые толпы воинов Кучума.

— Шарила-а-а!.. Клади весла, молись богу!

Торопливо покрестились.

Ярмак пушкарям:

— Трави запал!

Пушкарь Мирошка размотал просаленную тряпку с гузна пушки и запалил смоляной фитиль. Медная пушечья пасть рявкнула и отрыгнула пук огня, каторгу качнуло, а по-Мирошкиному и другие сделали, — караван окутался сизым пороховым дымом.

Меж тем Брязга схватился за аркан, подтянулся сколько мог да, изжевав витую из конского волоса веревку, оторвался.

— Назад! Назад! — призывал Ярмак конных, но те уже сшиблись с неприятелями, и — пошла потеха.

Струги с тяжелыми, ломовыми пушками погреблись в обход горы, а иные струги повернули было к берегу, но скоро засели на мель.

Ярмак, матерясь, шагнул через борт в ледяную воду, а по его и другие полезли — где по колено, а где и по пояс. Скоро дружина с развевающимися хоругвями вышла на берег.

— Пищальники!

Вооруженные пищальями выбежали к атаману.

— Стреляй не залпами, а через ружье.

Построившись клином, пищальники не спеша двинулись вле-

ред, на ходу стреляя через ружье: одни стреляли, другие в это время заряжали.

За пицальниками развернулись сотни с пистольным, сабельным и лучным боем.

Под засекой казаки были встречены тучею стрел, градом камней и метательных копий.

Дрогнули

попятились.

А сибирцы, сметив, что казаки в малой силе, разломали в нескольких местах засеку и сами пошли на вылазку, да из лесу выскочил затаившийся там с отборной конницей Маметкул; а за ним, развертываясь в лаву, летела волчья сотня улан Бейтерека Чемлемиша: уланы крутили над головами шашками, рукояти которых были полы, и при размахивании издавали волчий вой, нагоняя тем страх на своих и на вражеских коней.

Молодой молодого пикой вышиб из седла. Чья-то голова покатила под яр. Бегущий и вопящий запутался ногами в своих кишках и упал. Из чьего-то горла кровь брызнула выше лошадиных голов. Вогул ударил Афоньку Лыча копьем в бок и выдернул копье с почкою на конце. Афонька со стоном повалился и обнял землю. Дед Саркел рубанул васюганского шайтанщика шашкой по голове и после рассказывал, будто из того пламя пыхнуло и смрад изошел. Сотник Черкиз, зажимая левой рукою выжженные глаза и шатаясь, шел прочь от места битвы; в правой руке он всё еще сжимал рукоять расколотой шашки; иссеченная в куски кольчуга, держась лишь на одной ременной перевязи, спадала и волочилась за ним по земле; изрубленные плечи и грудь его были обнажены. Мурза Кутук Енарасланов сверзился с коня, пробитая свинцовым жеребьем голова его запрокинулась, выпучил глаза — и дух вон. Заруба дал таежному богатырю кровавую рану, да и самого повалили и начали рвать собаки. Охотник Ях всадил в казачью грудь нож совсем, с череном, да и сам присел — пуля обожгла коленку, выдернул из головы прядь жестких волос и перетянул простреленную ногу. Кони топтали людей, взвивались кони на дыбы, сшибались грудью и грызли друг друга. Спешенный Маметкул, засучив правый рукав бешмета по локоть и работая шашкой, шел среди русских, как бы купаясь в волнах.

Стук и лом копейный

блеск и звяк клинка

гул, вой, брань

с обрыва падали в реку,

стремительные воды Иртыша смешивали кровь врагов. Вдруг в тылу горы заржали ломовые пушки, картечь хлеснула по густым рядам сибирцев.

Ярмак, что уже чертом носился по полю на татарском скакуне, приподнялся в стременах и, грозя окровавленной шашкою, закричал дурным матом:

— Пошел на слом!

И казаки, покрывая голосами своими шум битвы, закричали.

— На слом!.. На слом!

Да кинулись

в атаку.

В тылу горы ржали ломовые пушки, картечь косила ряды сибирцев.

— Ура-а...

— Вра-а-а-а...

— Шарила.

По каменистому открытому склону горы заметались и застонали народы, охваченные отчаяньем. Побежали с воем и стонами оробевшие, увлекая за собой отважных.

Хлынули прочь идоломольцы Васюганских болот, потяпав с досады топорами своего болвана, который оказался бессильным перед русскими богами.

Резвые олени, гремя полозьями нарт по мерзлым кочкам, помчали прах своих хозяев в тайгу, к погребальным кострам.

Бежали самоеды.

Бежали князья остяцкие со своими народами. Остячки схватили одного из своих князцов и с криками: «Отдай нам наших мужей. Отдай нам наших сыновей»,— начали на князца плевать, одежды на нем драть и оленьими говьяхами глаза ему замазывать.

Уланы еле успели уплавить за Иртыш Маметкула, наскоро залив его кровоточащие раны растопленной пихтовой смолкой.

Снимались становища степных кочевников.

Храбрые таежники, что убивали медведя один на один, разбежались в страхе, точно белки от пожара.

Бежал тайгою, прихрамывая и опираясь на копьё, охотник Ях. В битве погиб сын его Мулейка и потерялась жена Алга,— плакала по ним душа. За ним брел, волоча хвост по земле, старый кобель Няян.

Преследуемые разящим огнем пушканов, бежали вогулы.

Бежали алтайцы и барабинцы, чатские татары и сургутские остяки, побежали и все иные, кто побежать успел. За ними, как дым пожарища, стлалась вздыбленная пыль, скрип и грохот арб, и коней ржанье, и отчаянья вопли многие. А вдогонку им пушки всё еще сыпали свинцовый горох, озорно и устрашающе гаркали казаки, победно выли есаульские трубы.

Казаки засеку разметали и хоругви с ликами Христа и богородицы на горе Чувашиевой утвердили.

Скоро к немалой своей радости услышали казаки, что Кучум с мурзами и ахунами бежал на конях в степи и город оставил пуст.

С осторожностью, опасаясь подвоха, вступили завоеватели в город, раздували оставленные татарами в спешке богатств а, отслужили молебен и стали там жить.

Жили-были...

Неслышной поступью, на мягких лапах шла зима. Смирён лежал Иртыш во льды закован, снегами повит. Над воротами и на углах крепостной стены поставили казаки пушки, цепями их приковав, чтоб татары какой-либо хитростью пушек тех не уворова-вали; углубили вокруг города рвы; нарыли под стеною волчьих ям, забросав их дразгом и затрусив снегом.

Над темными лесами молодой месяц шел дозором. На башнях переключались караульные, в морозной тишине звонки и чисты были их голоса.

Казаки гуляли.

Пьяные, хохочущие катались с горы на розвальнях, в обнимку шлялись улицей и гаркали свои волжские и донские песни. Съезжая изба ходенём ходила.

Мещеряк, распушив бороду, шел по кругу и, как стоялый жеребец копытом, стучал в земляной пол кованым сапогом:

Пошел козел в огород,
По-ошел козел в огород,
Потоптал лук, чеснок...

В пару с ним Ерощка плясал по-цыгански — *в три ноги*. Сверкали зубы, глаза, серьга в ухе, разлетались подрубленные в кружок русые волосы.

Потоптал лук, чеснок.
Чигирики
 чок
 чигири!
Зубарики
 зубы
 зубари!
Жена мужу бай говори.
Ех
 ех
 ех!..
Комарики
 мухи
 комары...

Кованым сапогом выбил Ерощка яму в земляном полу и, за-дыхаясь, свалился в ту яму.

Хмельные крики, бешеный хохот:

— Твой верх, Ерощка!

— Твоя победка!

— Остынь, упарился.

Плескали на победителя вино ковшами.

Ярмак молча сидел в переднем углу и крутил перевитый первой сединою ус. Чадили светильные плошки с жиром, в оконных прорубах зеленели плахи льдин.

Вошел караульный голова Тимоха Догоняй и крикнул от порога:

— Какие-то приехали, поклонных соболей привезли. Пускать ли?

— Где они? — спросил атаман.

— У городских ворот дожидаются.

— Зови давай!

С реки Немнянки — казаки окрестили ее Демьянкой — пришел с подарками старый остяцкий князь Бояр. Заодно с ним из-за Яскалбинских болот пришел вогульский князь Ишбердей, и с реки Суклемы князец Суклем пригнал большой обоз со съестными припасами. Пришли с покором да с богатой данью старшины прииртышских татар, что от страху жилища свои покинули и с семьями удалились было в недолазные места.

Казаки были выстроены по улице в два ряда. Атаманы, чтобы грознее показаться, вышли встречать переметов, облачась во всю воинскую сбрую. Караульный голова вел князцов и старшин к съезжей избе, казаки палили из пищалей. Сибирцы от испуга падали ниц, ползли, поднимались и, оглушенные громом пушканов, опять падали.

Оробевшие сибирцы, растерянно улыбаясь и кланяясь, проходили в избу, рассаживались по лавкам, стараясь по привычке занять как можно меньше места.

Были вызваны толмачи вогульского и остяцкого языка. Разговаривать по-татарски казаки и сами знали.

Перелёты здоровали Ярмака на сибирском царстве и наперебой делились вестями:

— Кучум живет в Ишимских степях в юртах у князя Елыгая... Совсем дряхл стал, отпаивают его кровью козлят.

— Говорит Кучум: лучше быть пастухом у своего народа, чем султаном у чужого.

— Нарымцы бедуют, голодом поморили собак и сами которые кончаются...

— У барабинцев буран угнал в Бухару табун коней в десять тысяч голов.

— На зимнем торгу в Тюмени шаман Алейка подбросил шапку, она обратилась в сороку и улетела. Не знает ли русский поп, к чему бы такое?

— Мурза Бабасан женился на дочери князя Каскара. На свадьбе перед всеми гостями Бабасан похвалялся: «Пошлю-де по весне Ярмаку дань — сто вьючных верблюдов — в каждом вьюке кошомном спрячу по четыре воина. Пусть казаки караван в город, мои люди из вьюков выскочат и всех порежут».

— Князец Самар ездил недавно в гости в Туртасское городище и дорогою на всех станках хвастался: «С немногими-де

воинами приеду в Искер торговать, заночую, ночью-де зажгу базарные лавки, а тут и орда моя к городу подступит».

И много еще чего порассказали переметы.

— А ты чего молчишь? — обратился Ярмак к старому князю Бояру.

Тот ответил:

— Храбрый царь храбрых казаков, бог дал нам два уха, два глаза и один язык, чтобы мы больше слушали и смотрели, а говорили бы меньше.

Ярмак усмехнулся и погрозил ему:

— Хитри, хитроныр, да не перехитри... Я скор на руку.

Бояр понял слова атамана как похвалу своей хитрости и осклабился.

А Ишбердей держал в вытянутых руках казачью пищаль и дрожал, ровно таловый куст.

— Не бойся, — ободряли его казаки, — у ней зубов нет, не укусит.

— Не боюсь.

— А чего трясешься?

— То из меня старый страх выходит.

Рассмеялись смеяри, покатались хахачи.

Ишбердей хотел заглянуть в норку дула, чтоб увидеть при- таившуюся там смерть, но на это у него не хватило решимости. Отдал пищаль и вздохнул.

— Встречу русский след на дороге — не ступлю на след, обойду далеко стороною.

Князь Суклем, опьянев от одного ковша горячей араки, валялся у порога и плакал:

— Руки мои расплелись, ноги как вода... Сплю... Со всех сторон сплю... Придет весна — люди покочуют на протоки и в озера за рыбой и птицей, а я буду спать пьяный, пьяный...

Заржали ржуны, подхватили смеюны:

— Пей, до весны проспийся.

Вот — приблизительно, разумеется, — уставная речь Ярмака:

— Бóльшая наша забота — басурманов довоевать: упорных и дерзких отогнать подальше, смирных всяко настрашвать, а потом ласку свою оказать да к шерти привести, чтоб быть им под русской рукою вовеки, пока изволит бог земле Сибирской стоять, и чтобы ясак нам давали из года в год беспереводно... Пелымцы нам ясака не дают и других к тому злу зовут... Гони, Никита, — обратился атаман к Пану, — на Пелым-реку, промышленяй против князца Аблая. Ухитрись приманить Аблая да сына его старшего Тагая, да племянников и внучат и лучших людей его, которые самые ерепенистые, а приманив — убей. Именье его — соболей и лисиц черных ко мне вези, а белку, лис красных и оленьи выпорки раздувань меж своими казаками. Черным же людям мою милость скажи, приласкай и вели ясак платить сполна, да скажи, чтоб жили по-прежнему, по старине в своих

юртах. Старшин подарками одари, какими будет пригоже. Кто воровал — князь и подручники его, — над теми по тому и стало, а на простых людей моей грозы нет и впредь не будет, коли они из послушанья не выйдут. Где город попадетсЯ крепкий — разоряй и жги, чтобы жили народы перед нами открыто.

— Гонял я на Пелым-реку, — угрюмо глянул на атамана Никита Пан и почесал лупленный, обмороженный нос, — сила не берет, ватага у меня малая.

— Еще сгоняй... А коли скоро улусов князца Аблая мне не повоюешь, то велью тебе с твоими людьми увоевать еще и Кайларскую волость, да вам же от меня быть в немилости. Своим казакам скажи, чтоб в поход выступали безо всякого послушанья, не мешкая ни часу, да своим бы непослушаньем сами на себя моего гнева не воздвигали. За вожа пошлю с вами вот этого молчалиника, — ткнул атаман в храпевшего на лавке Бояра. — Коли почнет лукавить и душой кривить — секи на месте, да не оскользнет твоя шашка на его седой голове.

— Добре, атаман.

— А еще — город думаю крепить. Стены от ветхости понизу огнили, порасшатались, башни надо новые возводить... Приищи ты мне, Никита, плотников среди пелымцев. Присылай в город с трех луков по человеку, с топорами и своим харчом. Коли опять вернешься с таким — на берег из струга помочиться не выпущу и опять к пелымцам погоню.

Никита Пан крякнул, нахлобучил волчью шапку и пошел из съезжей избы вон.

— Другая наша забота, — продолжал Ярмак, — сытыми быть. По Иртышу и на озерах рыбные промысла завести, сушильни и амбары выстроить, погребов нарыть для хранения съестного запаса, сыроварню и пивоварню сделать, на Ямашском озере соляной завод устроить... Ты, Мещеряк, немедля снаряди обоз и скачи до Елышевских юрт и, приехав туда, пересчитай народ по головам, построй кузницу добрую, вели Якуньке Светозару выковать несколько железных сох и борон. А по весне, как сойдет снега, высмотри пашенные места, можно ли пахать и какова земля. Раздай сохи татарам, сними с них ясаки и посади на пашню, чтоб было нам от них во всяк год хлебное пропитание... Пресеки надежду татар на Кучума, да живут под нашей рукою без оглядки... Ведомо мне, что туринцы и барабинцы ведут меж собою частые войны: сильнейшие бессильных утесняют и бессильные сильнейших кусают. Войнам и сварам тем помешки не чини, а сам старайся, где доведется, сравить князька с князьком и мурзу с мурзою: еше волк волка, а последнего как-нибудь осилим. Искореняй неслухов без остатка и аманатов (заложников) у них бери, пускай выкупают. А которые верны и прямы и ясаки платят исправно, с теми дружбу затверди и всяко приручай, — пускай приходят ко мне в город и про Кучума всякие

вести сказывают: тех буду поить-кормить, подарки дам, из города отпущу не задерживая, когда похотят...

— Сделаю, атаман, как велишь,— сказал Мещеряк и низко поклонился.

Ярмак заговорил по-татарски, обращаясь к мурзе Сабанак:

— Прибегал вчера в город из твоей волости новокрещеный татарин Данилка и жаловался: «Я-де вашей, русской, веры, получил от попа сапоги и кафтан, а татары меня в свой улус не пускают и грозят убить». Унял бы ты, Сабанак, буянов своих.

— Яraryнды. (Ладно.)

— Слыхал я, в твоей волости охотники добры и скота много?

— Охотники плохи, скота вовсе мало... Утонуть мне в сухом месте, пусть дохлая ворона выклюет мне глаза, если говорю неправду.

— Пошлю с тобой за ясаком двух казаков. Собери с женатого по кобыле с жеребенком, да по четыре барана, да по десятку соболей, а с холостого — вполы.

— Зверя протужи прежнего стало меньше,— вздохнул Сабанак,— и рыбы меньше, и скота убавилось. С трудом собрал то, что собрал и на твой двор привез, многие мои люди побиты, атаман, а иные сами померли. Коли вру — не встать мне с этой лавки.

— За прошлый год жители твоей волости недодали Кучуму шесть сороков соболей, да под десять тысяч шкурок беличьих, песцовых, бобровых и лисиц шубных. Того недодобранного ясаку тянуть с вас не стану, а за нынешнее платите сполна.

До крайности удивленный всезнайством Ярмака, мурза забормотал растерянно:

— Драл с нас Кучум-хан ясак и за старых, и за увечных, и за мертвых. Соболей бирывал с пупками и хвостами, лисиц с передними лапами, а мы те пупки, хвосты и лапы продаем торговым людям да с того сыты бываем... Коли ни во что ставишь мои слова, атаман,— рви мое дыхание.

Ярмак зачерпнул полную чашу пьяной араки и подал татарину:

— Пей... Служи мне и прями, за то и я тебя и всех твоих близких родичей от ясака освобожу. Корми моих казаков, что пошлю с тобой за сбором ясака, корми и береги, за то и я тебя беречь буду. А коли какую зацепку учинишь, или обидишь чем, или ясаку не соберешь сполна — и тебе, Сабанак, зло сотворю: пошлю на землю твою огонь да востру саблю гулять... В обратный путь посылай с казаками провожалыщников от стойбища к стойбищу, от стана к стану и от людей до людей.

— Яraryнды, атаман. Мое ухо, как капкан, что в него попадет, то не вырвется.

Ярмак взглянул на Ивана Кольцо и снова заговорил:

— Ты, Иванушка, по первой воде плыви на Конду-реку, народы тамошние под свою шашку преклони и данью обяжи...

— Как велишь собирать батюшка? С души, с дымом или с лука?

— Собирай, как тебе рассудится, чтоб суме казачьей не было убыли, а земле бы тамошней тяжести не навесь и людей ясашных от нас не отогнать бы. Себе бери, да и жителям оставляй, чтоб с голоду не помирали. Князь Ишбердей жалуется на тебя. Ты-де с казаками напал на Большую Конду, юрты вогульские распустил, людей-де много у них побил до смерти да жен и дочерей ихних понасилничали. Тогда же вы утащили у него два венчика серебряных, завитцо золотое, цепочки золотые, чарку золоченую, полтыщи соболей и много бобров и лис чернобурых. А он-де ныне сам живет, по лесам бегаючи... От сего дня велю тебе, Иван, от зла и дурна удерживаться и брать ясак где жесточью, а где и ласкою.

— Ласкою невозможно, чтоб без недобору, — буркнул Кольцо и покосился на тарашившего глаза, захмелевшего Ишбердея, — не люди, а чистая скотина. Шляются, как шальные, с места на место, с реки на реку, с зимовья на зимовье, не сыщешь ни одного и ясака не возьмешь. Под Кандырбаем на жирах (станах), где они живали, ныне их уже нет. Люди кочевые, а не сидячие: где похотят, там и живут. А за Кондой, на болотах народ вовсе дикой: привезли ясак, пометали соболей и лис на реке на лед и откочевали. Нашелся из них один храбрый да и тот побоялся к нам в избу зайти — связки рухляди подавал нам в окно на шесте, и мы, чтоб не спугнуть его, из избы не вышли, и в окно ему отдарки пометали.

— Ласковое слово кости ломит, — повторил Ярмач. — Назови с собой двадцать казаков, которые были бы расторопны и не воры. Попа Семена прихвати, а то зажирел, бес, и глаз не видать. Вогулов и остяков крести, учи молитвам и в служилые люди верстай и жалованье сули да подарками одари. Скажи князьям и мурзам, чтоб переходили в нашу веру и коли похотят — пусть едут ко мне служить.

— Волков на собак в службу звать, — буркнул кто-то из угла.

— Еще наша забота, — продолжал Ярмач, — зеленый промысел завести, чтоб с порохом быть нам во все дни. Покличь, Мамыка, мастеров зеленого дела среди своих зипунников. Якуна Зуболомича за бока возьми: шатался он по многим царствам и должен то дело знать. А там, коли всемогий, в троице славимый бог поможет нам устроиться, зазывал на Дон и Волгу пошлем, пускай приходят с Руси в Сибирь жить и кормиться сбродники, сироты и голюшки понизовые... Немалое дело — соседей своих вызнать добрями и торговлишку прибыльную с ними завести. Свинец и серебро, чугуны и котлы, сукна и булаты — всего наменяем на рухлядь вдоволь. Настроичи-ка, Петрой Петрович, зазывную грамоту бухарским и хивинским купцам. Весна-де близка, приезжайте без опаски и торгуйте беспошлинно... А ты, Брязга, по первой воде плыви в низовья Иртыша и

на Обь-реку, да, смотря по тамошнему делу, на месте усторожливом городок сострой, откуда бы было способно следить за тамошнею торговлею и за приезжими купцами, и самоедам чтоб острашка была, а то живут они в удалении и руки нашей над собой не чуют. У купцов, кои приходят с Руси без пошлинных грамот, товаршки отнимай, а у коих грамоты есть, с тех выжимай сбор явочный, сбор поголовный, сбор амбарный да отъезжую деньгу.

Татарским мурзам и старшинам на прощанье Ярмак сказал: — Возвращайтесь в юрты свои и живите, как и прежде жили. Мне ясак платите и меня слушайте. Зла на русских не примысливайте и не делайте зла. За честь мою против всех недругов стойте крепко, а которые из вас похотят идти в православную веру — приму с радостью и от ясака на пять годов освобожу.

Князьям остяцким и вогульским на прощанье Ярмак сказал:

— И вы зла на русских не примысливайте и не творите никоторого лиха. Соберитесь в вольные ватаги да идите в глубь тундры и болот воевать непокорных. Бейте упрямцев без остатка, а жен их, детей и богатства себе возьмите и разделите меж своими народами. Служите мне и прямите, того завоеванного добра отнимать у вас не буду, а еще своего додам. Живите каждый на своем месте по своей воле, ясак верстайте смотря по людям, по животам и по промыслам...

Подарки атаман принял и всех перелетов, для приуки и прикорму, отдарками отдал, — прядки цветного бисера и оловянные перстни, огниво и удила конские, гребни медные и по отрезу сукнишка, по мешку пшена дал, — всех отпустил подобру-поздорову.

38

Степью, тундрой и тайгою скакали казаки на конях, гоняли на собаках и оленях, плавали реками и нигде не жили подолгу да скоро и сами во многом уподобились сибирцам: отвыкли от бани, в нужде ели падаль и кислую рыбу, пойманного зверя делили со псом, сыты были с ясака, ружья и сети.

Ни в какие работы казаки не вступали. Работали на них согнанные из разных мест народы: лес возили, крыли амбары и сушильни, траву косили, корчевали пни, расчищая место под пашню, тюрму состроили и тыном обнесли, вешили степные дороги, через грязные места мосты мостили, по таежным тропам затесывали на деревьях путевые знаки. За городом дымилась ямы гончаров и смолокуров. На протоке новая мельница ржала, как кобыла. На берегу лодкари строили лодки, бабы пластали и ветрили рыбу, подростки плели из конского волоса сети. Русский надглядчик, покуривая трубку, расхажи-

вал меж народов с плетью. От тех работ за одну лишь весну больше ста человек пустилось в бега, несколько истаяло с голоду, шестеро удавились.

Комаринная орда держала город в осаде. По улицам и дворам курились гнилушки, навоз, сосновые шишки. В избах и землянках — под нарами — дымилось едкое курево. Человек, конь, собака и всякая животиная, спасаясь от гнуса, лезли в дым и огонь. Горела тайга, пятная по ночам небо бликами далекого зарева. Гарью и гнилым туманом тянуло с болот. Казаков бил кашель, гнула и ломала лихорадка.

Поп Семен мрачный ходил по избам.

— Дело неспроста. Напущен на нас бесовский недуг. Новокрещеный татарин Иванка, что вчера приходил с красными лисичонками, сказывал: «Кондинский колдун Алейка ходит-де по юртам, ворожит и в бубен бьет, и шайтанов призывает, и тяжкие болезни на русских напускает, наговаривая на живую муху. На кого-де та заклятая муха сядет, тот почнет кричать и биться и скоро умирает».

— Молись, поп, Миколу-угоднику. Али он, милостивец, с ихними божишками не совладеет?

— Боги у них не сильны, а шайтаны сильны... Много шайтанов, не ведаю, от какого и чураться.

— Усерднее моли угодника. Он, батюшка, должен разобратся.

— День и ночь молю неотступно, шишку на лбу набил... А вы бы, ребятушки, съездил кто на розыски того грехопута... Ныне он, слышно, в табаринских улусах шастает.

Атаман Мещеряк набрал несколько казаков и быстро снаряжился в путь. Зашел к попу Семену:

— Благослови, батя, поплыву шайтанщика Алейку промышлять.

— Со господом.— Поп благословил тех доброхотов и стал про дорогу в Табары рассказывать: — Минуешь Медвежий лог и будет тут тебе горелое место, за горелым местом — лес, за лесом — болото, за болотом — вогульский поселок. Ночевать остановись у кривого старика, дочка у него есть, чумазая такая, хохотушка, нос с хрящинкой, ах резва девка!

— А ты, батя, откуда ту девку знаешь? — спросил атаман.

— Так я ж с ней две ночки переспал, когда кондинцев крестить ездил, еще кольцо медное ей подарил.— Он упер руки в боки и залился охальным смехом.

Мещеряк с казаками немало полазил по Табаринским местам, но колдуна того все-таки уловил и на цепи привел в город. Стали его пытать. С пытки Алейка сказал: «Я-де шаманить шаманю, а против ваших богов бессилен. Напустили-де на вас хворь чулымские татары». Ответом тем казаки не удовольствовались и стали избивать шайтанщика нещадным боем, а поп Семен дал

ему понохать хрен: от омерзения Алейка взвизгнул по-конски и умер.

Иван Кольцо плавал вниз по Иртышу к Рачеву городищу, где обретался главный остяцкий идол Рача. По весне к нему собирались народы и жгли перед ним жертвы. Едва казаки к тому месту приблизились, остяки с лучным и копейным боем к стругам приступили, но казачьим счастьем были отбиты, отбежали в тайгу и болвана с собой уволокли. Проплыл Иван Кольцо Цингальские юрты, Нарымский городок, где жилища находил, тут всех жителей склонял к шерти и брал с кого чего сколько доведется. Пошарпал Колпуховскую волость, осадил Самарово городище — тут застрелил князя Самара и поставил на его место покорного князя Алачея.

На озере Абалацком ловили казаки рыбу, ночью Маметкул напал на сонных и вырезал двадцать голов. Ярмач, разъярясь сердцем, кинулся с дружиною в погоню за татарами, которых настиг, тех и побил, а Маметкул опять улизнул.

Семибратов и Петрой Петрович повезли в Бухару зазывные грамоты, чтоб приезжали купцы бухарские в Сибирь торговать. В Ишимских степях хан Кучум перехватил посланцев и казнил, грамоты сжег.

Сотник Бусыга погнал на собаках в тундру. В пути на казачий обоз напала орда не виданных дотоле белых волков, которые подушили и растаскали собак, — казаки остались в снежной пустыне пеши. Многие поотмораживали носы, руки и ноги, пока добрались до самоедского становища.

По доносу прикормленного мурзы Басандая казаки скараулили Маметкула на реке Вагае, уланы его с утешением побили, а самого пленили и поставили пред грозные очи Ярмача: рыская вокруг города, много тот ханов племянник пакости причинил.

Встреча, можно думать, была такою:

— Попался, который кусался? — спросил атаман, разглядывая храброго.

— Убегу.

— Куда бежать?.. Сибирь стала русской.

— Подыму народы; Сибирь будет моею.

— Народы я примучил, не подымутся на твой призыв.

— Камень долго мокнет в воде, а вынь камень, ударь о камень — искра будет.

Ярмач усмехнулся и похлопал по граненым стволам пистолета.

Маметкул стал похваляться сибирскими клинками.

— Моя шашка против твоей не солжет, — сказал Ярмач и, подкинув золотую монетку, на лету рассек ее пополам.

Есаул принес пленнику его шашку. Глаза татарина блеснули. Засучив рукав бешмета и подбросив яблоко, на лету разрубил его пополам да, не дав распасться половинкам, успел еще раз секануть: яблоко было рассечено на четыре ровные дольки.

Ярмак велел принести волос из конского хвоста. Волосом тем он туго опоясал гладкую доску да — рубанув сплеча — развалил волос впродоль надвое.

Маметкул взял тот же волос и несколько раз пытался повесить его на лезвие своей шашки: волос распадался, точно от прикосновения к огню.

Вышли из избы во двор, стали испытывать клинки на прочность.

Ярмак рубанул в полсилы — снес быку голову.

Маметкул взял шашку атамана да своей шашкой истрогал ее, как лучину, бросил под ноги атамана рукоятку и, визгнув, одним ударом свалил головы двум стоящим у него под рукой казакам и кинулся бежать. Пуля атамана догнала — татарин повис на кольях изгороди. Вылечили, заковали в железа и отправили в Москву. Там умягчили жестокосердого: Маметкул до конца дней своих служил царю русскому в русском войске, в 1590 году ходил в шведский поход, а позднее, уже при Борисе Годунове, воевал с крымскими татарами.

Сотник Артюшка Кибирь уплыл на двух стругах в низовья Оби проводить морские пути. Вешние воды и ветры вынесли казаков в океан, и они погибли во льдах.

Богдан Брызга плывал вниз по Иртышу, в подданство привел и в ясак положил волости: Назымскую, Немнянскую, Арямзянскую, Нащинскую, Карбинскую, Увацкую да Туртасское городище. Жадность увела Брызгу далеко от реки, много добыли, но на обратном пути заплутались в болотах, съели собак, голенища, ремни, голицы, бросили все доброе и прибрели в город наги и босы, изъеденные комарами.

Охотники одного селения от стара до мала ушли в тайгу на промысел, оставив домовничать одних баб и стариков. Нагрянули сборщики ясака — Головин и с ним еще пятеро. Поджидая добытчиков, казаки привезенное с собой вино пили, вином тем девок поили да голых выгоняли из чумов, всяко над ними тешились и великое чинили похабство. Одна тайком вышла на тропу, слепила из снега чучело, воткнула в сердце чучела нож и так оставила. Возвращающиеся охотники наткнулись на чучело, сообразили в чем дело, подкрались к своим жилищам и порубили пьяных казаков да пометали их в болото.

Атаман Михайлов с дружиною плывал вверх по Иртышу, воевал Кудрацкую и Салынскую волости. Татары, сколько им свой бог помощи подал, отбивались, но русские одолели и за упорство многих побили и сколько хотелось — пограбили. Спустя некое время в те же места пришел Кучум-хан с уланами и в отмщение того, что его единовверцы поддались казакам, остальных добил и дограбил и сакли разметал. Волости Курдацкая и Салынская стали пусты.

И сам Ярмак плывал на Тавду-реку, воевал Лабутинский городок. Три дня крутились казаки около того городка и не

могли взять. Есаул Осташка Лаврентьев навязал на веревку железный крюк и притулился под крепостной стеною, а казаки принялись мяукать, свистать и гайкать. Простодушные вогулы, дивясь, высыпали на стену. Осташка метнул крюк и сдернул одного.

Язык с пытки сказал:

— Бог у нас хорош, оттого и сильны.

— Где взяли хорошего?

— Старый, батюшка. Литой из золота, глаза сделаны из зеленого камня, сидит в чане с водой. Шаманы поят той водой воинов, оттого и сильны. Уходите к себе, не взять вам нашего города.

— Возьму,— сказал Ярмак, и, переодевшись в лохмотья пленника, ушел в ночь, а перед светом вернулся на стан и вытряхнул из кожаного мешка золотого, с большой кулак, болвана.

Кинулись на приступ.

Вогулы скакали через стены и утекали. Сотворилась злая сеча в том городке. Жены и дети, от испуга омертвев, выли и путались между дерущимися. Городок сожгли, князца Лабуту удавили и поплыли дальше.

Повоевал Ярмак Кошуки, Кандырбай и Табары, всю тамошнюю землю в страх привел и в ясак положил. После того сплавал атаман на Обь, жилища тамошние пошарпал и жителей в ясак положил. Тамошние остяки по своему обыкновению весною откочевывают с реки на озера и сторонние лиманы, находя там от мечущих икру рыб лучшее пропитание, а в комариное летнее время уходят остяки со всеми животами и стадами своими к берегам Ледовитого океана, куда гнус следовать за ними не смеет. Ярмак же, не ведая тех обычаев, проплыл по Оби несколько сот верст, не встречая живой души, и, с горечью уверившись, что земля та проста, вернулся к себе в город.

Следом за дружинами ездил поп Семен и крестил сибирцев.

Далеко по тайге и тундре редкой цепью рассыпались ясашные городки — одна-две избы и амбарушка, обнесенные тыном. Сюда два раза в году народы свозили ясаки.

Голод и моровые поветрия, как дрожь, пробегали по стране. Там и сям вспыхивали восстания, но сибирцы не умели брать ясашных городков; к тому же, испытав на себе действие огнестрельного оружия, они боялись подходить близко к укреплению и, издали пометав стрелы, разбегались.

Надеялись, что злобе казачьей настанет конец.

Степь еще кое-как держалась, но тундре и приречным становищам приходилось туго. Стада поредели, а то и вовсе рассыпались, огни очагов потухли, жилища замело снегом.

Обнищавшие остячки князю с семьями бродили меж уцелевших чумов и кормились милостынею. Иные, забрав богатства, бежали в Югру, Мангазею — к низовьям Лены и Енисея. Иные

шли на службу к русским атаманам и за грошковые подарки променивали сытость и волю своего племени.

За реки Чапур-яган и Сосву, в недолазные болота уходили вогулы, чтобы разучиться пахать землю, забыть рудное и кузнечное дело, чтобы замутить свой язык чужими наречиями.

Сильные охотники были побиты или бродили в одиночестве, — сумы их болтались пусты, не хватало силы промыслить зверя и птицу.

Угасла и храбрость сибирских народов, лишь в сказках да былинах до наших дней мерцают отсветы былой славы, — так на протяжении многих веков песнь собирала под свое крыло богатырей.

39

Лежала зима широка́, глубока́.

Ярмак сказал в печали:

— Сибирь пуста... Думайте, что будем делать? Хлебные амбары пусты... Думайте, чем будем свои головы кормить? Чувалы зеленые пусты, вовсе мало осталось ружейного припасу... Думайте, как будем воевать.

Молчали подручники, собираясь с мыслями.

А Ярмак:

— Не кажется сибирцам под казачьей рукой жить — бегут в Мангазею, утекают на Алтай и в Семиречье. И сами мы, товариство, остались в малой силе: иные побиты, иные сбежали, которые от болезней и чародейства басурманского примерли. Не досидеться бы нам тут до того, чтоб звери хищные пожрали оставшихся.

Подручники переглянулись и — понесли:

— Сибирцы — они хитрые.

— Мало мы их били.

— Ты, Никита, готов ордынцев живьем глотать да той своей жесточью многих и отпугнул.

— Заткни глотку, дуросвят!

— К делу!

— К делу, братья!

— Мало уцелело казачьей силы.

— Да, русские люди сюда надобны.

— А наши зазывалы?

— Посланы зазывалы на Дон и Волгу. Вторую зиму от них ни слуху ни духу.

— Сбежали.

— И придут сюда голюшки понизовые — проку от них мало, только разве веселее будет.

— О-ох!

— Не миновать нам, светы атаманы, идти к царю с поко-

ром — корму просить, зелейного припасу просить, людей в Сибирь просить...

— Удумал, голова трухлявая! Придут воеводы на наших костях пировать, будут тут сидеть да бороды отращивать. Не горько ль?

— Горько, дед Саркел, горько!

— На кляпа нам царь сдался?

— Нечего молиться богу, кой не милует.

— Под обух бы его со всеми причандалами!

— Уймись, горлохваты! Не поносите царя православного! Плох ли он, хорош ли, а одной он с нами веры и одной земли.

— Не бывал ты, борода козлиная, в пытошной башне, а то иное бы заблеял.

— Будя шуметь. К делу!

— Какое!

— Отойдем в отход на Волгу да там как-нибудь свой век изживем.

— А Сибирь бросать?

— Провались она!

— Э-э, нет, братику! Такими кусками прошвыряешься.

— Не нам, так нашим потомцам пригодится. Что добыто саблей, то наше.

— Наше!

— Сибирь бросать жалко. Сколько мы тут своей крови уронили!

— Было б нам, Микитка, загодя на Волгу сбежать...

Не день и не два судили-рядили гулебщики да, сложившись разумом, и не без стона порешили — слать в Москву поклонных соболей.

Разбросили атаманы жеребья, пал жребий на Ивана Кольцо и Мамыку.

— А чего я? — мычал Мамыка. — Как оно там, на Москве?.. Ох-ох, не манит ворону в царские хоромы.

— Не тужи, Мамыка, — потрянул кудлами Иван Кольцо, — хватит размыслу и с царем поговорить. Кафтаны на нас серые, да умы бархатные. Вернемся живы — встретят нас товарищи с честью. Сгинем...

— Ну, якар мар, сгинете, — засмеялся Ярмак, — придем на вашу могилу, наворотим по куче да репку споем... Так и скажите ему: «Мы, донские и волские казаки, бьем тебе, государь, царством сибирским». Да кланяйтесь почаще, — он, батюшка, покор непокорных любит.

Сборы были коротки: снарядили атаманы собачий да олений обоз, припасу дорожного взяли, навязали воз поклонных соболей, прихватил Иван для чину трех казаков.

— Путь-дорога, братцы!

Ишбердей взмахнул погоняльным шестом и гикнул:

— Эй-ла!

Оленей и собак ровно ветром сорвало и унесло. Провожальщики не успели глазом моргнуть — обоз скрылся из виду.

Кутила зима

вьюга мела

и в глаза несла...

Гонимые по насту снега текли-плескались, как вода. Взыгрывали снежные козлы.

Собаки на скаку хватали горячими языками снег. Олени бежали спорой рысью, валил от оленей пар. Непокрытая голова Ишбердея была запорошена снежной пылью.

— Эй-ла!

Он проводил казаков за Камень, до русских мест, и тут отстал. Дальше погнали на лошадях, в широких розвальнях.

Передом, накатывая дорогу, скакали пять порожних троек. Ехали борзо.

Ямщики, на морозе калёные, подъезжая к яму, свистали — да так, что от того свисту у казаков ровно дыру в ухе вертело. На свист другие ямщики выводили свежих лошадей.

Похлебают посылы щец, набьют брюхо кашею и — шарила!

Дорога полем, дорога лесом, ухаб, овраг, болото, холм, и по холму голый кустарник, как волчья щетина. Спали заметенные снегами древние деревни, — над снегами где-где торчал клок гнилой соломы, закопченная избяная труба. Луна топила мгlistые поля, над черными лесами горели холодные звезды.

Просторы... В просторах тонул глаз, радовалось сердце, напоенное, накормленное просторами. Сдобно пахло конским потом да теплыми конскими говьями. За обозом гнались волчьи орды, по снегу летели косые волчьи тени. Казаки громили волков из взятой на дорогу пушки.

Большая московская дорога, как река, несла людей конных, людей пеших, торговые караваны. С севера тянулись обозы с рыбой, льном и кожами. За возами шагали рослые мужики с бородами, обледенелыми будто банные веники. Обозы обгонял обитый медью и выложенный костью щегольской возок купчика-скупщика. На раскормленных монастырских битюгах плелись краснорожие монахи-сборщики. Звеня веригами, шли и ползли юродивые, храбро открыв голые груди навстречу вьюгам и морозам. Боярин с семьею пробирался на богомолье в санях столь просторных, что в них впятером можно было лечь и спать. От города к городу гнали скороходы. С Руси брели калеченные ратники, нищие, бездомки да работные люди тверских, вологодских и владимирских земель.

Москва блеснула жестяными главами церквей.

Заставу миновали на рассвете.

В морозном инее дремала столица. Кривые улочки тонули в сугробах. Дворы были обнесены бревенчатым тыном, а то и плетнем. Подворам горланили овцы, раскалывались петухи, кто-то кого-то лаял последними словами. На перекрестках улиц, около ко-

лодцев, как галки, кричали молодухи, вокруг обледенелых колод табунились коровы и лошади. Светлый дым столбом качался над трубами. На папертях толклись, гудели нищие. Не спеша шли к церквям люди московские в шубах и охабнях, опоясанных кушаками низко, по самому заду. Кремлевская стена после татарского разорения все еще достраивалась: набережная Москвареки была завалена строевым лесом и бунтами каленого кирпича.

Разбежались у казаков глаза.

Зашли в часовню, поставили по свече и наскоро помолились. Тут же, рядом завернули в кабак. В кабаке нестерпимый жар, вонь, разило чесноком, кислым хлебом и горелым луком. Для храбрости — выпили. Иван Кольцо поучал товарищей:

— Будет царь о чем спрашивать, ворчи чего-нибудь про себя, мычи, но голосу не подавай. Брякните словцо некстати — государю обида, а мне — кнут.

Кабатчик провожал казаков, коих он принял за купцов, до возка и низко кланялся.

Ямщик разобрал вожжи.

— Э-э, залетные!

С простоты да по незнанию, всем обозом подкатили прямо к высокому резному крыльцу царевых хором, что считалось нарушением чести государева двора.

Иван Кольцо распорядился:

— Кашляй! Сморкайся!

С треском высморкались, обили смушковые, татарской валки, валенки и полезли на крыльцо.

В дверях показался голова стрелецкий и крикнул:

— Шапки!

Переглянулись и неторопливо стащили шапки.

— Куда?

— К царю.

— Отколь вы и кто?

— Сибирской земли послы.

В полутемных сенях топтался караул стрелецкий, человек с двенадцать, все вороной масти и в ладных малинового сукна кафтанах.

Из щели узкой двери высунулась лисья морда думного дьяка.

— Кто гамит?

— Казаки.

— Господи Исусе! Кого вам?

Наученный головой стрелецким, Иван Кольцо ответил уже по чину:

— До великого государя и царя Ивана Васильевича с добрыми вестями волские и донские казаки.

Дьяк еще раз оглядел их и скрылся, а голова попросил казаков снять оружие. Отдали пистолеты, чаканы, но шашки не снял

ни один. Заспорили. Егорка Поморец, колотя себя кулаком в грудь, так, что грудь гудела, стал кричать о сибирской славе. На шум из внутренних покоев вышел боярин и, снова обо всем казаков расспросив, успокоил и втолковал, что с оружием к царю никто не допускается, велел оставить шашки и провел в переднюю.

Государева Москва жила в горе. Последние проигранные войны вконец разорили казну, пошатнулась торговля,— большинство лавок в Китай-городе были заколочены досками, разорившиеся купцы сидели по тюрьмам или ударились в бег. Пожарами подняло Яузскую и Замоскворецкую слободки, одичавшие собаки бродили по пожарищам, выискивая и пожирая горелую падаль и человечину. Народ, спасаясь от голодной смерти, расползлся и разбежался из Москвы на все стороны. Казаки с сибирскими вестями приехали к стати.

За обедом повеселевший царь подробно о делах сибирских выспрашивал да подливал гостям в кубки, а себе в чашу душистую ромашку.

— Были мы, государь, во всяких твоих службах и службишках — и в пешей, и в конной, и в лыжной, и в стружной, и в пушкарях при взятии Казани, и у строения городов, и у сбора ясака, и в толмачах, и в вожах, и у проведывания новых земель, и у подведения неверных под твою, царь, руку...

— Ведомо мне по всей истине, как вы, зло умысла и преступя многое крестное целование, купцов на Волге грабили, послов наших побивали, городки и острожки и черные слободки жгли, казну нашу всяко разоряли и множество православных христиан до сущих младенцев саблями секли и иные непотребства творили.

— Мы, государь, свою славу худую омыли кровью и службой своею. За нашу службишку и кровь, и радение, и за нынешний поезд пожалуй нас, государь...

— Бог с вами, прощаю! Все вины ваши покрываю своею милостью. Как, по велению божию, царство Сибирское вы забрали, пошло к вам воевод с войском, попов, иконы, книги и колокола и все церковное строение. Вы верую укрепитесь. Наша Христова, православная вера — всем верам вера. Служите мне содружно и будьте готовы ударить против недругов, непослушников и изменщиков, кои зломыслием своим оплели меня, как паутиною... Говорят: которая земля перестраивает обычаи свои, та земля недолго стоит.

— Постоим за царя и за веру крепко, будем биться до смерти с недругами твоими, непослушниками и изменщиками!

— За храбрость вашу спасибо. Суд божий есть, и честь царева суд любит. Вы б, атаманы и казаки, помня свое обещание за царя и веру стоять и прежнюю свою службу и страдание, и крови казачьей в Сибири разлитие,— то с моими воеводами жили бы дружно и заодно укреплялись бы против ордынцев, сколько все-

щедрый бог помощи подаст. На мою рать особенно не надейтесь,— нету у меня рати, всю растеряли глупые воеводы.

В глазу царском блеснула слеза. Уронив голову на грудь, он некое время молчал, потом снова заговорил:

— О рудах медных попечение имеем. Ввозим мы те руды из других государств, а у нас руд и своих много. Велел я Строгановым купцам приискать — они не нашли, а живут на дарованных землях, немалые прибыли от торговли получают, а о моем, государевом, деле не радеют. Чаю — Сибирь — край богатейший. Вы о тех землях прилежно проведайте и мне скажите. Строгановы таят выгодный торг для своей прибыли, выменивают соболя на жестяную пуговицу, земли у инородцев отнимают и от меня с Руси людей сманивают, сами хотят царями быть... Глядел рухлядь, привезенную вами,— добрые соболя, давно таких в руках не держивал. За подарки спасибо. Отдарками все отдарю и жалованьем пожалую, коли не станете заводить воровства да смуты. А чем будете скудны — одежей ли, обужей ли, боевыми ли припасами,— все дам, все дошлю и от себя Строгановым отпишу... Алексей! — позвал царь и постучал посохом в стену.

В дверях появился Адашев в монашеской скуфье, насунутой по самые брови.

— Алешенька,— обратился к своему наложнику царь,— вели казначеям отпустить на всю Ярмакову дружину жалованье за год. Казакам по пяти рублей на голову, есаулам и сотникам — по десяти рублей, атаманам — по полусотне. Пошлю сукна всем на штаны и на кафтаны. Подарю Ярмаку шубу свою да панцирь добрый, да саблю хоросанскую. Скажи дьяку Лукашке, чтоб отпустил атаману Ивану Кольцову два фунта ладану да сорок пудов пороху, вина церковного боченок, ящик свечек восковых да сто пудов свинцу. Сготовь подорожную грамоту: указываю пропустить казачьего атамана Ивана Кольцова с товарищи в Сибирскую землю, а ехать им на Вологду, Тотьму, Устюг. Посылать с ними от города до города провожатых по сколько пригоже, чтоб им было ехать от воров бесстрашно. И корм им и лошадей им давать, чтоб сытым быть и чтоб никакие нужды в дороге не терпели. В придорожных кабаках вином вволю поить. Воеводам острогов напиши особо: корму, лошадей и провожатых давать казакам тотчас, чтоб им ни в котором городе задержания и помешки не чинилось бы. Иди!

Адашев поклонился и вышел.

Царь — казакам:

— Сыскивайте по Сибири гулящих людей и верстайте их в ясачные, дабы ни избылых¹, ни прошатаев не было. Собирайте данье мехами, конями, златом и чем бог приведет. Народ сходен

¹ И з б ы л о й — беглый, неприписанный.

с бороною: чем больше стриги, тем гуще будет расти. Ясаки присылайте за крепкой охраною каждый год к благовещенью дню. Знаю, важивались за вами грешки самоохотные,—да кто старое помянет, тому глаз вон. Ныне службу свою прямую мне покажите. Подарю вам свой серебряный кубок, всегда из него пейте да меня помните. А коли станете мне челом бить, а сами учнете не по моему слову ходить или сызнова пуститесь в разбой, тогда и ласка моя будет не в ласку...

День случился постный. На обед были поданы щи кислые, блюдо квашеной капусты, каша с конопляным маслом да сушеные венгерские сливы.

Казак, отобедав у царя, пошел на радостях дообедывать в кабак.

Весть о покорении Сибири быстро распространилась по столице. В церквах — звон большой. Народ валил в Кремль поглядеть на послов. Купцы с ног сбились, рыская с хлебом-солью по всей Москве в поисках завоевателей.

А казак, как с крестом, шёл из кабака в кабак, везде зелено вино пили, денег ни грошика не давали да еще затевали с голюшками кабацкими драки. Так, стоял кабачишка на яру, над Яузой-рекой,—Мамыка разыгрался да столкнул тот кабак под яр вместе с горланящими песни пьяницами.

Немало победокурили гостыюшки пока гостили, а там поднялись и — шарила.

Дорога полем

дорога лесом

ухаб

раскат

овраг

болото...

Да и Русью ехали с великим боем и озорством. В одном сельце грабили, в другом спускали награбленное за полцены. Под Тотьмою подняли на ура вотчину худародного князца Кубасова да батогами вымучили из старика двести рублей. В Устюге застрелили решеточного сторожа, ямщикам прогонов нигде не даывали, да накидали полны сани девичьей красоты и веревками укрутили — мчали русскую красоту в Сибирь на племя.

Лай псов, лютая темень.

Ломились в ворота.

— Отпирай!

Тихо.

Высадили ворота, чаканами высекли дверь.

— Здорово, хозяин! Жарь поросю, щипли гуся!

Перед ними стоял полуодетый мужик с лучиною в дрожащей руке и угрюмо бурчал:

— Гуся, поросю... Сами на мякине сидим.

Мужика — плетью, мужик — за топор:

— Не балуй, казак!

По слободке бабьи визги, накрик. На колокольнице сполошный звон. К слободке, чая нивесть чего, со всей волости скакали верхами и в санях с топорами, вилами, дрекольем.

Казаки заперлись в избе и двое суток, пока было вино, сидели в осаде. Потом атаман вышел на крыльцо с бумагой в руках.
— Царев указ.

Мужики, что грелись у костров, стащили шапки и хмуро молчали.

Слободской поп вслух прочитал подорожную грамоту. Мужики в страхе разбежались. Однако сегоглавый слободской староста сказал атаману:

— Не дуруйте, православные, а то из лесов наших живыми вас не выпустим.

— А чего вы, старик, ни кабака, ни б... не держите?

— Живем по преданьям отцов и дедов.

Засвистали, поехали дальше.

И долго еще слобожане ахали, казаков вспоминаячи.

— Пятеро, а сколько от них грозы и страху приняли!

— Им, мил человек, тише ездить нельзя: Сибири громители.

— В чумной год народ такой лихости не видал. Слава богу что их пятеро, а не дружина целая, злее орды татарской.

Борзо гнали, а слух еще борзее летел: жители запирали дома, прятали девок, угоняли в леса скот, выставляли подводы, чтобы поскорее выпроводить незваных, непрощеных.

Во всех городках, слободках и деревнях, на пути стоящих, казаки вино и девичью красу пили да житишко сибирское хвалили, чего ради многогулящих и беглых людей увязалось за ними: бежали за казачьим караваном пеши, гнали на уворованных лошадах, иные шли по слуху.

.
.

40

Реками — по казачьему следу — приплыл князь Семен Болховской да привел с собой пять сотен стрельцов московских. Начал князь вводить в городе московские порядки и оттого при-тужания многие казаки пустились в разбег.

Мурза Карача прислал к Ярмаку гонца с прошением отправить к нему на помощь несколько казаков против киргиз-кайсацкой орды. Ярмак тому объявлению с радостью поверил и, говоря: «Через сего знатнейшего мурзу и прочие склонятся на русскую сторону», — отправил с нему Ивана Кольцо с полусотней. Карача присланных вероломно перебил. Яков Михайлов не поверил тому и с тридцатью казаками бросился на выручку друга. Татары и этих окружили да всех побиили.

Рассыльщики карачинские шныряли меж татарами, остяками, богулами и подговаривали их к всеобщему восстанию, потому-то и были равномерно перебиты казаки, разбросанные там и сям по сбору ясака.

По последнему мартовскому снегу расхрабrevший Карача и сам пришел под город с сильным войском и расположился во-круг города, обдернувшись обозами: долговременной голодной осадю он вознамерился принудить завоевателей к сдаче.

Так у русских все дороги были отняты, а земля пребывала в возмущении. Казаки и стрельцы поедали падаль, хомуты, трофейные щиты, лыко сосали, многие за зиму примерли бедной смертью, но оставшиеся в живых осаду выдержали и Карачу от города прогнали.

...Жили.

В город прискакал запыленный и оборванный лазутчик Чумшай.

— На твой зов, атаман, сюда идет бухарский караван с товарами. Кучум-хан держит бухарских купцов на рубеже Ишимских степей и в Сибирь не пускает.

Ярмак давно искал встречи с ханом.

Набрал полусотню казаков и скорым делом поплыл вверх по Иртышу.

Жители близлежащих становищ были в совершенной покорности и по пути следования казаков, по своему обычаю, резали баранов, раскидывая тушку баранью на одну сторону дороги, голову — на другую. Однако чем дальше удалялись завоеватели от своего логова, тем все чаще и чаще натыкались на косые взгляды.

Первый бой приняли у бегишевых юрт. Татары защищали свои жилища с большой отвагой, по поводу чего старописец с душевной простотою замечает: «Казаки так на неприятелей огорчились, что ни одного человека, который им в руки попал, живым не пускали, и весьма малое число было тех, которые бегством спасли живот свой».

Повоевали и разорили Шамшу, Рянчик, Залу, Каурдак, Тебенду объясачили.

Долго гоняли по степи кочевников, многие другие городки и юрты погромили, но нигде ни хана Кучума, ни каравана бухарского не нашли, — смекнули, что дались обману, и повернули назад.

Плыли в тихие ночи, когда на еле колеблемой ходом стругов воде плясала звезда; плыли и в ветер, когда подымалась на Иртыше вся щетина.

Татарин крался берегом — по траве, по кустам — в правой руке шашка, в левой, поднятой до уровня груди, травы пук, скрывающий загорелое до черноты лицо и волчий блеск глаз.

Плыли.

Бежал Иртыш, храпя и прядая как конь.

Бушевала такая темень, что под веслом и воды было не видно, будто обнялись и выли над Сибирью разом сорок ночей.

— Пора и на стан, атаман... Третью ночь не спим.

Слипались словно песком засоренные глаза, кости просили отдыха.

Ярмак повернул свою каторгу к берегу.

Заночевали на острове близ горы Атбаш.

Лаял ветер

лес стонал и трещал

темнота ночи была умножена

дождем.

Знали татары брод к тому острову.

— Ара, джамагат.

— Ара, ара...

— Аллага...

Скользя по размокшему берегу, полезли в воду.

И вот, в самый развал сна, пролился на спящих ливень клинков.

Ярмак воспрянул, когда уже больше половины людей было посечено.

— По стругам! — загремел его голос.

Работая шашкой, атаман кинулся к воде, но татары, чтоб отрезать казакам надежду на спасение бегством, заранее ссунули с берега пустые лодки, и они, подхваченные быстрым течением и ветром, исчезли во тьме.

(Панцирь Ярмака — царя подарок — бит в пять колец мудро, длиною в два аршина, в плечах с четвертью аршин, на груди и меж крылец печати царские — золотые орлы, по подолю и рукавам опушка медная на три вершка.)

Прижатые к берегу казаки рубились и отстреливались, сколько силы хватало.

Падали

гибли.

Ярмак отбивался, пока не перелетела шашка, ударившись о татарское копьё.

С крутояра бросился в разливы... Тяжкий панцирь увлек атамана в пучину, волны шумя сомкнулись над его непокрытой головой...

...Неприветлива ты, чужая сторонка, нерадошна.

Дурыня, удалой казак! Не твои ли очи песком засыпаны? И не твой ли последний вздох ветер развеял по степи?

Не твое ль тело, Якаш, поделили меж собой хищный зверь и хищная птица?

Не слышно было больше и песен Якуньки Дедухина — с кровью изошла его жизнь.

Чапура, ясмён сокол! Не твое ль тело моет вода, не твои ль кудри завивает волна?

И ты, Заруба, отгулял, отбуянил — смирнехонько лежишь в долбленной колоде. Над твоей могилой вьюга завивает пушистые венки...

Не тебя ль, Табунец, аркан кочевника увлек в далекую Бухару? Не твою ль бычью шею гнетет колодка и не ты ль, в земляной тюрьме сидючи, в косматую грудь крест заростил и не ты ль гложешь сухую корку, кропя ее своей слезою?

Кряж мерзлой земли лег на грудь охотника Яха. Могучие руки его, что раздирали пасть медведя, закоченели.

Мамыка и Сенька Драный, Черкиз и Рамоденков, повздорив с воеводою московским, ушли на восход солнца и следы их замыла вода, замела пурга...

Ценный зверь уходил все дальше и глубже в тайгу, в тундру и в степь. По следам зверя, неся тамошним народцам гибель, шел русский промысленник и добытчик: ни болота, ни таежные заломы, ни лютые морозы не держали его.

Следом за казачьей саблей катилась деньга купецкая, за деньгой — топор, соха и крест.

С Руси на многих стругах плыла в Сибирь московская рать воеводы Васьки Сукина, да Ивана Мясного, да письменного голы Данилы Чулкова.

За ратью, на привольное житье украин, двигалась с семьями и скарбом голодная мужичья орава.

Пеши шли

конны шли

лодками греблись

телеги на себе везли

бродом брели

пльвом плыли...

Новоселы вымирали от гнилой воды, гибли от лихорадок и от шашек сибирцев, но все же на самом пороге Азии крепили свое владычество: горели леса, до облак взвивался багровый дым, горели травы, полыхала степь пожарами горькими, — то пришельцы расчищали место под пашню. Упорно стучали русские топоры, гремели песни, убогая соха подымала первую дикую борозду. И над неоглядными просторами на усторожливых местах — грозя сияющим крестом далеким аулам — вставляли городки и острожки, обкиданные боевыми завалами, рвами и терновником. Орда набегала сюда в вихрях пыли, в огне и реве и, разбившись под стенами русских укреплений, с воем откатывалась орда, оставляя за собой кровавый след. Брякал церковный колоколышка, вонь ладана мешалась с пороховой гарью...

КАК ДЕЛО БЫЛО

ЛЕТОПИСЬ СИБИРСКАЯ

(*Вольный пересказ*)

1

Вниде в слух благочестивому государю, царю и великому князю Ивану Васильевичу всея Руси, о частых приходах басурманских войною на его государскую землю Пермскую от сибирских людей и как безбожные своим приходом русским городам и посадам и селам многое пленение и запустение учиняют. И вложил бог благочестивому государю во ум расспросить своего государства вѣдущих людей про ту страну, и повелел царь-государь поставить перед собою промышленников и купцов Якова и Григория Строгановых и расспросил их, как бы оберечь Пермскую землю от нашествия сибирских людей и чем бы Кучуму салтану тесноту учинить. Они же царю все подробно рассказали, и слово их ему, государю, было приятно.

2

В лето 1558 года царь пожаловал Григория Аникиева сына Строганова ниже Великой Перми за восемьдесят и восемь верст, вниз по Каме по правую сторону устья Лысьевы—речки, а по левую сторону вниз Пызновской Курьи по обе стороны по Каме до Чусовой-реки — места пустые. Где избрет Григорий Стро-

ганов место крепко и усторожливо, тут ему и городок поставить, и крепость сгородить и пушкарей, и затинщиков, и пищальников, и воротников нанять для обереганья от сибирских и ногайских и иных орд. Ему, Григорию, повелено называть к себе вольно нетяглых и неписьменных людей.

3

В лето 1564 года царь Иван подарил Григорию же Аникиеву сыну земли на Орловском волоке. Велел Григорию поставить стены сажен по триста меж углами, а с приступной стороны по низу обрыть и камнем скаты выложить. Пищальников и сторожей в том городе поставить и держать наряд скорострельный: пушечки, и пищали, и затинные, и ручницы поделать записным мастерам, которых к себе приговорить из найма.

4

В лето 1568 Якову Аникиеву сыну Строганову пожалованы от устья Чусовой вверх по обе стороны и до вершины все земли и все речки, льющияся в Чусовую, до своих вершин. И повелено в тех местах, от Камы до Чусовой вверх на восемьдесят верст на правой и левой стороне поставить городки для обереганья от басурманских орд. Завести городовой наряд скорострельный, и всякие крепости поделать, и людей называть в те городки вольно.

5

В лето 1570, по цареву хотенью, поставил Яков Строганов острожки над Сылвой и над Яйвой реками на пути сибирских и ногайских людей для утеснения сылвенских и иренских татар, и остяков, и чусовских, и яйвинских, и ильвинских, и косьвинских вогулич.

6

В лето 1572 божьим поущением пришли на Каму черемисы, остяки, башкирцы и буинцы и около городков Канкора и Кергедана побили русских торговых людей восемьдесят семь человек. Яков и Григорий Строгановы напустили на азиятцев свою дружину и множество некрещеных было побито и множество в полон взято и к шерти приведено, чтобы впредь оброк царю русскому давать и во всем прямить и по все дни быть подручными.

В лето 1573, на Ильин день, из Сибирской земли с Тобола-реки приходил Кучумов сын, Маметкул, с мурзами и уланами на русскую сторону дороги проведывать. Да в этом приходе многих данных остяков побил, а жен их и детей в полон повел и посланника государева Третьяка Чебукова и с ним служилых татар, кои шли с ним в Казань служить, иных побил, а иных в полон взял. До Чусовских городков не дошел пять верст, побоялся и назад воротился. А Строгановы вдгон за Маметкулом рать свою послать не посмели, а писали обо всем царю. По разборе дела, без малого через год, из Москвы была прислана грамота, дарующая Строгановым земли за Югорским Камнем на Тахчеях и на Тоболе-реке, и на Иртыше, и на Оби, и на иных реках, где приглянется и пригодится острожки поделать и снаряд огненный завести, и у рыбных ловель и у пашен двory ставить, по обе стороны Тобола и по рекам иным, и по озерам крепиться всякими крепостями накрепко. А кои остяки и вогуличи и югричи от сибирского салтана отстанут и захотят быть под его, государевой, рукой, и почнут ему, государю, дань давать, — слать их с провожатыми в Москву, а жен их и детей и самих данников беречь от набегов сибирцев. На сибирского салтана посылать воевать доброхотов из своей дворни и остяков, и вогулич, и югрич, и самоедов, кои похотят. А станут приходить к Строгановым купцы бухарские и иных земель — торговать с ними вольно и беспошлинно.

8

В лето 1579 года прослышали Семен, Максим и Никита Строгановы о буйстве и храбрости поволских казаков и атаманов Ермака Тимофеева с товарищи, как они на Волге на перевозах ногайцев побивают и ардобазарцев грабят и побивают. Строгановы людей своих с писанием и с подарками послали к ним, дабы шли в Чусовские городки на спомогание. Тогда атаман Ермак Тимофеев с товарищи: Иван Кольцо, Яков Михайлов, Никита Пан, Матвей Мещеряк, а всего единомысленников пятьсот и сорок человек вскоре пошли на призыв Строгановых.

9

Того ж году, в день памяти чудотворцев и бессребреников Кира и Иоанна, приплыли казаки с Волги в Чусовские городки с радостью и на радость. Семен, Максим и Никита Строгановы приняли их с честью и дали им дары многи, и ествою и питиями их обильно наслаждали. Атаманы и казаки, рассыпавшись по городкам и острожкам, стояли против неверных агарян буйственно и немилостиво, а всего прожили у Строгановых два года и два месяца.

В лето 1581 злокозненный дьявол, иже искони ненавидящий добра человеческому роду, поощрил злого и безбожного вогульского мурзу Бегбелю со своим вогульским и остяцким собранием, — а собрания его шестьсот восемьдесят человек, — и пришли безвестно, украдом под Чусовские городки и под Сылвенский острожек и тут окрест живущие села и деревни попленили и пожгли и в полон многих людей — мужей и жен и детей — поймали, но преблагий бог не попустил окаянных превозноситься. Вскоре над ними, безбожными, русские победу одержали и многих поймали и по тем вестям на переходах и перелазах многих побили, а иных переловили, и мурзу Бегбелю взяли жива. И они, видя свое изнеможение, царю московскому вину свою принесли и добились челом, что быть им под данью царевой и на русскую землю впредь лиха не мыслить и войною не ходить.

В лето 1582, первого сентября, на память преподобного Симеона Столпника, послали Строгановы из городков своих на сибирского салтана волских атаманов и казаков и с ними проводили своих ратных людей: литовцев, немцев, татар и русских — предобрых воинов — триста человек и отпустили их с казаками заодно, и того их собрания учредилось восемьсот сорок человек, отпели молебен все милостивому, в троице славимому, богу и пречистой его богоматери, и всем небесным силам, и всем угодникам его, и удовольствовались их казною и одеянием украсили и оружием снабдили: пушками, пищальми скорострельными и запасами многими. Вожей дали и толмачей басурманского языка им дали. Казаки с приборными людьми пошли на сибирского салтана, чтобы очистить место для русского поселения и отогнать безбожного варвара. Шли по Чусовой вверх до устья Серебрянки и по Серебрянке шли до волоку и поставили тут Кокуй-городок. Тут, перезимовав, бросили тяжелые струги, а легкие переволокли на речку Жаровлю и поплыли вниз и вышли на Туру-реку: ту бе и сибирская сторона.

В те же времена злочестивый и безбожный князь пельмский ярости многой наполнился и паки зверострашием объят бысть, и умысли злострашное коварство в сердце своем и начат лещь с лукавством шивати, и бысть ему, безбожному, ко своей погибели. Тогда он, злочестивый, собрал воинов семьсот и подозвал с собою буйственных и храбрых и сильных мурз и уланов со мно-

жеством воинов. Он же, по злой неволе, взял с собою сылвенских и косьвинских, и иренских, и обвинских татар, и остяков, и вогулич, и вотяков, и башкирцев множество. Пришел с воинством своим и яряся на Пермские городки и на Чердынь и те места попленил и пожег и к стенам града сурово и люто приближался и едва не взял. Но всемогий бог не допустил окаянных, и вскоре князь пельмский от того места пошел под Кай-городок и тут пакость учинил и оттоль окаянный пошел под Камское Усолье и тут села и посады пожег и людей попленил. Потом пришел под Канкор и под Кергедан городки, а оттоль пошел под Чусовские городки и под Сылвенский и Яйвинский острожки, и внезапно напал на Чусовские городки, и около ту живущих крестьян множество посекал и села и жилища пожег и немилостиво православных в полон погнал. Казаков же не было в ту пору в городках, а оставшиеся в городках люди от злого притужания татар едва смерть избежали, и то не силою своею, а божьей помощью, и оттоле многие скорби приняли от окаянных. Строгановы же с людьми своими, призвав в помощь всемилостивого, в троице славимого, бога и пречистую его богоматерь и всех угодников его, вышли из-за стен и мужественно устремились на врага, и многое множество от обеих сторон пало, и неприятели пустились в невозвратное бегство. А Чердынский воевода Василий Перепелицын пожаловался в Москву на Строгановых, что они-де ему не помогали.

13

В лето 1582, шестнадцатого ноября, за черною восковою печатью была получена Строгановыми царева грамота.

«Писал к нам из Перми Василий Перепелицын, что послали вы из острожков своих волских атаманов и казаков воевать вотяков и вогулич, и татар, и пельмские, и сибирские места. В то же время пельмский князь пришел войною на наши пермские места и к городку Чердыню и к острогам приступал, наших людей побил, многие убытки нашим людям учинил. И то сделалось вашим воровством и вашей изменою: вы вогулич, и вотяков, и пельмцев от нашего жалованья отвели, и их задирали, и войною на них приходили да тем задором с сибирским салтаном ссорили нас. А волских атаманов к себе призвав, воров наняли в свои остроги без нашего указа, а те атаманы с казаками прежде того ссорили нас с ногайской ордою, послов ногайских на Волге на перевозах побивали, и ардобазарцев грабили и побивали, и нашим людям многие грабежи и убытки чинили. Им, казакам, было б вины свои покрыть тем, чтобы нашу Пермскую землю оберегать, а они сделали с вами вместе по тому же, как на Волге чинили и воровали, и Перми ничем не пособили. Послали мы в Пермь воина Аничкова и велели казаков взять, отвести в Пермь и в Усолье Камское, и тут им стоять велели, разделясь. А не

вышлете из острогов своих волских казаков, атамана Ермака Тимофеевича с товарищи, будет положена на вас опала великая, а атаманов и казаков, которые слушали вас и вам служили, а нашу землю выдали, велим перевешать».

14

В лето 1582 года, в сентябре, в день памяти богоотца Иоакима и Анны, пришли в Сибирскую землю бесстрашные воины и многие татарские городки и улусы повоевали вниз по Туре и, дойдя до Тавды-реки, поймали татар. Один из них, по имени Таузак, царева двора поведал им все по ряду: про сибирских царей и князей, и мурз, и уланов, и про салтана Кучума. Казаки, увидавши от него о всем достоверно, отпустили его, да скажет Кучуму о пришествии, их мужестве и храбрости. От Таузака слышно бысть Кучуму: «Таковы русские сильны: когда стреляют из луков своих, тогда огонь пышет, дым великий исходит и громко голкнет — будто гром на небесах. Стрел тех исходящих не видно, но уязвляют они ранами смертельными, а уштитесь от них никакими ратными сбруями невозможно: кюяки, бегтерцы, пансыри и кольчуги наши — все пробивают навывлет». Услыша сие, Кучум опечалился и послал гонцов во всю свою державу, по всем городам и улусам, дабы к нему ехали на спомоганье против русских. В малое время собралось к нему множество воинов: князья, мурзы, уланы, татары, остяки и вогуличи и прочие подвластные ему языки.

15

Злочестивый же царь Кучум послал сына своего Маметкула со множеством воинов против нашельцев. Сам же Кучум повелел сделать себе засеку подле Иртыша под Чувашием и засыпать ту засеку землею и многими крепостями затвердить. Маметкул же дошел до урочища Бабасан. Русские, увидя таковое поганых собрание, того немало устрашились, но, возложив упование на бога, из лодок своих быстро вылезли и на врагов устремились. Поганые же против нашедших крепко и немилостиво наступали на конях, копейным поражением и острыми стрелами казаков уязвляя. Казаки начали стрелять из пищалей своих и из пушек скорострельных, и из дробовых, и из затинных, и из испанских, и из акробузов, побивая неприятелей множество. И в то время была брань жестокая с татарскими и иными воинами, и от обеих сторон пало множество. Поганые, увидя свое падение, предались бегству. Русские поплыли дальше по реке Тоболу. Татары снова собрались на горе и оттоль стали поражать плывущих, стрелы сыпались на струги, как дождь, но и это место казаки проплыли невредимы.

170

Подплыли казаки под Карачин улус и тут новую брань сотворили с Карачею — думчим царевым: взяли улус его и все богатство свалили на струги свои. Татары опять настigli их у Иртыша — которые на конях, а иные пеши. Атаманы и казаки тут с ними на берегу битву состроили и мужественно на них наседали и бились до смертного посещения. Тогда, видевши посрамление свое, предались поганные невозвратному бегству. И в том бою от Ермаковой дружины мало убитых было, но многие уязвлены были стрелами и копьями. Кучум же, слыша своих воинов побежденье, заперся с людьми в крепости на горе Чувашской, а к засеке навстречу врагам выслал Маметкула с людьми многими.

Казаки утрашились тьмучисленного воинства татарского и заговорили меж собой: «Братья, как мы можем устоять против толикого собрания?» И, размышляя, собрали круг и совет благ сотворили о том и говорили друг с другом: «Братья-товарищи, отойти нам от места сего или стоять единодушно?» Иные начали думать и говорить: «Лучше нам будет, ежели отойдем в отход». Другие говорили встреч с жесточью и твердостью: «Братья, куда нам бежать? Уже осень достигла и в реках лед смерзается. Не дадимся бегству и худой славы себе не получим, ни укоризны на себя не положим. Будем уповать на бога: не от многих воинов победа бывает. Вспомним, сколько зла сотворили безбожные земли русской: и городам запустение, и православным посещение, и пленение великое. Хотя все до единого умрем, но вспять нам возвратиться не можно срама ради и преступления ради слова своего и обетов своих. Коли всемогий бог помощи подаст, то и по смерти нашей память о нас не оскудеет и слава наша вечна будет». И на том все стали непоколебимо. Ночь прошла, начало светать, солнце просияло, и облака просветились светлым блистанием. Казаки помолились, готовясь к смерти, и с криком: «С нами бог!» — пошли на приступ. И была брань великая. Поганные метали стрелы сверху засеки и из бойниц, и многих от Ермаковой дружины уязвляют, а иных смертно побивают. Татары, видя русских падение, сами проломилась засеку свою в трех местах и пошли на вылазку. Тут заварилась битва. По малу же времени поганные начали оскудевать в силе своей, господь же казакам победу подавал, — начали они одолевать безбожных, погнали их с поля и, от засеки отбив, свои знамена на засеку воздвигли. Маметкул еле успел на малой лодиче за Иртыш уплыть. Кучум же, стоя на высоком месте, видел своих народов побеждение и бегство скоро, повелел муллам кликать свою скверную басурманскую молитву и начал призывать к себе на помощь скверных

своих богов, но не было ему нимало помощи. И в то время князя остяцкие отошли со своими людьми каждый восвояси. Кучум, видя свою погибель и царства своего и богатства лишение, обратился к своим с горьким плачем: «О мурзы и уланы, победим немедля! Сильные наши все изнемогли, и храбрые побиты. О, горе мне! Что сотворю? Покрыла срамота лицо мое. Кто меня победил и царства моего лишил? Простых людей послали на меня Строгановы, свои мне мстят обиды. Обратилась болезнь моя на голову мою, и неправда моя сошла на меня». И, взяв себе мало нечто от сокровищ своих, предался бегству, а город Сибирь оставил пустым. Ермак с дружиною вошел в город Сибирь, позже рекомый Тобольск, славя бога и радуясь радостью великою, богатства же многи забрал и меж казаками разделил. На четвертый день пришел к Ермаку остяцкий князек Бояр с остяками и привез с собой много даров и запасов. И по сем стали приходиться многие татары с женами и детьми и начали жить в прежних своих юртах.

18

Той же зимы стояли казаки станом на рыбной ловле близ урочища Яболак. Маметкул пришел внезапно и перебил их без остатка. Слышно было в городе о том убиении их, Ермак опечалился и, возъярясь сердцем, кинулся с дружиною за татарами в погоню, настиг их и побил немилостиво.

19

В ту же весну по водополью пришел в город татарин по имени Сейбохта и сказал, что царевич Маметкул стоит на реке Вогае. Казаки пошли на Вогай и, дойдя до указанного места, ночью напали на татар, многих побили, а Маметкула взяли жива и в город к себе привели.

20

Того же лета Ермак с дружиною крепостью меча своего многие города и улусы по Иртышу и по Оби покорил и Назым город остяцкий взял с князем. В том походе на приступе был убит атаман Никита Пан. Ермак же с воинами возвратился в город Сибирь и о всех своих победах Строгановым написал. Строгановы же пространно описали о том в Москву. И государь-царь пожаловал Строгановых за их службу и радение солью большой и солью малой и грамоту за красной печатью прислал и велел торговать им и у них всяким людям беспощинно.

Тогда ж Ермак Тимофеевич с дружиною написал в Москву о взятии города Сибири и об отогнании царя Кучума, и о взятии царевича Маметкула, и об усмирении сибирских земель. И слышав государь милость божию, что бог ему, государю, покорию Сибирскую землю, и тех казаков пожаловал, кои к нему приехали с той вестью, великим своим жалованьем: деньгами, и сукнами, и камками. А кои в Сибири атаманы и казаки, и тем государь велел послать свое жалованье, и воевод велел отпустить с людьми служилыми в сибирские города, которые ему, государю, бог поручил, а царевича Маметкула указал государь в Москву прислать.

Во второе лето по взятии сибирских земель были посланы в Сибирь воеводы князь Семен Болховской да Иван Глухов с воинскими людьми. Атаманы и казаки встретили их с честью. Государевы же воеводы по государевой росписи государево им жалованье объявили и им роздали. Атаманы и казаки одарили воевод дорогими соболями и лисицами и всякой мягкой рухлядью.

Тое же зимы, когда пришли московские воеводы, бысть оскудение всякими запасами, и наступил голод, и многие перемерли, и князь Семен Болховской тоже умер и зарыт был в Сибири. И когда злая зимняя година прошла, и мороз облегчился от солнечной теплоты, и снег покрылся настом, и приспела лосья и оленья ловля, и тем люди питались, и глад облегчился, и когда весна пришла, и снег от теплоты воздуха растаял, и всякая тварь ожила, и дерева и травы начали цвести и произрастать, и отверзлись воды,— тогда все живое возвеселилось: и птицы прилетели, и в реках рыба пошла, и той ловитвою питались, и голоду людям больше не было. Кои языки окрест жили — татары, остяки и вогуличи — привозили им запасы от зверей и птиц, и рыб, и от скота. Тогда московские люди и казаки всякими брашны изобильны быша и богатства себе приобретают от торгу мягкой рухляди и пребывали в радости и в веселии благодаря всемогущему богу, что даровал бог государю такую обильную землю.

Того же лета пришли в город к Ермаку от Карачи послы просить людей оборонить их от ногайской орды и шертоваша на том, что некоторого зла казакам не мыслят. Ермак с дружиною пове-

рил их безверному шертованию, а они, злые агаряне, держали совет неблагодарный на христиан. Казаки же оскудели умами своими, и не вспомняв реченного пророком: «Не всякому духу веруйте, но испытайте духи, не всяк бо дух от бога есть; есть бо дух божий и дух лстечь». И лести и лукавства окаянных не уразумели, и нрава их не разведали, и отпустили к ним атамана Ивана Кольцо да с ним сорок человек, и там все посланные предательски убиты были Карачею. Вниде же сие побиение во уши поганных, которые жили близ города того. Тогда атаман Яков Михайлов, задумав над неверными промысел учинить, пошел под них в подсмотр. Неверные же поймали его и убили.

25

В том же году, во время великого поста, когда наступил месяц март, пришел Карача в силе и в мощи своей, обложил весь город обозами. Сам Карача встал в некоем месте, называемом Саускан, от города поприща за три. Казаки были в осаде немалое время, зима уже мимо иде, прилетие же пришло, весна приспела, потом же и лету дошедшу, земля прошибающе злак свой и возрастающе семена свои и птицам воспевающе, но вкратце скажу: вся суть обновляема. Карача же немного отошел, но стоя, во обступлении города, хотел казаков уморить голодом, и, как некая ехидна, дыхая на казаков и уклонишася в злоокаянную свою мысль, хотя их похитить, и простер руки свои на убиение казаков, и собрание их хотя себе взяти. И стоял под городом многое время. И когда месяц июнь настал и приспел день двенадцатого поворота зимнего, в одну ночь атаман Матвей Мещеряк вышел с казаками из города тайно: голосу же, ни визгу ни от единого казака не было. В городе остался Ермак с немногими людьми. Прочие же казаки с атаманом Матвеем Мещеряком подкрались к стану Карачи на Саускане и мужески и храбро на стан напали. Поганных же, спящих безо всякого опасения, казаки посекали множество и двух сыновей Карачиных убили. Сам же Карача и с ним немногие за озеро побежали, а иные побежали туда, где остальные стояли во обступлении города. Ночь кончалась, занялось утро; татары, слыша в тылу шум битвы, скорят в Саускан, надеясь казаков смерти предать. Казаки же нимало того не утражились, поганные же на них жестоко напали, и была брань до полудня, и татары отступили. Казаки же возвратились в город, радуясь и веселясь и хвалу воздавая всемогущему богу. Карача, увидев, что казаков ему не одолеть, отошел восвоеси со срамом.

26

Того же лета, месяца августа в пятый день, пришли вестники от бухарцев— торговых людей и сказали, что их царь Кучум не пропускает. Ермак с немногими людьми пошел навстречу

бухарскому каравану по Иртышу и, придя на Вогай, бухарцев не нашел. Доплывя до места, называемого Атбаш, казаки заночевали. Хан Кучум подсмотрел их. Тое же ночью был дождь велик, поганые же, как ехидна некая дышуща на Ермака с дружиною, и мечи свои готовили на отомщение. В полунощь Ермак спал с дружиною в стане в пологах. Татары на стан напали и всех казаков перебили и храброго Ермака убили: слышно же было в городе атаману Матвею Мещеряку с дружиною, что начальн^{ый} атаман велеумный Ермак с дружиною перебиты, они же в городе плакали по ним горько.

ЛЕТОПИСЬ РЕМЕЗОВСКАЯ

(Вольный пересказ)

1

Начало заворуя Ярмака сына Поволского таково: в 1576 воевал и разбивал на Волге и на море торговые караваны в скопе с пятью тысячами человек. В те лета промчался по Руси воровской слух о казаках-ярмаках и царским повелением был послан на Волгу воевода Мурашкин: где тех казачишек ни застанет, тут пытать, казнить и вешать.

2

Ярмак, услыша царское грозное слово, задумал бежать в Сибирь, с ним, распустя паруса, самые удалые побежали, а Мурашкин на станах их не застал, а кого застал, тех и приказнил. Ярмак же с товарищиплыли вверх по Каме да по Чусовой да плутали по Сылве. Пльвучи, запасы у жителей обирали, вогулич воевали и обогатели, а хлебом кормились от Максима Строганова. На Сылве зимовали. Многие за зиму перемерли с голоду, иные сбежали.

3

По весне приступили гулебщики к Орлу-городку, убить купца Строганова хотели и дома его развалить. Иван Кольцо с есаулами кричал: «Корись нашей славе, мужик, коли захотим, возьмем и расстреляем тебя по клоку. Дай нам в струги на каждого по три фунта пороху, и свинцу, и ружья, и пушки, по три пуда муки ржаной, по пуду сухарей, круп и толокна, соли и масла, да всякой сотне дай по знамени с иконою».

Максим Строганов страхом одержим отворил амбары, и казаки грузили на свои струги все, что было надо для похода. Атаманы пообмякли и обещали наградить купца по возвращении. С тем и уплыли вверх по Чусовой и Серебрянке до волоку, где тяжелые суда покинули, а легкие переволокли в Жаровлю-реку, что истекает из Уральских гор в Баранчу, а Баранча в Тагил. Было у Ярмака три сверстника — Иван Кольцо, да Иван Гроза, да Богдан Брызга, были трубачи и сурмачи, сотники, три попа, да старец бродяга, что ходил без черных риз, а правило правил, и каши варил, и припасы знал, и круг церковный справно знал. Кто в чем провинится или примыслит сбежать от них, тому по-донски указ: насыпав песку в пазуху и посадя в мешок,— в воду. И той строгостью у Ярмака все укрепилось, а больше двадцати человек с песком и камнем в Сылве угружены.

Слышал Ярмак от чусовлян про Сибирь — богат край птицею, зверем и всецветными камнями, с Каменного Пояса реки текут надвое: в Русь и в Сибирскую землю. По Тагилу, Туре и Тоболу живут вогуличи, ездят на оленях. По Туре же и по Тоболу живут татары, ездят в лодках и на конях. Тобол пал в Иртыш, Иртыш — в Обь, Обь пала в море двумя устьями, а живут по ней остяки и самоеды, ездят на оленях и собаках, кормятся рыбами. По степи калмыки и мунгалы и киргиз-кайсачьё орда, ездят на конях, верблюдах, едят мясо и пьют кумыс.

На Тагиле-реке казаки пленили улусы вогулич, воевали Пельымские уезды. Казаки видели — страна богата и всем изобильна, а люди, живущие тут, нехрабры. На Туре разграбили и сожгли городок татарского князца Япанчи, разграбили и сожгли Тюмень да тут и зазимовали.

Весна близка, приспело время Кучуму ясак с подвластных народов собирать: соболей и лисиц и прочих зверей и рыб. Послал Кучум к Тархану мурзе дворецкого своего Кутугая. Казаки поймали и пленили Кутугая, когда тот рекою плыл, да привели и поставили перед Ярмаком. Атаман расспросил дворецкого о Кучуме, о житье его, а после отпустил с честью, наградив подарками.

Кутугай со страхом рассказал своему царю о казаках. Кучум опечалился и послал во все пределы своих земель гонцов, чтобы созвали воинов на помощь. А Ярмак не мешкая сплывал по Туре и Тоболу, побивая врагов: басурманы из городков и улусов своих стрекали, как овцы из гнезд, и в страхе отбегали в степи и леса. Расколотили казаки князьков: Маитмаса, Каскара, Алышя и Бабасана.

Татары и вогуличи, остяки и самоеды, мунгалы и киргизы собрались к Кучуму на подмогу. Кучум выслал главное войско с сыном своим Маметкулом навстречу Ярмаку, сам же с отборной ратью укрепился близ своей столицы, на Чувашиевой горе. Казаки, помолившись пресвятой богородице и всем угодникам, ударили на Маметкула, сбили его с укреплений и погнали перед собой.

Кучум же от великого ужаса по всем дорогам сильные караулы порасставил, думая и говоря: «Увидят казаки нашу твердость и возвратятся на Русь». Казаки от Карачина улуса пустились на город Кучума и выплыли из устья Тобола на Иртыш, тут увидели множество басурманских воинов и, убоясь, иные говорили: «Побежим на Русь»,— иные призывали идти вперед. Ярмак сказал: «Подобает нам умереть храбро за веру христианскую, бог прославит наш род навеки».

«С нами бог»,— закричали казаки и полезли на Чувашиеву гору. С горы в них стрелы и копья метали, но поганые не могли устоять против казачьих пищалей и побежали. Первыми предались бегству остяки, за ними — вогуличи, а там — снялся и потек в степь Кучум со всем своим татарством. Казаки, славя бога и веселясь, вошли в город царя сибирского и стали тут жить. Промчался слух о казаках во всю Сибирскую страну и напал божий страх на всех живущих басурман.

Скоро в город пришел со многими дарами вогульский князек Бояр. По его же стали приходять татары с женами и с детьми, давая ясак. Ярмак всем велел жить по-прежнему в домах своей

родины, как жили при Кучуме. Казаки ездили по жильям татарским и по промыслам смело, не боялись ничего. На озере Абалацком казаки двадцать человек рыбачили, царевич Маметкул напал врасплох и перебил всех.

13

Послал Ярмач вниз по Иртышу в Демьянские и Назымские городки и волости Богдана Брызгу с казаками все те волости пленить и привести к вере и собрать ясак раскладом поголовно. Приехал Брызга в первую Арымзанскую волость, городок взял боем, князя повесил за ногу и расстрелял, ясак собрал за саблею, положил на стол кровавленную и велел верно целовать за атамана — ясак платить во все годы, служить и не изменять. Взял у них запас хлеба и рыбы да отослал в город.

14

Той грозы туземцы ужаснулись и не смели ни только руку поднять, но и слово молвить. Разбили казаки Туртасское городище, тут покинули струги и конями доехали до устья речки Демьянки, до большого их сборного князца Демьяна: город у него велик и крепок, в сборе две тысячи татар, вогулич и остяков. Взяли с бою и ясаком обложили. Опять посадились в струги и пустились на поплавы вниз, воюя и громая народы и собирая дань, славя святую троицу.

15

Зимом с Яскалбинских заболотных волостей от непроходимых мест из Суклемы пришли вогульские князьки Ишбердей и Суклем с дарами и поклонились Ярмаку. Ярмач отдал им, пустил на свои жилища и наказал, да служат. Ишбердей, радея службе, पहले других сыскал беглых князьков и привел их в ясак, и дороги в болота казакам сказал, а на немирных народцев вожем был и служил верно.

16

По совету с дружиною Ярмач написал послание государю-царю и великому князю Ивану Васильевичу всея Руси, принося вину свою, изъявляя верность, как низложил Кучума прегордого, много князей и мурз татарских, вогульских и остяцких под державную руку царскую привел и ясак собрал и послал к тебе государю с атаманом Иваном Кольцо: Царь Иван Васильевич вельми возрадовался и прославил бога, а Ярмаку послал дары, Ивану же Кольцо и с ним приехавших казаков одарил кормом и выходами и к Ярмаку с похвальной грамотою возвратил.

По доносу ясашого мурзы Сенбахты казаками был схвачен на реке Вогае царевич Маметкул и отправлен в Москву. Кучум, приняв весть ту, плакал о сыне со всем своим домом: скитался он в те поры в крепких местах на урочище в Тархана и Кулара. Один же из самых многосильных князей — Карача покинул царя и откочевал на степи, что лежат меж Оми, Барабы и озера Чулымского.

Плыл Ярмук вниз Иртыша, воевал Кодские и Назымские городки, князей Алазевых с богатством взял. Тем же летом плавал по Тавде: взял Лабутинский городок, князька Лабуту с богатством, и Паченку, и Кошука, и Кандырбая, и Табара. Собрав ясак и всяко настращав князцов, Ярмук с радостью возвратился восвояси.

Прислан из Москвы к Ярмаку воевода князь Семен Болховской да Иван Глухов с пятьюстами стрельцы. Ту зиму голод был великий, понуждающий и тела человеческие есть. Многие умерли, и воевода умер. Весною к городу подоспели верные остяки и вогулы да запасы привезли, и казаки от голоду насытились.

Пришел от Карачи обманщик посол, просил у Ярмака людей на оборону от киргиз-кайсачьей орды. Поверя безбожию татарина, отпустил Ярмук Ивана Кольцо с сорока казаками. Карача всех побил. После того в других волостях и улусах татары стали убивать русских. А под весну пришел и сам Карача и обложил город обозами и табором. Держал осаду во всю весну и лета прихватил, но был казаками разбит и отогнан в степь.

По поущению божию пришел еще обманщик и сказал: «Кучум не пропускает к вам в город бухарцев с товарами». Ярмук поднялся с казаками и поплыл вверх по Иртышу навстречу бухарцам. До устья Вогая дошел, бухарцев не видал, много в тех местах плутал, под горой Атбаш раскинул стан и заночевал.

Была ночь темна, был ветер буен, лил дождь густ. Кучум с татарами, подобравшись к стану тайным бродом, вдруг напал на спящих и всех побил. Так судьбами божьими пришла на казаков смерть. Прослыша про то, возликовали агаряне во всю Сибирскую землю, но недолго превозносились: с Руси шла царская сила, дабы покорить тот край навечно.

Такова, братья, сия дивная повесть, написанная во славу божию, чтущим в пользу, состарившимся людям на послушанье, а молодым людям в научение, разумным на внимание, воинам на храбрость, а древним на память... Ветрила словес спустим, в твердом пристанище истории охотно почием.

ЛЕТОПИСНЫЕ РАЗНОРЕЧИЯ

Никаких писаных свидетельств после Ярмака не осталось. Казаки прославляли себя мечом и отвагою, а не суетным писанием.

Годов через тридцать с лишком, после гибели Ярмака, в Тобольск был прислан насаждать среди сибирцев православие архиепископ Киприан. Он и повелел расспросить оставшихся в живых Ярмаковых дружинников об ихнем приходе в Сибирь и о прочем, имеющем к тому касательство. Казаки принесли ему *написание* о своем походе, где у них с татарами и с иными народами бои были и где казаков и какого именно убили. По этому казачьему написанию, тоже не сохранившемуся, архиепископом и была составлена поминальная запись, которой пользовались первые сибирские летописцы.

Древнейшей летописью считается Строгановская, или Сибирская. Суть ее, как видит читака, такова: почин похода, самый план и средства к его выполнению даны промышленниками Строгановыми. Написал ее, как рассудить можно, близкий Строгановым человек для прославления и восхваления купеческого рода.

Другая летопись составлена тобольским дьяком Саввой Есиповым, который отсовывает Строгановых от чести и почину сибирского похода и весь гром похвал воздает премудрости божьей и удали понизовой казацкой вольницы с атаманом Ярмаком во главе.

Третья летопись, собранная сыном боярским Ремезовым, также утверждает, что сибирский поход был задуман и выполнен

казаками самостоятельно. Строгановы же под угрозой оружия были-де вынуждены удовольствоваться гулебщиков всем необходимым и были-де рады выпроводить их из своих владений. Летопись полна стилистического своеобразия, чего ради мы, наряду со Строгановской, и приводим ее в *литературных подарках*.

И, наконец, в половине XVIII века тобольский ямщик Илья Черепанов составил новую летопись, но она большого самостоятельного значения не имеет и представляет собою не что иное, как путаный пересказ сибирского похода по сведениям, уже известным. Кудреват и бескровен, по сравнению с другими, и язык Черепанова.

Нелегко решить, какая из летописей достовернее. Каждая из них опирается на множество слабых и сильных доводов, каждая имеет своих славных защитников и не менее славных противников. О некоторых подробностях похода в летописях упоминается глухо; в записи времени того или иного события есть явные несуразицы и разноречья; были и были круто заварены вымыслом сочинителей, — в иной путанице порою и заядлый историк не в силах разобраться, не имея древних, уничтоженных пожарами бумаг.

Ученый муж XVIII века — подвижник и трудолюб — Г. Миллер книгой своею «Описание Сибирского царства» положил начало изучению истории сибирской. Целая ватага замечательных в своем деле русских прошляков (историков), касаясь Сибири, расширила и углубила многие вопросы, едва намеченные Миллером.

Шагая в романе по коренной, протоптанной многими остроумными дорожке, мы все же не раз свертываем с нее на тропы своих примыслов, — истории знахарь без труда разглядит эти примыслы, любителю же романного чтения вряд ли будут интересны исторические тонкости, а потому и не будем о них особо распространяться.

ВЫВОДЫ

Разбойниками, попросту думать, прозывались шайки оголодавшего бесправного люда, вынуждаемого добывать себе зипуны и прокормление доброй отвагою. Правда, на разбой, как на промысел, хаживали и богатые казаки, и захудавшие дворяне, но в то далекое время не они являлись заправилами в вольных дружинах понизовых гулебщиков.

Повольников объединял котел с кашей и страх перед боярскими кнутами, а не сияющие идеи христианства и не стремление расширить русские рубежи, как то живописуют летописцы и иные русотяпского толка историки.

Зачатки осознания себя как класса широкими низами крестьянства и гулевого казачества следует отнести ко временам Пуга-

чева и Разина. В XVI же веке и ранее, если говорить без натяжки, повольники являлись буйствующей слепой силой, — доказательств тому в истории предостаточно. Это утверждение, разумеется, не отвергает, как то может показаться иному скудоумцу, существования борьбы сытарей с голодарями в весьма отдаленные времена.

Время Ивана Грозного — время разворота торгового капитала. Частичные успехи русского оружия в Прибалтике не имели решающего значения для расцвета отечественной торговли. Русь, потерпев поражение на западных рубежах, устремила мечи свои на восток.

Поход Ярмака, здраво рассудив, следует рассматривать как военно-промышленное предприятие. Хотя прямых доказательств призыва казаков Строгановыми и нет, но направляющую руку купца в освоении новых земель вряд ли можно отвести.

Хотели того казаки или нет, но оружием своим они расчищали дорогу царю и купцам в богатую мехами Сибирь. Прикормленные казаки атаманы, а иные из них по кромешной дурости, в чаянии высоких милостей, водили казаков от Персии до Мангазеи и от Польши до Сан-Франциско. Кроме того, жажда обогащения срывала с места и гнала в неведомые края не только богача, но и самого последнего бедняка.

Возможно, что первоначальный замысел казаков был бесхитростен — свершить на Сибирь набег, погромить тамошних народцев и с богатой добычей возвратиться на Русь, но сложившаяся обстановка вовлекла казаков в длительную борьбу и на многие годы приковала к опорному месту — Тобольску.

Москва, занятая войной с южными и западными соседями, переоценивала силу Кучума и вступать с ним в открытую борьбу побаивалась. Исподтишка же царь подзуживал и казаков и купцов промышленять над азиятцами и прибирать к рукам гулящую землю. На самом деле политическое устройство Сибирского царства было чрезвычайно слабо и мнимая мощь Кучума рассыпалась от первого крепкого удара.

Есть, хотя и весьма шаткие, но все же есть основания полагать, что казаки намеревались завладеть Сибирью сами, как до того они владели Доном и Запорожьем, а позднее Яиком, Терекком и Кубанью.

И не верноподданнические чувства, а злая нужда влекла Ивана Кольцо в Москву: людей оставалось мало, воинский припас был на исходе и каждому казаку было понятно, что своей силою Сибири не удержать.

Житье-бытье сибирских кочевников и охотников, задавленных своими злоедами, с приходом русских завоевателей стало еще горше. Князцы же туземные отбежали в глубь Сибири; немногие, кто остался верным хану, пали под ударами казачьих шашек, но большинство, как случается всегда и всюду, предали своего вождя и пошли на поклон к новому владыке, царю русскому.

Поход казаков-ярмаков изукрашен в летописях многими божьими чудесами, по поводу чего еще в 1750 году Г. Миллер писал: «Я сам себе насилие делаю, когда все в Тобольском Летописце описуемые чудеса объявляю; однако ж оных совсем оставить не можно. Должность истории писателя требует, чтобы подлиннику своему в приведении всех, хотя за ложно почитаемых, приключений верно последовать. Истина того, что в историях главнейшее есть, тем не затмевается и здравое рассуждение у читателя вольности не отнимает». Да пропустит современный многоумный читака чудеса сии мимо ушей. Земля Сибирская, как само дело показывает, была покорена превосходным оружием русских, которого сибирцы не знали. Сверх того, за казаками стояла крепнущая мощь молодого государства Российского.

СКАЗКИ И БЫВАЛЬЩИНЫ

ОСТЯЦКАЯ

Итя ходит вверх, ходит в верхний край озера ставить сети. Попадает в сети карась с косыми глазами. Тут садится утка, стреляет ее Итя из лука, подгребая берет утку. Караси попадают в сеть, Итя наполняет карасями лодку и едет домой. Бабушка встречает его на берегу и ворчит: «Вот на свой век добра добыл». А Итя говорит: «Вверху карасей убавилось».

Поночевавши, утром берет сеть туда, ставит сеть у берега и посмотрел, камыши дрожат. Он подумал: «Вот караси сплылись ко крутому берегу». Едет туда, где дрожит, быстрина его тянет, а он плывет — лодка идет сама — и говорит: «Вода сама гребет, вот где жизнь-то без работы». Попала нельма в мотню, вытряхнул нельму из мотни в лодку да колотушкой рыбину в голову бух — и убил. Плывет вниз, и тут речной конец, истоком промызнул в свое озеро, карасей выгреб из сети и поплыл домой. Бабушка встречает его и ворчит. Сколько старуха ворчала, а кишки из нельмы выдавила и сглонула. Итя выгрыз рыбы жабры, высосал мозг, выпил глаза, приговаривая: «Будешь, нельма, лежать в моем брюхе. Твой отец и твоя мать тоже лежали в моем брюхе. Не поплывешь ни протоком, ни рекою, не будешь больше резвиться в лунных струях».

Оба ели и поели...

ВОГУЛЬСКАЯ

Чаинский охотник Изыркул и чулымский охотник Курманай встретились в лесу и легли отдыхать. «Кто съел твои щеки?» — спросил Изыркул чулымского. Тот ответил: «Меня проглотила

щука, водяной богатырь проглотил меня». И Курманай сам спросил чайнского: «А кто ободрал твою морду?» Изыркул ответил: «Меня царапал лесной богатырь».

Курманай рассказал: «В Чулыме есть озеро, Мамонтово называется, каряжисто, бездонно, никто по нему не плавает. Раз я пришел туда. Время было жаркое. Вижу лебедя, стрелил лебедя из лука и убил. Надо за ним плыть. Разделся маленько — шапку бросил, рубашку — в штанах поплыл. Недалеко был, а лебедь бульк и пропал. Я забоялся и плыву назад. Тут небо и берег потерялись: кто-то проглотил меня, опомнился внутри: ошалел, задыхаюсь, кое-как выдернул из-за пояса нож, режу так и так, просовываю в дыру руку и хватаю траву, потом разрезаю шире и выхожу вон. Гляжу, взвернулась около берега щука-мамонт, она проглотила меня и унесла от того места на два поприща (версты)».

Изыркул рассказал: «С братом плыли вверх по Конде, а собака бежала берегом. Залаяла. Выхожу на берег с веслом. Медведь из осоки вышел на меня. Схватил медведя за обе щеки и бросил его на землю, сел на медведя верхом и кричу брату: «Прижал медведя, выкинь мне на берег топор или нож». Брат был раньше дран медведем, кричит: «Бросай, иди в лодку». А я говорю: «Нож или топор дай, подай, сам близко не подходи, коли боишься». Медведь поддел ногтем и перервал у меня жилу на руке и другую руку до кости надкусил. Тут я наступил ногою зверю на горло, и он закусил ногу мою и стал жевать. Тут я лягнул его другой ногою под сердце — медведь разинул рот, я вынул ногу. С кровью истекла моя сила, упал на медведя и говорю: «Ешь меня». А медведь — готов, сдох. Шатаюсь, иду в лодку. В лодке хочу взять нож и зарезать брата, рука не держит ножа, говорю: «Ты выдал меня медведю, если я мог бы сжать в руке нож — зарезал бы тебя. Вези меня домой». Брат молчал и трясся от страха. Приплыли к себе. Отец и жена положили меня на шубу и вынесли на берег. Год я пролежал в чуме. Осенью начал немного похаживать. Вечером стал сучить заячий силок и говорю сам с собой: «Ты, медведь, не лезь ко мне, и я к тебе не полезу». Утром пошел силки ставить, топор за поясом. Опять медведь вышел. Тюквул я его в полсилы и убил сразу, глаза вывалились вон. С радости затесал я на сосне медвежьей морду».

Чайнский охотник Изыркул и чулымский охотник Курманай отдохнули и пошли каждый в свою сторону.

КИРГИЗСКАЯ

Караванщик по имени Юсуп был захвачен в пути непогодой и остановился ночевать в пустынном месте. К огню подошла красивая молодая девушка. Юсуп спросил: «Кто ты?» Она отве-

чала: «Собира́ла дрова в лесу, мой аул, забыв обо мне, откочевал». После этого караванщик сказал ей: «Если так, то поедем со мной и завтра нагоним твой аул, а пока садись со мной ужинать». Она, не показывая пальцев, взяла кусок жирной баранины рукавом и стала есть. Когда наступило время ложиться спать, девка, блеснув зеленым глазом и не сказав ни слова, ушла. Юсуп догадался, что к нему приходил черт жез-тырнам (медные когти). Около полупотухшего костра он накрыл своей шубою пеньек, а сам вывернул с корнем молодое деревцо и притаился за кустом. В полночь черт вернулся и пронзил своими когтями пень, покрытый шубой. Караванщик подкрался и жахнул черта по башке, из того дух вон, только смрад пошел. Потом распластал черта чаканом, из утробы чертовой высыпалось много золота, но оно было так горячо, что под ним дымилась земля. Юсуп дождался, пока золото остыло, насыпал в чумалы и вернулся к своему народу богачом.

ТАТАРСКАЯ

В Астрахани у одного мурзы служил в конюхах плутоватый малый по имени Мамет. Он воровал у скота корм и прогуливал деньги в притонах. С животными он обращался жестоко и не жалел ни кнутов, ни палок. Однажды выведенный из терпенья осел, которому попадало больше других, вызвался проучить Мамета. Было известно, что в болоте недалеко от города водятся черти. Идти туда всяк боялся. Из всей конюшни вызвался осел, так как издавна известно, что осел, козел да черный кот — чертячи выродки. Мимо того места поздно ночью из кабака возвращался Мамет. Услыхал визг, смех и мяуканье — пробормотал молитву, черти отлетели. Идет дальше, видит, ползут за ним змеи и шипят. Мамет святым словом снова отогнал нечистую силу. Черти разлились перед ним и обратились в скользкий лед. Конюх ступил на лед и поскользнулся: «Ах!» — и не успел закрыть рта, как старшой лягнул его в скулу копытом, так он и остался с раскрытым ртом, не мог произнести ни одного божественного слова. Набольший, размотав Мамета за ногу, метнул его по льду, и он летел по льду до самой болотной пучины, где и утонул. Осла сожрали волки, когда он возвращался восвояси, но остальные скоты зажили счастливо при новом конюхе.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ШУТКИ

ЧТО И КАК ПИСАЛИ ОБ ЯРМАКЕ

П л а в и л ь щ и к о в П. Ермак, покоритель Сибири. Трагедия. Москва. 1806 г. Представлена в первый раз на Петровском театре, 1803 г. февраля 13 дня, причем Ермака играл сам автор.

Монологи Ярмака:

Я разбойник, но не бунтовщик. Чту добродетель превыше всего. Умерщвлял ли я кого-нибудь, кроме сих пиявиц иностранных, которые, подобно саранче, бегут поядать цветущее отечество наше?

Мои казаки покоятся сладким сном, а повелитель их не спит: он не спит для того, чтобы доставить им совершенный покой... Вот плоды начальствования. Повелевать гораздо труднее, нежели повиноваться. Но до сих пор бремя власти меня не отягчало...

Боже всемогущий, тебе открыты все помышления людей... Ты видишь мои намерения... Очернены ли они хотя тенью порока? Не алчность к пролитию крови человеческой влекла меня сюда; я не искал суетной славы победителя; я ишу прославить твое имя и имя государя... Ермак, Ермак, обрати мысль свою к богу! Нет под солнцем ничего, что укрылось бы от промысла всевышнего. Может быть, побитием татар господь захотел очистить оскверненную идольскими жертвами землю? Боже всемогущий! Ты оправдал над нами царствовать великого царя России. Прославь имя его в сем хладном краю света; да покоренные народы приведет он к познанию веры православной и да согреет блаженство его державы замерзлую сибирскую природу.

Палимая огнем войны душа моя алчет прохлады в любви. Любовь, любовь... Разве может быть закрыто мое сердце к ее ощу-

щениям? Это чистое, верховное блаженство, которое служит наградою добродетели. Несчастливая пленница... Кто она? Она... ах! она владычица души и сердца моего... Верить ли слуху моему? Любовь... Ермак, ты любим! О, счастье! Ты превышаешь ожидание мое! Счастье! ты играешь участью людей! Будь ко мне милосердно, подай мне мир. Пусть вместо губительной брани любовь утвердит мою славу!.. Она лишилась чувств! Она бездыханна! Боже, возьми мою жизнь, только оживи мне ее... Мне никто не внемлет... В ней я лишился всего... Мои победы мне несносны. Ах, на то ли, жизнь, ты вырвала меня из челюстей смерти? Лейтесь, лейтесь, горестные слезы, вы прохлаждаете грудь мою...

П о л е в о й Н. Ермак Тимофеевич, или Волга и Сибирь. Драма. С.-Петербург. 1845 г.

Кузьма (старый разбойник)

Эх, Волга-матушка, кормилица родная,
Раздольный путь с полночной стороны,
Не по тебе ли воля удалая
Во дни разгульной старины
На челноке ушкуйника Прокопа
Да на ладье донского казака
Водила русских молодцов далеко?..

Ярмак

Прощай, родимый край,
Прощай ты, Волга-матушка, река-царица,
Раздолье дикой юности моей.
Уж скоро час ударит — каждый шаг
Нас будет отделять от родины.
Кто знает, приведет ли бог опять
Увидеть вас, родимые места.
Так дайте ж надышаться мне в последний раз
Родимым воздухом. Мне дайте наглядеться
На небо, на воды, на божие создание,
Наслушаться землячек-птичек,
Взять горсть земли родной и на груди
Здесь сохранить ее, как мать родную, и, когда
В чужой земле мне будут рыть могилу,
Ты, горсть родной земли, прикроешь
Мой хладный труп, его согреешь ты!

Ярмак в Сибири

Друзья!
Мы ворвались в заветный лес, где от веков
Нечистые моленья приносились.
Здесь было требище богам поганым,

Здесь кровь текла на жертву сатане!
Как пал кумир поганный, так падет
Неверие пред верой православной,
И просияют божья благодать и свет
Над областью Сибирской
На месте сем, где требище кумира
Зловонием окрестность заражало,
Поставим богу светлый храм,
И в нем кадила фимиам,
При пении согласном ликов.
Ты близок, близок день желанный,
Когда, во имя бога и царя России,
С главы сибирского царя спадет венец.
Мы на стенах его столицы
Хоругвь святую водрузим
И сердце батюшки-царя возвеселим.
Сибирь, ты примешь кости Ермака,
В твоих волнах, Иртыш велиководный,
Могила хладная готова мне.
Будь воля божья. Подвиг совершен.
Орел России, ты вознесся над Сибирью.
О радуйся, душа моя, весельем многим...

Б у й н и ц к и й. Ермак, завоеватель Сибири. Историческая повесть.
Москва. 1867 г.

Ермак находился в чрезвычайном волнении; грудь его вздымалась, чело становилось грозным: то важные мысли, казалось, стесняли его воображение. Иногда восклицал он — и взоры его воспламенялись; иногда погружался в уныние — и взоры его потухали. Взоры его сияли огнем мужества, лицо изображало важность.

Облаченный в торжественную одежду, прикрытую на груди панцирем, с пернатым на главе шлемом и препоясанный серебряной цепью, на которой висела сабля булатная, Ермак вступил во град Кучумов на белом коне, коего пламенные глаза, дымящиеся ноздри и пена, покрывающая стальные удила, оказывали, что он горд своим всадником.

В одну приятную весеннюю ночь Ермак вышел из града. Воздух был чист, небо ясно, повсюду царствовала глубокая тишина. Ермак увидел человека, сидящего на отломке скалы. Глава его склонена была на руку, которая опиралась на гранит; томные, печальные звуки — отголоски души — вырывались из груди его...

Ермак, привлеченный красотой окрестной рощи, вступил во внутренность ее и безмолвно наслаждался великолепным зрелищем природы: легкий ветерок помахивал зелеными листьями деревьев, кристальные ручьи струились по разноцветным камуш-

кам. Ермак достиг прекрасного луга и увидел под сенью одного дерева Героиню, разметавшуюся на траве и спящую глубоким сном. На величественном челе ее играл алый румянец, на малиновых устах покоилась кроткая улыбка, снежная грудь ее воздымалась от вздохов... Пораженный удивлением, Ермак приблизился к ней, долго рассматривал прелестные ее черты и не понимал, отчего душа его находилась в волнении, отчего кровь в нем стремилась быстрее?

— Любезная незнакомка! — с испуганием сказал Ермак. — Если ты надеешься со мной быть благополучною, прими мое сердце.

Лицо Колханты покрылось румянцем и, проснувшись, она тихо ответствовала:

— Друг мой, страсти сжигают меня! — И она бросилась в его объятия и сокрыла пламенные щеки свои на лице его.

Соперник же Азим натягивает лук и пускает пернатую стрелу, которая летит, свистит и углубляется в сердце красавицы. Подобно нежному цветку, сраженному пагубным зноем, упадает Колханта, обращая в последний раз взоры свои к Ермаку, и выпускает дыхание...

Ш и ш к о в А. Ермак. Повесть. Москва. 1828 г.

...Твой меч остер, стрела метка.
Ты вносишь смерть и гибель в сечу,
Но сжался, не ходи навстречу
Булатной сабле Ермака!
Он зол, страшна его рука,
Его душа неумолима.
Завет напрасный, дева Крыма.
Татарин смел: из юных рук
Он взял стрелу и звонкий лук;
Он обещал подруге сердца
Копье иль панцирь иноверца;
Он полетел грозюю в бой.
Он с Ермаком изведал силы,
Вздригнул под саблей роковой
И поздно вспомнил голос милый.
Но не один погиб Ахмат.
Он не один, краса Гюльнара,
Вгляни: курганов длинен ряд;
Они безмолвно говорят
О силе грозного удара.

...Несчастлив тот, кому любовь
Не улыбалась в жизни скучной!
Счастлив, кто спал среди цветов
С подругой жизни неразлучной,

С молодой посланницей богов.
Восторг любви, души порывы,
Ермак в забвенье вас узнал,
Когда один, нетерпеливый,
Теару к сердцу прижимал.
В глазах волшебницы невинной
Читал доверчивый покой;
Сгорая, трепетной рукой
Перебирал косою длинной,
Дыханье уст в себя вливал,
Желанья скрытого признанье
И груди полной колыханье
Кипящей грудью измерял.

...Ермак в цепях: подземный хлад
Тлетворной смертью в душу веет;
Железа тяжкие гремят,
Тоска на сердце тяготеет.
И мыслит он: «О краткий миг!
Куда исчез ты, призрак счастья?
Впервые радость я постиг
Под тучей грозного ненастья.
Исчезло все — мечты любви,
Младых надежд и шумной славы!
О сон! Повей, возобнови
Мои протекшие забавы».

...А ты, дружина Ермака,
Ты не услышишь глас знакомый;
Его бесстрашная рука
Перед тобой не бросит громы
В татарский стан, в толпы врагов,
И в час свободный, отдых битвы,
Его не будет слышен зов;
Он не помчит на пир ловитвы
Своих послушных казаков.
И где ж он, где? Никто не знает;
Тоска в дружине боевой;
Лишь шепотом молва, порой,
Из уст в уста перелетает:
«Ермак любил, Ермак пылал;
В тиши ночной, во мраке ночи
Теару к сердцу прижимал
И целовал сокольи очи».

«...Ермак! Ужасно преступленье!
Что предложил ты мне? Позор!
Где ж дружбы прежней договор
И к беззащитной уваженье?»

Не ты ли сам хотел щадить
Невинной страсти заблужденье?
Мне суждено тебя любить.
Но ты, Ермак, ты мне защита
От сердца, от себя самой:
Люблю тебя, перед тобой
Душа невинная открыта!
Ты пощадишь мою боязнь
И мыслей детских упоенье...
Люблю тебя; с тобой и казнь
Была б мне жизнь и наслажденье.
Но что? Тебя ль бояться мне?
Нет, лести мой Ермак не знает;
Кто страшен сильным на войне,
Тот слабых дев не поражает.
Итак, твоя, твоя, Ермак!
Клянусь, по гроб твоя Теара!..
Когда ночной прояснит мрак,
Я жду тебя под тень чинара».

СЛОВЦО КОНЕЧНОЕ

Вначале книга была задумана, как забава и отдых меж лововых дел, но в песне сердцу первое слово: приступил к работе, увлекся и — пошла писать...

Разин, Пугачев — большая дорога народных движений, Ярмак — глухая тропа. О Разине, Пугачеве, Булавине — горы архивных материалов, исторические же сведения об Ярмаке крайне скудны; так, достоверные известия о сибирских народах того времени можно уписать на пяти страничках, а еще того менее мы знаем о *работных людях* XVI века. Зимами я дневал и ночевал в книгохранилищах, а с весны распускал парус и на рыбацкой лодке плыл по следам Ярмака — Волгою, Камою, Чусовой, Иртышом, — *кормясь с ружья и сети*. За шесть годов перерыл гору книг, проплыл по русским и сибирским рекам под двенадцать тысяч верст. Трудности, как, впрочем, и во всякой честной литературной работе, были огромны — коротко о них не расскажешь, а распространяться нет охоты: кому интересна потная, черновая работа такого дикого, как я, писателя?

До последнего времени имел намерение печатать книгу в двух разнословах (по-ученому сказать, вариантах), а сейчас по немногим, но весьма увесистым причинам, отдумал. Впрочем, кое-что из второго разнослова мною подано в литературных подарках. Вьюга горестных раздумий захватила меня в пути — зазнобила сердце, залепила очи — книга не доработана... Может быть, когда-нибудь падет на меня радостных дней орлиная стая, с новой силой загремит и заблещет перо мое: тогда-то на роман и будут положены последние краски и жары...

Гуляй-городом в глубокую старину у русских звался военный отряд в походе — с обозами, припасами; у сибирцев — кочевое становище. Позднее гуляй-городом назывались подвижные на

катках башенки, для приступа к крепостям. Отсюда, в хорошую минуту, родилось и заглавие романа: Гуляй-Волга — русской воли и жесточи, мужества и страданий полноводная река, льющаяся на восток...

Знаю: глупец, зачерствевший в зломыслии и ненавистничестве, пустится поносить меня всяко и лаять на разные корки; полудурье прочтет книгу сию, ухмыльнется и забудет; умный же и чистый сердцем возрадуется крутой радостью и порою перечтет иные строки... Улыбка и уроненная на страницу слеза живого читалы да послужат мне лучшей наградой за этот каторжный и радостный труд!

Артем Веселый

Январь, 1933

Россия,
кровью
умытая

РОМАН
Фрагмент



СМЕРТИЮ СМЕРТЬ ПОПРАВ

*В России революция — дрогнула мати
сыра земля, замутился белый свет...*

Сотрясаемый ураганом войны, шатался мир, от крови пьян.
По морям-океанам мыкались крейсера и дредноуты, изрыгая
гром и огонь. За кораблями крались подводные лодки и минные
заградители, густо засеивая водные пустыни зернами смерти.

Аэропланы и цеппелины летели на запад и восток, летели на юг
и север. С заоблачных высот рука летчика метала горячие головы
в улы людских скопищ, в костры городов.

По пескам Сирии и Месопотамии, по изрытым траншеями полям
Шампани и Вогез ползли танки, сокрушая на своем пути все
живое.

От Балтики до Черного моря и от Трапезунда до Багдада не
умолкая бухали молоты войны.

Воды Рейна и Марны, Дуная и Немана были мутны от крови
воюющих народов.

Бельгия, Сербия и Румыния, Галиция, Буковина и турецкая
Армения были объаты пламенем горящих деревень и городов.
Дороги... По размокшим от крови и слез дорогам шли и ехали
войска, артиллерия, обозы, лазареты, беженцы.

Грозен — в багровых бликах — закатывался тысяча девять-
сот шестнадцатый год.

Серп войны пожинал жизни колосья.

Церкви и мечети, кирки и костелы были переполнены плачу-
щими, скорбящими, стенающими, распростертыми ниц.

Катили эшелоны с хлебом, мясом, тухлыми консервами, гни-
лыми сапогами, пушками, снарядами... И все это фронт пожирал,
изнашивал, рвал, расстреливал.

В клещах голода и холода корчились города, к самому небу
неслись стоны деревень, но неумолкаючи грохотали военные ба-
рабаны и гневно рыкали орудия, заглушая писк гибнущих детей,
вопли жен и матерей.

Горе гостило, и беды свивали гнездо в аулах Чечни и под кры-
шей украинской хаты, в казачьей станице и в хибарках рабочих
слободок. Плакала крестьянка, шагая за плугом по пашне.

Плакала горожанка, уронив голову на скорбный лист, на котором — против дорогого имени — горело страшное слово: «Убит». Рыдала фламандская рыбацка, с тоскою гляючи в море, поглотившее моряка. В таборе беженцев — под телегою — рыдала галичанка над остывающим трупом дитяти. Не утихаючи вихрились вопли у призывных пунктов, казарм и на вокзалах Тулона, Курска, Лейпцига, Будапешта, Неаполя.

Над всем миром развевались знамена горя и, как зарево огромного пожара, стоял стон, полыхали надсадные, рвущие душу крики отчаянья...

И лишь в дворцах раззолоченных — Москвы, Парижа и Вены — сверкала музыка, пламенело пьяное веселье и ликовал разврат.

— Война до победы!

Военная знать и денежные киты дружно сдвигали бокалы с кипящим вином.

— Война до победы!

А там — на полях — огненные метлы, точно мусор, сметали в братские могилы гамбургских грузчиков и шахтеров Донбасса, кочевников Аравии и садоводов с берегов Ганга, докеров из Ливерпуля и венгерских пастухов, пролетариев разных рас, племен и наречий и пахарей, добывающих в поте лица хлеб насущный на земле отцов и дедов своих.

Кресты и могилы, могилы и кресты.

Балканы, Курдистан, Карпатские долины, чрево земли польской, форты Вердена и холмы Мааса были туго набиты солдатским мясом.

В шахтах Рура и Криворожья, в рудниках Сибири и на химических заводах Германии — на самых каторжных работах — работали военнопленные. Военнопленные томились в лагерях за колючей проволокой, кончали расчеты с жизнью под кнутом шуцмана и капрала, мерли в бараках от тоски, голода, тифа.

Лазареты... Приюты скорби, убежища страданий... Искалеченные, обмороженные, контуженные, отравленные газом — с раздробленными костями и смердящими ранами — метались в бреду на лазаретных койках и операционных столах, где кровь была перемешана с гноем, рыданья с проклятиями, стоны с молитвами за сирот и отчаянье с разбитыми в дым надеждами!

Безногие, безрукие, безглазые, глухие и немые, обезумевшие и полумертвые обивали пороги казенных канцелярий и благотворительных учреждений или, выпрашивая милостыню, ползли, ковыляли, катились в колясках по улицам Берлина и Петрограда, Марселя и Константинополя.

Страна была пьяна горем.

Тень смерти кружила над голодными городами и нищими деревнями. У девок стыли нецелованные груди, мутен и неспокоен

был бабий сон. Осипшие от плача дети засыпали у пустых материнских грудей.

Война пожирала людей, хлеб, скот.

В степях поредели табуны коней и отары овец.

Сорные травы затягивали оброшенные поля, бураны засыпали повальные осенними ветрами неубранные хлеба.

По дорогам поползли и поехали, куда глаза глядят, первые беспризорники.

Отказывала промышленность — не хватало топлива, сырья, рабочих рук, — закрывались фабрики и заводы.

Отказывал транспорт — лабазы Сибири и Туркестана были засыпаны зерном, зерно горело, но его не на чем было вывозить; в калмыцких и казахстанских степях под открытым небом были навалены горы заготовленного на армию мяса, на мясо наклеывался червь, собаки устраивали в мясе гнезда и выводили щенят.

Письма с фронта...

«Бесценная моя супруженица!

Низко тебе кланяюсь и всем сродникам кланяюсь. Я пока, слава богу, жив-здрав. Василий Рязанцев убит под турецкой крепостью Бейбурт. Иван Прохорович тяжело ранен, разнесло всю челюсть, вряд ли живым останется. Шмарога убит. Илюшка Костычев убит, сходи на хутор, скажи его матери Феоне. Со своим Григорием Савельичем вместе ходили в бой, вырвало ему из ляжки фунта два мяса, мы ему завидуем, направили его на лечение в глубокий тыл, а к севу, глядишь, и в станицу зайвится.

Один Поликашка у нас пляшет, получил новый крест и нашивки фельдфебеля, говорит: «Еще сто лет воевать буду». Ну, до первого боя, а то мы его, суку, укоротим.

Гляди, Марфинька, не вольничай там без меня, блюди честь мужнину и содержи себя в аккурате. Письмо твое я читаю каждый час и каждую минуту. Уберу лошадь, приду в землянку, лягу — читаю. Ночью растоскуется сердце, выну письмо из кармана — читаю.

Не слышно ли у вас на Кубани чего-нибудь о мире? Солдаты с горькой тоскою спрашивают друг друга: «За что мы теряем свою кровь, портим здоровье и складываем головы молодецкие в какой-то проклятой Туречине? Все это напрасно...»

К сему подписуюсь

Максим Кужель»

Слезы женщин размывали каракули присылаемых с фронта писем, и не одна трясущаяся рука ставила перед образом свечку, вымаливая спасение родным и гибнущим.

А там — на далеких полях — снегами да вьюгами крылась молодость!

В зной и стужу, по пояс в снегу и по горло в грязи солдаты наступали, солдаты отступали, жили солдаты в земляных логвах, мерзли в окопах под открытым небом. Осколок снаряда и пуля настигали фронтовика в бою, на отдыхе, во время сна, в отхожем месте. Где-то, в стенах штаба, рука генерала строчила: «Командиру Сумского стрелкового полка. Сего 5-го января в двенадцать часов пополудни приказываю силами всего полка атаковать противника на вверенном вам участке. О результатах операции донести незамедлительно». И вот в глухую полночь по окопам и землянкам перелетывала передаваемая трепетным шепотом команда: «Приготовься к атаке». Люди разбирали винтовки, подтягивали отягченные патронташами пояса. Кто торопливо крестился, кто шептал молитву, кто сквозь сцепленные зубы лил яростную матерщину. По узким ходам сообщений полк подтягивался в первую линию окопов и по команде: «С богом, выходи!» — люди лезли на бруствер, ползли по изрытому воронками снежному полю. Встречный ливень свинца и вихрь рвущейся стали, подобно градовой туче, обрушивался на идущий в атаку полк. Под ногами гудела и стонала земля. В призрачном свете осыпающихся голубыми каскадами ракет, с искаженными ужасом лицами, ползли, бежали, падали, валялись... Горячая пуля чмокнула в переносицу рыбака Остапа Калайду — и осиротела его белая хатка на берегу моря, под Таганрогом. Упал и захрипел, задергался сормовский слесарь Игнат Лысаченко — хлебнет лиха его жинка с троими малыми ребятами на руках. Юный доброволец Петя Какурин, подброшенный взрывом фугаса вместе с комьями мерзлой земли, упал в ров, как обгорелая спичка, — то-то будет радости старикам в далеком Барнауле, когда весточка о сыне долетит до них. Ткнулся головою в кочку, да так и остался лежать волжский богатырь Юхан — не махать ему больше топором и не распевать песен в лесу. Рядом с Юханом лег командир роты поручик Андриевский, — и он был кому-то дорог, и он в ласке материнской рос. Под ноги сибирского охотника Алексея Седых подкатилась шипящая граната, и весь сноп взрыва угодил ему в живот — взревел, опрокинулся навзничь Алексей Седых, раскинув бессильные руки, что когда-то раздирали медвежью пасть. Простроченные огнем пулемета, повисли в паутине колючей проволоки односельчане Карп Большой да Карп Меньшой — придет весна, синим курум задымится степь, но крепок будет сон пахарей в братской могиле... Спал штабной генерал и не слышал ни стука надломленных страхом сердец, ни стонов, оглашавших поле битвы.

Потоки огня и стали размывали материки армий.

Приказы о мобилизациях расклеивались по заборам; в деревнях — оглашались по церквам и на базарных площадях.

Шли люди тяжелого труда и мелкая чиновная братия, зем-

ские врачи и учителя народных школ; шли прапора ускоренных выпусков и недоучившиеся студенты, дети полей и городских окраин; шли ремесленники и мастера, приказчики модных магазинов и головорезы с большой дороги; шли бородачи — отцы семейств, шли юноши — прямо со школьных скамей; шли здоровые, сильные, горластые; калеки возвращались на фронт, жениха война вырывала из объятий невесты, брата разлучала с братом, у матери отнимала сына, у жены — мужа, у детей — отца и кормильца.

Война, война...

Под рев и визг гармоной

кипели сердца

кипели голоса:

Береза ты, береза,
Зеленые прутики,
Пожалейте нас, девчонки,
Нынче мы некрутики...

Шальные, растерзанные, оружие — ватагами — шлялись по улицам, ломали плетни и заборы, били стекла, плясали, плакали, горланили пропавшие песни...

Медна мера загремела
Над моею головой,
Моя милка заревела
Пуще матери родной...

— Гуляй, ребята... Последние наши денечки... Гуляй, защитники царя, веры и отечества!

— Царя?.. Отечества?.. Ты мне больше этих слов не говори... Я там был, мед и брагу пил... Слова твои мне все равно, что собаке палка.

— Брательник, тяпнем горюшка?

— Тяпнем, брат.

Посмотрели брат на брата,
Покачали головой,
Запропали, запропали
Наши головы с тобой...

Петруха стряхнул висевшую на руке жену, разорвал гармонь надвое и, хлестнув половинкой об избяной угол, пустился в прыжку.

— Всю Ерманию разроем!

— Уймись, — унимала его не видящая света жена. — Уймись, пузырек скипидарный.

Петруха из оглобель рвался.

— Ты меня не тревожь, я теперь человек казенный.

Старуха — лицо подобно гнилому ядру ореха — простирала землистые руки.

— Гришенька, дай обнять в останний разочек.

— Не горюй, бабаня, и на войне не всех убивают.
— Сердцу тошно... Гришенька, внучек ты мой жаланый...
Помолись на церковь-то, касатик.
— Сват, прощай!
— Час добрый.
— Война...
— Ох, не чаем и отмаяться.
— Не вино меня качает, меня горюшко берет.
— А ты, Гришутка, на службе пьяным-то не напивайся, начальников слушайся...
— Будя, будя, бабаня.
Последние объятия, последние поцелуи.
И далеко за околицей — в кругу немых полей — понемногу затихали дикие песни, крики, причитания.
И долго еще за деревней, упав на сугроб, вопила старая мать:
— Последнего... Последнего... Ух... Лучше бы я камень родила, он бы дома лежал. Ух, батюшки! Алешенька, цветочек ты мой виноградный! Али без тебя у царя и народу-то бы не хватило?
Ветер хлестал черным подолом юбки, развевал выбившиеся из-под платка седые космы.
— Последнего забрали... Да он и вырасти-то не успел... Последнего! Ух, ух... Сыночки вы мои, головушки победные...
Но не слышали матери родные сыны, и лишь из дальней яруги — на вой ее — воем отзывались волки.

По кубанским и донским шдюхам, по большакам и проселкам рязанских и владимирских земель, по речушкам Карелии, по горным тропам Кавказа и Алтая, по глухим таежным дорогам Сибири — кругом, на тысячи верст, в жару и мороз, по грязи и в тучах пыли — шли, ехали, плыли, скакали, пробирались на линии железных дорог, в города, на призывные пункты.

В приемных — страсть и трепет, горы горя и разухабистая удаль да угарный мат.

Раздетых догола призывников о чем-то спрашивали гарнизонные писаря, наскоро щупали и слушали доктора

— Годен. Следующий.

Призывники тащили жеребья.

— Лоб!

И сверхсрочный кадровый унтер-офицер отхватывал призывнику со лба ножницами клоки волос.

— Лоб!

На затоптанном полу валялись всех цветов волосы, которые еще вчера чья-то любящая рука гладила и причесывала.

Из приемной вылетали, будто из бани, — красные, распарившиеся, с криво нацепленными на шапки номерами жеребьев. Полными горстями хватали из-под ног и жрали грязный снег.

— Забрили... Тятяша, вынули из меня душу.

— Петрован, слышь, своего Леньку отхлопотал...
— У них, батя, карман толстый, они отхлопочут.
— Что ты будешь делать... На все воля божья... послужи — не ты первый, не ты и последний.
— Васька, — лезет тетка через народ, — не видал ли моего Васеньку? Поглядеть на него...
— Пьянай, с ног долой... За трактиром в канаве валяется, ха-ха-ха, весь в нефти.
— Ох, горе мое... Сколько раз наказывала — не пей, Васенька... Нет, опять накушался.
— Прощай, Волга! Прощай, лес!

Казарма

скорое обучение

молебен

вокзал.

...У облупленной стенки вокзала стоял потерявший в толпе мать пятилетний хлопец в ладном полушубчике и в отцовой, сползавшей на глаза шапке. Он плакал навзрыд, не переводя дыхания, плакал безутешным плачем и охрипшим, надсевшим голосом тянул:

— Тятенька, миленький... Тятенька, миленький...

Рывкнул паровоз, и у всех разом оборвались сердца.

Толпа забурилась.

Перезвякнули буфера, и эшелон медленно двинулся.

С новой силой пыхнули бабьи визги.

Крики отчаяния слились в один сплошной вопль, от которого, казалось, земля готова была расколоться.

Хлопец в полушубчике плакал все горше и горше. Лево́й рукой он взбивал падающую на глаза отцову шапку, а правую — с зажатым в кулаке, растаявшим сахарным пряником — протягивал к замелькавшим мимо вагонам и, как под ножом, все кричал да кричал:

— Тятенька, миленький... Тятенька, миленький...

Колеса отстукивали версту за верстой, перегон за перегонном.
На Ригу, Полоцк

Киев и Тирасполь

Тифлис, Эривань

катили эшелоны.

Тоску по дому, по воле солдаты заливали одеколоном, политурой и лаком. Плясали на коротких остановках, снимались у привокзальных фотографов, в больших городах — на извозчиках — скакали в бардаки.

В Самаре и Калуге, Вологде и Смоленске, в казачьей станице и в убогой вятской деревеньке не умолкало сонное бормотание полупьяного дьячка:

— Помяни, господи, душу усопших рабов твоих, христоробивых воинов — Ивана, Семена, Евстафия, Петра, Матвея, Николая, Максима, Евсея, Тараса, Андрея, Дениса, Тимофея, Ивана, Пантелея, Луку, Иосифа, Павла, Корнея, Григория, Алексея, Фому, Василия, Константина, Ермолая, Никиту, Михаила, Наума, Федора, Даниила, Савватаея — помяни, господи, живот свой на поле брани положивших и венец мученический восприявших... Прими, господи, убиенных в селение праведных, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная... Вечная память!

С православным дьячком согласно перекликался лютеранский пастор и католический ксендз, тунгусский шаман и магометанский мулла.

Над миром стлалась погребальная песнь.

Но в напоенной кровью земле зрели зерна гнева и мести.

Глухо волновался Питер, и первые камни уже летели в окна полицейских участков...

СЛОВО РЯДОВОМУ СОЛДАТУ МАКСИМУ КУЖЕЛЮ

*В России революция — дрогнула мати
сыра земля, замутился белый свет...*

Полк наш стоял на турецких фронтах, когда грянула революция и был свергнут царь Николай II.

Фронтвики диву дались.

Сперва было из старых солдат по-настоящему и не поверил никто, а разговор сквозь потянул бу-бу-бу, бу-бу-бу... Ждем-пождем, верно, приказ начальника дивизии — переворот, отречение императора от престола, тут тебе Дума, тут Временное правительство, катая, братцы, благодарственные молебны.

Рады стараться!

Горнист проиграл сбор, полк был выстроен треугольником.

— Право равняйся!.. Смирно! Шапки до-лой!

Раскурил халдей кадило, рукавами тряхнул:

— Благословен бог наш...

Солдатский волос дыбом подымается, мороз дерет по коже... Стоим, не дышим: уж больно жалостно и вроде слезу у тебя высекает.

— Миром господу помолимся...

Обкидываем себя крестным знаменем, валимся на колени, лбами в землю бьем... «Бог ты наш, бог солдатский, нечесаный, невытый... И куда ты, бог, твою непорочную, некачанную, неворочанную, куда ты подевался и бросил нас, как плохой пастух овец своих? Зачем ты спокинул нас на растерзанье злой судьбины, и зачем ты, вшивый солдатский бог, не жалеешь нашей горькой солдатской жизни?»

Потряхивал батюшка кадилом, только космы развевались по ветру...

Повеселевшие солдаты ярко так друг на друга поглядывали и груди выправляли.

Помолились, оправились, ждем, что будет.

Выезжает перед строем дивизионный генерал — борода седая, грудь в крестах и голос навывкате. Привстал он на стременах и телеграммой помахал.

— Братцы, его императорского величества государя императора Николая Александровича у нас больше нет...

Помахал генерал телеграммой, заплакал.

А солдаты испугались и молчали.

Один фейерверкер Пимоненко не уробел и смело развернул заранее приготовленный красный флаг:

ДОЛОЙ ЦАРЯ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАРОД!

Дух занялся!

Музыка заиграла!

Кто характером послабее, действительно заплакал. Стоим,— не знай на флаг глядеть, не знай генерала слушать...

— Братцы, старый режим окончился... Восхваление чинов отменяется... Превосходительство теперь не будет, благородий не будет... Господин генерал, господин полковник и господин взводный... Дожили до свободы, все равны... Но что бы там ни было, присягу в голове держи... Помни, братцы, Расея наша мать, мы ее дети...

Прорвалось:

— Ура!

— Ура-а!

— Ура-а-а!

Музыка все наши крики задушила.

Платком вытер шею генерал, прокашлялся и ну до солдат.

— Помни устав, любви службу, не забывай веру, отечество... Вы есть серые орлы, честь и слава русского оружия... На ваше беззаветное геройство глядит весь мир...

Опять загремело и пошло перекатом по всему полку:

— Ура!

— Ура-а!

— Ура-ааа... Ааа... Ааааа...

— Пострадали.

— Полили крову...

— Триста лет.

— Хватит!

— Браво!

— Царя к шаху-монаху на постны щи!

Уважил нас старик словом ласковым. Сустари веков с нижним чином толстой палкой разговаривали, а тут эка выворотил его превосходительство — хоть стой, хоть падай — все равны, слава, серые орлы... Разбередил он сердце, разволновал солдатскую кровь, принялись мы еще шибче «ура» кричать, а которые из молодых офицеров бережненько стащили генерала с коня и давай его качать.

Хватил полковой оркестр.

Отдышался старик, бороду разгладил и с молодеватой выправкой, легко так, на носках, подошел к строю.

— Поцелуемся, братец!

И на глазах у всех дивизионный генерал расцеловал правофлангового первой роты, рядового нашего солдата Алексея Митрохина.

Полк

ахнул.

Мы стояли, как каменные, и только тут поверили по-настоящему, что старый режим кончился и народилась молодая свобода в полной форме.

Шеренги дрогнули, перемешались все в одну кучу... Кто плачет, кто целуется. Казалось, все готовы идти заодно — и солдаты, и офицеры, и писаря, — лишь один сверхсрочный кадровый фельдфебель Фоменко слушал нас, слушал, пыхтел-пыхтел, но все-таки, негодяй, курносая собака, не подчинился, вытаращил глаза и давай орать во всю рожу:

— Неправда!.. Царь у нас есть и бог есть!.. Его императорское величество был и будет всегда, ныне и присно и во веки веков!.. С нами бог и крестная сила! — Он перекрестился, густо сплюнул и, размахивая руками вперед до пряжки и назад до отказа, учебным шагом пошел прочь, барабанная шкура.

Не до него нам было.

До самой ночи говорили ораторы, говорили начальники, говорили и солдаты, путаясь языком в зубах.

Все были как пьяные.

Принял полк присягу с росписью, целовал крест, дал революционную клятву Временному правительству.

Дело, помню, великим постом делалось.

Распустили мы над окопами красный флаг: войне — киты!

Живем месяц, живем другой, проводили святую неделю, троицын день, войны и не было, а доброго не виделось. Ровно медведи, валялись по землянкам, укатывали боками глиняные нары, положенные часы выстаивали на караулах, ходили в дозоры, на всякой расхожей работе хрип гнули и неумной тоской заливались по дому своему. Как и при старом режиме, вошь точила шкуру, тоска хрулила кости, а рядовые ничего не знали и по-прежнему, помня полевой устав, терпели голод, холод и несли фронтовую службу.

Цейхгауз дивизионный по случаю революции растащили мы дочиста. Мне шпагату четыре мотка досталось, подсумки холщовые: нестоющее барахлишко, а домой, думаю, вернусь — пригодится. Двое полтавских из девятой роты полковой денежный ящик утащили; и как им, дьяволам, нечистая сила помогла, вовек не додуматься: весу тот ящик пудов десять, а то и все пятьдесят.

Комитеты кругом, в комитетах споры-разговоры...

В каждом полку комитет, в каждой роте комитет, в корпусе будто комитет был, да что там — каждый нижний чин, и тот сам себе комитет, только бы глотка гремела. У меня, не в похвальбу будь сказано, смекалка не на палке — фронт научил, и два

георгия в грудь не задарма вlepлены. Вторая рота в голос по-решила:

— Будь ты, Максим Кужель, товарищ неизменный, будь нашим депутатом и мозолистыми руками поддерживай наш солдатский интерес.

То ли от страху, то ли от радости руки у меня дрожат — папироску сворачиваю, — однако виду не подаю и, закурив, отвечаю:

— Служил царю, послужу и псарю... Малоученый я, но не робею и за солдата душу отдам.

— Крой, Кужель.

— В обиду не дадим.

— Верой и правдой чтоб.

Закрутил я ус кренделем и в комитет.

На привольном воздухе комитет, в офицерской палатке. Бывало, до этой палатки четырех шагов не дойдешь — стоп! Вытянешься — того гляди шкура лопнет: «Гав, гав, гав, разрешите войти!» Теперь, шалишь, кому захотелось, и лезь в комитет, как в дом родной. Заходит серый и с офицером за ручку: «Как спать изволили?» — а то еще того чище: развалится серый, будто султан-паша, закурит табачок турецкий и под самый офицеров нос дым этак хладнокровно пускает, а он, его благородие, вроде и не чует.

И смешно и дивно...

Вернусь в роту, расскажу-размажу, гогочут ребята, ровно жеребцы стоялые, и вздыхают свободно.

Дальше — больше, о доме разговоры пошли.

— Скоро ли?

— Да как?

— Пора бы...

— Сиди тут, как проклятый.

— Покинуты, заброшены...

— Защитники, скотинка бессловесная.

Солдатская секция и в комитете нет-нет да и подсунет слово:

— Как там?

— Ждите, братцы. Газеты пишут, скоро-де немцам алла верды, тогда замиренье выйдет, и мы, как всесветные герои, мирно разъедемся по домам родины своей.

— Три года, ваше благородие, газеты рай сулят, а толку черт ма.

— Помни долг службы.

— Больно долог долг-то, конца ему не видать.

— Много ждали, немного надо подождать.

Тут у нас разговор глубже зарывался.

— Не довольно ли, ваше благородие, буржуазов потешать? Наше горе им в смех да в радость.

— За богом молитва, за родиной служба не пропадет.

— Надоели нам эти песни. Воевать солдат больше не хочет.
Довольно. Домой.

Начальники свое:

— Расея наша мать.

Мы:

— Домой.

Они, знай, долдонят:

— Геройство, лавры, долг...

А мы:

— Домой.

Они:

— Честь русского оружия.

Мы в упор:

— Хрен с ней, и с честью-то,— говорим,— домой, домой и
домой!

— Присягу давали?

— Эх, крыть нам нечем, верно, давали...— И какая стерва
выдумала эту самую присягу на нашу погибель?

Оно хотя крыть и нечем, а к офицерству стали мы маленько
остывать.

С горя, с досады удумали с соседними частями связаться.
Набралось нас сколько-то товарищей, приходим в 132-й Стрел-
ковый. Жарко, тошно. Солдаты и тут в нижних рубашках, рас-
пояской гуляют, а которые, босиком и без фуражек.

— Где у вас комитет, землячок?

— Купаться ушли, а председатель в штабе дежурит.

Вваливаемся в штаб.

Председатель комитета, Ян Серомах, с засученными по ло-
коть рукавами, брился стеклом перед облупленным зеркальцем,
стекло о кирпич точил.

— Рассказывай, председатель, какие у вас дела?

— Дела,— говорит,— маковые...

И так и далее катили мы веселый солдатский разговор, пока
Серомах не выбрился. Оставшийся жеребик стекла он завернул
в тряпицу, сунул в щель в стене и, обмыв чисто выскобленные
скулы, поздоровался с нами за руки:

— Ну, служивые, вижу, вы народы свои, народы тертые, не
дадите спуску ни малым бесенятам, ни самому черту... Гайда в
землянку, чаем угощу.

Чаек, заваренный ржаными корками, пили мы вприкуску,
с сушеной дикой ягодой, а ягоду Серомах насобирав, в разведку
ходячи, и председатель рассказывал нам, как они своего полково-
дучего командира за его паскудное изуверство перевели на кухню
кашеваром; как послали в корпусной комитет депутацию с требо-
ванием отвести полк в тыл на отдых; как на полковом митинге
постановили чин-званье солдатское носить и фронт держать,

пока терпенья хватает, а то срываться всем миром-соброром и гайда по домам.

— По домам так вместе,— говорим,— и мы тут зимовать не думаем.

— Что верно, то верно: ордой и в аду веселей.

Провожал нас Серомах, опять шутил:

— Жизнь, братцы, пришла бекова: есть у нас свобода, есть Херенский, а греть нам некого...

Всю дорогу ржали, Серомаха вспоминаячи.

Живем и пятый и десятый месяц, а конца своему мученью не видим.

Выползешь вечером из землянки — лес, горы, колючка — убогий край... То ли у нас на Кубани! Там тихие реки текут, шелковы травы растут, там — степь! Да такая степь — ни глазом ты ее, ни умом не обнимешь...

Сидишь так-то, пригорюнишься...

С турецкой стороны ветер доносит молитву муэдзина:

— Аллах вар... Аллах сахих... Аллах рахман, рахим... Ля илаха ил-ла-л-лаху... Ве Мухаммед ресулу-л-ляхи...

От скуки в гости к туркам лазили и к себе их таскали, борщом кормили, батыжничали. Черные, копченые, ровно в бане век не мылись, глядеть на них с непривычки тошно. Табаку притащут, сыру козьего. Сидим, бывало, летним бытом на траве, курим и руками этак разговариваем.

— Кардаш, домой хочется? — спросит русский.

— Чох, истер чох! — Зубы оскалят, башками качают, значит, больно хочется.

— Чего же сидим тут, друг дружку караулим?.. Будя, поиграли, расходиться пора... *Наш* спрыгнул с трона, и вы *своего* толкайте.

Опять залопочут, зубы оскалят, башками бритыми мотают и глаза защурят, а русский понимает — и им, чумазым, война не в масть, и ихнего брата офицер водит, как рыбу на удочке.

— Яман офицер? Секим башка?

— Уу, чакыр яман.

— Собака юзбаши?

— Копек юзбаши... Яман... Бизым карным хер вакыт адждыр.

Разговариваем однажды так, а верхом на пушке сидит портняжка Макарка Сычев. Таскает он из-за пазухи вшей, иголкой их на шпулишную нитку цепочкой насаживает и покрикивает:

— Беговая... Рысистая... С поросенка!

Русские ржали, ржали и турки. В тот вечер у них праздник уруч-байрам был, прикатили они кислого виноградного вина бочонок, барашка приволокли. Барашка на горячие угли, бочонок в

круг, плясунов, песенников на кон, и пошло у нас веселье: ни горело, ни болело, ровно и не лютовали никогда.

Подманил лихой портняжка одного Османа, лапу ему в ширинку запустил и за хвост, на ощупь, вытаскивает действительно вошь. Пустил ее в пару со своей в разгулку на ладонь и спрашивает Османа:

— Видишь?

— Вижу.

— Твоя насекомая и моя насекомая, моя крешеная, твоя басурманка... Угадай, какой они породы?

— Обе солдатской породы, — отвечает Осман на турецком языке. — Хэп сибир аскерлы...

— Верно, — орет Макарка Сычев. — За что же нам друг на друга злобу калить и зачем неповинную крову лить?.. Не одна ли нас вошь ест, и не одну ли мы гложем корку хлеба?

— Кардаш, чох яхши, чох! — закричали турки, а посмеявшись той шутке, все принялись господ офицеров поносить. И как они смеют прятать от солдата свободу в кошельке?

Слушали мы и песни турецкие, и на один, и на два голоса, и хоровые. Ничего, задушевные песни, а в пляске, я так думаю, за русским солдатом ни одна держава не угонится. Вышел наш Остап Дуда, штаны подтянул, сбил папаху на ухо, развернул плечо — ходу дай! Балалайки как хватят, Остап как топнет-топнет: земля стонет-рыдает, и сердце кличет родную дальнюю сторонущку...

Собрались как-то и мы целым взводом к туркам в гости.

Приходим.

— Салам алейкум.

— Сатраствуй, сатраствуй.

Оборванные, голодные, греются на солнышке, микробов ловят.

— Приятель, чего поймал? — спрашивает русский.

— Блох.

— Как блоху? Воша.

— Блох.

— Почему белый?

— Маладой.

— Почему не прыгает?

— Глюпый.

Смеемся, курим, о том и о сем разговариваем. По харям видно — и им до смерти домой хочется, а домой не пускают.

— Яман дела?

— Яман, яман...

Землянки турецкие еще хуже наших. Бревна не взакрой накатаны, как у русских принято, а торчат козлами, а иные логова из камня-плитняка сложены, лазы глиной и верблюжьими говьяхами заделаны, по стенам плесень и грибы растут — в берлоге такой ни встать, ни лежа вытянуться. В офицерских землянках

и чисто и сухо — полы мелким морским песком усыпаны, тут тебе цветы, тут ковры и подушки горами навалены, — этим терпеть можно, эти еще сто лет провоют и не охнут.

Наменяли мы на кукурузный хлеб сыру козьего, табаку, мыла духового; один из наших ухвертов умудрился — офицеровы сафьяновые сапожки спер, и поползли мы назад.

Доходим до своей позиции и видим пробуждение: полчане бегут, на ходу шинелишки напяливая; полковой пес Балкан тявкает и скачет как угорелый; музыканты барабаны и трубы ташат.

— Куда вы?

— В штаб дивизии.

— Чего там?

— Бежи все до одного... Комиссия приехала.

— Не насчет ли мира?

— Все может быть.

— А окопы, наша передовая линия?

— Нехай Балкан караулит.

До штаба дивизии восемь верст.

Бежим, пятки горят.

— Мир.

— Домой.

— Дай ты господи.

Довалились, языки повысунувши.

Народу набежало, народу...

Полковые знамена и красные флаги вьются, оркестры играют «Марсельезу».

— Кто приехал?

— Штатская комиссия по выборам в учредилку.

— Слава богу.

— Потише, потише...

Проскакал дивизионный, и полки замерли.

Вот чего-то прогугнил батя, но нам слушать его неинтересно.

Вылезает один, в суконной поддевке, снял шапку бобровую и давай на все стороны кланяться.

— Граждане солдаты и дорогие братья... Низкий поклон вам от свободной родины, от великой матери Расеи!

Закричала от радости вся дивизия, задрожали земля и небо.

Оратор тот знай повертывается да волосами потряхивает... Слушали его передние сотни, а задние — тысячи — по маханью рук старались догадаться, о чем он говорит.

До нашей роты, хоть и не каждое слово, а долетало:

— ...Граждане солдаты... Геройское племя... Государственная дума... Защита прав человека... Углубление революции... Революция... Фронт... Революция... Тыл... Наши доблестные союзники... Старая дисциплина... Слуги старого строя... Сознательный солдат... Партия социалистов-революционеров... Свобода, равенство, братство... Своею собственной рукой... Еще один

удар... Революция... Контрреволюция... Война до полной победы... Ура!

Дивизию как бурей качнуло.

— Ура!

— А-а-а-а...

— Аа-а-а-а-а-а...

Иной, не поняв ни аза, кричал так, что жилы на лбу вздувались; иной потому кричал, что другие кричали; была приучена дивизия к единому удару; а иной просто тому радовался, что видел живых расейских людей — и об нас, мол, не забывают.

В политике в те поры рядовые мало разбирались. Нам всякая партия была хороша, которая докинула бы до солдата ласковым словом да которая пригрела бы его, несчастного, на своей груди.

Мы с членом комитета Остапом Дудой кричали «ура» вместе со всеми, а потом поглядели друг на друга и задумались...

— «Война до победы», — говорю, — таковые слова для нас хуже отравы.

Остап Дуда скрипнул зубами.

— Как бы они нас красиво ни призывали, воевать больше не будем.

— Где тут солдату просветление, ежели нас на своих же офицеров натравливают? — Это говорит позади меня отделенный Павлюченко. — Сами мы их ругаем, а ты, тыловая вошь, не кусай. Они хоть и не больно хороши, а с нами вместе всю войну прошли, одним сухарем давились, под одну проволоку ползали, одна нас била пуля. Немало их, как и нас, серых, закопано в землю, немало калеченых по лазаретам валяется...

Кругом заговорили:

— Правильно.

— Неправильно.

— Долой белогорликов.

Оборачивается к Павлюченке Остап Дуда и головой невесело качает:

— Эх ты, Петрушка балаганный, верещишь не знамо что... Нашел кого жалеть! Нам офицеров жалеть не приходится, большинство из них воюет по доброй воле да нас же в три кнута гонят в наступление... Интенданты, что заглатывают солдатские деньги, есть наши первые враги. Называют тебя свободным гражданином и заставляют служить без курева за семьдесят пять копеек в месяц, а корпусной генерал, по словам писарей, получает три тысячи рублей в месяц. Эти генералы есть тоже наши первые враги... Туркам наша свобода не вредит, не в нос она тем, кто сидит на мягких диванах... Поехал я летом в отпуск в Тифлис. Жара-духота свыше сорока градусов. Хожу по улицам в зимней папахе и в зимних шароварах. А буржуи катаются на извошиках, одеты в шелка и бархат, обвешаны бриллиантами и золотом... Офицеры в духанах сидят, кителя расстегнули — курят сигары, тянут винцо и ля-ля-а, ля-ля, ля-ля-ля-ля, ля-ля, ля-ля-ля,

ля-а-ля-ля-ля... Это не сказка, можете поехать в город Тифлис и сами все рассмотреть. Время положить ихнему блаженству конец!

Говорили штатские депутаты и наши офицеры, говорил начальник дивизии и какой-то комиссар фронта. Какие они правильные слова ни выражали, нам казались все до одного неправильными; сколько они солдату масла на голову ни капали, мы кричали — деготь; сколько они нас ни умягчали, мы несли свое:

— Монахов на фронт!

— Фабрикантов на фронт!

— Помещиков на фронт!

— Полицейских на фронт!

Кто-то кричит:

— Куда девали царя Николашку?

В суконной поддевке отвечает:

— Мы его судить думаем.

— Долго думаете. Ему суд короток. Царя и всю его свору надо судить в двадцать четыре часа, как они нас судили.

— Пускай пришлют сюда жандармов и помещиков,— смеется фейерверкер Пимоненко,— мы их сами разорвем и до турок не допустим.

— Сказани-ка, Остап, про Тифлис, про кошек серых...

— Сказани... Мы их слушали, нехай нас послушают.

Остап Дуда встал ногами к нам на плечи и давай поливать. А глотка у него здорова, далеко было слышно...

— Господа депутаты,— звонко кричит Остап Дуда,— вы страдали по тюрьмам и каторгам, за что и благодарим. Вы, борцы, побороли кровавого царя Николку — кланяемся вам земно и благодарим, и вечно будем благодарить, и детям, и внукам, и правнукам прикажем, чтобы благодарили... Вы за нас старались, ни жизнью, ни здоровьем своим не щадили, гибли в тюрьмах и шахтах сырых, как в песне поется. Просим — еще постарайтесь, развяжите нам руки от кандалов войны и выведите нас с грязной дороги на большую дорогу... На каторге вам не сладко было? А нам тут хуже всякой каторги... Нас три брата, все трое пошли на службу. Один поехал домой без ноги, другого наповал убило. Мне двадцать пять лет, а я не стою столетнего старика: ноги сводит, спину гнет, вся кровь во мне сгнила... Поглядите, господа депутаты,— показал он кругом,— поглядите и запомните: эти горы и доли напоены нашей кровью... Просим мы вас первым долгом поломать войну; вторым долгом — прибавить жалованья; третьим долгом — улучшить пищу. Низко кланяемся и просим вас, господа депутаты, утереть слезы нашим женам и детям. Вы даете приказ: «Наступать!»— а из дому пишут: «Приезжайте, родимые, поскорее, сидим голодные». Кого же нам слушать и о чем думать — о наступлении или о семьях, которые четвертый год не видят досыта хлеба? Разве вас затем прислали, чтоб уговаривать нас снова и снова проливать кровь? Снарядов нехва-

ток, пулеметов нехваток, победы нам не видать как своих ушей, а только растревожим неприятеля, и опять откроется война. Нас тут побьют, семьи в тылу с голоду передохнут... Генералы живы-здоровы, буржуи утопают в пышных цветах, царь Николашка живет-поживает, а нас гоните на убой?.. Выходим мы из терпенья, вот-вот подчинимся своей свободной воле, и тогда — держись, Расея... Бросим фронт и целыми дивизиями, корпусами, двинемся громить тылы... Мы придем к вам в кабинеты и всех вас, партийных министров и беспартийных социалистов, возьмем на кончик штыка!.. Чего я не так сказал — не обижайтесь, товарищи, наболело... Кончайте войну скорее и скорее!..

Мы:

— Ура, ура, ура...

Депутаты пошептались, наскоро разъяснили нам, за кого голосовать, и — в автомобиль, и — дралала...

А мы вдогонку ревим:

— Ми-и-и-ир!

Полк наш три дня кряду голосовал прямым и равным, тайным и всеобщим голосованием. Листками избирательными набили урну внабой. Почетный караул к урне приставили и порешили, как было приказано высшим начальством, хранить наши голоса в полковом комитете впредь до особого распоряжения.

Живем, о мире ни гу-гу.

Офицеры из России газеты получали, но нам ничего не расказывали: все равно, мол, рядовой, баранья башка, речь министрову не поймет.

Письма с родины доходили на фронт редко. Читались письма принародно, как манифесты. Семейные обстоятельства наши были одинаковы. Доводили нас родные до сведения о своей невеселой житухе. Мы на фронте страдаем, они в тылу страдают. Наслушаешься этих писем, злоба в тебе по всем жилам течет, а на кого лютовать — и не придумаешь толком. Еще пуще разбирает охоту поскорее домой воротиться, хозяйство и семью посмотреть.

Так и жили, томилась, ждали какого-то приказа о всеобщей демобилизации, на занятия не выходили, работой себя не донимали, в карты играть надоело, а курить было нечего.

Проведала братва, будто в городе Трапезунде на митингах насчет отпусков до точности разъясняют. Полковой комитет вызывает охотников. Выкликнулись мы трое — Остап Дуда, пулеметчик Сабаров да я — и пошли в Трапезунд на разведку.

Время мокрое, грязь по нижню губу, сто верст с гаком перли мы без отдыха — на митинг боялись опоздать. Напрасны были опасенья, митингов не переглядеть, не переслушать — и на базарах, и в духанах, и на каждом углу по митингу.

На митинге нам открылась секретная картина:

— Бей буржуев, долой войну.

Справедливые слова!

Меня аж затрясло от злости, а по набрякшему сердцу ровно ржавым ножом порснуло.

— Нечего,— говорю,— ребята, время зря терять: сколько ни слушай, лучшего не услышишь. Всем свобода, всем дано вольным дыхом дышать, а ты, серая шкурка, сиди в гнилых окопах да зубами щелкай. Снимемся всем полком и — прощай, Макар, ноги озябли.

Товарищи меня держат.

— Постой, Максим, погоди.

— Треба нам, как добрым людям, почайничать и перекусить малость.

— Будь по-вашему,— говорю.

Заходим в духан, солдат полно.

Кто кушает чай, кто — чебуреки, а кто и хлебец, по старой привычке, убивает. Есть деньги — платят, а нет — покушает, утрется и пойдет. Известно, служба солдатская не из легких, а жалованье кошачье. В конце семнадцатого года стали семь с полтиной получать, а бывало, огребет служивый за месяц три четвертака, не знай — ваксы купить, не знай — табачку, последняя рубашка с плеча ползет, вошь на тебе верхом сидит, шильце-мыльце нужно. Туда-сюда и пляшет защитник веры, царя и отечества, как карась на горячей сковороде. Карман не дозволяет солдату быть благородным.

Разговоры кругом, от разговоров ухо вянет.

— Какая в России власть?

— Нету в России власти.

— Дума? Наше Временное правительство?

— Всех наших правителей оптом и в розницу подкупила буржуазия.

— А Керенский?

— Так его ж никто не слушает.

Большевиков ругают, продали родину немцам за вагон золота. Кобеля Гришку Распутина кроют, как он, стервец, не заступился за солдата. Государя императора космыряют, только пух из него летит.

Один подвыпивший ефрейторишка шумит:

— Бить их всех подряд: и большевиков, и меньшевиков, и буржуазию золотобрюхую! Солдат страдал, солдат умирал, солдаты должны забрать всю власть до последней копейки и разделить промежду себя поровну!

Горячо говорил, курвин сын, а, насосавшись чаю, шашку в серебре у терского казака слизнул и скрылся.

— Расея без власти сирота.

— Не горюй, землячок, были бы бока, а палка найдется...

— Дивно.

— Самое дивное еще впереди.

— Где же та голова, что главнее всех голов?

— Всякая голова сама себе главная.

— А Учредительное собрание?

— Крест на учредилку! — смеется из-под черной папахи сибирский стрелок. Выбирает он из обшлага бумагу и подает нам. — Теперь мы сами с усами, язви ее душу. Читай, землячки, читай вслух, я весь тут перед вами со всеми потрохами: Сибирского полка, Каторжного батальона, Обуховой команды...

Бумагу — мандат — выдал ему ротный комитет, каковой ротный комитет в боевом порядке направо и налево предписывал: во-первых, революционного солдата Ивана Савостьянова с турецкого фронта до места родины, Иркутской губернии, перевезти за счет республики самым экстренным поездом; во-вторых, на всех промежуточных станциях этапным комендантам предсказывалось снабжать означенного Ивана всеми видами приварочного и чайного довольствия; в-третьих, как он есть злой охотник, разрешалось ему перевезти на родину пять пудов боевых патронов и винтовку; в-четвертых, в-пятых и в-десятых — кругом ему льготы, кругом выгоды!

Мандат — во! — полдня читать надо.

— Где взял? — стали мы его допытывать.

— Где взял, там нет.

— Все-таки?

— Угадайте.

Нам завидно, навалились на сибиряка целой оравой и давай его тормозить: скажи да скажи.

— За трешницу у ротного писаря купил.

— Ну-у?

— Святая икона, — сказал он и засмеялся... Да как, сукин сын, засмеялся... У нас ровно кошки вот тут заскребли.

Выпадет же человеку счастье...

Спрятал Иван Савостьянович мандат в рукав, мешок с патронами на плечи взвалил, гордо так посмотрел на нас и пошел на самый экстренный поезд.

В городе Трапезунде встретил я казака Якова Блинова — станишник и кум, два раза родня. В бывалошное время дружбы горячей мы не важивали, был он природный казак и на меня, мужика, косился, а тут обрадовались друг другу крепко.

— Здорово, Яков Федорович.

— Здорово, служба.

Обнялись, поцеловались.

— Далече?

— До дому.

— Какими судьбами?

— Клянусь богом, до дому, — говорит.

— Приказ...

— Я сам себе приказ.

— Ври толще?

— Верно говорю.

- Как так?
- Так.
- Да как же оно так?
- Этак, — смеется.

Оружие фронтовое на нем, ковровые чувалы и домашнее — под серебром — чернью травленное седло на горбу.

— Катанем, Максим, на родную Кубань, до скусных вареников, до зеленого степу, до удалых баб наших. Провались война, пропади пропадом, проклятая сатана, надоела.

— Так-то ли, Яша, надоела, сердце кровью запыло, а как поедешь? Не с печи на полати скакнуть.

— Ээ, сядем да поедем... Все едут, все бегут... И наш четвертый пластунский батальон фронт бросил. Довалились мы сюда, водоход заарестовали, к вечеру погрузимся и — машинист, крути машину, станови на ход!

Вижу по морю — ветер по морю чубы закручивает, и водоход у пристани Якова ждет.

Расступился в мыслях я — ехать или нет?.. Полчан маленько совестно — меня, как бытного, послали, а я убегу?.. И шпигат, признаться, жалко.

— Нет, Яша, не рука.

— Напрасно.

— Мало ли чего... У нас в роду никто дезертиром не был. Дедушка Никита двадцать пять лет служил, да не бегал.

— О том, кум, что было при царе Косаре, помянуть нечего. А со мной не едешь зря, попомни мое слово — зря.

— Поклонись сторонушке родимой... Марфу мою повидай, сродников. Отвали им поклонов берем. Пускай не убиваются, скоро вернусь. Порадуй мою: боев на фронте больше нет; кто остался жив, тот будет жить. А еще накажи Марфе строгонастрога, чтоб дом блюла и последнего коня не продавала. Вернусь ко дворам, пригодится конь.

Яков меня и слушает и не слушает, ус крутит, усмехается:

— Ставь бутылку, научу с фронтом распрощаться, а то еще долгонько будешь петь: «Чубарики-чубчики...»

— Ты научишь в обруч прыгать...

— Говорю не шутя.

— Учи давай, за бутылкой я не постою, бутылку поставлю.

— Подписывайтесь всем полком в большевики и езжайте с богом кто куда хочет.

Слова станишника мне вроде в насмешку показались, спрашиваю:

— Слыхал, про большевиков-то чего гуторят?.. Продали, слышь?..

— Брехня.

— Ой ли?

— Собака и на владыку лает.

— Что ж они такие за большевики?

— Партия — долой войну, мир без никаких контрибуций.
Подходящая для нас партия.

— Так ли, кум?

— Свято дело сватово.

— Ты и сам большевик?

— Эге.

— Значит, домой?

— Прямой путь, легкий ветер.

Заныло сердце во мне...

Укатит, думаю, казак на родину, а мне опять сто верст с гаком по грязи ноги вихать, опять постылые окопы... Но тут вспомнил я роту свою и товарищей своих, с которыми не раз отбивался от самой смерти... С твердостью говорю:

— Нет, Яша, не рука. К рождеству ожидай и меня, режь кабана пожирнее, вари самогон попьаннее, гостевать приду.

— Долга песня.

Распили мы с ним в духане бутылку вина, пошли к морю. Казак рассказывал мне про свою службу:

— Две зимы наш батальон под Эрзерумом черные тропы топтал... Две зимы казаченьки голодовали, холодовали, призывали бога и кляли его, вослед нам ложились могилы и кресты... Вспомнишь о доме: земли у тебя глазом не окинешь; скотины полон двор; птица не считана; жена, как солнышком умыта, под окошечком скучает, тягостные слезы льет... А ты — горе, кручина, чужая сторона — торчи в проклятой во Туречине, томись смертной истомой да свищи в кулак... Улыбнулась из-за гор свобода, все петли и узлы полопались, потянуло нас домой... Так потянуло, терпенья нет. Был у нас в батальоне один такой политический казачок — книгоед, вот он и говорит: «Так и так, братцы, пора и нам опамятоваться». Подумали мы думушку казачью, погадали про свою долю собачью и решили всем батальоном к большевикам перекачнуться.

— Хваты-браты.

— И я то же говорю.

— Ну и ну да луку мешок.

Порт кишел солдатами, солдат в порту, как мошкары.

На каждом винтовка, котелок и фляга бренчит. С шумом и гамом толпами валили все новые и новые из города и с пригороду, топтали друг друга, ревели как бугаи, лезли — пристанские мостки под ними провисали — всяк свое орал, всяк рвался на водоход попасть, на водоходе местов не было: на самой трубе и то человек с десять торчало.

С крыши пристанской конторы говорил речь какой-то приехавший из Новороссийска юнкер Яковлев — шапка с позументом заломлена набекрень, солдатская шинель нараспашку. Он ругал буржуев и хвалил большевиков; самыми последними словами клял Временное правительство и восхвалял большевицкие сов-

депы; призывал записываться в Красную гвардию и уговаривал продавать лишнее оружие какому-то военному комитету.

Кто к его голосу прислушивался и останавливался, кто мимо шел.

Обмотал кум бинтом здоровую руку и кричит:

— Расступись, шившая команда, пропускай раненого.

Расступались солдаты, казаку дорогу давали. Пробрался он на водоход и с борта папахой мне помахал.

— Прощай, Максим, ты все-таки подумай.

— Думала баба над корытом...

Рывкнул водоход, встряхнулся и поплыл — поплыл, как гусь белый.

Те, что остались на берегу, готовы были с досады землю жрать, матерились в креста, бога, печенку и селезенку.

А водоход

дальше

дальше

и чу-у-у-уть слышно:

Из далеких стран полуденных,
Из турецкой стороны
Шлем поклон тебе, родимая,
Твои верные сыны...

Принялся я своих товарищей уговаривать не терять время попусту, скорее до полка возвращаться. Рассказал о встрече с Яковом Блиновым, о его казацкой хитрости и ухватке молодецкой.

Стояли мы так, мирно беседовали. Ночь поднималась над городом и над морем, по улицам мотались солдаты и, не боясь угодить в маршевую роту, во всю рожу запеснячивали песни расейские. А потом слышим, пошло: «Ура, караул, алла-алла!» На базаре артиллеристы кинулись азиятов бить, лавки и магазины ихние поразвалили, товаришко всякий в открытом виде валяется, любую вещь нарасхват бери.

Пулеметчик Сабаров отбил от нас и остался в городе, а мы с Остапом Дудой закурили и зашагали обратно на позицию.

Слушать нас сбежался весь полк.

Полчане стояли тесно — плечо в плечо и голова в голову.

Взлезаю на повозку, говорю на полный голос, чтоб до каждого достало:

— Фронтовики... Кровь родная... Скажу я вам, какая в Трапезунде открылась нам секретная картина.

Над целым полком стою.

Тыща глаз ковыряют меня, тыща плечей подпирают меня... Не чую я ни ног под собой, ни головы над собой... Ровно пьяный, легко раскидываю кулаки и по чистой совести раскрываю похождение наше в Трапезунд — кого видали, чего слышали, за какие грехи роняем крову свою, в чем тут фокус и в чем секрет...

Семь потов, как семь овчин, спустило с меня, пока говорил. Кто кричит — правильно, кто — верно, а кто со злости только мычит.

Меня так и подмывало еще говорить и говорить, пока самый заухудалый солдат поймет, в чем тут загвоздка и в чем же суть дела.

Остап Дуда тоже остервенел: весь так и выверился, подкатило человеку под само некуды... Оттолкнул меня и кричит Остап Дуда:

— Расея... Шо це таке воно за Расея?.. Расея есть притон буржуазии... Кончай войну! Бросай оружие!

Солдатская глотка — жерло пушечье.

Тыща глоток — тыща пушек.

Из каждой глотки — вой и рев:

— Окопались...

— Хаба-ба...

— Говори, еще говори.

— Измучены, истерзаны...

— Воюй, кому жить надоело.

— Триста семь лет терпели.

— Долой войну!

— Бросай оружие!

— Домой!

Долго над полком сшибались крики, как бомбы рвались ма-тюки, потом тише

тише

и замолчали.

Оглянулся я.

Оглянулся Остап Дуда.

Стоит позади нас на повозке, как смерть постылая, Половцев — полковой наш командир... Ус дергает, пыльно так на нас глядит, и вся его морда лаптами горит.

Полк боялся Половцева за крутой характер — боек, его благородие, был на руку — и любил своего командира за храбрость его офицерскую. Мало из них отчаюг выдавалось, чаще всего на солдатской шкуре выбивали марши победные, ну а этот с полком всю службу вместе проходил. Под Эзерджаном сам впереди цепи два раза в штыковую атаку ходил и турок крушил саморучно; пуля просадила ему плечо, другая зацепила ногу, но он не пожелал в тыл отлучаться и лечился в походном лазарете при своей части. Любитель был Половцев и в разведку ходить, под Мамахутуном привел двух курдов в плен совсем с конями.

— Солдаты! — гаркнул командир, но никто не показал ему глаз своих, и никто, как в бывалошное время, не поднял головы на призыв его.— Солдаты, где ваша совесть, где ваша честь и где ваша храбрость?

А мы уж и сами не рады былой храбрости своей. Стоим, глаза в землю уперев.

Принялся командир говорить про недавнюю доблесть полка, про долг службы и завел такую волюнку — слушать прискорбно — родина, пучина позора, всемирная борьба, харчи-марчи, чофа хата и так далее...

Тяжело обвисли головушки солдатские...

Он свое говорит, мы свое думаем... Кто в ширинке скребет, кто — за пазухой.

Как-то нечаянно, искоса, глянул я на волосатый начальник кулак, заткнутый пальцем за пояс, и сразу забыл и храбрость его хваленую и молодечество, другое в башку полезло...

Был у нас в роте, когда еще в тылу болтались, вятский парень Ваня Худоумов. Солдаты по дурости еще дразнили его: «Ванькё, спугни воробья-тё, сел на мачту, баржа-тё потонёт», — растяпистый да охалестый парень, беда. И под ружьем с полной выкладкой в семьдесят два фунта часами выстаивал; на хлеб, на воду его сажали; гусиным шагом гоняли; бою вынес бессчетно, а все не мог постигнуть немудрую солдатскую науку и часто забывал, какая нога у него правая, какая левая. «Ать, два, три!.. Ногу дай!.. Маши руками!» — такая игрушка, бывало, с утра до ночи. Кружились роты по казарменному двору, ровно ошалелые. Пурга засаривала глаза, мороз руки крючил, но разбираться с этим не приходилось. Хуже всего, когда ротный — тогда Половцев еще ротным был — бывал не в духе. На ком ему, его высокоблагородию, как не на солдате, злость сорвать? Бей ты его, терзай ты его, рук не отведет. Подлетит ротный к строю и давай кулаком в зубы бодрить: «Голову выше! Брюхо убери! Гляди веселей!» В такой недобрый час подбежал хищный зверь к Ваньке, а тот, как плохой солдат, всегда на левом фланге болтался. «В строю стоять не умеешь!» Хлесть его в ухо. Вылетела у того зеленая сопля и хлестнулась ротному на чищенный сапог. Бац в другое ухо: «Пшел с глаз долой, черт паршивый!» А вятский глядит сквозь офицера и тихонько так улыбается, будто во сне веревки вьет. Потом он упал, кровь из ушей поползла, уложили его на шинельку и унесли в больницу военную. Там он оглох на оба уха, поскомлел-поскомлел и опустился, бедняга, в черную могилу...

Ваньку мне стало жалко, себя жалко, жалко всю нашу сиротскую мужичью жизнь... Родился — виноват, живешь — всех боишься, умрешь — опять виноват... Стою, дрожу, от злости меня аж вывертывает всего, а он, малина-командир, ухватил нас с Остапом за воротники и над повозкой приподнял.

— Вот, — кричит, — ваши депутаты... Головы им поотвертывать за подрыв дисциплины... Дурак дурака чище, а может быть, и немецкие шпионы.

Качнулись

посунулись

задышали едуче...

— Шпио-о-оны?

— Во-о-о...

— Ты, господин полковник, наших болячек не ковыряй... Плохие, да свои.

— Хищный гад, ему бы старый режим.

— Шпиёны, слышь?

— Дай ему, Кужель, бам барарам по-лягушиному, впереверт его по-мартышиному, три кишки, погано очко!.. Дай ему, в нем золотой дух Николая Второго!..

Задохнулось сердце во мне.

С мясом содрал я с груди кресты свои, показал их полчанам и начальнику своему, навесившему на меня кресты мои.

— Это что?

Все кругом задрожало и застонало:

— Дай ему!

— Вдарь раза!

Я:

— Это что?

Молчал Половцев.

— Гляди хорошенько, командир ты наш, отец ты наш родной. Гляди, не мигай, а то я тебе эти полтинники вобью в зенки! — И на этих словах, не стерпя сердца, хлестнул я командира крестами по зубам.

Половцев

падая

зацепился шпорой и опрокинул повозку, но упасть в тесноте ему не дали — подняли на кулаки и понесли...

Наболело, накипело...

— Дай хоть раз ударить,— всяк ревет.

Где ж там на всех хватить.

Раздергали мы командировы ребра, растоптали его кишки, а зверство наше только еще силу набирало, сердце в каждом ходило волной, и кулак просил удара...

Пошли ловить начальника хозяйственной части Зудиловича, прозванного солдатами за свой малый рост: «Два аршина с шапкой». Видит, он деваться некуда, и сам, оперев руки в боки, выходит из своей канцелярии на страшный суд-расправу. Уробел злец, ростом будто еще меньше стал, и глаза его, зеленые воры, так по сторонам и бегали...

С самой весны питался полк голой турецкой водой и прелой чечевичей. Раньше боялись кормить такой чечевичей лошадей, шерсть от нее вылезит, а теперь кормили людей. Навалимся на котелок артелью — не зевай, только ложки свищут да за ушами пищит. Мнешь-мнешь, мнешь-мнешь, ровно барабан раздуется брюхо, жрать все равно хочется, а жрать нечего. С тоски пойдет какой бедолага, на ходу распоясываясь, присядет в ямку под кустом и давай думать про политику: «Служил, мол, ты, дурак, серая порция, царям, служил королям, служишь маленьким

королятам, а ни один черт не догадается досыта тебя накормить...» Кряхтит-кряхтит, так ничего и не выдумает. Воюй, верно, не горюй и жрать не спрашивай.

Стали мы пытаться своего начальника, куда деваются несчастные крохи солдатские, кто хлебушком солдатским харчится, кто махорку солдатскую скуривает, кто попивает солдатский чаек внакладку?

— Я тут ни при чем, — как на шиле вертится «Два аршина с шапкой», — доставка плохая, путь далекая.

— Сказывай, щучий сын, кто кровушку нашу хлебает, кто печенкой нашей закусывает?

— Опять же я не виноват, дивизионные воруют, а наряды посланы давно, не нынче-завтра транспорт ждем.

— Отчего каша гнилая? Отчего в каше солома рубленая, горький камыш и всякая ерунда?

— Каша вполне хорошая.

— Гнилая.

— Хорошая.

— Гнилая! — кричим.

— Отличная каша, — твердит свое Зудилович.

Тогда принесли и поставили перед ним кукурузной каши бачок на шестерых. Дали большую ложку. Один шутник догадался, подмешал в кашу масла ружейного.

— Ешь.

Глядим, что будет.

— Ешь и пачкайся.

Припал наш начальник над котелком на корточках и принялся за кашу.

Все молчали над ним и каждую ложку в рот глазами провожали...

Ел он, ел, икнул и заплакал:

— Больше не могу, господа.

Мы его за усы.

— Кушай.

— Кушай, кормилец, досыта... Мы ее три года едим, не хвалимся.

Распоясался он, давай опять есть.

Фельдшер с писарем заспорили, лопнет Зудилович или нет?

— Согласно медицины должен лопнуть, — говорил фельдшер Бухтеяров: не только в нашем полку, но и далеко кругом славился он растравкой ран, по которым ухари получали краткосрочные и долгосрочные отпуска на родину.

— Нет, не лопнет, — успорил писарь Корольков и рассказал, как у них в штабе ординарец Севрюгин на спор зараз десять фунтов колбасы да коровай хлеба смял и не охнул, покатался по траве, и вся недолга.

— Ну, это ты, друг, врешь.

— Я?.. Вру?..

— Хотя бы и так,— говорит фельдшер,— то твой Севрюгин, а то образованный человек: в нем кишка тоньше, чуть ты ее понагушь, и готово.

Поспорили они на полтинник.

Давится «Два аршина с шапкой», но жует, а у нас уже и сердце отошло, краснословим, ржем — зубов не покрываем:

— Скусно, поди, в охотку-то.

— С верхом черпай.

— Рой до дна.

— Отгребайся, дядя, ложкой-то, отгребайся, до берегу недалеко.

— Ложка у него титова...

Выел начальник кашу и ложку облизал.

— Хороша? — спрашиваем.— Еще не подложить ли?

— Не каша — разлука,— отвечает он, обливаясь слезами.

— Помни нашу науку.

— Каюсь, братцы.

Приняли его под руки и, обсыпая неприятными словами, на гауптвахту повели.

Заодно думали и каптера Дуню постращать, да не нашли, унюхал и скрылся.

Расходимся по землянкам.

— В частях кругом пошло блужденье,— говорит разведчик Василий Бровко,— пора войне поломаться.

— Пора, пора...

— Надьсь, слышь, Самурский полк снялся с позиции и самовольно в тыл ушел.

— Астраханцы тоже поговаривали...

— К зиме поди-ка ни одной русской ноги тут не останется.

— Народ у нас недружный, у каждого глотка-то, как рукав пожарный, крику много, а делов на копейку... Держись мы дружнее, давно бы дома с бабами спали.

— Твоим бы, Кузя, задом из досок гвозди дергать...

— Разбежимся все, кто же будет фронт держать? — спросил кадровый солдат Зарубалов.

— Аллах с ним, с фронтом.

— А Расея?

— Это не нашего ума дело... У Расеи жалельщики найдутся, мало ли их по тылам прячется...

— Живут, твари, с полáгоря.

— Жалко, Кавказ пропадет, сколько тут наших могилочек пораскидано...

— Побитых не вернешь, а грузинцев с армянами жалеть нечего, пускай сами обороняются, коли им турки не милы.

— Чего тут сидеть, мертвых караулить...

— Выслать бы своих шпионов в Россию и узнать, кто там кричит: «Война без конца»,— того бы за щетину да в окопы... Или половина остаемся и воюем один за двух, а половина с ору-

жнем идем по всему государству из края в край, колом и режем, стреляем и вешаем всех сверстников царизма и, разделив по совести землю и леса, фабрики и заводы, возвращаемся сюда на смеху...

— Кабы ты, Миша, заместо Керенского в креслах сидел да приказы писал, вот бы мы наворочали делов...

Взводный Елисеев вспомнил Половцева и перекрестился.

— Хороший был командир, царство ему небесное, вечный покой...

— Все они, псы, хороши, — говорю, — не знать бы их никогда...

Мученый и маленький ефрейтор Точилкин боязливо оглянулся и сказал:

— Удохать мы его удохали, а не вышло бы тут, братцы, какого рикошета?

Когда убивали начальника, Точилкин в сторонку отбежал: крови видеть не мог после того, как однажды побывал в штыковой атаке.

— За ними гляди да гляди.

— Не поддадимся.

— Чего ждем, скажи на милость?.. Давно бы их всех на солдатский котел перевести...

— На котле далеко не уедешь, их благородиям надо на самый хвост наступить...

В комитетскую палатку прибежал язычник, прапорщик Онуфриенко, и доложил про потайное собрание офицерское: крепко-де они за Половцева обижены, надумывают, как бы казаков на полк напустить, а сами-де уговариваются по тылам разъехаться и бросить полк на произвол судьбы.

Солдат, он хитрый: там секреты и тут секреты, у них потайные разговоры, а у нас каждые сутки рота наготове.

— Какая нынче дежурная? — спрашиваю члена комитета Семена Капырзина.

— Двенадцатая дежурная, — отвечает Капырзин и, передернув затвор, посылает до места боевой патрон.

Всполошились.

— Не зевай, ребята.

— Чего зевать, каждую минуту жизнь смертью грозит.

— Выходи, шуму лишнего не подавай.

Бежим во вторую линию укреплений, и я громко подаю команду:

— Двенадцатая, в ружье!

Вылетают из своих нор солдаты двенадцатой роты: кто одет, кто бос и без шапки, но все с винтовками.

Мы, комитетчики, вкратце объясняем, из-за чего поднята тревога, и рота, рассыпавшись цепью, скорым шагом направляется к лесу.

Окружаем блиндированную землянку офицерского собрания. Заходим в землянку втроем.

— Здравствуйте, господа офицеры! — смело говорю я и кладу руку в карман на бомбу.

— Здорово, шкурники! — отвечает батальонный второго батальона штабс-капитан Игнатьев и, встав из-за стола, идет прямо на нас.— Мерзавцы! Как вы смели войти без разрешения дежурного офицера?

И со всех сторон густо посыпались на нас обидные слова.

Вижу, Остап Дуда сменился в лице и на батальонного грудью.

— Нельзя ли выразиться полегче?.. Мы есть депутация... Пришли узнать, какой вы за пазухой камень держите?

— Что-о тако-о-ое? — орет Игнатьев, глаза выпуча.— Ах вы, каторжные лбы!

Не помню, как шагнул вперед и я.

— Знай край да не падай, ваше не перелезу! Довольно измываться над нашим братом! Довольно из нас жилы тянуть!

— За нас двенадцатая рота! — с провизгом закричал из-за меня и Капырзин.— За нас полк, за нас вся масса солдатской волны, казаками нас не застрашаете, это вам не старый режим...

— Ма-а-а-алчать... Предатели... Родина... Измена! — Батальонный выхватил наган.— Я не могу... Я застрелюсь! — и поднял наган к виску.

— Валяй... Один пропадешь, а нас — множество — останется,— говорит Капырзин.

Раздумал. Опустил руку с наганом и говорит тихим голосом:

— Сукины дети вы.

Офицеры окружили его, отжали в угол и принялись успокаивать.

— Господа депутаты,— обратился тогда к нам молодой и чистый, как утогом разглаженный, адъютант Ермолов,— господа, по-моему, тут недоразумение... Камня за пазухой мы не держим, и никаких особых секретов у нас нет... Просто, как родная семья, собрались чайку попить и побалагурить... Верьте слову, политикой мы никогда не интересовались... Мы не против и Временного правительства, не против и революции, но...— он оглянулся на своих,— но...

— Мы не допустим,— выкрикнул Игнатьев,— чтоб какая-то сволочь грязнила честь полкового знамени, под которым когда-то сам Суворов водил наш полк в атаку на Измаил и Рымник. Наше знамя...— и пошел и пошел про заслуги полка высказывать.

Насилу его уняли.

К нам опять подлез тот адъютантишка и зашептал:

— Вы на него не сердитесь, господа. Чудеснейшей души человек. Но... но... на язык не воздержан... Революция, это знаете такое...

— Мы и без вас, господин поручик, знаем, что такое революция,— говорит Капырзин.— Расскажите нам лучше, как вы сол-

дата на фронте удерживаете, а сами сговариваетесь дезертировать?

— Ложь, чепуха, хреновина... Больше доверия своему непосредственному начальнику. Солдат ничего не должен слушать со стороны, от какого-нибудь проходимца-агитатора... Все новости должен узнавать через начальника... И со всеми обидами иди к начальнику... Не с первого ли дня войны мы находимся вместе с вами на позиции?

— Вы не сидите,— говорит Остап Дуда,— не сидите в окопах... в воде.— Вы — сухие и чистые — на стульях спите...

— Не вместе ли мы честно служили, и не должны ли мы на этих позициях честно и вместе умереть? За родину, за свободу, за...

— Нам,— говорю,— умирать не хочется. Славу богу, до революции дожили и умирать не желаем.

— Будя, поумирали,— ввязался и Капырзин.— Три года со смертью лбами пырялись, надоело... Нам чтоб без обману, без аннексий и контрибуций.

— Ба, большевицкие речи?

— Нам все равно, чьи речи. Нам ко дворам как бы поскорее, а вы, господа офицеры, нас вяжете по рукам и ногам. Три года...

— Три года! — опять выскочил из своего угла батальонный Игнатъев.— А я служу пят-над-цать лет... Нет ни семьи, ни дома... Все мое богатство — сменка белья да казенная шинель... Теперь вам то, вам се, а нам, старым командирам, шиш костью?... Вам свобода, а нам самосуды?... Хамы, сукины дети! Не радуйтесь и не веселитесь — дисциплина нового правительства будет еще тверже, и вы, мерзавцы, еще придете и поклонитесь нам в ноги!..

— Пойдем,— сунул меня локтем под бок Остап Дуда,— тут разговоров на всю ночь хватит, а там рота под дождем мокнет...

Повертываемся и выходим.

Рота обступила нас.

— Ну, чем вас там угощали, чем потчевали?

— Мы их испугались,— смеется Капырзин,— а они нас. Потявкали друг на друга, да и в стороны.

— Жалко, драки не вышло. Не мешало бы для остратки одному-другому благородию шкуру подпороть.

— Кусаться с ними так и так не миновать.

— Пока вы там гуторили, мы по лесу всю телефонную снасть пообрывали.

— Ну, ребята, держи ухо востро. Пулеметчикам находиться неотлучно на своих местах. К батарее выставить караул. На дороги выслать заставы. Всем быть готовыми на случай тревоги.

Утром полк был собран на митинг.

Долго судили-рядили. В конце концов было решено батальонного Игнатъева арестовать, а к казакам и в 132-й Стрелковый срочно слать своих делегатов. Арестовать себя батальонный не позволил — застрелился, делегаты были посланы.

Не успели мы разойтись, скачет из штаба дивизии ординарец с распоряжением немедленно везти урну с солдатскими голосами в Тифлис, где квартировал общеармейский комитет турецкого фронта.

— Максима Кужеля слать!

— Пимоненко!

— Трофимова!

Каждому из нас хотелось в тыл — вольную жизнь посмотреть, да и к дому поближе.

Артиллерист Палозеров сказал за всех:

— Нечего нам, братцы, горло драть без толку. Человек тут требуется надежный. Может, через них, через листки-то, какое освобождение выйдет. Благословясь, пошлем-ка кого-нибудь из наших комитетчиков. Верней того ничего не выдумать.

Слову его вняли.

Перед целым полком тащили мы жеребья.

Один тащит — мимо, другой — мимо, третий — мимо.

Пало счастье на меня — вытащил пятак с зазубриной — и заиграло во мне!

Сгрел я барахлишко, посовал всякую хурду-мурду в один мешок, голоса солдатские — в другой и сажусь на арбу.

— Прощевай, земляки.

— Счастливо.

— Возвтайся поскорее.

— Чего он тут забыл?.. Сдай, Кужель, голоса, отпиши нам про тыловые порядки и валяй на Кубань, а следом и мы прикатим.

Кто целоваться лезет, кто на дорогу мне табачку отсыпает, кто сует письмо на родину.

Разобрал ездовой вожжи, гаркнул, и подпряженные парой кони взяли.

С перевала оглянулся я последний раз...

Далеко внизу чернели окопы, виднелись землянки, пулеметные гнезда, батарея в лесочке, и вся широкая долина была насыпана солдатами, как горсть махоркой.

— Прощай, лешая сторонка.

Три года не плакал — все молился да матерился, — а тут прорвало...

ПОЖАР ГОРИТ-РАЗГОРАЕТСЯ

*В России революция,
вся Россия на ножах.*

Горы, леса, битые дороги...

По хоженным дорогам, по козьим тропам несло солдат, будто мусор весенними ручьями.

Солдаты тучами облегали станции и полустанки. По ночам до неба взлетало зарево костров. Все рвались на посадку, посадки не было.

Поезда катили на север, гремя песнями, уханьем, свистом... Дребезжащие теплушки были насыпаны людьми под завязку, как мешки зерном.

— Земляки, посади!

— Некуда.

— Надо ехать, али нет?.. Две недели ждем.

— Езжайте, мы вас не держим.

— Как-нибудь...

— Полно.

— Товарищи!

— Полно.

— Туркестанского полка...

— Куда прешь?.. Афоня, сунь ему горячую головешку в бороду.

— Депутат, голоса везу,— охрипло кричал Максим и, как икону, поднимал перед собой урну с солдатскими голосами.

Его никто не слушал.

Стоны, вопли, крики...

В клубах дыма и пыли летели поезда.

Обгоняя колеса, катились тысячи сердец и стук-тук-тук-тукотали:

...до-мой...

...до-мой...

...до-мой...

Максим вывязал из мешка последнюю краюху черного и тяжелого, как земля, хлеба и принялся махать краюхой перед бегущими мимо вагонами.

— Е! Ей!

Рябой казачина на лету подхватил краюху, Максимовы мешки и самого Максима через окно в вагон втащил.

— Поехали с орехами!

Тесновато, но ехать можно.

— Закрой дверь, холодно,— рычит один из-под лавки, а дверь с петель сорвана и сожжена давно, окна в вагонах побиты.

— Терпи, едешь не куда-нибудь, а домой.

Лобастый, свеся с верхней полки стриженную ступеньками голову и поблескивая озорными глазами, с захлебом рассказывал сказку про Распутина:

— ...Заходит Гришка к царице в блудуар, снимает плисовы штаны и давай дрова рубить!

Смеялись дружно, смеялись много, заливались смехом. Накопилось за три-то годика, а на позиции не до веселья — кто был, тот знает.

— Это что! — лезет из-под лавки тот, который рычал: «Закрой дверь, холодно». — Вот я вам расскажу сказку, так это сказка...

Его сказка развернулась на большой час, была полна она диковинными похождениями отпускного солдата: сколько им было простаков обмануто, сколько добра доброго поуворовано, сколько зелена вина выпито и сколько девок покалечено...

В том же вагоне ехал избитый в один синяк и ограбленный солдатами старый полковник. Босые, опутанные бечевками ноги его болтались в зяляпаных грязью валяных обрезках; плечи прикрывал драный, казенного образца, полушубок. В измятый медный котелок он подбирал с полу объедки и сосал их. Из-под фуражки в красном околыше выбивались пряди седых свалевшихся волос. Спал он, как и все, стоя или сидя на полу — лечь было негде. Захочет старик до ветру, а его и в дверь не пускают...

— Лезь,— кричат,— в окошко, как мы лазим.

Максиму жалко стало старика, подвинулся немного и пригласил его присесть на лавку.

— На добром слове спасибо, братец. Недостоин я, это самое, с солдатиками в ряд сидеть... За выслугу лет, это самое, в чистую вышел... — и не сел, а у самого дробные слезы так и катятся по щетинистой щеке.

Со всех сторон руганью, ровно поленьями, швыряли в старика:

— Глот. Давно подыхать пора, чужой век живешь.

— Вишь, морду-то растворोजили...

— Может быть, из озорства ему накидали?

— Зря бить не будут, бьют за дело.

— Выбросить вон на ходу из окошка, и концы в воду... Мы походили пешком, пускай они походят

— Брось, ребята,— вступился Максим,— чего старика терзать? Едет и едет, чужого места не занимает... Всем ехать охота.

— Правильно,— поддержал лобастый сказочник с верхней полки,— перед кем он провинился, тот ему и наклац, а наше дело сторона... Из них тоже которые до нашего брата понятие имели...

Ехал тот полковник к дочери в станицу Цимлянскую, на тихий Дон. До самого Тифлиса Максим подкармливал его и на прощанье чулки шерстяные подарил.

— На, носи.

На каждой остановке солдаты будто из-под земли росли.

С ревом, лаем лезли в окна, висли на подножках, штурмом брали буфера, на крышах сидеть места не хватало — ехали на стойках, верхом на паровозе. Под составами визжали немазаные колеса, прогибались рельсы.

— Садись на буфер, держись за блин!

Под Тифлисом затор.

Разъезд забит эшелонами.

Голодные солдаты уже по двое, по трое суток сидели по вагонам и матюжили буржуазию, революцию, контрреволюцию и весь белый свет; иные — с вещевыми мешками, узлами, сундучками — отхватывали по шпалам, держа направление к городу; однако большинство из этих торопыг, напуганные чудовищными слухами, с дороги возвращались, сбивались у головного эшелона в кучки, митинговали.

В каждой кучке свой говорух, и каждый говорух, закусив удила, нес и нес, чего на ум взбредет. Один уговаривал слать к грузинскому правительству мирную делегацию; другой советовал сперва обстрелять город ураганным артиллерийским огнем и уже тогда посылать делегацию; а изрядно подвыпивший казачий вахмистр, навивая на кулак пышный, будто лисий хвост, ус свой, утробным басом гукал:

— Солдатики-братики, послушайте меня старого да бывалого... Ни яких делегаций не треба... Нечего нам с теми азиатцами устраивать сучью свадьбу... Хай на них трясца нападет!.. Хай оны вси передохнут!.. Пропустите меня с казаками вперед! Як огненной метлой прочищу дорогу и к чертовому батьке повырублю всих новых правителей, начиная с Тифлиса и кончая станицей Кагальницкой, откуда я сам родом... Так-то, солдатики-братики... — Приметив на лицах некоторых слушателей лукавые улыбки, кои показались ему оскорбительными, вахмистр насутился, откинул на плечо ус и, хватив себя кулаком в грудь так, что кресты и медали перезвякнули, заговорил еще с большим жаром: — Вы, скалозубы, що тамо щеритесь, як тот попов пес на горячую похлебку? Циц, бисовы души! Я вам ни який-нибудь брехунец-вертихвост... Я в шестом году, находясь на действительной службе, сам партийным был. Командир наш, хорунжий Тарануха, добрый был казак, царство небесное, за один присест целого барана съедал, — выстроил нашу сотню на плацу и говорит: «Станишники, лихое настало время на Руси, сквозь жиды и сту-

денты бунтуют... Скоро и наш полк погонят в ту проклятую Одессу на усмирение... Помня присягу и нашу православную веру, должны мы всей сотней записаться в партию, чи союз Михаила архангела». — «Рады стараться, отвечаем, нам все едино...» — И, похоже, долго бы еще ораторствовал речистый вахмистр, но вот через толпу протискались два казака и, сказав с укором: «Будет вам, Семен Никитович, всю дурь-то сразу выкачивать, поберегите что-нибудь и на завтра», — подцепили его под руки и увели в свой эшелон.

На обсохшем пригорке играли в орлянку, высоко запуская насветленные медные пятаки. Двое затеяли русско-французскую борьбу, собрав вокруг себя множество зрителей, из которых чуть ли не каждый подавал свой совет тому или иному из борющихся. Несколько человек сидели и полулежали в вольных позах вокруг раскинутой шинели и резались в очко. Уже побывавший и в Тифлисе и в Баку старшой какой-то конвойной команды — лихого вида фельдфебелек — метал банк и бойко рассказывал:

— Грузия, дело известное, от России откололась. Надоело грузинцам сидеть за широкой русской спиной, хотят пожить по своей воле... Деньги теперь у них свои, законы свои, правители свои, ну — разлюли малина!

— Какой они партии? За что борются? — отрывисто спросил рыжий, страшной худобы солдат.

— Кто? Грузинцы?.. Партий всяких у них, брат, развелось больше, чем блох в собаке. И все друг друга опровергают, и все друг друга не признают, и кто у них за что борется, кто прав, кто виноват — сам архиерей не разберет... Видал я одного ихнего министра в городском саду на митинге — ну, ничего, одет чисто, при часах и с тросточкой. Речь его я понять не мог, говорил он не по-русски, а по-своему. Газеты тифлиские читал, тоже доподлинно не вызнал что к чему, а так, на базаре, от одного прапорщика слышал: «Грузия-де к меньшевикам приклоняется, всю власть им перепоручила, а меньшевики-де раньше были у большевиков в подчинении, как апостолы у Христа; а ныне будто бы те апостолы рассвирепели, не признают ни царских, ни барских, да и самого Христа уже за горло берут... Тюрьмы тифлиские набиты внабой.

— Азиат он азиат и есть, — вздохнул один из игроков, — ему кровь вместо лимонаду.

— Шустры они, бойки, — продолжал фельдфебель повествовать о меньшевиках, — но, как зайцы, всех боятся: рабочих боятся, солдат боятся, генералов русских боятся, турок боятся, а пуще всего большевиков боятся...

— Этим правителям хрен цена. Эти правители временны, до первого морозу, — опять сказал рыжий солдат своим глухим, замогильным голосом, выбирая рублевку из зажатой в кулак пучаги мятых денег. — Дай карту. Дай еще, — с трепетом, медленно он поднял последнюю карту и, точно обжегшись, отдер-

нул руку. — Перебор. Служил у нас в Кимрах, годов сорок кряду служил становой пристав Мамаев. Вот это был правитель! Трезвый по деревне скачет, и то ни один пес — на что тварь беспонятная — на него гавкнуть не смел. Ну, а как напьется, никто на глаза не попадайся, разорвет! Мужики слышат бубенцы — Мамай скачет — врассыпную: кто под избу забьется, кто на гумнах в солому зароется, кто куда. У него уж, бывало, пока обедня не отойдет или вечерня не кончится, пьяным на улицу не покажешься и в гармонию не сыграешь... Форменный был разбойник, трава перед ним от страху вяла, да и то, еще месяца за три до революции, попал мужикам на вилы. А сколько их, таких Мамаев, было у царя? Где они? Всех варом, как тараканов, поварило. Ныне народ отчаялся и облютел, никакого правителя к себе на шею не допустит.

Некоторое время все молчали, с интересом следя за ходом игры, потом разговор возобновился.

— И хорошо в гостях, а надоело, — задумчиво сказал наблюдавший за игрою со стороны Максим. — Добры люди поди-ка плуг и борону ладят, а мы как неприкаянные бродим и бродим по чужой стороне. Не горько ль?

— Не понимаю, какого дьявола тут сидим! — воскликнул уже неоднократно пытавшийся ввязаться в разговор мальчишка с нашивками вольноопределяющегося и с новеньким георгием на груди; на свой знак отличия юный герой то и дело озабоченно поглядывал, точно желая убедиться: не потерял ли? — Немцев били, турок били, а этих каналов в два счета расчепать можно. По-моему, если развернуть как следует боевой полк, обеспечить фланги достаточным количеством пулеметов, придать каждой роте...

Грянувший хохот старых солдат так смутил мальчика, что он поперхнулся собственным словом, закашлялся до слез и умолк.

— Прыткий! — подмигнул фельдфебель. — Сунься, они тебе покажут, почем сотня гребешков.

— А что?

— А то. Ты еще мал, круп не драл. — Банкомет с значительным видом поиграл косматой бровью и, снова раскинув донельзя затрепанные карты, продолжал повествовать: — Под национальные знамена грузинцы собирают свою армию, армяне — свою, татары — свою. В оружии у них, дело известное, недостаток. И вот, меньшевицкие правители выкатили в Гянжинский район свой бронепоезд на разоружение эшелонов. Разоружить они мало кого разоружили, но на станции Шамхор — врасплох — посекали из пулеметов много нашего брата. Мать честная, что там делалось! Раненых как саранчи, побитых два дня на кладбище возили. На грех, какой-то лазарет с тяжелыми эвакуировался, так эти бедолаги сгорели все до единого в своих вагонах. Ну, дело известное, солдаты остервенели. Поймают где грузинца, татару или армяна, тут ему и шаксей-ваксей: тесаком по арбузу, проволокой

за шею и на телеграфный столб вздернут, на ноги еще камней повешают — мне плохо, но и из тебя, карапет, душа вон! Одного ихнего офицера, я тому сам свидетель, к забору штыками пришили, другого в нефтяном баке утопили...

Наслушался Максим тех речей — голова кругом пошла. С тяжелым сердцем он вернулся в свой наполовину опустевший вагон и завалился спать.

Разбудил его топот многих ног, дурные крики, в залепленные сном глаза ударил резкий свет замелькавших за окном вагона колючих электрических фонарей — эшелон, мотаясь на стрелках и позвякивая буферами, подходил к Тифлису. Перемигнули сигнальные огни, проплыли какие-то постройки и тополя, уходящие темными вершинами своими под самое звездное небо. Эшелон, миновав вокзал, покатил куда-то в темень, на запасные пути. Солдаты прыгали из вагона на ходу. Прихватив свои мешки, прыгнул и Максим.

В вокзале он разыскал этапного коменданта в погонах подполковника, который сидел в кабинете один и, точно в бреду, наборматывал что-то сам себе.

— Тебе чего? Какого полка? Почему без пояса? — вперил он в Максима блуждающие безумные глаза кокаиниста.

Максим подал дорожный аттестат и мандат. Тот мельком просмотрел бумаги и швырнул их делегату.

— Нет у меня хлеба, нет махорки, нет сахару, убирайся к черту!.. — На короткую минутку он умолк и потом снова залопотал, забормотал, с ужасом глядя куда-то мимо Максима в угол: — Законность, порядок, идеалы, все проваливается в пропасть, все летит в тартарары... Ах, Ниночка, Ниночка, как ты меня огорчила, как огорчила!.. Тебе чего, солдат? Какого полка? Что за дурак у вас командир? Почему не по форме одет? Ах да... Так вот, голубчик, общеармейский комитет турецкого фронта переведен в Екатеринодар. Туда и езжай со своими голосами, хотя это и бесполезно... Эти мерзавцы уже разогнали Учредительное собрание, разгромили колыбель России — московский Кремль. Все пропало, страна гибнет, гибнет культура... Ты, скот, того понять не можешь... Кубанец? Рад небось, каналья? Сейчас отправляю с пятого пути эшелон. Получай пачку папирос и езжай к чертовой матери. Все рушится... Господи... Вековые устои... Горе, горе россиянам... *Гайда да тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом*, — пропел он и, закрыв лицо руками, зарыдал.

«Нализался», — подумал Максим и вышел.

На станции не было ни питательного пункта, ни хлебных лавок. Голодные, рыча и стоная, бродили солдаты. Весь привокзальный район был оцеплен полком грузинской народной армии: в город фронтовиков не пускали — погромов боялись — и пачками толкали дальше, на Баку. Составы то и дело — один за одним, один за одним — уходили на восток.

— Эх, — тяжело выдохнул какой-то ефрейтор, стоя в распах-

нутых дверях теплушки и грозя винтовкой уплывающему из глаз городу, откуда, несмотря на раннее утро, все еще доносились всхлипывания оркестров,— на фронт провожали с цветами, а встречаете лопухами? Куска хлеба жалко?.. Ну погоди, кацо, не попадешься ли где в тесном месте?

— Не сердчай, земляк, печенка лопнет,— хлопнул его Максим по плечу.— Меньшевииков узнали, хороша́ партия, дай ей бог здоровья. Дальше поедем, может статься, еще чище узнаем.

— Да уж больно обидно... В газетах пишут: «Равенство, братство»,— а сами норовят хватить тебя под самый дых и хлеба не дают ни крошки.

— Ладно,— опять сказал Максим,— и нам какой кудрявый под лапу попадется, пускай пощады не просит.

— Спуску не дадим.

— Главное, ребята, с винтовкой не расставайся,— отозвался еще один из-под нар.— До самой смерти держи ее, матушку, наизготовку, и никакая собака к тебе не подступится, потому хотя она кусаться и любит, а голова у ней всего-навсего одна.

За Тифлисом началась война.

Горцы большими и малыми отрядами нападали на эшелоны — под счастье,— грабили их и спускали под откосы.

На путях голодали люди, дохли лошади.

Поезда тянулись сплошной лентой, в затылок друг за дружкой. По ночам на поездах ни огня, ни голоса. Выставив дозоры и заставы, отстаивались в полной боевой готовности. Ехали одинокими, командами, полками, с артиллерией, обозами, со штабами. Походным порядком, сметая с пути банды, двигались отдельные части 4-го и 5-го стрелковых корпусов.

Акстафа, Гянджа, Евлах — на каждой станции перестрелка, суматоха, тарарам. Горела станция Елисаветполь, горела Кюракчайская керосинопроводная станция. По всей линии горели мелкие станции. Железнодорожные служащие, путевая стража и ремонтные рабочие с семьями, скарбом бежали в сторону Баку. Горели покинутые дома, будки и рабочие казармы. Горели татарские аулы и села русских сектантов. На подступах к горной Армении гремели пушки. На рубежах Грузии, Дагестана и Азербайджана гремели пушки. Воплями, стоном и дымом пожаров было перекрыто все Закавказье.

Булга.

Все подъездные пути по самые выходные стрелки были уже забиты поездами, а со стороны Тифлиса накатывались все новые и новые, и уже некуда им было становиться; они останавливались за семафором, в чистом поле, откуда к станции гуськом тянулись делегаты, крупно разговаривая:

— Кто нас держит?

— Из паровозов, слышь, весь дух вышел — не берут.

— Всех белогорликов убивать надо.

Вокруг станции и на путях, прямо по земле и по дикому камню были разметаны ноги в разбитых сапогах, лаптях, отопках, истрескавшиеся от грязи руки, лохмотья, крашенные ободренные сундучки, мешки, на мешках и сундучках всклокоченные головы, лица, истомленные, мученые, и рожи, залухие то ли от длительной бессонницы, то ли с большого пересыпу.

Совсем недалеко, в горах, регулярный казачий полк дрался с татарами, кои то отступали на линию своих аулов, то сами — с гиком, визгом — кидались в атаку, стремясь прорваться за перевал, на соединение с другим отрядом. Эхо ружейных залпов перекатывалось в горах. Тишину нежного утра громили пушки. По хорошо слышным разрывам фронтовки определяли калибр:

— Трехдюймовка...

— Тоже...

— Чу, горняшка... Должно, ихняя.

— У них орудиев нет.

— А ты алхитектор? Проверял, чего у них есть, чего нет?

— Ого, жаба квакнула. (Бомбомет.)

— Да, эта по затылку щелкнет, пожалуй, на ногах не устоишь.

За семафором шальной снаряд

ззз бум!

разбрызгал грязь и панику.

Кто закрестился, кто за винтовку, кто шапку в охапку и — наутек.

— Бьют, курвы!

— Обошли!

— Сыпайся!

— Ганька, канай! Ганька, где мой мешок?

— Стой, братцы! Стой, не бегай! Дерутся они с казаками, нас не тронут.

— Как же, по головке погладят.

— Ух, батюшки, задохнулся... Этак, не доживя сроку, умрешь.

— Делегацию бы послать на братанье, как на фронте. Так и так, мол, товарищи...

— Сымай штаны, ложись спать... Они те набратают, вольного света не взвидишь. Вон лежат бедняги, награжденные за верную и усердную службу.

В дверях разграбленного складочного сарая, на новеньких рогожках, рядом лежали прикрытые шинелями два зарезанные пехотинца Гунибского полка. Из-под коротких шинелей торчали грязные мертвые ноги — пятки вместе, носки врозь. Вчера оба были высланы от своего эшелона на переговоры с татарами, нынче их нашли в канаве под насыпью. Вот подошли несколько гунибчан, — один с высветленной лопатой на плече, — перекинулись коротким словом и прямо на рогожках потащили резаных в недалеку ложбинку, где земля была мягче. Там они наскоро закопают

обоих в одну яму, потом разбредутся по вагонам и укатят. Будут лить дожди, шуметь травы, гореть тихие зори, но уже никогда ни одна близкая душа не придет поплакать, постонать на затерянную в степи солдатскую могилу...

Под ветром плескались костры.

Жарко пылали смоляные плахи шпал, расколки каких-то досок, хорошо горела и вагонная обшивка, закипая по ребрам краской. К огню со всех сторон лепились котелки, в котелках пучилась мамалыга и кукуруза.

Чернобородый большой солдат вытащил из мешка пеструю курицу, которая ни разу и кудахнуть не успела, как он — хрупнув — откусил ей голову и, прислушиваясь к редким орудийным выстрелам, вздохнул:

— Палят и палят... Господи, твоя воля... И чего проклятым дома не сидится? И чего псам гололобым надо?

— Это нам, землячок, война надоела, а им в охотку.

Пыл лизал наколотую на сизый штык курицу. Обглоданный болезнью паренек зябко кутался в шинель, глубоко засовывая рукав в рукав, мигал воспаленными загноившимися глазами и, жадно раздувая ноздри на гарь куриных перьев, угодливо соглашался с черным:

— Подлющий народ, Сила Нуфрич, хуже собак, ей-бо... А курочка-то пригорает.

— Не бойся, не пригорит... Бежать...

— Бежать, бежать, Сила Нуфрич, тут хорошего не жди... А курочка-то того, ты поглядывай.

— Будь татары одни, — сказал закутанный в смрадное рубище ополченец, — мы бы их живо раскуделили, а то ведь за них наш позиционный офицер воюет, вот жаркота!

— Да што ты?

— Верно слово.

— Как же оно так?

— А вот как... Вчера за Курой поймали наши разведчики двух азиятов и с ними офицеришку русского. Ладно. Привели на станцию. Тут и давай им хвосты крутить, давай допытывать, какому они богу молятся. Ладно. С татарина много не спросишь, — бэльмэ, бэльмэ, — рукавами себя по ляжкам хмыщут, языками чмокают: «Была барашка мыного, была лошадка мыного, была маладой жена мыного. Война пришел — барашка ушел. Свобода пришел — лошадка ушел. Бальшавой пришел, кричит: «Буржу, буржу!» — последки отбирал, с жена чадра снимал. Барашка ёк, лошадка ёк, ёканда маладой жена. Ай-яй-яй, урус, сапсем палхой порядка пошел!» Над азиятами смеючись, кишки мы себе порвали, ну а к офицеру подступили покруче. Ладно. «Какой партии?» — спрашиваем его. Отвечает: «Беспартийный». — «Врешь, так твою и этак, — говорит один из комитетских, — беспартийные, как тараканы, должны на печке сидеть, а не между татарами шиться». Ладно. Спросили его, какой он

части, давно ли с позиции. Молчит. Еще чего-то спросили. Молчит. Тогда комитетский развертывается и бяк его благородие по рылу, бяк еще, он и заговорил: Расея, союзники, то да се, хотим, мол, приостановить ваше позорное бегство и завернуть армию обратно на фронт.

— Чисто.

— Черепки у них варят... Там били нас и тут бьют, там пугали и тут пугают.

Курица была готова. Чернобородый отломил горелое крылышко, лизнул было его сам, но обжегся и бросил парню.

— На-ка, Федюнька, займись от скуки.

В вокзальном садике три толпы. В одной — играли в орлянку, в другой — убивали начальника станции и в третьей, самой большой толпе, китайчонок показывал фокусы:

— Шинд'ла, минд'ла... О, мотлия, шалика лука ложия... Ас! Дуа! П'хо! Пой'егла!.. Куа шалика пой'егла? Ни сная, спласи ната.— Перекосив чумазую, как сапожное голенище, рожицу, он лукаво пощептался со своим деревянным божком и обрадованно закричал: — Аа, сная, куа шалика пой'егла! Маа бох доблы!

Говор восхищенных зрителей:

— Ах, бес... Ну, и бес.

— Заноза мальчонок.

— Да-а... Наш русский давно бы в куски пошел, а этот — уйди вырвусь!

Чернобородый большой солдат, расталкивая народ и на ходу обсасывая последнюю куриную ногу, коршуном летел добивать станции начальника: говорили, будто еще дышит.

По перрону похаживала веселая компания подвыпивших терцев: балагурили, ржали, от души потешаясь над своими же проказами. Один, самый молодой и дурной, отвернув голову на сторону до отказа и полузакрыв от удовольствия глаза, развлекался тем, что наяривал ложкой по пустому медному котелку и в лад скороговоркою сыпал несусветную похабину; другой не раз пробовал затянуть терскую песню, да все голос срывался; еще двое состязались, кто выше плюнет, — они уже захаркали весь фасад вокзала, но спор все еще не был решен. Проходил по перрону и денщик командира сотни, Фока, на вид будто и придурковатый малый, однако плут великий и пройда, каких свет не видывал. Он шел, и все его внимание было сосредоточено на том, чтобы не разлить сметаны, полнехонькое блюдо которой он нес в вытянутых руках. Гуляки окружили его и засыпали вопросами: «Куда ходил? Где молока надоил? Э, да это сметана! — воскликнул один из них, макнув в блюдо палец и обсосав его.— Ах, скусно... Почему брал? Расскажи, Фока, как ты в Эривани татарку в бане мылил?» И еще один макнул в сметану уже не палец, а всю пятерню, а тот, у которого в песне глотку перехватывало, бросил в сметану окурочек, что вызвало у всей компании

бешеный хохот. Фока поставил блюдо себе под ноги и, прикрыв его полою шинели, взмолился:

— Станишники...

Но станичники наседали. Один уже нахлобучил ему шапку на нос, другой тянул из-под него блюдо со сметаной, а тот, что играл на пустом котелке ложкою, тормозил:

— Фока, Фока, а ну-ка соври что-нибудь не думаячи...

— Некогда мне с тобой, дураком, и язык чесать. Провались! — зарычал рассвирепевший Фока. — Вам все смешки да хахоньки, а там харч, там... эх, чего с вами и говорить.

— Где харч? Какой харч? — спросили в голос оба спорщика, бороды коих были заплеваны.

Фока воровато метнул глазом туда-сюда и зашептал:

— Крой, ребята, бога нет... В телеграфе, вон крайняя дверь с гирькой, сейчас начнут трофейную обмундировку раздавать... Полторы тысячи комплектов, сам видал... В случае... ежели... и мою очередь займите...

Станичники переглянулись, перемигнулись и, оставив в покое Фоку с его сметаной, хлынули к двери, за которой действительно было заметно какое-то оживление.

В телеграфе фронтовики штурмовали телеграфиста, требуя от него паровозов, а сзади в дверь напирали терцы, кубанцы и так празднующиеся, тоже уже прослышавшие каким-то макаром про трофейную обмундировку.

— Братцы... Тут раздают?

— Становись в затылок.

— Мундировка?

— Ну? Семка, наших покличь!

— Легче напирай.

— Где мундировку дают?

— В очередь, в очередь! Все равны!

— Куды, черт, лезешь?

— Не больно черт, а то я те так чиркну, пойдешь отсюда вперед пятками... Я, брат, такой... Не погляжу и на лычки твои.

— Что тебе мои лычки поперек горла встали?

— Положил я на них.

— Тише, тише...

— Мундировка?

— Не-е-е, — разочарованно тянет тот, у которого в песне голос осекался, — тут насчет паровозов...

Очередь, вставшая за обмундировкой, дает гулкий залп матюков и рассыпается.

— Ну и пес наш Фока, — отирая шапкой пот с лица, восхищенно сказал один из терцев. — Теперь уж поди-ка и Якова Лукича варениками удвольствовал и сам около него сметанки поллизал. Вот тебе и «соври-ка что-нибудь не думаячи».

Прижатый к стене телеграфист бормотал точно спьяну или спросонья какие-то жалкие слова... Перед его расплавленными

от ужаса глазами прыгали солдатские подбородки, грязные усы, вспотевшие обезумевшие лица и широко распяленные орущие рты... Лапа вожака уже тянулась к горлу телеграфиста.

— Сказывай, сказывай останний раз, будут паровозы, ай нет?

— С мясом выдерем!

— Нам так и так ехать.

— Хомут на белу душу!

Из крахмального воротничка тянулась гусиная шея, дрожали побелевшие губы.

— Товарищи... Милые... Господи... Я сам за новый режим... Даже боролся, имею соответствующие документы... Паровозы не от меня зависят.

Ударили голоса:

— Каля-каля, пополам да нáдвое!

— Глаза нам не отводи!

— Вынь да выложь паровозы!

— Смерти али живота?

— Должен ты расстараться. Хлеб мужичий ешь, а уважить мужику не хочешь?

— Празднички, гуляночки?

— Все буржуйам продались!

— Пятый день вторую версту едем... Шутки плохие.

— Чаво с ним собачиться? Потрясти надо, тады и паровозы предоставит...

— Братцы... Даю честное, благородное...

Злой коптил солдатский глаз. Тянулись руки за телеграфистовой душой, сыпались светлые пуговицы с его форменной тужурки.

— Говори, не дашь паровозов?

— Братцы...

— Бей, сучья жила, телеграмму в Баку!.. Вызывай по аппарату Мурзе паровозы из Баки.

Будь на месте телеграфиста терец Фока, с величайшей готовностью кинулся бы он к аппарату *Мурзе*, и несмотря на то, что по линии все провода были давно уже порваны, изо всех сил принялся бы он трясти тот аппарат и повертывать его во все стороны; потом, сообразив, бросился бы он к давно недействующему телефону и — надувая щеки, свирепо тараша глаза — принялся бы он ругать бакинских начальников самыми последними словами и требовать, чтоб немедленно были высланы в его распоряжение сорок тысяч паровозов. Обнадеженные фронтовики угостили бы его махоркой, пожаловались бы на свою горькую судьбину и разошлись бы тихо, мирно. А там авось как-нибудь и разогнало бы тучу... Но простодушный телеграфист не горазд был на выдумки и на требование «бить телеграмму в Баку» только руками развел, что в воспаленном сознании солдат преломилось как нежелание расстараться и уважить.

— Лукин! — надорванный и полный отчаянья голос. — Лукин, чепыхни его!

— Эх! — плюнул Лукин в кулак. — Патриёт, война до победы! — И чепыхнул: телеграфист затылком о стенку, уклеенную плакатами «Заем свободы».

В этот миг

грохнул

взрыв

брызнуло стекло

стены вокзала дрогнули.

Отхлынув от телеграфиста, бросились вон. Сперва никто ничего не мог понять. Перрон был окутан дымом, в дыму — стоны, тревожные выкрики и четкая команда:

— Тре-тья со-тя в цепь!

— Санитара сюда...

— Эскадро-о-он, по ко-о-ням!

— Кирюха, где наши?

Мало-помалу дым развеялся.

По перрону там и сям лежали ничком и навзничь, ползали и стонали раненые, контуженные. Бегали санитары с носилками. На подъездном пути несколько теплушек было сорвано с рельсов.

Низенький, коренастый артиллерист Карской крепостной артиллерии стоял, прислонясь к осмоленному взрывом фонарному столбу, размазывал кровь по круглым щекам и, с удивлением разглядывая изодранную в клочья шапку-вязёнку, бормотал:

— Да как же оно так?.. Да боже ж ты мой... Да это ж его, бедолага, сивая шапка... — Затем, придя немного в себя, артиллерист уже более связно рассказал окружившим его солдатам: — Наш батареец Паньчо взорвался, истинный Христос... За салом мы с ним в поселок ходили, сала ни шматка не нашли... Ну, распили вина баклажку... Идем назад, тихо так и смиренно о домашности разговариваем, а у Паньча на горбу, надо вам знать, полный мешок бомб и динамиту — на родину, бедолага, вез, буржуев глушить... Сала мы не сыскали, колбасы до смерти захотелось, колбасы тоже не сыскали... Пока шли, распили еще одну баклажку, но захмелели не дюже, а так — вполпьяна. Доходим до станции, степенный разговор ведем, ни нам никто, ни мы никому. Глядим — что за диво! — вагона нашего нет. Искали, искали, нету вагона. «Это насмешка над нами, — говорит Паньчо, — тут стоял вагон, и нету вагона». — «Это, — говорю и я, — дюже обидно. Пойдем-ка до дежурного по станции, поговорим с ним тихо, благородно». Только мы с Паньчом, господи благослови, до этого места дошли, только начали расспрашивать, как бы нам к дежурному пройти, откуда ни возьмись чумаха-парень. «Кой, кричит, черт на дороге встали?» — и ударь, стервец, моего друга чайником по горбу: Паньчо, известно, зашипел и взорвался... Вот одна шапка от него и осталась, а уж парень-то какой

добро был, боже ж ты мой... Как, бывало, выйдем с ним на улицу, в своем то есть селе, как в две гармонии рванем-рванем... Ууу...

Ахали, матюжились, из рук в руки переходила окровавленная, с прилипшими ключьями рыжих волос, казенного образца шапка-вязёнка.

Пальба в горах стихла.

Под песню и брэнчанье походного бубна вернулись из боя казаки. Собачьи малахай и курдские папахи, заветренные суровые лица, крепкие зубы и еще горящие тревогой и боевым задором глаза.

Со набега удалого
Едут казаки домой,
Гей, гей да люли,
Едут казаки домой...

Они привели с собой легких, как зори, татарских коней,— пленных дорогой порубили,— громовым «ура» солдаты встретили казаков.

Эшелоны, под которыми были паровозы, сорвались и, гремя железными скрепами, покатали на восток. Эшелоны, под которыми не было паровозов, остались голодать на разгромленной станции.

В Баладжарах затор.

Кобылки скопилось сто тысяч — сбор богородицы, разных губерний и частей, — ехать не на чем, ехать боялись, но ехать все-таки надо.

По вагонам, закутавшись в бурки и овчины, спали и так валялись казаки и туркмены, осмоленные жирным солнцем Месопотамии. Домой они везли одни уздечки да крылья седельные, а кони их потонули в песках, погибли в походах. У костров обсушивались и дремали солдаты экспедиционного корпуса генерала Баратова. За три долгих горьких года они выходили все дороги и волчьи тропы от Кавказа до мосул-диальских позиций и обратно. Иные за все время походов хлеба настоящего и на нюх не нюхали и давно уже забыли вкус хорошей воды. Цинготные десны их сочились гноем, литую мужичью кость ломала тропическая малярия, язвы и струпья разъедали кожу томленную... Непролазна ты, грязь урмийская, остры камни Курдистана, глубоки пески Шарифхане!.. Стлался тяжелый говор. Огни костров выхватывали из темноты то высветленную оковку приклада, то бамбуковые костыли раненого, то одичавшие, точно врезанные в голодное лицо, глаза.

В эшелонах смеялись и плакали гармонии, пылали песни. Между путями отхватывали русского и гопака, в почернелых, обожженных зноем и стужей лицах веселой тревогой блестели глаза; топотом, гиком и хлопаньем жестких ладоней заглушали в себе тоску, голод, страх и отчаяние...

На горизонте переливались сочные бакинские огни, а в Бададжарах было холодно, голодно и неприятно. Толпами валили в город, но и там хлеба не было.

С моря перекатом шел воевой ветер и черным стоном штурмовал горы.

Из города — днем и ночью, на извозчиках, в автомобилях — приезжали агитаторы разных партий.

Солдаты все слушали с интересом, но в потоках ораторского красноречия и ругани они с большей жадностью вылавливали весточки о родине: в России спугнута учредилка, в России мужики громят помещиков, в России вовсю идет борьба из-за власти двух течений — большевики и буржуазия, по Кавказу горцы кричат: «Долой гяуров», — в Чечне у каждого богача и у каждого разбойника своя партия — все друг друга режут, ингуши подняли белый флаг на покорность, а Дагестан предается исламу и Турции...

Паровозы рывкнули, солдаты, не дослушав длинной резолюции о поддержке большевиков, с криками: «Правильно! Правильно! Долой войну!» — стали разбегаться.

Поезда выматывались на простор.

Через каждый состав на паровоз была протянута веревка со звонком. Спали вплбглаза. Чуть тревога — начинали звонки звонить, ружья палить, гудки гудеть. Отбивали нападение и катили дальше.

Стучали колеса

сыпались

станции

лица

дни

ночи...

Войска имели разгульный вид, везде народ, как пьяный, шумел.

— Якого полка?

— Пятнадцатого Стрелкового. А вы?

— Второго Запорожского.

— Ко дворам?

— Эге.

— Какой станицы?

— Платнировской.

— А мы, дядечку, расейские, Курской губернии, Грайворонского уезда... Буржуёв едем крушить.

— Давай бог.

Слева торчали горы дагестанские, а справа — отвалом — голубыми вихрями пылал Каспий-батюшка...

На Хасав-Юрте фронтовиков встретили хуторяне. Путаясь в кожихах, они бегали перед вагонами и на разные голоса причитали:

— Служивые, оборони... Родимые, защити.

— Что такое?

— Чечены нас забирают... Грабежи, убийство...

Собрали митинг и постановили — подать помощь от нападков чеченов. Дело было ночью. По направлению к горам постреляли из пушек, не сгружая их с платформ. Набрался отряд охотников, набросились на ближайший аул. Аул горит, трещит, искры сыплются, бабы и ребятишки воют, чечен стреляет до последнего.

Наменяли у мужиков хлеба на оружие и поехали дальше.

Чугунное тулово печки было раскалено докрасна. По закопченным стенкам теплушки полыхало жаром-заревом. Люди спали сидя, стоя — кто как сумел примениться к своему месту. Разморенный жарой Максим, обняв мешки, дремал на верхних нарах. Под дробный говор колес видел он себя на молотье: пожирая снопы, ровным стуком стучит молотилка; зерно, шипя, течет в уемистые мешки; в горьковатой хлебной пыли, обняв сноп, плывет Марфа; пышет солнышко, жилы в Максиме стонут, нутро дрожит...

Под утро Кавказ выпустил эшелон из своих каменных объятий, горы начали отставать, впереди снежной пенсой закипела степь моздокская...

Ду-ду

уу

у

ууу...

— Вырвались с проклятья — Расея!

Стремительны и яростны мчались дни.

Пыль... Дым... Гром...

Чем дальше от фронта, тем солдат шел все озорнее. На разгромленных станциях сами грели кипятком, сами били звонки, давая самое скорое отправление всем поездам и на все стороны — катая!

На перегоне Хасав-Юрт — Моздок — Грозный путь во многих местах был разобран. На обе стороны от насыпи — торчмя, на боку, вверх колесами и всяко — валялись искалеченные, как детские игрушки, паровозы, цистерны, вагоны. По следам ремонтных летучек и саперных команд, восстанавливающих дорогу, крались, подобны шакалам, банды мародеров и снова сдирали рельсы, раскидывали шпалы. Поезда то вдруг срывались и летели, не тормозя ни на поворотах, ни под уклоны, — вагоны шата-ло, мотало, солдат било о стенки, сбрасывало с крыш и буферов; то, хрипя и натужась, паровозы вяло тащили длиннющие составы, часто останавливались и подолгу простаивали по брюхо в снегу. Некоторые казачьи части двигались в конном строю; другие шли походным порядком, соблюдая все меры предосторожности; были и такие, что шагали по шпалам, ведя за собою порожние вагоны в надежде раздобыть где-нибудь паровоз: большей частью это были сибиряки или уроженцы центральных и

северных губерний, здраво рассуждавшие, что ехать им не миновать и расставаться с вагонами не рука.

По ночам суровое — в клубках смолистого дыма — зарево охватывало полнеба: то с самого лета горели грозненские нефтяные промысла.

По всему Кавказу с треском разгоралась классовая, национальная и сословная война. Всплыли поросшие травой забвения старые обиды. Рука голодаря тянулась к горлу сытача. По горным тропам и дорогам переливались конные массы. Терек, Осетия, Ингушетия, Чечня, Карачай, Большая и Малая Кабарда были окутаны пороховым дымом, — в дыму сверкал огонь, сверкал клинок, — пожаром люто были объаты народы тех земель. Уже крутенько ярилась станица, косясь на город и грозя шашкою своему давнишнему недругу, жителю гор.

Бурно митинговали аулы.

На вокзалах, базарах, площадях возвращающиеся с фронта всадники Дикой дивизии, держась за кинжалы, вопили:

— Цар бляд! Цара не нада, земля нада!.. Казах бляд! Казах не нада, война нада!.. Земля наша, вода наша, Кавказ наша!..

Казаки, как в старину, выгоняли скот на пастбища под сильной охраной, на курганы и на речные броды выставляли сторожевые посты, пойманных же на своей земле горцев резали, а иногда с веревкой на шее гнали до земельной границы, тут запарывали до полусмерти и отпускали с наказом.

— Вот твоя граница, костогрыз. Помни, ядрена мать, и детям и внукам своим прикажи помнить. На мою землю ногу не ставь — отъем!

Караулов — наказной атаман терского казачьего войска, член Государственной думы — бросил клич:

— Казаки и горцы — братья. Казаки и горцы — хозяева Кавказа. Мужиков и всякую городскую рвань будем гнать с Кавказа плетями.

Фронтвики встретили Караулова на станции Прокладной — один вагон к паровозу прицеплен — и заговорили, заматерились:

— Как вы, господин атаман, казаков застаиваете, буржуи за царя глотки дерут, а кто же об нашем брате, мужике, подумает?

— Геть, чертяки! — зыкнул чубатый атаманов гайдук. — Не шуметь у вагона, их высокоблагородие изволят отдыхать.

Солдаты и усом не повели, еще крику прибавили:

— Как вы, господин атаман, азията с русским стравливаете, казака с рабочим и крестьянина с казаком стравливаете? Когда будет конец такому зверству?

В это время, с пучагой разноцветных депеш в руке, прибежал другой гайдук и, на ходу бросив машинисту: «Поехали», — тоже исчез в вагоне.

Паровоз гукнул и зашипел, готовый вот-вот тронуться, но солдаты стояли на путях сплошной стеной и не думали уступить дорогу.

— Как так, господин атаман, вы один на паровозе туда-сюда раскатываетесь, а нам по-нужному ехать не на чем? Как вы по тылам мяса да жиры нагуливаете, а у нас с тоски и голоду отстает от костей последняя шкура?

Вперед протискался, припадая на перебитую ногу, инвалид и с ожесточением принялся колотить костылем по лакированной стенке вагона:

— Вылазь, гад! — Изможденное лицо его было измято злобой.— Вылазь, курва!

— Вылазь! — подхватили и другие.— Вылазь, нам самим ехать охота.

В окне показался заспанный, хмурый атаман. Некоторое время он молча глядел на беснующихся солдат, потом, полусберившись, что-то сказал своим гайдукам и...

— Пулемет! — дико завопил инвалид и, подхватив свои костыли, заковылял прочь.

И точно, многие увидели в окне вагона хобот пулемета... Тогда, сколько ни было на станции фронтовиков, все посыпали из-за плеч винтовки и давай залпами садить в крытый синим лаком вагон. Так был казнен атаман Караулов. И вот уже он вместе с гайдуками выброшен на перрон, а издудырканный вагон до отказа набит солдатами, солдаты располагаются на крыше.

С паровозной будки говорит речь молодой казачок:

— Господа солдаты... Вам воевать надоело, и нам воевать надоело... Вы с фронта тикаете, и наш первый Волгский полк из Пятигорска чисто весь разбежался. Ваши генералы сволочь, наши атаманы сволочь и городские комиссары тоже сволочь. Не хотят они нашего горя слушать, не хотят слез наших утереть! Огнь и до века не видать им нашего покура, не дожидаться нашего поклона! Они дорываются стравить нас, дорываются заквасить землю кровью народной. Не бывать тому! Их мало, нас много! Пообрываем с них погоны и ордена, перебьем их всех до одного и побежим до родных куреней — землю пахать, вино пить да жинок своих любить...

Речь та всем понравилась, пошло братанье солдат с казаками.

...Рядом же, вокруг загруженных пушками платформ, воровато шныряли кабардинцы в высоких папахах, с нагайками в руках. Они не без робости заглядывали в начищенные стволы орудий, неуверенно трогали орудийные затворы, лафеты, щитовые прикрытия.

— Русский, продавай.

— Купи.

— Сколько берешь?

— Сколько убежишь.

— Зачем твоя шутишь?

Кабардинцы, присев на корточки в круг, совещались, бормоча все разом и щелкая языками. Потом снова осматривали орудия и снова спрашивали:

- Солдат, бушка стреляет? Пороха есть?
- Готова, заряжена. Подставляй башку, попробую пальну разок...
- У меня башка один, башка жалко... Стреляй, пожалуйста, туда на гору.
- Эка, пес, смыслишь?
- Продавай бушка?
- Зачем она тебе?
- Надо, бульно нада бушка. Ингуш — собака, чечен — собака, адыге — собака, натухай — собака... Иё-ёй, много туда-сюда собака, воевать буду, продавай!
- Покупай.
- Пачем?
- Руб фунт.
- Га, зачем твоя смеялся...

Рядились до ночи... А ночью артиллеристы растаскивали по вагонам связанных барашков и огромные лепехи овечьего сыру; потом считали и, ругаясь, делили серебро царской чеканки. С платформ на руках, чтоб грому лишнего не было, кабардинцы скатывали орудия и подпрягали в них уносливых коней. Погромывивая орудийными щитами, запряжки трогали, мчались в горы, зарывались в ночь и в ветер.

Потолкался Максим в народе, послушал, чего люди говорят, и вернулся к себе в теплушку: мешка с одежей не было, остался один ящик с солдатскими голосами.

— Вот так клюква,— огорченно крикнул он, усаживаясь на солдатские голоса,— совесть в людях пропала, прямо из-под рук рвут.

— Какая ныне совесть,— отозвался, прожевывая сало, ополченец,— позавчера под Дербентом своих раненых не подобрали.

— Срамота,— опять сказал Максим,— эдак будем друг у друга шапку с головы воровать, так и свобода нам ни в честь, ни впрок, все в цыганску партию угодим.

— Во, во,— согласился ополченец и покосился на урну.— Чего везешь?

— Голоса.

— Чево-о?

— Голоса солдатские.

— Ааа... Чудно дядино гумно: семь лет хлеба нет, а свиньи роятся.

— Чудно, да не больно.

— А я думал, торгуешь чем... Какая тебе от них корысть?

— Депутат. В учредилку представить должен.

— Э, милоч, хватился. Али не слышал, в Грозном носатый парнишка-то высказывал: тю-тю учредилка, палкой по боку ее. Ныне на всей Расее верхом большевики сидят, а это, брат ты мой,

такие люди, такие люди... И тебя, братец, за твои шанцы не похвалят, не побоятся твоих рыжих усов.

— Цыц! — вскочил голодный Максим, свирепо глядя на зашальные до ушей щеки ополченца. — Драть я их хотел: и большевиков, и меньшевиков, и тебя, дурака, вместе с ними! Никаких шанцев у меня нет. Полк послал меня, полк доверил мне голоса свои, и я сдам их честь по чести куда следует.

— Эка, осатанел! — попятился ополченец. — Я што, я ничего, мое дело ахово...

.. На полке

рр...

Под полкой

рр...

Из темного угла веселый голос:

— Батарея, огонь!

И пошла потеха.

— Дьявола, дверь открой, дышать нечем.

Ополченец, творя молитву на сон грядущий, угнезживался спать. Скоро с подсвистом и перехватами захрапел и весь вагон. На одной из остановок Максим посадил молодого гармониста, который обещался даром играть до самого Армавира.

— Ну-ка, ну, тряхни, — попросил Максим, усаживаясь на нарах поудобнее. — Я ведь тоже игрывал, когда холостым ходил. У меня трехрядка саратовская была, с колокольчиками... Как, бывало, пустишь — отдай все и мало!

Гармонист вывязал из скатерти ливенку, закинул ремень на плечо и, рванув меха, пустил звонкую трель.

Печка остыла, людей тревожил холод, будила гармонь. Крякая, харкая и зевая спросонок, они подымались, свертывали закурки и молча, с явным удовольствием, слушали. Трепаная, протертая на углах ливенка рассказала про Разина-атамана, про горяшко бурлацкое. Гармонист переиграл все переборы и вальсы, какие умел, перепел все песни, какие помнил, и, отложив гармонь, принялся разжиглять печку. В сыром сизом дыму проблеснул огонь, заревел огонь в жестяной трубе и растопил молчание. Вострый на зуб, конопатый фельдфебелишка окликнул гармониста:

— Эй ты, кепка семь листов, одна заклепка, чей будешь?

— Я?.. Я — армавирский.

— Играешь, значит, веселишь народ?

— А что нам, малярам, день марам, неделю сушим.

— Ездил далёка ли? — И он добавил горячее словцо.

Кто-то засмеялся, а парень отшутился:

— Аяй, дядя, какой ты дошлый, а ну, умудрись — пымай в ширинке блоху, вошь ли, насади ее фитой и держи за уши, пока ворона не каркнет...

Они перебросились еще парой-другой злых шуток, и фельдфебелишка, истощив свое красноречие, отстал.

Гармонист поставил гармонь на коленку и, тихонько перебирая лады, начал было рассказывать про гулянку на сестриной свадьбе, со свадьбы он и возвращался. Его перебили голоса, полные зависти и скрытой обиды:

— И воюй там...

— Тыл он и тыл. Мы воюем, а они жируют...

Обуреваемый веселыми воспоминаниями, гармонист откинул полу поддевки и лихо топнул ободранным лакированным сапогом, как бы показывая, что хоть сейчас готов и в пляс пуститься.

— Эх, земляки, время идет, время катится, кто не пьет, не любит девок, тот спохватится! Всех тамошних плясунов переплясал, и сейчас еще пятки гудят... Дело мое молодое, дело мое холостое, завод закрылся — самое теперь время погулять, да по горам, по долам с винтовочкой порыскать...

— Ехал бы под турка, там есть где порыскать.

— Мне турки не интересны. Мне интересно контрика соследишь и хлопнуть. Третий месяц с ними польщемся.

— С кем, с кем, сынок, польщетесь?

— Да с казаками, с офицерней... То во славу контрреволюции восстание поднимут, то забастуют по станицам и хлеба в город ни пылинки не везут, а нам без толку помирать не хочется.

— Так ты красногвардеец?

— Так точно.

— Расскажи нам, что вы есть за люди и какая у вас цель? Всю дорогу звон слышим, а разобраться не можем...

— Хитрости тут никакой нет. Мы — за советы и за большевиков... Наша программа, товарищи, самая правильная, коренная...

— Вон што...

— Так, так...

— А по сколько вы хлеба получаете?

— Кисель, сметана и все на свете наше... Товарищ Ленин прямо сказал: грабь награбленное, загоняй в могилу акул буржуазного класса. Да... Хлеба по два фунта на рыло получаем, сахару по двадцать четыре золотника, консервов по банке, а жалованье всем одинаково — и командиру и рядовому одно жалованье и одна честь.

Пожилой солдат, с широкой и рябой, как решето, рожей, подошел к красногвардейцу и, тыча ему в глаза растопыренными пальцами, вразумительно сказал:

— Сынок, не программой надо жить-то, а правдой...

Мало-помалу в разговор ввязались все и заспорили, какая партия лучше. Кому нужна была такая партия, чтоб дала простому человеку вверх глядеть; кому хотелось сперва по земле научиться ходить; а кому никакая партия не была нужна и ничего не хотелось, окромя как до дому довалиться, малых деток к груди прижать да на родную жену пасть... Одни одно кричали, другие другое кричали, а гармонист свое гнул:

— Партии,— говорит,— все к революции клонятся, да у каждой своя ухватка и выпляс свой... Эсеры, лярвы, хорошая партия; меньшевики, гады, не плохи; ну, а большевики, стервы, всех лучше... Эсеры с меньшевиками одно заладили и знай долбят: «Потише, товарищи, потише»,— а мы как гаркнем: «Наддай пару, развей ход!» Таковой наш клич по всей по России огнем хлестнул — рабочий пошел буржуя бить, мужик пошел помещика громить, а вы... вы фронт поломали и катите домой... Наша большевицкая партия, товарищи, дорого стоит. У нас в партии ни одного толсторожего нет; партия без фокусов; партия рабочих, солдат и беднейших крестьян. Я вас призываю, товарищи...

— В тылу вы все герои,— визгливо закричал, прочихавшись после понюшки, шухорный фельдфебелишка. — В заводы да фабрики понабились, как воробьи в малину, и чирикаете: «Война до победы». Три года тут бабки огребали, на оборону работали, а теперь пришлось узлом к гузну, вы и повернули: «Мы-ста, товарищи, да вы-ста, товарищи». Как мы замерзали на перевалах и в горах Курдистана, вы не видали?.. Как мы умирали от цинги и тифу, вы не видали?.. Слез наших и стонов вы не слышали?

— Нечего нам друг на друга ядом дышать,— сказал Максим,— время-то какое...

— Время такое, что — ну! — подхватил гармонист.— Дух в народе поднялся. Каждый в себе силу свою услышал. У вас вчера фронт был, у нас нынче фронт. Вы там кровь роняли, нам придется тут еще больше крови уронить: что ни город — фронт, что ни деревня — фронт, изо всех щелей контра лезет... Вас палками гнали на фронт, а у нас с завода больше половины мастеровых добровольцами записались и прямо с митинга — с песнями, граем — пошли на позицию. К отряду нашему и с воли желающие начали приставать, но многим из слободских не идея была интересна, а нажива... Занимаем, господи благослови, первую станицу: поднялась стрельба, все бегут, от испугу одна корова сохла, жители плачут и думают, что пришел свету конец... Давай право отбирать оружие и делать обыски. Тут-то и был получен декрет Крыленки малодеров расстреливать. Подставили мы одного ухверта к забору, он говорит: «Дай последнее предсмертное слово». Дали ему слово. Но от испуга он больше ничего не мог выговорить, и его застрелили. После этого обыски были честные, и никто нигде не запнулся. Переночевали мы в станице, утром получаем приказ: «Поднимай батарею, отходи на заранее приготовленные позиции». Подхватили мы свои бебехи и с радостью давай отступать. В тот же день двое из наших ребят умерли от хлеба со стрихнином, как было признано медицинской. А хлебом нас угостили казаченьки, во, гады...

— Опять война,— вздохнул кто-то,— что-то уж больно мы развоевались, удержу нет... Ну, а как, сынок, русскому русско-го бить-то не страшно?

— Сперва оно действительно вроде неловко,— ответил кра-

сногвардеец, — а потом, ежели распалится сердце, нет ништо... Драться с казаками трудно, они с малых когтей к оружию приучены, а наш брат, чумазый, больше на кулаки надеется. Под станицей Отважной бросилась на нас в атаку казачья сотня в пешем строю. Мы лежим в окопах, стреляем, а они идут во весь рост. Мы знай свое стреляем, а они — невредимы. С нас пот льет градом, стреляем, а они — вот они! — совсем рядом, саблями машут и «ура» кричат. Видим, дело хило. Вылезаем мы из окопов, берем винтовки за раскаленные дула, да к ним навстречу, да как начали их по чубам прикладами глушить... Шестерых у нас тогда ранили да слесаря Кольку Мухина зарубили, ну и мы им задали чесу, будут помнить.

Рассказчика тесно обступили и вперебой принялись выпрашивать про Россию: можно ли проехать в ту или другую губернию, где и с кого получать недочеты полкового жалованья, и кто и почему фронтовиков разоружает.

— Мы разоружаем.

Загалдели, заматерились...

— Здорово живешь... А вы нас вооружали?

— Как ты смеешь у меня отбирать винтовку, когда я, может быть, сам хочу с буржуями воевать? Да я...

— Не горячитесь, земляки. Я вам сейчас все это объясню...

Оружие мы раздаем дорогим нашим революционным войскам и с приветом отправляем их на Ростовский фронт. На Дону против революции восстали генералы, офицеры, юнкarya. На Дону война идет на полный ход. Нам не сдадите оружия, поедете дальше в Кубанскую область, там вас все равно полковник Филимонов разоружит.

— Какой такой полковник? Душа из него вон. Мало мы их покувыркали?..

— Тут дело простое — у нас власть советская, а у казаков власть кадетская... Дон, Кубань и Терек большевиков не признают... У нас — совдепы, у них — казачий круг и самостийная рада. Они дрожат над кучкой своего дерьма, а мы кричим: «Вся Россия наша...» Филимонов есть войсковой атаман кубанского казачества. Он спаривает войсковой круг с радой, рада Кубанская сговаривается о чем-то таком с Украинской радой, но мы раз и навсегда против всей этой лавочки... Нам с ними так и так царापаться придется. Сейчас, ничего не видя, и то бои кругом идут: на Тамани бои, на Кубани бои, на Дону бои... Как у вас титулованье? — спросил красногвардеец.

— «Господа», — ответили солдаты хором.

— Долой господ... По декрету полагается называть друг друга товарищем.

— Нам все равно, товарищ так товарищ, только бы вот недочеты полкового жалованья выдали да хлеба на дорогу...

Максим побарабанил согнутым пальцем по ящику с голосами и спросил красногвардейца:

— Выходит, зря голосовали мы?

— Зря, землячок.

— Как так?.. Не мог же целый полк маху дать?

— Вся Россия, брат, маху дала... Давно бы нам...

Паровоз заржал, разговор оборвался, и двери теплушек распахнулись навстречу городу.

Над крышами домов рвалась шрапнель, где-то совсем близко застучали пулеметы: с высокого закубанского берега восставшие казаки станицы Прочноокопской обстреливали город.

На перроне толкались красногвардейцы, одетые в вольную одежду и обвешанные оружием.

Эшелон медленно подходил к вокзалу.

Забитые пылью, задымленные теплушки — в скрипе разошедшихся ребер, в кляцанье цепей, в железном стоне своем — напоминали смертельно уставшую от большого перехода партию каторжников. Из теплушек на ходу выпрыгнули несколько солдат и, размахивая котелками, кинулись за кипятком.

— Бомбы! Бомбы! — завопил один из красногвардейцев, приняв котелки за бомбы, и — бежать... За ним, срывая с себя ремни и оружие, последовали и товарищи. Вослед им, подобен каменному обвалу, грянул хохот... Смущенные гвардейцы возвращались, разбирали и опять навешивали на себя брошенное оружие, подсумки с патронами, разыскивали потерянные калоши.

Встречать прибывший эшелон вылетел комендант станции в шинели нараспашку, с наганом в руке.

— Приветствую вас! — багровея от натуги, заорал он. — Приветствую от имени... от имени Армавирского совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов... Герои эрзерумских высот... Защитники дорогого отечества... Долой погоны! Сдавай оружие!

Кругом

серым серб. Ходи, Расея!

заорали, засвистали:

— Рви погоны!

— Ложи оружие!

— Галуны и погоны до-ло-о-ой под вагоны!

Столбы, заборы, стены были сплошь уклеены плакатами, декретами и воззваниями к трудящимся народам всего мира.

Всем, всем, всем!

Читай и слушай.

Все наружные отличия отменяются.

Чины и званья упраздняются.

Ордена отменяются.

Офицерские организации уничтожаются.

Вестовые и денщики отменяются.

В красной гвардии вводится выборное начало.

Мир хижинам! Война дворцам!

Товарищи! —
через горы братских трупов,
через реки крови и слез,
через развалины городов и деревень,—
руку, товарищи!

Штыки в землю!
Под удар — царей!
Под удар — королей!
Срывай с них короны и головы!
Пролетарии всех стран, соединяйся!

Фронтвики принялись срезать у себя погоны и нашивки, хотя многим и жалко было: тот младший унтер-офицер, тот фельд-фебель, у кого кресты и медали — домой всякому хотелось показаться в полной форме.

На путях по вагонам сидели казаки и не хотели сдавать оружие. Красногвардейцы, в среде которых были и солдаты из понимающих, выкатили на мост пулеметы и поставили казакам ультиматум: «Сдавай оружие».

Гудки дают тревогу
народ бежит
казаки дрогнули

и сдались.

Со стороны города слышалось: «Ура! ур-ра!» Откуда-то на шинелях несли раненых.

— Ну, что? Как там?

— Отбили.

— Велик ли урон?

— Бой был боем турецкого фронта с пулеметным и орудийным огнем, трое суток без передышки. Будь они прокляты!

Максим отправился на поиски хлеба.

Воинские продовольственные лавки были разгромлены. Около заколоченного досками питательного пункта с аттестатами в руках бродили фронтвики. Горестно ругаясь, понося новые порядки и размахивая принесенными на менку рубахами и подштанниками, солдаты табунами шли на базар.

Хлеба не было ни на базаре, ни в городе. Обкрадываемые торговки на базар глаз не казали, а городские лавочники отсиживались за дубовыми дверями и, гоняя чай, выискивали в священных книгах роковые сроки и числа.

На базаре было весело, как в балагане.

Спозаранок на пустых хлебных ларях, на солнечном угле сидели солдаты, вшей били и, давясь слюной, про водку разговаривали: все уже знали, что на станции Кавказской счастливицы громят винные склады.

Через толпу пробирался бородатый красногвардеец — вин-

товка принята на ремень, на штык насажен кусок сала и связка кренделей. Молодые казаки остановили и окружили бородача.

— Купи, дядя, офицера?

— Какого офицера?

— Хороший офицер, нашей второй сотни офицер, но для беднейшего сословия вредный. Мы его пока заарестовали и содержим в своем эшелоне, под охраной.

— Зачем он мне?

— Расстреляешь.

— А вы — сами?

— Он перед нами ни в чем не виноват.

Пока разговаривали, один из казаков срезал у бородача со штыка и крендели и сало, другой — вынул затвор из винтовки.

— Так не купишь офицера?

— Нет... Мы их и не купленных подушим, наших рук не мнут.

— Ну, прощай... А затвор-то у тебя где? Пропил?

Тот схватился — нету затвора.

— Отдайте, ребята...

Посмеявшись над бородачом, променяли ему его же затвор за осьмушку махорки.

На расправу базарного суда приволокли мальчишку, укравшего подсумок с песенником и рваной гимнастеркой. За утро на базаре убили уже двоих: картежника, игравшего на наколку, и какого-то прапорщика. На оглушенного страхом мальчишку рука не поднималась. Покричали-покричали и решили:

— Петь и плясать ему среди базара до темной ночи.

А один весельчак добавил:

— Ночью иди опять воруй, только не попадайся.

Блеснули теплые глаза мальчишечьи, закипели зубы в крике:

В арсенальном большом замке
Два солдатика сидят...
Оба молоды, красивы,
Про свободу говорят...

Откуда-то опять пронесли и провели под руки раненых. Голодный и разбитый в мыслях Максим сорвал с урны сургучную печать и на все солдатские голоса выменял у бабы коврижку ржаного хлеба. Присев в сторонке, он разломил хлеб — одну краюху в карман сунул, другую принялся есть над горсточкой, не теряя ни крошки.

Погром на базаре начался с пустяков.

— Почем селедка?

— Четвертак.

— Заверни парочку для аппетита.

— Изволь.

Завернутые в листок солдатского голоса селедки нырнули в шинельный рукав.

— Служивый, а деньги?

— Деньги?.. Да ты, тетка, ошалела?.. Уплочены деньги, али другие хочешь согнуть?

Торговка солдата за жабры.

— Подавай денежки, разбойник!

— Это я-то разбойник? — обиделся солдат.

Развернулся

цоп бабу по уху.

Покатилась баба в грязь и завизжала на всю губернию, а из-за пазухи у нее на грех и вывалились два каравая хлеба.

Скрипнул зуб, рывкнула глотка солдатская:

— Ах ты, нация-спекуляция... Эдак народ мучится, а у нее за пазухой целый кооператив.

Хлеб разорвали и поглотали в мгновение ока.

Под ударами прикладов загремела первая разбиваемая лавка, а потом — пошло.

Штык к любому замку подходил.

Все базарные лавки в два счета были развалены и товары раскуплены — колбаса, конфеты, табачок, фрукты, — помалу досталось, а кровушки за три года пролили эва сколько, горького хлебнули досыта: конфеткой тут не заешь... Помитинговали-помитинговали и шайками потекли в город.

— Должен быть хлеб.

— Должон... Деться-то ему некуда, не вихрем подняло в самом деле?

— Это они умно придумали, поморить солдат голодом...

— Хлеба много, тут на вокзале один старичок сказывал...

Весь хлеб, слышь, большевики немцам запродали... Хлебом все подвалы забиты.

— Врут, не спрячут, солдат найдет.

— Ох, ребята, бей да оглядывайся...

В городе голодные разгромили несколько пекарен, тем все и окончилось.

В вокзале митинг.

С речами выступали и сторонники разных партий и так просто любители. Кто хотел слушать, тот слушал. А кто пришел под крышу погреться или выпасться — они сидели и лежали на мешках и мирно беседовали. Меж ними шнырял мальчишка и, как фокусник мячами, играл словами:

— Эх, вот махорка корешки, прочищает кишки, вострит зрение, дает душе ободрение, разгоняет в костях ломоту, потягивает на лоботу, кровь разбивает, на любовь позывает, давай налетай двугривенный чашка...

По буфетной стойке бегал, потряхивая длинными волосами и размахивая руками, оратор:

— Товарищи и граждане! Десять тысяч солдат турецкого

фронта избрали меня на почетный пост члена армейского комитета... Товарищи и граждане! Преступный и позорный брестский мир толкает свободную родину в пучину гибели. Россия — это пароход, потерпевший в море крушение. Мы должны спасти гибнущую страну и самих себя. Довольно розни и вражды. Большевики хотят сравить вас с такими же русскими, как и вы сами. Позор и еще раз позор! Народу нужна не война, а образование и разумные социальные реформы. Товарищи и граждане...

Солдаты торопливо, ровно на подряд, грызли семечки, угрюмыми волчьими глазами шупали жиглястую фигуру оратора, посматривали на его затянутые в чистенькие обмотки дрыгающие ноги и по множеству, лишь им и ведомых, мелких признаков решали: стерва, приспешник буржуазии.

Потеряв терпение, на буфет вспрыгнул небольшой, но крепкий, как копыл, солдат. Он решительно отодвинул жиглястого в сторону и взмахнул руками.

— Братаны... — Распахнулась надетая на голое тело шинель, на расчесанной груди чернел медный крест. — Братаны, расчухали, куда он гнет и чего воображает?.. Не смотрите, что член какого-то комитета: мягко стелет, да жестко будет спать. Он есть гнилой фрукт в овечьей шкуре... Расписывал — заслужили, мол, вы славу, доблесть...

Скрестились крики, подобны молниям:

— Заслужила собака удавку... Вшей полон гашник.

— Он поди из офицеров?.. Харя-то больно чиста да строга.

— Тоже и Керенский ботал...

— Гражданин, — вскинулся жиглястый, — вы не имеете права... Керенский — сын русской революции.

— Сукин сын, — озлобленно и гулко, как из бочки, выкрикнул новый оратор.

Грянул

хохот...

Рукоплесканиями, криками одобрения слушатели приветствовали остролова: в широких вокзальных окнах с дрогу звенели и дребезжали еще не выбитые стекла.

Солдат поддегивал спадающие стеганые штаны — за горбом звякал котелок с кружкой — и говорил... Говорил он громко, отдельно, чтоб всем и слышно и понятно было:

— Братаны... Я фронтовик тридцать девятой пехотной дивизии, Дербентского полка. Дивизия наша по всему Ставрополью и кое-где по Кубани ставит на ноги молодую советскую власть... Полк наш расквартирован тут недалеко, на хуторе Романовском... Я приехал сюда для связи... Под Ростовом действительно фронт стоит, под Екатеринодаром фронт стоит, домой нам проходу нет... Братаны, чего вам тут сидеть и кого ждать?.. Кто немощен духом, слаб телом — сдавай винтовку... Остальные, как один, организуйся в роты, батальоны, полки... Затягни за собой всех своих товарищей, зятьев и братьев... Выбирай командира, полу-

чай денежное, приварочное и чайное довольствие и — налево кругом марш... Выпускай из буржуя жирную кишку, поддержи-вай молодую свободу согласно декрета народных комиссаров... Али вы хуже других?.. Али чужими руками хотите жар загре-бать?.. Али вам свобода не мила?

— Мила, мила.

— Едем, товарищи... Кому и быть дружным, как не нам, фронтовикам?

— Известно... Артелью не пропадем.

— А домой-то когда же?

— Домо-о-ой? Али давно бабу не доил?

— Буржуев и в России много. Проканителиться тут, а там без нас всю землю поделят и всю воду отсвятят.

Желающие стали записываться в отряд... Кого речь прошиб-ла, кому хотелось быть поближе к дому, а кто и спал и видел, как бы на станцию Кавказскую до водки добраться.

Записался в отряд и Максим.

Долго выбирали командиров, потом разместились по вагонам и подняли хай:

— Давай отправление!

— Мы записались не гарнизонную службу нести!

Продукты розданы, речи сказаны, эшелоны отваливали с музыкой, с криком — ура! ура! — и со стрельбой вверх.

И снова замелькали, закружились телеграфные столбы, вер-стовые будки, курганы, кусты, овражки...

Солдаты в вагонах, солдаты на вагонах, солдаты на буферах и так по шпалам шайками текли. По дорогам в телегах и на ли-нейках скакали казаки, хуторяне, бабы, шли старые и малые — с бутылками, четвертями, с ведрами, кувшинами, будто на Иор-дань за крещенской водой.

На Кавказской — скопище людей, лошадей, эшелонов. Даль-ше ходу не было: под Ростовом фронт стоял, и в сторону Екатери-нодара партизаны рыли окопы, отгораживаясь от Кубанской рады.

За станицей, перед винными складами, день и ночь ревмя редела, буйствовала пьяная многотысячная толпа. Солдаты, ка-заки и вольные недуром ломились в ворота, лезли через кирпичные стены. Во дворе упившиеся не падали — падать было некуда — стояли, подпирая друг друга, качались, как гурт скота. Некото-рые умудрялись и все-таки падали; их затапывали насмерть.

В самом помещении пьяные гудели и кишели, будто раки в корзине. Колебался свет стеариновых свечей, на стенах под сет-ками поблескивали термометры и фильтры. В бродильных чанах спирт-сырец отливал синеватым огнем. Черпали котелками, при-горшнями, картузами, сапогами, а иные, припав, пили прямо как лошади на водопое. В спирту плавали упущенные шапки, вареж-ки, окурки. На дне самого большого чана был отчетливо виден

затонувший драгун лейб-гвардии Преображенского полка в шинели, в сапогах со шпорами и с вещевым мешком, перекинутым через голову.

У одного бака выломали медный кран, живительная влага хлынула на цементный пол.

Кругом блаженный смех, объятья, ругань, слезы...

Во дворе жаждущие ревели, подобны львам, с боем ломились в двери, в окна.

— Выходи, кто сыт... Сам нажрался, другому дай!

— Сидят, ровно в гостях.

— Допусти свинью до дерьма, обожрется...

В распахнутом окне третьего этажа стоял, раскачиваясь, старик в рваном полушубке и без шапки. В каждой руке он держал по бутылке — целовал их, прижимал к груди и вопил:

— Вот когда я тебя достал, жаланная... Вот оно коко с соком...

Старик упал на головы стоящих во дворе, сломал спинной хребеток, но бутылок из рук не выпустил до последнего издыхания.

Из подвального люка вылез хохочущий и мокрый как мышь, весь в спирте, солдат. Грязны у него были только уши да шея, а объединенная спиртом морда была сияюща и красна, будто кусок сырой говядины. Из карманов он вытаскивал бутылки, отшибал у них горлышки, раздавал бутылки направо-налево и визгливо, ровно его резали, верещал:

— Пей... Пей... За всех пленных и нас военных... Хватай на все хвосты, ломай на все корки... Ээ, солдат, солдат, солдатына...

Водку у него расхватили и, жалеючи, стали выталкивать со двора вон.

— Землячок, отойди куда в сторонку, прссохни, затопчут...

— Я... Я не пьян.

— А ну, переплюнь через губу!

— Я... я, хе-хе-хе, не умею.

Вытолкали его из давки, и он пошел, выписывая ногами мыслете и подпевая с дребезгом:

Всю глубину материнской печали
Трудно пером описать.

Тут драка, там драка: куда летит оторванная штанина, куда — рукав, куда — красная сопля... Сгоряча — под дождем и снегом — шли в реку купаться, тонули. Многих на рельсах подавило. Пьяные, разогнав администрацию и служащих, захватили вокзал и держали его в своих руках трое суток.

Ночью над винными складами взлетел сверкающий сребристый столб пламени... В здании — взрывы, вопли пьяных, яростный и мятежный пляс раскованного огня.

Огромная толпа окружила лютое пожарище и ждала, все сгорит или нет. Один казак не вытерпел и ринулся вперед.

— Куда лезешь? — схватили его за полы черкески. — Сгоришь...

— Богу я не нужен, а черту не поддамся... Пусти, не сгорю, не березовый! — Оставив в руках держателей черкеску, он кинулся в огонь. Только его и видали.

Тревожное ржание коней разбудило Максима, — спал он в теплушке, у коней под ногами, — на вокзальных окнах и на стенках крашенных вагонов играли блики пожарища. Спohмелья Максима ломало, зуб на зуб не попадал... Казаки из теплушек коней тянули, суммы тянули и — домой. Солдаты кубанцы запасались водкой на дорогу, собирались в партии и тоже уходили в степь.

К одной партии пристал и Максим.

Из Турции и Персии, с засеянных костями и железом полей Галиции, из гнилых окопов Полесья и сожженных деревень Прикарпатской Руси, с Иллуцкских укреплений и с залитых кровью рижских позиций — отовсюду, как с гор потоки, устремлялись в глyбь мятущейся страны остатки многомиллионной русской армии. Ехали эшелонами, шли пеши, гнали верхами на обозных лошадях, побросав пушки, пулеметы, полковое имущество. По пустыням Персии и Урмии, по горным дорогам Курдистана и Аджаристана, по большакам и проселкам Румынии, Бессарабии и Белоруссии — двигались целыми дивизиями, корпусами, брели малыми ватагами и в одиночку, скоплялись на местах кормежек и узловых станциях, тучами облегали прифронтные города.

На Киев и Смоленск

Калугу и Москву

на Псков, Вологду, Сызрань

на Царицын и Челябинск

Ташкент и Красноярск

летели солдатские эшелоны, как льдины в славну вёсну!

*В России революция — по всей-то по
Расеюшке грозы гремят, ливни шумят.*

Меж двух морей, подобен барсу, залег Кавказ.

Когда-то орды кочевников топтали дороги Кавказа; выделанная из дикого камня дубина варвара дробила иранскую и византийскую культуру, и монгольский конь грудью сшибал тысячелетних богов Востока. От моря до моря развевались победные знамена персидских владык и деспотов. Полчища Тимура, словно поток камни, увлекая за собой малые народы, перекатывались через горные кряжи. До сверкающих роскошью пышных городов Закавказья арабы докидывали мечи свои. Ученья фанатиков и язических пророков, как яростная чума, захлестывали страну и опрокидывали веками возводимые твердыни ислама и христианства. В веках — земля ломилась, камень кипел под конским копытом, рев бесчисленных орд, свист каменных ядер, грохот падающих крепостных стен, — сметая целые народы, вытаптывая пирующие царства, походом шла слепая кровь.

Под бок к Кавказу привалилась толстомясая Кубань.

Когда-то прикумские и черноморские степи были безлюдны. По зеленому приволью, выскивая гнезда любимых трав, с визгом и ржаньем бродили табуны гордых диких коней. По заоблачью одиноко мыкались сизые орлы; из-за облака хищник падал на добычу стремительнее, чем клинок падает на обреченную голову. По рекам и озерам дымились редкие становища медноликих кочевников, перегоняющих с места на место неоглядные отары овец. Порою, вперегонышки с ветром, пронеслась налетная разбойничья ватага. Да от дыма к дыму, сонно позвякивая бубенцами, пробирался невольничий караван восточного купца, щеки которого были нарумянены, зубы и ногти раскрашены, а борода завита в мелкие кольца.

Года бежали, будто стада диких кабанов.

Когда-то на Дону и в днепровских запорогах казаковали казаки, обнеси-головы. Жили они жизнью вольною: сеять не сеяли,

а сыты были, прясть не пряли, а оголя пуза не хаживали; по лиманам и затонам казаки рыбу ловили, зверя по степи гоняли, винцо пили и войны воевали. Не давали казаки покою ни хану крымскому, ни царькам ногайским, ни князькам черкесским, ни султану турецкому, ни самому царю московскому. Челны удальцов — под счастливыми парусами — летывали и в Анатолию, и к берегам далекой Персии, а коней своих дсбытчики паивали и в Аму-Дарье и в быстром Дунае. На Волге понизовые голюшки купцов и воевод царевых перехватывали, корабли орленые топили, города расейские и басурманские рушили, всякой смуте и мятежу были казаки первые задиришки.

А в кременной Москве сидел грозен царь.

Царство московское крепло и расширяло владенья свои. Под ноги царю русскому катились вражьи города и головы. Сломив могущество Пскова и Новгорода, Казани и Астрахани, царь замирил и привел в покорность ногаев и чухонцев, крымчаков и сибирцев и многие народы иных земель. Не корилась Москве одна казачья вольница. Жили казаки по вере и заветам отцов своих, дани ни князю, ни боярину не даывали, дела решали на кругу. Гордая Москва не взлюбила того духа и, собравшись с силами, огненным боем ударила по гнездам соколиным... Закачался Дон, закачалось Запорожье, задрожала степь от конского топуга да пушечного грому, запылала степь пожарами горькими... Своеволье одних атаманов срубил топор палача, другие — пали на колени, выпрашивая монаршей милости; а иные, подняв свои коши на коней, гикнули и, умываясь слезами, ушли в Туретчину. Опальные казаки, спасаясь от кнута и батога, бежали на Тамань, Кубань, Терек, на Волгу и за Волгу на Яик. И долго еще, мстя за бунт Разина, Булавина и Пугача, цари выкуривали казаков с насиженных мест и засылали их в далекие степи Запольные, повелев укрепления строить и крестить неверов — кого крестом, кого шашкою — земли у них отнимать и богатство их разорять.

Гремел и сверкал поток времени.

Страну давила неметчина, объедал помещик, утеснял патриарх. Из Руси по многим сиротским дорогам на привольное житье украин бежали крепостные смерды и «упорствующие в злосмрадных ересях воители за веру христову». Над степью, грозя сияющим крестом далеким горам, вставали куренные поселки и раскольничьи скиты. Далеко ушли казаки, раздвигая рубежи русские, но всеильная рука царя всюду доставала повольников. Мало-помалу казаки были переписаны, в мундиры обряжены, медалями обвешаны, к присяге склонены и полевой службой обязаны. Милостивыми грамотами, земельными и рыбными угодьями царь подарил старшин, выборных атаманов заменил назначенными и сословья утвердил — так вольное казачество было перестроено в войско верных казаков. Ордынцы защищали каждый камень и каждый клоч своих пастбищ. Дикое ржанье коней, всплески клин-

ков и крови сияющее зарево. Под напором русского штыка ломилась аулы. Сапог русского солдата топтал зеленые знамена полумесяца, и казак — добывая себе славу, а царю богатства—шашкой врубался в сердце Азии.

Мутнёхонька, быстрёхонька бежит-гремит Кубань-река, а впристяжку с ней ухлёстывают люты речки горные, стелются протоки малые. Шумные станицы да сытые хутора — всеми тополями своими, ветряками, садами, столетними дубами и сонными волами — смотрелись в быстрые воды Кубани.

С году на год станицы отстраивались церквами, каменными домами, паровыми мельницами, маслобойными и шерстобитными заводами. Из края в край шумели богатые ярмарки, лавки ломились от купецкого добра, ссыпные лабазы и элеваторы под горло были набиты хлебом, целые реки кубанской пшеницы текли на рынки Европы и Азии. С осенних заморозков до великого поста от Тамани до Каспия по широким шляхам тянулись чумацкие обозы: гам, песня, хлопанье кнутов, в ярмах качались круторогие воловьи головы, стонали тяжелые возы, груженные зерном, рыбой, солью, строевым лесом, сапожным и щепным товаром.

Полыхали зимы морозами.

Вьюга несла со степи снежные знамена. Заметенные буранами станицы отгуливали свадьбы, крестины, именины и престольные праздники. В жарко натопленных светлицах прогуливали ночи напролет, ели невпрóдых, пили вина своей давки, распевали старинные и войсковые песни, до седьмого пота плясали прадедовские — времен Запорожья — лихие пляски.

А там прилетала и весна, ласковая да горячая.

Курганы первыми освобождались от зимнего плена. Одряхлевшие снега, покрываясь мертвенной синевой, прятались под кусты, сползали в овражки, где и гибли, сраженные гремучими ручьями. Зима, напрягая силы, еще оборонялась. По ночам зима облетала повитую тревожными снами землю и строила козни: где морозный узор наведет на окно, где подсушит лужицу, где закует во льды зажорину, где частым инеем усыпит поле, тут заметет мокрым снегом крепко уснувшую собаку, там студеным дыханием остановит бег ручья... Но лишь проблеснет заря и брызнут искры рассвета, зимушка без оглядки пускается в бегство — вдогонку ей несутся птичьи щебеты, горланят петухи, и солнце мечет блещущие копыя. На обсохшие головы курганов все чаще и чаще опускались отдыхать стайки жаворонков, этих отважных разведчиков грядущего тепла. На межах в трепете распрямлялись голые былинки. Мелкие степные зверюшки, вырвавшись из черной неволи, грелись около своих нор. Зима в страхе пятилась, отступала в горы, на коренное становище, и отсюда — взметывая стужу со дна ущелий, срывая сверкающие снега с заоблачных высот, окруженная преданными полчищами мутных мартовских

метелей — с воем кидалась зима в битву, на равнины, и тут бесславно гибла разорванная в клочья и пену хладная сила. Коржило, ломало льды, трещали льды, всплывали льды, поднятые талою водою. Озера и лиманы, дрогнув первой свинцовой рябью, распахивали объятия свои навстречу весне. Разливалась Кубань. Вызграв, рвала Кубань берега, выметывала зелены острова, легко несла пышные воды свои. Выпущенные из птичников, гуси и утки срывались, летели на большую воду — из-за птичьего гогота и крика не слышно было человеческого голоса. Застоявшаяся за зиму скотина, задрав хвосты, выносилась за околицу, на желанное приволье — ржанье, рев, бляенье, — всяк язык славил весну-красну.

Хороши, горячи кони, мчащие весну.

Над степью, охраняя ее покой, стлались ветра-зимогоны. Синё дымилась, подсыхала степь. Станичник, помолясь, выезжал на пашню.

Неделя, другая — и вот уже залило степь от края до края зеленью всходов да сивыми ковылями.

Радостным цветом зацветали сады, обрастали сады зелеными шукурами.

Реки и озера кипели рыбой, сети не держали рыбы.

Ребятишки, на ходу сбрасывая штаны и рубахи, с криком: «Купа вода жара взяла!» — кидались с крутояра в разливы...

С давних пор с первым теплом из глубин России взмывали, как стаи голодных грачей, и тянулись на Дон да Кубань ватаги жнецов и косцов. В изодранных зипунах, в широких пестрядиных штанах, пыля разбитыми лаптями и сдвинув шапки с загорелых лбов, они шли и шли, мерли на дорогах, тысячами гибли в холерных бараках, но живые были упорны в своем стремлении и, дорвавшись до хлебных мест, пускали корень и оставались тут жить: нанимались в табунщики и пастухи, в Приазовье пополняли рыбачьи артели, из пришлой голытьбы создавались кадры батраков и ремесленников, торговцев и земледельцев.

Станичники выезжали на покос целыми семьями — с бабами, ребятишками, принятыми работниками. Кругом, насколько глазу хватало, расстилались зреющие нивы да травы в человеческий рост. Стальным клеткотом стрекотали косилки, подпряженные парюю, а то и тройкой взмыленных лошадей. В траве блистали освистанные косы, взмокшие линючие рубахи обтягивали спины косарей. Вечерами горьковатый дым костров плыл над степью, под самые звезды взлетала молодая песнь.

К Петрову дню степь брунела. Стеной вставали хлеба — каленый колос, наливное зерно. Солнце обдавало степь потоками огня. Марево, мгла, жарко дышала онемевшая от зноя степь.

В долинах, в горячем затишьи вызревал табак.

Арбузы и дыни были накатаны на бахчах, будто бритые головы на древнем поле битвы.

Садовые деревья ломились под тяжестью плодов.

На привольных пастбищах нагуливались косяки коней и неоглядные отары тонкорунных овец.

Девки рано наливались, созревали для любви.

Степь родила хлеб.

Бабы рожали крепкомясых детей.

Пчелы лили медовый дождь, виноград наливало светлой слезой, и охотник в горах ломал зверя.

Богатый край, привольная сторонушка...

Станица уселась верхом на реку: по один бок жили казаки, по другой — мужики.

На казачьей стороне — и базар, и кино, и гимназия, и большая благолепная церковь, и сухой высокий берег, на котором по праздникам играл духовой оркестр, а вечерами собиралась гуляющая и горланящая молодежь. Белые хаты и богатые дома под черепицей, тесом и железом стояли строгим порядком, прячась в зелени вишневых садочков и акаций. Большая вешняя вода приходила к казакам в гости, под самые окна.

Мужичья сторона полой водой затоплялась, отчего всю весну жители нижней улицы по уши тонули в грязи. Кое-как, будто нехотя, огороженные камышовыми плетнями, подслеповатые саманные мазанки пятились на пригорок, уползали в степь. Летом, шумя как море, к самым дворам подступали хлеба. Садов мужики не разводили, считая это дело баловством. Перед хатами лишь кое-где торчали чахлые деревца с оборванными на веники ветвями. И скотина мужичья была мельче, и сало на кабанах постнее, и шерсть на овцах грубее, и бабьи наряды скромнее, и хлеб мужики ели простого размола, да и то — многие — не досыта.

Из хороших книг и грошовых книжонок давно известно, что казаки почитали себя коренными жителями, на пришлых с Руси иногородних людей посматривали косо, редко рождались с ними браками, чинили им всевозможные земельные утеснения и не допускали к управлению краем.

Так оно и было.

Вражда велась издавна.

В описываемой нами станице кладбищ и то было два: казачье — с чугунными решетками и высокими, кованными из витого железа крестами, под которыми тлели кости атаманов, старшин, героев; по неогороженному мужичьему кладбищу бродила скотина, и были на нем лишь две примечательные могилы — купца Митрясова, дикого обжоры, подавившегося на своей же свадьбе говяжьей костью, да неуловимого разбойника и чертозная Фомки Кривопуза.

На крутом берегу Кубани глазами на реку стоял крытый железом каменный дом старожилого казака Михайлы Черноярова.

Славились Черноярковы крепким родом, конями, доблестью и богатством.

Михайле перевалило за шестой десяток, но еще горячи были его глаза, и еще несокрушимой он обладал силой. Темной дубки крупное лицо его было похоже на лоскут заскорузлой кошмы. Русая с прочернью борода расстилалась по могучей, будто колокол, груди. Из-под обкуренных дожелта усов сверкали в усмешке белые как кипень и целые все до единого зубы. Высоко поднятую голову — с подрубленным в скобку волосом — крыла форменная с захватанным козырьком фуражка. В старом, дозелена выгоревшем чекмене, туго перетянутый наборным поясом, спозанок он расхаживал по двору, присматривал за работниками, снохами, внуками, всем находя дело и всех разнося за нерасторопность. В неположенное время никто из домашних не смел при нем засмеяться или сесть без разрешения. В свободный час Михайла запирался в угловой полутемной комнатушке, куда доступ бабам был запрещен, и нараспев — в четь голоса — читал библию, водя по строке перешибленным когда-то черкесской пулей и криво сросшимся пальцем. Порою тень глубокой думы набегала на его чело, и на пожелтевшую рябую страницу святой книги огненная падала слеза. Из глубокого кармана шаровар старик доставал окованную серебром трубку и заряжал ее целой горстью выдержанного по вкусу домашнего табаку. Курил, читал, вздыхал, вспоминая службу, походы и молодость свою, раздумывая о судьбах казачества и земли русской...

Вырос да и всю лучшую пору жизни своей Михайла не слезал с коня. Он помнил хивинский поход и последнюю, 1877—1878 годов, турецкую войну. Афганский, глухих тонов, ковер — память о хивинском походе — и посеючас украшал стену его комнатушки. А в турецкий год с ним приключилась история, которая стоит того, чтобы о ней, хотя и коротенько, но рассказать. Под Златарицами из самого пекла рукопашного боя Михайла выхватил арабского скакуна — да такого! — какой и во сне не всякому приснится. На бивуаке станичники гурьбою пришли любоваться добычей. Самый старый в полку казак, Терентий Колонтарь, провёл араба в поводу, осмотрел его зубы и носовые продухи, ощупал бабки, коленные чашки и подвздошные маслаки да сказал:

— Добрый конь.

И другие старики дули жеребцу в уши, вымеряли ребра и длину заднего окорока и тоже в голос сказали:

— Добрый, добрый коняга.

А когда Михайла, вскочив на араба, чертом пронесся перед станичниками раз да другой, — вскинулся Терентий Колонтарь, и гроза восторга пересверкнула в его очач.

— Эге-ге-ге! — воскликнул он. — Такого коня хоть и наказному атаману под верх, так впору.

И другие старики закивали сивыми чупрынами, приговаривая:

— Эге-ге-ге, братику, ще не було такого коняки в нашем кубанском вийске.

Похвала старых взвеселила сердце молодого казака, ибо чего-

чего, а коней-то на своем веку те деды видывали. За статью, за удаль, за легкость кровей Михайла назвал жеребца Беркутом. Вскоре война окончилась, и русская армия с песнями двинулась к своим рубежам. В бессарабской деревнюшке, где казаки расположились на отдых, остановился на дневку и драгунский полк, что перекочевывал откуда-то из Галиции в Таврию. Командовал тем полком один из сиятельных князей, состоящий в родстве чуть ли не с самим государем. Однажды казаки и драгуны купали в Днестре лошадей. Тут-то князь и увидал Беркута.

— Эй, станица,— окликнул он казака,— где украл такого чудесного жеребца?

Михайла подлетел к князю, как был — верхом на Беркуте, голый, со щеткой на руке.

— Никак нет, выше высоко...

— Дурак. Титулуй *сиятельство*: я князь.

— Не воровал, ваше сиятельство, с бою добыл.

— Продай жеребца.

— Никак невозможно, ваше сиятельство, самому надобен.—

И Михайла повернул было коня обратно в реку, чтоб прекратить этот пустой разговор. Князь остановил его:

— Сколько хочешь возьми, но продай.

— Не могу, ваше сиятельство, мне без жеребца — зарез.

Князь с ловкостью, поразившей кубанца, вскинул в глаз монокль и пошел вокруг горящего под солнцем атласистой мокрой шерстью жеребца. И опять тронул было Михайла, и араб заплясал, кося огненными очами на князя. И опять князь остановил казака и стал говорить о богатстве своем, о своих конюшнях, о курских, рязанских и саратовских землях, владельцем которых он являлся.

— Я тебя, казак, награжу щедро.

А Михайла, насупив брови, все бормотал «никак нет» да «невозможно». Вокруг них уже начали собираться казаки и драгуны.

— Хочешь,— тихо, чтоб никто не слышал, говорит князь, и Михайла видит, как у него дрожат побелевшие губы,— хочешь, скотина, я тебе за жеребца перед целым полком в ноги поклонюсь?

— Я не бог, ваше сиятельство, чтобы мне кланяться на ноги,— громко ответил ему Михайла и тронул. Князь, точно привязанный, пошел рядом с ним. Самый бывалый в полку казак, Терентий Колонтарь, уже смекнул, что дело не кончится добром, и, подойдя с другого боку, незаметно сунул Михайле в руку плеть. И снова спросил князь:

— Так не продашь? — И снова ответил ему Михайла:

— Никак нет.

— Тогда... тогда я у тебя его отберу! — И князь схватился за повод.

— И тому не статья! — уже с сердцем сказал Михайла, пытаясь высвободить повод из затянутой в перчатку руки князя. Да и конь уже беспокойно затряс головой, однако князь был це-

пок и повода не выпускал. Ободренный улыбками станичников, Михайла зло крикнул: — У турок много было коней еще краше моего, там надо было добывать, а вы по тылам вареники кушали да галичанок щупали. Отчепись!

— Слезай, казак, — хрипло сказал князь и повис на поводу рванувшегося было Беркута.

Тогда потянул Михайла того сиятельного князя плетью через лоб. Взвился Беркут на дыбы, оторвались руки князя, он упал было, но мигом вскочил и вскричал:

— Под суд! Под суд! Драгуны, хватай его!

Но не уронил Михайла честь кубанского войска, голой плетью отбилсЯ от десятка кинувшихся на него драгун да прямо с яру махнул в Днестр, переплыл реку, держась за гриву коня, да так, в чем мать родила, и — гайда в степь! На пятые сутки он был уже на Кубани, в своем родном курене. В дальнейшем благодаря заступничеству наказного атамана и обильным взяткам, розданным военным чиновникам, дело было замято: из екатеринодарской войсковой канцелярии в Санкт-Петербургскую канцелярию полетела бумажка с вестью о том, что такой-то казак, тако-го-то числа убит за Кубанью в схватке с черкесами. Тем все и кончилось. А Михайла с командою охотников мыкался на своем скакуне по Черноморью и Закубанью, замиряя непокорных горцев — тут за самое короткое время он нахватал полную грудь крестов и медалей. Потом участвовал в подавлении ферганского восстания и в усмирении холерных бунтов, служил в конное варшавского губернатора, служил в Петербурге, и когда, после японской кампании, вернулся домой, — его встретили бородатые сыны, подросшие внуки. Михайла пустил Мурата — сына Беркута — в войсковой табун и заделался домоседным казаком.

За окнами, под обрывом, сверкая, бежала река. Бежали годы, играя, как гребнем волны, днями печали и радостей. Умерла старуха, дочери повыходили замуж, кто куда разлетелись и сыны.

Старший, Евсей, был подсечен в Монголии пулей хунхуза.

Подстарший, Петро, без вести пропал в Закавказье на усмирении.

Третий сын, Кузьма, промотав выделенную ему долю и покинув на руки отца двух внуков, ушел на Украину наниматься в стражники и тоже — как с камнем в воду.

У среднего, Игната, пехотный полковник сманил и увез невесту. Тихий и набожный от младости своей Игнат ушел с великого горя куда-то за Волгу, в раскольничьи скиты, и давным-давно не подавал о себе ни знака, ни голоса.

Сын Василий пристрастился к торговле и тоже отбилсЯ от казачьего роду. Долгое время он барышничал лошадами, наваривая на грош пятак, и все возил да возил в банк просаленные потом и

дегтем мужицкие рублевики. Перед войной скупил на Азовском побережье несколько мелких рыбных заводов, сгροхал в городе каменный трехэтажный дом, открыл торговлю и зажил на широкую ногу. Однажды он прикатил в станицу на собственном автомобиле. Михайла запер ворота на железные болты и спустил с цепи кобелей. Разбогатевший сын покрутился под окнами отчего дома и уехал в смертельной обиде.

Отломленный кусок и надмладший сын Дмитрий. Рос он вялым и хилым, отца боялся пуще огня, пускаясь в слезы и впадая в дрожь от одного его голоса. С детства любил церковное пение, прислуживал в алтаре. Станичную школу окончил с похвальным листом, стал проситься в город. Отец призывнул на него и целый год продержал взаперти, приспособлявая к работе по дому. Покорный сын за все брался безоблыжно, но дело как-то не спорилось в его неживых руках.

— Не выйдет из тебя ни доброго казака, ни крепкого хозяина, — сказал отец, выпроваживая его со двора. — Езжай, задохлец, учись.

Пролетело время немалое, семья стала уже забывать оторвыша, но вот из столицы вернулся, отслужив срок, вахмистр Сердягин, и от него станичники узнали, что Митька Чернояров адвокатствует в Петербурге и обзавелся женой-барыней.

Младший сын, Иван, и нравом и статью весь вышел в отца. Тот же крутой характер, природное удалство, любовь к движению. С юных лет он отбилсЯ от двора и вырос неграмотным. Дома жил только зимами. Каждую весну убегал в степь к чабанам или в приазовские плавни к рыбакам и лишь с первыми заморозками возвращался в станицу, обветренный и оборванный, с руками, истрескавшимися от цыпок, с рублями, звенящими в карманах холщовых штанов. В наше время ни на Кубани, ни на Тамани не осталось диких мест. Через горы и болота легли дороги, реки опоясаны мостами, распахан и затоптан каждый клочок земли, само море пятится перед человеком, и там, где еще на памяти стариков все тонуло в непролазных заламах камыша, ныне разрослись хутора, рыбацьи курени, станицы. В поисках забав Ванька забирался в такие чащобы, куда редко захаживал и заправский охотник. Путаные и неясные, как намек, тропы выводили его на подернутые дрязгом ржавые болота, на раздолье светлых лиманов. Над лиманами вились тучи чаек и бакланов, дремал камыш, шурша сухим листом. Ночевал Ванька на обсохших кочках, кормился чем придется. Годам к пятнадцати он умел вязать и насаживать сети, по звездам находил дорогу, по ветру предугадывал погоду, выслеживал кабанье гайно и, поколов поросят самодельной пикой, приносил их на рыбацьи стан. По весне, после спада воды, знал, в какое озеро и какая зашла рыба, куда сазан пошел метать икру, изучил повадки рыбы в водах проточных и стоячих, пресных и морских. С большой точностью по близким и далеким звериным крикам определял возраст зверя, понимал язык птицы, знал, ког-

да и какая птица живет в степи, какая в лесу. Плавал так неслышно и проворно, что ухитрялся подобраться в камышах к выводку и побивал утят палкой. Будучи уже парнем, повадился хаживать за Кубань, где, соследив волчиные и лисьи ходы, расставлял капканы на черкесской земле, что считалось у казаков особенным удалством. Там сдружился и с Шалимом, с которым после судьба крепко и надолго связала его. Стрелял он отменно, попадая пулькой в лезвие кинжала на сто шагов. Отлично работал и шашкой, на лету рассекая серебряный полтинник. Полевой и домашней работы с малолетства не признавал, зато в плясках, драках и джигитовках всегда был первым. В будни и в праздники шлялся по улицам, горланя песни и сводя с ума девок. Одна ночка темная знала, откуда казак добывал денег на гулеванье. Болтали, будто удалец водится с отпетыми конокрадами, но пойман он не был ни разу.

Война раздергала семью Чернояровых.

Мобилизовали внука Илью, мобилизовали внука Алексея. За ними, не дожидаясь срока призыва своего года, увязался и Ванька. Михайла наложил на сыновнее решение запрет — он еще надеялся, что парень остепенится и примет на себя хоть часть забот по хозяйству.

— Батяня, благослови,— повалился Ванька отцу в ноги.

— И думать не моги.

— Отпусти.

— Принеси-ка, плеть,— загремел взбешенный его упрямством старик,— отпущу тебе с полсотни горячих!

Этот последний памятный разговор происходил на базу. Сын усмехнулся и, храня видимую покорность, принес плеть.

— Ложись, сукин сын, спускай штаны.

Ванька заупрямился. Первый же удар прожег ему чекмень, рубаху, да и шкуры прихватил. Слепленный болью, он сшиб отца с ног и пинками покатил по базу. Старик выгнал его из дому и — самая большая обида — не дал строевого коня. Ванька наперекор отцовской воле добыл коня за Кубанью, сманил из аула своего одноклассника, друга Шалима, и с казачьим эшелоном махнул на фронт.

Война качнула станицу, станица крякнула, расставаясь с молодежью. Не одно девичье сердце стонало голубем, надсадное рыданье жен и матерей мешалось с пьяными песнями и ревом гармошек.

А там пошли и бородачи призывных годов.

Кони понесли казаков в Персию, Галицию, под Эрзерум и с экспедиционным корпусом — через моря и океаны — в далекую Францию. Много чубатых голов раскатил ветер по одичавшим, залитым кровью полям.

Нежданно-негаданно налетела революция и закружила, завертела станицу.

Проглянуло солнышко и на дом Чернояровых.

Одним днем, ровно сговорившись, приехали сын Иван и сын Дмитрий с женой.

— Здорово, казаки, — встретил их отец на дворе.

— Здравия желаю, атаман, — устало улыбнулся Иван, сбрасывая с плеча вещевой мешок.

Старик расцеловался с сыновьями.

— Где Илюшку потерял? — спросил он Ивана. — Где Алешка? Наши писали, будто его... того, да я не верю.

— Верь, Алексей под Перемышлем убит, батареец Степка Подлужный самолично мне сказывал.

— Угу, пиши — пропал казак.

— Илька в плену.

— Илюшка? В плен дался? Так, так... Два брата, два мосла... — Старик перекрестился, закусил бороду и, постояв короткую минутку в печали, обратился к сыну Дмитрию: — Ну, а ты на войне был?

— Нет, папаша, меня освободили как слабогрудого.

— Э-э, тухляй... И в кого ты, бог тебя знает, такой уродился?.. Позоришь наш род, племя. Я в твои годы лошадь в гору обгонял.

Дмитрий растерянно пробормотал:

— Я хотел... Но так вышло... Я не виноват... Теперь приехал в родные палестины отдохнуть и переждать, пока вся эта канитель кончится... Вот моя жена Полина Сергеевна.

Михайло искоса глянул на остроносую молодую женщину, перебиравшую в руках серебряный ридикюль, и равнодушно сказал:

— Живите, куска не жалко. Около меня чужого народа сколько кормится, а ты как-никак нашего, черноровского заводу.

Повел сыновей по двору.

Двор был чисто выметен. Крепкая стройка, пудовые замки, псы, как львы. Пахло прелым навозом и нагретой за день сдобной землей. Под навесом, между двумя стояками, на деревянных крючьях была развешана жирно напоенная пахучим дегтем и остро сиявшая серебряным и медным набором сбруя. Всего противу прошлого поубавилось, но было еще достаточно и птицы, и скота, и хлеба. На погребе — кадки масла, тушки осетров своего засола, бочки вина своей давки, под крышей связки листового табаку и приготовленные на продажу тюки шерсти-шленки.

Старик нацедил из уемистого бочонка ковш виноградного, отдающего запахом росного ладана вина и, отхлебнув, подал Ивану.

— Со свиданием, сыны.

— Как оно, батяня, живете и чем дышите?

— Слава царице небесной, есть чем горло сполоснуть, есть чего и за щеку положить. Один казакою, а все тянусь, наживаю. Суета сует и томление духа, как сказал пророк. Гол человек приходит на землю, гол и уходит. Вы, сукины коты, на мою могилу плюнуть ни разу не придете. Из меня — душа, из вас добры дни.

Все до последнего подковного гвоздя без меня спустите, без штанов пойдете с отцова двора. Попомните мое слово.

— Напрасно вы, папаша, так,— встрепенулся Дмитрий.— Я в Петербурге большие деньги зарабатывал. Имел свой выезд, свою дачу, дом собирался купить... Какое, однако, холодное вино — зубы ломит.

— Дача, выезд, миллионщик... А с поезда чемодан на горбу приволок.

— Что делать? Все отобрали. В пути остатки дограбили. Вы, тут сидя, и представить не можете, какой ералаш творится в столице, в городах и по дорогам. Сам не чаял живым выбраться.

— Тюря. Да я бы...

— Хитро жизнь повернулась,— весело сказал Иван.— Кто был чин, тот стал ничем.

Старик нацепил еще ковш и выпил не отрываясь.

— Дисциплину распустили, оттого и бунт разыграл на Руси. Духу глупого развелось много. У нас, бывало, вахмистры представляли атаману ежемесячные реестры об образе мыслей каждого казака, и все было, слава богу, тихо... Дали бы мне казачий полк старого состава, живо бы усмирили мятеж на всей Кубани. Я бы им раздоказал.

Дмитрий замахал руками.

— Ай-яй-яй, да вы, папаша,— старорежимник... Так нельзя. Революция, если она не выливается из берегов благоразумия, крайне необходима для нашей Расеюшки. В Европе еще в прошлом веке происходило нечто подобное. Французы своему королю даже голову отрубили.

— Бунты у нехристей нас не касаются,— убежденно сказал старик.— Да. Кубанское войско недаром когда-то песню певало: «Наша мать—Расея—всему миру голова». Все у нас должны жить под страхом.— Старик разгладил усы и заскорузлым пальцем погрозил невидимому врагу.— Дали бы мне регулярный казачий полк, м-м-м, зубом бы натянул, а свел бы с Кубани крамолу, только бы из них пух полетел. Потом выставил бы казакам богатое угощение, те перепились бы на славу, тем бы все и кончилось. Ну, рассказывай, Ванька, об усердии по службе и об успехах по фронту.

За храбрость и сметку Ивана не раз представляли к награде, но кресты и медали не держались на его груди. Парень был огневой и дикий: то шутку какую выкинет, то начальству согрубит,— награду у него отбирали, из чина урядника и подхорунжего снова разжаловывали в рядовые. Однажды за неуплату карточного проигрыша Иван в кровь избил своего сотника. «За оскорбление офицера действием» он попал под военно-полевой суд. Ему грозил расстрел. Революция распахнула перед ним ворота тарнопольской тюрьмы.

— Как же это вы немцам поддались? — допрашивал отец.— Опозорили седую славу дедов.

— Мы — немцам, вы — японцам, что о пустом говорить? Немцы нам глаза протерли, на разум дураков наставили. Царский корень, батяня, сгнил. Пришло время перепахивать Россию наново, пришло время ломать старую жизнь.

— Палку на вас хорошую.

— На драку много ума не надо.

— Чем же тебе, сынок, старые порядки не по нраву пришлись? Или ты наг, бос ходил, или тебя кто куском обделял? Засучивай рукава, приступай к хозяйству. Умру, ничего с собой не возьму, все вам оставляю. Дом — полная чаша. Вам только придувать, заживете, как мыши в коробе.

— Богатства нам не наживать, мы враги богатства, — глухо сказал Иван. — Нас фронт изломал. Три года не три дня. Малодушные устали, да и крепким надоело. И во сне снится — вот летит аэроплан или снаряд, вскакиваешь и кричишь.

— На фронт тебя ни государь, ни я не посылали, сам пошел.

— Генералы-буржуазы, большевики-меньшевики — всех их на один крючок! Через ихние погоны и золото-слезы льются. Новую войну надо ждать, батяня.

— Чего мелешь? Какая война и с кем?

— Направо-налево война. Тут тебе генералы, тут ученые, тут мужики... Нагляделся я на рязанские деревни; плохо живут — теснота, духота. Он хоть и мужик, — кругом брюхо, — а есть, пить все равно хочет. И иногородний не нынче-завтра скажет: «Твое — мое, дай сюда».

— Дело не наше, сынок. Земля казачья и права казачьи, а мужиков будем гнать отсюда в три шеи. Пускай идут с помещиками воюют, там угодий много. У них в России лес, мы за ним не тянемся. В Сибири золото, и золота нам не надо. Чиновники и мастеровщина жалованье получают, нам до того тоже дела нет. Мы тут с искони веков на корню сидим. Отцы и деды наши кровью и воинским подвигом завоевали эти земли, и мы никому их не отдадим.

— А с горцами как распорядишься, батяня?

— Азиатцев загнать к черту, еще дальше в горы и трущобы. Не давать им, супостатам, из Кубани и воды напиться.

— Тому, батяня, вовек не бывать. Все люди, все человеки...

— Думай всяк про себя, всех не нажалеешься. Да что с тобой много растабаривать? Мы, коренные казаки, не спим, и дело уже делается, — многозначительно сказал старик.

— Какое дело?

— Тебе о том рано знать... Выпей с дорожки, сынок, разгони тоску. — И он подал налитый всрезь ковш вина.

Иван надпил и передал ковш брату, а отцу сказал:

— Нам надо жить так, как живет весь простой народ.

— Ванька, не забывай бога и совесть, — зыкнул Михайла. — Когда говоришь с батьком — держи руки по швам и не моги рассуждать, что тебе мило, что не мило!..

— Брательник, ты... — вступил в разговор расхрабrevший от вина Дмитрий, — ты... еще молод, зелен и о многом в жизни не смыслишь... Папаша прав: Кубань — кубанцам, Дон — донцам, Терек — терцам. Ты, Ваня, не понимаешь всего величия и размаха казачьей души... Старые сказания, песни, славная история наших предков-запорожцев... Как это поется: «Садись, братцы, в легки лодочки... На носу ставь, братцы, по пушечке». Ваня, не подумай, что я барин... Я, брат, в глубине души — сечевик. Смешно вспомнить: однажды я надел черкеску, папаху и так прошел по всему Невскому проспекту...

— Гайда, сыны, в хату, — пригласил отец, — ужинать пора.

И потекли размеренные дни.

Михайла не доверял чужому глазу и порядок в доме вел сам. Подымался он ни свет ни заря и шел по двору в первый обход: заглядывал на баз, сажал на цепь кобелей Султана и Обругая, будил работников, отдавал распоряжения по хозяйству.

Бабы будто за делом забегали к Чернояровым, во все глаза рассматривали петербургскую барыню и поголовно оставались недовольны ею: и тоща-то она, ровно ее кто и спереди и сзади лопатой хватил, и шляпка смешная, и ноги тонки, ровно у козы.

Дмитрия осаждали мужики.

— Скажите вы мне, Дмитрий Михайлович, вы человек ученый, все законы наперекрест знаете, как оно будет? Подняли мы с зятем Денисом под озимь тридцать десятин...

— Знаю, знаю... Ты уже вчера рассказывал... Необходимо, дядя, сперва устроить всю Россию, потом можно говорить о твоих тридцати десятинах. Учредительное собрание, которое...

— Да как же оно так? На што она мне сдалась, Расея? Дочке чоботы новые я купил? Купил. Воз хлеба под крещение к ним в амбар ссыпал? Ссыпал. А теперь тот зять Денис мне и говорит: «Я тебе, такой-сякой, глаза повыбиваю». Это справедливо?

— Ты пойми, дядя Федор, я говорю тебе как адвокат. Земельные споры не могут быть решены ни нами с тобой, ни нашим станичным обществом. Учредительное собрание или наша Кубанская рада прикажут делить землю всем поровну—делать нечего, мы, казаки, подчинимся...

— А ежели не прикажут?

— Тогда видно будет.

— Да чего ж тогда видеть? Все делается с мошенской целью...

— С тобой, я вижу, не сговоришься. У меня даже голова разболелась. Приходи завтра, напишу жалобу атаману на зятя Дениса.

Дмитрий с женой уходили в степь.

Через всю станицу их провожали мальчишки. Как бесноватые, они свистали и вопили:

— Барин, барин, дай копейку...

— Барыня, барыня, строганы голяшки...

Мертва лежала степь, исхлестанная дорогами, в лощинах и на межах еще держались снега, но солнце уже набирало силу, пригорки затягивало первым, остро пахнущим полынком. Дмитрий тростью обивал почерневшие прошлогодние дудки подсолнухов и шумно радовался:

— Простор! Красота! Степь, степь.. Она помнит звон половецких мечей и походы казацких рыцарей. Вон Пьяный курган: лет пятьдесят назад казаки сторожевого поста в троицын день перепились и были поголовно вырезаны черкесами... Сколько забытых легенд и славных былей... Да, не раз казачество спасало Русь от кочевника и ляха, ныне спасает ее от хама и большевика. Дух предков жив в нас, и, если будет нужно, мы все от мала до стара возьмемся за оружие...

— Ну, нет,— целовала его Полина Сергеевна в щеку,— под пули я тебя не отпущу. Ты должен беречь себя.

Иван нигде не находил себе места. Ничто не веселило его, и в своем доме он чувствовал себя как чужой. По вечерам встречался в садах с писаревой дочкой Маринкой и жаловался:

— Скушно мне, Маринушка.

— Тю, дурной. С чего ж тебе скушно?

— А не знаю.

— Пойди до лекаря, он тебе порошков даст от скуки.— Она смеялась, ровно цветы сыпала. Прыгала круглая — кольцом — бровь, во всю щеку играл смуглый румянец, икрная была девка.— Эх ты, мерзлая картошка! Ни веселого взгляда от тебя, ни шутики. Поплясал бы пошел с молодежью, побесился.

Было время, когда Иван бежал к ней на свиданку и от радости уши у себя видел, но теперь все было не мило ему.

— Воевать я привык, а у вас тут такая тишина...

— Ах, Ваня, какой ты беспокойник. С одной войны возвратился, о другой думаешь. Ни письмеца мне с фронта не прислал. Коли не любя, скажи прямо, я сама не погонюсь.

— Люба,— тянулся к ней Иван и со злостью щипал ее крепкую грудь.

Она взвизгивала, била его по рукам платком с семечками и шипела:

— Не лапай, не купишь. Я дочь хорошего отца-матери и до поры ограбить себя не дам. Коли любишь, выбрось затеи из головы, засылай сватов.— В темноте поблескивали ее соколиные очи, и, точно в ознобе, поводя крутым плечом, она еле слышно договаривала: — Все твое будет.

— Ведьма!

Маринка выскальзывала из его объятий и, смеясь, убегала. Иван брел ко двору.

Дома его встречал отец:

— Где шатался, непутевая головушка?

— Собак гонял.
— Не наводи на грех. Пьешь?
— Али у меня рта нет? Пью. Али мне у тебя еще увольнительную записку просить? На службе надоело...

Старик оглаживал бороду и вздыхал:

— Женить тебя, Ванька, надо.

— Не хочу, батяня. От бабы порча нашему молодечеству. Казачество есть мой дом и моя семья.

— Золотое твое слово, сынок... А чего ты, я заметил, беса тешишь — лба не крестишь? В церковь ни разу не сходил?

Иван молчал.

— У-у, супостат... И как тебя земля носит? В библии, в книге царств, о таком олухе, как ты, сказано...

— Что мне библия? Нельзя по одной книге тысячу лет жить, полевой устав и то меняется.

— Язык тебе вырвать с корнем за такие слова... погоди, Ванька, господь-батюшка тебя когда-нибудь клюнет за непочитание родителя.

— Ну, батяня, будет он в наши с тобой дела путаться?.. Как первый раз сходил я в атаку, так и отпал от веры. Первая атака... И сейчас кровь в глазах стоит! Ни в чох, ни в мох, ни в птичий грай больше не верю. Ничего и никого не боюсь. Душа во мне окаменела.

— Как же вы, молодые, хотите, чтобы вам верили, когда сами ни во что не верите? И мы в походах бывали да страху божьего не теряли... Все му верить нехорошо, а не верить ничему еще хуже: вера, сынок, неоценимое сокровище.

На гулянках холостежи Иван целыми вечерами молча сидел где-нибудь в темном углу и посасывал трубку. Все, над чем смеялись парубки и девчата, казалось ему не смешным, а бесконечные разговоры мужиков о хозяйстве, о земле нагоняли на него смертную скуку.

Однажды Шалим привез на базар убитого в кубанских плавнях дикого кабана. Отбазарив, он завернул к Чернояровым и через работника, калмыка Чульчу, вызвал Ивана.

Они отправились в шинок.

— Рассказывай, кунак, как живешь?

— Хах, Ванушка, сапсем палхой дела. Коровка сдох, матера сдох. Сакля старий, дождь мимо криши тикот. Отец старий, ни один зуб нет. Лошадь старий, тух-тух. Барашка нет, хлеп нет, сир нет, ничего нет. Отец глупий ругаит: «Шалим, ишак, тащи дрова. Шалим, ишак, тащи вода».

Ивана корежило от смеха.

Шалим долго сетовал на свою судьбу и все уговаривал дружка бежать в горы. Худое, чугунной черноты лицо его дышало молодой отвагой, движенья были остры, взгляд быстр и тверд. В длиннополой фронтальной шинели и в тяжелых солдатских сапогах он путался, как горячий конь в коротких оглоблях. Перегнувшись

через стол и сверкая белыми, как намытыми, зубами, лил горячий шепот, мешая русскую речь с родными словами:

— В ауле Габукай живет мой кровник Сайда Мусаев, — будем кишки резить! Янасына воллаги... На речка Шебша живет кабардинский князь богатий-богатий — будем жилы дергать! Биллаги, такой твой мат! Хах, Ванушка, наша будет разбойника, нас не будет поймал, нас будет все боялся!

Иван тянул рисовую водку, усмешка плескалась в его затуманенных глазах... Слушал и не слушал Шалима, был доверху налит своими думками, а думки эти в зареве пожаров, в трескотне выстрелов мчали его на Дон, Украину, от села к селу и от хутора к хутору... Как сквозь сон дорогóй виделись ему степные просторы, взлески выстрелов, сверканье кинжалов, слышались яростные крики, и рожки горнистов, и грохот скачущих телег, и топот коней, и тугой свист шашки над головой... Он схватил руку Шалима:

— Ахирят!

— Ходым?

— Ах, друг, мне тут тоже не житье. Такая скука — скулы ломит. Надо уходить.

Они поменялись кинжалами. В шинке просидели допоздна и на улицу вышли в обнимку, с песней.

Новые песни принесли с собой фронтовики. Измученные и обоживевшие, они распозались по станицам и хуторам, и чуть ли не каждый из них, как пушка, был заряжен непримиримой злобой к старому-бывалому.

Вернулся домой — без руки — Игнат Горленко. Вернулся убежавший из австрийского плена казак Васянин. Вернулся рыжий Бобырь. Вернулся — на костылях — Савка Курок. Вернулись братья Звенигородцевы. Приехал из Финляндии гвардеец Серега Остроухов. Приполз с отбитым задом старый пластун Прохор Сухобрус. Вернулся с прядями седых волос в чубе тот самый Григорий Шмарога, о котором жена уже другой год служила панихиды. Вернулся до пупа увешанный знаками отличия ветеран Лазурко. Вернулся дослужившийся до чина штаб-капитана агроном Куксевич. Вернулся с турецкого фронта Яков Блинов. И другие казаки и солдаты возвращались.

Вернулся домой и Максим Кужель.

Марфа — босая, с подоткнутым подолом, полы мыла — выбежала во двор и бросилась ему на шею. Сама плачет, сама смеется.

Максим целовал ее и не мог нацеловаться.

— Рада?

— Так-то ли, Максимушка, рада, ровно небо растворилось надо мной и на меня оттуда будто упало чего.

Вытопила баню, обрала с него грязь и, расчесывая свалянные волосы, все ахала:

— Батюшки, вши-то у тебя в голове, как волки... А худющий-то какой стал, мослы торчат, хоть хомуты на тебя вешай.

— Злое зло меня иссосало.

В хате стоял крепкий дух горячего хлеба. Выскобленный и затертый, точно восковой, стол был заставлен домашней снедью, сиял начищенный до жару самовар.

— Садись, Максимушка, поди настоялся на службе-то царской.

Дверь скрипела на петлях — заходили сродники и так просто знакомые, расспрашивали про службу, про революцию. Иные, поздоровавшись, извлекали из карманов кожухов бутылки с мутной самогонкой и ставили на стол. Забегали и солдатки.

— С радостью тебя, Марфинька.

И не одна украдкой смахивала слезу.

— Моего-то там не видал? — спрашивали служивого.

— Затевай пироги, скоро вернется. Война, будь она проклята, помалась. Фронт рухнул.

В чистой, с расстегнутым воротом, рубаше, досиза выбритый, Максим сидел в переднем углу и пил чай. Про войну он говорил с неохотой, про революцию с азартом. Тыча короткими пальцами в вытертый по складкам номер большевистской газеты, разъяснял — кто за что, с кем и как.

Марфа с него глаз не спускала.

— В станице власть ревкома или власть казачьего правления? — спросил Максим.

— А не знаю, — улыбнулась Марфа, — говорили чего-то на собрании, да я, пока до дому шла, все забыла.

— Эх ты, голова с гушей, — засмеялся Максим и близко заглянул в ее сияющие глаза.

— У нас по-старому атаман атаманил, — сказал кум Никола. — В правлении у них до сей поры портрет государя висит.

— Чего же народ глядит?

— Боятся. Известно, народ мученый, запуганный. Кто и рад свободе, да помалкивает, кто обратно ждет императора, а многие томятся ожиданием чего-то такого...

— Воскресу им не будет...

— Бог не без милости, — согласился кум Никола и оглянулся на станичников. — Я так смекаю, мужики, ежели оно разобьется пристально, власть — она нам ни к чему. Бог с ней, с властью, нам бы землицы. Скоро пахать время, а земли нет. Похоже, опять придется шапку ломать перед казаками?

— Не робей, кум, не придется, — строго сказал Максим. — Али они сыны земли, а мы пасынки? Работаем на ней, а она не наша? Ходим по ней, а она не наша?

— Ты, Максим Ларионыч, с такими словами полегче, а то они, звери, и сожрать тебя могут.

— У них еще в носу не свистело, чтоб меня сожрать. Это раньше мы были, как Иисус Христос, не наспиртованы, а теперь,

испытывав на позиции то, чего и грешники в аду не испытывают, ничего не боимся. И в огонь пойдем, и в воду пойдем, а от своего не отступимся.

Наконец гости провалились.

Марфа кинула крепкие руки на плечи мужу и с пристоном выдохнула:

— Заждалась я тебя...

— Ы-ы, у меня у самого сердце, как золой, переело.— Он лепил в ее сухие, истрескавшиеся губы поцелуй за поцелуем.

Она задула лампу и, ровно пьяная, натыкаясь на стулья, пошла разбирать постель.

...Максим пересыпал в руке ее разметанные густые волосы и выспрашивал о жите-бытье.

— Жила, слезами сыта была... В степь сама, по воду сама, за камышом сама, тут домашность, тут корова ревет — ногу на борону сбрушила, дитё помирает. Кругом одна. Подавилась горем. От заботы молоко в грудях прогорькло, может, оттого и кончился Петенька.

— Не тужи, наживем другого.

— Легко сказать: другого.— Она заплакала.— Такой поползень был шустрый да смышленный. Везде он лез, все хватал, цапал...

На Максима забыть нашла, а над ухом все гудел и гудел ровный женин голос:

— Такие страхи пошли после извержения царя... Голову от дум разломило. Сперва все судачили — вот Керенский продал немцам за сорок пудов золота всю Кубань вместе с жителями; потом слышим — вот придут турки и начнут всех в свою веру переворачивать. На крещение вернулся из города лавочник Мироха и на собрании объясняет всему обществу: «Вот наступает из Ростова на нашу станицу красное войско, прозвищем большевики. Все хвостатые, все рогатые, все с копытами. Пиками колют старых и малых, а из баб мыло делают». Такой поднялся вой, такое смятение... С плачем, с криком кинулись мы, бабы, в церковь, подхватили иконы, подняли хоругвь. Батюшка с крестом три раза обошел вокруг станицы, все дороги и тропы святой водой окропил, и, слава царице небесной, пронесло большевиков стороной.

Сытый Максим пробурчал сквозь сон:

— Дуреха ты нечесаная.

— Чего я знаю? Темная я, как бутылка. Куда люди, туда и я.

— Такие брехи на страх простому народу разводят фабриканты, банкиры, генералы и все приспешники престола Николая, которые затаили в себе дух старого режима.

— Хай они все передохнут. Лошадь у нас есть, корова меж молок ходит, как-нибудь перебьемся, а там, глядишь, землицы нарежут, посеем посеvu и заживем с полáгоря...

В переднем углу теплилась лампадка зеленого хрусталя. Смутные тени лежали на темных лицах угодников. В покосившиеся

окна заглядывало седое зимнее утро. За стеной промычала корова: Максиму показалось, что заиграл горнист, он вскочил, огляделся и снова подвалился под жаркий бок Марфы... Счастливый, уснул.

Станица раскачивалась, через станицу волной катились вести:

Большевики берут верх по всей России.

На Дону война. На Украине война.

В Новороссийске — советская власть.

По Ставрополю народом поставлена советская власть.

Казачи за народ. Казачи против народа.

Под станицей Энем офицеры перебили отряд новороссийских красногвардейцев.

В Екатеринодаре войсковое правительство разгромило исполком и арестовало большевистских вожakov.

Ростов взят красными.

В станице Крымской на съезде представителей революционных станиц избран кубанский областной ревком.

Весна выдалась недружная. Блеснет ясный денек, другой, и снова запылит, завьюжит. Чуть ли не до благовещеньего дня прихватывали заморозки, перепалал снежок, но уже близилась пора пашни и весеннего сева: по-особенному, свежо и зазвонисто горланили петухи; под плетнями на пригреве босые ребятишки уже играли в бабки; в садах и на огородах копались бабы; хозяин сортовал, протравливал посевное зерно, вез в починку плуг и сеялку.

Два раза в неделю приглушенно шумел базар, в кузнице день и ночь кипмя кипела работа, над станицей плыл и таял в сырых просторах степи медлительный великопостный звон.

У кузниц и на базаре, и на мельнице, и в церковной ограде — всюду, где сходились люди, — неизбежно заваривались крутые споры, вскипали сердитые голоса, вражда рвалась направо и налево.

Фронтвики из вечера в вечер собирались в доме учителя Григорова, судили, рядили — какую власть ставить? Приходили послушать дерзких речей и старики, но сами в разговор ввязывались редко, молча посасывали трубки, по перенятой от горцев привычке строгали ножами палочки да, поглядывая друг на друга, качали головами. Завернули было как-то на огонек солдатки. Школьный сторож Абросимыч, престарелый герой турецких походов, облаял их последними словами и вытолкал в шею — не вашего, мол, тут ума дело.

— Я так думаю, надо самый зуб выдернуть — арестовать атамана! — говорил Максим, смело оглядывая собравшихся.

— Не с той ноги, Максим, плящешь. Арестуем атамана — казачи завтра же всех нас порубят, постреляют. Они такие...

— Дурак,— осаживал говорившего кто-нибудь из молодых казаков.— Мне атаман тоже дорог, как собаке пятая нога. Сшибить его не хитро, а кого поставим хозяином станицы?

— Вот Емельку,— смеялся подъесаул Сотниченко, выталкивая вперед батрака Емельяна Пересвета.— За такой головой жить — не тужить.

Смущенный Пересвет, как бугай, мотал косматой башкой, что-то мычал и пятился в угол, а кругом гремели голоса:

— Брысь под лавку.

— Он и свинье замесить не умеет.

— Мы того не допустим, чтоб, как в других прочих местах, всякий прошатай над нами стоял... Послушаешь — уши вянут: там фельдфебелишка, там рыбак, там матрос станицей крутит.

— И Христос плотником был,— вставил благообразный мужик Потапов, вожак секты евангелистов.

— Быть того не может,— отмахнулся Сотниченко.— Какой там плотник? Может статья, был он подрядчиком или кем... Но чтоб плотником — руби голову, не поверю.

Хохот пошел такой, будто поленица дров развалилась.

Сбитый с позиции Сотниченко не унимался:

— Я — природный казак. Два георгия и медаль заслужил. Мне ли его, Емелькин, приказ исполнять? Того вовек не будет. Взяло Максима за сердце, опрокинулся на подъесаула.

— Во, во, братику, генеральская палка еще не даже вам прискучила... Поставь перед тобой чучелу в рассыпных эполетах — и перед той будешь тянуться да честь отдавать. Генералы да атаманы большое жалованье получали, много они сосали народной крови. Нам нужны управители подешевле. Всем миром-соброром будем за делами смотреть. Выборный комиссар, будь хоть черт, он весь на виду. Чуть начнет неправильные приказы давать — по шалке его, выбирай другого...

— Господина Григорова просить будем, говорок.

— Он и говорок, да смирный, а дело... — Максим, как бы извиняясь, коротко улыбался учителю и испытующе глядел ему в глаза, — дело к войне, нам смирных не надо.

Григоров порывисто вскакивал и говорил-говорил о светлом будущем России и революции, о народоправстве и грядущем примирении всех наций и сословий. По природе человек мечтательный и тихий, в дни далекой юности он увлекался революционными идеями, но когда началась расправа над лучшими, слабые увяли. Увял и убрался из города и Григоров. Десять лет с лишним как он уже учительствовал в станице, вдалбливая в головы подростков нехитрые правила правописания и незабываемые истины начальной математики... Говорил он обычно горячо и помногу и при этом, по болезненной привычке, вертел в руках какой-нибудь предмет или быстрым движением навивал на палец и вновь распускал длинный черный шнурок пенске. Иные, слушая его, скучали, а иных как

раз и прельщали непонятные и кудреватые слова, которыми учитель обильно уснащал свою речь, сам того не замечая.

Когда, наконец, усталый и счастливый, он плюхался на стул, ему, по завезенной из города моде, рукоплескали, а до ушей долетал, обжигающий, одобрителный шепот:

— Башка...

— Это действительно... Говорит, как по книжке читает.

— Господи, твоя воля, что-то с нами будет? — Мясник Данило Семибратов донельзя засаленным батистовым платком отирал вспотевшее лицо, поросшую золотистой шерстью грудь, подмышки и, редко расставляя слова, хрипел: — По мне, коли что, выбрать хорошего человека, и пускай ходит пополам: один день атаманом, другой день комиссаром.

Максим на него:

— Нет, Данило Семенович, нечего нам с атаманами якшаться! Раздергивать их на все концы, и никакая гайка.

— Дивитесь, люди добрые, Кужель сам в комиссары метит, да — не балуй! — хвост короток.

— Куда мне, я малограмотный... Вперед не суюсь, но и сзади не останусь: интересуется меня, что у нас получится?.. Ночей не сплю, думаю.

Евангелист Потапов нахлобучивал на глаза заячий малахай и, пробираясь к выходу, ни на кого не глядя, как бы про себя бормотал:

— Всенародная молитва, покаяние и прощение грехов друг другу... А тут — адов смрад, хула, вертеп разбойников... Кровь будет, горе будет, пожрем и похитим друг друга, а червь пожрет всех нас... Зарастут пороги наших жилищ сорной травой, едины хищны звери будут рыскать по лицу земли...

Кто бы мог подумать, что не пройдет и месяца, как новоизраильцы, староизраильцы, субботники, штундисты, прыгуны и другие сожительствовавшие в станице секты выставят в партизанские отряды роты и сотни своих братьев?

Максим долбил свое:

— Нам хоть туда, хоть сюда, но как бы скорее землю...

— Да, время не ждет, пора бы и делить.

— А чего ее делить? — удивился рыжий Бобырь. — Она делена. Ударит теплышко-ведрышко, запрягу, свистну и поеду.

— Грех между нами будет.

— Старость придет, замолим.

— Умно сказал: «свистну да поеду». У вас, Алексей Миронович, казачьего наделу пятнадцать десятин на душу, а душ не мало — три сына, племян, дед, зять да сам большой... Дурной головой сразу и не сообразишь, какую вы под пашню карту поднимете.

— А ты чужое не считай, мозги свихнешь... — сказал Бобырь. — Гони аренду по триста целкашей за десятину и вваривай, паша, насколько сила взгребет.

— Где возьму такие капиталы? Целкаши не кую и не ворую.
— Мне до того заботы мало, со своим добром не навяливаюсь.
Кому надо, придут, да еще и в ножки поклонятся.
— Ой, Алексей Миронович, не просчитайся.
— И чего ты, Игнат, к нему присватываешься?— вступил в разговор инвалид Савка Курок.— Люди выедут, и мы выедем. Люди начнут сеять, и мы начнем сеять. Которое поле приглянулось, то и твое.
— Сейте, сейте, а убирать да молотить вас не заставим, как-нибудь и сами справимся.
— Разувайся... Мы, фронтовики, не выпустим оружия из рук, пока свой порядок не установим. Свобода, равенство и никакого с вами, кабанами, братства. Вся сила в нас: что захотим, то и сделаем.
— Погавкай, собака хромая.
— Это я — собака?
— Нет, не ты, а твоя милость.
Савка поднимал костыли и лез в драку. Его оттаскивали и отговаривали. Он рвался и не своим голосом орал:
— Я ему голову отвинчу...
— Отцепись, калека. Послушай лучше, что вон люди про войну говорят...
— Провались она в преисподню, эта самая война... Тебе, Игнат, еще гладко: сын в городе хорошие деньги зарабатывает, он тебя докормит до смерти. А мое положение — жена больна, нездоровье не позволяет ей работать, полна хата малышей, жрать нечего, и сам я не имею над чем трудиться.
— Да, почудили на свой пай,— сказал гвардеец Серега Остроухов.— Не знаю — как кого, а меня ныне на войну и арканом не затянешь. Погеройствовали, хватит. Самое теперь время ночью над своей бабой геройство оказывать.
— Ты, односум, до баб лют. Кабы за такое геройство награды выдавали, зараз бы полный бант заслужил.
— Ох, леденеет кровь в усталых жилах, как только подумаешь о войне, а воевать не миновать.
— Горюшко-головушка.
— До стены дошли,— говорит Максим,— стену ломать надо. С кого начинать, с чего начинать, у всех ли есть оружие?
Мысль рождалась туго.
Спорили целыми ночами, бесконечно плутали в кривотолках, и все же передовые хотя и медленно, но выбивались на верную тропу.

В праздничный красный день после обедни конные мыкались по станице и шумели под окнами:

— На майдан! Ходи, старики! Ходи, молодые!

Из окна высывалась голова хозяина:

— Што такое?

— Знаменитая газетка, она раздерет глаза темному народу...
Слушаю, и злоба во мне по всем жилам течет... Эх ты, власть богачей золотого мира, и до чего ж ты нашу государству довела?

— Тише, Егор, не мешай слушать.

На плечо Максима упала тяжелая рука старого казака Леонтия Шакунова:

— Стой, солдат.

Максим обернулся и стряхнул с плеча руку.

— Стою, хоть дой.

— Как ты, суконное рыло, смеешь народ возмущать?

— А какая твоя, старик, забота? Ты что, начальник надо мной или старый полицейский?

— Га-га-га,— загремели многие глотки.

— Не пьяль хайло и грубить мне не могли. Я есть полный кавалер, в трех походах бывал.

— Проснись, кавалер, открой свои глаза: свобода слова. Кругом имею право говорить, кругом — требовать.

Шакунов вытянул кадыкастую шею, взглядом выскивая в толпе казаков.

— Чего вы, едрена-зелена, уши развесили, всякую хреновину слушаете да еще зубы скалите? Газетину эту надо арестовать, а солдата выпороть и выгнать из станицы к чертовому батьке...

— Не круто ли, дед, солишь?

Шакунов откашлялся и, грозя седою бровью, заговорил:

— Послушайте, господа станишники, меня старого. Мне жить осталось недолго, врать грех, врать не буду. Кто такие большевики и красногвардейцы? То не бывалошная гвардия, в которую шли служить лучшие, отборные люди, как наши лейб-казаки. То голодранцы, жулье, босая команда, золотая рота, отродье вечного похмелья. Ни дома, ни хозяйства у них нет и никогда не было. Дела никакого не знают. Говорят с ругней, едят и пьют с ругней. С Дону казаки их пугнули, и наша рада своих из Екатеринодара пугнула. Вот они и бродят по Кубани шайками, как волки, вынюхивают, где бараниной пахнет. Чего добудут, то и пропьют, проиграют али на папироски растратят. Хай-май, ничего им не жалко. Нынче тут, завтра бес знат где. У нас и хаты, и кони, и коровы, и кабаны, и плуги, а, может, у кого и косилка с жнейкой. Так что ж, господа станишники, пустим большевиков на дворы, в хаты, да и скажем: «Берите наше нажитое, спите с нашими женками?..»

— Слушаю я тебя, Леонтий Федорович, и диву даюсь,— перебил его седоусый вахмистр Луговой.— «Кони да коровы, кабаны да тягалки, кисель и сметана...» Как у тебя бесстыжие глаза не полопаются? Как ты ухитряешься всех на свой салтык мерять? Я — казак, ты — казак. У тебя один сын в Армавире писарем служит, другой при генерале холуем, а мои соколы с первого шагу войны за Расею бьются и груди свои молодецкие крестами да медалями изувешали.— Грязной тряпицей он отер слезящиеся

глаза и всхлипнул.— У тебя посева чetyреста десятин, трех годовых работников содержишь, а мне шестьдесят пять годиков стукнуло, просятя старые кости на покой, ан нет: сам над своим наделом горб гну... Из-под ногтей у меня пшеница растет.— Он поднял задубевшие от работы руки и показал их всем, потом чиркнул спичку о корявую ладонь: спичка вспыхнула.— Это ты можешь понять?

— Тут и понимать нечего... Ты, Луговой, хоть и вахмистр, а на все стороны дурак. Не одному ли мы государю служили и не одинаковыми ли мы пользовались правами? Кто тебе наживать не велел? Пьянствовать надо было полегче да слушать тех, кто старше тебя чином.

— Служба царская до богатства меня не допускала. Сам двенадцать годов на сверхсрочной отрубил, а сыны тут до самой свадьбы из ярма не вылазили, на таких, как ты, батрачили. Сам отслужился, деток стал на действительную собирать. Выставил трех строевых коней, справил три полных комплекта амуниции и закашлял, и до сего дня кашляю. Нынче сыт, а завтра, может быть, придется с сумкой на паперть идти. Каково это на старости лет?

— Ну, мой двор стороной обходи. Лучше кобелю кусок брошу, он хоть тварь бессловесная, спасиба не скажет, а хвостом повиляет. Через вас, таких дуроломов, и на нас такая туга пришла...

Луговой еще что-то хотел сказать, но побелевшие губы его задрожали, он плюнул и, повернувшись, ушел.

Кто-то из стариков вздохнул.

— Батюшка нонче в проповеди справедливо разъяснил: «Трусы, и мятежи, и кровопролитные брани... На крови Кубань зачалась, на крови и скончается».

— Надо спасать революцию, а не Кубань. Останется жива революция, цела будет и Кубань.

— Ох, эта ваша революция... Переобует она казаков из сапог в лапти.

— Да, пойдет теперь кто туда, кто сюда... Сто лет будем враждовать и не разберемся.

— Неправда,— сказал Максим и снова развернул газету,— разберемся. Мы стали не такими темными, какими были в четырнадцатом году. Можем разобраться, где квас, где сусло, кто говорит красно, да мыслит черно...

Шакунов покосился на газету:

— Ты, солдат, ее спрячь и сегодня же представь атаману на рассмотрение. Нас, казаков, не переконовалишь на мужичий лад. На каждое твое слово у меня десять найдется. Мой сказ короток: шашка — казачья программа. Кулак мой — вам хозяин. Вот он, немоченый, десять фунтов.— Он воздел волосатый кулак и покрутил им над толпой.

Гвардеец Серега Остроухов сверкнул глазами.

— Ты, Леонтий Федорович, сперва отмой руки, после девятьсот пятого года... Твои руки в крови!..

— Цыц, сукин сын! Всех вас, разбойников, лишим казачьего звания и наделов. Не допустим порушить порядок, который наши отцы и деды ставили. Не видать вам нашего покору, как свинье неба.

Остроухов схватил его за горло:

— Зараз глотку перерву...

Зашумели было, зарычали, но в эту минуту из правления на крыльцо в сопровождении станичного атамана и стариков вышел одетый в синюю черкеску гвардейского сукна член Кубанской рады Бантыш.

Площадь притихла.

Бантыш снял папаху, поклонился и осипшим от многих речей голосом крикнул:

— Здорово, господа станичники!

Толпа качнулась и недружно, вразной ответила:

— Здравия желаем, ва-ва-ва...

— Гляди, какой бравый!

— Орел.

— Он человек приезжий, стравит нас, да и дальше, а нам расхлебывать,— робко заметил Сухобрус.

— Этот наговорит...— засмеялся казак Васянин.— Одному такому же усачу мы на киевском вокзале добре мускула́ правили.

— Тише, вы, горлохваты, слушайте оратора. Никакого сообщения в людях нет. Ведь это вам не тюха-митюха и не кляп собачий, а его высокоблагородие господин полковник.

Бантыш по-атамански оставил ногу и заговорил:

— Достохвальные казаки! Настало время сказать: то ли мы будем служить панихиду по казачеству, то ли все как один гаркнем: «Есть еще порох в пороховницах! Еще крепка казацкая сила!» Был один Распутин и то сколько горя причинил, а ныне вся Россия распутничает, и ее же сыны продают ее направо-налево: грабежи, убийства, партийная борьба, святых церковей разорение. Россия поскользнулась в крови и упала, пусть сама подымается, мы ее не толкали. Нам, кубанцам, потомкам славных запорожцев, надо подумать, как бы утвердить добрый порядок у себя дома. В Екатеринодаре заседает наша войсковая рада. Есть у нас, слава богу, и свое казачье войско. Будет и казна своя и законы. Кубань сама себе барыня...

— Так, так, справедливо...— трясли бородами старики, а в углах площади уже снова разгорались споры.

Фронтоник Зырянов — глаза блестят, руками машет — кричал громко, ровно его окружали глухие:

— Тут тебе земля дворянская, тут — монастырская, тут — войсковая, а где ж наша, мужичья?

— Ваша в Рязанской губернии, там вам пуп резан, туда и валите новые порядки наводить.

— Я четыре раза ранен...
— Дураков и в церкви бьют.
— По-моему, надо порешить нам, фронтовикам, общим голо-
сом — разделить пай по всем живым душам, и греха больше не
будет.

— Меня, друг, с мужиком, с бабой да с малым дитем не рав-
няй... Мы за Кубань кровью своей разливались, костями своими
ее сеяли. У нас на кладбище одни женки да матери лежат, а
казаки — кто на Кавказе сгинул, кто в чужих землях утратился.
Мы службой обязаны.

— И мы службой обязаны.
— Погоди, кривой, дотявкаешься.
— Не грози...
— И другой глаз надо тебе выхлестнуть.
— Ты мне глаза не выковыривай, хочу дожить и посмотреть
на погибель таких барбосов, как ты.
— Не доживешь.
— Доживу.
— Не доживешь.
— Доживу.

Казак кулаком опрокинул кривого и начал топтать его. Бо-
лее спокойные растащили и развели драчунов.

Около правления, по предложению Бантыша, довыбирали чле-
на рады. Дмитрий Черноярлов, как того требовал обычай, отбры-
кивался:

— Увольте, господа старики. Вы меня не знаете, не знаете,
куда я вас поведу. Выбирайте коренного станичника.

— Мы тебя знаем, и батька, и деда твоего знаем, послужи.

— Не могу.

— Послужи, Дмитрий Михайлович.

А недалеко молодой казак стоял ногами на седле и, картин-
но скрестив на груди руки, говорил речь:

— ...Мы не против рады, но с большевиками драться не хо-
тим. Пускай рада сама себя защищает. Господа казаки, которые
фронтовики! Пора нам опаматоваться, куда мы идем и за кем?
Кресты и медали, награды и золотые грамоты, что нам, дуракам,
навешивали на шею, тяжелее камней... Валили они нас царю под
ноги...

— Не к делу, не к делу...

— Безотцовщина.

— Геть, чертяка!

— Остро говорит. Чей таков?

— Ванька Черноярлов.

— Эге... Так и печет им в глаза, так и печет. Ну и бедовый, пес.

— ...Старики, до кой поры вы нас будете уговаривать и оса-
живать? Вы, верные слуги его императорского величества
царя Палкина, привыкли протягивать руки за полтинниками, вам
и жалко расставаться со старым режимом. Мы, ваши сыны и вну-

ки, воевали, а вы на печках снохам фокусы показывали и блаженствовали... Через золотые погоны у меня сердце наядрило, как чирый! Не забудем, как они, эти полковники да генералы, над нами издевались! Сгорите вы вместе с ними! Долой! Долой! Долой!

— Геть!

— Плетюганов ему!

— Арестовать!

— Ура! Вра-а-а...

— Приступи! Хватай его!

Над головами стариков заколыхался целый лес палок.

Иван пал на седло

гикнул

и, сшибая конем неувертливых, прорвался в улицу, поскакал в аул к Шалиму, только пыль за ним завилась.

Плескалась-звенела весна прибоем горячих дней.

Степь отряхнулась от снегов и, выкатив тугие черные груди курганов, покорно ждала пахаря.

Взыграла, разлилась Кубань-река. Налетели хлопотливые скворцы и жаворонки. Густой ветер наносил со степи волнующие запахи распаренной земли и первого полынка. Ночи — песня, визги да девичий смех — были темным-темнешеньки.

Станица поднялась.

По размокшим дорогам заскрипели тяжелые мажары, одноконные роспуски и заложенные парами повозки. Солнце играло в синем просторе. Клубились, летели светлые облака, по взгоркам скользили жидкие тени. По обсохшим обочинам дорог, загнув хвост, скакали собаки. Далеко разносилось залиvistое ржание коней... Нет-нет да и переблеснет высветленный зуб бороны, носок лемеха, сбруйная бляха. Оживленный говор, ликующие в румяных улыбках рожицы ребятишек, насунутые на нос от загара бабьи платки, хлопанье кнутов.

— Цоб...Цоб, цобе.

Максим нагнал пару чубарых волов.

— Со степью, кум.

— И вас также.

— Хороший денек, кто вчера умер — пожалеет... Где, Николай Трофимович, пахать думаешь?

— Ээ, провались оно совсем...— Кум Микола пробормотал что-то невнятное и принялся с ожесточением нахлестывать волов.

— А все-таки?

Кум долго сопел, что-то обмозговывая, потом внимательно оглядел Максима, коня, оковку наново перетянутых шин и, побрякивая, туго, через силу заговорил:

— Не придумаю, как оно и повернется... Выглядел я тут себе добрую делянку пана полковника Олтаржевского. Да-а-а. Така панская земля жирная, что ее хоть на хлеб мажь да ешь.. С осени посушили мы с Мирошкой пану задаток и подняли под зябь добрый клин... Сунуть ему в задаток грошей горсть совестно, а больших денег не случилось.— Он снова надолго замолчал и, еще раз недоверчиво покосившись на Максима, досказал: — А вот тебе — ни пана, ни Мирошки. Пан, слышно, в городе казачьим полком командует, а Мирошку дядька переманил в Ейск и всадил его, дуропляса, на свой свечной завод прикащиком...

— Ну?

— Вот и ну... Кто знает, как оно повернется? Тут тебе свобода, а тут вдруг восстанет против народа царь?

— Полудурок... Нашел над чем голову ломать! Езжай и паши.

— А полковник пан Олтаржевский? Ну-ка нагрянет? Ведь он меня не масленого, не вареного съест. Такой усатый да крикливый. Сколько разов во сне, проклятый, снился, аж тебя затрясет всего и в холод кинет. Такой он, господь с ним...

— С него уж поди-ка с самого где-нибудь наши товарищи шкуру спустили...

— Дай бы, господи.

— И велика делянка?

— Земли там уйма... Панской восемьсот десятин, войсковой сколько-то тысяч. Работай, не ленись.

— Та-а-ак, дядя лапоть,— протянул Максим.— А я за греблю думаю удариться... В Горькой балке, говорят, паев много гулящих лежит.

— И хочется тебе за десять верст лошадь гонять? — Кум Микола сдвинул шапку с запотевшего лба и, повременив, с важностью сказал: — Я тебе уважу, я такой человек, я для свояка хоть пополам, хоть надвое разорвусь.... Лошаденка у тебя одна и прилад никудышный, а у меня все-таки пара волов, они, прокляты, тугящи... Гоняй со мной?.. Подымем супрягой десятины по четыре и с лепешками будем. А?..

Максим пораздумал немного и чуть усмехнулся.

— Что ж, кум, за мной дело не станет.

— Ооо, и поедем... После рассчитаемся: ну, поставишь магарыч, ну и мне когда-нибудь добро сделаешь. Я такой человек, я... Ээх, шагай, чубарые.

Свернули на проселок.

Нагая степь.

По распаханным полосам катились черные земляные волны. Горячей силой весенних соков был напоен каждый ком земли. Важно расхаживал грач, кося умным взглядом и выклевывая из борозды жирных червей. Свист суслика, крики погонячей, неспешный шаг вола.

... Максим с кумом дали три больших круга и остановились покурить. Со стороны маячившего на возвышенном месте хутора подъехал верхом рыжеусый, в собачьем сбитом на затылок малахае.

— Вы чего? — спросил он.

— А ничего...

— Чью землю ковыряете?

— Богову.

— В нашем юрте боговой нет. То земля казачьего полковника Олтаржевского, а как он сам на службе померши, то земля стала нашей, казачьей. Запрягайте и ссыпайтесь отсюда, да не оглядывайтесь, коли живы быть хотите...— Сам говорит, а глазами, как шильями, колет.

— Господин любезный, мы за нее аренду платили.

— Я тебе покажу аренду, бесова душа... Я с тебя, бугай, собью рога... Всю степь заставлю рылом перепихать.

— А ну, заставь! — шагнул Максим навстречу.

Казак некоторое время молча постоял на меже и угнал к хутору. Однако скоро он вернулся уже в сопровождении еще пятерых и, наезжая на Максима конем, скомандовал:

— Поди прочь!

— Легче!

— Разнесу, косопузые! — и стегнул Максима плетью.

Максим схватил с повозки приготовленную оглоблю и, размахивая ею, пошел в атаку.

Кум Микола бросился было бежать, голося:

— Ратуйте, православные... За наше добро да нас же по соплям бьют.

Но двое, догнав, начали поливать его плетями и скоро спустили с его плеч посеченную в ключья рубаху.

Отовсюду скакали верхами и бежали, на ходу сбрасывая кожу и засучивая рукава.

— Бей!

— Злыдни!

— Заплюем, засморкаем!

Максим сдернул с коня за ногу рыжеусого и принялся топтать его коваными сапогами, а кум Микола сидел в промытой весенними дождями межевой канаве и, руками прикрывая глаза от плетей, хрипел:

— Не покорюсь!.. Не покорюсь!

Мужиков случилось больше. Казаки ускакали за подмогой.

В станице митинг, и митинг снова кончился побоищем, после которого в станичном правлении старики принялись пороть молодых казаков, а в доме Григорова далеко за полночь гудели голоса: в ту ночь в станице был создан ревком.

На пашню выехали вооруженные винтовками, бомбами, дробовиками — у кого что нашлось.

ЧЕРНЫЙ ПОГОН

*В России революция, вся-то Расеюшка
сгнем взялась да кровью подплыла.*

Офицер Корниловского полка Николай Кулагин вторую неделю лежал пластом. Под головой — вещевой мешок с наганом и бельем, под боком — винтовка. Укрыт он был волглой еще после фронта кавалерийской шинелью. Греться приходилось кипятком и — привитая армией иллюзия — куревом. Грязная, плохо отапливаемая палата была переполнена ранеными и обмороженными в последних боях за Новочеркасском. Из щелей непромазанных рам тянуло гнилой февральской сыростью. Койка Кулагина стояла у окна. Приподнявшись на локтях, он подолгу смотрел на улицу, потом откидывался на сбитую в блин соломенную подушку и в полузабытьи закрывал глаза. Вялые, в черных облупинах уши его были вздуты, а обмороженные, мокнущие под бинтом ноги воняли тошнотной вонью. Ломота в костях не давала покоя ни днем, ни ночью.

Ростов доплясывал последние пляски. В городской думе кадеты, демократы и казачьи генералы договаривали последние речи. Вечерние улицы были полны офицерами, беззаботными чистяками и породистыми, благородных кровей, щеголихами. В ресторанах гуляли денежные воротилы и столичная знать. Меж ними шныряли политические делегаты. Вертелись тут, козыряя громкими именами, и члены разогнанной Государственной думы, и разжалованные министры, и заправилы Временного правительства, и прославленные террористы, и сиятельные владыки разгромленных революцией департаментов, и мелкопоместные дворяне, и сановное духовенство, и шулера закрытых игорных притонов. Все они набежали на Дон после Октябрьского переворота, намереваясь отсидеться до поры до времени за казачьими пиками. Знаток смрадных тайн охранки и провидцы чудес господних, умудренные в науках профессора и социалисты, до тонкости изучившие теории всяческих движений и брожений, наперебой предсказывали близкую и неизбежную гибель большевиков. На залитых вином столах писались декларации будущих правительств, выработывались грандиозные планы восстановления России, распределялись министерские портфели, заслуженные генералы получали назна-

чения губернаторов в области, которые только еще намечались к очищению от мятежников. Тем временем не оправдавшие надежд казачьи полки расходились по хуторам и станицам; с севера — в грохоте пушек, в митинговых криках, с плясками и свистом — накатывались отряды фронтовиков, матросов и рабочие дружины. На веселящийся город напускалась гроза грозная.

Лазарет охраняли гимназисты под начальством дряхлого полковника. Старик, сменяя караулы, обходил палаты и разносил утешительные вести. Ему хотя и не верили, но прихода его ждали с нетерпением.

Однажды рано поутру лазаретники были разбужены пушечной пальбой. Кто поздоровее, собрался было уже задавать лататы, когда в дверях появился полковник. Заложив руку за борт потертого мундира, он раздельно и торжественно произнес:

— Господа, это самое, поздравляю.

Тяжелораненные перестали стонать. Сосед Николая Кулагина, усатый фельдфебель Крылов, замер с недочищенным сапогом на одной руке и со щеткой в другой.

— Свежие новости, господа... На таганрогском и черкасском участках фронта красные разбиты, это самое, вдребезги. Да, вдребезги. Захвачены в плен два полка противника в полном составе...

Все поддались радостному настроению. Одни сели в постелях, другие спрыгнули с коек и окружили вестника.

— Точны ли сведенья, господин полковник?

— Почему молчат газеты?

— Но... стрельба под самым городом?

— Экое дело стрельба, — хитро улыбнулся полковник. — Восстали, батенька мой, станицы нижних округов и пробиваются на соединение с нашими частями... По городу дезертиров ловим, бандитов бьем, вот вам и стрельба, хе-хе... Верьте мне, старику, я, это самое, приукрашивать не стану. Да, не стану. — Шаркая стоптанными сапогами, он прошел в соседнюю палату.

— Ага! — заговорил, прыгая на костылях, подпоручик Лебедев. — А я что вчера говорил?

— Умерьте пыл, подпоручик, — угрюмо сказал нагонявший на всех уныние своей мрачностью жандармский ротмистр Топтыгин, — ликовать нам по меньшей мере преждевременно.

— Почему, позвольте узнать?

— Анархия, не забывайте, молодой человек, вовлекла в свой дьявольский круговорот миллионы потерявших человеческий образ людей, а идея национального освобождения, как бы она ни была прекрасна...

Лебедев, подхватив костыли, подсел к ротмистру и с жаром принялся развивать перед ним свои взгляды на спасение родины. Топтыгин слушал его, покручивая пушистый ус, и лишь изредка ввертывал краткие, полные житейской мудрости замечания, от которых палата покатывалась с хохоту.

За общим столом, отодвинув игральную доску, спорили заядлые шахматисты — пехотный прапорщик Сагайдаров и завитой, надушенный корнет Поплавский. Все уже знали, что прапорщик — убежденный эсер. Поплавский и играл-то с ним только потому, что не было другого партнера. Кроме того, ущемляя прапорщичье самолюбие, корнет развлекался. За неделю непрерывных сражений Сагайдаров не взял ни одной партии, хотя победа, как ему казалось, не раз клонилась на его сторону.

Поплавский, редко расставляя слова, брезгливо говорил:

— Наша революция глубоко национальна хотя бы по одному тому, что ко всему мы приходим задним умом, да-с, задним умом... Большевизм необходимо было задушить в зародыше, и теперь русские корпуса маршировали бы через Германию, но — момент был упущен.

— Кем упущен? — спросил Сагайдаров, подаваясь вперед.

— Вами, разумеется... Пока ваш социалистический Бонапарт декламировал, большевизм распространился как зараза, фронт рухнул, мы дожили до позора, когда всякий негодяй, прикрываясь демагогическими лозунгами, считает законным свое шкурничество, когда...

— Поверьте, господа, оздоровление близко, — обращался прапорщик ко всей палате. — Даю честное слово. Я знаю, я верю в мудрую душу русского народа и в его светлый ум. Лучший отбор солдат будет с нами. Рабочий класс и трудовое крестьянство рано или поздно, но непременно, я подчеркиваю — непременно, откачнутся от большевиков... И, наконец, не следует забывать носительницу лучших идеалов человечества — самоотверженную русскую интеллигенцию.

— Ох, уж эти мне ваши интеллигенты, прапорщик, — ввязался в разговор ротмистр, — мало я их вешал.

— То есть, позвольте, как это вешал?

— Очень просто, сударь, за шею веревкой. — Ротмистр скрестил на увешанной медалями груди пухлые белые руки. — Где ваши земские деятели, защитники порядка и отечества? Куда подевались вольнодумствующие юристы и чиновники разных рангов? Стервецы! Вчера еще они пресмыкались перед престолом и в два горла жрали куски правительственного пирога, вчера еще... — махнул рукой и досказал: — Плохой у нас был император или хороший — история рассудит, но ни один сукин сын не поднял руки в его защиту, ровно все они родились революционерами.

— Извините, — сказал прапорщик, — это вопрос глубоко принципиальный. Всенародное Учредительное собрание...

— Очень хорошо, — перебил его ротмистр, — миллионы своих голосов вы подали за Учредительное собрание? Оно разогнано, черт побери! Почему же ваша самоотверженная интеллигенция и светлоумный народ безмолвствуют? Разве родина не в пасти сатаны? Разве не грозит нам большевицкое иго, еще более мрачное, чем татарщина? Грош цена и вам и принципам вашим. Вы — пылы!

— Странные, однако, у вас понятия, честное слово...

— Все надоело,— зевнул Поплавский,— продолжать войну немисливо. Россию может спасти чудо или хороший кнут. Вашей, прапорщик, народной мудрости пока хватает лишь на поджоги, разбой и разорение культурных очагов... Взять, к примеру, моего отца,— оживляясь, заговорил корнет.— Полный генерал, после японской войны вышел в отставку, спокойно доживал век в своем имении, и ничто, решительно ничто, кроме цветов, не интересовало старика... Но, голубчик, какие он разводил розы, скажу я вам, уму непостижимо. Шотландские махровые, мускусные светло-голубые, белые, как пена кипящего молока, черные, как черт знает что. О нашей оранжерее даже в заграничных журналах писали...

Усатый гимназист Патрикеев, обрадовавшись случаю блеснуть познаниями, крикнул из угла:

— Древний греческий поэт Анакреон сказал: «Розы — это радость и наслаждение богов и людей».

— Совершенно верно,— повернулся к гимназисту Поплавский и, не обращая внимания на то, что многие засмеялись, продолжал рассказывать о том, как мужики вырубili парк, разорили оранжерею и выгнали из родных палестин отца.— Скажите, кому мешали цветы? Я согласен с вами, ротмистр, лишь кнут и петля, как во времена Пугачева и Разина, способны унять разыгравшиеся страсти черни. Пусть с этим кнутом придут немцы, зуавы, кто угодно... Да-с, кто угодно.

— О нет,— подскочил Сагайдаров, заливаясь румянцем,— русский народ выстрадал свою свободу и никому ее не отдаст. На позоре военных неудач России не возродить. Немцы питают к нам не только культурное, но и расовое отвращение. К тому же, в случае бесславной сдачи, мы лишимся поддержки европейской и американской демократии. Кайзер заставит нас чистить ему сапоги, честное слово... Нет и нет! Во имя всего святого мы должны поднять меч, может быть, в последний раз!

— Чуть,— ответил корнет,— России нужна, в крайнем случае, конституционная монархия, а всю вашу азиатскую свободу смести к черту огнем и мечом.

— Ах, так? Вы — русский офицер... Стыдитесь!

— Хватит. Надоело.— Корнет повернулся и, насвистывая, отошел к окну.

Поплавский среди разношерстной лазаретной публики чувствовал себя одиноким. Войну он прослужил в Персии при штабе экспедиционного корпуса. Революция забросила его в чужой город, где не было ни связей, ни пристанища. Не торопясь попасть на фронт гражданской войны, жалуясь на головные боли и на старье, где-то и когда-то полученные контузии, он кочевал из лазарета в лазарет.

С кем был Николай Кулагин?

Ротмистр в счет не шел. Некоторые мысли, высказанные Са-

гайдаровым, казались Николаю здоровыми, но он не мог перебороть в себе неприязнь к прапорщику, дубоватое лицо которого было полно скрытого лукавства, а мигающие, в белых ресницах, глаза не смотрели на человека прямо. Возмущали наглый тон и беспринципность Поплавского. Николай вообще недолюбливал штабных ловчил. Разве можно было забыть Могилев... Пятнадцатый год, стоверстные позиции под Варшавой, окопы, доверху заваленные трупами... Лучшие кадровые корпуса гибнут в августовских лесах, под напором врага фронт трещит... С остатком полка он пробирается в тыл на переформирование и в Могилеве впервые видит офицеров большого штаба, затянутых в корсеты, накрашенных и завитых. И сейчас, глядя на холеное лицо корнета, он улавливал в нем какое-то сходство с теми могилевскими фазанами. Николай Кулагин, как и большинство кадровых офицеров, плохо разбирался в политике. Мысль о необходимости страшной войны, выведившей Россию на блистательный путь могущества, казалась бесспорной. Революция опрокинула если не все, то многое понятия об отечестве и долге. Из подброшенной ему в землянку газетки он вычитал, что солдатам война не нужна, а начальники являются врагами народа и защитниками интересов буржуазии и отрекшегося царя. Первая весна революции пролетела в угаре митинговщины и возрастающего озлобления. Вколоченная палками в спину безответного русского солдата дисциплина рухнула сразу. Командир не узнавал своего полка. После неудачи июньского наступления армия начала распыляться. Николай бежит в тыл и по дороге пристаёт к корпусу генерала Крымова, который продвигался на Петроград свергать Временное правительство. Но скоро, по ходу дела, корпусной застрелился, а офицеры, прибыв в Петроград, встали... на защиту Временного правительства от большевиков. Дни, прожитые в семье, промелькнули, как хороший сон: слезы, поцелуи, бесконечные расспросы. Буря — с грозой и ливнем! — разворачивалась вовсю. Кулагин участвует в обороне Владимирского юнкерского училища, потом мчится в Москву на защиту Кремля и после поражения с пушечным гулом в ушах скатывается на Дон...

— Черт поberi, — сияя глазами, говорит шестнадцатилетний кадет Юрий Чернявский, — как я хотел бы сегодня же выздороветь, быть в походе со своим отрядом, а то проваляешься тут, ничего не увидишь, тем временем и война может окончиться... Господин капитан, — обращается он к Кулагину, — как, по-вашему, пасху встречать будем дома?

— Да, да, Юрик, разговляться будем дома... Куличи пойдем святить, яиц крашенных нам с тобою надарят.

— Каникулы... — мечтательно промолвил кадет, перебирая в памяти былые радости, — на каникулы я уезжал к тете в Смоленскую губернию... Там такие чудесные леса... Старший брат деа разу водил меня с собой на охоту.

— У тебя и брат есть?

— Был брат... В Киеве убили.

Санитары внесли в палату и уложили на свободную койку молодого добровольца с университетским значком на гимнастерке.

Его мгновенно обступили.

— Откуда? Какой части? Не знаете ли случайно, где стоит второй батальон?

— Я — чернецовец, — через силу ответил прибывший, — наш отряд разгромлен, командир зарублен, все гибнет.

— А казаки?

— Слухи... Вздорные слухи.

— Слухи распространяют бабы и мерзавцы, — вполголоса, чтобы не слышал раненый, сказал Поплавскому Топтыгин. — Стрелять их всех поголовно, вешать, не жалея веревок.

— Нет, не слухи, — с трудом проговорил чернецовец, — красные наступают... Кутеповым оставлен Матвеев курган... Забастовщики захватили Таганрог... Части генерала Черепова и Корниловский полк отходят от Синявской и не нынче-завтра будут в городе... Потери огромны... Лучшие гибнут, сволочь дезертирует... — Он закашлялся, схватился за грудь и выхаркнул шматок загустевшей черной крови.

— Если это правда, — волнуясь, сказал Поплавский, — то единственный выход: забаррикадировать двери, окна и защищаться до последней возможности.

Ему никто не ответил.

«Гибель? Отступление? — стремительно летела мысль Кулагина. — Куда отступить? Успеют вывезти или в спешке забудут? Гибель? Конец? Плен? Нет, лучше своя пуля из своего нагана!»

Ночью опять слышалась орудийная пальба. По темным улицам, тревожно завывая, мыкались храпящие автомобили, и, точно пересмеиваясь, цокали о камни мостовой подковы. Убежал из лазарета гимназист Патрикеев. Убежал Поплавский. К утру, выкрикивая в бреду имя сестры, любовницы или невесты, умер чернецовец. Заспанные санитары уволокли его закоченевшее тело. Над пустой койкой на гвозде осталась забытая папаха.

За мутным стеклом светлело небо.

Николай подтянулся на локтях к окну. Восходящее солнце розовым холодным светом касалось церковных куполов и мотающихся на ветру голых, точно судорогой сведенных, ветвей одинокой березы. Неожиданно из-за угла вывернулся отряд. Кулагин сразу узнал своих корниловцев. Они шли быстрым шагом, почти бежали. Их было так мало, что у него сжалось сердце. «Господи, неужели это все, что осталось от полка?» Он выбил кулаком стекло и высунулся наружу.

— Казик! Володя!

Головы вскинулись, его узнали и замахали рукавичками, шапками.

Через минуту в палату вбежали двое — румяный Володя и закадычный друг Николая Казимир Костенецкий, с которым судь-

ба свела его еще на германском фронте. Оба расцеловались с Николаем, и, повернувшись ко всем, Казимир крикнул:

— Господа, прошу не волноваться. Сложившаяся обстановка... — Он смешался. — Словом — драпаем. Город сдаем... Вы... вас... Кто может ходить — заберем с собой, остальные будут размещены в городе по надежным квартирам.

Молчание, растерянные лица...

— Но куда, куда отступать?

— Здоровые всем были нужны, а теперь...

— Даете ли слово, поручик?

Казимир, четко рубя слова, сказал:

— Да. Если о вас забудет начальство, то мы сами сделаем все, что нужно. Даю слово русского офицера! — Он торжественно принял под козырек.

Оба откланялись и поспешно вышли.

Тяжелобольные замечались и застонали. Ротмистр, сопя, затягивал ремни огромного чемодана. Иные рылись в мешках и переодевались по-дорожному; иные, сбившись у окон, обсуждали ход военных действий. Сагайдаров критиковал тактику командования, порицал политику донского правительства и все надежды возлагал на близкое отрезвление крестьянства.

— Будь вы, прапорщик, на месте командующего, мы не сомневаемся, что все сложилось бы иначе, — съязвил Топтыгин и, ухватившись за бока, злобно захохотал.

Кулагина была нервная дрожь... «Уши, черт с ними, но вот ноги, ноги, подведут или нет? Неужели нельзя будет притвориться выздоравливающим? Уж если и умереть, так в походе, в кругу друзей».

Кадет, с головой закрывшись одеялом, плакал. Около него суетились.

— Юрка, как тебе не стыдно? Ну, голубчик, успокойся... Разве ж мы тебя бросим? Скоро пригонят подводы...

Кто-то поднес кадету разбавленного спирту. После недолгого колебания он залпом опорожнил кружку, задохнулся, закашлялся и, отерев шинельным рукавом мокрое от слез лицо, понемногу успокоился.

Стрельба в городе усиливалась.

Николай поднялся... Суставы ног разнимало ломотою, в самых костях мозг и тот мозжил. Превозмогая боль, как наассахах, он прошел по палате, потом пристроился на койку и занялся перевязкой. Сагайдаров посоветовал присыпать мокнущее мясо сахарным песком, что способствовало, по его уверениям, быстрейшему наращению новой шкуры. Корниловец, сцепив зубы, сорвал с лоскутками кожи заскорузлые бинты, развязал вещевой мешок, выбрал из белья что поветше и, надрав длинных лент, накрепко обмотал ноги.

Многие уже оделись и сидели на мешках с винтовками в руках.

В дверях, с узелком в руке, появился запыхавшийся полковник.

— Господа, это самое, пора... Пора.

Все засуетились.

У подъезда мобилизованные извозчики ругались с конвойными. Робеющие гимназистки жались поближе к дверям, держа перед собой, как свечки, букетики первых ландышей и фиалок. На ступенях сидела, приложив к глазам платок, и ждала кого-то старушка — кружевная косынка ее съехала на сторону, седая голова сотрясалась от рыданий.

Зарывшись на возу в солому, убаюканный скрипом колес, Кулагин проспал весь ночной переезд и не слышал ни стрельбы, ни взрывов бомб, сбрасываемых с большевистского аэроплана. Разбудил его собачий брех. Обоз втягивался в станицу Ольгинскую. В глаза прынуло солнце. Унавощенные дороги еще крепко лежали в снегах, хотя колдобины уже были налиты, точно жидким пламенем, ростепельной водой. С крыш разорванной серебряной ниткой сверкала частая капель. Сосульки блестели под солнцем, как штыки. Отовсюду сочилась и дышала благодатью доблестная весна.

Воз свернул во двор.

В воротах, встречая гостей, стоял навывтяжку одетый в парадную форму пожилой казак.

— Здравия желаем, ваш бродь! — увидев офицерские погоны, гаркнул он.

Позади хозяина, на дистанции в три шага, стояли в ряд и кланялись бабы.

В чистой, по-городскому обставленной хате грудастая, принаряженная казачка угощала офицеров варениками. Хозяин из почтения к гостям стоял у порога. Для порядка он покрикивал на бабу и, перехватывая из руки в руку шапку, выпрашивал, кто такие кадеты, за кого они воюют и куда изволят отступать. Ротмистр Топтыгин, упирая больше на попушение господне, терпеливо разъяснял казаку политические премудрости. Растолковав вкратце программу какой-нибудь партии, он добавлял, как припев к песне: «Вешать супостатов, вешать, не жалея веревок!»

Кулагин побрился, умылся снеговой водой и, держась за стены, вышел на крыльцо.

Широкая улица и площадь были заставлены войсками. Щегольской сапог месил слякоть рядом с опорком. Чубатые донские партизаны топтались вперемешку с оборванными офицерами. Возмужавшие в походах гимназисты выпячивали грудь и с полным сознанием превосходства косили глаза в сторону очкастых, сутулящихся студентов. Недостающие носами до штыков кадеты досрочных выпусков подтягивались и соперничали выправкой со старшими. Щебечущие ласточки гроздьями обвешивали телеграф-

ную проволоку. Перегоняемые с места на место люди в лад отбивали ногу и размахивали руками.

Через дорогу, подобрав полы, перебежал Казимир.

— Здравствуй, Коля. Увидел тебя и на минутку, с разрешения взводного, отлучился из строя. Ну, что у тебя? Мы с Володькой утром искали-искали тебя... Сыт?

— Напоен, накормлен и обласкан... Греюсь вот на солнышке и... почти улыбаюсь... Казик, раздобудь-ка мне костыли... Ноги маячить начинают. Через неделю думаю вернуться в строй.

— Браво.

— Когда выступаем?

— Как будто завтра. В штабе уже решено пустить авангардом марковцев и арьергардом нас. Закупаем продукты и строевых лошадей. Канальи казаки дерут за своих кляч втридорога, и, ничего не поделаешь, приходится платить. Командование, чтобы не ссориться со станичниками, строжайше запретило реквизиции. Тяжелая, но совершенно необходимая мера. Будем надеяться, что через этот камень большевики споткнутся и восстаноят против себя и казаков и крестьян.

— Велика ли у нас армия? — спросил Кулагин.

— Свыше четырех тысяч штыков и сабель. Пехота сведена в полки — Корниловский, Марковский и Партизанский. В особые единицы выделены инженерный батальон, морская рота и мелкие отряды, ультимативно заявившие о своей... автономности.

— Вот как?

— К несчастью, — продолжал Казимир, — игра мелких самолюбий в полном разгаре. Зараза самостийности проникла и в наши ряды. Откуда что берется. Подумай только: юнкера и студенты противились объединению и едва не перепороли друг друга штыками... Юнкера ругают студентов социалистами, а студенты юнкеров — монархистами. Те и другие домогались иметь своего начальника, свой отдел снабжения, свой обоз, и, наконец, каждый из юнцов не прочь прикомандировать к себе по милосердной сестричке, которых и так мало. Нам самим ухаживать не за кем.

— Скажи, есть интересные?

— О-о. Я познакомился с одной толстушкой, так это, доложу я тебе, штучка. Правда, она не красавица, но...

— Погонять с недельку на корде — станет красавицей?

— Кроме шуток, замечательная девушка... Ручки, ножки, щечки и через каждые два-три слова носом шмыгает.

— Ха-ха-ха... Познакомишь?

— С удовольствием. Сегодня же приглашу сделать тебе перевязку. Да, так вот я и говорю, каковы негодяи... Социалисты, монархисты... Нашли время политикой заниматься... Нам нужно бить по врагу кулаком, а не растопыренными пальцами.

— Пустяки, какие они политики, в походе сживутся.

— Возмутителен самый факт. Извольте видеть, митинг открыли.

— Гражданская война, — задумчиво сказал Кулагин, — вообще полна нелепостей и чудес. У красных сапожники командуют армиями, а у нас на взводах стоят полковники и генералы. Лавр Георгиевич перед строем произнес блестящую речь. «Нас разбили на Дону, — сказал он, — но игра еще не проиграна. Большевики съедят сами себя. Нам необходимо продержаться до наступления отрезвления, и Россия еще услышит о наших делах». Ну, я, кажется, заболтался с тобой, побегу. — Он подвернул полы шинели и по сверкающим лужам зашагал к своей роте.

Кулагин написал в Петроград письмо:

«Здравствуй, Ириночка!

Сижу на резном крылечке, жмурюсь на солнце, мечтаю о тебе и о маме. Тоска косматой лапой сжимает сердце... Какая злая сила исковеркала жизнь и разметала нас?

На фронте я обморозился, больше двух недель провалялся в лазарете, теперь раздышался и вернулся в полк. Пишу из станицы из-под Ростова, пользуясь случаем — в Москву и Питер едет специальный курьер.

Ириночка, буду с тобой откровенен... Наши дела неважны. Седой Дон, тихий Дон, чтобы его черт побрал! На Дону мы, русские офицеры, всю зиму отбивались от солдатни и матросов, защищали самостоятельность края и пытались не допустить его разорения, а само казачество, за малым исключением, проявило ко всей кутерьме величайшее равнодушие.

Уходим за Дон, в степи... Щади маму, она ничего не должна знать. Милая мамочка... На ее глазах, должно быть, не высыхают слезы... В своей полутемной комнатке перед старыми иконами она вымаливает мне жизнь... Поймете ли и простите ли вы меня за все причиняемые вам страдания? Вся Россия несет возложенный на нее судьбою крест. Пятый год воюем. Под каждой крышей — горе, и почти в каждой русской семье — покойник. Со мною в лазарете лежал раненый кадет, еще совсем мальчик. Большевики убили у него брата и отца. Мужество, с которым этот юноша переносит свое страшное горе, растрогало меня до глубины души. Сколько их, еще совсем детей, погибло с нами в донских степях, сколько затоптано безвестных могил... Ты подумай, Ириночка, как прекрасно сказал генерал Алексеев в Новочеркасске на похоронах кадет: «Я поставил бы им памятник — разоренное орлиное гнездо и в нем трупы птенцов — на памятнике написал бы: «Орлята умерли, защищая родное гнездо, где же были орлы?»

Уходим в неведомое... Мы одиноки... Каково наше политическое средо? Никто ни черта не понимает, и все обозлены. Много наших офицеров служат в украинских национальных частях, уже тем самым поддерживая нелепую и дикую самостийность.

Или чего сто́ит Кубань, куда мы, вероятнее всего, пойдём? В Екатеринодаре главные силы штабс-капитана Покровского составляет русское офицерство. Сам же Покровский потворствует низменным проискам рады.

Все, чем жив человек, растоптано и заплевано... Россия представляется мне горящим ярмарочным балаганом или, вернее, объатым пламенем сумасшедшим домом, в котором вопли гибнущих смешиваются с диким свистом и безумным хохотом бесноватых. Повторяю, никто ничего не понимает. Мы не политики, а всего-навсего лишь сыны своего отечества и солдаты черного лихолетья... Жизнь, видимо, заставит разобраться кое в чем, но учиться придется уже под огнем. Мы одиноки... Призрак России, светлый, как утренняя заря, витает над нами и укрепляет твердость сердец наших.

Верим в помощь старого доброго боженьки и в светлый ум вождей.

Целую и обнимаю *Николай*.

10 февраля 1918».

Первые сто верст армия покрыла в неделю. Быстрейшему продвижению мешала распутица и большой обоз с беженцами и ранеными. Вымотанные лошади утопали в грязи по брюхо. Телеги и брички плыли по жиже, как лодки. Люди, расстроив всякий порядок, брели молча. Слышались только устрашающие крики ездовых и свист кнутов. Кадеты и гимназисты гнулись под тяжестью винтовок, но старались не выказывать друг перед другом утомления. Престарелые полковники шагали в строю, бодро разгребая ногами грязь. Молодая женщина, потеряв в чавкающей грязи туфли и высоко подбрав юбки, шла в одних чулках. Раскрасневшееся лицо ее было заплакано, растрепанные светлые волосы падали на глаза. В высоком фаятоне ехал с сыном седой генерал Алексеев, еще недавно управлявший судьбами пятнадцатимиллионной русской армии. Форменная фуражка его была нахлобучена по самые уши, из-под захватанного козырька строго поблескивали очки, от резких толчков на иссохшей старческой шее моталась голова. Обочиной дороги, подбадривая войска, пронесился на кабардинском скакуне Корнилов. Калмыковатое лицо его было сурово. Повелительный с хрипотцой голос и приветствия выкрикивал как приказания. Вскинутую голову крыла текинская черная папаха. Одет он был в заношенный нагольный полушубок. На командующего устремлялись восторженные глаза, и вослед ему мерело надсадное «ура».

Красные уклонялись от решительного боя, пятились.

В Ставрополе, под селом Лежанкой, произошло первое крупное столкновение. Белые, потеряв в бою троих убитых и семнадцать раненых, ворвались в село, где и рассказали до шестисот

человек. Расправу чинили все желающие. Казаки сводили с мужиками свои счёты. Офицеры мстили за поруганное звание, честь мундира и за анархию, бессильными свидетелями которой они являлись уже целый год. Разгоряченные боем юноши были уверены, что, расстреливая и вешая людей в кожухах и солдатских шинелях, они спасают родину. Одним хотелось испробовать действие новеньких, еще не пристрелянных винтовок; другие на поставленных на колени жертвах практиковались в рубке; побывавшие в донских степях были рады легкости победы — будет что порассказать.

Кулагин в сражении не участвовал. Костыли он бросил, но ходил еще плохо. На квартире за ужином Казимир с восторгом рассказывал о подробностях боя — кто где наступал, какие части отличились, кто и к каким представлен наградам. Внимательно слушающая его, Кулагин невольно выпалил:

— Какая гадость...

Офицер замолк на полуслове и с удивлением посмотрел на друга.

— Казнить, — продолжал Кулагин, — такую массу пленных, к тому же еще они и русские. Неужели невозможно было ограничиться расстрелом главарей, агитаторов или, наконец, каждого десятого?

— Черта с два. Попробуй разберись, кто у них начальник и кто подчиненный. Босая команда какая-то. Сегодня он кашевар, а завтра командир. Для верности мы их и стреляли подряд, как вальдшнепов.

— Знаете, господа, — боясь, что его не будут слушать, торопливо заговорил Сагайдаров, — у них фронтом командует бывший казачий фельдшер Сорокин, честное слово. Каково? Или вчера под Егорлыкской захвачен комиссар, оказавшийся самым настоящим каторжником, честное слово.

— Не в каторжниках дело, прапорщик, — оборвал его Кулагин, — вы городите вздор.

Поднялся захмелевший румяный Володя и, улыбаясь, потянулся чокаться:

— Перестань, Коля, сентиментальничать и не горячись попусту... К бабе на рога всю философию... Будем уничтожать хамов. Они мешают нам жить, любить и веселиться... Меня, например, в Саратове невеста дожидается... Ну, и должен же кто-нибудь спасти Россию? Время слов минуло, настала пора великих дел. Выпьем за поэзию и за мою невесту. Это такая, доложу вам девочка...

— Я понимаю, — волнуясь, проговорил Кулагин, — но нужно ни капельки не любить страну, чтобы клеймить весь народ клеймом каторжника.

— Понимаешь, а канючишь, — сердито отозвался Казимир. — Что ж, прикажешь их с собой возить или, выпоров, отпустить, чтоб завтра опять с ними встретиться? Ты забыл о самосуздах,

чинимых над офицерами? Забыл об издевательствах, которые каждому из нас приходилось переносить на фронте? А наши близкие, оставшиеся в России? Разве комиссары будут с ними церемониться? Попадись мы с тобой к ним в лапы, думаешь, они пощадят нас? Ты забыл станицу Каменскую, где матросы предали наших разведчиков лютой и ужасной казни? Пощады нет, мы идем ва-банк.

— Ну, а что же командование? — спросил Кулагин.

— Командование сделало вид, что ничего не замечает.

— Да, — энергично сказал Казимир, наполняя рюмки коньяком, — Россия гибнет. Мы — единственный оплот рухнувшей государственности, мы — совесть нации. Народ воспринял революцию, как захват чужого добра. Буржуазия дрожит за свою шкуру — не дико ли? В Ростове именитые мужи купечества и промышленности пожертвовали на нашу армию гроши, а на смену нам пришли большевики и наверняка загребли их миллионы. Социалисты, вроде нашего прапорщика, травят нас, как врагов народа. Казаки косятся... Мы в полном одиночестве. Нас горсточка. Нам ли проповедовать гуманность и щадить поставленного на колени врага? Нет и нет... Верхушка дворянства и буржуазии своей преступной бездеятельностью предала Корнилова во время августовского выступления. Верным России осталось лишь кадровое офицерство. На нас история ставит главную ставку. И потом, — он повернулся в угол, где сидели, наострив уши, кадеты, — эта молодежь. Ее нужно воспитать в нашем духе. Они закалятся в боях и пойдут с нами до конечной цели. Выпьемте, господа офицеры, за торжество нашего правого дела, за молодежь и, пожалуй, за твою, Володя, невесту!

Ужин продолжался.

Кулагин вышел. Весенняя ночь была полна сияющих звезд. Сладко пахло прелым навозом. В саду на голых деревьях табором располагались на ночлег грачи. Над селом стлалась тревожная тишина, нарушаемая сонным мычанием коровы, раскатом одинокого выстрела или глухим, словно из-под земли рвущимся, рыданием солдатки, оплакивающей мужа.

У ворот на бревне, опираясь подбородком на палку и точно окаменев, сидел дядек. Кулагин в молчании выкурил папиросу, другую и наконец спросил:

— Ты казак или иногородний?

— Я-то?.. Я в работниках тут околачиваюсь. — Он поскреб поясницу, помялся и вздохнул: — Та-ак... Значит, за царя воюете?

Застигнутый врасплох, офицер не знал, что ответить. С образом государя неразрывно было связано понятие о величии отечества, но монархистом он, как и большинство неаристократического офицерства, никогда не был. Слабый царь, загнавший страну в тупик поражений, голода и анархии, с некоторых пор начал в глазах офицерства еще более терять свое обаяние.

— Нет, не за царя,— твердо ответил Кулагин.

— А чего у вас порядки старые? Все, извиняюсь, при погонах и под флагом царским ходите?

— Старое знамя дорого нам, как символ единой мощной России,— заученно ответил офицер и, подумав, добавил: — Старое знамя дорого нам, как материнское благословение, как имя, данное при крещении... Тебе понятно?

— Очень даже понятно,— буркнул мужик и, вздохнув, нерешительно спросил: — Наши хуторские именишка тут неподалеку растащили и землишку бросовую запахали. Судом теперь судить их будете или прямо пороть и вешать?

— А большевики вас не пороли и не вешали?

— Пока бог миловал. Они больше насчет митингов любители. Правда, расстреляли тут одного баринка, так то ж была собака, всю волюсть долгами оплел.

— Придут вот немцы и заберут нас совсем: с землею, со вшами, с лаптями. Тогда узнаем, где раки зимуют.

— Всю Расею не заберут... Расея, она обротать себя не даст... Я, ваше благородие, смолоду тыщу городов прошел, деревень — несчетно, народов сколько перевидал, и кругом тебе, не обессудь на моем глупом слове, один пашет, а семеро ему шею гложут. Нынче, ваше благородие, не только немец, сам велезевул со всем его воинством из-под нас землю не выдерет, мы в нее по бороду вросли. Придут немцы — возврату им не будет, по одному передушим.

— У тебя у самого-то ведь никакой земли нет?

— Дадут,— убежденно сказал мужик,— позавчера на митинге общество постановило вырезать всем неимущим полный надел... Я тут на хуторе и вдову себе высмотрел... Пожили по старинке — почудили, нынче хочется пожить по новинке. Может, еще чуднее будет, а все-таки хочется, и никаким немцам хомут надеть на себя не дадим.— Он помолчал и вздохнул.— Ваш генерал перед сходом высказывал: «Воюем, мол, за веру, за отечество, за счастье». Какое там счастье, простой народ бьете, вон висят...

На площади в неверном лунном свете, подобны бледным теням, серели повешенные.

Проговорили за полночь. Кулагин чувствовал себя перед мужиком в чем-то виноватым, но не хотел даже сам себе в этом сознаться и ушел, томимый тоской.

В хате было душно. На печи возилась и стонала старуха. В лунном луче, падающем в маленькое слуховое оконце, ее плачущие глаза вспыхивали зеленым огнем. При ней во дворе были расстреляны два ее сына-солдата. Снох не было дома, они разыскивали за селом на навозных кучах тела мужей. Офицера пугал шепот старухи. «Что она, молится или проклинает?»

Забрезжил рассвет.

На улице горнист заиграл зорю.

Армия втянулась в поход.

О России и об идеях говорили только штабные да обозники. Строевики были целиком заняты мелочами боевой страды — кто пойдет в голове, кто в хвосте; когда и где удастся отдохнуть и выстирать белье; будет ли на привале горячая пища; по сколько выдадут патронов? Самые дошлые умудрялись заводить на коротких стоянках романы с беженками и молодичами.

Николай Кулагин уже командовал взводом.

Корниловский полк был молод и хотя историю свою вел с империалистической войны, но по-настоящему сформировался только на Дону под большевистским огнем: выведенный с западного фронта кадровый состав полка почти целиком погиб и рассеялся при переходе через Украину и в боях за Ростов и Новочеркасск. Ставленник и любимец Корнилова, молодой полковник Неженцев за короткое время сумел подобрать образцовых командиров, при содействии которых полк и был сколочен в железный кулак. Всем от мала до велика было внушено, что Корниловский полк — лучший полк. В этом духе воспитывались и пополнения. Новичок за какую-нибудь неделю службы настолько сживался со «стариками», что его невозможно было сманить в другую часть даже обещанием повышения в чине. В армии был привит и всеми мерами раздувался дух соперничества. 1-й Офицерский полк с завистью следил за молодецкими действиями юнкеров, студенты соревновались в ратных доблестях с гимназистами, марковцы упорно оспаривали первенство у корниловцев. За выполнением каждой боевой задачи следили не только прямые начальники, но и все добровольные соискатели славы: сохрани бог, если дружный хор этих строгих критиков уличал кого в том, что они «петрушку показывают». Корниловскому полку на выучку было придано несколько юнцов. Во взвод Кулагина попал расторопный гимназист Щеглов и оправившийся после ранения кадет Юрий Чернявский, который особенно привязался к своему командиру и не отходил от него ни на шаг. Он перенял от офицера манеру носить фуражку, шурить глаз на дым папиросы, старался подражать ему в походке и разговоре; на досуге, с налетцем удаљства, он посвящал взводного в свои сердечные дела; без конца мог слушать рассказы о подвигах и геройстве.

— Николай Александрович, — спрашивал кадет, — возможно ли так отличиться, чтоб сразу получить георгии всех степеней?

— А тебе очень хочется отличиться?

— О, да.

— Какой же подвиг совершить ты намерен?

— Не знаю... Ну, я могу первым броситься на штурм большевицкой крепости или, если представится случай — клянусь! — взорву целый поезд с комиссарами.

Кулагин смеялся и рассказывал об уставе наград. Он любил болтать с кадетом, потому что видел в нем себя в более счастливую пору жизни.

Чернявский хмурился.

— Мало в нашем походе героического... Грязная работа, вши, у меня ноги посбились до мослов... Я не такую представлял войну.

Он говорил правду.

В походе было мало разнообразия... Серая степь, курганы, по горизонту маячили охранительные разъезды. Потом — стрельба, в частях движение, в обозе паника. Навстречу колоннам, прищипывая коней, мчалась разведка, к свите командующего подлетал конник.

— Ваше превосходительство... Станица... Два полка противника... Легкая батарея...

Сумрачный Корнилов, не поднимая глаз, резко перебивал:

— Выбить.

Скакали ординарцы. Командиры, откозыряв, бежали строить полки для атаки.

Станица встречала победителей хлебом-солью и колокольным звоном. Бабы разводили по хатам и отпаивали молоком людей. На площади Корнилов или Алексеев говорили станичникам краткую речь, после чего тут же, перед общим сбором, бородатые казаки пороли провинившихся сыновей и внуков, потом наскоро, под музыку, хоронили своих убитых и, переночевав, выступали.

Опять степь, курганы.

— Ваше превосходительство, впереди станица, справа хутор, замечено скопление большевиков...

— Выбить.

Прямая цель была близка. До Екатеринодара оставалось не больше четырех переходов. К начальствующему над войсками Кубанской рады штабс-капитану Покровскому были посланы разведчики с приказом командующего: «Держать город!»

Под станицей Кореновской движение неожиданно затормозилось. Красное командование выставило на защиту подступов к городу отборные отряды фронтовиков и горящую отвагой молодежь.

Бой загрохотал с утра.

Фронт развернулся от станицы на обе стороны. Пальба сливалась в сплошной гул, не слышно было даже криков команды. Тысячи людей летели в круг смерти, как щепки в пламя. В строю никто не сознавал непрерывности огневой линии — человек ловил на мушку человека, рота выглядывала перед собой роту противника и, сосредоточив на ней все внимание, стремилась с предельной скоростью уничтожить ее. Корниловцы двигались цепями вдоль полотна железной дороги, имея справа от себя юнкеров и слева — офицерский Марковский полк. Марковцы, пользуясь неровностями поля, дружно наступали, заламывая фланг красных. Казалось, еще момент и — решительный удар во фланг, выход в тыл красным... Бронепоезда вовремя заметили опасность и перекинули на офицеров ураганный огонь. Марков-

ский и Корниловский полки дрогнули, начали пятиться... Тогда на бугре показался, четко вырисовываясь на фоне синего неба, командующий, окруженный штабными генералами и конвоем техинцев. Офицеры быстро оправились и в рост, не сгибаясь, пошли вперед.

Стреляя непрерывно, цепи сблизилась шагов на сто и залегли. Бронепоезда вынуждены были прекратить огонь. Кулагин со взводом лежал в передовой цепи. Вдавлив грудь в землю и спрятав голову за кочку, он вдыхал горячий приторный запах полыни. Встречный пулемет широким веером сыпал на сухую землю крепкий град: глаза запорашивало пылью, за отторбученный ворот гимнастерки брызгал песок, точно кто стоял впереди и поплевывал колючими плевками. Бок о бок со взводным лежал кадет и немного подалее — Казимир. Низко, как тень, промелькнул — или Кулагину показалось, что промелькнул, — снаряд: вихрем взметнуло волосы на голове; он догадался, что фуражка потеряна. По цепи передавали — такой-то ранен, такой-то убит. Охнул Казимир. Кулагин, не поднимая головы, скосил глаза в его сторону и увидел, как тонкие слабеющие пальцы распрямились на прикладе.

— Убит?

— Нет... В плечо, — еле слышно ответил, пошевелив побелевшими губами, Казимир и выругался.

От перебежек и волнения люди задыхались, а потому, когда была подана команда: «Приготовься к атаке...»

И с другой стороны: «Цепь, вперед...» — цепи поднялись молча, в один и тот же миг.

Стрельба захлебнулась.

С винтовками наперевес, на ходу подравниваясь для удара, цепи сблизались в холодном блеске штыков. Кулагин видел перед собою солдат в распахнутых шинелях, парней в городских пальто и пиджаках; с папиросой в зубах шагал матрос первой статьи Васька Галаган, храбро выставив открытую — в густой татуировке — грудь свою навстречу смерти. Глаза у всех были круглы, зубы оскалены, немые рты сведены судорогой.

Минута равновесия...

В штыковой атаке секрет победы — кто лучше сумеет показать штык. Офицеры показали штык тверже. Красные откатнулись... побежали. Лишь матросы и немногие старые солдаты приняли удар. Все перемешались, как стая грызущихся собак. У кого не было штыка, тот глушил прикладом. Блистали вспышки револьверных выстрелов. Короткие вскрики мешались с рычанием и отрывистыми словами ругательства. Галаган, поддевая на штык, кидал офицеров через себя, точно снопы. Кулагин участвовал в рукопашной первый раз, но с задачей справлялся отлично: колот в два приема, как когда-то на ученье соломенные чучела. Выбившись из сил, он бросил оспливевшую от крови винтовку и принялся стрелять из нагана в согнутые спины, в волосатые затылки.

Издали покатались, нарастая, крики:

— Кавалерия... Давай, дава-а-ай!..

С пригорка, развернувшись и оставляя за собой завесу пыли, карьером спускалась красная сотня. Храпящие кони, приложив уши и распластавшись, летели, точно не касаясь земли. Всадники лежали на шеях коней, полы черкесок бились над ними, как черные крылья, а выкинутые над головами шашки сверкали, подобны гневу.

— Огонь!.. По кавалерии!

Но было уже поздно.

Командир, повернувшись к своей сотне, пронзительным голосом завизжал:

— Рубай!

И первым ворвался в гущу офицеров, работая шашкой с молниеносной быстротой.

Пыхнуло:

— Ура...

Подхватили:

— Ааа..:

Хлест и хряск, стон и взвизг стали, скользнувшей по кости.

Роты офицерские, построившись ежиком, поспешно отбежали, расстреливая последние патроны, теряя людей. Один отбившийся в сторону взвод марковцев был затоптан конями и вырублен начисто.

Сражение перекинулось на другой участок.

Из-за станицы в разрывах ветра доносился слитный бой барабанов и резкие рожки горнистов, играющих *а т а к у*.

Бой длился часов десять непрерывно. Неоднократно белые занимали станицу, и всякий раз красные вышибали их. Лишь после полудня станица была окончательно взята. По улице проскакал со своими текинцами хмурый Корнилов. Несколько домов были переполнены ранеными. В разбитые окна неслись крики и стоны наспех — без наркоза — оперируемых.

Кулагин разыскал друга. Казимир был уже переодет, перевязан и уложен в постель. У изголовья плакала, надвинув на глаза белую косынку, Варюша.

— В кость? В мякоть? — спросил Кулагин.

— Пустяки, не беспокойся, — прошептал раненый.

— Пуля попала ниже ключицы, — с скорбной улыбкой сказала сестра, — задела верхушку легкого и вышла под лопатку...

Два казака внесли и положили на пол хрипящего в беспмятстве есаула. Одно ухо его вместе с лоскутом щеки было ссечено, из обрывка рукава торчала сочащаяся алой кровью, отхваченная выше локтя рука: от линии обруба кожа вздернулась на полвершка, белая кость была обнажена. Варюша принялась перевязывать искалеченного есаула.

— Еще несколько таких боев, и от армии останутся рожки да ножки, — сказал Кулагин. — Связанные обозом, мы лишены

возможности маневрировать. У нас нет тыла. Во что бы то ни стало мы должны все время побеждать: даже один-единственный проигранный бой явится для всех нас гибелью, поголовным уничтожением.

— Дурная игра.

— Да, шансы на выигрыш призрачны... Но что же делать? Необходимость толкает нас продолжать игру до последнего патрона. Судьбе, видимо, угодно за горе и позор России расплатиться нашими головами...— Желая развлечь друга, Кулагин рассказал о заключительных сценах атаки.— Летит, понимаешь, и прямо на меня. Пасть — во! Борода — во! Глаза, как фонари горят. Я ему прямо в морду шелк, шелк... Что за черт, думаю, осечка? Шелк, шелк, ну — пропал, конец... И только уже после боя сообразил, что в нагана-то у меня ни одного патрона не осталось. Спасибо этому моему Санчо-Пансо, Чернявскому, осадил разбойника, а то бы...

Казимир задремал, сжав поблекшие губы.

Еще накануне штаб имел тревожные сведения о Екатеринодаре. В Кореновской было получено достоверное сообщение о том, что Кубанская рада и ее ставленник Покровский покинули город и ушли за Кубань. Ошеломляющая весть взбесила одних, угнетающе подействовала на других. Рухнула надежда на отдых. Продвижение вперед теряло смысл: если бы город и удалось захватить, то с имеющимися силами его невозможно было бы удержать. Гонимая страхом армия повернула на юг, прорвала кольцо красных под Усть-Лабинской и проскочила через реку Кубань, взорвав за собой мост.

По Закубанью — стон стеной.

Революция подняла на дыбы и стравила казака с мужиком, мужика с черкесом, черкеса и с мужиком и с казаком. Отрыгнула давнишняя вражда. Казаки точили зубы на горцев еще со времен кавказских войн, а с мужиками — старая песня — лютовали из-за земли. Мужики организовывались в красногвардейские отряды, захватывали панские пашни и на митингах кричали, что горцев надо перебить, а с казаками устроить передел земли на равных началах. Черкесские князьки мыкались по аулам и собирали на защиту краевого правительства национальные отряды. Наиболее горячие головы из туземных дворян и духовенства во сне и наяву видели, как бы отложиться от России и восстановить, под покровительством Турции, «Великую Черкесию», границы которой когда-то простирались от Эльбруса до Азовского моря. Краевая рада противилась земельному переустройству и призвала население дожидаться Учредительного собрания. Рада заседала в Екатеринодаре в атаманском дворце — ни один штык не мог достать до нее: вся ненависть хуторян упиралась в аулы и станицы, кои поддерживали краевое правительство. Черкесы, объединив-

шись с казаками, нападали на хутора — жгли, грабили, убивали, насиловали, угоняли скот. Хуторяне, при поддержке тех же казаков, устраивали набеги на аулы — жгли, грабили, убивали, насиловали, угоняли скот. Так были разгромлены аулы Габукай, Джиджихабль, Ассоколай, Кошехабль, Шенджий, Вочепший, Лакшукай и много сел и хуторов, разбросанных по рекам Пшишу, Лабе и Белой.

Корнилов ввалился в Закубанье, как в осиное гнездо. Черкесы выставили под его знамена конный полк, собранный из всадников бывшей Дикой дивизии. Хуторяне, опасаясь мести, поголовно поднялись на защиту своих животных. Казаки отошли в сторону и стали выжидать событий.

...Кадету Юрию Чернявскому война окончательно разонравилась. Он отупел от усталости. Безразличное отношение ко всему окружающему нарушалось лишь взрывами ожесточения. Случалось, после боя он оставался со сверстниками на поле сражения достреливать раненых и пленных врагов: в плен не брала ни та, ни другая сторона. Страдания не трогали, и кровь больше не волновала его. Не радовал и георгиевский крест, полученный за кореновский бой. А давно ли он робел от грозных окриков классного наставника, боялся выходить ночью в полутемный коридор, трепетал при встречах на ученических балах с кудрявой гимназисткой Стасей... И только о собственной смерти он не мог размышлять спокойно. Каждым ударом своего маленького задубевшего сердца он торопил армию выйти из-под ударов противника, забраться в дикие, недоступные горы... Перво-наперво вымоется он, Юрик, в бане, потом влюбится в черкешенку, потом займется охотой, потом...

— Огонь... Цепь, огонь!.. Пулеметы, огонь!.. Чернявский, какого черта не слушаете команду? Ложитесь!

Юрий очнулся и увидел невдалеке в канаве своего взводного, присевшего на корточки. Не успел еще кадет ничего сообразить, как рядом что-то брякнулось, обдав брызгами, и под ноги медленно подкатился стакан снаряда... «Конец... вот», — мелькнуло в сознании, но снаряд не разорвался: кадет перешагнул через него и, поймав взгляд взводного, покраснел от удовольствия. Затем он припал на колено и, почти не целясь, начал стрелять по мелькавшим на бугре шапкам красногвардейцев.

Сыпал дождь...

Взвод, рота, полк, вся армия лежала в болотистой низине и беспорядочной стрельбой отгоняла нападающих со всех сторон мужиков. Из обоза, по распоряжению командующего, были выгнаны на линию огня все способные защищаться. Профессора, адвокаты, социалистические вожди, волоча за собой винтовки, ползли резервными цепями и тоже стреляли. На немых, обросших лицах — ужас, обида, недоумение... Красные и на сей раз были рассеяны.

Корниловский полк головным входил в хутор.

— Ну, как, Юра, струхнул? — подмигнул Кулагин и рассмеялся. — Екнула селезенка?

— Никак нет, Николай Александрович, — бодро ответил кадет.

— Господа, — обратился Кулагин к своему взводу и, для пущей важности кое-что прикрасив, рассказал о снаряде. — Герою честь, герою слава...

Смущенного Юрия схватили и принялись качать. Взлетая над головами соратников, он крепко держал над собой в вытянутой руке винтовку и чуть ли не впервые за весь закубанский поход почувствовал себя по-настоящему счастливым.

— Песенники, вперед!

Несколько человек выбежали из строя.

Полк ухнул, с невеселым весельем подхватил и понес по тихой вечерней улице казарменную песню.

Внезапно из ближайшего двора выбежали два солдата и полураздетая растрепанная баба — все с винтовками. Они встали перед хатой в ряд, локоть в локоть, вскинули винтовки и открыли частую стрельбу.

Упал запевала... Упал князь Шаховский, упал еще кто-то...

Все растерялись от дикой неожиданности. За время длительного боя каждый растратил весь запас хладнокровия.

— Пулемет сюда! — истерически взвизгнул гимназист Щеголов.

— Корниловцы, стыдитесь! — крикнул командир полка полковник Неженцев и, выдернув из кобуры револьвер, быстро и прямо подошел к троим... Почти в упор он застрелил одного солдата, другой бросился бежать, но, пробитый сразу несколькими пулями, повис на заборе. Подскакавший черкес конем сшиб женщину, и не успела еще она упасть, как легким и мастерским ударом шашки всадник ссек ей голову начисто, по самые плечи. Голова покатилась офицерам под ноги, завертываясь в разлетевшиеся пышные волосы.

— Зажечь хату, — приказал командир.

— Разрешите, Митрофан Осипович, оставить до утра, людям под открытым небом ночевать холодно. Перед выступлением запалим весь хутор.

Неженцев согласился.

Двигались марш-маршем. Непокорные хутора оставались позади в пепле, прахе и крови. Начали попадаться аулы. Гор, о которых мечтал не один Чернявский, и в помине не было. Царское правительство расселило черкесов на равнине, окружив кольцом линейных станиц. Аулы почти ничем не отличались от русских сел и хуторов: знакомые, крытые камышом и соломой хаты; те же упирающиеся хвостами в речку огороды; и кое-где... церкви. Вместо воспетых поэтом «праздных гордых черкесов» пришельцев встречали воющие, обезумевшие от ужасов террора

люди. Благообразные старики, ползая на коленях, седыми бородами вытирали грязь с сапог победителей.

Однажды, в глухую ночь, разъезд юнкеров наткнулся на заночевавшую в голой степи армию кубанского правительства. Бродячие армии возликовали.

...В сарай, где на сене отдыхали корниловцы, забежал штатский. Он огляделся и, заметив в темном углу людей, строго спросил:

— Какой части?

— Корниловцы. Что угодно?

— Не может быть... Разрешите представиться — член законодательной рады Дмитрий Михайлович Чернояров.

Все, точно по уговору, промолчали и остались лежать в вольных позах.

— Вы, господа, не подумайте обо мне дурно. Мы, члены правительства, находимся в таких же условиях, что и рядовые чины отряда. Наравне со всеми голодаем, спим по-казацки на кулаке, сами ухаживаем за своими лошадьми.

— Позвольте узнать, какие стратегические или тактические соображения побудили вас вчера заночевать в степи под проливным дождем? — спросил кадет Чернявский и, довольный своей выходкой, оглянулся на соратников.

— Лиха беда заставила, — ответил Чернояров. — В ту проклятую ночь даже курить было запрещено, чтобы не обнаружить своего местопребывания.

— Ха-ха-ха... Вы — законная власть на Кубани и боитесь себя обнаружить?

— Ничего не попишешь... У нас только было начала развертываться законодательная работа, а тут, извольте, война. Так никогда и никакого порядка в крае не наладишь.

— Сами виноваты, — отозвался кто-то из темного угла. — Партийные и социалистические интересы вы ставите выше интересов государственных и национальных.

— Как бы там ни было, а большевикам скоро крышка. По секрету могу сообщить: час тому назад состоялось заседание рады по вопросу о соединении с вами, и, понимаете, господа, никаких разногласий. Полное единодушие. Мы, кубанцы, весьма довольны тем, что вы присоединяетесь к нам.

— А почему не наоборот?

— Кажется, ясно... Вы мало знакомы с местной обстановкой, вы пришли на нашу территорию, вы...

— Челуху городите, не знаю, как вас титуловать, — сердито сказал Кулагин. — Кубань не африканская республика, а всего-навсего область государства Российского.

— Я вас не понимаю...

— И напрасно.

— Мы, радяне, не разделяя политических убеждений монархистов, разумеется, склоняем головы перед светлыми личностями

Корнилова и Алексеева, но тем не менее будем со всей решительностью отстаивать самостоятельность края, ибо имеем на таковую историческое право. У нас, могу сообщить по секрету, уже выработаны и принципиальные условия, при строгом соблюдении которых только и может произойти соединение нашей армии с вашей.

— Во-первых, у вас не армия, а отряд,— сказал Кулагин,— во-вторых, интересно знать, что вы предпримете, если Корнилов потребует полного и безоговорочного подчинения?

— Ну, знаете, если вопрос будет так заострен...

— То?

— Мы, разумеется... подчинимся.

Кулагин захохотал, потом спросил уже другим тоном:

— Итак, говорите, поход полон неудобств?

— Ничего не поделаешь, приходится мириться. Сегодня, например, нам отведено помещение школы, где и спим на грязном полу все сорок человек, все правительство. Бывает и хуже. Под Тахтумукаем большевики окружили наше войско, и, не хвалясь скажу, только присутствие членов рады на линии огня спасло положение. Когда казаки и простые отрядники видели нас, своих избранных, рядом с собой, то воодушевлялись и смело бросались в контратаки, шли на верную смерть: кололи, рубили, резали — красота... В ауле, где мы последний раз дневали,— просто-душно продолжал повествовать Чернояров,— большевики разграбили все до последней нитки, и, смешно сказать, мне, члену правительства, пришлось пить чай прямо из конного ведра через край.

— А где же ваша рада растеряла чайные сервизы?

— Увы... Отступление было столь поспешным, что войсковой атаман впопыхах забыл в городе булаву, без которой, по старым казацким традициям, он и власти-то над войском не имеет.

— Значит, большевики как следует наломали вам хвост?

— Счастье, господа, изменчиво... За нами — Кубань, казачество и, наконец, правда. — Он взвалил на горб вязанку сена и вышел.

— Фрукт,— сказал поручик Дабижа.— И за каким чертом нам с ними связываться?

— Вы не политик, князь,— отозвался Кулагин, укрываясь с головой шинелью.— Оставим эти неприятные вопросы на усмотрение начальства.

— И горжусь тем, что не политик. В свое время всех нас учили воевать, а не рассуждать.

Скоро все захрапели.

— Иван Павлович, объясните ради бога, что это за генерал Покровский?— обратился Алексеев к начальнику штаба.— Я что-то не помню такого имени.

— Проходимец, ваше превосходительство, каких свет не видал, — ответил Романовский. — В старой армии сей гусь служил в авиации в чине штабс-капитана. В революцию прибыл на Кубань и за несколько месяцев сделал карьеру. Рада пожаловала его сперва полковничьими, а через неделку и генеральскими погонами. К тому же, по сведениям разведки, преотчаяннейший интриган и политикан.

— Странная публика эти провинциальные властители. С ними каши не сварить. Еще перед рождеством из Новочеркасска послал я в Екатеринодар представителя нашей армии генерала Эрдели. Почему они не воспользовались услугами этого энергичного и умного человека, если уж не имеют своего полководца?

Романовский пожал плечами.

Дверь распахнулась, и дежурный офицер доложил:

— Его превосходительство Лавр Георгиевич Корнилов.

Корнилов быстро вошел и поздоровался.

— Иван Павлович, по какому это случаю на площади весь вечер играет оркестр? Прилег было вздремнуть — не могу. Всю голову разломило. Пошлите выяснить, и нельзя ли... прекратить.

Романовский вышел распорядиться.

Корнилов с Алексеевым остались вдвоем.

Некоторое время они молчали, потом Корнилов крепко, до хруста в суставах, потер маленькие сухие руки и заговорил:

— Бродить по степям и болотам дольше невыносимо. Люди измучены, потери весьма значительны, армии грозит гибель, если... если в ближайшие дни мы не возьмем города. Ваше мнение, генерал?

— Полноте, Лавр Георгиевич, зачем вам знать мое мнение? Чтоб не согласиться с ним? Вы — командующий, вам и вожжи в руки.

Судорога бешенства промелькнула в лице командующего, но он сдержался и спокойно продолжал:

— Нас раздавят. Невыносимо вести войну с ордой сброда. Нам нужна база. Город может спасти положение. Поднимем сполох, кликнем клич, верхи казачества и всякий честный человек, в ком сохранилась хоть искорка патриотизма, будут с нами.

— На Дону *мы* допустили ошибку, понадеявшись на казачество. Мне кажется, что на Кубани *вы*, Лавр Георгиевич, эту ошибку повторяете.

— Неправда. Вы не понимаете или не хотите понять теперешней обстановки... Три хороших перехода, и мы будем в городе. Смелым бог владеет. Риск....

— Риск уместен в картежной игре, — перебил Алексеев и поднял лобастую лысеющую голову. Расстроенное лицо его болезненно морщилось, а пронизательные глаза в золотых очках были строги, как поплавки на тихой воде. — Я сторонник расчета и плана. Простите меня за вольность, но на войне приходится больше рассчитывать на штык, а не на святителей. Хоро-

шего командира полка я не променял бы на угодника. Понадеялись на бога,— японскую кампанию проиграли, да и германскую тоже... Силы неравны, и с этим нельзя не считаться.

— Что ж, я должен избегать встречи с большевиками? Должен беречь своих людей от пуль неприятеля?

— Нет, нет. Борьбу необходимо продолжать со всей решительностью. Всякая армия, как известно, загнивает от бездействия, но, повторяю, силы неравны... Оттяните войска в Сальские степи, дайте людям и лошадям отдых, сократите обоз, и там, поверьте, недолго придется ждать настоящего дела. Под боком — Дон, на Украине — чехословацкий корпус.

— Сальские степи,— зло усмехнулся Корнилов, — не я ли месяц назад настаивал на том, чтобы идти именно туда? Весь генералитет — Деникин, Марков, Богаевский, Лукомский, Боровский, Иван Павлович и, наконец, вы — уговорили меня повернуть на Кубань. Теперь о Сальских степях думать поздно, это у черта на куличках, а у нас снаряды и патроны на исходе, продовольственные запасы иссякли, конский состав разбит, в обозе шестьсот сорок раненых, люди вымучены до последней степени... Я возьму город во что бы то ни стало. Так честь, так долг, так совесть велят!

— Авантюра,— гневно и без малейшего колебания выговорил Алексеев.— Город вряд ли удастся взять, а рискуете вы всем. Ваш долг перед родиной...

— Я прекрасно сознаю свои обязанности перед Россией,— с надменной улыбкой сказал Корнилов и поднялся; раздувающиеся ноздри его трепетали, губы дрожали. —Простите, генерал, но вы не понимаете простой истины: пусть поражение, но только не срам.

Вошел Романовский и доложил:

— На площади по приказанию Покровского под музыку вешают местных жителей, заподозренных в сочувствии большевикам. Я распорядился прогнать музыкантов.

— Отлично,— сказал Корнилов.— С рассветом мы выступаем на Ново-Дмитровскую. Авангардом пустить Марковский полк, а то его офицеры жаловались, что я им не даю возможности отличиться. Арьергардом — юнкеров.

Начальник штаба молча поклонился.

...Всю ночь сыпал спорый весенний дождь.

Было еще темно, когда по размокшим дорогам выступили передовые полки. Потянулся обоз, штабы, повозки с больными и ранеными. Станица Ново-Дмитровская, раскинутая по широкому бугру, встретила наступающих огнем пулеметов и батарей.

Армия замаялась.

Путь к станице преграждала буйствующая речка, на которой все мосты и переправы были уничтожены. Всадники, высланные на поиски бродов, вернулись ни с чем.

К полудню подул холодный ветер, мокрыми хлопьями повалил снег.

Люди покорно мокли и дрогли.
Ветер густел

застонала выюга

тьма окутала снежное поле.

Расстроенные полки стояли по колено в ледяной каше и ждали распоряжений начальства, которое и само не знало, на что решиться... Возвращаться в Калужскую и Пензенскую было невыгодно и позорно: за все время похода армия еще ни разу не пяталась, к тому же не миновать было брать Ново-Дмитровскую. Вести полки в лобовую атаку вплавь через речку представлялось немыслимым. Остаться на ночь в чистом поле было невозможно: давно уже ни на ком не осталось ни одной сухой нитки, из обоза летели зловещие вести — такой-то замерз, такой-то застрелился.

В обозе ползали обильно питаемые паникой разжиревшие слухи. Частой ружейной трескотне внимали трепетные беженцы, из которых каждый был знаменитостью. Социалисты разных толков восседали на чемоданах и вели нескончаемые споры о судьбах революции. Председатель Государственной думы Родзянко суковатой палкой колотил по костлявому заду взмыленную лошаденку и делился с любезными слушателями воспоминаниями. Закутанные в меха барыньки стрекотали, как сороки. Профессора коротали досуг в тихих беседах, полных горестных размышлений. Над раскрытыми ларцами со снедью сидели, не смыкая чавкающих ртов, отошавшие помещики: всей своей требухой чуя еще большиевезгоды, они торопились насытиться про запас, чтоб в крутую минуту было чем прожитую жизнь вспомнить. Доверенный царя небесного, затканный седым пухом преподобный о. Серафим взирал на все творящееся, как сыч на солнце. Весьма известный журналист Борис Суворин не терял времени попусту и заносил в дневник дорожные впечатления, подслушанные разговоры, заметки о казачьем быте и все это обильно уснащал рассуждениями, полными бурных огорчений. Сердца знаменитых стлыи в страхе за свою и за Россиину судьбу.

— Николай Александрович, терпенья не хватает, в атаку бы, что ли... Так и так пропадать.

— Бегай, Юрик, грейся. Всем плохо, и все терпят.

Корниловцы, составив ружья в козлы и не обращая внимания на высокие разрывы шрапнели, боролись, тузили друг друга по бокам. Кадет, не теряя из виду своего взвода, начал бегать от межи до какого-то столбика и обратно. Обмерзшая шинель гремела на нем, как лубяная, закоченевшие пальцы еле держали винтовку, на прикладе которой настыла ледяная корка.

Офицерский Марковский полк, пользуясь темнотой, подобрался к самому берегу.

— Господа, господа, — вполголоса агитировал Марков, бегая по цепи и хлопая себя по голенищу плетью, — за ночь мы перемерзнем здесь, как суслики. Помощи ждать неоткуда. Надо решиться.

— Мы за вами в огонь и в воду.

— Благодарю, господа! Благодарю за доверие! — Генерал сорвал залепленную мокрым снегом папаху, перекрестился.— Ну, с богом! За мной! — И, подняв над головой винтовку, первым полез в речку.

Станица была взята...

Армия, отдохнув, переправилась под Елизаветинской через реку Кубань и с трех сторон обложила город.

Бой гремел второй день, но победы не было.

Корнилов вызвал в штаб Неженцева.

— Здравствуйте, дорогой.

Неженцев начал было рапортовать о состоянии полка, но командующий раздраженно перебил:

— Отставить. Не до церемоний. Садитесь и рассказывайте. Когда будем в городе?

— К сожалению, Лавр Георгиевич, ничем не могу порадовать. Полк тает. Сегодня два раза ходили в атаку и не продвинулись вперед ни на шаг.

— Знаю, знаю. Я уже распорядился выслать на пополнение полка две сотни мобилизованных казаков. Хватает ли патронов? Каково настроение? Когда будем в городе?

— Патроны на подборе. Люди измотаны, засыпают в окопах. Настроение падает. Час назад, когда я приказал возобновить атаку, цепи... не поднялись.

— Что? — командующий вскочил и отбежал в угол комнаты. — Корниловцы отказались идти в атаку? Позор! Позор!

Командир полка опустил голову.

— Значит, действительно дела неважны, — сказал Корнилов и задумался.

— Старого состава в полку осталось меньше половины, пополнения... сами знаете...

— Все это я прекрасно понимаю и лично вас, Митрофан Осипович, ни в чем не виню. Нужно поднять дух людей и внушить им, что город должен быть взят во что бы то ни стало.

— Слушаюсь.

— Почти два месяца, как мы выступили из Ростова, и до вчерашнего дня армия с честью выполняла все приказания своего командующего. Неужели теперь, когда осталось сделать одно усилие, ряды дрогнут? Нет! Я скорее застрелюсь, чем отступлю от города, — так и передайте полку.

— Лавр Георгиевич...

— На один наш выстрел большевики отвечают залпом. Против одного нашего бойца выставляют десяток... Медлить нельзя, иначе войска потеряют сердце. Сегодня же... Я вас больше не задерживаю. Желаю удачи. С богом!

Неженцев ушел и в тот же день был убит на позиции.

Начальнику штаба полковнику Барцевичу — Романовский был уже ранен — командующий продиктовал:

ПРИКАЗ

Войскам добровольческой армии

Ферма Кубанского
экономического общества.

Марта 29, 1918 г.
12 ч. 45 м. утра

185

1) Противник занимает северную окраину города Екатеринодара, конно-артиллерийские казармы у западной окраины города, вокзал Черноморской железной дороги и рошу к северу от города. На Черноморском пути имеется бронированный поезд, мешающий нашему продвижению к вокзалу.

2) Ввиду прибытия ген. Маркова с частями 1-го Офицерского полка возобновить наступление на Екатеринодар, нанося главный удар на северо-западную часть города.

а) Ген.-лейтенант Марков — 1-я бригада. 1-го Офицерского полка четыре роты, 1-го Кубанского стрелкового полка один батальон, 2-я отдельная батарея, 1-я инженерная рота — овладеть конно-артиллерийскими казармами и затем наступать вдоль северной окраины, выходя во фланг противнику, занимающему Черноморский вокзал, и выслать часть сил вдоль берега реки Кубани для обеспечения правого фланга.

б) Генерал-майор Богаевский — 2-я бригада. Без 2-й батареи 3-я батарея и второе орудие 1-й отдельной батареи. Один батальон 1-го Кубанского стрелкового полка и первая сводная офицерская рота Корниловского ударного полка — наступать левее ген. Маркова, имея главной задачей захват Черноморского вокзала.

в) Генерал Эрдели — Отдельная конная бригада, без Черкесского конного полка — наступать левее генерала Богаевского, содействуя исполнению задачи последнего и обеспечению его левого фланга и портя железные дороги на Тихорецкую и Кавказскую.

3) Атаку начать в 17 часов сегодня.

4) Я буду на ферме Кубанского экономического общества.

Ген. Корнилов

Город сотрясаясь от орудийной пальбы.

В ночном небе пластало зарево пожаров — горели артиллерийские казармы, кожевенные заводы, дома и лавки на сенном базаре.

К городу — на огонь и гул — со всей Кубани устремлялись партизанские отряды. По степным дорогам пылили подводы с пехотой, летела кавалерия, и к вокзалу то и дело подкатывали эшелоны с Тихорецкой, Кавказской, Тамани, из Новороссийска.

У подъезда штаба обороны дежурили автомобили с потушенными огнями, вестовые держали наготове подседланных коней. На парадном, присев за пулеметом на корточках, покуривал печатник Астафьев. На лестницах и по коридорам спали вповалку.

Штаб обороны заседал беспрерывно.

Покровский перед бегством из города разгромил левые революционные организации. Много рядовых большевиков погибло в застенках, выловленные главари большевистского временного исполкома были уведены как заложники. Городская общественность руками и языками эсеров и меньшевиков помогала раде и сбором средств, и организацией благотворительных вечеров, и сколачиванием ученических дружин. Рада бежала, и политические ваньки-встаньки вызвались служить совдепам. У большевиков своих сил не хватало. Случалось, на должности директоров и управителей посылались люди, еле умеющие подписывать свою фамилию. Торжествующие говоруны были введены и в общественные организации и в штаб обороны... С фронта хорошие вести, и работа штаба кипела — скрипели перья, пищали полевые телефоны, получив назначение, убегали агитаторы, сновали ординарцы и фуражиры, командиры прибывающих частей получали боевые задания. Но достаточно было разорваться где-нибудь поблизости шальному снаряду или пронестись тревожному слуху, и в штабе — паника: кто хватался за портфель, кто за чемодан, секретарь, комкая, рассовывал по карманам протоколы, в задохнувшейся тишине хлопали двери, ящики столов.

В углу зала на диване с мокрым полотенцем на голове лежал юный главком Кубано-Черноморской республики Автономов.

— Вставай, вставай, обормот, — расталкивал главкома его помощник Сорокин, вызванный в штаб на совещание. — На мягких диванах твое дело дрыхнуть да парады принимать, а воевать тебя нет.

— Доктора... — стонал пьяный главком. — Умираю.

— Плетей тебе хороших, поганец. Штатские вон уговариваются город сдавать, а ты и не чешешься.

— Иван Лукич, голубчик, — подступал к Сорокину один из самых влиятельных членов штаба, — вы не так меня поняли. Никто и не помышляет об отступлении. Я лишь предлагаю перенести штаб на вокзал, на колеса. Ведь ежели ворвутся кадеты, то нас, идейных, перевешают в первую голову, и революция, лишившись вождей, надолго заглохнет во всем крае.

— Перебьют, перевешают, бежать надо, бежать, — басил из угла другой член штаба. — Впустим белых в город, как в западню, а потом окружим и прихлопнем.

Сорокин возгорелся гневом:

— Штатская сволочь! Предатели! Забирайте свои зонты, капоши и валитесь к чертовой матери!.. Останусь без вождей, но с верными революции войсками. Город не сдам.

Большевики Петя Рыжов, Фрол и длинноволосый анархист Африканов наперебой кричали Сорокину, что они и сами не согласны со своими товарищами, но тот уже ничего не хотел слушать и, выхватив шашку, кинулся к дверям.

— На фронт, друзья, на фронт! Долг зовет!

Следом за ним, ровно собаки за хозяином, побежали телохранители — казаки Гайченец и Черный.

— Подлец! — кричал Сорокин уже на улице, остановив начальника гарнизона Золотарева. — На фронте кипит святая борьба, а у тебя в тылу убийства и грабежи не прекращаются. Пьяные шайки бродят по улицам, раздевают своих раненых и нагоняют панику на мирных жителей. Часовые на посту курят, разговаривают и никак не соблюдают правил устава. Я сам люблю выпить, но пью, когда боев нет.

Золотарев тянулся и бормотал извинения. Командующий ухватил его за плечи и принялся колотить головой о забор:

— Мерзавец... Всеми мерами рассудка и совести ты должен отрезвлять пропойц и громил, а ты сам пьянствуешь, грабишь и ночи напролет прогуливаешь со шлюхами.

— Прости...

— Ну, иди. На глаза пьяный не попадайся, застрелю. Приказываю немедленно восстановить и поддерживать в городе порядок. Всякие безобразия подавлять силой оружия.

Начальник гарнизона принял под козырек: из-под широкого рукава черкески блеснул браслет. Сорокин погрозил ему плетью и, вскочив на жеребца, ускакал. Впоследствии по распоряжению ревкома Золотарев был расстрелян. Автономов, вскоре после описываемых событий возомнивший себя Бонапартом, навел дула пушек на кубанский совнарком, за что и был низложен и ошельмован. Главкомом, после смещения Автономова и Калнина, был избран Сорокин.

Фрол вышел на улицу.

По железным крышам домов барабанили осколки лопающихся на большой высоте снарядов. Косо висели сбитые вывески. Из окон сыпалось, всплескиваясь на тротуарах, стекло. На дороге среди разметанных камней торчал скрученный штопором трамвайный рельс.

От вокзала по всем улицам вольным шагом двигались войска.

С Дубинки и Покровки — рабочие слободки — народ валил густо, будто на митинг. Стар и мал встали на ноги, под винтовку. Никому и ничего не было страшно: шли наотмах, грудь на грудь.

Катились, погромыхая, орудийные запряжки, рессорные линейки Красного Креста и военные повозки с номерными флажками. Партизаны — кто в картузе, кто в треухе, кто в соломенной шляпе. Рваные кожухи, шинели разных сроков, лоскуты и заплаты. На зарядном ящике ехал артиллерист в собольей шубе нараспашку. Матрос с нацепленными на босые ноги шпорами трясся на неоседланной лошади и держал над головой кружевной зонтик.

По тротуарам, обгоняя обозы, на рысях сыпала кавалерия.

Сидит генерал,
Перед ним каша,
Бедняки кричат:
Вся Расея наша...

Улица гремела из конца в конец.

Офицер молодой,
Куда топашешь?
Под лапу попадешь,
Пулю слопаешь...

«Вот оно»,— радостно вздрогнув, подумал Фрол. От восторга у него запершило в горле, в глазу блеснула дорогая слеза. Он вмешался в ряды и пошел в ногу со всеми.

Офицерик, офицер,
Погон белеенький,
Удирай-ка с Кубани,
Пока целенький...

В дверях прачечной охала и причитала старуха:

— Бедненькие, али у них отцов-матерей-то нет? На погибель идут.

Здоровенная трегубая девка тащила ее прочь.

— Айда, тетка Анна, черт их разберет, не суйся.

— Я, доченька, сама сирота, знаю, какая жизнь без отца-то без матери... Тридцать годиков, как один денек, у полковника Шаблыкина в услужении прожила, белья-то горы перестирала,— она подняла посбитые до мослов кулаки,— выгорбила меня работушка, высушила заботушка, а полюбовница его Аглаюшка и выгони меня под старость на вей-свет...

— Будет тебе, тетка,— не унималась девка,— слушать тошно рвать тянет, айда!

— Выгнала и выгнала. А куда я седую голову приклоню, где кусок добуду? Проучите их, ребяташки, бесов гладких, залейте им за шкуру сала дубового, пускай узнают, какое на свете горе живет...— Изъеденной щелоком красной рукой старуха крестила проходящие роты.

Подкрепления прибывали и прибывали.

Людьми и обозами были запружены все улицы и дворы, прилегающие к берегу Кубани, к сенному базару и садам.

Четвертые сутки бушевал бой.

С позиции вели под руки и несли раненых. Иные брели сами, волоча подбитые ноги, зажимая горячие раны. Иные отдыхали под прикрытием домов и заборов. По мостовой полз подстреленный мальчишка. «Кровь во мне застывает»,— чуть слышно проговорил он подбежавшему санитару и умер, обняв тумбу. Натыкаясь на людей, протрусила заседланная лошадь,— за ней по мостовой волочились вывалившиеся из вырванного бока кишки.

За кирпичной стеной — перевязочный пункт. Похожий на

скотного резаку, до усов забрызганный кровью, фельдшер бритвой подпарывал штанины и рукава, спускал с простреленных ног сапоги. Заплаканные и падающие от усталости женщины суетились около раненых.

— Ух, ух! — закричала вдруг одна, узнав мужа: рваная рана на груди, ключом была кровь. Женщина, не помня себя, сорвала с головы платок и принялась затыкать им рану. Санитары еле оторвали ее от носилок.

Раненых окружали, расспрашивали о боях, угощали табаком и хлебом.

Васька Галаган бегло рассказывал:

— На рассвете подлетает к нашим окопам какой-то фраерок в рваной шинелишке и гудит: «Братишки, измена». — «Где, спрашиваем, измена?» — «Все наши командиры дурак на дураке, бить их надо. Сорокин неправильные подает сигналы. И все наши снаряды летят в реку Кубань». — «А ты кто такой?» — «Я, отвечает, подрывник саперного батальона. Бей командиров, они нас продали. Спасайся, моряки, измена». Мы к нему: «Ваши документы?» Он брык и наутек. Мы за ним, он от нас. Догнали, повалили, давай обыскивать. Сдернули сапог — под портянкой флаг белый, сдернули другой — погоны выпали. «Ты что же, дракон, туману нам в штаны напускаешь?» — «Простите, плачет, братишечки, я хотя и не сапер, а поручик, но истинный республиканец, люблю революцию и весь простой народ». — «Ты, кричим, нас любишь, а вот нам за что вашего брата любить?» Только мы его кувыркнули под откос, слышим, гу-гу, гу-гу, тра-та-та, тра-та-та. По всему фронту поднялись ихние цепи и на нас в атаку. Ну, мать честная, накатали мы их гору!

Бум!

бьет из переулка пушка и в изнеможении откатывается.

— Перелет! — кричит с крыши наблюдатель.

Бум!

— Есть!

Бум!

— Есть!.. Крой беглым.

Слободской сапожник Ваня Грибов сидел на лафете подбитой пушки и гнул через коленку трепаную гармонь. При каждом выстреле он дергался и хохотал.

— Крой, Микишка, бога нет!

Под забором, раскинув руки, лицом вниз валялся парень в прожженной на спине бекеше. Санитары потянули было его за ноги, намереваясь взвалить на телегу с мертвецами.

— Чо? — зарычал он и приоткрыл серый глаз.

— Живой?

— Катитесь отседова. — Парень повернулся на бок и сразу захрапел.

— Ну, и дьявол, — дивились кругом. — Смерть над ним вьется, над ухом пушка гукает, а он дрыхнет, и горюшка мало.

Фрол, пригнувшись, перебежал открытое место и спрыгнул в окоп, полный людей. Кто постреливал, кто спал, обняв ружье. Двое старых солдат, пофыркивая, пили неведомо какими путями раздобытый чай.

— Кого же ты, Петька, испужался?

— Ой, дяденька, страшно было ночью,— закатил под лоб глаза набравший пулеметную ленту Петька.— Кругом гудит, огонь блись-блись, земля под ногами трясется, из раскаленных пулеметов льет растопленный свинец, раненые стонут, а тут еще в темноте-то китайцы гогочут. Ой, страшно, я убежал. Дома выпался, а чуть зорька — опять сюда. Мать не пускала, да я через окошко выпрыгнул.

Где-то взвыли рожки горнистов...

Нарастающий с флангов приглушенный крик— ура-а-а-а! — хватил по всей линии.

В окопах все пришло в движение.

— Опять лезут,— сказал солдат, отодвигая жестяную кружку с недопитым чаем, и, схватив винтовку, встал.

Невдалеке по черной пашне огорода ползли офицеры.

— Дяденька, дай стрельнуть,— попросил Петька.

— Я тебе стрельну, паршивец!— цыкнул на него старый солдат.— Сиди смирно и носу не высовывай.

Фрол не успел выпустить и одной ленты, как пулемет отказал. Не умея справиться с задержкой, он бросил его и перебежал к соседнему молчавшему пулемету, за которым дергался и пускал сквозь пушистые усы розовую пену мадьяр Франц.

Артиллерия, точно обезумев, открыла ураганный огонь. Воющий ливень стали остановил наступающих.

Мгновение

цепи покатались обратно.

Пулеметы еще выбивали уверенные трели, когда у Черноморского вокзала загредел серебряный оркестр и на виду у неприятеля, окруженный свитой, по фронту пошел Сорокин, танцуя лезгинку и стреляя из двух маузеров вверх. Партизаны за развешивающиеся полы малиновой черкески стащили командующего в окопы.

Перед окопами у проволочных заграждений стонали раненые. Петька с бутылками воды на шее полз к ним.

Счастливой рукою посланный снаряд сразил Корнилова. Деникин, принявший командование, снял осаду, и армия пустилась в бегство, бросая по дороге пушки, обозы и сотни раненых соратников.

Блистало солнечное весеннее утро.

Поле битвы являло печальную картину... Всюду валялись расстрелянные гильзы, пустые консервные банки, патронташи, осколки стали, грязные портянки, окровавленные тряпки и трупы, трупы... По реке густо шла дохлая рыба. Покачиваясь и

крутятся, плыли вздувшиеся лошадиные туши. Далеко несло тухлятиной.

Но живые думали о живом.

— Пехота, на подводы!.. Конница, вперед!..

Паровоз шумит,
Четыре вагона.
Ахвицеры за Кубанью
Рвут погоны...

Музыка рвала сердца.

Сорока наступает,
Усмехается.
Кадеты тикают,
Спотыкаются...

Партизаны, наступая врагам на пятки, снова погнались за ними по степям. В гривы конские были вплетены первые цветы, а на хвосты навязаны почерневшие от запекшейся крови золотые и серебряные погоны.

ПИРУЮЩИЕ ПОБЕДИТЕЛИ

*В России революция — пыл, ор,
ярь, половодье, урывистая вода.*

Всю дорогу разговоры в вагоне.
О чем крики? О чем споры?
— Все дела в одно кольцо своди — бей буржуев!
— Бей, душа из них вон!
— Братва...
— Земля наша, и все, что на земле, наше.
— А беломордые?
— Не страшны нам беломордые... Винтовка в руке, и глаз наш зорек.

— Правильно...
— Наша сила, наша власть... Всех потопчем, всех порвем.
Навстречу — два эшелона.
— Ура... Ааа...

Машут винтовками, шапками.

— Даешь буржуев на балык!
— Долой погоны... Рви кадетню!
— Поездили, попили... Теперь мы на них поедем.
— Крой, товарищи, капиталу нет пощады!
— Доло-о-ой...

И долго еще за эшелонами гремели матюки, хохот, стрельба вверх.

Горы расступились, впереди стеной встало море, по сторонам замелькали домишки рабочей слободки, и поезд — в клубах пара — подлетел к станции.

— Где комендант? — выпрыгнув из вагона, обратился Максим к пробежавшему мимо с пучком зеленого лука молодому солдату.

— Ах, землячок, — остановился тот и отер шинельной полкой вспотевшее лицо, — серьезные дела. Фронтовики не подгадят. Фронтовики в один момент обделают дела в лучшем виде.

— Я тебя о чем спрашиваю?

— Ну, теперь держись, ваша благородия, держись, не вались! — Солдат махнул луком и побежал дальше.

«С митингу, — догадался Максим, глядя ему вслед, — здорово разобрало, всякого соображения лишился человек».

Народ снует, народ шумит — давка, толкотня... Максим берет направление в вокзал.

— Где комендант, под девято его ребро?
— Я комендант.
— Тебя и надо.
— Кто таков и откуда?— очнулся комендант и поднял от стола, за которым спал, запухшее лицо.— Ваш мандат?

Максим отвернулся, расстегнул штаны и достал из потайного кармана бумагу.

— «То-то... (зевок) варищ ко-ма... (зевок) командируется за ору-жи-ем (зевок). Под-держка ре-во-лю-ци-он-ной вла... (зевок) власти на местах»,— вслух читал комендант, потом потер на мандате помуслявленным пальцем печать и, развалившись в мягком кресле, сдвинул на нос шапку.— Не от меня зависит.

— Как так?

— Та-ак...— А сам и глаз не показывает.

— Да как же так?

— Эдак,— мычит сквозь сон.

— Да какой же ты комендант, коли оружия в запасе не имешь?.. А ежели экстренное нападение контры?

— Мэ-мэ,— тихо мекает он и, уронив на стол голову, давай храпеть во все завертки.

— Га, чертов сынок! — плюнул Максим через коменданта на стенку и, выбрав у него из пальцев мандат, ударился в город.

НОВОРОССИЙСКИЙ СОВЕТ
РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ
И КАЗАЧЬИХ ДЕПУТАТОВ

На лестницах и в залах народу — руки не пробьешь. Черноморские молдаване хлопотали о прирезке земельных наделов; немцы-колонисты искали управы на самовольство казаков; фронтовики, матросы и рабочие шныряли по своим делам, и тут же неизвестный солдат продавал серебряные ложки.

Толкнулся Максим в одну комнату — заседание, не проходнесь; толкнулся в другую — совещание с рукопашным боем; в третьей комнатухе местный комиссар финансов, на глазах у обступивших его восхищенных зрителей, из простой белой бумаги делал деньги.

Встал Максим в дверях и давай самых главных за руки хватать:

— Оружие...

Иному некогда, иному недосуг, все кричат и мимо бегут, и никто с делегатом говорить не желает. «Что тут делать? — думает Максим.— Хоть садись и плачь или обратнo в станицу с таким поезжай...» С горя пронял его аппетит, пристроился на подоконнике, хлеба отломил и только было взялся за сало — глядь, Васька Галаган.

— Здорово, голубок.

— Да неужто ж ты, дорогой товарищ, живой остался?

— Э-э, меня не берет ни дробь, ни пуля...

— Ах, друг ситный, рад я ужасно!

Подманил Васька товарищей и ну рассказывать, как они на автомобиле мимо дороги пороли, как у попа гостевали, как он, Васька, в трубе ночевал... Ржали матросы — штукатурка с потолка сыпалась, советские обои вяли, стружкой по стенам завивались.

— Зачем, годок, в город притопал?

Максим показал мандат.

— Оружия тебе, солдат, не достать, — смеется Галаган.— В совет здешний всякая сволота понабилась: и большевики, и меньшевики, и кадеты, и эстервы.

— Какой такой совет, коли силы-державы не имеет?.. А ежели экстренное нападение контры, они и усом не поведут?

— Не по назначению попал.

Уцепил Максим дружка за рукав бушлата и давай молить-просить:

— Васек, товарищ подсердечный, не могу я без оружия в станицу и глаз показать... За что мы скомлели, терзались на фронтах?.. И зачем нам допускать в советы кислу меньшевицкую власть?.. Долой золотую шкурку... В контрах вся Кубань, тридцать тысяч казаков.

— Успокой свое сердце, оружия тебе добудем.

— Верно?

— Слово — олово.

— А совет?

— Совет — чхи, будь здоров, погремущка с горохом... Вся власть в наших руках: хоромы, дворцы и так далее.

От радости Максим стал сам не свой. Сала кусок и хлеба горбушку на подоконнике забыл.

Матросы, подцепив друг друга под руки и, распевая песни, шли во всю ширину дороги.

Максим с мешком на горбу следовал за ними.

Миновали улицу, другую и всей ватагой ввалились в гостиницу «Россия». Барахла кругом понавалено горы. Сюда повернешься — чемодан, туда — узел, двоим не поднять. Картины, диваны и занавески — чистый шелк. На полу валялись пустые бутылки, на столах ковриги ржаного хлеба, целые кишки колбас, вазы были наполнены фруктами, а раззолоченные блюда — солеными огурцами и кислой капустой.

Проголодавшийся Максим набросился на жратву. Васька расстегнул бутылку шампанского. Вспомнили, как на автомобиле мимо дороги чесали, выпили; про трубу вспомнили, еще выпили; за поповский сапог наново выпили. Вывел моряк гостя через стеклянную дверь на балкон и показывает:

— Вон немцы в Крыму... Вон Украина, страна хлебородная, всю ее покорили гады, а флот наш сюда отсунули.

— Немцы?

— Немцы, хлеть их... Шлём-блём, даешь флот по брест-литовскому договору... Шалишь... Распустили мы дымок, сюда уплыли. Выпьем вино до последнего ведра, дальше двинемся, разгромим все берега и с честью умрем, но не поддадимся.

— Вася, зачем умирать?

— Я?.. Мы?.. Никогда сроду... Будем жить бессечно лет... Все прошли с боем, с огнем... Полный оборот саботажа, весь путь под саботажем... Зато и задали же мы им дёрку... Гайдамаков били, раду били, под Белградом Корнила шарахнули, на Дону с Калединым цапались, в Крыму с татарами дрались, на севастопольском рейде офицеров топили в пучине морской: камень на шею и амба, вспомнили мы им, драконам, «Потемкина» и «Очков».

— С корню долой!

— Справедливо, дядя... Раз офицер — фактически контрик... Бей с тычка, бей с навесу, бей наотмашь, хрули гадов, не давай лярвам пощады ни на рыбий волос... Про Мокроусовский отряд слышал? Наш отряд, Черный флот... Офицеров своих аля-аля — пополам да надвое, теперь сами себе хозяевы... В судовых комитетах поголовно наша бражка, ни одного в очках нет. Дни и ночи у нас собрания и митинги, митинги и собрания... На дню выталькиваем по тыще резолюций: клянемся, клянемся и клянемся — бей контру, баста!..

Кованое море было полно ленивой, играющей силы.

На рейде, выстроенные в кильватерную колонну, разукрашенные праздничными флагами, дымили корабли. По утрам с дредноута «Воля» по всей эскадре малым током передавалось радио: политические новости, приказы, поздравления или извещения вроде следующего:

В
сем
всемв
семсего
днявечеро
мвгорсадуот
крытаясценана
вольномвоздухек
онцертмитингшампа
нскоебалдоутравходс
вободныйвоенморыпригл
ашаюотсябезисключениядаз
дравствуетдаздравствуетдол
ойдолойдолойдаздравствуетсво
бодныйЧерноморскийфлотТройка

Максим в бинокль разглядывал могучие туши кораблей, грозные башни, прикрытые чехлами орудия и дивился:

— Силушка...

— Весь Черноморский флот,— приосанясь, сказал Васька,— а команды на берегу... Двенадцать тысяч моряков на берегу, подумай, сколько это шуму?.. Хоромы, дворцы трещат, гостиницы и дома буржуйские от моряков ломятся... О совете здешнем лучше не говорить и слов не трать. «Качай шампанского»,— и кислый совет из подвалов Абрау-Дюрсо перекачивает на корабли шампанское. В неделю по два ведра на рыло. И цена подходящая, твердая цена. Ночью загоняем всех рысаков, перетопим лихачей в вине и керенках, до смерти захочется на автомобилях покататься, а автомобилей в городе нет. Ватагой подступим к совету и давай его штурмовать. «Гони авто! Тыл, штатска провинция, душу вынем! Го-го-го, отдай, а то потеряешь!». Высунется в окошечко дежурный член, в шинель одетый, а у самого золотые зубы от страха стучат: «Товарищи...» — «Долой...» — «Товарищи, я сам три года кровь проливал, но автомобилей в совете нет. Вы, как сознательные, должны...» — «Ботай! Куда подевали? Пропили? Немцам бережете?.. Душу выдерем и рукавичек нашьем...» — «Товарищи,— плачет член,— не терзайте меня, у меня мать старуха...» А мы авралим, а мы для забавы кверху стреляем... Член думает, что в него промахиваемся, то за стенку спрячется, то опять в окошко выглянет и крутится, вредный, и вертится, как змей в огне: «Я, кричит, не против, я, кричит, сам фронтовик... Вместо машины в награду за вашу храбрость совет выставит шампанского по бутылке на брата...» — «Мало. Тоже фронтовик, нажевал рыло-то...» Рядимся-рядимся, получим по две бутылки на брата да по две на свата и с честью отступим.

Моряк без умолку рассказывал о порядках в городе, о фронте, вспоминал чудачества и геройские подвиги друзей.

Внизу по улице с лютым воплем, гармонью и бубенцами промчался свадебный поезд...

Васька перевесился через перила балкона, облизнул потрепавшиеся красные губы и заговорил еще с большим азартом:

— Девочки-мармулёночки все до одной за нами... Свадьбы вихрем, сплошная гульба... Свадьбы каждый час, каждую минуту... Невесты—за пучок пяточок... Шафера, подруженьки, все честь честью. И колец хватает, колец мы нарубили с пальцами у корниловских офицеров... Во всех церквах круглые сутки венчанье, лохмачи осипли, музыка крышу рвет... Власти много и денег много, все пляшут, все поют, пыль в небо... Пьянка, гулянка, дым, ураган,— ну, жизнь на полный ход!..

— Вася,— прервал его Максим, подвертывая бинокль,— никак не разберу, что такое болтается?

— Где?..— Матрос припал к биноклю и расхохотался.— Так это ж лапоть...

— Чего?

— Покарай меня бог, лапоть... Он доказывает наш свободный дух... Расступись, ботиночки, сапожки, лапоть топает...

Откинувшись на спинку плетеного кресла и устало прикрыв воспаленные глаза, Васька умолк. Он проспал несколько минут, потом встряхнулся, вытащил из кармана лакированную коробочку с кокаином, крупной понюшкой зарядил раздувающиеся ноздри, закурил от удовольствия головой и, шлепнув Максима по костлявому заду, досказал:

— На кораблях согласно приказа подняты красные флаги, но нашим чудакам этого мало... Каждый хочет свою моду давить... Украинцы рядом с красным вывешивают желто-голубой, молдаване свой национальный флаг выставляют, а мы, русские, али хуже других?.. Красный у нас есть, еще старое андреевское знамя поднять будто неловко... Вот мы на страх врагам и вздернули над кораблем наш расейский лапоть — пускай вся Европа ужащется...

Максим, веря во всемогущество друга, не терял надежды добыть оружие. Он не отставал от моряков ни на шаг. Васька ни о чем и слушать не хотел, так как в тот самый день женился.

...Васька с Маргариточкой за свадебным столом сидят и друг дружке улыбаются. На нем вся матросская справа и оружие всевозможное повешено. На ней новая форменка — женихов подарок... Куражится Васька, уцепил невесту за хребеток, в губки целует, вино пьет, стаканы бьет, похваляется:

— ... в натуральном виде, с подливкой.

Ржет братва, на слово не верит.

— Го-го!

— Го-го-го!

Васька сердится.

— Что я вам,—говорит,— чувырло какое?

Из двух кольтов попадает Васька — на спор — в пустые бутылки, поставленные на рояль.

Бабы визжат, братва потешается...

— Отчаянный вы народ, флотские,— кричит Максим через стол,— а я, а меня, оружие... Ждут станишники.

— Какое тебе оружие, ежели я женюсь? Отгуляем, отпляшем и...

Чечетку, ползунка, лягушечку как тряхнет-тряхнет Васька, локти на отлет:

— Рви ночки, равняй деньки!

Отяжелевшая голова Максима падала на стол, но взрывы веселья заставляли его таращить глаза...

В углу моряки играли в карты. На кону — золото, часы, кольца; керенки не считали, а отмеривали на глаз.

Тесть с картонной грудью и в измятом, сдвинутом на затылок котелке плясал камаринского на демократических началах. Гости над ним потешались, покрикивали:

- Уморушка, Татьянушка.
- Тряхни брылами, повесели морячков...
- Нет, спой-ка ты нам «Яблочко»...
- Сыпь, буржуй, на весь двугривенный.

Теща дышала над молодыми:

— Девушка она у меня чуткая, деликатная и умница-разумница... Гимназию с золотой медалью окончила... Вы, Василий Петрович, уж, ради бога, будьте с ней понежней... Она совсем, совсем ребенок...

Ваську от умиления слеза прошибает. Васька перед тещей пылью стелется:

— Мамаша, да разве ж мы не понимаем?.. Мамаша, да я в лепешку расшибусь!

Маргариточка за роялем трень-брень... Ее восковой голосок тонет в мутном, утробном реве...

Я на бочке сажу,
Ножки свесила,
Моряк в гости придет,
Будет весело...

На улице под окном песню подхватили с присвистом, брызнуло стекло, и — в раме — рожа дико веселая.

— Ээ, да тут гулянка?

Под окнами летучий митинг:

— Свадьба...

— Фарт.

— Залетим на часок?

— Вались, лево на борт...

Жених высунулся из окна и, смутно различая белевшие в темноте рубахи морячков, зазывал:

— Заходи, ребятишки, места хватит, вина хватит, заходи...

Э-э, яблочко
На тарелочке,
Надоела жена,
Пойду к девочке...

Дом гудел и стонал...

Выпили все шампанское, весь спирт и всю самогонку... Под утро тесть привез корзинку прокисшего виноградного вина — не разбирая, и его выпили... Спали вповалку на битой посуде, на растоптанных объедках. Похмелялись огуречным рассолом. Кто-то хватился Васьки

Васьки не было...

— Ах, ах, где молодой?

— Нету молодого, пропал молодой!

Теща плачет, в батистовый платочек сморкается... Маргариточка белугой ревет, охорашивает ягодки памяти... Шафера выжимают из бутылок похмельку, к подругам Маргариточкиным присваиваются...

Кинулся Максим Ваську искать, нету Васьки.

Оказывается, на фронт махнул, а, может быть, и не на фронт. Вечером будто видали Ваську — в городском театре зеркала бил... А потом слух прошел, будто влюбилась в Ваську артистка французская... Зафаловал Васька артистку — раз-раз, по рукам и в баню... Лафа морячку, куражится, подлец: «Артистка, принцеса, баба, свыше всяких прав». Пришли товарищи поздравлять дружка и видят: артистка не артистка, а самая заправская — страшнее божьего наказания — чеканка Клавка Бантик... Кто ж не знает Клавки Бантик?.. Перва б... на всей планете. Васька, на что доброго сердца человек, и то взревел:

— Ах ты, кудлячка...

Плеснул ей леща-другого, и в расчете — бесхитростный Васька человек.

Стонут, качаются дома

пляшут улицы...

Прислонился к забору китаец — плачет, разливается:

— Вольгуля, мольгуля...

Выкатились из гостиницы моряки и навалились:

— Что означают твои слезы?

— Вольгуля, мольгуля... Моя лаботала-лаботала, все деньги плолаботала, папилоса нету, халепа нету! — Слезы эти из него так и прут. — С каким палахода?

— Хо, хо, бедолага, сковырни слезы, едем с нами...

— Моя лаботала...

— Аяй, шибко куеза, кругом свобода, а ты плачешь?.. Эх, развезло, размазало, стой, не падай!..

Могучие руки втокнули пьяного Максима в реквизированную архиерейскую карету с проломленным боком... Ввалились в карету Васька Галаган, шкипер Суворов, еще кто-то... Сорвалась и понесла тройка, разукрашенная пестрыми лентами — и у лошадей праздник, и лошадям было весело...

С-в-и-ст!!!

— Пошел на полный!

— Качай-валяй, знай покачивай, кача-а-ай!..

— Рви малину, руби самородину!

Помнил Максим и станицу и фронт, на сердце кошки скребли, а слова его расплзались, ровно раки пьяные:

— Вася, родной... Господи, братишка, в контракх вся Кубань, сорок тысяч казаков...

— Погоди, и до казаков твоих доберемся, и их на луну шпилить будем...

— За что мы страдали, Вася?.. Оружие...

— Не расстраивай, солдат, своих нервов... Всех беломордых перебьем, и баста... Останутся на земле одни пролетарии, а паразитов загоним в землю, чтоб и духу ихнего не было... Оружия

достанем, дай погулять, дай сердцу натешиться вволю — первый праздник в жизни!

Городской театр трещал под напором плеч. На стульях сидели по двое, людьми были забиты проходы, коридоры. Сидели на барьере, свеся ноги в оркестр.

Ставили «Гейшу».

Музыканты проиграли заигрыш, взвился занавес.

Очарованный китаец, вытянув тонкую шею и перестав дышать, смотрел на залитую светом сцену... Потом он начал смеяться и в лад музыке протопывать босой пяткой:

— Уф, моя халасо, товалиса!.. — По грязному лицу его были размазаны непросохшие слезы.

Васька с Суворовым, расставив по борту ложи бутылки, прихлебывали прямо из горлышка шампанское. «Гейшей» интересовались и языками чмокали:

— Вот это буфера!

— Вот это да-а-а...

— Брва-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а...

На заднем плане трое в карты перекидывались. Максим под стульями спал. Васька разбудил его.

— Поехали?

— Куда?

— За денежками на дредноут.

Через жарко дышащую толпу они вытолкались из театра и в своей карете покатали в порт.

На кораблях горели сочные огни.

Под твердыми ударами весел шлюпка летела, оставляя за собой искристую пылающую дорожку. Дредноут «Свободная Россия» выдвинулся навстречу, как огромная серая льдина.

С борта окрик:

— Кто идет?

— Свои.

— Пароль?

Моряк, пришвартовывая шлюпку к трапу, крепко выругался: по ругани вахтенный и признал своего.

Гремя сапогами, пробежали по железной палубе и спустились в кубрик.

Открыл Васька сундучок кованный: керенки, николаевки, гривны, карбованцы — все на свете... Подарил дружку цейсовский бинокль.

— Вот и портсигар бери, не сомневайся, портсигар — семь каратов...

Сунул Максим бинокль за пазуху, вертел в руках портсигар: и радовал подарок и смущал своим дорогим блеском...

— Может, зря это, Вася?

— Чего гудишь?

— За два оглядка куплено? — подмигнул Максим и неловко улыбнулся.

— Ни боже мой... Никогда и нигде грабировки на грош не сочинили... Все у мертвых отнято. Скажи, браток, зачем мертвому портсигар в семь каратов?

Максиму крыть нечем.

— Показал бы ты мне корабль, экая махина, — сказал он, оглядывая железные, наглухо клепанные стены.

— Можно. Сыпь за мной.

Спускались в кочегарку, моряк рассказывал:

— У нас на миноносце «Пронзительном» триста мест золота на палубе без охраны валяются, никто пальцем не трогает, а ты говоришь — грабировка... Тут, браток, особый винт упора, по-нимать надо.

— Неужто золота?

— Триста мест золота из киевских, харьковских сейфов... Мы, годок, за шалости своих шлепаем... У нас это просто — коц, брык, и ваших нет...

В кочегарке было черно и угарно.

Забитые угольной пылью, задымленные кочегары работали без рубашек. Из угольных ям на руках подтаскивали чугунные кадки, шыряли гребками в отверстые пасти печей, подламывали скипевшийся шлак. Скрежетали о железный пол, мелькали вы-светленные лопаты. Стенки котлов пышали палящим жаром. В топке, сверкая через решетку поддувала полными неукротимой ярости желтыми глазами, сопел и рыча ворочался огнище. Гудели, завывали ветрогонки.

— Ад, — сказал Максим, утираясь шапкой. Пот садил с него в тридцать три ручья, от духоты спирало дыхание.

Наклоняясь к нему, Васька кричал:

— Это что!.. Два котла пущены!.. Это что!.. Вот когда все десять заведем, уууу! Жара под семьдесят! Ветрогонки старой системы, тяга слабая, жара под семьдесят... Да ведь надо не сидеть, платочком обмахиваться, надо работать — без отверту, без разгибу работать: не пот, кровь гонит с тебя... — В глазах моряка полыхали отблески огней: в эту минуту он показался Максиму похожим на черта с базарной картинки. — Эх, в бога-господа, пять годиков я тут отбухал!.. Жизнь, горьки слезы!.. Али и теперь не погулять?.. Первый праздник в нашей жизни...

Вылезли наверх и в той же шляпке поплыли в сияющий огнями, гремющий музыкой город.

Наперерез, рассекая высоким носом встречную волну, пронесся миноносец «Керчь». За кормой, распластавшись, летело черное знамя, на знамени трепетали слова:

АНАРХИЯ — МАТЬ ПОРЯДКА

— Чего у них флаг не красный? — спросил Максим.

— Такой больше нравится.

— За кого они?

— То же самое за революцию... Состоят в распоряжении местного ревкома, но подчиняются только своей свободной революционной совести... Как-то зимой приплыл в Новороссийск из Турции Варнавинский полк и мортирный дивизион. Немало тут с солдатами митинговали, долго их уламывали и в конце концов уговорили наступать на Екатеринодар, свергать Кубанскую раду. Ладно, согласились, получили на руки провиант, но перед самым выступлением офицеры-варнавинцы заартачились и объявили нейтралитет. Ревком арестовал сорок три офицера и приказал миноносцу отвезти их в Феодосию, в распоряжение квартировавшей там дивизии. Проходит день, проходит два дня, об офицерах ни слуху ни духу. Шлет ревком радиопешу: «Где арестованные?». Из моря команда миноносца тоже по радио отвечает: «Свое мы дело совершили» — и больше ни звука... Чисто сработано?... Ха-ха-ха... Рыбаки нас костят на все корки — в бухте то и дело утопленники всплывают, а на базаре рыбу и даром никто не берет, брезгают.

Над воротами городского сада плакат:

ШТАТСКИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН

Всё за матросами, черно от матросов.

На подмостках распевали и кривлялись куплетисты. В звоне струн и в вихрях разноцветного тряпья бесновались цыгане.

— Веселая дешевка, — сказал Васька Максиму, пробираясь меж столиками. — За тыщу всю ночь гуляй с девочками, с музыкой, с вином. Не люблю я денег пересчитывать, а денег этих самых у меня с пуд: пропивай — не пропьешь, гуляй — не проляешь...

— Наследство буржуйское досталось?

— Никогда сроду... Ты, голова, не помысли на меня лихо... Полной обмундировки по пяти комплектов на брата мы получили? Получили... Жалованье за год вперед получили? Получили... Опять же и в карты мне везет, как проклятому... Вот и подумай, на сколько мой мешок потянет?..

Пировали за столиками, на открытых верандах, а то и так просто на траве, на разостланных шинелях.

— Эх, братишки, в бога боженят!

— Иисус Христос проигрался в штосс!

— Пей, все равно флот пропал!

— Бей буржуев — деньги надо!

Из множества глоток, подобная рыданью, рвалась любимая моряцкая песнь:

Наверх вы, товарищи, все по местам,
Последний парад наступ-а-ает...
Врагу не сдастся наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не жела-а-ает...

— Надоеда вся борьба... Домой!
— Не хочешь ли на мой?
— Братишки, в угодничков божьих, в апостолов...
К песне налетали новые и новые голоса, ночь гудела и стонала от надрывного рева.

Все вымпелы выются, и цепи гремят,
Наверх якоря подыма-а-ют...

Клавка Бантик с цыганистой подругой исполняли танец «Две киски».

— Дамочки-мамочки, бирюзовы васильки...
— Цыганка Аза...
— Рви-рр-рр-рр ночки, равняй деньки!..
— Хорек, руби малину, не хочешь ли чаю с черной самородиной?

Жесткие мозолистые ладони хлопали, как ружейные залпы.

— Га, резвы ноженьки, верти, верти, верти!..

Плясали смоляные факелы, плясали моряки Рогачевского отряда. Обвешаны они были бомбами, пулеметными лентами, револьверами. Пахло от них пылью, порохом. Вчера только с фронта убежали, погуляют вечерок-другой и на извозчиках покатают обратно на позицию. Позиция под боком — Анапа, Азов, Батаяск, — кругом огонь, кругом вода.

— Ходи, отдирай пятки!

— Арра, барра, засобачивай!

Не скажет ни камень, ни крест, где легли
Во славу мы русского флота...

За столом сидели Максим, Васька, Ильин, шкипер Суворов, китай и деповский слесарь Егоров.

Максим к морякам:

— Вася, Илюшка, обратите внимание: товарищ Егоров, черствая рука... В неделю два бронепоезда сгрохали; добре нам те бронепоезда на Тамани помогли... Законный пролетариат из рабочего строя... Глаза страшат — руки делают, руки не достанут — ребрами берут... Братишки, обратите внимание.

Вытирая продранными локтями залитый стол, Егоров хрипло смеялся:

— ...начальник мастерских против — мы его в тюрьму! Листового дюймового железа нет — добыли! Шестеро суток не спамши, не жрамши задували и действительно поставили на колеса два бронепоезда... И наша копейка не щербата... И мы, значит, моём соответствовать... Тридцать годов работаю, а такого азарту в работе не видывал.

Васька тряс старому слесарю корявую руку и угощал всех круговую:

— Пей, гуляй, товарищи!..

— Пьем!

— Нынче наш праздник... Хозяин!— заорал Васька, поднимаясь.— Подавай ужин из пятнадцати блюд!.. За все плачу! Есть ответ!.. А беломордых передушим всех до одного, душа из них вон!.. Мы...

Хор цыганский:

На горе стоит ольха,
Под горою вишня...
Буржуй цыганку полюбил,
Она за матроса вышла...
Эх, давай,
А ну, давай,
Пошевеливай
Давай...
И эх, даю,
На, даю,
Бери, даю,
Ра-а-асшевели-ва-а-аю...

Кажда башка веселá

кажда башка бубен.

Где болит? Чего болит?
Голова с похмелья...
Нынче пьем, завтра пьем,
Целая неделя...
И эх, раз,
Еще раз,
Еще много,
много раз...

Егоров пить не пьет, а ус в бокал мокает и то к одному, то к другому моряку подсядет:

— Хорошие вы ребята, а пьяночка вас зашибает... В море не тонете и в огне не горите, а тут есть риск и утонуть и погореть,— не мимо говорит пословица: «Нет молодца, кой поборет винца»...

— Ты, отец, нам обедню не порть... Первый праздник в жизни...

— Не рано ли нам праздновать?.. Помни, ребяташки, враг не спит, враг наступает... Выпить? Почему не так, выпить можно, только... этого... не пора ли и за дельце братья?

Распалилось сердце Васькино, легко вспрыгнул на стол:

— Братва, слушай сюда...

И начался тут митинг со слезами, с музыкой.

Гра

Бра

Вра

Дра

Зра

С кровью

С мясом

С шерстью...

Васька Галаган ровно из огня слова хватал: о фронте он говорил грозно, о революции — торжественно, о буржуях — с неукротимой злобой... В углах губ его набивалась пена...

Максим с пятого на десятое рассказал про свою станицу, про бой с Корниловым.

Говорили все желающие.

Вот краткое и простое слово Егорова:

—...Перед нами стоит вопрос таков: где нам собрать силу на уничтожение врага? Сила у нас есть, только эта сила везде и всюду разбросана — кто гуляет, кто буянит, кто дома с бабой спит... Время зовет нас оставить вагоны, номера гостиниц, квартиры с мягкой мебелью, электрическое освещение и всякие гарнитуры... Наше место — в окопах!.. Бросьте вы, ребята, заглядывать в бутылки, шмар под ручки водить, раскатываться по городу на лихачах, посещать шикарные рестораны... Бросьте вы, товарищи, игру в проклятые карты и ругань в бога, Христа-спасителя, кровь, в гроб, сердце, в законы и в революцию... На фронт! На фронт!.. Пятьдесят годиков стукнуло, а коли надо будет, и в огонь и в воду пойду хоть завтра, хоть сейчас... Клянусь... Мой сын...

Старика с криком «ура-ура» принялись качать.

Огрызком карандаша Васька заносил в блокнот имена желающих ехать на фронт.

И под утро прямо из городского сада на вокзал двинулся партизанский отряд Васьки Галагана... Мерно качались широкие плечи и головы в бескозырках...

На вокзале моряки подняли на ноги все начальство, разбудили коменданта.

— Оружие!

— Не от меня зависит.

Галаган ему под нос маузер.

— Да я ж из тебя, гад, все поганые жилы по одной вытяну.

Покрутился комендант немного, но видит — податься некуда, и выкатил морякам вагон винтовок, вагон патронов и несколько ящиков подрывных материалов.

Две согни винтовок Максиму досталось.

Грузили мешки с рисом, хлебом, сахаром. На крышах пульмановских вагонов устанавливали пулеметы, на открытых платформах — орудия полевые и морские, снятые с миноносца.

Прослыша про выступающий на фронт отряд, на вокзал прибежали проститься рабочие, матросские девки и так просто жители.

Оркестр, речи, последние поцелуи.

Почерневший от усталости Василий Галаган подает команду «садись» и сам следит, чтобы кто-нибудь не остался.

Длянь, длянь, длянь...

Эшелон сорвался и, гремя буферами и сцепками, раскачиваясь на стрелках, сразу пошел на рысях.

Поезд мчится

огоньки

дальняя дорога...

Тяжелые немцы ввалились в хлебную Украину и, разметая дорогу огнем и штыками, двинулись на восток. Многочисленные партизанские отряды не могли устоять против железной силы пришельцев и орущим потоком хлынули на Дон, через Дон на Волгу и Кубань... Немцы заняли Ростов, из Крыма переправились на Тамань и с этих подступов грозили задавить весь благодатный юго-восточный край.

Немцы наседали по всему фронту. На Тамани они высадились со своими сельскохозяйственными машинами, и пошла работа — косили недозревший хлеб, прессовали и увозили все: муку, зерно, солому, полону; на Дону гребли пшеницу, мясо, шерсть, масло, уголь, нефть, бензин, железный лом и все, что попадалось под руку.

От Азова до Батайска, в колеблющейся щетине штыков, образовался фронт. На защиту родных рубежей и молодой революции встали ростовские и таганрогские красногвардейцы, кубанские партизаны, черноморские моряки под командой анархиста Мокроусова, шайка головорезов Маруси Никифоровой и всякие мелкие отряды с текучим составом людей.

Большинство отступающих с Украины повольников, не задерживаясь на кубанских землях, пробегали дальше.

Через узловую станцию Тихорецкую с музыкой, песнями и пьяными клятвами пролетали сотни буйных эшелонов... В салон-вагонах, перемешанных с теплушками, проследовали на Кавказ банды Чередняка, Самохвалова, Гуляй-Гуляйко, Каски, Тираспольский батальон. С боем прорвался и угнал за собой на Царицын поезд золота анархист Петренко — под Царицыном большевиками Петренко был расстрелян.

В июне Германия, в исполнение брест-литовского договора, предъявила Совнаркому ультиматум о сдаче Черноморского флота. Из Москвы — советскому правительству Кубано-Черноморской республики — радио: «Флот отвести в Севастополь, сдать немцам». И одновременно шифровка: «Немедленно затопить флот в Новороссийской бухте».

На местах замитинговали.

В Екатеринодаре и Новороссийске на многотысячных митингах выносились воинственные постановления: «Флот не топить, защищаться до последнего снаряда».

Голоса моряков разделились почти поровну. Среди черноморцев, как известно, в отличие от Балтики, были чрезвычайно сильны анархические, украинфильские и, особенно, эсеровские влияния.

За день до истечения срока ультиматума из Москвы приехали представители большевистского ЦК и настояли на исполнении приказа. На Новороссийском рейде были потоплены: линейный корабль «Свободная Россия», миноносцы — «Калиакрия», «Гаджи-бей», «Фидониси», «Стремительный», «Шестаков» и другие. Несколько кораблей, во главе с дредноутом «Воля», все же ушли в Севастополь и сдались немцам.

Через два дня после потопления флота в Новороссийск прибыла германская эскадра...

...Не успевший отступить с Украины вместе со всеми отряд Ивана Черноярова долго плутал по Дону, по тылам немцев, пробившись в Сальских степях через фронт, повернул на Кубань отдыхать и пополняться.

В весенний праздничный день, когда улицы были полны гуляющим народом, отряд вступал в станицу.

В тучах жирной пыли широким твердым шагом шли одичавшие за долгую войну солдаты Западного фронта.

Матросы — первые удалыцы и в боях и в грабежах — держались обособленными кучками, не мешаясь с другими. Обветренные лица их были черны от пыли, глаза горели решимостью и яростью.

Простоватых кареглазых парней и усатых мужиков Приднепровщины ото всех можно было отличить по серым мерлушковым шапкам и заскорузлым кожухам. Немцы выжгли их хутора и села, отобрали хлеб и скотину. Обалдевшие от горя, они бежали, сами не зная куда, неся на себе лохмотья, полные вшей, а в сердцах неукротимую злобу.

В запряженном конями испорченном автомобиле тесно сидели очкастые юноши, до хрипоты распевая гимны анархии.

В ободранных экипажах ехали отпетые бандиты и шпанка больших южных городов. Из ведерного серебряного самовара они пили пенистое цимлянское вино и тоже горланили песни.

Разно одетая рота шахтеров замыкала шествие.

Тачанки были завалены подушками и перинами, а поверх застланы серыми от пыли коврами. Перемерявшие ногами всю Украину и Дон, загнанные лошади всхрапывали, прыдали ушами и, чуя близкий отдых, ржали. Заседланные строевые кони бежали на привязи за тачанками: в гривах развевались ленты, на хвосты были навязаны пучки засохших полевых цветов. Цокали высветленные подковы, погромыхивали пулеметные щиты, и орудия, тяжело приседая на зады, ныряли по ухабам. Накрашенные девки сидели в тачанках. В каждом девичьих коленях валялась пьяная голова партизана. Прикованный на цепь медведь бежал за возом и неистовым, тоскующим ревом оглашал улицу. В разливе пыли, в гаме многих голосов обоз походил на кочующий цыганский табор.

В голове отряда на караковой, легких арабских кровей, ко-

быле струнко сидел в седле молодой атаман Иван Черноярв. Шапка мелкого каракуля, примятая особым залихватским способом, еле держалась на затылке. Высокий загорелый лоб был открыт. Начесанный смоляной чуб свисал чуть ли не до плеча. Над губой резался первый ус. Скулы облеплял свалывшийся волос. В черкеске малинового цвета, туго перетянутый наборным узеньким поясом. Расшитый веселым узором мягкий азиатский сапог еле касался носком стремя.

Стремя в стремя с атаманом ехал, облаченный в саван, адъютант Шалим. Скуластое лицо его отливало чугунной чернотой. На поясе болтались обрез и вышитый кисет с махоркой, на пику была насажена добытая в последнем бою под Батайском седоусая голова немца в каске. Над мертвой, издающей зловоние головой вились мухи.

Богато пошатались кунаки с тех пор, как покинули станицу: гуляли по Дону и Волге, залетывали в Крым и после многих злоключений на Украине попали в банду атамана Дурносвиста. В огне и крови прошли всю Уманьщину. Однако Дурносвист вскоре был уличен в черной корысти и повешен своими же отрядниками. Выбранный ему на смену Сысой Букретов в первом бою испустил дух на пике сечевика. Черноярв принял командование над бандой и повел ее по древним шляхам Украины. Под Знаменкой дрались с гайдамаками, под Фастовым — с Петлюрой, под Киевом — с немцами и большевиками. Молодой атаман всей душой был предан дисциплине и порядку, но на первых порах, чтобы расположить к себе людей, поважал укоренившимся в банде привычкам к грабежу, пьянству и всяческим бесчинствам. Потом, когда положение его укрепилось, круто повернул по своему — сам стрелял трусов, рвал плети на барахольщиках, но проку от всего этого было мало. При самых пустяковых неудачах банда разлеталась, как дым на ветру, и Иван с Шалимом скакали по степи, окруженные двумя-тремя десятками самых преданных. Поворот счастья, и шайка быстро возрастала до нескольких сотен. Боевая, волчья жизнь вырабатывала свои права, которые не укладывались ни в какой писанный устав: смертью карался лишь трус и барахольщик, не желающий делиться добытым с товарищем, все остальное было ненаказуемо...

С Дону банда шла в восьми сотнях.

Лелеял Иван горделивые помыслы, как явится он в свою станицу ватажком, как старики во главе с отцом выйдут встречать его с хлебом-солью, как они будут упрашивать его принять в подарок чистокровного степного коня, как... Помахивал от нетерпенья плетью, остро вглядывался в лица высыпавших ко дворам станичников и досадовал, что никто будто и не узнает его.

В обозе хранилось немало отвоеванных знамен всевозможных цветов и отцветков. В станицу отряд входил под черным знаменем, на котором светлыми шелками были вытканы скрещенные

кости, череп, восходящее — похожее на петушинный гребешок —
солнце и большими глазастыми буквами грозные слова:

СПАСЕНЬЯ НЕТ
КАПИТАЛ ДОЛЖЕН ПОГИБНУТЬ

Весь отряд втянулся в улицу.

Атаман привстал на стременах, обернулся и хрипким баском
скомандовал:

— Весело!

Трубачи, откашливаясь, разбирали с возов нагретые солн-
цем трубы. Кларнетисты, багровея от натуги, начали пробовать
инструменты: на их щеках заиграли ямочки, казалось — музы-
канты заулыбались.

Оркестр хватил «Яблочко».

Две тачанки были сцеплены бортами и поверх, для звона,
застланы досками. На движущийся помост легко вспрыгнула по-
ходная жена атамана и лучшая в отряде плясунья Машка Бе-
луга. Повертываясь на все стороны, она охорашивалась. Ее кры-
ла шляпа с большое решето, писаный гайдамацкий кушак туго
перехватывал талию, обтянутые драгунскими штанами стройные
ноги дрыгали от нетерпенья, а высокая грудь была увешана
содранными с чьих-то грудей орденами за верную службу, меда-
лями за усердие и выслугу лет, георгиевскими крестами всех
степеней. Станичники, завидя атаманшу, по привычке к чинопо-
читанию подтягивались, а старый Редедя стал во фронт...

— Весело!

Машка кинула глазом туда-сюда, в ладоши хлопнула и пошла
рвать:

Иисус Христос
Проигрался в штосс
И пошел до Махна
Занимать барахла...

Взвыли, закашляли, засморкались...

А божая мать
Пошла торговать...

Машка как топнет-топнет и понесла:

Буржавой ты, буржавой,
Хабур чабур лимоны¹,
Кругом наше право
И наши законы...

Отряд застонал, закачался в гулком реве:

Кыки, брыки всяко право,
Гребем мы все законы...

¹ Л и м о н а м и для простоты назывались миллионы.

Кто засвистал, кто принялся стрелять во взбунтовавшихся собак, и медведь, не переносящий лая, заревел во всю пасть.

Площадь не вмещала народа.

Не потешили старики Ванькину гордыню, не вынесли хлеба-соли и своей покорности.

Атаман поднял плеть.

— Стой!

Движение затормозилось.

Брякнув прикладами о черствую землю, стала пехота. Всадники опустили поводья, поспрыгивали с коней и начали разминать занемевшие ноги. Оборвался строй ликующих звуков оркестра. Умолк скрип колес.

Шалим, чуть коверкая слова, прокричал нараспев:

— Квартирьеры, разводите людей по квартирам!.. Бабы, разбирай постели, готовься к бою!.. Фуражиры, ко мне!

Над возами качали хохочущую Машку Белугу, вскидывая ее выше лошадиных голов.

Матрос будил матроса:

— Тимошкин, вставай... Тимошкин, мужики горят!

Тимошкин не в силах был вырваться из объятий сна и только мычал. Ведро холодной воды ему на голову! Тимошкин, фыркая, поднял стриженую голову, воспаленные глаза его испуганно мигали:

— Где мы?.. В Таганроге?.. Горим или тонем?

— Хлюст малый, — заржали кругом, — с самого Дону не просыпался, всю неделю пьян был... Слезай, на Кубань приехали, сейчас с казаками драться будем.

Перед зданием станичного правления атаман остановился в раздумье... Потом, переборов себя, ступил на скрипучее крыльцо и, окруженный свитой, ввалился в помещение.

Члены ревкома — по углам.

— Кто у вас тут старший клоун? — спросил Ванька, окидывая зорким взглядом вставших комитетчиков.

Григоров вышел из-за стола и протянул руку:

— Здравствуйте... Я — председатель ревкома.

— Откуда ты такой красивый взялся? — не подав руки и раздражаясь, вспыхнул атаман. То, что верховодит станицей не казак, а чужак, которого он и видел-то раньше лишь мельком, взбесило...

Шалима разбирало нетерпенье, перемигнулся с фуражирами и ротными раздатчиками, выкрикнул ругательство и рассек плетью зеленое сукно на столе.

Григоров откачнулся, поправил пенсне и насмешливо проговорил:

— Молодцы вы, ребята, погляжу я на вас...

— Помолчи, председатель, — угрюмо сказал атаман. — Не рад прибытию нашему?

— Что вы, что вы? — опять усмехнулся Григоров. — Все мы рады до смерти.

— Помолчи, председатель, да подумай лучше, как бы нас покормить, да и коней наших не заставляй дрожать от голода.

— Кому подчинен отряд? — спросил Григоров.

— Ну, мне.

— А ты кому?

— Черту.

— За кого же вы воюете?

— А ты что, начальник надо мной, меня допрашиваешь?

— У у, анна сыгы! — как укушенный завопил Шалим и взмахнул плетью.

Атаман удержал его руку.

У дверей загалдели:

— Дай ему, Шалим, по бубнам.

— Али на базар рядиться пришли?

— Правильно, будя волюнку тянуть, люди голодны, лошади не кормлены.

— Карабчить его, и концы в воду.

— Уйми своего молодца, — сказал Григоров, — прикажи убраться отсюда лишним, тогда будем говорить о деле.

— Гонишь? — прищурился атаман, и ноздри его затрепетали.

— Гнать не гоню, но разговаривать сразу со всеми не желаю.

— Храбрый?

Григоров промолчал.

Не спуская с него глаз, атаман с нарочитой медлительностью вытянул из коробки маузер, спустил предохранитель и выстрелил через голову председателя в стенку.

— Гад...

Вбежал Максим.

Григоров стоял прямо. Сразу осунувшееся лицо его было серо, глаза немы.

— Вот стерва! — в восторге закричал Иван. — Не боится ни дождя, ни грому... Пойдешь ко мне в штаб писарем?

Максим сразу сообразил в чем дело, загородил собою Григорова и, стараясь придать голосу твердость, заговорил:

— Стой, Иван Михайлович... Напрасно ты нашему председателю обиду чинишь... Он расейский и порядков наших не знает.

— Чего же он порядков не знает?

— В председателях недавно ходит, потому и не знает... Станица у нас на беспокойном месте... Ты вот пришел — по зубам бьешь, а завтра кто залетит — в зубы даст: никак невозможно больше недели в председателях высидеть, морда не терпит.

— Морда не терпит?... — Иван засмеялся.

Прорвался гогот всей свиты: хохотали, захлебываясь чихом, кашлем.

Высмеявшись, атаман спрятал маузер, торопливо — не попадая огнем в трубку — закурил и изложил свои требования.

— Выставим в срок,— пообещал Максим,— и угощение, и хлеба печеного, и овса, и всего что полагается предоставим в точности... Будьте покойны, Иван Михайлович.

— Ты меня помнишь?

— Да вы ж Михайлы Черноярва сынок? Как не помнить...

Ванька хотел было что-то спросить про отца, но сдержался.

Оглядел внимательно Максима:

— Чей таков?

— Максим Кужель... Я тутошний.

— Комиссар?

— Я простой,— ответил Максим.

— Ну, гляди, не исполнишь приказа, голову сниму.

— Будьте покойны, предоставляю.

— Добре. Хлопцы, гайда!

Гости ушли.

— Чего будем делать? — спросил Васянин.

— Послать на фронт вызывную телеграмму,— предложил Мединюк, — вызвать Михаила Прокофьевича с полком, он их угостит...

— А не попытаться ли разоружить банду своими силами?— сказал Григоров.— Добром с ними, как видно, не поладишь...

— Народу надежного не хватит...

— Винтовок и патронов я привез,— сказал Максим,— а народу, пожалуй, и не наберем.

— Где винтовки?

— На станции... И Галаган на станции, паровоз починяют...

— Он коротко рассказал о своих мытарствах в городе, о встрече с моряками.

— Не взять ли твоего Ваську за бока? — спросил Григоров.

— Вряд ли их, чертей, уломаешь... На фронт торопятся и злые до бесконечности: дорогой бить было некого, так они все в телеграфные столбы стреляли.

— Все-таки надо попробовать связаться с ними... И немедленно...

— Попытать можно...

Комитетчики, распределив между собой районы, отправились по станице собирать дань для нашельцев, а Максим с Григоровым побежали на станцию.

Приготовления к пиршеству начались еще засветло.

Тесно показалось в хатах. Столы были вытащены на улицы и площадь. Под окнами кухонь, ровно пьяницы у кабаков, увивались собаки. Засучив рукава и подоткнув исподницы, бегали раскрасневшиеся бабы. Столы ломились под обилием угощений: каравай пшеничного хлеба, пироги с мясом, жареная птица, соленые арбузы, чугуны дымящейся баранины, ведра кислой капусты и моченых яблок.

На площади за богатым столом, развалившись на вытертом плюшевом диване, сидел окруженный приспешниками Иван Чернояров. Со своего высокого сиденья — под ножки дивана были подложены кирпичи — он видел всех, и его все видели.

Вестовая серебряная труба проиграла сбор.

Люди расселись за столы

атаман поднял руку:

— Хлопцы...

Площадь притихла...

Атаман не любил многословия, краткая речь его была подобна команде:

— Хлопцы, нынче гуляй, завтра фронт!.. Как мы бесповоротно зараженные революцией, не поддадимся ни богу, ни черту!.. Дальше пойдем с открытыми глазами, грудью напролом! По всему белу свету пойдем, пока ноги бегают, пока кони носят нас!.. Кровь по колено, гром, огонь!..

Он опрокинул ковш на лоб. Услужливые руки протягивали ему огурец, корку хлеба, хрящ из осетровой головы.

Площадь гремела:

— Ура батькови!..

— Будем панов бить, солить!

— Отдай якорь!

— Вира... Ход вперед.

— Гу-гу-уу...

— Спаса нет, капитал должен погибнуть!

— Хай живе отоман и вильное товариство!..

Крики схлынули, понемногу заглохли.

Все набросились на жратву. Некоторое время слышалось лишь чавканье, хлопанье пробок, звон посуды, треск разрубаемых тесаками мозговых костей, потом голоса загудели с новой силой, развернулась песня, полились бабьи визги да жаркий смех.

В церковной ограде за многими столами, застланными холстом под одно лицо, гуляли шахтеры.

Февральская революция блеснула над Донбассом, как далекая заря. Шахтеры на свою беду плохо разбирались в политических тонкостях. На митингах — проклятия и зубовный скрежет, оболстительные призывы и горы обещаний. Первые выборы дали меньшевикам и эсерам победу — они возглавили городские думы и рудничные советы, засели в профсоюзах. Чумазая сила опять была загнана под землю. Социалисты приступили к мирному сотрудничеству с промышленниками. Пока им удавалось выторговать у хозяина копейку прибавки, хлеб дорожал на пятак. Владельцы отсиживались в своих особняках. Конторщики по-прежнему обжуживали горняка при расчетах. Управители мозолили глаза, раскатываясь на заводских рысаках. Подтертое и разболтанное за войну оборудование предприятий не сменялось, а нормы выработки непрерывно повышались. Наконец терпенье горняков лопнуло.

Зашумели забастовки.

Промышленники в ответ закрыли до трехсот рудников. Десятки тысяч безработных с лютой злобой в сердцах и с пустыми котомками за плечами побрели из Донбасса на все стороны. Но вот по всей стране хватила Октябрьская гроза. Шахтеры воспрянули духом. Генерал Каледин, по настоянию шахтовладельцев, прислал на рудники казаков. Шахтеры взяли за кирки и обушки. Началась гражданская война. Рабочие казармы и землянки наполовину опустели — дома оставались бабы да кошки. Работа на рудниках замерла. Сезонные шахтеры разошлись по деревням ковырять землю; другие утекли к Махно; иные пристали к красным отрядам Сиверса, Жлобы, Антонова-Овсеенко; немало чумазых увели за собой под Царицын Артем и Ворошилов... Вольная боевая артель под командой забойщика Мартьянова целую зиму воевала с казаками в верхнедонских округах и потом, спасаясь от немецких пуль, увязалась за бандой Чернырова...

Самогон цедили из бочат, черпали из ведер.

— Во! — сверкая из-под окровавленного бинта загноившимся глазом, размахивал кожаной шляпой пожилой шахтер. — Это жизнь!... Бывало, идешь мимо господской кухни и нюхаешь, как мясными шами пахнет, а нынче вот оно... Радуйся, душа, ликуй, брюхо!

К нему тянулись чокаться.

— Распускай пояса, наедайся про запас.

Винтовки были составлены в козла.

Пахло перегорелой вонью, исторгаемой переполненными желудками.

• Два парня палили над костром насаженную на пику свинью.

Черные, проросшие грязью руки рвали куски мяса. Потные лица блестели довольством, по щетинистым подбородкам стекал жир.

В хатах огней не зажигали. В окнах смутно мелькали испуганные лица. Шайки барахольщиков бродили из двора во двор. Гостей встречал лай взволнованных собак, плач детишек, бабья ругань и причитанья.

Грохот в дверь:

— Хозяевы...

— Дома нету, — отзывается из-за двери дрожащий голос, — одна я с ребятишками.

— Оружие есть?

— Боже ж мой, да какое у меня оружие?..

— Отпирай... Обыск.

— Ратуйте, православные!

Дверь трещит и рассыпается под ударами прикладов.

— Говори, куда пулеметы спрятала?.. Где сундуки?.. — Придушенный шепот: — Гроши е?

— Откуда у меня грошам взяться?.. Я вдова, солдатка...

— Нам тебе под подол некогда заглядывать. Ребята, приступи...

— Карау-у-у-ул!..

— Тю!

Под железными пальцами хрустит бабье горло.

— Товарищи... Черти, у меня и мужа-то убили на германской войне... Почитайте документы.

— Мы неграмотны.

Из сундука летели праздничные юбки, сувои полотна, цветные платки и припасенное дочерям приданое.

— Ломи шубу!

— Не дам... Не дам шубу!

— Брось, баба, зачем тебе шуба?.. Тебя твоя толстая шкура греть будет.

Дом после обыска, как после пожара...

Из дворов выходили с узлами. Озираясь и пересвистываясь, убежали в свой табор.

Атаман, пошатываясь и шагая через пьяных, проходил по площади. Время от времени полной горстью он разбрасывал серебряные деньги и кричал:

— Хлопцы, все ли пьяны, все ли сыты?

Кто подносил ему чарку, кто лез целоваться.

Плачущие бабы ловили его за полы черкески:

— Шаль ковровую... Золото.

— Кто ж тебе виноват?.. Прятала бы дальше.

— Растрясли... Обобрали...

— Не наживай много, не отберут.

Старый казак Редедя повалился атаману в ноги.

— Сынок... Ваня... Овес выгребли, двух коней с бричкой угнали...

— Ограбили? — спросил он, тронутый горем старика, и, выдернув из-за пояса наган, сунул ему в руки.— Иди, Сафрон Петрович, и ты кого-нибудь ограбь.

Кругом заржали.

Атаман искал Машку и нигде не находил ее. Неожиданно в стороне, за церковной оградой, послышался знакомый смех.

Атаман остановился, повел ухом...

Потом влез на ограду и, придерживая шашку, прыгнул в темноту. Из-под куста, ахнув, выпорхнула, как куропатка, растрепанная Машка Белуга. За ней поднялся, отряхиваясь, черноусый шахтер, в котором атаман узнал пулеметчика Лященко.

Иван, нахлобучив шапку, точно готовясь к драке, шагнул к своей подруге:

— Ты что ж, трепки захотела?.. Да я из тебя, змея гробовая, требуху вырву.

Машка попятилась:

— Я тебе не наймичка... Я сама себе вольная.

— Цыма, сука семитаборная! — бешено закричал атаман, хватаясь за кинжал.— Гайда за мной!

— Дудки...

Сверкнул кинжал, пулеметчик на лету поймал кинжал за лезвие и сломал его: в руке атамана осталась одна рукоятка. Шахтер загородил Машку и поднял кулак:

— Отнюдь!

— Ты... в чужое дело не тасуйся.

Они сцепились и оба рухнули на землю.

Девка завизжала.

Набежали партизаны.

Дерущихся разняли, пообрывали с них оружие. Шахтеры приняли сторону своего товарища, солдаты и матросы горой встали за атамана. Готова была вспыхнуть всеобщая потасовка, когда подошел командир шахтерской роты Мартыянов. Повелительным окриком он приказал своим людям разойтись. Шахтеры не выдали Машку и, усадив ее за свой стол, наперебой принялись угощать, подсовывая лучшие куски.

Атаман, оставшись с адъютантом с глазу на глаз, сказал:

— Шалим, приготовь за станицей две тачанки... Вымани лярву от этих коблов... Когда все будет готово — доложи... Я разорву ее лошадьми.

Потянуло Черноярова домой. Захотелось хоть одним глазком глянуть на свой двор, пробежать по саду, завернуть в конюшню, слазить на чердак к голубям. Весь вечер поджидал, что явится кто-нибудь из домашних и позовет его. Чем ближе подходил к дому, тем больше волновался.

Окна были прикрыты ставнями, ворота на запоре.

Постучался... Сердце колотилось в ребра...

С хриплым лаем кинулись собаки... Калитку приоткрыл работник Чульча и, не узнав спросонья молодого хозяина, преградил ему путь. Не в состоянии выговорить ни слова, Иван оттолкнул калмыка и, отбиваясь от собак плетью, перебежал двор.

В сенных дверях его встретил сам Михайла.

— Батяня...

— А-та-та...

Иван сунулся было целоваться.

Старик оттолкнул его в грудь и хотел закрыть дверь, но сын уже протиснулся в сени.

— Ты так-то, батяня? — глухо спросил он и пьяно икнул.

— Серый волк тебе батяня, огрыза собачья... Осрамил на всю Кубань... Отец с наградами да грамотами службу нес, а сын — разбойник...

Иван промолчал и прошел в горницу.

По лавкам, вдоль стен, сидели старики — Карпуха Подобедов, Трофим Саввич Маслаков, Селенкин, братья Чаликовы.

— Здорово, казаки, — неласково сказал вошедший.

— Поди-ка, добро пожаловать... Здоров будь, атаман молодой...

В голосах угадывалась насмешка.

У Ивана зашумело в ушах, злоба комом встала в горле. Огляделся... Коптила привернутая лампа. Старые, в дубовом окладе, стенные часы, выпустив всю цепочку, стояли. Стол был завален немытой посудой. Домашних нигде не было видно.

— Где же... все?— спросил он отца.

— А тебе кого надо?

— Ну, брательник?.. Бабы?

— На улицу побежали, твоими молодцами любоваться... Меня, как старого кобеля, домовничать оставили, а я тоже не прочь бы подивиться на твой балаган...

— Живы?

— Кашляем... Бог смерти не дает.

— Не ждали?

— Все глаза проглядели,— качнулся доводившийся Черноярвым дальним родственником рыжебородый Селенкин и всхлипнул:— Ваня, не срами ты наш род-племя, не иди за этими городовиками: они босяки, самая голода, а ты ж казак, наш родный казак...

— Он, может статься, и казаком уже себя не считает... Нынче ведь всех на граждан повертывают?— подколол старший Чаликов.

Иван вскочил и опять сел.

— За обиду и за большую грубу слушать мне речи ваши, старики.

Загалдели все разом:

— Творец небесный...

— Какой ты, братец, стал чванливый...

— Помнишь, парень, как я тебя с горохом на огороде поймал да, спустив портки, высек?.. Давно ли было?.. А?.. Что время делает?.. Господи, твоя воля.

— Зачем пожаловал?— спросил отец, подойдя к сыну вплотную и не сводя с него свирепых глаз.— Мимо своей станицы тебе мало дорог?

Иван сидел на лавке прямо, как в седле, и чувствовал на лице горячее дыхание старика.

Михайла, с силой распуская пальцы и вновь свертывая их в кулак, говорил сквозь зубы:

— Бесовский вихрь крутит тебя?.. Лба не крестишь?.. В кабак пришел?.. Шапку долой!

Иван пересунул шапку с уха на ухо и, задыхаясь от обиды, туго выговорил:

— Уймись, батяня...

Отец сорвал с него шапку вместе с клоком волос и заорал:

— Руки по швам, сукин сын!

Иван бросился к двери, но первый же удар навесистого отца кулака заставил его волчком завертеться по горнице... Он упал под ноги старикам, стукнулся затылком о чугунную ножку швейной машины и потерял сознание. Михайла сыромятным ремнем прикрутил сыну руки за спину и бросил его в подпол.

— Вася, друг, выручай.

— Чего там у вас?

Максим бегло рассказал, Григоров добавил.

— Какой он партии?— спросил Галаган.

— Партия дери-бери... Кадушки-рядушки, ни с чем не расстаются.

— Далеко ль до станицы?

— Версты две.

Галаган оглядел набившихся в штабной вагон моряков.

— Ну, как, ребята?

Моряки, ссылаясь на незнакомство с обстановкой, заговорили разно. Одни советовали не ввязываться не в свое дело, другие невразумительно мычали, многие склонялись к мысли, что нужно дождаться утра, выяснить положение и уже тогда приступить к разгрому банды.

— Товарищи,— сказал Григоров,— время не терпит... Меня удивляет, товарищи, ваша нерешительность... Дело ясное, банду необходимо разоружить, и чем скорее, тем лучше.

— Не горячись, председатель, тут игра кровью пахнет,— осадил его Галаган и обратился к своим: — Кто пойдет со мной на разведку?

Вызвались почти все.

Он выбрал двоих: — шкипера Суворова и рябого атлета Тюпу, отдал распоряжение выставить усиленную охрану и приказал никому не отлучаться из эшелона до его возвращения.

Григоров мигнул Максиму:

— Валяй с ними.

Максим схватился:

— Вася, и меня прихвати. Я тут каждый шаг степи и все лазы наперелет знаю, мигом доведу.

Вчетвером они вышли из вагона и, как бледные тени, пропали в лунной степи.

Над станицей — зарево.

В черных садах костры.

На высоком крыльце нарядного домика кучка пьяных штурмовала попа Геннадия. Один шашкой срезал его седые космы, другой тянул с него штаны и припевал:

Яблочко,
Революция...
Скидавай, поп, штаны,
Контрибуция...

- Детки, помилуйте...
- Едем с нами, у нас пулеметчика в роте не хватает.
- Сыночки, пожалейте.
- В кашевары его...
- В кобыльи командиры!

Пострашав, попа отпустили. Подобрал полы подрясника, он побежал прочь от своего дома, из окон которого на улицу летели пустые бутылки, консервные банки, громовой хохот и девичий визг да вопли.

Между столами, вздымая пыль, мчались танцующие пары. Через костры, сверкая голяшками, прыгали девки. Кто спорил о политике, кто просто так развлекался. Упившиеся валялись вповалку.

Бритомордый эстрадный куплетист и чахоточный, с торчащими бескровными ушами, солдат стояли друг против друга, как драчуны, и ругались на спор — кто кого переругает. Под ноги им прямо на землю был набросан ворох мятых денег, пачки папирос, сломанный бинокль, серебряная спичечница — все это предназначалось победителю... Ругателей окружали гогочущие знайки и тонкие ценители матерщины.

Матрос Тимошкин, держа в зубах кинжал, а в руках по букету сирени, выбивал на столе чечетку.

Со всех сторон его ругали и подбадривали:

— Ножку, ножку дай!

— Класс!..

— А ну, пусти тройную дрель.

— Чаше! Чего ты глистов вытрясаешь, чаше!.. Дай три тыщи оборотов в минуту.

Со стола валились бутылки, сползали тарелки.

Галаган выпил с солдатами, повертелся среди матросов, на воровском языке перебросился шуткой с блатными, поболтал с державшимися отдельной компанией анархистами, подтянул шахтерам — песнь рвалась из их крепких глоток подобно волчьему вою. Потом Васька разыскал своих спутников, отвел в сторону и дал краткие распоряжения.

Максиму:

— Две парных брички за станицу, к мельнице... Скорю!

Шкиперу Суворову:

— Шахтерского командира — вон, вон пошел! — вымани за станицу, придержи до моего прихода. Понятно? Живой ногой!

Моряку Тюпе:

— Ты, годок, выбери солдата с бородой погуще и волоки за станицу.

— Ладно,— промычал Тюпа и переспросил: — Сбор у мельницы?

— Да. Через полчаса. Кругом арш.

Разошлись.

По окраине площади толпились станичники и вполголоса переговаривались:

— Вот она камуния...

— И вовсе, бабочки, это не камуния... Анархисты, слышь, да какие-то экспроприатели.

— Приятели... Мне бы хорошую казачью сотню с плетями, я бы им раздоказал...

— У дедки Сафрона двух коняк свели.

— Захотят, и жену со двора сведут...

— Я бы обеими руками перекрестился, коли на мою бы Ду-няху кто позарился,— сказал молодой и красивый Лукашка.— Такая она у меня... ууу!

— ...и жену сведут, и крест с шеи снимут...Отвернулся от нас господь-батюшка.

— Беда!

— Наши комитетчики тоже, видать, хвосты поджали?

— Куда там!

— До хорошего дожили... Свобода.

— Не раз и не два вспомним слова покойника Вакулы Кузьмича: «Это стыдно — жить без царя!»

— Понес, статуй губатый.

— Погоди, Сережка, пороли мы вас, молодых, и еще пороть будем, дадим память...

Остап Дудка горячо дышал Лукашке в ухо:

— Кони... Вино... Деньги... Черноярв будет рад нам, как-никак свои станишники... Двинем?

Лукашка мялся:

— Не, Остап... Дай подумать... Банда не бывалошная лейб-гвардия, в банду завсегда легко попасть.

Моряк Тимошкин бесом вертелся в толпе и рассказывал:

— ...Немцы обдирают Украину, как козу на живодерне. Гайдамаки торгуют на два базара — и германцы им камрады, и Скоропадский отец родной... Мы не захотели гайдамацкому богу молиться и драпанули сюда. Чистыми шашками прорубились через все фронты, пулеметы у белых добыли, а пушки под Каялом у красных забарабали...

— Надолго к нам, матросик?

— Не-е-е... Тут у вас водится мелкая рыбешка, а крупной буржуазной осетрины не видно... Нам тут быть неинтересно... Отдохнем недельку и всей хмарой назад посунем... Грудь стальная, рука тверда — вперед, вперед и вперед!

— А в Крыму, служивый, тоже бударага?

— Гу-гу... Война в Крыму, весь Крым в дыму — ни хрена не поймешь... Большевики продали в Бресте Украину, сейчас в Ростове с немцами мирные переговоры ведут, а завтра столкнутся с буржуями и запродадут всех нас чохом.

Через толпу проталкивается, опавшая растрепанные волосы, Анна Павловна.

— Товарищи, я не понимаю... Я не согласна... Идеальный анархизм... Ваши... Швейную машину, я ею кормлюсь...

— Кто такая?

— Я — учительница.

— Учительница? Машину? Да разве ж это мыслимо! — возмутился Тимошкин и жирно сплюнул. — Да я ж их, кудряков, своим судом раскоцаю... Кто у вас, извиняюсь, не знаю имя-отчества, машину стартал?

— Где мне найти... Все вы одинаковы, ровно вас одна мать родила.

— Расписку дали?

— Вы смеетесь? Какая там расписка, думала, сама ног не унесу... — С надеждой она вглядывалась в веснушчатое оживленное лицо моряка.

Тимошкин ухмыльнулся.

— Шиханцы портачи, я их знаю. Ни живым, ни мертвым расписок не дают... Перестаньте, мадам, кровь портить, машину вашу разыщу.

Он убежал и действительно скоро вернулся с машиной.

— Вот спасибо, вот спасибо... — Она взялась было за машину, но тут же опустила ее.

— Тяжело? Донести? — подлетел Тимошкин.

— Если вы так любезны...

Всю дорогу Тимошкин врал о том, как он где-то на себе таскал якоря и паровые котлы.

Остановились перед школой.

Анна Павловна позвонила... Из-за двери трепещущий детский голос окликнул:

— Кто там?

— Это я, Оленька, не бойся.

— Мамочка, мамочка... — Дверь приоткрылась. Увидев незнакомого человека, дочь замолкла.

— Машину отыскала, слава богу, — сказала мать, — нашелся вот добросовестный товарищ, донести помог.

— Я так за тебя боялась, мамочка, так боялась.

— Заходите, товарищ. Как вас зовут? Не хотите ли чаю?

Моряк поставил машину у порога и выпрямился, выпячивая грудь колесом:

— Позвольте представиться, моряк Балтийского флота, Илларион Петрович Тимошкин... — Он с чувством потряс обеими руками и обратился к дочери: — А вас Шурой звать?

Ольга удивленно повела бровью:

— Нет, не Шурой.

— Ха-ха... А я думал — Шурой... Люблю имя Шура... Но все равно... А чаю, между прочим, выпью с удовольствием: давно чай не пил, последний раз еще в Миллерове на вокзале чай пил...

На столе мурлыкал самовар. Анна Павловна заварила чай.

Востроглазая Ольгунька, с голубым бантом на макушке, сидела ровно заяц, насторожив уши. С любопытством, смешанным со страхом, исподлобья она разглядывала моряка.

По первому стакану выпили молча.

Быстро освоившись, Тимошкин вынул карманное зеркальце, оправил прическу и спросил:

— Чего же вы, барышня, боялись?

— И сама не знаю... Страшно одной в пустом доме.

— Это справедливо, одному везде страшно. Был со мною под городом Луганском случай... Пошли мы как-то ночью в разведку...

Рассказал случай из своей боевой жизни, потом, забавляясь, погонял в стакане клюквинку и скосил глаза на Анну Павловну:

— И хорошее жалованье получаете?

— Какое там...— махнула она рукой.— Чуть ли не каждый месяц власть меняется, в школу никто носу не показывает.

— Возмутительно,— подскочила приревнившая близко к сердцу огорчения матери Ольга и выпалила запомнившуюся газетную фразу: — Вы понимаете, без народного просвещения все завоевания революции пойдут насмарку.

— Обязательно насмарку,— подтвердил моряк.— Им, сволочам, только пьянствовать.— Он небрежно полистал подвернувшийся под руку учебник геометрии и спросил: — Учитесь?

— В школе почти всю зиму занятий не было, дома с мамой немного занимаюсь...

Моряк горестно вздохнул:

— А я вот шесть годов проучился в гимназии, арифметики не понимаю, надоело. «Отпустите, говорю, мамаша, на военную службу».— «Не смей, дурак»,— отвечает мне мать. Я не послушался и убежал во флот, скоро чин мичмана получу, я отчаянный...

Заложив руки в карманы широченного клеша, Тимошкин прошелся по комнате и остановился перед поразившим его внимание портретом старика в холщовой рубаше.

— Папаша?

— Нет, это писатель Толстой,— ответила Ольгунька, и в глазах ее вспыхнули веселые огоньки.

Со скучающим видом моряк подошел к глобусу и крутнул его: замелькали моря и материка.

— Где же тут мы находимся?

— Олечка, покажи.

Ольга остановила крутящийся, загаженный мухами шар и повела пальцем:

— Вот вам Европейская Россия, вот Украина, Кавказ...

— Вы там были?

— Где?

— Ну, в этой, как ее?... Европейской Украине или хотя бы на вершине горы Казбек?

— Нет, не была.

— Не были? — удивился моряк и с сожалением посмотрел на нее. — Ваша молодая жизнь кошмар-комедия... Нынче живем, резвимся, а завтра, представьте, подохнем и ничего не увидим... Хотите, дам я вашей судьбе чудесное решенье?

Ольга вопросительно посмотрела на мать.

— Едемте со мной, — продолжал Тимошкин, приглаживая торчащие непокорными вихрами рыжие волосы. — У нас интересно: пища привольная, в мануфактуре или в чем другом недостаток не будет...

— Товарищ, чай простыл, — сказала Анна Павловна. — Иди, Оленька, тебе спать пора.

Дочь встала, поклонилась гостю и ушла за перегородку в отцов кабинет, где спала на диване.

Тимошкин поговорил еще немного о политике, о зверствах немцев и умолк — стало скучно болтать со старухой.

На огонек забрели новые гости.

Дверь заходила под нетерпеливыми ударами.

Анна Павловна, оправив трясущимися руками платок, вышла.

Моряк заглянул в комнатушку.

Ольга сидела на письменном столе, при появлении матроса вскочила.

— Вы... Вы?.. Что вам?

— Пойдем, барышня, гулять — на улице весело.

— Я?.. Нет, поздно... Слышите, там кто-то ломится? Побуждаемая желанием защитить мать, она метнулась к двери.

Тимошкин схватил ее за руку, рывком привлек к себе и поцеловал в пылающую щеку.

Она закричала не своим голосом, когтями ободрала ему морду и выскользнула из объятий.

— Барышня...

— Нахал... Убирайся сию же минуту! — Она терла щеку точно обожженную.

Тимошкин, выкатив помутневшие глаза и бормоча что-то невнятное, пошел вокруг стола.

Она загордилась креслом.

В дверях показались рожи.

Резко вскрикнула ударенная кем-то мать.

Ольга, не помня себя, бросила в матроса чернильницей, грудью ударилась в жиденькую оконную раму и в звоне стекла выпала в сад.

Моряк выпрыгнул за ней, перемахнул забор и, споткнувшись, растянулся на дороге.

Проходивший по улице Галаган поднял его и поставил перед собой:

— Откуда сорвался?

— Годок, не видал?.. Не пробегала такая курносая, губы бантиком?

— Не догонишь, далеко ушла.

Галаган разглядел Тимошкинову залитую чернилами рожу, но в темноте принял это за кровь.

— Ранен? Чем это она тебя шарахнула?

— Ну, ее счастье, что убежала... Все равно покалечу задрыгу, не уйдет от моей мозолистой руки.

— Брось, братишка, и хочется тебе с бабой возиться? — стал его Галаган успокаивать. — Пойдем со мной.

— Куда?

— Дело есть.

— Ящерица поганая, да я ж ее... Дело, говоришь, есть?.. А ты из какой роты?.. Чего я тебя не признаю?

— Сыпь за мной, потом разберемся.

Скоро они выбрались за станицу. У мельницы покуривали и негромко переговаривались четверо; пятый спал, свернувшись на бричке. Все расселись на две брочки и погнали к станции.

В штабном вагоне сеялась полутьма, моталось пламя одинокой свечи, на столе шелушились хлебные крошки. Стены были увешаны картами, похабными карикатурами, оружием и одеждой уже полегших спать членов штаба. Спали они на ящиках со снарядами и взрывчатыми веществами, которыми было занято полвагона.

— Вставай, поднимайся, братва! — гаркнул Галаган, вбегая. — Встречай делегацию...

Тимошкин еще раньше смекнул, что попал не в свою... Пожимая руки членам штаба, он с тревогой спрашивал:

— Отряд?.. Черноморцы?.. Давайте соединяться.

— С какого корабля?

— С «Гангута». Балтик.

— К порядку, — постучал Галаган по столу. — Товарищи, вы привезены сюда на боевое совещание... Дело такого рода... Отряду вашему отведены в станице квартиры, выставлено угощение, уважены все ваши партизанские требования...

— Давайте соединяться! — шумнул опять Тимошкин.

Галаган помялся, подыскивая подходящие слова, и снова заговорил:

— Пришли вот ревкомовцы, жалуются... Я им и поверил и нет... Дай-ка, думаю, сам разведать... Мало ли у нас впопыхах творится дурости, но... Сам пошел и разведал... Откуда вы столько громщиков и шпанки понабрали?

— Мы, товарищ...

— Такую шатию надо разоружить, — продолжал он, — силы у меня хватит. Силой своей, безо всяких заседаний, мог бы всех вас по станице выстрелить, но... — он возвысил голос, — зачем ненужную и лишнюю кровь лить?..

— Мы ж, товарищ дорогой, невинные...

— Революция с этим не считается. Будь сознательным-рас-сознательным, но раз ты — сукин сын, значит виноват.

— Брось балабонить, ближе к делу, чего ты хочешь? — спросил Тимошкин. — Вина? Гамзы?

— Буду краток. Надеюсь, товарищи шахтеры, товарищи моряки, товарищи солдаты помогут мне потрепать шпанку... Что вы молчите? — обратился Галаган ко всем. — Кто желает высказаться?

— Мы, фронтовики, — сказал пьяный, пьянее грязи, солдат, — мы на родину пробираемся... мы в Самарскую губернию, в Бузулукский уезд, стало быть, пробираемся и никому винтовок не сдадим... Как мне можно без винтовки, раз у вас тут кругом банды гуляют?

— Корешок, — взывал одновременно с солдатом и Тимошкин. — На своих руку поднимаешь?.. Где твои ребята?.. Давай веди отряд в станицу, брататься будем...

Максим с Григоровым ругались с командиром шахтерской роты.

— Чернояров, он такой... — кричал Мартьянов. — Вместе через фронт прорвались, с германом воевали... К тому же и от своих мест мы далеко ушли, нам на Дон возврату нет, и от атамана отстать нам невозможно... Бей, кроши, вырывайся, пропадай душа!

— Пойми, друг, — подступал к нему Григоров, — вреда от вашего атамана больше, чем пользы... Погуляете, засвищете, только вас и видели, а против советской власти вся округа подымется...

— Подымется?.. А зачем вы тут посажены?.. Бей с козла, топчи гадюк, чтоб и не хрипели!

— Верно, — сказал Максим, — гадюки шипят и из-под каждой подворотни кусаются, а тут вы еще безобразничаете...

— У нас в отряде ни одного контрика нет, — твердил свое шахтер. — Далеко мы от своих мест зашли, нас страх держит, куда без атамана денемся?.. Он парень — ухо с глазом.

Максим с Григоровым отжали шахтера в угол, продолжая убеждать.

— Какая ваша забота за буржуйское добро? — орал солдат. — Али им, удавам, пощаду давать?..

Егоров лез на солдата с кулаками:

— Вы же самая беднота, ваш долг революцию защищать, а не лазить тут по тылам баб щупать да сметанные горшки вылизывать... Со своими буржуями ревкомовцы и сами справятся, а наше с тобой место, суконное твое рыло, на позиции. У меня сын единственный на фронте погибает, сам не хочу даром жевать хлеб советский. Иду! Все идем на огонь, на штык, а вы тут молочко хлебаете?

Галаган поднялся и властно крикнул:

— Разговору нет, все решено... Именем революции приказываю...

— Хочешь загнать в бутылку и заткнуть? — перебил его Тимошкин. — Врешь, стерва, и сам далеко не упрыгнешь!.. —

Он выхватил из-за пояса рубчатую, большой взрывчатой силы, английскую гранату и попятился к стенке, чтобы всех видеть. — Ханá?.. — Перекошенное, в чернильных подтеках лицо его было полно решимости, рука с гранатой занесена над головой.

Галаган опешил.

Все замолчали.

В вагоне вдруг стало глухо, как в гробу. Тикающий часовой маятник точно пунктиром подчеркивал тишину.

— Стой, падло, — выговорил Галаган. — В вагоне две сотни снарядов и шесть пудов динамита. Ты можешь из всего эшелона смолу сделать.

Тимошкин, оскалив зубы, молчал... В глазах его испугу было мало.

— Застрели меня одного, ежели считаешь вредным, — продолжал Галаган. Затем, будто боясь кого испугать резкостью движения, осторожно отстегнул маузер и, держа его за дуло, положил на край стола ручкой вперед.

Еще большую минуту длилось молчание.

Тимошкин медленно опустил руку, подшагнул к столу и положил гранату рядом с маузером.

— Сдаюсь.

Егоров, стоявший ближе всех, хлестнул Тимошкина по уху:

— Печенег!.. Ты — пятое колесо в нашей коммунистической телеге...

— И я сдаюсь, — поднял солдат трясущиеся руки. — Я, братишки, сам служил в Дебальцево в большевицком полку, только забыл его правильное название... Я, братишечки, сам целый год направо и налево вел бесплатную агитацию.

— Ну, а ты? — в голос спросили несколько человек, обращаясь к Мартьянову.

— Я что ж... я ничего...

— Этот с нами, — ответил за него Григоров.

Шахтер начал распоясываться.

— Оставь оружие при себе, — сказал ему Галаган. — Беги в станицу. Поручаю тебе и твоим ребятам захватить батарею и атамана... Скажи своим людям, пусть сбросят шинели и рубашки, чтоб в бою я мог вас отличить от прочих.

— Будет исполнено в точности... Уж я сказал, так умерло... —

Он пожал наспех руку Максиму с Григоровым и вышел.

В суматохе солдат успел улизнуть.

— Этого, — ткнул Галаган пальцем в Тимошкина, — списать...

— Счастье морское, — заплакал тот, подталкиваемый к выходу. — Братишки, за что? Я никому зла на копейку не сделал!

За вокзалом, у кирпичной, исклеванной пулями стены, Тимошкин отдал якорь.

— Как в эшелоне? — спросил Галаган.

— Спят.

— Поднять.

— Есть поднять, — ответил Суворов и передал дежурившему в дверях вахтенному: — Поднять людей.

Дневальный побежал по составу:

— Полундра!.. В ружье!.. В ружье!..

Из вагонов сыпались одетые и вооруженные моряки. Строились перед зданием станции.

— Скатить с платформы два орудия, — приказал Васька.

— Есть, — ответил Суворов и через плечо бросил вахтенному: — Приготовить два орудия.

— Командоры, к орудиям! — протянул нараспев вахтенный.

Из темноты моментально откликнулись:

— Есть два орудия!

Отряд выстроен... Бубнили низкие голоса. В зубах вспыхивали раздуваемые ветром огоньки папирос. Лица были неразличимы.

Галаган с подножки штабного вагона выкричал, пересыпая матюками, краткую гневную речь.

Его выслушали в строгом молчании и, соблюдая полный порядок, вышли за станцию, развернулись в две цепи и быстро двинулись по темной степи.

Моряки вошли в станицу сразу с трех сторон.

Встревоженные улицы загудели...

Из дворов выкатывали тачанки, на лошадей на ходу набрасывали хомуты. Скакали всадники, бежали, отстреливаясь, солдаты, и часть обоза уже гремела по мосту...

В спину бегущим жители палили из дробовиков. Бесстрашные казачки рубчатыми вальками и ухватами молотили валявшихся пьяных.

Шахтеры на руках выкатили пушки на середину улицы и били по мосту прямой наводкой. Снаряды ложились удачно — мост запылал, по реке поплыли подушки, гогочущие гуси, чемоданы и картонки с барахлом...

ГОРЬКОЕ ПОХМЕЛЬЕ

*В России революция — деревни
в жару, города в бреду.*

На армию навалилась вошь,
армия гибла.

Хлестала осень дождями, свинцом и кровью.

Кошмою полегли перебитые с сорняками неубранные хлеба. Осиротевшую ниву вытаптывала конница, опустошали мышинные орды, расклеывала пролетная птица. Над Кубанью, Терекон и Ставрополем реяли багровые знамена пожаров. Красные жгли хутора и станицы восставших казаков, белые громили мужичьи села и рабочие слободки.

Наседала зима.

С севера все чаще и чаще набегали холодные ветра, наголо раскрывая сады, шурша в степях мертвыми травами. Прихватывали утренники, лужи затыгивало первым ломким ледком.

Бойцы были раздеты и разуты.

По одним путям, по одним дорогам с армией ползла и тифозная вошь. Здоровые еще кое-как отбивались от вошвы, больные — не могли.

Минеральные воды

Пятигорск

Владикавказ

Грозный

Святой Крест

Моздок

Кизляр

Черный Рынок...

Живые долго будут хранить в памяти эти кровавые вехи.

По всем городам и селам, хуторам и станицам бегущая армия покидала на произвол судьбы тысячи и тысячи своих раненых, больных, слабосильных. Этапные коменданты ставили к дверям лазаретов караульных с приказом никого из помещений не выпускать.

Те, кого сила несла дальше, забегали в лазареты прощаться.

— Братцы! Не волнуйся... Мы отступаем дня на три и опять вернемся.

— Врешь, серый!.. Завели нас и продали... Кадеты всех порубят.

— Не тронут... Увечного не посмеют тронуть.

— Да, лежал бы ты на моем месте с пулею в груди, не то бы вячел.

— Говорю, скоро вернемся, ожидайте.

— Кого и чего ждать? Палача с веревкой?

Срывались с коек.

— Братва, собирайся.

— Куда вы? Куда поднялись? Лошадей нет. Одежи теплой нет. Мосты в тылах порваны. Кормить вас нечем и самим жрать нечего. В дороге всем вам, калекам, верная гибель...

— Все равно пропадать. Бей телеграмму Ленину...

— Братцы, не покидайте!

Рыдания и скрежет зубовный.

— Не покидайте... Вместе воевали, вместе и умирать будем!

— Прощай, станишники... Прощай, друзья...

Стоны, вопли, последние объятья.

Отец заживо расставался с сыном, брат с братом и товарищ с товарищем.

Двери лазаретов наглухо заколачивались досками, из окон выпрыгивали — кто выпрыгивать мог. На костылях, в бреду, срывая с себя окровавленные повязки, они рвались вслед за отступающей армией: поддерживая друг друга, шли, ползли, валялись и умирали... Много их, призасыпанных первым снегом и скрюченных, смиренхонько лежало по обочинам дорог.

Пепелища хуторов и станиц, скелеты городов.

Реввоенсовет армии еще заседал, слепо веря в силу своих решений, и, как ракеты, выбрасывал приказ за приказом:

Оттянуть армию за Терек... Переформировать части... Вести жесточайшую дисциплину. Дать людям отдых... Связаться с 12-й армией... К весне готовить удар по Деникину...

А за зеркальными окнами штабных вагонов по разбитым шляхам день и ночь грохотали скачущие обозы и батареи, подбористым шагом текла кавалерия, двигались остатки 7-й, 9-й и 10-й боевых колонн, отбившиеся от главных сил части таманцев, поредевшие составы еще недавно стяжавших громкую славу полков: Михайловского, Пролетарского, Выселковского, Интернационального, Лабинского, 292-го Стрелкового, Крестьянского имени Щербины, Тимашевского, Кубанского внеочередного, Унароковского, Черноморского, Народного, 306-го Стрелкового и других. Украинские батраки и ростовские рабочие, станичная гольтьмба и таганрогские красногвардейцы, темрюкские рыбаки и буйствующие матросы, сутулые хуторские дядьки с бородами в целую овчину и безусые хлопцы. Полтавец шел плечо в плечо с тавричанином, китаец шагал в ногу с мадьяром. Отступали закубанские пластуны, отступали отважные латыши. Казаки молодых годов

соперничали в джигитовке с ингушами и чеченцами; впрочем, горцы к тому времени уже начали разъезжаться по своим аулам, чтобы вскоре в тылах противника поднять знамя восстания. Лейки, повозки, телеги, арбы и тачанки грохотали, стремясь обогнать друг друга. Колеса проваливались в колдобины, изнуренные большими переходами лошади то останавливались, то под ударами кнутов и палок дергали из последних сил.

Вой, плач, проклятья и ругань.

Не успевали покормить лошадей и сами хоть немного отдохнуть, как свистали сотники и командиры громко подавали команду:

— Амму-ни-чи-вай!..

— Брюховчане, по коням!

— Запрягай, обозные... Рота, становись!..

— Каша на ложки, молодцы на ножки!..

Расхватывали хрустящую на зубах недоваренную кашу и выступали, на ходу подтягивая пояса, дожевывая куски. Никому не хотелось отставать от своей части, а те, которым хотелось, давно отстали или, перебив своих командиров и комиссаров, перебежали, или по горькой неволе попали в плен, и многие из них уже воевали под трехцветными знаменами контрреволюции. Немало перелетов, порубленных и пострелянных оружием белых, валялось в балках и придорожных канавах.

Оставляя за собой кровавый след, армия неуправляемой лавиной откатывалась на Моздок, Кизляр, Черный Рынок. Железнодорожный путь на десятки верст был забит согнанными со всего края поездами: обмундирование, боеприпасы, дезертиры, лазареты, штабы несуществующих частей. Приказ — взрывать и жечь все, что не под силу увезти. Взрывали, жгли, тащили кто что мог. Иной, загребая грязь ногами, и пустой еле волочился; иной же, напялив на себя две, а то и три шинели, пыхтел с узлом барахла на горбу. Кабардинцы, карачаевцы и казаки восставших станиц под командой ватажков терской контрреволюции — Бичерахова, Агоева, Серебрякова — как шакалы рыскали по тылам, грабя застрявшие на проселках обозы, обдирая и добывая не имеющих силы защищаться.

Под Червленной отступающая армия встретила присланные из Астрахани на подмогу полки 12-й армии — Ленинский и Железный. У бойцов был молодецкый вид, все в новых шинелях и в крепких — со скрипом — сапогах. Под расшитыми серебряным позументом знаменами астраханцы шли в полном боевом порядке и, кося глазом на оборванных партизан, кричали:

— Станишники, что усы повесили?

— Наковыряли вам казачишки?

— Эх, вы, Аники...

Кубанцы отбрехивались:

— Где вы раньше были, такие красивые?

— Дорогу назад не забудьте. Скипидару-то призапасли?

— Черти вислогубые... Вот погоди, кадеты вам уши-то облетают...

Злые шутки, хохот, матерщина.

— Дядя, ось-то в колесе! Хо-хо...

— Помолчи, вшивая амуниция!

— Драть я тебя хотел.

— Кабы не ты да не Микита...

— Накрутят они вам хвосты, чихать смешаетесь!

— Песенники, вперед!

Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе,
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе...

Подхватили и понесли навстречу врагу гремющую песнь.

Оба полка, незнакомые с повадкой противника, в первом же бою под станицей Мекенской были окружены конницей генерала Покровского и почти полностью уничтожены.

Не густо оставалось в армии командиров и комиссаров: одни полегли в степях и горах; другие, бредя сражениями, метались в тифозной горячке; иные, побросав свои части, бежали в Закавказье или через Дербент морем в Астрахань.

По степной дороге бойко бежал автомобиль. На сиденье, откинувшись в угол кузова, дремал и поминутно просыпался человек в военной форме. Усталое лицо его было серо, на носу подсакивали золотые очки.

Бригада и полковые обозы тащились по дороге.

Хрипло взывал сигнальный рожок.

— Пропускай, гужееды,— сердито кричал шофер.— Передай передним, чтоб остановились.

Обозные огрызались.

— Вались к корове на...

Шофер:

— Сворачивай!

Обозные:

— Сам сворачивай. Ты один, нас много.

Шарахнулись и понесли пугливые степные лошади... Опрокинулась походная кухня с горячим борщом, опрокинулась санитарная повозка — завопили выброшенные в грязь раненые.

Машина крутнула и покатила мимо дороги. Вдогонку — брань, проклятия и крики: «Стой! Стой!» Машина шла, прибавляя ход, кидая задними колесами ошметки грязи. Иван Чернояров обскакал машину и поставил коня поперек:

— Дави.

Шофер затормозил. Всадники окружили автомобиль.

— Кто такой? — спросил Чернояров человека в золотых очках.— Почему, в бога мать, давишь моих людей?

— Я — Арсланов, уполномоченный реввоенсовета армии. Что вам, товарищи, угодно? Мандат? Вот он... Я...

— А партизана Ивана Черноярва знаешь? — перебил его комбриг.

— Слышать слышал, а знать не имею чести.

— Куда гонишь?

— Это не ваше дело.

— Он в Астрахань с докладом поспешает, — засмеялись бойцы. — Пусти его, ему некогда.

— Не считаю нужным давать отчет всякому встречному. Какая часть? Кто у вас командир? Я буду жаловаться... Трогай! — приказал он шоферу.

Машина зарычала. Никто не сдвинулся с места.

— Прочь с дороги, стрелять буду, — в руке его блеснул никелированный браунинг.

— Ну, знай Черноярва! — И, потянувшись с седла, Иван шашкой снес уполномоченному голову. — Братва, грузи на машину сто пудов фуража!

Всадники взвыли от восторга.

Армия отступала в беспорядке. Части перемешались, оторвались от своих обозов, потеряли связь со штабами, отделами снабжения. Тщетны были попытки отдельных нерастерявшихся руководителей упорядочить движение — никто и никаких приказов больше не слушал. Лишь два кавалерийских полка и бригада Ивана Черноярва кое-как прикрывали отступление.

Конница генерала Покровского гналась по пятам.

Бригада Черноярва ввалилась в Кизляр ночью.

В городе горели дома, хлебные амбары, лабазы. На вокзальных путях горели эшелоны с военным добром, гулко рвались ящики с бомбами, из огня с воем летели осколки снарядов. В горящих вагонах трещали — будто кто полотно драл — цинки с патронами. По улицам ни пройти, ни проехать — обозы, орудийные запряжки, брички со скарбом, застрявшие в грязи броневые автомобили. Квартиры забиты ранеными, больными, отдыхающими.

Не хватало фуража, хлеба, воды.

Соломенные и камышовые крыши были раскрыты и стравлены. Перепавшие лошади грызли задки повозок, столбы и заборы, к которым были привязаны. Те, что прошли раньше, роспили колодцы. Кто следовал за ними, вычерпывали грязь из колодцев. Отступающим в хвосте армии не оставалось ничего.

В Кизлярском районе — реки вина, вина — разлитое море. Из погребов и подвалов выкатывали бочки: пили, лили, из колод вином поили лошадей. Голодные лошади быстро пьянели, бесились, натыкались на заборы, лезли в огонь. Горланящие люди

и пляшущие лошади брели в лужах вина. Пенистое вино плескалось в отблесках пьяного зарева.

За всадниками шли, хватаясь за стремяна, мирные жители.

— Господа товарищи... Тридцать бочек...

— Мало взяли. Тебя и самого давно бы собакам скормить надо было... Я видел, как искалеченный боец выпрашивал милостыню, вы жалели кусок хлеба и гнали его от своих домов.

— Одежонку позабирали...

— Брысь!

— Меня твой казак ударил.

— Казак? Ну, так получай еще от сотника! — И плетью через лоб.

— Бочонок меду...

Эскадронный Юхим Загора придержал коня и залился злобным хохотом:

— Хлопцы, а ну!

Всадники гикнули и напустились на жителей — гнали их по тротуарам, топтали конями, секли по глазам нагайками, лупцевали тупиями шашек. А в затылок, запрудив узкую улочку, валом валила — напирала лавина пехоты, кавалерии, обозов.

— Давай ходи, не задерживай!

— Лабинцы, подтянись!

— Вира! Полный ход!

Пьяно, вразнойой гремели оркестры.

По грязи, высоко задирая юбки, плясала сошедшая с ума сестра. Волосы ее были растрепаны, зубы оскалены, сбоку болталась походная сумка. С возу — из-под брезента — выглядывали раненые моряки и потешались:

— Гоп, кума, не журися... Гоп, гоп, гоп!

— Садись, прокатим!

— Как я сестру прижму к кресту и скажу: «Сестра, приглубь ради Христа».

— Ого-го-го-го... Черти непромыкаемые!

Идолго еще оглядывались на горящий город, махали шапками, стреляли вверх.

— Прощай, Кавказ!

— Прощайте, горы и леса!

— Вся Расея наша, ха-ха-ха!..

— Могила, гроб смоленый!

— Эх, расставайся душа с телом! Прощай белый свет и писаны лапти!

В суровые просторы зимней степи уходили — партия за партией, отряд за отрядом, полк за полком...

Бригада Черноярва спешила на базарной площади. Бойцы сдали коноводам коней и замитинговали.

— Нас продали! — орал уже успевший хлебнуть косоплечий

пулеметчик Чаганов.— Куда идем? На живодерню? Нас продали и пропили...

— Брось, Чаган,— унимал его дружок, Буцой.— Кто нас с тобой продал и кому? За нас с тобой пятака никто не даст.

— Измена!— кричал кто-то в другой кучке.— На фронте дрались наги и босы, а тут погорают целые вагоны с обмундировкой... На фронте не хватало снарядов и патронов, а тут их горы.

Голоса ропота.

— Амба.

— Все наши комиссары и командиры с чемоданами бегут и покидают нас.

— Один лозунг — спасай шкуру!

Чернояров протиснулся в самую гущу толпы и вспрыгнул на воз:

— Братва...

Голоса понемногу стихали, но еще долго там и сям недовольные урчали и, как поленьями, кидали матюками.

Говорил Чернояров:

— Братва, кругом измена! В нашем распоряжении только мы и дух наш! Но настанет час расплаты, и моя железная рука жестоко покарает всех трусов и предателей! Долой панику! Долой уныние! Будем биться до конца! А кто не хочет оставаться в бригаде — сдавай в обоз свою партизанскую совесть, коня, винтовку и уходи с глаз моих долой!.. Братва, отступаем на Астрахань. Путь наш будет тяжел. Четыреста верст дикой калмыцкой степи. Ни воды, ни фуража. Здесь устраиваем дневку. Запасайся, кто чем сумеет. Выбрасывай все барахло. В походе будет дорог каждый лишний клочок сена и каждая горсть овса. Сам буду осматривать кобуры и сумы. У кого найду хоть одну лишнюю тряпку — пощады не проси. Приказываю перековать коней на шипы. Приказываю проверить седловку, дышла, упряжь, сварку шин и клепку на повозках, чтоб ни один гвоздь не болтался. Обозу поднять пятьсот ведер вина. Здоровый будет получать по чарке вина на сутки, больной — по три. Береги коня. Завтра на рассвете выступаем. Митинг окончен. Без шума расходись по квартирам.

Всю ночь на полный ход работали кузницы.

На заре бригада снялась и, пропустив вперед обоз, двинулась в свой последний поход. Все три полка отступали в относительном порядке. Эскадроны шли, как того требует полевой устав, переменным аллюром. Самые бывалые время от времени спрыгивали с седла и шагали рядом с конем, держась за луку. Иные ехали на запряженных парами и тройками тачанках. За тачанками на привязи бежали подседланные кони. Фуражиры и разведчики в поисках сена отрыскивали в стороны от дороги и часто вместо сена привозили на крупе коня подобранного в степи большого партизана.

На рубеже калмыцких земель, на одном из последних хуторов, бригада остановилась на привал.

Чернояров сидел в хате перед открытым окном и посасывал трубку. Бойцы — кто спал, кто резался в карты: на кону ворохъ керенок, патроны, золото и серебро.

В стороне от хутора нижней дорогой проходила какая-то смешанная часть. На привязи за фазоном шла, танцуя, гнедая да статная, как с картинки, лошадь. Чернояров поднес к глазам бинокль и подозвал Шалима, что сидел невдалеке на разостланной шинели и подпилком зачищал на клинке зазубрины.

— Смотри, кунак... Вон, во-он играет гнедая! — Подмигнул. — Сыпь.

Привыкший к необузданному нраву своего друга и повелителя, адъютант молча отвязал от воротного столба кабардинца, вскочил в седло и собачьим наметом поскакал на нижнюю дорогу. Однако он скоро вернулся и доложил:

— Дербентский полк... Гнедая кобыла ходит под командыром полка Белецким.

Разбалованный войною и уже не имеющий силы сдерживать свой лютый нрав, партизанский вождь выдернул из коробки и положил перед собой на подоконник маузер.

— Сыпь, ахирят, и без кобылы не возвращайся... Застрелю. Ты знаешь, я в своем слове тверд.

Бойцы прекратили игру в карты и, пересмеиваясь, гадали, чем кончится командирская причуда.

Шалим крутнул головой, крикнул и, урезав плетью кабардинца, припустился догонять Дербентский полк, который уже миновал хутор и спускался в лощину.

Все смотрели ему вслед, пока он не скрылся из виду.

Не успел Чернояров докурить трубку, как по дороге за клубилась пыль... Шалим мчался во весь опор, держа в поводу вторую лошадь. За ним, крутя шашками и гикая, гнались конные.

— В ружье! — подал бригадный команду.

Бойцы похватили с воза карабины.

— По шапкам... залпом... пли!

Шалим влетел в хутор.

Те, что гнались за ним, остановились на пригорке, послушали свист низко летящих над головами пуль и, погрозив шашками, повернули обратно.

Чернояров выпрыгнул из окна.

— Люблю, кунак, за ухватку, — засмеялся он, перехватывая повод золотисто-гнедой, с темными подпалинами в пахах, кобылы. — Так и надо: коли силой не силен, будь напуском смел... А покупка, видать, добрая, — оглаживал он испуганную храпящую лошадь.

— Зарубыл, — угрюмо буркнул Шалим.

— Кого зарубил?

— Белецкого.

— Брешешь? — Бригадный внимательно посмотрел на кавказца. — Ну?

Шалим молча извлек из-под полы бурки порыжевшую от свежей крови шашку.

— Черт,— нахмурился Иван и шагнул к адъютанту.— Дурак. Тебя пошли богу молиться, а ты готов и церковь обокрасть.

— Она не даваль, она кричаль,— оправдывался кунак,— я его рубыл: так и так!..

— Дурак с замочкой,— повторил бригадный, но, глянув на добычу, сейчас же добавил.— Хотя... кобыла мне нужнее, а кобыла, видать, добрая.

Высоконогая, собранная, среднего веса, гибкая, как щука, она косила на своего нового хозяина нежным глазом, прядала лисьими ушками и, точно прося ходу, потряхивала сухой головкой.

— Как ее... звать?

— Торопылся, забыл спросить,— ухмыльнулся Шалим, оттирая клинок песком и суконкой.

— Назову ее Стрелой... Стрела... Стрелка...— Чернояров подтянул подпруги и, не ставя ноги в стремя, махнул в седло и поскакал в степь объезжать кобылу.

Затихал и Черный Рынок, пропуская остатки армии через свои разгромленные улицы, на которых были сожжены заборы, плетни, крылечки и дощаные настилы тротуаров.

На краю города в раскрытом хлеву сидели однополчане — Максим Кужель, Григоров и Яков Блинов. Перед ними — на разостланной шинели — ведро вина, коврига хлеба и несколько печеных в золе картошек. Отслужившие свою службу винтовки были отставлены в угол.

Пили молча.

Казачья шашка и офицерская пуля выстелили полк по ставропольским степям. При переправе через реку Калаус белые отбили обоз, в котором ехали жена и больная дочь Григорова, — он не знал, что стало с ними. Под станицей Наурской ночью напоролись на засаду и потеряли последние пулеметы и последнюю батарею. Остатки полка рассеялись по дорогам. Максим на ногах переболел испанкой и брюшным тифом. Блинова дважды контузило — перекошенное лицо его беспрерывно дергалось, левая нога загребала, руки не слушались и не могли сразу схватить со стола ложку или кусок хлеба.

— Конец, друзья, всему конец,— как бы про себя тихо вымолвил Григоров. Он неторопливо просматривал записную книжку и уничтожал лист за листом.

Все трое опять долго молчали.

Где-то, со стороны Кизляра, погромыхивали пушки.

— Ехать надо,— вздохнул Максим и задумался.— Как и на чем ехать будем?

— Куда поедешь?

— Куда все, туда и мы.

— Брось...

— А тут чего высидим?.. Чу, кадетские пушки бухают?.. Того и гляди нагрянут, гады... Думай, не думай, а умней того не выдумаешь — утекать надо.

Григоров измятым котелком зачерпнул вина, медленно отпил и, обсосав ус, храпнул, как усталая лошадь.

— Никуда не пойду... Свое сыграли... Баста.

— Баста... — тряхнул головой и Яков Блинов. — Всякую жизнь поглядели, умирать пора... Были у нас в руках хоромы и дворцы, да не довелось пожить в них... Не дают нам контрики в две ноздри дышать, загнали обратно в свиной хлев. Тут, верно, и помереть придется. — Он с тоской оглядел заляпаные говьями дырявые стены и невесело засмеялся: — Эх, ты, сивка моя бурка, не довезла солдата до райских садов. Выпьем...

Максим встал и сердито заговорил:

— От вас ли такое слышу, станишники?.. На войну с кадетами нас никто не гнал... Мы пошли по своей воле... Грудью, как это пишется в газетках, грудью вы встали за святое дело, не щадя ни жизни своей, ни хозяйства своего, ни семьи своей... Триста лет нас гнули, и отцов и дедов наших гнули...

— Брось, Максим Ларионыч... Я...

— Путь наш еще далек, — продолжал Максим, — а мы на полдороге начинаем спотыкаться и оглядываться назад... Кубань, Кубань... Да пропади она пропадом! По-старому-бывалому нам на ней не жить! За нами советская держава, сто или сколько там губерний... Только бы до Астрахани добраться, а там раздышимся и еще потягаемся с кадетами за райские сады, еще поедим золотых яблочков, еще вернемся на Кубань с музыкой, еще поплачут они от нас... А вы, головы, с большого ума чего надумали? Кадеты, с часу на час...

— Уж не мыслишь ли ты, Максим, что мы хотим к белым перебежать? — улыбнулся Григоров. — Нет, дружок... С кадетами нам одному богу не маливаться и одной соли не ёдывать.

— Ехать, ехать надо, — долбил свое Максим. — Лошаденка у нас хоть и плохонькая, а есть. В пути авось и другой разживемся.

— Никуда не поеду. Свое сыграл. Баста! — упрямо повторил Блинов и отвернулся.

Максим, волоча отекающие ноги, вышел.

Под навесом сарая дремала, уронив голову и распустив slutнявые губы, запряженная в двухколесную арбу буланая кобыленка.

— Но! — шлепнул ее Максим по крупу. — О грехах задумалась?.. — Сунул ей под морду горелую ржаную корку. — Набирайся паров, на тебя вся надежда.

В хлеву грохнул выстрел.

Максим кинулся туда.

На залитой вином шинели, грянувшись вниз лицом, лежал Яков Блинов. Правая разутая нога его еще дергалась, из затылка в стену тугой струей била кровь. Григоров сидел перед ним на корточках и, закусив бороду, глухо рыдал.

— Сам? — спросил Максим.

— Сам... Уговорились оба... Духу не хватает... И зачем пуля пощадила меня на фронте?

Максим потоптался немного и тронул Григорова за плечо.

— Едем.

— Куда ехать?

— Заладил свое, куда да куда... Вставай.

Под руки он поднял больного товарища и вывел из хлева.

Потом вернулся, вышарил в карманах у мертвого жестяную коробочку с махоркой, спички, поцеловал его в губы и, захватив пустое ведро и две винтовки, вышел сам.

— Ну, буланка, вывози.

Тронули улицей.

И сразу со всех сторон налетели попутчики. Оборванные, усталые и обозленные, они просили, стонали, ругались:

— Я не в силах идти, я погибаю...

— Братцы, посадите...

— Станица!.. Годок!.. Какими судьбами?..— Перед арбой стоял Васька Галаган. Голова его была обмотана грязной тряпкой, сквозь которую проступила и черной лепешкой запеклась кровь.— Здорово, сват,— небрежно кивнул он и Григорову.— Подвезете версту-другую?.. Мне только своих догнать.

— Вася!— обрадованно воскликнул Максим.— Какой разговор? Садись, друг.

Галаган вспрыгнул на арбу.

Остальные не отставали и на разные голоса тянули.

— И я... И меня... Не покиньте на погибель...

— Ходи мимо!— визверился моряк.— Лошадь, она не железная!

И еще Максим принял на арбу путавшегося в долгополом больничном халате мальчишку.

Уселись тесно, спина к спине.

— Откуда, сынок?

— Из лазарета, дяденька, убежал. Я здоровый, никого не заражу, ты меня не прогоняй... Я только измучился с дороги и от голоду... Во рту запеклось, покурить бы.

Моряк протянул ему расшитый цветными шелками, засаленный кисет с махоркой.

— Завертывай, салага. Табачок да вино, кипяченное со стручковым перцем, от тифа первое средство.— Он повернулся к Максиму и начал скороговоркой рассказывать: — Я сам больше месяца вылежал в пятигорском госпитале. Суют мне каких-то соленых порошков, а я их — за борт. «Врете, думаю, дорываетесь отравить морячка, но этот номер не пройдет». Под боком у

меня две четверти вина грелось. Я его и сосал помаленьку. Винцо меня и на ноги поставило. Топаю в комиссию. Комиссия признает меня негодным к дальнейшей службе. Главврач, такой на козла похожий, спрашивает: «Ваш чин, звание, должность?» — «Моряк первой статьи с дредноута «Свободная Россия» в недалеком прошлом, — отвечаю я, — и командир на все руки в настоящем и будущем». Улыбается главврач и говорит: «Вам, товарищ, необходимо отдохнуть». А я ему: «Катись ты к крокодилей матери, Все воюют, а я отдыхать буду? Ты меня увольняешь, но я остаюсь при своем славном отряде». Он мне ни слова. Лежу еще сколько-то дней, маракую, как бы дорожный аттестат забарабать... И снова топаю на комиссию. Доктора признают во мне возвратный тиф. «Мы вас, товарищ, переведем в заразный барак». — «Шалишь!» — кричу. «Я здоров!» — кричу. «Вы не врачи, а контры», — кричу. «Успокойтесь, товарищ, вам вредно волноваться. Вам нужен отдых». — «Не мне нужен отдых, кричу, хотите, чтоб я заразился и окошел, и сами без меня мечтаете отдохнуть? Ну нет, гады. Я еще проживу бесчисленно лет и долго не буду давать вам покою!» Они мне ни слова. С презрением поглядел я на них, закурил, сидора (мешок) на горб и — ходу.

— Отстал? — спросил Максим. — Где твой отряд?

Галаган рассказал о гибели отряда. Сам он последние месяцы не сидел сложа руки: был комендантом пороховых складов, возглавлял одну из уездных ЧК, гонял по Ставрополью бандитов, был начальником конной разведки Азовского полка.

Город давно пропал из виду.

Степь да степь кругом

ни кустика, ни деревца,

серые тяжелые пески.

Злой ветер гнал по степи сухую колючку и легкие шары перекати-поля: подпрыгивая и перегоняя друг друга, они неслись по дикому простору, массами скоплялись в низинах, подожженные, ярко пылали и указывали по ночам дорогу.

Наехали на схваченное льдом большое озеро.

— Море? — спросил мальчишка.

— Нет, хлопчик, это еще только шматки от моря. Само море-будет в сторону верст на тридцать.

Напились соленой с горчинкой воды, сдоблив ее сахаром.

Моряк отплевывался и ругался:

— От голоду-холоду отшутиться можно, а вот пить нечего — ложись и помирай. И как только тут люди живут? Это же не вода, а какая-то моча дамская. Тьфу, тьфу!..

— Так и живем, — подошел рыбак, — у нас в засушливые годы лягушки дохнут.

По берегу нагребли сухого камыша, метелками камыша покормили лошадь.

Рыбак рассказывал:

— На днях проходили тут ваши, многое множество. На Ла-

гань пробирались. Озеро, оно вон какое, обходить далеко. Сунулись напрямик по льду. С версту отползли от берега, лед треснул и разошелся. Трещину забили повозками, лошадьми, пошли дальше... Лед подломился и осел. Все, сколько там ни было, с обозами, с пушками, потопли. Я шапок наловил полную лодку. Война, война... И кто ее выдумал на наше горе? Тьма-тьмущая народу гибнет.

— Погоди, дядя, буржуев перебьем, и войне конец.

— Жди, пока черт сдохнет, а он еще и хворать не думал.

По выбитой корытом дороге в одиночку и кучками шли, падали. Иные, шатаясь, подымались; иные оставались лежать; иные в горячке уходили в сторону от дороги.

За бугром в затишке присел отдохнуть молодой партизан, да так и замерз. Во рту у него торчал окурочок. Ветер играл рыжим, выпущенным из-под кубанки чубом. Ноги замело песком.

Волы в упор тащили броневой автомобиль.

Валялась лошадь с выеденной волками требухой. Кто-то, спасаясь от холодного ветра, заполз в лошадиное брюхо; наружу торчали два костыля и одна нога в худом чоботе.

Брела молодая женщина с грудным ребенком на руках. Слезы размывали грязь на ее раскрасневшихся щеках. Из кармана бекешки торчала бутылка с молоком. Впереди, разбрыливая песок тяжелыми сапогами, шагал муж в малиновых штанах. Лицо его было накалено тифозным жаром, гноящиеся глаза не глядели. Нет-нет да и обернется и заорет: «Рассупонилась, тварь поганая!» И женщина зальется еще пуще. Ребенок уже не плакал, а только сипел.

Максим бодрил лошаденку хворостиной, но та ровно не слышала и, помахивая жиденьким хвостом, еле тащилась, заплетая ногу за ногу.

Тянулись руки, исхудавшие до того, что кожа казалась присохшей к мослам, и руки, отекавшие до остекленения, в тифозной шелухе и язвах, многие руки тянулись и цеплялись за наклески арбы.

— Подвези.

— Куда же я тебя, бедолага, посажу?

— Как-нибудь... Ноги меня не держат... Посочувствуй...

— Жаль, друг, тебя, да жаль и себя.

— Ну, ладно, мы не сядем... Пойдем рядом... Будем только держаться...

Под курганом в головах издыхающего коня сидел, кутаясь в бурку, кавказец. Из-под сшитой из целого барана папахи его голодные глаза горели, как угли.

— Чего сидишь? — окликнул кто-то тихим голосом.

— Смерть ждем, — так же тихо ответил он.

— Айда с нами.

— Гуляй адын.

— Продай,— потянул с него боец бурку,— тебе все равно умирать.

— Китыгис, кабан!.. Я тебе сделаю зубы наружу! — И кавказец взмахнул наганом.

Прошли.

Песок расплзлся под ногою, лошади вязли в песке по щетку.

В ложине застряла батарея. Артиллеристы выпрягли шатавшихся от изнурения, взмыленных битюгов, сыпнули в дуло каждого орудия по пригоршне песку и дали последний залп. Пушки дернулись и, изуродованные, свалились с лафетов. Батарейцы шапками отерли вспотевшие лица, закурили и, ведя в поводу битюгов, пошли вместе со всеми.

Два пулеметчика попеременно волочили за собой пулемет. Выбившись из сил, с раскрытыми ртами и глазами, налитыми кровью, они остановились, перекинулись коротким словом и принялись зарывать пулемет. На мерзлом песке сделали неприемные для чужого глаза хитрые отметины: они еще не теряли надежды вернуться!

В малиновых штанах отошел с дороги немного в сторону, перекрестился и пулей зачеркнул свою жизнь. Жена упала на него, забилась, закричала на крик:

— Феденька!.. Федя... Федя...

Ее темный вой доставал до каждого сердца, но всяк, кто ни проходил, отвертывался, чтоб не видеть такого... Никто и ничем не мог ей помочь... Но вот, шатаясь от усталости, подошел молодой боец и молча взял ребенка на руки. Женщина сняла с себя крест, накинула его на шею мужу и, плача с привизгом, полплелась за человеком, который понес ее ребенка. Долго она оглядывалась, останавливалась, как бы намереваясь повернуть назад.

Висел дождь, пахло мокрым песком.

Максим объехал распряженную повозку с больными. Они стонали и наказывали всем идущим и едущим мимо:

— Обозник обрубил постромки и ускакал верхом... Жеребец серый в яблоках, хвост коротко острижен, левое ухо резано, тавро глаголем. Обозник в плисовой бабьей жакетке, кривой на левый глаз. Где увидите — пристрелите.

— Не догонишь... Он поди-ка уже в Астрахани чаек с кренделями попивает.

Ковылял, припадая на ногу, китаец. По груди крест-накрест пулеметные ленты, на ремне через плечо ящик с полевым телефоном, в руках по винтовке, под мышками зажато по пучку соломы. За ним, не спуская с соломы налитых тоскою глаз, как тени, качались и брели, заплетая нога за ногу, брошенные хозьявами две худюющие клячи. Как ни горько было бойцам, но многие рассмеялись.

— Покурим.

— Моя посола Астлакань, — оскалил он в улыбке гнилые зубы и прошел, не останавливаясь.

— Этот и до Сибири дойдет.

— Они живущие... Вчера на стану один такой же совсем кончался, а капнул я ему на язык три капли вина, у него глаза заблестели, встряхнулся: «Полоссай, товалиса», — только его и видали.

Пала ночь, забушевала темень, да такая, что и хвоста лошадиного невозможно было разглядеть. Ледяными струями потянул ветер, заковывая все в ледяную корку. А там хватила и, подобно снежному потоку, хлынула, закрутила метель.

Завыла, заметалась степь.

— Беда, — сказал Максим, — пропадем.

— Волчья ночка, — гнулся моряк, с головой укрываясь шинелью. Зубы его стучали, как пулемет. — Сам себя не видишь.

Наткнулись на целый лазарет. Лошади подошли в хомутах. На тачанках стонали, ругались, призывали бога и кляли его.

Мальчишка начал бредить. Он хватал Максима за руки и бормотал:

— Дяденька, у меня головной тиф... Дяденька, я умираю... жарко... Будто я — самовар, и в меня ровно кто горячих углей насыпал... Гони! Гони! Там за горой наша станица... Бабушка меня ждет, Федосья Кудрина. Капельку водички... жарко... Дяденька, кадеты! Вон, вон кадеты бегут... Белые флаги вьются... Стреляй! Дай винтовку! Гони скорее! — Он метался и захлебывался слезами.

Арбу мотало на ямах, арба дергалась, как в судороге.

— Гони!

— Тише, Максимушка, — просил Григоров. — Ох, ох, больно. Все нутро из меня выворачивает... Укрой меня, я замерзаю.

Максим набросил на Григорова свою шинель, а сам прыгнул и зашагал рядом. Ноги его после тифа опухли и не лезли в ботинки. В пути он раздобыл валенки, но и в валенках было не лучше — то они мокрые, то обмерзнут, как колотушки.

— Волчья ночка... А ветер, ветер, того гляди, штаны сорвет... Это не игра. Не отстояться ли нам? — спросил Галаган.

— Остановимся — пропадем, — отозвался Максим. — Хоть и потихоньку, а ехать надо.

По мерзлой дороге скреблись лошади, скрипели колеса. В темноте хриплые голоса нокали.

— Кто идет?

— Темрючане.

— Братцы, — взмолился Максим, — давайте держаться вместе. Все как-то веселее.

— Погоняй, земляк, не отставай... Нас чумак ведет, сорок годов с промыслов рыбу возил, все дороги наизусть знает... На Эркентеневский улус трафим.

— И далече до него?

— К утру, гляди, довалимся... Только бы коняшки сдюжили.

Мальчишка спустил с плеча халат и, раздирая на себе гимнастерку, кидался:

— Жарко... Кожа на мне лопается... Дяденька, у меня ноги отваливаются... Одна уже, кажется, оторвалась?... Слышишь, под землей конница скачет? Темно? Страшно! Аа! А! А! Горим! Горим! Пить хочу. Дай глоток воды, один глоток. Позовите взводного, я ему все расскажу...

— Фу ты, гнида, какой беспокойный, все бока протолкал, — ворчал моряк, прижимаясь к нему, чтобы согреться.

Максим не чуял под собой окоченевших ног, голову разламывало, каждая жила в нем стонала, но — с мужеством бывалого солдата — он крепился и все время что-нибудь делал: то оберет с лошадиной морды сосульки, то седелку оправит, сунет мальцу в горячий рот кусочек льду, приглядывал за Григоровым.

К утру парнишка затих. Отгоревшее лицо его посерело. Закушенный и покрытый белым налетом язык торчал на сторону. На синие веки опускались снежинки и не таяли.

— Испекся, — сказал моряк. — Столкнуть, а то только мешает.

Он сунул мертвого и с облегчением вытянул на освобожденное место занемевшие ноги.

Мутный рассвет

нагая степь

ехали по еле набитому проселку.

— Где же улус?

— Леший его знает... Похоже, в сторону упорол.

— А чумак?

— Ночью сбежал... И мешок с хлебом прихватил, чтобы ему, кобелю старому, подавиться нашими крохами.

Вьюга-подируха из-под снега драла песок. Снег поверху зачернел. Перебитый со снегом, скипевшийся мерзлый песок забивал уши, нос, рот. Песок скрипел на зубах, резал глаза и, казалось, пересыпался в пустых кишках.

Нежданно наехали на одинокую кибитку. Укрытая ото всех ветров, она стояла в седле меж двух курганов. Лошади, раздувая ноздри на кизячий дым, жадно заржали и прибавили шагу.

Не дошли сотню шагов

из кибитки выскочил распоясанный и без шапки, прыгнул в водомоину, высунул дуло винтовки и — давай смолить.

— Е! Ей! — закричали. — Одурел! Свои!

Повалилась на бок шедшая в голове соловая кобыла. Пуля клюнула в плечо одного из темрючан.

Моряк турманом слетел с арбы.

— Что за дело, сучье вымя, и тут война...

За ноги Максим сдернул с арбы спящего Григорова.

Залегли и другие.

Тах-тах-тах...

— Палит, сукин сын.
— Может, кадеты?
— Взяться им неоткуда... Похоже — один.
— Один-то один, да завалился в яму и пулей его не возьмешь.
— Окружим, — предложил молодой темрючанин, — подползем со всех сторон и на «ура».

— Эка, будем kota за хвост тянуть. Я его, лярву, в два счета пришью, я ему... — Галаган вскочил и, пригнувшись, в припрыжку ринулся вперед.

Когда подбежали и другие, моряк уже сидел на стрелке верхом, левой рукой душил его, а правой хлестал по рылу и приговаривал:

— Гад... Курва... Вредный... На своих руку поднял?.. Дракон... Мурло... Ехидна... Обломок Иуды... Чертов луп! — и какими, какими только словами не поносил его морячок...

Бросились в кибитку. В кибитке на овчинах бредила в тифу старая калмычка. Больше никого кругом не было. Тогда подступили к стрелку. Галаган поднял его с земли за шиворот и поставил пред свои грозные очи:

— Рассказывай, что ты есть за человек?

— Не мучь, братишка, — заплакал тот, отирая рукавом кровь с подбородка. — Стреляй скорее, стреляй Христа ради и не мучь...

— Садись и рассказывай. — Галаган выдернул из-за пояса кольт и взвел курок. — Рассказывай чистую правду. За первое фальшивое слово съешь пулю.

Все уселись у входа в кибитку.

Запущими от кровоподтеков глазами он глядел на своих вчерашних соратников, как хорек, схваченный капканом, и, еле шевеля разбитыми губами, тихо повествовал:

— Я Царегородцев, Пашковской станицы, 1-го Кубанского полка... Наш эскадрон вышел к морю, на Лагань. Оттуда лежит тракт до самого Астраханя. Стали переплываться через лиман. И подуи на нашу беду с берега отдёрный ветер. Лыдину оторвало и закачалось, понесло всех нас в море. Кто плачет, кто со злости смеется, кто, понадеявшись на коня, бросается вплавь. Многие потонули, но мы с товарищем Бондаренком — Гончаровского хутора казачок — выплыли на берег. Вот покинули обмерзших коней и сами, чтобы хоть немного согреться, бегом ударились в степь. Дело ночное, следу не видно. «Ветер, говорю, должен дуть нам в левую скулу». А товарищ успоряет: «В правую». Сколько-то дней плутали, голодные, без курева, спички размокли, и ни одна не загорелась. Набрели на поселок, где не нашли ни куска хлеба и ни одного живого. В хатах лежали мертвые, по улице валялись мертвые, и меж ними шныряли собаки. Обморозил я ноги, кожа на ногах начала лупиться, загнили пальцы. Товарищ нес мой вещевой мешок и мою винтовку. Подстрелили барсука и сожрали его сырым. Поднялась у меня в брюхе паника, валюсь на песок и говорю: «Я умираю». Товарищ перевернул

меня на спину и давай мять мне брюхо кулаками и коленками. Меня в испарину кинуло, силы немного прибавилось. Не так здоров, но встал и могу на ногах шататься. Пошли. Идем полегоньку. Потом наткнулись на эту кибитку. У них было три барана и немного муки. «Мы слабые, — говорю я, — они нас ночью заколют, да и харчей на всех надолго не хватит, давай их убьем». Бондаренко отвечает: «У меня рука не поднимется, они перед нами ни в чем не виноваты. Отец мой, такой же старичок, остался на Кубани, может быть, и его уже кто-нибудь решает жизни». — «Раз, говорю, у тебя сердце мягкое, отойди на минутку...» Он, хотя и с неохотой, отошел и отвернулся. Обнажаю наган и стреляю старого калмыка, стреляю дите, еще дите и еще одного черномазого — шустрый такой: двумя пулями его пробил, а он знай визжит, за наган хватается и ноги мне целует. Свалил и этого, а старуху оставил: хоть перед смертью, думаю, справлю отскользнуть. Она была еще здоровая и горячая, пар от нее отскакивал... Живем день, живем неделю, живем хорошо, как цыгане. Наедемся лапши с бараниной, спать завалимся, выспимся, калымку я понасильничая, снова лапшу завариваем и опять на бок. Товарищ мой совсем поправился и все долбит: «Пойдем да пойдем». У меня ноги разнесло, босиком далеко не уйдешь, а сапоги не лезут. Старуха по ночам донимала: сядет на могилку, где мы их закопали, и воет, да как, стерва, воет — волос на тебе медведем подымается. Гонял я ее, бил, а она, как ночь, опять за свое...

Он помолчал и досказал:

— Вот вижу, мука кончается, баранины одна тушка остается, и пала мне на сердце злая думка... Покинет меня товарищ и баранину упрет. Стал я следить за ним. Выйдет он на курган и все дороги рассматривает. Ну, мы с ним поругались... Он лег спать, ничего не думал... Ну, я его ночью... того. Остался я один и стал жить с калымкой, как с женой...

— Вопрос ясен, — прервал его Галаган. — Чего же ты, друг ситный, в нас палил?

— Испугался... Я, братишечка...

— Ага, испугался, что твою баранину съедим?.. Ну, миляга, пойдем, получай награду, какую заслужил, — пинком Галаган поднял его с земли, отвел немного в сторону и свалил.

Переждали, пока стихла вьюга, и снова двинулись в путь-дорогу.

Выбрались на большак.

У темрючан лошади были поживее, и они угнали вперед. Максим, Галаган и Григоров опять остались втроем. Лошаденка останавливалась все чаще и чаще.

— Но, удалая, вывози.

Удалая помоталась еще немного и — на бок. Ее подняли. Буланка шагнула раз, шагнула два и опять упала: предсмертная дрожь пробежала по ее истертой шкуре, как рябь по тихой воде.

— Скотина дохнет, человек жив. Чудеса твои, Христе-боже наш!.. — горько засмеялся Галаган и потянул с арбы карабин и вещевой мешок.

Максим тесаком расщепал оглобли, раздергал арбу по доске и разложил костер. Кое-как они переспали на теплой золе, утром пососали снегу и пошли дальше.

По дороге и на обе стороны от дороги валялись полусасыпанные песком грязные портянки, поломанные колеса, разбитые кухни и повозки, брошенные седла, скорченные фигуры людей.

Григоров еле переставлял ноги.

— Вот и мы скоро так же...

— Мужайся, друг, — подбадривал его Максим. Он и сам чуть шел, но унылого вида не показывал.

Не падал духом и Галаган. Чтобы отвлечь спутников от смертных мыслей, он всю дорогу рассказывал что-нибудь потешное.

Подобрали брошенную кем-то косматую кабардинскую бурку, — поставленная на подол торчмя, такая бурка стоит как лубяная, — но в нее столько набило мерзлого песку, что тащить было не под силу, и они ее оставили.

Татарская деревня Алабуга догорала на кострах. Дома и мазанки, сараи и летние дощаные бараки были растащены. На кострах пылали вершковые половицы, полотнища ворот, крашеная резьба оконных наличников, камышовые снопы. Вокруг костров сидели томные, полумертвые... Выжаривали вшей из рубах, пекли в золе лепешки, в вине варили маханину. В хомутах и под седлами дремали голодные лошади. Лежа, вытянув по земле шею, дремали верблюды — нежные пятки их были ободраны до мослов, горбы обвисли, на скорбных глазах намерзали слезы по голубиному яйцу.

Подшли трое, поздоровались. У огня раздвинулись и дали им место.

— Земляки, нет ли испить? — хрипло спросил Григоров.

— Сами двое суток не пили.

Один выхватил из кипящего ведра большой кусок мяса и ковырнул его черным пальцем.

— Похоже, готово.

— Давай дели, — загалдели кругом. — Горячо сыро не живет. Бывало, трескали свинину, а ныне довоевались — не хватает и конины.

— Оно по первому разу вроде душа не принимает, — сказал стоявший в свете огня огромного роста человек, на плечи которого, как поповская риза, был накинута и стянута на груди сырым ремнем персидский ковер. — Намедни попробовал жеребенка и все боялся, как бы он у меня в брюхе не заржал да лягаться бы не начал, а сейчас хоть кобылу давай — съем.

— После тифу, братцы, так-то ли на еду манит!.. Не то кобылу, хомут с гужами слопать готов.

— Да, разбираться не приходится, ешь, что зуб возьмет...

Все набросились на маханину.

Из темноты на огонек выходили все новые и новые, один страшнее другого.

При дороге стояла старуха татарка с торбой на плече. Она кланялась и оделяла проходящих кусочками черствого хлеба.

— Прощевай, дядьки, — поднялся Галаган. — Потопаю. Увидите своих, кланяйтесь нашим, — пошутил он напоследок.

— Куда ты, Вася, на ночь глядя, пойдешь?

— Спешу, спешу к цветку любви! — пропел он разбитым тенорком, прилаживая на загорбок мешок. — В Астрахани меня девочка дожидается: юбочка гармонью, кружевной лифчик, и-их! Душа.окаянная... А, глядишь, подфартит, и своих азовцев догоню... А ночь для меня — тьфу! Мне лиха беда полы за пояс заткнуть, а там как затопаю, только пыль за мной завьется! — Он пожал станичникам лапы и, ворота нос от ветру, бодро зашагал в ночную темень.

Ночевали Максим с Григоровым в яме, в которую ссыпают рыбу на засол. Шинель постлали, шинелью укрылись. Всю ночь воевала вьюга, лепил мокрый снег. Ночью Григоров умер и окоченел. Максим проснулся, охваченный мертвыми руками, как обручем: С трудом он освободился из объятий мертвеца, вылез из ямы, немного всплакнул о товарище и — довольно.

Спустя еще два дня Максим довалился до села Оленичева и решил тут отдохнуть — ноги не несли его дальше. На улицах чаны с водой. Около них грудились обозы, вповалку лежали люди и лошади. У помещения этапного коменданта гудела огромная толпа. Раздатчики из распахнутых окон выдавали по неполному котелку пшеницы на едока и по осьмушке махорки на четверых. Калмыки — мобилизованные санитарным врачом — шайками разъезжали по улицам, собирали мертвых на скрипучие арбы и свозили за село в ямы, в ямы валили великое урево мертвяков, заливая их известкой и присыпая песком. На одном дворе китайцы варили в банном котле верблюжью голову. Вокруг них похаживал хозяин того двора и ругался:

— И откуда вас прбрвало, хари неумытые?.. День и ночь, день и ночь идут и идут... Всю душу вытрясли, в разор разорили.

— Мы не на прогулке, — с укором сказал ему Максим, — не по своей воле идем, горе нас гонит. Погоди, может, и вам, астраханцам, придется хлебнуть горячего до слез.

— Друг ты мой, стога сена пять лет стояли непочатые, аж землей их взяло, все думал — вот-вот, вот-вот. А тут вас, как из трубы, понесло — стравили, сожгли все до последней сенины. И спрашивать не с кого. Каково это крестьянскому сердцу?.. Вешай хоть такой замок, хоть такой... Как хмылом все берет. И когда вы провалитесь?

— Хлеба или чего такого не продашь? — перебил Максим чernoречье хозяина.

— Где возьму? — Показал из-за пазухи краюшку: — Вот кусок, сплю на нем, все мое богатство.

— Продай.

— А сам чего кусать стану?

— Сам-то ты дома.— Он отдал хозяину свои наградные серебряные часы и, забрав краюшку, пошел в хату.

Хата была набита людьми.

Лежали по полу, под лавками, на лавках, на столе. Стонали, бредили. Гнили обмороженные руки и ноги — духота, зараза. Максим пожевал хлебца и прилег, задремал: голова на пороге, а все остальное на дворе; голове жарко, а ноги начали замерзать.

— Товарищи, пропусти.

— Иди по мне,— простонал один,— только дай покой.

Ступая по людям, Максим прошел вперед. Некуда было не то что лечь, но и присесть.

Он забрался в русскую печь, где и переспал.

Утром вылез весь в саже и золе. Дух спирало от вони гниющего мяса. Стены покачнулись перед глазами Максима, и он упал. Потом очнулся и, собрав последние силы, пополз к выходу.

В хату заглянул, как вестник смерти, калмык. Он улыбнулся жалкой, заморенной улыбкой и спросил.

— Дохла нету?

Застонали, заругались:

— Уйди, стерва... Уйди, гад... Мы еще живы!

Принялись кидать в него чем попало. Калмык зацепил багром мертвого, что лежал около самого порога, и уволок его.

Не до отдыха было, зашагал Максим дальше.

В открытой степи он наткнулся на умирающего кума Миколу. Обняв объемистый мешок, тот сидел при дороге. Голова его поверх шапки была обмотана штанами. Сам он был закутан в лоскутное ватное одеяло, подпоясан свитой в жгут портянкой. Максим подошел и окликнул его. Кум Микола не поднял головы.

— Николай Петрович, ты меня узнаешь? — присел Максим перед ним на корточки.

Тот долго вглядывался в него набухшими от дурной крови, потухающими глазами и еле слышно выговорил:

— Нет... не узнаю...

— Я — Кужель...

— А-а-а,— равнодушно протянул умирающий,— помню.

— Нет ли у тебя хлебца?

— А-а... Есть, есть, вот бери.

Максим — в мешок. В мешке — сапожный товар, моток бикфордова шнура, три пары новых ботинок, пачка граммофонных пластинок, голова сахару, ременные гужи, какие-то веревочки, пара дверных петель, набор хирургических инструментов и на самом дне с пригоршню хлебных крошек и несколько окаменевших коржики...

— Максим Ларионыч... Христа ради... Станица... Чубарые волю... Баба моя... И все семейство мое...—начал было кум Никола, но— последние удары кашля, хрип, всхлип и — готов. Максим закрыл ему полные слез остановившиеся глаза.

На полпути к Астрахани, в селе Яндыках, стояли части 12-й армии. Члены фронтового реввоенсовета непрерывно заседали, сочиняли воззвания и приказы.

Начальник штаба, человек военной выправки и строгих, рассчитанных движений, постукивая в такт своим словам карандашом, заканчивал очередной доклад:

— Партизанщина изжила себя. Невежественные и какие-то сказочные атаманы, не имеющие элементарных познаний в военном деле, в сегодняшних условиях не только неприемлемы, но и вредны.

— Че-пу-ха!..— выкрикнул Муртазалиев из угла комнаты, где он полулежал с компрессом на голове в раскидном плетеном кресле.

Начальник штаба дернул плечом и продолжал:

— Опыт Кубани и Северного Кавказа как нельзя лучше доказывает правильность этого положения. Полтораста — двести тысяч партизан не смогли справиться с Деникиным, и ныне освободившиеся офицерские дивизии из-за спины донцов широким фронтом выходят на Воронеж, Екатеринослав, Киев. Перед нами сильный враг, и мы должны выставить против него дисциплинированную армию под руководством кадровых, опытных офицеров, готовых честно служить советской власти... Этого категорически требует и Москва.— Он извлек из папки с бумагами мелко исписанный лиловыми чернилами проект приказа и принялся читать: — Предлагаю: реввоенсовет одиннадцатой Северокавказской армии, как фактически уже не существующей, упразднить, войска одиннадцатой армии, по мере вступления их в наш укрепленный район, вливать в состав двенадцатой армии; лицам командного состава, политработникам и заградительным отрядам вменить в обязанность немедленно прекратить бегство кубанцев — больных разоружать на месте, здоровых возвращать на фронт. Нам, по многим соображениям, совершенно необходимо отстоять район Кизляра; из остатков одиннадцатой армии предлагаю сформировать две дивизии — стрелковую и кавалерийскую, каждую в девять полков: кавалерийской бригаде Черноярова — три полка, — как наиболее боеспособной, расквартироваться в селении Промысловском, перебраться низший командный состав, изъяв преступные элементы, и один полк вернуть на Лагань, другому занять Оленичево и третьему двинуться по реке Куме к Величавой в направлении Святого Креста для разведки. Самого Черноярова необходимо немедленно оторвать от бригады и предать военно-полевому суду. Довольно

тюткаться с атаманами, пора показать им твердую руку. К тому же этого категорически требует и Москва... Я кончил.

Член реввоенсовета Муртазалиев поднялся, задрал ус и с азартом заговорил:

— Большевики сто лет кричали: «Рабочий, рабочий, ты чурбан с глазами. Сперва стань культурным, а потом делай революцию». Но русский рабочий класс не послушал меньшевистских ученых котлов, смело шагнул к историческому рубежу и захватил власть. На ходу перестраиваясь и постигая мудреные науки, пролетариат ведет и выведет страну на широкий путь социализма и мировой революции... Мы сами знаем, чего требует Москва, но...

— Плише к телу,— прервал его толстый Бредис, — нас не интересуют лекции, нас интересуют война.

И начальник штаба заерзал на стуле:

— Господа, спешу оговориться, в мои планы не входило давать оценку программы той или иной политической партии. Да, кстати сказать, в политике я плохо разбираюсь и, признаться, недолюбливаю ее. Я сделал доклад строго военного характера.

— Партизаны,— продолжал Муртазалиев,— и партизанские командиры порождены революцией. Кто видит в них только отрицательные качества, тот никуда не годный революционер... Нельзя забывать, дорогие товарищи, и своеобразия обстановки. Правда, в центральных губерниях Красная Армия уже переболела митинговщиной, но на Северном Кавказе партизаны являются самой надежной опорой советской власти. Кровью они доказали свою преданность революции. Целый год они приковывали к себе главные силы белогвардейщины, дав нам возможность расправиться с Доном, Уралом и Украиной. Лишь в двух городах противника — Екатеринодаре и Новороссийске — в лазаретах лежит тридцать тысяч раненых белых, а сколько их осталось на полях, того никто не считал. Я не собираюсь защищать Черноярва. За свершенные преступления он должен понести кару. Но Черноярва — вождь. Бойцы его любят. Один нетактичный шаг с нашей стороны — и прольется ненужная кровь. Трусливый, колеблющийся, негодный элемент отсеялся. Сюда докатилась волна отборного человеческого материала. Мы не можем такими кусками швыряться. Пусть партизана в город, соскрести с него вшей, вымыть в бане, накормить, одеть, дать короткий отдых, и он опять поскачет на коне хоть в Индию или под Париж. Разоружать же и останавливать большую и голодную армию в песках, обрекать ее на верную гибель я считаю преступлением перед революцией!

Несколько минут все молчали. Потом к Муртазалиеву подошел и заговорил член реввоенсовета Гаврилов:

— Ты, Шалико, во многом прав, и тем не менее я согласен с начальником штаба. Всех кубанцев в город пускать не сле-

дует. И без того тиф бушует и косит направо и налево. Астраханский гарнизон ненадежен, обыватель озлоблен, шумят матросы, волнуются пристанские рабочие. Эсеры и офицеры вовсю используют недовольство и готовят восстание.

— Тут-то и нужны будут кубанцы,— воскликнул Муртазалиев.— Они подавят всякое восстание против советов! Как вы этого не понимаете?

— Обстановка слишком сложна. Еще неизвестно, на чью сторону встанут распаленные неудачами кубанцы... Город — наша база, и мы должны сохранить его за собой во что бы то ни стало. Отсюда будем готовить удар на Урал и Кавказ. Нам до зарезу нужна нефть, нужен бензин. В городе шесть аэропланов, и ни один не летает — нет горючего. Бездействует флотилия. Останавливаются фабрики. Замирает железная дорога. Без горючего республика задохнется...

Подошел и Бредис:

— Партизаны — это воевать понемножку и кричать помножку — никута не котится. Я много думаль и, учитывая все то самоко мелоча, коворю: тисциплина, тисциплина, тисциплина, и к весне мы покончим с Теникиным и с тругими сволочь...

— Совершенно верно,— поддержал его начальник штаба.— Армия может стать боеспособной исключительно при условии, если путем каких угодно жертв мы приведем железную дисциплину. Чернояровы не столько занимались борьбой с противником, сколько междоусобными потасовками и грабежом. Паче чаяния, Чернояров не подчинится приказу — предлагаю, в интересах укрепления престижа реввоенсовета, расправиться с ним силою оружия.

Муртазалиев сорвал с гвоздя шинель и папаху:

— Поеду к Черноярову и переговорю с ним. Необходимо принять все меры к тому, чтобы сохранить для революции если не его, то хотя бойцов, идущих за ним.

Предложенный начальником штаба приказ был принят единогласно при одном воздержавшемся.

Весть о разоружении ослепила армию.

В хатах

по дорогам

у костров

замитинговали.

Партия, к которой пристал Максим, при выходе из села, наткнулась на заставу.

— Товарищи, сдавай оружие!

— Разевай пасть шире... Мы вырвались из зубов самой смерти, а вы тут так-то нас встречаете?

Комиссар заставы показал приказ:

— Читали?

Закачались, зашумели:

— Мы измучены и истерзаны...

— Ты нам не давал оружия, ты его и не получишь.

— Прочь с дороги!

Комиссар поднял руку:

— Товарищи, успокойтесь. Вы солдаты революции и должны сознавать, что приказам советской власти надо подчиняться. Здоровые, разойдитесь по квартирам. Больным тоже не советую идти, в дороге померзнете и пропадете. Из Астрахани высланы подводы, и за самый короткий срок все больные будут подобраны, переброшены в город и размещены по лазаретам.

— Ты нас не жалеешь!.. Мы сами себя пожалеем!.. Дай дорогу, не то отвоедаешь костыля!

— Не грози, приятель. Я такой же, как и ты.

Вперед выступил седой старик. Одет он был в рогожный куль, подпоясан ружейным погоном. Его рыжая шапка-кубанка по нижнему краю была сера от вшей, вши путались в косматых бровях, ползали по искусанному до рябин лицу, рукою он обирал вшей с лица и мигал воспаленными глазами.

— Бойтесь, как бы мы не напустили вам в город заразу?.. А мы — не люди? Нас тифозная вошь не иссосала?.. Ты сыт, а я голоден и изломан, — взвизгнул он. — На тебе новая шинель, а на мне кулек, на котором дыр больше, чем мочалы...

Комиссар сбросил с себя шинель:

— Надевай!

— Зачем мне твоя шкура? — затрясся старик. — Ты мне полсотни овец отдай, восемь пар волов отдай, коней отдай, дочку отдай, которую замучили кадетские офицеры. Двух сынов отдай, руку отдай! — И он взмахнул из-под кулька пустым рукавом.

— Товарищи, довольно шуметь! — возвысил комиссар голос. — Приказ... Оружие...

— Оружие?.. Получай от меня от первого, — сурово сказал старик, и не успев никто и ахнуть, как он выдернул из-за пояса бомбу и бросил ее комиссару под ноги.

Взлетел снап огня. Комиссар остался лежать на месте, застава разбежалась.

Бригада Ивана Черноярова отдыхала в селе Промысловке.

Сам Чернояров умирал... Из почерневшего рта его с хрипом вырывалось горячее дыхание, ходуном ходила забрызганная синеватой тифозной сыпью и расчесанная до крови костлявая грудь. У постели третьи сутки бесменно дежурили доктор и верный Шалим. В сенцах и на крыльце, переговариваясь вполголоса, толклись старые соратники, и всякий раз, когда адъютант выбегал во двор, они окружали его:

— Браток, как оно?

— Дишит мало-мало... Говорит: «Ох, ох». Сапсем палахой дела...

— За доктором поглядывай...

— Яры, яры...

Дом был разрушен, окна заткнуты соломой и подушками. В комнате не было ни одного стула. Доктор присаживался на подоконник, и голова его, будто неживая, падала на грудь.

Шалим подбегал на носках и шипел:

— Спышь, ишак?.. Я тебе посплю.

— Чего вы от меня хотите? — раздраженно спрашивал доктор, раздирая слипающиеся, будто медом намазанные веки. — Камфару вспырснул, температуру измерял...

— Еще меряй! — совал наганом в ребра. — Все время меряй. Умрет он, вся бригада с горя умрет. Из него душа — и из тебя душа.

Доктор подходил к больному, менял лед на голове, щупал пульс, ставил термометр, и синяя жилка ртути быстро взлетала до сорока сдесятыми... Этому благообразному старичку, вывезенному откуда-то с кавказского курорта, Шалим не доверял, зорко следил за всеми его движениями и заставлял самого пробовать лекарства, прежде чем давать их больному.

— Скажи, умрет? — шепотом спрашивал он в сотый раз.

— Я не бог. Долго ли вы будете меня мучить?.. От усталости я сам умру раньше вас...

— Пачему глаза закрываешь? Гавари и гляди.

— Пульс сто восемьдесят... Температура... Ннда... — И доктор моментально начинал храпеть с пристомом, пуская пузыри.

Шалим спичкой поджигал ему волосы на голове и шипел:

— Слышь?.. Он умрет, и я умру! Он умрет, и тебя убью! Адын раз тебя, ишака, мало убить, десять раз тебя убью!

Наконец болезнь сломилась и пошла на убыль.

Бригада возликовала: день и ночь в полках гремели гармошки, пляска и песня. Подвыпившие бойцы заходили к любимому командиру, и всем он говорил одно:

— Хлопцы, готовься к походу...

Из Яндык ординарец привез приказ реввоенсовета о разоружении бригады. Чернояров усмехнулся и отдал листок приказа Шалиму:

— Иди, подотрись.

Когда приехал Муртазалиев, Чернояров был уже на ногах. Они познакомились.

— За моей головой приехал? — спросил Чернояров.

— Ты почему не подчиняешься приказам?

— Я не подчинялся и не буду подчиняться царским шкурам, которые засели в ваших штабах. Повернуть армию назад? Ста-тошное ли это дело?.. Пойдем и спросим последнего кашевара, и он, хотя и не учился в академиях, скажет тебе, что в этих проклятых песках, где нет ни воды, ни фуража, ни хлеба, мож-

но воевать лишь малыми отрядами. Полкам тут могила, бригадам — могила, армиям — могила!

— Получай ультиматум...

— Давай!..— Повертел в руках хрустящий листок и вернул его Муртазалиеву.— Я неграмотный... Читай сам да погромче, а то я после тифа оглох... В голове ровно шмели гудят.

Муртазалиев начал громко читать:

— «Бывшему командиру кавалерийской бригады Ивану Черноярову. Именем Российской рабоче-крестьянской советской власти приказываем бойцам бригады сдать оружие как холодное, так и огнестрельное, после чего вся бригада будет расформирована по частям...»

Чернояров вскочил, как укушенный, и отбежал в угол:

— Читай! — крикнул он, задыхаясь и не спуская с Муртазалиева горящих глаз.— Читай.

— «Бригада не подчинилась приказу советской власти, самовольно выступила с места стоянки и самовольно двигается по неизвестному пути, разрушая всякий порядок и военную дисциплину...»

— Врешь, лахудра! — От удара задрезжала рама. Муртазалиев поднял голову и увидел в окне горящие глаза. Безгубый парень яростно колотил в раму кулаком и орал: — Врешь, харя черномазая! Пойдем к нам в полки, и мы покажем тебе, какой у нас держится порядок! Найди хоть одну раскованную лошадь... Мы не покинули ни одного своего больного... Нам до самой Астрахани хватит фуража и вина... Проверь нашу кухню и обоз... Посчитай, сколько мы вывезли с Кавказа пушек и пулеметов!

За окнами гудели голоса, взрывались крики.

— Читай! — приказал Чернояров.— Это шумят мои бойцы, не бойся... А это...— повернулся он к порогу и указал на набившихся с воли людей в бурках и нагольных полушубках,— это боевые командиры разных частей, самые храбрые, которых дала Кубань... Читай! Пусть слушает вся бригада, вся армия.

— «В случае неисполнения сего ультиматума добровольно,— продолжал Муртазалиев,— каждый пятый боец будет расстрелян. Черноярову заявляем, что если он не трус, то явится перед справедливым судом советской власти, где и будет иметь слово в свое оправдание. Если он любит своих бойцов и народ, то пусть пожалеет их жизни и исполнит настоящее последнее приказание. На размышление дается тридцать минут».

Густая, придушенная тишина. У порога сопела чья-то раскуриваемая трубка. За окнами — раскрытые немые рты и глаза, круглые, как серебряные полтинники.

— Все? — спросил Чернояров.

— Все.

— Я не верю вашему реввоенсовету, где окопались царские полковники и генералы. Не первый день я с ними бьюсь, буду биться до последнего! Бойцы не покинут меня. Будем стоять по

колена в крови, но не сдадимся! Прoberусь до батьки Ленина, и он всем этим ползучим гадам прикажет поотвертывать головы.

Муртазалиев, ероша седеющую гриву, пробежал по комнате из угла в угол и остановился перед Чернояровым:

— Ты не прав, дорогой товарищ. В нашей армии забор хорош, да столбы гнилые, менять надо. Военных специалистов мы запрягли и заставляем везти наш воз. Белые сильны, главным образом, крепкой дисциплиной. Мы должны выставить против них свою дисциплинированную армию, которая без рассуждений слушалась бы своих начальников.

— Меня и так слушают.

— Анархия, дорогой товарищ, погубила партизанскую армию, подорвала ее мощь, и кадеты разгромили вас...

Чернояров задумался, уронив голову на руки. Он был оглушен и подавлен.

От порога один из командиров подал голос:

— Нас не кадеты разгромили, а тиф.

И разом прорвались, заговорили:

— Тиф, он тоже не с ветру...

— Кругом измена и предательство.

— Почему санитарная часть в армии никак не была налажена? Почему на фронте не хватало патронов? Почему нас душила вошь? Не видали ни мыла, ни белья, а в Кизляре целую неделю жгли склады с боеприпасами и обмундированием...

Саженный батька закубанских пластунов Аким Копыто, с лицом угрюмым и рябым, будто шилом исковырянным, кашлянул в кулак и густо вздохнул:

— Мы шли и думали, вот советская власть поймет нас, как мать ребенка, а выходит, и тут пулями кормить будут...

— Дорогие товарищи,— снова заговорил Муртазалиев.— Зачем шуметь? Мы не на базаре. Поговорим спокойно... Железнодорожный транспорт разрушен. Гужевой транспорт разрушен. Из Астрахани мы не успели вовремя перебросить вам на Кавказ все нужное... Скажи мне, товарищ,— обратился он к Черноярову,— правда ли, что ты зарубил Арсланова и Белецкого?

— Правда,— густо покраснев и давась волнением, ответил комбриг.— Верю комиссарам, которые дерутся на фронте, а которые по тылам на автомобилях раскатывают, тем не верю. И до самой смерти не буду верить.

— Белецкий был боевым командиром, это знает вся армия... Арсланов был старым революционером, это говорю тебе я... Ты, дорогой товарищ, свершил тягчайшее преступление перед революцией.

Чернояров молчал.

— Жалуются вот на твою бригаду,— продолжал Муртазалиев,— барахлили вы много. Это тоже правда?

— Брехня. Зря нигде никого не грабили. Буржуев, было дело, рвали. Восстанцам и кулакам тоже спуску не давали. Не

мимо говорит старая казацкая пословица: «Убьют — мясо, угреб — наше».

— Поедешь в реввоенсовет? — спросил Муртазалиев.

— Нет, не поеду. Там вы меня расстреляете... Виноват — пусть меня судит вся армия.

— Так, так... Плох тот красный командир, который боится революционного суда... С тобой в реввоенсовете хотят поговорить... Обещают, что там никто и пальцем тебя не тронет... С тобой хотят поговорить, поверь мне.

— Тебе, может быть, и поверил бы, — пылливо глянул на него Чернояр, — но тем старорежимным шкурам, что заседают с тобой за одним столом, под одной крышей, с которыми ты ешь кашу из одной чашки, — тем не верю! Режь меня на куски, жги огнем — не верю!

— Двадцать лет я работаю в большевистской партии, ты мне должен верить... Я остаюсь здесь заложником и выкладываю на стол часы. Езжай один. До Яндык семь верст. Если через три часа не вернешься, пусть твои бойцы казнят меня.

— На что ты, старый, нам нужен? — заорал за окном безгубый. — Братва, не выдадим Чернояра!

— Не выдадим!.. Не выдадим!

— Все за него поляжем!

— Братишки, измена!

На улице — под окнами — начался бурный митинг.

— Итак, не едешь? — в последний раз спросил Муртазалиев.

— Нет.

— Тогда — прощай, товарищ.

— Прощай.

Муртазалиев вышел на улицу.

Ночь. Село клокотало. Там и сям летучие митинги — бредовые, истеричные речи. Муртазалиев вмешался в самую многочисленную толпу и некоторое время слушал. Потом протиснулся вперед и взобрался на зарядный ящик:

— Товарищи... Я — член реввоенсовета...

Вой

свист

мат.

— Доло-о-ой!

— Стаскивай его за ноги.

— К стенке!.. К стенке!..

— Дорогие товарищи... Подумайте, о чем вы кричите?.. Кого к стенке? Меня к стенке?.. Сукины сыны! Когда многие из вас еще сосали мамкину титьку, я уже гремел кандалами в Акатуе. Царские тюремщики меня не добились, так вы — солдаты революции — хотите добыть?.. Чепуха! Поговорим лучше о деле. — Он чувствовал горячее дыхание многотысячной толпы. Лица в темноте были неразличимы, лишь кое-где вспыхивали раздуваемые ветром сигарки. Вначале было несколько моментов, когда

ему казалось, что действительно вот-вот стащат и разорвут. Но — мужественно сказанное слово убеждения, — и ярость схлынула. Над притихшей толпой голос его гремел вдохновенно. — Где измена?.. Какая измена?.. Кто кричит подобное, того надо самого потрясти и проверить, кто он — дурак или трус?.. Дураки революции не нужны, а трус — среди нас — опаснее врага! Дорогие товарищи, в нашей семье нет места шкурникам, маловеерам и людям растерянным! Кто не хочет или не умеет исполнять приказов, того будем гнать из армии в три шеи... Малейшая попытка сорвать дисциплину будет пресекаться в корне, со всей строгостью военного времени и революционных законов — это каждый честный боец должен зарубить себе на носу... Дорогие товарищи!..

Муртазалиев говорил о советской власти и Деникине, о большевиках и рабочем классе, о Москве и мировой революции.

После него выступали бойцы разных частей. Вот краткое слово одного из партизан:

— Кубанцы... Трудно нам будет мириться с новыми порядками, а мириться надо... Дадут приказ идти сто верст босиком по битому стеклу, и ни один из нас не должен отказаться... Немало в наши ряды затесалось гадов, которым не революция дорога, а своя шкура и свой карман... Немало прохвостов и среди наших начальников и комиссаров, но и они не спрячутся за мандат, пуля найдет... Если в штабах засели таковые, то кулаком их оттуда не выбьешь и горлом не возьмешь — тут треба ум, да умец, да третий разумец... Потом разберемся, кто в чем прав и кто в чем виноват, а сейчас у нас одна советская семья и один враг — тот, кто ходит в золотых погонах...

Ночью же, после митинга, Муртазалиев увел за собой на Яндыки два полка и несколько мелких отрядов. Много пристало к нему и отбившихся от своих частей одиночных бойцов.

А на рассвете, когда степь клубилась морозным туманом, из Промысловки выступила и бригада Черноярва. Шли весело — с песнями и гармошками. Перед эскадронами, гикая, плясуны плясали шамиля и наурскую. В тачанке, обложенный подушками, сидел хмурый Черноярв — сердце чуяло беду.

Перед Яндыками бригада наткнулась на цепь — полукольцом опоясав село, лежали дербентцы, Интернациональный батальон и Коммунистический отряд особого назначения.

Окрик:

— Кто идет?

Из густого тумана

выступали

конные массы:

— Свои.

— Стой. Стрелять будем!

Бригада остановилась и выслала на переговоры делегатов. С гранатами в руках они подошли вплотную к мелким, наспех вырытым окопам.

— Сдавай оружие, суки! — сорвавшимся голосом крикнул из окопа парнишка, и в наступившей вдруг волнующей тишине щелкнул взведенный курок его нагана.

— Ты, грач, сопли подбери! — метнул на него взглядом эскадронный Юхим Закора и обратился ко всем: — Здорово, ребята... С кем это вы воевать собрались и чего тут стоите?

— Нас выставили на разоружение банды Черноярова... Он, стерва, продался кадетам и хочет проглотить молодую советскую власть.

— Какой негодяй натравливает вас на нашу бригаду?.. Какая мы банда?.. Целый год дрались с Корниловым и Деникиным...

— А за что зарубили нашего командира Белецкого? Мы вам за него глотки всем порвем... Почему не подчиняетесь приказам?.. За кого вы, за красных или за кадетов? — зашумел опять парнишка.

— Ты, шпанец, еще молод и зелен... Были бы мы за кадетов, давно бы ушли к кадетам, а то плутаем тут по пескам и кормим своим мясом вшей... Кто вами командует?

— Северов.

— Так это ж царский полковник. Для него народная кровь вместо лимонаду. Эх, вы, адиёты... Нет ли у кого закурить?

— Кури,— протянул астраханец пачку папирос.

— Папироски сосете, а мы забыли, как они и пахнут... Ну, ладно, вы, видать, ребята подходящие... Чернояровцы на своих руку не подымут... Пропускайте нас, пойдем до батьки Ленина, пусть узнает правду неумытую. На Кубани нас продали и пропили. Эх, братва, сколько там сложено голов, сколько пролито крови...

Позади окопов бегал политком и надсадно кричал:

— Прекратить переговоры!.. Открыть огонь! Огонь!

Но его никто не слушал.

По фронту началось братанье, и кое-где бойцы уже менялись шапками и оружием.

Политком кинулся в Коммунистический отряд.

— Огонь!.. Стреляй!

Сам припал за пулемет и

та-та-та-та-та-та-та-та...

Бригада заколыхалась.

По флангу раскатилась зычная команда:

— Эскадро-о-о-он, от-де-ленья-ми, по-вод ле-во, строй лаву!..

К Черноярову подскакал Шалим.

— Прикажи развернуть знамя и — в атаку!

— Не смей!

Начал стрелять Коммунистический отряд. За ним сначала робко, а потом все смелее и смелее увязались дербентцы, и скоро вся линия заблестала огнями выстрелов. Невидимая в тумане, загремела батарея, ухнул бомбомет.

Шалим рвал коню губы и, свешиваясь с седла, кричал:

— Ванушка... Атака... Пусти нас на адын удар! Мы справимся с ними, как повар с картошкой!

— Не сметь...

Чернояров приподнялся и оглядел бригаду, потом крикнул не спускавшим с него глаз горнистам:

— Играй отбой!

Бригада без единого выстрела, теряя убитых и раненых, отхлынула обратно на Промысловку.

На площади митинг.

— Прощай, братва!..— рыдал Чернояров и, не в силах выговорить ни слова, вскинул руку с маузером к виску.

С него пообрывали оружие, отняли маузер.

— Там нам жизни нету! — начал было он опять говорить, но потерял сознание и упал на руки Шалиму.

Доктор совал ему под нос нашатырный спирт, кто-то тер снегом уши.

Открыл глаза, туго выговорил:

— Добре нас встретили и угостили, добре... Так всех партизан угощать будут.

Его окружили командиры разных частей и зашептались... Наклонился Аким Копыто и загудел ему в ухо:

— Утекать надо... Уходи, пока дело не дошло до большой беды... Армия волнуется и встает под ружье... Подумай, Ванька, сколько может пролиться безвинной крови?

— Утекать?.. Как вору с ярмарки?

— Что ты станешь делать? — развел Аким пудовыми кулаками.— Всяко бывает.— Он посопел и досказал:— Вышнему начальству надо покоряться... Промеж себя мы уже выбрали делегацию, пойдём на поклон в реввоенсовет и как один крикнем: «Руби нам, командирам, головы, но не тревожь бойцов. Мы их подняли со станиц и повели за собой. Кругом их бьют, а они ничего не знают».

И командир бронепоезда Деревянко сказал Черноярову:

— Так, Ваня, действовать нельзя... Нам надо держаться друг за друга и всем за одно... А наше одно — это советская власть...

— Да, да, мне лучше уйти... Я среди вас, как волк в собачьей стае! — Обезумевшими глазами он оглядел окруживших его командиров и коротко выругался. Потом опять поднялся на тачанку и, сломав над головой черен нагайки, scomандовал: — Братва, по коням!.. Выступаем... Кто верит мне — за мной!

И сейчас же две сотни всадников — у кого лошади были потверже, — взвод выючных пулеметов и небольшой обоз оторвались от армии и на рысях пошли в степь, на запад.

Однако на первом же привале бойцы окружили своего командира:

— Куда идем и зачем?

Чернояров развернул карту — исчерченный химическим ка-

рандашом лоскут столовой клеенки — и повел пальцем по таинственным значкам, которые одному ему и были ведомы:

— Идем на Эргедин худук (колодец). Хахачин худук, Цубу, Булмукта худук, Ыльцин, Тюрмята худук... Отсюда, старым чумацким шляхом, берем направление на Яшкуль, Улан Эргэ, Элисту и выходим под Царицын на соединение с дивизией Стожарова: этот не выдаст, этот постоит за партизанскую честь... А там и до Москвы недалеко. Поеду до батьки Ленина. Не верю, чтоб на свете правды не было.

— Все это так, Иван Михайлович, — вздохнул Игнат Порохня, — а скажи нам, сколько наберется верст до того клятого Царицына?

Спичкой и суставами пальцев Иван долго вымерял свою карту и наконец ответил:

— Пятьсот верст, да еще, пожалуй, и с гаком наберется. Стон изумления качнул бойцов:

— Ой, лишенько... Пятьсот, да еще и с гаком?

— Пятьсот верст дикой калмыцкой степи...

— Не дойдем. Подохнем.

Все долго молчали, собираясь с мыслями... И за всех сказал эскадронный Юхим Загора:

— До Царицына нам не дойти... Кони откажут... Второпях урвали самую малость фуража... Два-три дня, и коней нечем будет кормить. Мало у нас сухарей, мало и вина, а вода в колодцах, ну ее к черту, соленая... Что будем делать?

Чернояров внимательно оглядел приунывших людей, и его выгоревшая в цвет спелого хлебного колоса бровь дрогнула.

— Да, ребята, не дойдем до Царицына — кони откажут... Незачем всем нам гибнуть за зря. Кто хочет — возвращайся. Мне возврату нет... Клянусь, чтоб шашка моя не рубила, никому из вас не скажу ни слова упрека. Не щадя ни своей, ни чужой крови, мы честно прошли свой путь. Спасибо за службу... Останемся живы — опять слетимся под одно знамя, и враги не будут знать, куда бежать от наших шашек!.. Ну, а ежели встретиться не судьба, не поминайте лихом! — Голос его дрогнул и осекся.

Бойцы прощались с любимым командиром, и многие плакали, как малые дети, — навзрыд.

И вот, под командой Юхима Загоры, отряд подбористым шагом двинулся обратно на астраханский шлях, стороною обходя Яндыки. Чернояров — с кургана — долго смотрел им вослед, и в глазу его горькая дымилась слеза...

С комбригом остался Шалим, осталось десятка два всадников, решившихся до конца разделить участь своего ватажка.

Дикий ветер

древние курганы

мертвые сыпучие пески...

Шли день и ночь, не встречая ни одной живой души. Голодали люди. Кони от голоду грызли друг другу хвосты и гривы.

Изредка присаживались подремать у костра, сложенного из колючки и шаров перекати-поля. В котелках топили снег, жевали вываленные в горячей золе ломти конины, доедали последние сухари. Потом живые подымались и шли дальше, ведя в поводу обессилевших коней; мертвые и умирающие, точно задумавшись, оставались сидеть у потухших костров: с небритых подбородков стекала и намерзала до земли сосулькой тифозная слюна.

Чернояров — обложенный подушками, укрытый одеялами — ехал в тачанке. Временами он впадал в беспамятство и бредил:

— Где я? Где бригада?

— Все тут, все с тобой... Лежи, пожалуйста, смирно, — укутывал его Шалим одеялами.

— Пи-ить... Пи-ить...

Кто-нибудь из бойцов придерживал голову командира, а Шалим осторожно концом кинжала разнимал его сцепленные зубы и вливал в рот несколько глотков вина. Затем совал и проталкивал пальцем в горло кусочки сала.

— Ешь, Ванушка... Пожалуйста, ешь... Твоя, кунак, надо выздоравливал.

Больной порывался вскочить и дико орал:

— Лошади спутаны!.. Шалим, распутай построшки!.. По-о-о-olk, шашки к бою!

Первое время шли по колодцам, но вот наезженная дорога разменялась на черные тропы — и отряд сбился с пути.

Отставали

падали люди

и последние кони.

На седьмые сутки вчетвером — обмороженные и полумертвые — они вышли на село Солдатское, Ставропольской губернии, где и были схвачены сторожевой неприятельской заставой.

Чернояров очнулся в хате. Трое его товарищей валялись рядом с ним на земляном полу. Подпирая горбом дверной косяк, дремал богатырского вида казачина в погонах младшего урядника.

— Какой станицы? — спросил у него Иван.

— Кореновской.

— Эге. Добрую я у вас церковь спалил.

— А ты що за цаца?

— А ты как думаешь?

— Нечего мне и думать... Вот захочу да сапогом в морду и двину.

— Я — Чернояров.

— Чур меня, чур, бисова душа, — урядник отпрянул и чуть не выронил из рук винтовку.

— Уу, шкура, и за что вас Деникин кашей кормит? — Бледная улыбка осветила его исхудавшее лицо.

Под конвоем пленники были доставлены в заштатный городишко — Святой Крест. Шалима и бойцов посадили за решетку в комендантском управлении, а Черноярова — сам идти не мог — два казака под руки отвели на квартиру, где он был острижен, вымыт, переодет в свежее белье и уложен в постель.

По нескольку раз на день к нему заходил военный врач, забегал однорукий комендант города:

— Здравствуйте, дорогой. Как себя чувствуете? Чем вас сегодня кормили? Не прислать ли табачку?

— Где мои бойцы и адъютант Шалим? Мне приснилось...

— Не волнуйтесь, мой добрый пленник... Ваши люди направлены в лазарет и по выздоровлении будут служить у меня в комендантском управлении.

— Не будут они у тебя служить, комендант, — улыбнулся Чернояров, — убегут.

Он не знал, что все трое были уже расстреляны.

Однажды дверь с треском распахнулась, и в комнату влетел, звеня шпорами, офицер.

— Встать! — скомандовал он.

— Чего вам от меня надо? — простонал Чернояров. — Голову или ноги? Голова, вот она, а ноги не служат.

— Впрочем, лежите. — Офицер оправил под головой больного подушки, подоткнул одеяло. — Сюда идет его превосходительство начальник дивизии генерал Репрев. Уж вы, не знаю, как вас титуловать, ради бога, не подведите.

В сопровождении штабной челяди вошел грузный генерал.

— Ты и есть Чернояров? — простуженным и гулким голосом спросил он, с любопытством разглядывая партизанского ватажка. — Здорово, джигит... Наконец-то образумился и перебежал к нам, и отлично сделал. Я прямо с фронта, и вдруг слышу — так и так. Зайду, думаю, поговорю со старым знакомцем. Помню твою геройскую атаку под станицей Михайловской. И Козинку помню. Да и на Тереке наши полки не раз сходились на удар. Молодец, молодец. — Генерал сел в кресло и вытянул ноги в порыжелых, забрызганных грязью сапогах. — Ты казак. Твои отцы и деды воевали за порядок и законность. И ныне доблестное кубанское войско не кладет охулки на руку. Отлично, сукины сыны, дерутся. Сегодня же пошлю в штаб корпуса телеграмму и испрошу для тебя помилование. Поправляйся — и, с богом, на коня. Дам тебе полк, и, верю, честной службой ты смоешь с себя позорное клеймо. Ты храбрый вояка. Нам такие нужны. Далеко гремит твоя слава. Твой пример отрезвит одураченных казаков, которых еще немало тутается у красных. Все казаки образумятся и перебегут к нам. Тогда ты уже будешь командовать бригадой, а может быть, и дивизией... А там, бог даст, и война кончится...

Чернояров дрожащей рукой потер черную обмороженную щеку и с твердостью сказал:

— У меня, ваше превосходительство, душа прямая... Не умею хвостом вилять. Жизнь — копейка... Сколько раз я ее ставил на карту! Мне ничего не страшно. Чем в кривде мотаться, лучше за правду умереть! За погоны служить не хочу. Вы были, есть и будете моими заклятыми врагами.

Генерал откинулся на спинку кресла и гулко расхохотался:

— Ха-ха-ха-ха. Молодец! Хвалю за отвагу... Но, голубчик, какие же мы враги? У нас один бог и одна родина... Большевики хотят искоренить казачество, и, я знаю, ты сам оттуда еле ноги унес... Большевики разоряют святые церкви и грабят народ...

— На меня не большевики напустились, а изменщики, что засели в штабах.

Генерал долго говорил о большевиках и о их дьявольских планах, о роли Добровольческой армии.

Чернояров утомился и впал в полузабытье. На лбу его крупными каплями выступил пот. Острая боль перелетала по суставам ног и рук, ломала поясницу, колола сердце. Плыли, струились пунцовые цветы на одеяле... А над ухом монотонный голос гудел и гудел:

— Русская армия... Казачество... Слава... Долг перед родиной...

— Уйди! — вдруг бешено выкрикнул Чернояров и схватил со стола чугунную пепельницу.— Уйди, б..., с глаз долой! Поговорил бы я с тобой, да не тут! Ээх...— И яростный вопль вырвался из груди его.

Генерал поднялся, надушенным платком отер усталое лицо и, уходя, распорядился:

— Повесить!

Взяли его той же ночью, вывезли на базарную площадь и повесили. До самой последней смертной минуты он обносил палачей каленым матом и харкал им в глаза.

На грудь ему нацепили фанерную дощечку с жирно намалеванной надписью:

<p>ИВАН ЧЕРНОЯРОВ ВАНДИТ И ВРАГ РУССКОГО НАРОДА</p>

Курганы

на кургане дремал сытый орел, вполглаза взирая на мятущихся по дорогам людей. Вороны с хриплой руганью делили добычу, раздирая куски мяса и волоча по пескам размотанные мотки серых кишок.

Балки

в балках прятались одичалые репьястые собаки с мордами, слипшимися от крови. Обожравшиеся вислобрюхие волки, жалобно скуля и стелая, катались по сухой траве.

Хутора

на хуторах мертво и глухо. Ветер мёл-завивал золу и песок, шуршал в заклеенных бумагой окнах. Уцелевшие хаты были полны мертвяками, и по мертвым, как раки, ползали умирающие.

Армия

армию топтала вошь. Остатки некогда грозных полков с кровью, как сквозь шиповый куст, продирались через все преграды и выходили на берег Волги к граду обетованному. Из гноящихся глаз катились слезы радости, и из глоток рвались хриплые крики восторга.

Нагнала весть о гибели Черноярова.

На обрыве, над Волгой, в ожидании парома сидели в кругу несколько бойцов. Допивали последний бочонок вина, вспоминали кубанские станицы, походы и битвы... Вспоминали добрым словом и сумасбродного ватажка Ивана Черноярова.

— Да, почудили! — искорню вывернулся у Максима вздох. — Удалая голова перестала баловать... Приподыдем, братцы, наши чарки да помянем казака!..

ГОРДОСТЬ

*И за сотней сотни уходили,
Уходили за курганы в синь.
Кони пылью по дороге заklubили,
Кони били, мяли горькую полынь.*

Георгий Бороздин

Дым утренних костров стлался по лугу, будто овчина. Расседланные кони дремали, сбившись в табунки, ветер заворачивал на сторону сваленные гривы и подстриженные хвосты. Залитые сном бойцы храпели вокруг огней, бредили сраженьями, бормотали и тревожно выкрикивали полуслова команды. Иные, стуча зубами, вскакивали, проделывали гимнастику, потом грели котелки, жевали обвалившееся в сумках сало и, по привычке все сделать торопливо, обжигаясь, хлебали из мятых кружек настоенный, ровно деготь, крепкий чай.

Невдалеке в черных развалинах лежал сожженный хутор. Над пожарищем торчали закопченные тулова печей и труб. Заплаканные бабы сидели на узлах, на окованных жестью сундуках и кутали в тряпье сморенных сном ребятишек. Хмурые мужики лазили по горелому и, тыча колыями, извлекали из-под дымящихся головешек осмоленные огнем глиняные горшки, плуги, лопаты и всякую мелочь.

Единственную уцелевшую хату занимал штаб кавалерийской бригады. По лавкам, по полу, на печке храпели на разные голоса ординарцы, писаря и квартирьеры. Облаком висел прогорклый табачный дым, воняло портянками, кислой овчиной и промозглой человеческой вонью. На широкой кровати под атласным одеялом лежал молодой командир Иван Чернояров. Он посасывал трубку и харкал через всю горницу к порогу.

С улицы в раму забарабанил увесистый кулак, задребезжали стекла.

— Ей, штабные!

Чернояров поднял чубатую голову.

— Чего там? Кто орет?

— Иван Михайлович,— подтянулся к высокому окну, да так, вытараща глаза, и повис на руках подчасок Федулов,— чечен прискакал, вас самолично требует... Мы его пока заарестовали.

— Какой чечен? Где он?

— Готово, привели... Дождает! — крикнул Федулов и оборвался.

Комбриг, босой и заспанный, вышел на крыльцо.

На зудкой маленькой лошаденке в кругу казаков вертелся чеченец. Сверкая зубами и коверкая слова, он что-то рассказывал.

Казаки смеялись.

Узнав командира по смолянному чубу, горец принял под козырек и отрапортовал:

— Товарищ Чернаар, мы ночим в атак не хадил, мы дынем в атак не хадил.

— Как? — потемнев, спросил Иван.

— Мы усталь, мы канчай война.

— Где стоит полк?

— Куторь Расшеват.

— Ладно. Передай своему начальнику Хубиеву приказание немедленно выстроить полк. Приеду сам.

— Уассалам! — Чеченец дернул повод влево и полетел в степь, как черная тень.

— Во, сукины дети,— остановился проходивший мимо с конным ведром подхорунжий Шебутько,— грабить они первые, а воевать их нет.

— Не скажи,— возразил ему Назарка Чакан,— тоже есть страсть храбрые... Их только раззадорь, черта в дрожь кинет.

— Нагляделся я на азиатцев... В окоп не ложится и в лаву ходить не охотник. Догонят где втроем одного, зарубят. Не дай бог, ежели у них какого-нибудь Ахметку уьбет. Вмиг слетится сотня братьев, дядьев, сродников, бросают позицию и на рысах везут хоронить Ахметку в свой аул, будь он хоть за сто верст.

— Наш русак,— вступился опять подхорунжий,— русак смекалкой берет. Где надо бежать, хоть ты его моли, проси, при-страшку давай, все равно убежит, а где видит — ударить можно, ударит.

— Ты, Шебутько, и хитрый, а не хитрее теленка, языком под хвост не достанешь,— сказал Назарка.— Смекали мы с тобой смекали, да пол-России немцам и провоевали.

— Дурак,— обернулся к нему подхорунжий,— там нас продали и пропили. Не духу, снаряду не хватило, а то мы бы еще потягались с германом...

... По степи, полон дикой силы, скакал Чернояров. Шалим еле поспевал за ним. Из-под мелькавших копыт высоко взлетали комья мерзлой грязи, низко плыли растрепанные тучи, по жнивью, подпрыгивая, катились шары курая, и по ветру, как придушенные вздохи, доносились далекие пушечные выстрелы.

Из-за косогора выкатился белый — в тополях — хутор.

Скакали по улице... В оконцах мутными пятнами мелькали испуганные лица, под ноги коням с хриплым лаем бросались собаки.

За ветрянкой на открытом месте был выстроен смешанный ингушско-чеченский полк, который совсем недавно, после разгрома Шариатской колонны, присоединился к бригаде Черноярова. Холодный резкий ветер перебирал гривы, полы черкесок и концы наброшенных на плечи башлыков. Развевались, пересыпая золотую лапшу нашитых букв, и хлопали на ветру обхлестанные полотница двух знамен — красного и зеленого.

Командир полка Хубиев, офицер старой выучки, на высокозадой горской кобыле выехал навстречу комбригу, поздоровался и, привстав, начал докладывать:

— Вторую неделю полк в непрерывных переходах, лошади раскованы и вымучены, фуража невозможно достать, бойцы требуют отдыха, бойцы требуют...

— Ну! — нетерпеливо крикнул Чернояров, перебивая его. — Довольно! Где противник?

— В шести верстах на запад хутор занят Дроздовским полком и сотней Запорожского кавполка. Слева на кургане батарея, справа в роще два пулемета.

— Тебе, Хубиев, была вчера дана боевая задача?

— Да.

— Ты ее выполнил?

— Нет.

— Знаешь, чем я жалею трусов?

— Ха! — как укушенный крикнул Хубиев, хватаясь за кобур, и серые твердые глаза его блеснули, точно штыки.

Они разъехались, не спуская глаз друг с друга.

Чернояров дал своему коню плетей и, сломав строй, врезался в самую гущу полка. Он вскочил на седло ногами, и его заветная шашка, свистнув, описала над головой круг.

— Отдыхать вздумали? Вся армия дерется, а вы устали? Кишка отдала? Вы не бойцы! Вы старые бабы! Нынче же я прикажу откомандировать вас в тыл, в богадельню, старухам сопли обсасывать! — С лету он бросил шашку в ножны и, выбравшись на простор, шагом поехал прочь.

Хубиев тоже вскочил на седло ногами и, задыхаясь от ярости, перекричал слова комбрига сперва на ингушском, потом на чеченском наречии.

Две сотни шашек, как одна, вылетели из ножен, две сотни

глоток завизжали, заорали, залалакали. Кони пришли в движение, туча пыли прикрыла полк.

Через версту адъютант Шалим догнал Черноярова.

— Ух, рассерчали, костогрызы... Тебя, Ванушка, зарубить кричаль, ну, а потом порешиль идти в атаку.

...Вечером Шалим доложил комбригу, что азиатский полк вернулся из боя и строится перед штабом.

Чернояров вышел.

На улице полк уже выстроился. Взмыленные кони стояли, расставив дрожащие ноги, и качались от усталости. Всадники сидели в седлах прямо, отвагой и гордостью дышали их жесткие запыленные лица, и глаза горели, как драгоценные камни, врезанные в рукоятки старинных кинжалов.

Хубиев, завидев комбрига, спрыгнул с коня и побежал ему навстречу.

Репорт его был краток: сотня Запорожского полка уничтожена, дроздовцы разбиты и отогнаны, захвачена батарея в полном составе, четыре пулемета, две кухни, обоз первого разряда в количестве десяти повозок... От своего полка в строю осталось сто двадцать сабель, подобрано пятьдесят семь своих раненых...

Чернояров отстегнул шашку и протянул ее Хубиеву. По древнему обычаю они поменялись оружием, поцеловались и с этой минуты стали братьями.

Потом комбриг резко повернулся к полку.

— Джигиты, благодарю вас от имени бригады! Даю вам неделю отдыха и отпускаю в Моздок пополняться! Кормите и куйте коней, гуляйте веселей и грейте баб!

Горцы без перевода поняли похвалу, привскочили в стреланах и, собрав последние силы, прокричали «ура».

Ветер спускал с осени рыжую шкуру, мир плутал в кромешном разливе метелей и мятежей.

СУД СКОРЫЙ

Рожки горнистов проиграли атаку, и кавалерийский полк, рассыпавшись в лаву, ринулся на противника.

Сотник Воробьев видел, как младший сын его, Васька, полетел через голову Воронка. «Ранен, убит?» — блеснула у старика мысль, и он, осадив коня на полном скаку, спрыгнул к валяющемуся в пыли сыну.

— Вася!.. Сынок!..

Семнадцатилетний Васька был ранен в живот. Выпав из седла, он сломал шейные позвонки.

— Сынок...

Васька потянулся, хрустнув молодыми хрящами, и, не приходя в сознание, начал вытягиваться на руках отца... У Васьки из-под дрогнувшего века выкатилась последняя смертная слеза. Старик закрыл ему стекленеющие глаза и встал, размазывая по синим шароварам сыновнюю кровь. Взгляд старика был безумен, побелевшие губы дрожали, сердце стучало деревянным стуком.

Старший сын, Андрюшка, вытянувшись за спиной отца, держал в поводу своего и отцова коней с раздувающимися красными ноздрями и не мигая глядел в лицо брата. Руки Андрюшки были измазаны чужой кровью, будто патокой, правый рукав черкески, до локтя смоченный кровью, залубенел. Широкое в веснушках лицо его было жалостливо и бледно.

— Тятяша,— тронув отца за плечо, дрогнувшим голосом сказал Андрюшка,— сотня выстроилась и ожидает тебя.

Старик опустился на колено, легонько, точно боясь потревожить, прихватил Васькину голову и поцеловал три раза в сведенные судорогой губы. Потом перекрестил его, тяжело дрюнулся в седло и поскакал к сотне.

Мертвый Васька показался Андрюшке меньше ростом. Он выпутал из скрюченных пальцев брата нагайку, поцеловал его и, вскочив на коня, последовал за отцом.

Похоронили Ваську в братской могиле.

Сотник Воробьев передал командование своему помощнику Самую, попрощался с сотней и, пообещав вернуться на неделе, ускакал с сыном в тыл, верст за двести, в родной город.

...Старуха встретила старика с Андрюшкой в воротах и обмерла. Высохшей рукой она вытирала рот и ничего не могла выговорить.

— С бедой, мать! С бедой! — крикнул Воробьев, пуская под навес нерасседланного взмыленного жеребца. — Сынка провоевал.

Старик побежал в хату. За ним, не видя свету, захлебываясь рыданиями, брела мать.

Через низкую каменную ограду заглядывала востроносая чахоточная соседка Лукерья.

— Чего у вас такое случилось? — крикнула она Андрюшке, привязывающему к столбу лошадей.

Он поглядел на нее зверем и, ничего не ответив, пошел в хату.

В щелях забора сверкали любопытством чьи-то глаза. Скоро по всему поселку разнослась весть, что у старого Воробья убили сына Ваську.

— Дурак ты дурак, пустая башка, понесла тебя нелегкая! — вопила старуха. — Выдумщик проклятый, недаром у меня сердце ныло...

— Цыц! — прикрикнул на нее отец. — Я сам себе тоже не лиходей.

Она замолчала и, тычась по хате, как слепая, собирала ужинать.

Воробьев — драгунский вахмистр — прослужил на царской службе без малого тридцать лет. Осенью семнадцатого года он вернулся домой, увешанный медалями и крестами. По области наспех сколачивались красногвардейские отряды. В силах ли был старый драгун усидеть дома, когда на каждой площади гудели тысячные толпы и под гремевшую музыку плясали походные кони?.. Он дневал и ночевал на митингах, толкался по базарам и трактирам, как человек бывалый с сознанием превосходства слушал неистовые речи, посмеивался над разеватыми, не по форме одетыми красногвардейцами, заглядывал в брошенные казармы и без конца дивился царящей кругом бестолковщине. «Вся безобразия, — решал вахмистр, — оттого, что фронтовики за войну расхрабрили и не слушаются ни старых, ни новых начальников... Да и какие нынче пошли начальники? Все больше мальчишки да жиденята, строгости мало показывают». Так не признавал он нсвой власти, пока на митинге в городском саду с ним не сцепился спорить какой-то солдат, который сумел доказать, что «власть хороша, да порядки плохи». Новые мысли получили *маленький* перевес. Старик забрал обоих сынов и, все еще колеб-

лясь, отправился в совет требовать назначения в действующую часть. Там его обласкали, предложили хорошее жалование и назначили командиром сотни, пообещав за верную службу дать в скором времени полк. С первых же боев старик втянулся в борьбу, крутой ненавистью возненавидел врага, и скоро слава о подвигах его сотни загремела по фронту. Дома оставалась старуха с дочерью Наташей, которая работала на местном пороховом заводе и кормила мать.

Нетронутый борщ остыл, подернувшись желтой пенкой на пара. Андрюшка по приказу отца сбегал в шинок и поставил на стол две бутылки огневой кишмишовки.

Обстановка в хате была немудрая: кровать, застланная лоскутным одеялом, застекленный шкаф с посудой, сундук, обитый цветной жостью, под облупленным зеркалом пучок засиженных мухами бумажных цветов, и во всю стену причудливым веером были раскинута фотографии — Воробей с женой из-под венца; Воробей в кругу полковых товарищей; Воробей — бравый драгун с распущенным во всю щеку усом; отец Воробья, Степан Ферапонтых, николаевских времен солдат, — карточка облезла, глаза стали похожими на белые волдыри; женины братья, тоже все в военном; превыше всех сверкала золотым обрезом цветная, большого формата карточка, на которой Воробей был снят с обоими сынами; они сидели на конях, выпятив груди, как того требует драгунская выправка; фоном служила декорация со скалами, львами и печатной надписью «Львы Венеции»; под Васькой, кося лиловым глазом, словно живой стоял Воронок; в одной поднятой руке Васька держал наган, в другой — шашку; молодые глаза, чуть вздернутый нос и все лицо его было полно блестящего напора.

Андрюшка сидел печален и нем. До хлѐбова и дымящихся кусков говядины он не притронулся, а водку пить не решался, так как не был к ней приучен.

Отец бегал по хате, подолгу задерживал налитые мутной слезой глаза на Ваське и шептал нежные слова. Потом останавливался перед наклеенной на стену картинкой из старого журнала: на картинке был изображен какой-то посланник в цилиндре и его жена, красавица с удивленно поднятыми бровями; тыча им в глаза вилкой, вахмистр выкрикивал все газетные ругательства о буржуях, которые мог припомнить, и стонал: «Ах, горе, горе...»

Опорожнив бутылку, он принялся за другую.

Перед воротами собралась толпа. Одни ругали старика, другие кляли войну, иные вспоминали, где, когда и каким видели Ваську в последний раз, и все жалели его.

Из-за угла вывернулась Наташа. При ее приближении голоса замолкли. Посторонились, пропустили, ни слова ей не сказав. Еще ничего не зная, но уже полная тревоги, она пробежала, дроб-

но стуча каблуками, каменистый двор и, распахнув дверь, бросилась к отцу:

— Папа! — поцеловала его в колючую щеку.— Господи, вернулись? Народ перед воротами, я так и подумала, что вы вернулись.

Андрюшка, не переносящий бабьих нежностей, поздоровался с сестрой за руку.

— А где Вася? — просто спросила Наташа, сбрасывая жакетку и фартук.

— Лошадь ковать заехал,— твердо ответил Андрюшка и, с шумом выдвинув ящик стола, достал кружку и налил себе кишмишовки.

— Надолго, али совсем отвоевались?

— Не, повидаться приехали.

— Мама,— Наташа только сейчас заметила нахохлившуюся мать,— чего ты такая сумная? Неможется?

Старуха, готовая опять разрыдаться, надвинула на глаза платок и, что-то пробормотав, вышла в кухню.

— Андрюша, много вы с братцем кадетов порубили, а может быть, только зря вас казенной кашей кормили?

— Много... вона.— Он потянул из-под стола черный от засохшей крови клинок, который забыл вычистить.

Она ахнула.

— И не страшно?

— Обнаковенно, атака,— сказал Андрюшка, не глядя на сестру,— кадеты в нас стреляют, промахивают, а мы без промаха шашками седем...

Наташа умывалась над тазом и жаловалась отцу:

— Ты бы мне, папаша, какую другую работу подыскал. Начальник завода у нас ужасная гадина, к девчонкам пристаёт. Нюрку Богомолу обрюхатил и с работы выгнал, а в позапрошлую субботу позвал Варю Шустрову пол в кабинете мыть и ее понасильничал.

— Кто у вас начальник? — оторвавшись от своих мыслей, точно из воды вынырнув, спросил отец.

— Вяхирев, полковник... Он давно, с пятнадцатого года, начальствует, сколько из-за него слез пролито... Он такой жирный, пучеглазый, как жаба.— Наташа с полотенцем в руках села на лавку.— Гадина он, гадина белогвардейская, как мимо ни проходит, всегда ущипнет или рванет.

— Полковник?.. И к тебе пристаёт? — спросил отец, останавливаясь перед дочерью.

— Нам с Клавкой проходу не дает, синяки не сходят.— Она приспустила с плеча кофту, показывая отметины, и заплакала.— Ты бы нас, папаша, охлопотал куда-нибудь в лазарет, что ли, или, кажись, на поденщину, и то с радостью пойдем.

Старик опрокинул в себя последний стакан огневой кишмишовки и, подтягивая пояс, крикнул:

— Сынок, на конь!

Андрюшка шеметом выскочил из-за стола и, сорвав с гвоздя папаху и нагайку, кинулся в дверь.

На кухне мать с дочерью ухватили старика за руки и заголосили.

Он стряхнул их с себя и твердым шагом вышел во двор. Сын подвел ему заседланного жеребца. Воробей легко, не по-стариковски, не ставя ноги в стремя, прыгнул в седло и, вылетев со двора, пустил коня рысью вниз по улице.

Андрюшка не отставал от него.

У заводских ворот, под газовым фонарем, около казенной полосатой будки опирался на винтовку бородатый часовой.

— Кто? Пропуск? — лениво окликнул он двоих верхоконных.

— Свои, не видишь? — ответил Воробей и строго добавил: — Зови полковника Вяхирева, должен я ему вручить лично срочное предписание штаба фронта! — И, выхватив из-за пазухи записную книжку, старик помахал ею перед носом часового.

Тот переступил с ноги на ногу — обут он был в опорки — и сказал:

— Согласно устава, не могу покинуть пост.

— Зови давай! — сердчая, крикнул Воробей и наехал на него конем. — Какие ныне уставы, не старый режим.

Почесавшись и подумав, часовой приставил винтовку к будке и ушел.

«Вахлак! — с ненавистью подумал старик и, перегнувшись из седла, достал винтовку и, вынув затвор, поставил ее на место. — Тоже «согласно устава», суконное рыло, а того не знает, что стоять на часах без примкнутого штыка не полагается».

Через невысокий забор был виден заводский двор и утопающий в зелени, ярко освещенный дом, занятый под квартиры администрации. На открытой террасе гудели голоса, брэнчала гитара, вспыхивал женский смех и, покрывая всех, ревел пьяный бас: «Быстры, как волны...»

За воротами послышалось шарканье ног.

Воробей положил руку с наганом на гриву жеребца.

Вышел часовой, за ним в раме калитки показался низенький толстый человек; икая и ковыряя в зубах, он сердито спросил:

— Ну, что?.. Откуда?.. Ну, давай!

— Из штаба фронта, срочная! — Протягивая в левой руке записную книжку, Воробей взмахнул правой и выстрелил полковнику в белый лоб.

Отец и сын одновременно рванули поводья, и враз свистнули их нагайки. По темным улицам города они мчались во весь опор: искры из-под копыт коней взлетали выше голов.

Не заезжая домой, оба ускакали к своей сотне.

Через несколько дней на фронт в автомобиле припылила следственная комиссия городского совета. Воробьеву с сыном было предъявлено обвинение в убийстве начальника порохового завода товарища Вяхирева.

— Не могу знать,— сказал старик.— Младшего сына вот у меня кадеты свалили, это действительно...

Сотня выстроилась, и все партизаны как один подтвердили, что Васька Воробьев убит, а сам Воробей с сыном Андреем из части не отлучались.

Сбитая с толку комиссия укатила ни с чем.

Наташа осталась работать на заводе.

ОТВАГИ ЗАРЕВО

Председатель хуторского ревкома Егор Ковалев, склонив большую с тугим завитком на маковке голову, вырвал из ученической тетради бледный, разграфленный синими жилками листок и медленно, с тяжелым нажимом, нацарапал: «Приказываю срочно доставить неизвестную графиню из дома казака Болонина». Он пристукнул к бумаге закопченную над свечкой печать хуторского старосты, нарочно стертую так, что на ней ничего невозможно было разобрать, и подал предписание своему помощнику Артюшке Соколову:

— Живо.

Артюшка убежал и скоро вернулся с добычей. В оттопыренной руке, чтобы всем видно было, он держал наган и, строго хмурясь, кричал набившимся в коридор мужикам:

— Дай дорогу... Графиню словил.

Маленькая сухонькая старушонка была подведена к председателскому столу. Точеное, без морщин лицо ее было спокойно, тонкие бескровные губы сжаты, из-под криво надетого кружевного чепца выбивались седые волосы, и в желтых, точно восковых, руках она цепко держала, прижимая к груди, старомодный плюшевый ридикюль.

Ковалев некоторое время молча разглядывал ее, потом спросил:

— Как будет ваше, гражданка, имя, фамилие?

Арестованная промолчала, глядя через голову председателя на стену, по которой были развешаны жирно намалеванные плакаты: «Распутин в аду», «Водка — злейший враг человечества» и воззвание «К трудящимся народам всего мира».

Егор Ковалев был малограмотен. Грамотных он не любил, и в каждом из них подозревал предателя. Правда, в затруднительных случаях Егор советовался со старым хуторским писарем Исайкой, но ни разу еще не доверил Исайке написать и двух слов. Выждав, он повторил свой вопрос.

Старуха опять промолчала.

Хуторяне засмеялись.

— Что же, ты и говорить с нами не хочешь? — сердясь, спросил председатель. — Али мы дешевле тебя?

— Вам незачем знать мое имя. Что вам от меня нужно?.. Денег?.. Вот все, что я имею. — Она выхватила из ридикюля пачку перевязанных ленточкой кредиток и швырнула на стол, потом из маленького портмоне вытряхнула на стол несколько золотых монет.

В помещение, снимав шапки, налезли хуторяне. Не дыша, они слушали допрос и, вытягивая шеи, приподнимаясь на носки, старались получше разглядеть графиню.

Егор Ковалев два раза пересчитал деньги и придвинул пузырек с чернилами. В комнате была такая тишина, что скрип пера был слышен в углях.

«Лист допроса. 7 апреля 1918 года арестована по законному распоряжению ревкома неизвестной фамилии графиня в доме нашего хуторского казака. Отобрано керенками 32 тыщи, николаевскими 800 р., золотом 6 пятирублевков, 2 десятирублевика и серебряный пяточок с дырой».

Председатель снова спросил:

— Откуда вы, позвольте узнать, приехали к нам и зачем?

— Мало? — еле слышно прошептала старуха. — Мало?.. Ну, вот, вот, — распахнув накидку, она отстегнула брошку и бросила ее на стол; ее обручальное кольцо покатилося мужикам под ноги.

В допросный лист было дописано: «и кольцо литого золота, брошка с зеленым камешком».

Тогда вопросы принялись задавать несколько человек и со всех сторон.

Старуху прорвало, ее серые глаза сверкнули решимостью.

— Да, — задыхаясь и пытаясь хладнокровничать, заговорила она, — я графиня!.. Муж мой служит в Санкт-Петербурге в святейшем синоде, два мои сына, дай бог им счастья, — она перекрестилась, — сражаются против вас, грабителей и насильников...

Кругом молчали, вытаращив глаза и разиня рты, а она, уже не в силах остановиться, продолжала:

— В Ставропольской губернии у меня было имение и земля, имение мужики разграбили и сожгли, а землю запахали... Я остановилась в вашем хуторе отдохнуть от всех пережитых ужасов и переждать, пока кончится революция...

— Не дождешься! — закричал Егор Ковалев. — Не кончится революция!..

— Кого же вы будете грабить, когда разорите всех нас?.. Да вы, батенька мой, броситесь друг другу глотку грызть, и вашей звериной кровью захлебнется несчастная Россия.

Общее движение, загалдели, заурчали:

— Эка, сорока-белобока...

— Башка!

— У ней поди-ка царь с ума не идет...

Старуха выкрикивала:

— Черна ваша совесть, черна... Бога забыли... Муки ада приуготованы вам на том свете.

— А-а, не терпишь! — вскочил, скаля зубы, Егор. — Вы нам сулите там, а мы вам тут, на земле, ад устроили... Товарищи, — обвел он всех угрюмыми глазами, — я так думаю, должны мы эту седую контрреволюцию засудить в могилу.

Голоса загудели сочувственно, кто-то крепко, по-солдатски выругался.

Арестованная была отжата в угол и поставлена лицом к собранию.

После немногословной речи председатель поставил вопрос на голосование. В ревкоме было много народу, и все до одного подняли негнущиеся, сведенные тяжелой работой руки.

Председатель поставил на допросном листе жирный крест и сказал:

— Выводи.

Весть о приговоре быстро облетела хутор.

Приговоренную на место казни сопровождала большая толпа. Мужики шагали широко и с занятым видом. Боясь опоздать, бежали бабы и унимали плачущих детей, затыкая их оружие рты жеваным хлебом или грудями: выкатившиеся из ситцевых кофт груди молодухек были белы и туги, как вилки капусты. Вприпрыжку скакали ребятишки, и впереди всех шли два мужика с лопатами на плечах.

Притихнув и не толкаясь, прошли через узенькую кладбищенскую калитку, потом старуха была отведена в дальний угол, где хоронились нищие и бездомники.

Яму копали споро, на переменуку. Взлетали высветленные лопаты, к ногам людей с глухим стуком падали комья рассыпчатой земли.

— Завязать ей глаза, — приказал Егор Ковалев.

Толпа, ахнув, отступила.

Помощник председателя, Артюшка, вынув грязный носовой платок, вытряс из него махорочные крошки и подошел к старухе.

— Не смей! — твердо сказала она, и сконфуженный Артюшка, покраснев, отступил.

Добровольные конвоиры от нетерпенья шелкали затворами новеньких, еще не испробованных в деле берданок. Приговоренная стояла, прижимая к груди ридиколь и глядя прямо перед собой.

— Чего не видали, разойдись! — строго крикнул Егор, и толпа, присмирив и зашептавшись, отхлынула еще дальше, образовав полукруг.

— Заложил патроны, приготовься.

Щелкнув затворами, парни отступили шагов на десять и, вскинув ружья, стали целиться.

— Пли.

Залп...

С берез с шумом взлетели и закаркали вороны. Эхо выстрелов, перекатываясь, умерло где-то далеко в Кавказских горах.

Толпа качнулась вперед, завизжала чья-то девочка.

Старуха стояла, схватившись рукой за грудь и выронив ридикюль.

Егор, заматерившись, подбежал к ней вплотную, и, пока толстыми трясущимися пальцами расстегивал кобуру, у нее изо рта, как из рукава, хлынула ярчайшая кровь.

Упала вперед, ему под ноги, точно мужество ее было сломлено и она упала в поклоне.

Егор всадил в ее седую голову все пули из своего нагана и, вытерев рукавом бороду, сказал:

— Храбрая, стерва.

Артюшка поднял затоптанный в грязь ридикюль и, выворотив его наизнанку, нашел в одном из кармашков орех-тройчатку — старики хранят такие орехи, чтоб деньги водились, — и выцветшую, пожелтевшую фотографию, на которой были изображены два офицера.

Орех Артюшка разгрыз и съел, а карточку подал Егору. Тот повертел ее в руках и сунул в карман.

В хутор возвращались, возбужденно переговариваясь. Впереди всех на одной ноге скакал рыжий вихрастый мальчишка: он вертел над головой прутом, на который была надета маленькая шелковая туфля.

В Егоре Ковалеве в крепкий узел были завязаны все качества стойкого рядового бойца. Познания его были не широки, но что знал, знал крепко. Далеко в будущее он не тянулся заглядывать, но зато ближайшие задачи понимал хорошо и решал их с одного почерка. Несмотря на малограмотность, революцией он был вынесен на пост отдельского (уездного) военного комиссара и, будучи неутомимым в работе, оправдывал свое назначение.

Трясаясь в легковом разбитом автомобилишке, он беспрерывно разъезжал по округу. В станицах и селах сам проводил мобилизации; то уговорами, то пулеметами умирал восстания, проверял личный состав советов и ревкомов; жаловал правых и карал виноватых; у богатых и зажиточных из глотки и с кровью вырывал хлеб, без которого в голодных судорогах корчился город. Гарнизон никогда не оставался без приварка, проходящие партизанские части снабжались боеприпасами; далеко гремело имя Ковалева; одни кляли его, другие хвалили, и все боялись его строгости и требовательности.

В одну из своих поездок, имея на борту автомобиля неразлучного друга Артюшку Соколова и шофера-немца Георга, Ковалев из-за поломки какой-то части вынужден был остановиться в Марьяновском хуторе.

— Белых нет? — выпрыгнув из машины, спросил он выбежавшего встречать их председателя местного совета Семена Ежова.

— Будьте спокойны, у нас тихо, — ответил тот и пригласил гостей чай пить.

Председатель Ежов не столько был хитер, сколько труслив: предугадывая гибель власти, он ждал случая, чтобы выслужиться перед кадетами, тем самым надеясь получить прощение за свое председательствование. Проводив гостей в горницу, он мигнул сыну, вышел с ним во двор и приказал во весь дух мчаться в соседний, занятый белой разведкой, хутор.

На сковородке сычела поданная хозяйкой яичница с салом, кипящий самовар пускал пар под самый потолок. Ковалев с Артюшкой протряслись в дороге и были рады радушию хозяина. Георг возился у машины под окнами.

Скоро шофер, вытирая руки о паклю, вошел в горницу и доложил, что машина заправлена.

— Садитесь, товарищ, — пригласил хозяин, — закусите, чайку выпейте и поедете; куда вам торопиться, до ночи далеко...

Георг подсел к столу, подцепил на вилку поджаренный лоскуток желтка да так и застыл с разинутым ртом: перед окном мелькнул погон, папаха — и через мгновение в дом забежал, держа перед собой револьвер, офицер и за ним ввалились казаки.

— Руки вверх!

Ковалев и его спутники и мигнуть не успели, как были разоружены, обысканы и прижаты в угол.

Красивый, как с картинки, офицер стоял посреди горницы и слушал доклад председателя Ежова.

— Комиссар и жулик... Самый он, ваше благородие, собака... Нам всем житья не давал.

Дом уже окружила гудящая толпа, слышались выкрики и ругань.

Хозяин, успевший уже надеть добытый у соседа старый жан-дармский картуз, доложил:

— Вас, ваше благородие, требует народ.

Засунув руки в карманы к револьверам, офицер вышел на крыльцо и крикнул:

— Чего хотите?

— Дай их нам, ваше благородие! — за всех ответил, выступая вперед, седобородый старик. — Дай нам, мы рассудим их своим судом.

Он вернулся в дом и приказал вывести Артюшку и Георга на улицу. С высокого крыльца они были столкнуты, как в омут, в толпу, и ревущая толпа поглотила их.

Комиссара офицер решил судить сам.

Звеня шпорами и брэнча шашками, вышли в дымящийся вечерней прохладой сад, где уже на застланном чистой скатертью столе были расставлены закуски.

Два казака с шашками наголо стояли по бокам Егора...

— Дядя, что бы ты со мной сделал, если бы я попал в твои лапы? — не сводя глаз с пленника, спросил офицер и потянулся.

— Я тебе, племянничек, вырыл бы яму втрое глубже этой, — ответил Егор и, вздохнув полной грудью, в последний раз оглядел сад.

— Молодец! — весело крикнул офицер, вскочив и хватаясь за эфес шашки. — Выдать ему стакан спирту...

Ординарец из фляжки налил полный стакан и подал Егору, тот хватил обжигающую влагу залпом и поблагодарил.

Начался допрос: комиссар держался мужественно.

Казаки свалили Егора, спустили с него штаны, заворотили на голову холшовую рубашку и принялись сечь в две плети, в концы которых была вплетена медная проволока.

Офицер рылся в объемистом комиссарском портфеле. Быстро просматривал и бросал ординарцу старые приказы, арматурные списки, доклады, мандаты, — вдруг из пачки истертых бумажек выпала фотографическая карточка... Офицер схватил ее и остолбенел: на карточке был изображен он сам с младшим братом. На обороте еле можно было разобрать вытершуюся надпись: «Дорогой мамусе от Пети и Тимь».

Егор после казни старухи хотел переслать карточку в чека, но потом как-то забыл об этом, и она провалялась в его бумагах четыре месяца.

Ошеломленный офицер забыл о допросе и обо всем на свете... Как могла семейная карточка попасть в чужие руки? Хотя из дому он давно не получал писем, но был уверен, что отец и мать живут безвыездно в Петербурге.

— Перестаньте, вы его насмерть запорете! — остановил он вопревших казаков и, наклонившись к распростертому и уже переставшему стонать комиссару, принялся трясти его за плечо: — Послушай, откуда у тебя эта карточка?

Егор не поднял головы, его бока тяжело ходили.

— Скажи, приятель, как, как она к тебе попала? — холодея, крикнул офицер ему в самое ухо и почувствовал, как у него начинает дергаться щека.

Комиссар поднял залитое кровью и замазанное землей лицо. Он увидел в руках офицера карточку и сказал:

— Подумай.

— Скажи... Я отпущу тебя на свободу, награжу деньгами. Егор стонал и не отзывался.

— Говори, сволочь, или я вытяну из тебя жилы... Где, где ты добыл эту карточку?

— Подумай,— опять глухо выговорил Егор.

— Плетей!

По широкой растворженной спине и заду опять зашлепали, разбрызгивая кровь, плети. Шкура свисала клочьями.

— Стоп!— приказал офицер.— Он так сдохнет, а я должен узнать от него правду во что бы то ни стало... Мы заночуем тут, а утром возобновим допрос.

Егор был взвален на шинель и отнесен в арстантскую.

Ночью член хуторского совета солдат Дударев топором зарубил караульного казака и на горбу утащил Егора за хутор в болото. Там они, перебираясь с кочки на кочку и питаясь ягодами, прожили неделю, пока Егор оправился. Потом решили пробираться потихоньку в город. Шли ночами, минуя дороги и обходя хутора.

...Егор немало потратил усилий, пока ему удалось поймать председателя марьяновского совета Ежова, который и был привезен в город.

В солнечный воскресный день Егор Ковалев вывел за город с музыкой и песнями весь гарнизон, выстроил его и начал говорить речь, во время которой он несколько раз распоясывался, вздергивая рубаху и показывая солдатам свою почерневшую, как чугуна, спину. Оборвав речь, так как не в силах был терпеть, он подбежал к ползющему на коленях Ежову, и его драгунская шашка заблестала: он оттяпал изменнику сперва руки, потом ноги, потом голову.

ВЗЯТИЕ АРМАВИРА

Летом и осенью — речь идет о восемнадцатом годе — Армавир несколько раз переходил из рук в руки.

Повествуую о самом незабываемом.

Сводно-офицерская, или, как потом ее звали на фронте, «Золотая дивизия», вломилась в город и укрепилась в нем. Отсюда Деникин намеревался сокрушить рассеченную надвое Одиннадцатую армию.

Красному командованию Армавир был важен как железно-дорожный узел, связывающий баталпашинский фронт со Ставрополем. Вымученных непрерывными походами, но еще полных задора партизан тоже манили огни города: там всякий думал приодеться, перековать коня, там — отдых, баня, жратва.

Городских больших и маленьких буржуев, натерпевшихся страхов при большевистском режиме, страшила одна мысль о возврате красных, и они из кожи лезли, помогая Добровольческой армии, и даже выставили на фронт роту своих сыновей.

Приказ:

— Взять город.

Штурм

отбит.

Приказ:

— Повторить атаку.

Штурм

отбит.

Партизаны ворвались было в окраинные улицы, но, опрокинутые лихой контратакой офицеров, замесив пыль мостовой своей кровью, бежали, теряя орудия, оркестры, знамена. Кавалерия далеко гналась и рубила отстающих.

Ночью по степи опять скакали ординарцы с приказом реввоенсовета армии взять город во что бы то ни стало.

В долине реки Урупа ночевал один из потрепанных полков.

Командир был убит накануне, его помощник, монах Варавва, на рассвете, с получением приказа, поднял партизан на митинг.

— Ну, како мыслите, братия?

Партизаны, озлобленные большими потерями последних боев, приказали кашеварам тушить кухни и заявили:

— Завтракать будем в городе.

Построились и выступили поротно.

Пересекли долину.

С пригорка завидели церковные, сияющие на утреннем солнце кресты, фабричные трубы, остовы сгоревших домов.

К городу с трех сторон в тучах пыли подходили полки.

В синем небе за клубились первые разрывы шрапнели.

Варавва шагал впереди, уперев в грудь седой щетинистый подбородок. В недавнем бою пуля перервала ему горло. Рана быстро заплыла и подсохла, но шея онемела и головы поднять он уже не мог. Узенькое, рукава по локоть, базарной работы пальтишко обтягивало его могучую спину. По самые брови была нахлобучена вытертая плисовая скуфья, ноги в опорках, на поясе — бомбы, заржавленный наган, широкий, как бычий язык, нож, и бутылка с водой.

Лица солдат были суровы. Через загар пробивалась сероватая бледность. Пахло вздымаемой сапогами холодной пылью.

Шли под огнем колоннами, не перестраиваясь. То и дело ротными командирами подавалась команда:

— Сомкнись.

Пустырь, кучи мусора и ржавой жести, серые заборы.

Сквозь треск и грохот прорывался безумный визг посеченного пулеметом поросенка.

Из пролета улицы густо, со свистом летела шрапнель, хлестала картечь и, мигая золотыми глазами, железным хохотом захлебывались пулеметы.

Головная рота дрогнула, замешкалась, и ряды перепутались.

Тогда Варавва повернулся к полку и, откинувшись всем корпусом, чтобы видеть солдат, хрипло крикнул:

— Голиафы, вперед!

И опять широко зашагал, слыша за собой, как стук большого сердца, тысячный гулкий шаг и хрипкое дыхание полка.

Кто-то завел высоким рыдающим голосом:

Цыганка Галька,
Цыганка Галь,
Цыганочка черная,
Ты мне погадай...

Музыканты ударили в пустые ведра и котелки. Голоса завертелись в песне, как бумажки в вихре:

Цыганочка черная,
Дай, дай, дай...

Полк, задохнувшись, оборвал песню, быстро развернулся, бросился вперед и поднял на штыки передовую цепь противника.

Партизаны ворвались в город со всех сторон.

Улицы были забаррикадированы ученическими партами, плюшевыми диванами, ящиками с фруктами.

Партизаны крались, прячась за выступами домов, через проломы в заборах и проникали во дворы, подлезали к баррикадам и метали бомбы,— в снопах огня взлетали тряпки, щепки, камни мостовой.

Офицеры защищались до последнего. Самые храбрые из именитых горожан стреляли по наступающим из окон и с чердаков.

Бой кончен.

На баррикадах трещат разбиваемые ящики с фруктами, запекшиеся от крови и пыли рты победителей жуют айву и обсасывают кисти светлого винограда.

Санитарные линейки собирают раненых и убитых.

Прямо на улице казнят попа, захваченного с дробовиком в руках.

Варавва, уже одетый в офицерский китель, в кругу полчан отхватывает гопака.

Бойцы, гогоча и матерясь, читают наклеенный на фонарный столб вчерашний приказ начальника гарнизона:

«Во всех церквях г. Армавира после божественной литургии приказываю отслужить панихиду по бывшему императору Николаю II, павшему жертвой грязных рук большевиков».

Буржуи со всего города были согнаны на площадь,— тысячи полторы голов. Под охраной штыков они стояли, как гурт скота. С минуты на минуту должен был приехать большой начальник и распорядиться — кого в тюрьму, кого к стенке, кого на работы по рытью могил и окопов.

Мимо проходила кавалерийская бригада. Неожиданно из строя вылетел ингуш Хабча Чотчаев и, ворвавшись в гущу врагов, с визгом принялся сечь их плетью по глазам: он мстил за убитого на приступе друга Халу Уцаева.

ПИСЬМО

Братец Фомушка!

Мы о тебе, когда бою нет, частенько вспоминаем. Сами, которые лежали в лазарете, и сознаем — не сладко. Ты не расстраивайся, а скорее выздоравливай, чего тебе все и желаем.

Описываю наше прохождение службы.

В батарею прислали комиссара Захарчука, ты его, хренка, знаешь: Титаровской станицы, рыжая кобыла Гараськи под ним ходит. На митинге Захарчук нам и говорит:

— Клянусь до гроба, я с вами рука об руку. Я предан советской еласти костями, душой и телом. Я знаю все боевые задачи высшего командования. Долой угнетателей! Пролетарии, соединяйтесь!

Ладно.

Вот выступили на станицу Невинномысскую. Ожидаем, с какой стороны покажется противник. Не прошло время один час, как последовало донесение: неприятель наступает по всему фронту.

Тут тебе кадетские пластуны, тут разворачивается с флангов кадетская кавалерия, тут — вот он! — кадетский бронепоезд.

Бронепоезд меня заинтересовал.

Командир Никита Семенович подает команду:

— Батарея, готовься к бою... Прицел восемьдесят, трубка семьдесят восемь... Наводить точно... Огонь!

Га-гах.

Полетела моя консерва кадетам на завтрак. Влепил прямо в тендер. Из передовой цепи по телефону передают: попало. А я и так вижу: попало, аж пар зашипел.

Вот Митька Дягель грохнул, тоже попало.

Видим, сквозь пыль, рельсу крутит штопором, и, вот тебе, поехала железная дорога кверху. Никита Семенович смотрит в прозрачную трубу и смеется:

— Молодец, Половинкин! Молодец, Дягилев! Бейте еще!

Тут кадетская конница запыхала, строит лаву. Тут пластуны из межевой канавы лезут в атаку. Захарчук наш замотался. — Товарищи, надо отступить. Товарищи, побежим, пока не поздно.

Но на него некогда было оглядываться.

— Батарея, беглый огонь! Пулеметы, огонь!

Пошла тут вот такая, начали мешать небо с землей.

Кадеты побежали.

Наша пехота поднялась, вперед! Кавалерия, вперед! Батарея, известно, на передки и вперед! Ура, ура! Бронепоезд показал нам хвост и ушел. Пластуны сдаются, офицеры стреляют и колют себя, но не сдаются. Захватили обоз, патроны, муку, 120 пластунов — они борщ варили, борщ достался нам. Давно мы не видали горячей пищи, две недели питались консервами, и то только тогда, когда они были, вот покушали, теперь можно воевать дальше. Прибегает Захарчук с конным ведром.

— И мне, говорит, налейте.

— А ты где был? — спрашиваем.

— Я отстал, животом расстроился.

Напомнили мы ему, клялся идти с нами рука об руку, выплеснули остатки борща на землю, ему и одной ложки хлебнуть не дали. Кругом смеялись.

Пошли посмотреть поле брани, прямо Бородинская битва. С убитого черкеса снял я маузер с золотой наческой. Выздоровливай, Фомка, скорей — маузер будет твой.

Подарков жители наташили — арбузов, сметаны и так далее. Музыка играет народный гимн. Какой восторг и трепыханье кругом... Девки пришли, одна подходящая: хорошего роста, в желтых гетрах и глаза такие серые, но не удалось с ней поближе познакомиться.

Командир передал — трогайся.

Прибыли на отдых в хутор, забыл его правильное название.

Ночью шестером, комиссар Захарчук седьмой, отправляемся в разведку. Чистое поле, все тихо, спокойно. Туман такой — ушей коня не видно. Захарчук ежится и говорит:

— Ох, ребята, смотри зорко. Кадет хитрый, может сквозь наших ног пролезть.

Ладно.

Дело к свету. Пробираемся балкой по-над кустами. Впереди заржали лошади, разговаривают. Что такое? Мы приготовились. Голова в голову съезжаемся с кадетским разездом. Их шестеро, нас шестеро — Захарчука в случае чего и считать нечего.

— Какого полка?

— Уманского.

Эге. По голосу и по бороде признаю дядю Прохора Артемьевича.

— Это ты, дядя Прохор?

— Я.

Захарчук шумит:

— Стреляй, кадеты.

— Ты, Сенька?

— Так точно,— отвечаю я дяде.

— Стреляй!..

— Перестань гавкать,— говорю я Захарчуку.— Это есть наши станишники, интересно нам про домашность узнать.

Захарчук крутнул свою рыжую кобылу и осадил за наши спины, ждет, что будет дальше.

Съехались на три шага. У них карабины наизготовку, и у нас карабины наизготовку. Ну, поздоровались. Дядя Прохор Артемьевич, Сметанин, Васька Пьянков, Федя Стецюра, что в атаке под хутором Малеваным вгорячах отрубил хвост своему жеребцу, и двое незнакомых.

— Давно из станицы? — спрашиваю.

— Не так давно, но порядочно.

— Как там моя баба?

— Скоро родить, со степью управилась.

— Как служба?

— Ничего,— отвечает дядя.— Жалованья тридцать рублей, сахару и табуку не дают. Когда будет конец этому?

— Сдавайте оружие, вот вам и конец.

— Мы погодим сдавать оружие, вы сдавайте.— А у самого глаза, как у сыча, сверкают.

— И мы погодим,— отвечаю.

Поговорили еще немного, угостили их папиросками и разъехались. Ни нам никто, ни мы никому.

Еще был бой у станции Овечка. Туго нам пришлось. Боевые обстоятельства предсказали нам отступить. Фронт растерялся, везде оказались прорывы. Занялись бегством, кто кого перегонит. На каждом сапогу по пуду грязи, ноги потеряли до мослов, силы нет бежать. На переправе через реку Кубань так загрузили паром, что он пошел ко дну и пушки ко дну, а люди поплыли. Смешно, но смеяться некогда. Жалко было смотреть на такую картину, когда товарищи плыли по Кубани и стонали.

— Спасите, помогите...

Я сам вылез и Дягиля за русые кудри вытащил,— он нахлебался, ему оставалась одна минута до смерти.

Ушли живыми, все хорошо.

Стоим на отдыхе в станице Суворовской, пляшем на вечерах, калечим девок, хлещем самогон.

Жить пока можно.

Какая в лазарете пища и порядки? Скорее поправляйся и приезжай, я по тебе соскучился, и все товарищи поминают. Ожидаю в скорых числах вашего ответа.

С поклоном С. Половинкин.

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ ПУШКИ?

«Мы, бойцы 1-го батальона Интернационального полка, собрались на митинг и обсудили постановление высшей власти о размене с Германией и Австрией военнопленными старой армии.

Добровольцев, желающих покинуть наши красные ряды и возвратиться на свою германскую и австрийскую родину, в батальоне не оказалось.

Некоторые навстречу оратору говорили:

— Сперва расправимся с русскими буржуями, потом все вместе пойдем свергать с золотого трона мировую буржуазию.

Пауль Михаэльс, как много раз он ранен и имеет преклонный возраст, командирруется согласно нашего решения по месту жительства, в город Гамбург.

Даем ему наказ.

Товарищи и братья, рабочие и крестьяне всего мира! Сейчас и ребенку стало ясно, в единении наша сила на победу над общим врагом капиталом. Мы не щадим ни жизнями, ни семьями, ни родным кровом и идем напролом. Али вы не слышите наших слез, стонов и проклятий? Мы истекаем кровью в горах, лесах и степях необъятной России. Али вы не слышите, о чем гремят-говорят наши пушки? Близок, близок день полной победы над тиранами, генералами, помещиками и прочей мелкой сволочью, сосущей соки трудового народа. Своими кулаками мы стучимся в ваши груди. На помощь! Братья, на помощь! Разбирай оружие, и за дело. Если нужно будет нашей силы, то, покончив со своими, выйдем вам на подмогу и пойдем хоть на край света. Клянемся не свертывать красных знамен, пока на земном шаре не будет казнен последний паразит! Ни шагу назад! Да здравствует Красная армия мозолистых рук всего света!»

Ветхий листок резолюции подшит к архивному делу. На листке, как ржавчина, мазки засохшей глины. Документ волнуется речпе всякой поэтической выдумки.

САД БЛАЖЕНСТВА

В глухом, заросшем травой переулке, в неприглядном покосившемся домишке доживал свой век престарелый чиновник Казимир Станиславович. За сорокалетнюю службу в акцизном ведомстве он получал небольшую пенсию. Давным-давно старик отмахнулся от житейских сует и никуда со двора не выходил. Сношения с внешним миром, главным образом с базаром, подерживала верная подруга его жизни — Олимпиада Васильевна.

Ютились они в полутемной кухне, а солнечное зальце и две комнаты, заставленные фикусами и сухими кустьями, были отведены пернатым. На подоконниках — желтый песок, корытца для корму и питья, тарелки с зеленью и приспособленные для купанья чайные блюдца. Клетки под окнами, по стенам и под потолком; клетки низенькие, четырехугольные, круглые и высокие с куполообразным верхом, без жердочек и с жердочками в несколько ярусов; клетки, обтянутые редкой холстиной или промасленной бумагой; клетки в сенях и в саду — к дому примыкал сад, черен и дик.

Птицы, если это не была пора линьки, поднимали веселый гомон спозаранок.

Первыми встречали рассвет голосистый дрозд Залетный или соловушка Чародей — громовый раскат сверкающих трелей; от его песен, казалось, дрожали стены дома. Встряхивался и, прочищая горло, пробовал голос старый кенар по прозвищу Петья, столь искусный в своем деле, что по заказу высвистывал «Хаз-Булат», «Тройку», «Коль славен». Сквозь гущу разросшихся под окнами акаций проридался первый солнечный луч. Щеглы, чечетки, лазоревки и иные немудрящие птахи на разные лады славили утро.

Птицы будили стариков.

Казимир Станиславович в туфлях на босу ногу и в заплятанной-перезаплатанной форменной шинели внакидку обходил

свои владенья, ласково улыбаясь и ворча и жмурясь спросонья. Драчливые лазоревки и сорокопуты уже ссорились у корытца с кормом. Жаворонки купались в песке, насыпанном в ящик из-под гильзы. Пара молодых клестов, резвясь, сталкивала друг друга с жердочки. Зяблики и славки, что жили в открытых клетках, гонялись по комнатам за мухами и лепились к бревенчатым стенам, выклеывая из щелей тараканов.

Казимир Станиславович наскоро умывался и, шаркая туфлями, бежал на кухню завтракать.

— Как, по-твоему,— спрашивал он свою подругу,— не поставить ли Баяну еще одну жердочку? Или ему так просторнее? А?

Олимпиада Васильевна разливала чай и обычно молчала, а Казимир Станиславович продолжал:

— Дичок что-то заскучал... А как он еще позапрошлую неделю пел! Боже мой... Талант, талант... Не обтянуть ли его клетку полотном? Может быть, он хочет побыть в одиночестве?

— У меня, батюшка, не своя фабрика. Где я наберусь полотна? И так все тряпки перевела, со стола смахнуть нечем.

— Экая ты заноза! И как это язык повертывается такое сказать? Оторви рукав от моей нижней рубашки и выстирай, вот тебе и полотно... Зачем мне рукава? И без рукавов проживу.— Он сиял и заливался заморенным смешком.

— Хорош, хорош, басурман,— горестно взирая на него, качала седеющей головою старуха.

На позывный свист хозяина живо налетали щеглы, снегири, синицы, чечетки; садились ему на плечи, на руки, на голову, сновали по столу, подбирая крошки.

Случалось, под окнами пропитой голос тянул:

— Чинить тазы, ведра, самоварные трубы.

И — целая беда, если холодный кузнец принимался орудовать где-нибудь поблизости. Казимир Станиславович морщился: яростный грохот молотка и лязг железа оскорбляли нежный слух птиц.

— Степан Перфильев или слободской Горбыль... Не могу я видеть эти пьяные морды. Пойди, Олимпиадушка, дай ему гривенник на похмелье, он и провалится.

Олимпиада Васильевна спраживала бродячего кузнеца, а заодно прогоняла с тротуара и мальчишек, играющих в бабки или в орлянку.

Последний глоток жиденького кофе, и завтрак окончен.

Дрозд Сударик тянулся с плеча, потом, осмелев, прыгал на подставленный палец и принимался быстро выбирать из усов хозяина хлебные крошки. Казимир Станиславович прихватывал лапку другим пальцем и так, на руке, уносил Сударика в комнаты.

В свете и хлопотах летели дни, годы...

Старик кормил и купал птиц, подстригал сломанные и искривленные коготки, чистил клетки, устраивал свадьбы, с перышка кормил птенцов желтком и тертой выдержанной в молоке репой, к старым певцам для выучки подсаживал молодых, гонял по саду злейших своих врагов — кошек.

Однажды Олимпиада Васильевна вернулась с базара в большой тревоге.

— Батюшки, светы мои... Немцы нам войну объявили!

— Отстань, старая, всегда ты с пустяками, — отмахнулся раздраженный Казимир Станиславович. — Несчастье: у Светланы судороги ног и палец нарывает, должно быть, заноза. Оберника у ней жердочку сукнецом... Черный дрозд заболел: второй день не ест, не пьет. Бузины надо... Или наловила бы ты мне пауков да мокриц — при запорах помогает.

— Где я тебе их наловлю? Я — не воробей.

— Ну купи миндального маслица. Настою в масле мучных червей и покормлю дрозда. Авось...

— Хорош, хорош, басурман.

Железной поступью прошла война, грянула революция, в городе не раз сменялись власти. Казимир Станиславович знать ничего не хотел. Блаженствуя, слушал своих певцов, радовался ихними радостями и печалился ихнею печалью. Прекратили выдачу пенсии. Казимир Станиславович встретил эту весть равнодушно. Частенько, кротко улыбаясь и заглядывая своей старушке в добрые глаза, он говорил:

— Олимпиадушка, зачем тебе подвенечное платье? Если я и протяну ноги, так замуж тебе не выходить. Лучше меня не найдешь. — И он седым усом шаловливо щекотал ее морщинистую шею. — Зачем нам перина, сундуки, какие-то вазы, сковородки? Последний раз ты пекла блины года три назад, когда Перун из-за ревности выключил глаз Заливистому... Заливистый... Как он пел... Как щелкал... Какие трели, и рескат, и дробь пускал... Господи! — Он стонал и смахивал со щеки мутную слезинку. — Нет, нет... Таких соловьев больше нет, нет и не будет... Зачем тебе ковровый платок? Не молоденькая. Зачем обручальное кольцо? Зачем нам стулья? Проживем и без стульев.

Старьевщикам за бесценок пошла всякая всячина. Сами жили кое-как и кормились кое-чем, спали на полу на каких-то лохмотьях, но птицы по-прежнему ни в чем не знали недостатка: кормушки их были полны, клетки вычищены, сквозь акации блистало солнце.

Многотысячная армия обложила город.

Всю эту ночь Казимиру Станиславовичу снились кошки.

— Гром, что ли? — спросил он, выглядывая в кухонное окно.

— Хорош, хорош, басурман, из ума выжил... Какой тебе гром? Из пушек палят.

— Кто палит? Из каких пушек?

— Да ну тебя...— махнула рукой Олимпиада Васильевна и побежала к соседке занять муки на подболтку.

Казимир Станиславович копался в саду — червей искал,— когда в дом ударил снаряд: в туче пыли проблеснул желтый огонь, и в один миг ветхое строение было охвачено пламенем. Отброшенный силою взрыва в лопухи и репейник, старик смотрел на горящий дом в оцепенении и не в силах был двинуть ни рукой, ни ногой...

ИЗ ТУРЕТЧИНЫ

Казак Загинайло, дослужившийся за войну до чина подпоручжего, щелкал себя по щегольскому сапогу плетью и бойко рассказывал о своем побеге из турецкого плена:

— ...Иду неделю, иду вторую, иду голодный... Горы, снега, все тропы и дороги позаметало, позамело. Иду. Орудия бухают. Ну, думаю, фронт недалече. Сердце радостью облилось. Иду. А ноги уж и не шагают. В ущелье речка гремит, над речкой аул. И до чего мне кушать захотелось, ну, крутит кишки, как клещами. Пропадать — так пропадать, что будет, а глядишь, чего и пожевать достану. Дождался ночи, спускаюсь... Ни огонька, ни визгу... Захожу в саклю — пусто, в другую — пусто. Весь аул облезил и, вот тебе, ни живой души, ни крохоточки хлеба. Разложил огонек, и так чего-то мне неудобно. Дай переобуюсь. Не тут-то было, вмерзли ноги в сапоги, хоть отруби да выкинь. Сидеть у огня, думаю, не годится. А пушки, ну, совсем близко грохочут. Мне умирать не любопытно. Мне любопытно на родину вернуться. Помолился пресвятой богородице и кое-кому из самых главных угодников и — ходу. Иду. Стоит под луной гора крута да высока, — поглядеть, заломя голову, — и втемяшилось мне забраться на нее. Оттуда, смекаю, и позицию и свой курень на Кубани увижу: така высоченна гора. Лез-лез, лез-лез, снега подо мной подломилась, гу-гу, обвал... Закружило, завертело меня и обратно под аул в речку кинуло. Вылез, отряхнулся, как пудель, руки в крови, морда в крови, а на коленках и локтях мясо до мослов ободрано. Что тут будешь делать? Посушил на ветру лохмотья и опять на гору... Лез-лез, лез-лез, снова дрогнули снега, и снова меня в речку совлекло. Хоть плачь, хоть смейся. Больше суток я на ту проклятую гору царапался и все-таки влез, влез на самую вершину... Мать честная! Вот, они, шагнуть раз, турецкие окопы. Под горой, чуть видно, наша позиция. На турок мне глядеть не любопытно, любопытно

мне, как бы поскорее к своим. Поднимаюсь во весь рост и кричу: «Братцы!» А до братцев верст пяток с гаком, где ж там услышать? Турки загалдели и ко мне. Шалишь, кардаш, теперь я научился с гор кататься. Перекрестился, подвернул под себя потуже полы шинели и в свою сторону с обрыва — бух! Крики, стрельба, снежная пыль надо мной столбом. Как летел до своих окопов, не помню. Очнулся аж в тифлисском лазарете...

— Лихо.

— Бог не без милости, казак не без счастья.

— И язык турецкий вы, господин подхорунжий, изучили? — скроив почтительную мину, спросил Захар Догоняй.

— Не так, чтобы очень, разве выпросить или купить чего, а украсть и так можно.

Слушатели дружно рассмеялись.

ПОБРАТИМЫ

Они встретились в Кронштадте, на Якорной площади.

Арсений говорил скорую речь среди многотысячной волнующей толпы моряков, солдат и портовых рабочих. Военный моряк французской службы Шарль Дюмон, что выделялся в толпе своей шапочкой с красным помпоном на макушке, слушал русского моряка с волнением: молодое, смуглого румянца лицо его было оживлено, осененные длинными ресницами глаза сияли.

Дружные крики: «Правильно! Правильно!» и хлопки жестких ладоней перекрыли последние слова оратора. Шарль протискался к нему и принялся энергично трясти, точно из чугуна литуя, лапу русского моряка.

— Bravo, bravo, camarade! (Браво, браво, товарищ!)

— Bonjour, mon vieux. Comment que ça va? (Добрый день, приятель! Как дела?) — приветливо спросил и Арсений. Он, моряк старой службы, знал с сотню иностранных слов, которых ему за глаза хватало для любого разговора.

Прогуливаясь по Набережной, они переговорили обо всем на свете — о русской революции и о суточном порционном, о грядущем мире и подводных лодках, о последних волнениях во французской армии и о портовых девчонках: где-то в Алжире и Марселе у них нашлись общие приятельницы, чему оба немало смеялись.

Арсений повел гостя на свой крейсер, где Шарля все привело в восхищеенье: и то, что все вредные офицеры казнены или списаны на берег; и то, что на корабле самими моряками поддерживается образцовый порядок; и то, что рядовые моряки живут на равную ногу с оставшимися лицами командного состава, едят из одного котла и курят одинаковый табак. Шарль Дюмон не захотел возвращаться на свой корабль. Арсений принес ему из вещевого баталерки комплект обмундирования и подарил личного боя маузер.

Они подружились.

Всюду их видели вместе,— и на митингах, и на вечеринках, и в театре, и на лекциях, и на бурных заседаниях кронштадтского совета. Шарль рьяно изучал язык революционной страны.

В июльские дни они вместе маршировали по Невскому, на митинге слушали Ленина, перед особняком Кшесинской присягали на верность революции. Вместе они участвовали в штурме Зимнего дворца, вместе в конце семнадцатого года с одним из первых красногвардейских отрядов отправились и на фронт; всю зиму они вместе мыкались на бронепоезде по Украине и Дону, сражаясь с разномастными бандами контрреволюции. Под Ростовом бронепоезд был спущен под откос, а Арсений тяжело контужен.

Потрепанный отряд балтийцев отозвали в Харьков на переформирование; Арсений, прихватив с собой друга, уехал на поправку к себе в деревню, под Пензу, где у него еще живы были старики.

Дело близилось к весне.

Арсений быстро поправлялся и уже стал похаживать в сельсовет, наводя там порядки, а Шарль с жаром доучивался русскому языку у деревенских девок и частенько возвращался домой под утро.

Весною восемнадцатого года на защиту контрреволюции выступил чехословацкий корпус. По городам и селам зашевелилось воронье, по всему Поволжью забушевали грозы восстаний. Оба моряка пристали к проходившему мимо партизанскому отряду.

С отрядом, принимая бои, они упяtilись к Волге, сдали Сызрань, отступили до Самары.

По реке Самарке стлался предрассветный туман.

Нарытые по окраине города окопы были полны спящих людей: спали вымотанные последними боями латыши и матросы; спали лишь накануне прибывшие татары уфимской дружины. По дворам и домам, примыкавшим к фронту, сморенные смертельной усталостью и только что смененные с позиций, спали бойцы самарской дружины коммунистов; успокоенные обманчивой тишиной, беспечно спали в своих норах секреты и заставы.

Вдруг у самых окопов — осторожное дыхание паровоза...

Зарывшись в солому и посапывая, спал Шарль. У него в ногах, засунув рукав в рукав и обняв карабин, сидя, спал Арсений. Сознание его было заткано паутиной каких-то летучих, тревожных снов... Вдруг сердце-вещун: тук-тук... Арсений кулаком протер глаза и, выглянув из окопа, ахнул.

— Чехи,— крикнул он, выдергивая из-за пояса бомбу,— братва, чехи!

Через мост осторожно переползал неприятельский поезд — паровоз и несколько открытых платформ с установленными на них пулеметами и двумя орудиями. Под прикрытием поезда мост перебежали густые цепи чехов в своих шапочках пирожками.

В окопах зашевелились.

В следующее мгновение тишина июньского утра была разорвана залпами.

Весть о неприятеле искрой просверкнула по всей линии фронта от заводских позиций до косы, образуемой слиянием Волги и Самарки.

Взыграла паника.

Из окопов выпрыгивали и бежали сломя голову оробевшие, увлекая за собой отважных.

Минута, другая — и с угла Заводской и Уральской улиц, по квадратам кварталов, чехи стали быстро распространяться по городу. На подмогу им из темных щелей вылезли лабазники, эсерствующие юнцы, черная сотня и офицеры подпольной организации.

Защищались дружинники, захваченные в клубе коммунистов; защищался штаб охраны; на улицах защищались отдельные герои, но участь города была уже решена. Заброшенный гранатами, сдался клуб коммунистов, и уцелевших защитников его рыжебородый Масленников вывел на улицу под белым флагом.

Волна террора обрушилась на город.

Захваченных в плен бойцов пачками расстреливали на косе, у плашкоутного моста, у вокзала, в Запанской слободке; топили в Волге и Самарке, вылавливали по дворам и предавали самосуду.

Моряки — человек пятнадцать — отходили по улице, отстреливаясь. Как вода, напорившись на камень, разбивается на обе стороны, так и моряки разбились, наткнувшись на дом, из окон и с крыши которого по ним загремели выстрелы. Двое остались на мостовой, посредине улицы; пулеметчик Аксютин был застрелен в подъезде каким-то мальчишкой-гимназистом; еще один растянулся, уронив голову на порог чужого дома; Шарль был схвачен дворниками, остальные бросились враспынную.

Арсений забежал во двор — кучка падких до зрелищ, полураздетых обывателей расступилась пред матросом, что в три прыжка перемахнул двор и нырнул в пролом в заборе. Перебежал еще двор, с маху на руках перекинулся еще через забор, под его коваными сапогами прогремела железная крыша, под ним обрвалась водосточная труба. Он упал куда-то в сад, прямо в сиреневый куст, в кровь испоров руки. Перелез еще через один, усаженный гвоздями, забор, оглядевшись, нырнул в дровяной сарай и — задыхающийся от волнения и быстрого бега — упал на дрова.

Все было кончено, бежать было некуда... Бомбы все до одной

раскиданы; приклад карабина расколот пулей; не могли больше сослужить службы кольт и наган, патроны из которых были расстреляны, расстреляны все до последнего. Перебрав скороговоркой всех божьих угодников и святителей до семьдесят седьмого колена, моряк закурил... Но напрасно он думал, что оторвался от преследователей — его искали, искали и в саду, и по дворам, и по всем норам. Вот он слышал лающие голоса, звон шпор, топот многих ног... Затаптал окурок и, схватив березовое полешко, — с сердцем, бьющимся в самом горле, — встал за дверной косяк... Идут, прошли... Но один — судьбы подарок! — завернул в дровяник и у самой двери рухнул, сраженный поленом.

Через несколько минут, одетый в длинную до пят офицерскую шинель, Арсений вышел на улицу и замешался в толпу.

Город ликовал.

Над городом полыхал праздничный перезвон церковных колоколов, улицы были полны разряженными лавочниками, с балконов на победителей сыпались цветы и крики приветствий, гремели военные оркестры. При большевиках памятник Александру II был задрапирован досками. Чьи-то руки уже сдирали эти доски, и чьи-то лбы уже стучались о гранитный пьедестал «царя-освободителя», а там, на окраинах, еще шла расправа с побежденными.

Арсений шел, как пьяный. Жажда мести разъедала его сердце.

Привлеченный криками мальчишек: «Ведут, ведут!» — он остановился. По дороге, окруженная кольцом конвоя, двигалась партия пленных, среди которых он сразу узнал дружка: обрадовался, чуть не крикнул, но сдержался и, втянув голову в плечи, упятился на тротуар, за спины других. Шарль шагал, потупив залитое кровью лицо. Арсений без думы пошел следом.

Арестованных ввели в дом, у подъезда которого размашисто, мелом было написано: «Управление коменданта города».

Решение созрело мгновенно.

Арсений — мимо часового — вошел вслед за арестованными в просторный зал. Комендант города, в перевитых двухцветной ленточкой погонах полковника, сидел за столом перед зеркальцем и брился. Арсений, четко отбивая шаг, подошел к столу и принял под козырек:

— Поручик триста девятого Овручского пехотного полка... Честь имею, господин полковник, явиться в ваше распоряжение...

Полковник, не прекращая своего занятия, скосил глаза и внимательно осмотрел стоящего перед ним человека в офицерской шинели, из-под воротника которой выбивался ворот матросской форменки.

— Ваши документы?

Арсений подал истертый на сгибах послужной список, из которого явствовало, что он действительно является поручиком триста девятого Овручского пехотного полка Андреем Владими-

ровичем Озеровым, награжденным двумя георгиевскими крестами и уволенным со службы по демобилизации.

Полковник отер носовым платком чисто выскобленное лицо и подал руку.

— Очень рад. Садитесь.

Арсений сел в кресло.

— Вы, господин поручик, и в русском флоте служили? — неожиданно спросил полковник, не сводя с него светлых, холодных глаз.

— Нет, не служил.

— А это что за маскарад? — И он, перегнувшись через стол, вытянул у него из-под шинели ворот форменки.

Арсений заправил ворот обратно и спокойно ответил:

— При большевиках, господин полковник, всяко приходилось одеваться...

— Да, да, конечно, — согласился полковник и, сказав несколько фраз об изуверстве тевтонского племени, о кровожадности большевиков и о единстве задач, стоящих перед славянами, протянул руку: — Завтра, поручик, в нашем штабе вы получите назначение в действующую часть.

Арсений козырнул и пошел было к выходу, но, увидев прижатых в угол пленных, отшатнулся и повернул обратно к полковнику:

— Господин полковник... здесь... негодяй!..

— Что такое?

— Вашими солдатами задержан мерзавец, казнивший мою мать и сестру.

— Который?

Арсений подошел к кучке арестованных и грубо, за руку выдернул Шарля.

— Вот он!

— Не извольте, господин поручик, беспокоиться. Я прикажу немедленно расстрелять его, здесь же, во дворе.

— О, нет... На могиле матери я поклялся... Позвольте мне самому с ним расправиться! — И Арсений выхватил из кармана пустой кольт.

Полковник любезно согласился.

Арсений залепил другу по скуле так, что тот пролетел через весь зал и тяжестью своего тела распахнул дверь во двор. Арсений быстро выскочил за ним и, награждая его тумаками, повел куда-то в глубину двора.

Через полчаса они уже сидели на набережной в шумном трактире, пили чай и обсуждали план дальнейших действий. Убежать из города было не так-то просто: на все дороги и тропы были выставлены заставы, всюду шныряли военные патрули, проверяющие у всех подозрительных документы. В том же трактире они

познакомились с кочегарами буксирного пароходика «Сатурн». Арсений, решив сыграть ва-банк, открылся кочегарам во всем.

Ночевали дружки в трюме «Сатурна».

В трюме они сидели три недели, не высывая носа на белый свет.

Но вот капитан «Сатурна» получил приказание чешского командования доставить на фронт две баржи с патронами и снарядами.

Отправились в поход.

В ночь с первого на второе июля под Хвалынском, пройдя полным ходом линию фронта, транспорт «Сатурн» — под красным флагом — выплыл к советским берегам, где и был встречен с почестями. Красная армия нуждалась и в пароходах, и в патронах, и в снарядах, а еще более — в верных революции людях!

ФИЛЬКИНА КАРЬЕРА

Фильке Великанову под двадцать. За унылый рост и редкий голосок в слободке его прозвали Японцем.

Филька пылен, дробен, костляв как чехоня, рыло с узелок. С малых лет в работу втянут. Сезоны с отцом малярничал. Две зимы в приходской школе голыми пятками сверкал. Выгнали за озорство. С отцом дружба врозь. Убежал Филька из дому и нанялся в столярную мастерскую Рытова. Вскоре хозяин на своих же именинах опился политурой. Филька, имея беспокойство в сердце и трещину в кармане, укатил с эшелонем сибиряков под Перемышль, Крево, Молодечно. Команда разведчиков, тах-тарах, и с копыт Филька долой. В лазарете выпилили ему ребро и отпустили с военной службы по чистой. Ду-ду-у, пригрохал домой:

— Здорово, тятя.

Отец гнил заживо за печкой, в гнезде вонючего тряпья. Слушал-слушал Филька охи отцовские, тоска проняла. Купил мышьяку для крыс, самогонки банку:

— Пей, тятя, поправляйся.

Много ли слабому человеку надо? Дня через три схоронил Филька отца, распушил сундуки, купил гармонь. В синей суконной поддевочке нараспашку, в лакировках вышел к воротам на скамейку. Развел гармонь, колокольчиками тряхнул.

Пришла послушать бойкая солдатка Дарья, да и осталась, поворотила к Фильке свои милости обильные. Притащила узел с добром, швейную машину.

Дьяк-расстрига Ларионыч встретил Фильку на улице и говорит:

— Как я заведую подотделом вероисповедания и как помню твоего батюшку...

На другой день приедется Филька, нацепил крест георгиевский и — в исполком. Ларионыч своей рукой прошение вычурил,

нашептал что-то Фильке на ухо, и вдвоем шасть в исполком к наибольшему:

— Вот-с, товарищ Старчаков, глубокоуважаемый председатель, познакомьтесь... Сын трудового ремесленника, увечный воин, желает послужить народу, и подчерк подходящий.

Старчаков взглянул на почерк, на георгия, на жидкую филькину рожицу в паутине мелкого волоса.

— Инструктором можешь быть?

— Так точно, могу.

Резолюция стрельнула по прошению с угла на угол:

«Зачислить в штат разъездных инструкторов с 5/ХІ. 1918, испытание срок две недели».

.....
Пути-дороженьки расейские, ни конца вам нет, ни краю... Ходить, не исходить, радоваться, не нарадоваться. Заворожили вы сердце мое бродяжье, юное, как огонь. Приплясывая, бежит сердце в дали радoshные, омывают его воды русских рек и морей, ветры сердцу песни поют. Любы мне и светлые кольца веселых озер, и развалы ленивых степей, и задумчивая прохлада темных лесов, и поля, пылающие ржаными пожарами. Любы зимы, перекрытые лютыми морозами, любы и весны, разматывающие яростные шелка. И когда-нибудь у придорожного костра, слушая цветную русскую песню, легко встречу свой последний смертный час.

.....
Ямская пара крыла накатанный большак. В просторах стыл извечный расейский колокольчик. Филька кутался в реквизированный, выданный на поездку, тулуп, поминутно щупал под собой брезентовый портфель, туго набитый инструкциями, и бойко расспрашивал ямщика Петухова:

— И муки достать можно? А картошка почему? Молоко топленое тоже страх люблю...

Ямщик спал и всю дорогу тянул:

— Уууу... Эээээ... Уууу... Ыыыы...

На ухабах тыкался ямщик носом в щиток, встряхивался и разбирал вожжи:

— Ну, вы, треклятые...

Потом закуривал самодельную трубочку и, привстав, указывал кнутовищем:

— Вон, во-во-ооон пошли...

— Где? Чего?

От островка леса цепочкой трусили серые. Тоненько лил лиственный ветер. Белесые дали были безлики.

— Зверья развелось больше, чем скотины. На днях у тестя на калде корову сожрали, одну требуху оставили...

В исполкоме председатель с секретарем рылись в делах, чадила плошка-сальник, по полу валялись мужики — курили, батыжничали.

Филька вошел и окостенелым языком еле выворотил:

— Аяй, холодно у вас, насилу доехали.

Веселый голос из угла:

— У нас холодно, а у вас аль хрухта пушится?... Нда, он, этот мороз-от, сопли высушит.

Инструктор валенки у порога обивал. Мужичьи голоса в полутьме бубнили глухо, ровно ботала в ночном:

— С ковкой беда, жестель.

— Ковка ноне чего, и не говори...

— Ваш мандат, товарищ?

И еще кто-то вошел, крепко хлопнув дверью.

Огонек в плошке дернулся и сгиб. Разживляли-разживляли, не тут-то было, сало выгорело. Филька тревожно шупал одубевший нос, в темноте жал руку председателю:

— Собранье вот общее, согласно инструкции, да сала гусиного где бы раздобыть...

— Сала мы достанем, а насчет собрания надо подумать...

В дегтярной черноте загалдели:

— Чего тут думать на ночь глядя? Али останний час живем, дня не будет?

— Ништо... Выпча глаза... Не выгонка в самом деле.

— Товарищ, а, товарищ, такое слово есть — глашатай — к чему оно?.. Весь вечер жуем, не разжуем...

Ночевал Филька у попа.

Покладистый да разговорчивый поп о. Ксенофонт шелковую бороду на палец навивал, ложечкой в стакане играл, береженько вопросами обкладывал:

— Что в городе нового, да как Англия с Францией?

Филька усердно уминал блинчики, ватрушки, крендельки — протрясся с утра, а дорожный паек Дарье оставил: ведь любовь не хвост собачий. Булочки, варакушки хропал, пальцем рассеянно по столу водил:

— Европа, она что ж?.. Европа, она — сука, извините, с буржуазией заодно... Обязательно ее бить придется, иначе останемся мы при пиковом интересе.

Петухи давно отславили, морозные узоры светлели на окне, а Филька все вникал в инструкции, но туго. Азартно скреб под мышками, зло разбирало, и зачем эти европейские слова понатыканы? Черт об них клыки раскрошит... Когда в комнатушку вошла поповна звать гостя к чаю, Филька спал за столом, уронив голову на непонятные бумаги.

Утром сбили сход.

Всем селом целый день въедались в инструкции и плутали в кривотолках. Филькин обмороженный, вздутый нос вызывал у мужиков смех. Спасибо председателю Аверькину — от него инструктор узнал, как кандидатов выбирать, как давать высказываться, как голоса совать. Его неокрепший, мальчишеский голос тонул в гаме:

— Товарищи крестьяне, товарищи, прошу слова...

За четыре дня раскатил Филька у попа яиц сотню, расплатился по твердым ценам, поехал в Докукино, Мордвиново и так далее...

В город Филька воротился в нагрузе. Из сеней в избу обрадованная Дарья таскала мешки и мешочки, свертки и сверточки. Сам отгонял глазевших баб и мальчишек:

— Проходи, граждане, проходи, не выворачивай буркалы, узоров тут мало.

Чайничали втроем.

Филька приветливо угощал подводчика:

— Кушай, товарищ, не бойся, сыр из немецких колонок... Советская власть, она... Теперь у нас дело пойдет...

Мужик поглядывал на привязанную под окнами лошадь и почтительно дул в блюдечко.

— Есть у нас на Мамычевых хуторах мельница немудряща... Да-а... Работала наша мельница нефтой, до старого режима работала. Оно, по нынешним временам, к примеру сказать, поглядеть на ту нефту, и то нету... Да-а... Вот, товарищ, о чем я тебя хотел просить...

— Загляни, любезный, через недельку, поговорим.

Умылся Филька, переоделся и вышел на улицу. У исполкомовского подвхода догнал его Ларионыч.

— Привез?

— Чего?

— Брось дурака валять, али не знаешь чего?

— Святой водички, что ли?.. Нет, Ларионыч, вот те крест, святая икона, нет. Сам капли в рот не брал.

Трудно было поверить Фильке насчет капли-то: рыло облуплено, глаза дурные и голос в багровых трещинах. Ядовитую слюну глотнул дьяк, отрыгнул и плюнул инструктору на новый валенок:

— Не совслужащий ты, а подлец. Порадел, как сыну родному, а ты саботажем платишь? Тьфу, собачья огрыза. Тьфу, сукин ты сын. Тьфу, анафема...

Уперев глаза в исполкомовскую дверь, уклеенную обязательными постановлениями, Филька отслушал молча и, понурый, полез в организационно-инструкторский отдел. Заву отрапортовал:

— Прибытие мое благополучно, поездка увенчана успехом, а что касается Ларионыча, словам его веры не давайте, вышло у нас семейное недоразумение, и беспреречно возымеет он желание меня съесть.

Зав направил его к секретарю, а секретарь и припер:

— Представьте доклад в письменной форме на предмет отчетности.

Филька и так и сяк, но не отвертелся. В секретарской папке, жирно залитой чернилами, вчитался в чужие доклады «на предмет образца» и живой солдатской смекалкой сразу вник.

Дома похмелился Филька последней бутылкой и, выгнав Дарью, здраво рассуждая, что при серьезном деле баба — болона, навалился на доклад. С пятницы, с обеда, и до понедельника не вставал с табуретки, писал Филька доклад, хмурился и ругался. Жена ночевала по соседям и не раз с плачем стучалась в дверь:

— Отопри, ирод, от людей-то срамота.

— Уйди.

— Дьявол, изба-то кой день не топлена.

— Уйди, холера, не тревожь.

Глотая слезы, Дарья уходила, причитая на всю улицу:

— Господи-батюшка, и за что ты накачал на мою шею такого дурака?.. И как я с ним буду век свой вековать?

Два карандаша исписал Филька. Утрясся доклад в пятьдесят страниц с гаком, вот косточки доклада:

ДОКЛАД В КРАДЦАХ

«Вот начинаю писать.

Первый параграф прибытия моего приезда в савецкое село Растяпино того же уезда и волости, где пришлось мне сделать внушение, все бурно кричали долой, где и перевыбран председателем совета Семен Карнаухов, он хотя и зажиточный, но мужик добродушный, за власть стоит обеими ногами, что и затвердило общество.

Второй параграф посыпался на меня ряд вопросов по отделению церкви и пришлось мне создать вероисповедание, а еще был таков вопрос почему на престольный праздник исполком был пьян в полном составе: слух ни на чем не основан. А еще допросил о действиях исполкома за утекший срок стоит ли на платформе советской власти и трудового пролетариата *да стоит*. На подначку я выбросил лозунг *ура* возражений не было и все мирно разошлись по домам. Хорошо поужинав улекся я спать на чем и закончился второй параграф текущего дня.

Третий параграф на утро хорошо позавтракав и забрав портфель иду на митинг по крестьянски сказать на сходку где все бурно кричали долой. Я поинтересовался из за чего такая ярманка. Один старик все крики согласно инструкции по перевыборам в комбед, куда имеет страсть прорваться сапожник Дукмасов этот какой номер ему не проходит все против, а из за чего против? На каком то празднике настоящий Дукмасов всенародно и откровенно поносил божественную силу, а также избил мать родную за религиозные преубеждения, и простой народ от него всецело откачулся, и вдруг один говорит чего я не мог хладнокровно слушать. «У нас в порядке дня вопрос серьезного разрешения о контрибуции и выборах комбеда, в котором мативи-

руется к руководству взыскать к 1 декабря с капитал-кулаков, капитал-спекулянтов и так далее, принимая во внимание, что капитал-буржуазии у нас нет, а о. Ксенофонт бедного состояния — отказать во всей сумме, также всем обществом, согласно свободных голосов огромного большинства населения, наотрез отказываемся от комитета бедноты, нужды в каком не испытываем». Испросив себе своего законного слова я говорю без контрибуции невозможно и без комбеда обратно невозможно раз по всем городам и деревням русским кроет контрибуция и комбеда, невозможно чтоб Растяпино было на отличку. Крупный завернулся спор, где и пришлось выбрать председателем честь и гордость славный красармеец Лаврухина, секретарем к нему означенного сапожника фамилие не упомяну. С пением похоронного марша разошлись мы миролюбиво по домам, а еще такая штука согласно постановления президиума проживал я у попа и за все съедено-выпито уплачено по твердым ценам о чем можете справиться по почте или телеграфу. Хорошо поужинав уснул я как удавленный.

Четвертый параграф потребовал лошадей получше и пришлось мне уехать в Докукино неизвестной волости, где меня приветливо и добродушно встретили честь и слава краса и гордость прекрасный товарищ Савоськин да знакомый крестьянин из простонародья Яков Карягин кулугурского вероисповедания. Повели меня вновь народный дом под заглавием Улыбка Свободы или театр деревенского развлечения с безплатным входом, где повстречался в пьяном виде продагент печальный товарищ Синичкин и начал проверять мандат, на каковом основании нанес мне политические побои горько и обидно арестовал меня. Я как солдат врешь думаю не поддамся и заарестовал его шкурника позорящего под корень нашу драгоценную власть. По заявлению населения, сей коварный товарищ жизнь ведет распутную, пьянствует день и ночь, и в порыве бешеного разгула ходит по селу с растегнутой ширинкой и громогласно требует прекрасный пол, чем крестьяне ужасно возмущены.

Пятый параграф прихватив с собой милиционера Козобоева пошел я с обыском к кулугуру товарищу Карягину где после тщетных усилий нашел я ведро кумышки, нашел в печке загримировано заслонкой. Сын Карягина, имя не упомяну, — рассказал в старом кооперативе открылся вновь народный дом, а старики поголовно против и ночью взломав дверь залезли в вышеозначенный нардом, ободрали шпалеры, лавки переломали все до одной, громофон топором посекали и девок актерок тоесть актрис через всю деревню нехорошими словами величают. Все кулугуры и безразлично молоко не обращая внимания на советскую власть крепко за бога господу держутся, а вчера, чтобы умиловать стариков сажали их в первый ряд на мяхкие стулья, артистам на сцене было *запрещено* целоваться, а что будет не знай.

Шестой параграф старик Карягин клялся божился будто пожертвовал в народ на вывеску старую дойницу и кумышку накурил на торжественное употребление по случаю женитьбы меньшака. Не откладывая устроили мы с Козобоевым вдвоем собрание и вдвоем порешили передать кумышку в исполком под расписку, посуда не виновата, посуду воротить хозяину, наглядываясь на его мученические слезы на первый раз вино простить, а в народ передать уголовное дознание о подломе замка в народе.

Седьмой параграф собираются по избам мужики и от скуки ругаются матом. Я к ним с инструкциями они и меня матом. Их нельзя наслаждать одними инструкциями, нужны гвозди, соль, керосин и так далее. Бабы ходят по деревне и ругаются матом. Мальчишки бегают по деревне и ругаются матом. Да здравствует народ, в котором днем ребятишки учутся плохо дров нет, а село степное к примеру кнутника взять негде, воровать казенный лес крестьяне не подписываются и учитель хочет наниматься в больницу фельдшером, который голубятник упал с крыши и разбился вдребзги.

Восьмой параграф в школе ох какая картина, окна паутиной подернуло, двери выломаны и даже убитого гражданина мешочника подкинули в ту школу, то есть в учелеще. Продагента печального товарища Ласточкина не довелось мне еще раз увидеть и внушить, а чека обязана взять его на заметку за обидное отношение к ответственным работникам.

Девятый параграф доношу в тот же день в деревне Кузькиной состоялся чемпион — китанический бой побоище. И старики и молодежь дрались полюбя, но горячка возвышалась до кольев и поленьев побитых и покалеченных множество. Спрашиваю из-за чего увечите друг дружку, с плачем отвечают обычаем у нас милый человек такой не нами заведен не нами и кончится. А я так думаю от темноты это на них наслано, головы у них деревенские и выходит что деревенский дурак во сто раз дурее городского потому что хотя бой и в городе случаются но когда наши слободские режут терзают и всячески убивают соплевских или дубровских ребят, это уже будет не бой, а драка каковая и при старом режиме каралась всеми статьями уголовного закона. Прошу и низко кланяюсь нашему чести и слава хвала и гордость товарищу Старчакову громыхнуть декретом в трезвом виде драки тяжелыми предметами запрещаются. Время я провел в деревне очень весело и множество народа как мужиков так и баб высыпало на улицу провожать меня и по моей просьбе хором спели похоронный марш в честь моего отъезда, а также провожая меня народ кричал ура ура..

Десятый параграф дорываясь заехать в коммуну графа Орла Давыдова до нитки разграбленную неизвестными личностями, к великой жалости мне проведать не удалось и дурак ямщик с пьяных глаз завез меня в деревню Пустосвятовку с мордовским народонаселением бедного состояния и пришлось мне собрать

сход. Есть у вас совет? Нету. Есть комбед? Тоже самое нету. Чего же у вас есть? спрашиваю. Ничего товарищ нет, мякину пополам с дубовой корой едим, на пять дворов одна лошаденка осталась, голодная тоска задавила нас.

Одиннадцатый параграф и пришлось мне собрать всех грамотных человек шесть на всю деревню и выбрал я из них председателя и секретаря, остальных членами назначил и объявил о присоединении ихой деревни к советской России. Бабы давай плакать, мужики креститься, а председатель солдат Судбищин закрутил ус смеется не робей православные помирать так всем вместе и открытым голосованием на месте порешили переименовать в мою честь Пустосвятовку деревню в Великановку.

Двенадцатый параграф тогда пришлось мне потряхнуть портфелем и вытащить инструкцию о комбеде...»

Дальше больше, лопатой не провернешь!

Напрасно старался Филька, напрасно пот точил, не вставая с табуретки с пятницы до понедельника.

Горько и обидно вытряхнули Фильку из инструкторского тулупа, на краткосрочные курсы сунули; три месяца, даром что краткосрочные, а тут день дорог — распалится сердце, в день сколько можно дел наделать... Не понравились Фильке курсы: чепуха, а не курсы.

Умырнул Филька в милицию.

В СТЕПИ

Партизанский отряд матроса Рогачева замирил восставших казаков Ейского отдела и возвращался ко дворам. Дотошные разведчики пронюхали, будто в недалекой станице в старой казенке хранятся запасы водки.

Весть мигом облетела ночевавший в степи отряд.

Самовольно собрался митинг.

Рогачев, гарцуя на коне в гуще партизан, кричал:

— Ребята, контрики подсовывают нам отраву! Долой белокопытых! Напьемся — быть нам перебитыми! Не напьемся — завтра будем дома! Кто за бутылку готов продать совесть и свою драгоценную жизнь? Долой прихлебателей царизма! Я, ваш выборный командир, приказываю не поддаваться на провокацию! Казенку надо сжечь, водку выпустить в речку!

— Правильно, — подпрыгнул корноухий вихрастый мальчишка и завертелся на одной ноге.

— Неправильно, — отозвался другой партизан, — чего же ее жечь, не керосин.

— Спалить такую-сякую мать! — взвизгнул пулеметчик Титька.

— Жалко, братцы.

— Яд, — убежденно сказал подслеповатый старичишка Евсей. — Сорок лет пью и чувствую — яд.

— Комиссары сами пьянствуют, а нас одерживают. Суки!

— Верно. Ты, Рогач, на себя оглянись.

Рогачев, происходивший из крестьян станицы Старощербиновской, действительно прославился по Тамани не только незаурядной храбростью, но и разгулом.

— Братцы, — обрадовавшись догадке, заговорил рассудительный печник Нестеренко, — как мы с победой и как мы сознательные, то должны ее, эту треклятую зелью, разбавить водой, чтоб не так в голову ударяла, и с криком «ура» выпить всю до капли.

— Совесть ваша, дядечка, серая,— с сожалением глядя на Нестеренко, сказал вихрастый мальчишка.

Приподнятый над кучкой хуторян рябоватый матрос Васька Галаган махнул бескозыркой:

— Уважаемые, и чего такое вы раскудахтались? Дело яснее плещи. Забрать водку — раз, выдать по бутылке на рыло — два, остатки продать и разделить деньги поровну... Тут и всей нашей смуте крышка.

Командиру удалось настоять лишь на том, чтобы не ходить в станицу всем табуном. Были поданы подводы. Выбранные от рот делегаты, возглавляемые каптенармусом, двинулись в поход.

В томительном ожидании прошел и час и два — посылы не возвращались. На выручку была послана конная разведка. Разведчики, божась страшными божбами, ускакали и тоже пропали.

Солнце покатилося за полдень.

Партизаны загалдели:

— Делегаты называются... Выглохтят все сами.

— Известно, темный народ.

— Товарищи, а не пахнет ли тут изменой? Может, их там перебили давно, а мы тут воежим?

К возу Рогачева подходили все новые и новые партии партизан, требуя отправки.

Трубач проиграл сбор.

Отряд построился и, выставив охранение, в полном боевом порядке двинулся на станицу.

В станице перед казенкой гудела тысячная толпа. В помещении перепившиеся делегаты горланили песни и плясали гопака. Из распахнутых на улицу окон производилась дешевая распродажа водки. Партизаны всю дорогу уговаривались бить своих выборных, но, дорвавшись до цели, забыли уговор и, сшибая друг друга, кинулись к ящикам.

Гульнули на славу.

Горе подружило Максима с Васькой Галаганом.

Проснулся Максим первым, — его испугала тишина, — схватился за пояс: кобуры с наганом не было. Он огляделся... Просторная горница, в окнах зелень и солнце, на столе острыми огнями искрился пустой графин. Рядом, локоть в локоть, спал матрос.

— Э, слышь-ка, — принялся он его расталкивать, — слышь-ка, морячок!

— А! — открыл тот затекшие мутные глаза и сел. — Ты чего?

— Где мы?

— Где ж нам быть, как не у попа?

— У меня наган сперли.

— А? Наган? — Матрос цоп: кольта не было. — О, курвы, срезали!

Дверь скрипнула. В горницу заглянул поп.
— Самоварчик прикажете?
— Где наши? — грозно спросил моряк, прыгнув с постели и став в боевую позу.
— Ушли.
— Почему не доложил, лярва?
— Будил, не добудился.
— Давно выступили?
— На заре.
— Куда затырил наши самопалы?
— Не ведаю.
— Врешь, лохмач! Вынь да выложь.— Васька уцепил его за бороду.— А также где мой карабин?
— Не ведаю,— еще смиреннее ответил поп, стараясь высвободить бороду.— Вы вчера пришли ко мне пеши и безоружны, из карманов одни бутылки торчали.
— Это хуторские хапнули, больше некому,— сказал Максим.— Они тут свой партизанский отряд собирают, а оружия нехваток... Беда, с голыми руками пропадем ни за понюх табаку.
Васька выдернул из-за голенища бомбу.
— Есть одна.
— Мало.
— Мало? — Матрос свистнул.— Да я тебе с этой самой штукой любой кубанский город завоюю. Лошади есть? — повернулся он к попу.— За лошадей мы заплатим.
— И рад бы услужить, да нету. Жена с работником на хутор за рассадой уехала.
Босая девка внесла кипящий самовар.
— Долой! — приказал матрос.— Некогда чайничать. Прощай, батя, молись угодникам за доброту нашу.
Безоружные партизаны прошли из конца в конец всю улицу в поисках подводы, но подводы им никто не дал. Изрыгая складную, как псалмы, ругань, они покурили за околицей, переобулись и бодро зашагали по пыльной дороге.
Под солнцем курилась степь, свистали суслики, дремали курганы, омываемые полынными ветрами.
— Переложил,— поморщился моряк,— брюхо крутит и крутит.
— С перепою,— знающе сказал Максим.— На кружку кипятку намешай горсть золы и выпей, первое средство.
— Надо попробовать, а то несет меня, как волка. Вскикываю ночью, сортир не знаю где, забегаю в чулан, вижу, на гвозде поповы праздничные сапоги висят... Ну, в один я напорол с верхом, а в другой не хватило.
Оба заржали так, что пахавший за версту мужик остановил лошадь и перекрестился.
Подошли, поздоровались.

— Будь добрым человеком, дай воды.

— Угорели? Пойдемте на стан, угощу.

На стану, спрятавшись от жары под телегу, пуская сладкую слюну, спала дряхлая репьястая собака.

— Што за люди будете и далече ль путь держите? — спросил мужик, оглядывая гостей.

— От полка отстали,— сказал Максим.— Не видал, не проезжали?

— Какой, дозвоьте узнать, партии будете? По разговору, похоже, свои, кубанцы?

— Мы свои в доску,— ответил матрос.— У меня отец кубанец, дед кубанец, и сам я тут в окрестностях безвыездно сорок лет живу.

— Та-ак... Полка не видал, а банда у нас гуляет.

— Где?

— Вон, хуторок. Вторую неделю стоят.

— Чья банда?

— Шут их разберет. Какие-то полтавские... И с белыми дерутся и красным спуску не дают.

Васька, скроив пристрашную рожу, пропел с пригнушкой:

Ох ты, яблочко
Ананасное,
К ногтю белого,
К ногтю красного...

Так, что ли? — спросил он

— Во, во! — обрадованно просветлел мужик.— В станице потребиловку расчудесили... Сахар, мыло, свечи, керосин — все народу даром роздали, себе только топоры и хомуты забрали. Хорошая банда, народ улагодворяет.

Распрощались с мужиком и по распаханному полю напрямик поперли к маячившим вдаль тополям. За разговорами и не заметили, как вышли к полотну железной дороги. Совсем рядом, около будки, увидели лакированный с желто-голубым флажком автомобиль.

— Стоп! — зашипел матрос.— Ложись... Штаб ихний или разведка.

Залегли и после короткого совещания, прикрываясь насыпью, поползли вперед.

В Максиме кровь стыла, ноги путались, в груди билось большое — в пуд! — сердце.

— Вася.

— Чшш...

— Вася, погибель наша.

— Отдала родная? — обернул матрос перекошенное злобой лицо.— Замри.

Подлезли ближе.

Васька осмотрел бомбу, вскочил и, подбежав к будке, метнул бомбу в окошко.

Взрыв

треск

пламя

из окна клубами повалил густой дым.

Матрос кинулся к радиатору.

Застучал мотор.

— Вались! — крикнул он Максиму, сам вскочил за руль.

Машина рванула, понеслась в горячем вихре, в кипящей пыли.

Максим от страха и удивления долго не мог ничего выговорить, потом нахлобучил шапку, откинулся на мягком сиденье и захохотал.

— Почихают... Друг, угостил. Почихают!

Галаган, припав к рулю, зорко смотрел на летящую встречу бешеную дорогу. Автомобиль шел ходко, виляя со стороны на сторону.

— Разобьемся?

— Никогда сроду.

— Чего она вихляется? Приструнь ты ее.

— Машина с капризами... Гоночная, фиат.

— Жми.

— Торопимся, как черти на свадьбу. Почихают, говоришь?

— Шарахнул, до горячего, поди, достало.

Догнали старуху. Она сбежала с дороги и нырнула было в канаву. Матрос затормозил, лихо остановил своего трепещущего катуна.

— Бабка, сюда.

Старуха подошла, кланяясь.

— Куда, бабуня, божий цветочек, топаешь?

— Молочка зятю на пашню несу.

— Молоко? — спросил Максим. — Давай.

Он отпил, сколько хотел, матрос докончил и, прищурился лукавый глаз, с напускной строгостью спросил старуху:

— Сколько тебе?

— Да ничего, сынок, кушай на здоровье.

— Ну, на горшок.

Начали расспрашивать ее про дорогу. Она, заплетаясь с перепугу, принялась растолковывать:

— Дорожка ваша, родимые, прямым-прямышенька. Будет вам мост, а за мостом Левченков юрт, то бишь не юрт, а греческа плантация... Мост, сыночки, в позапрошлом году от грозы сгорел, нету там никакого моста... Стоит при дороге хата казака нашего Петра Кошкина, сам он еще в холерный год помер, а сыны, толсты лбы, казакуют... Будет вам колодец при дороге...

— Вижу, бабуха, ты врать здорова, — перебил Галаган. — Садись с нами, будешь дорогу показывать.

— Помилосердствуй, касатик. Мати пречистая, зять на пашне дожидается.

— Брось сопеть.— Он сгрел старуху в охапку и подал ее Максиму.— Держи!

Машина, прыгая по ухабам, помчалась. Моряк подкачивал, развивая скорость. Ветер плющил ноздрю, шумел в ушах. По сторонам, подобна играющей реке, стлалась степь. Пыль буйствовала за ними, как дым пожара.

Далеко впереди оба увидели чумацкий обоз и не успели еще ничего сообщить, как испуганные, взвившиеся на дыбы лошади промелькнули рядом и скрылись в крутящейся пыли.

За бугром блеснул церковный крест.

— Станица...

Хаты

улица

куры и утки — в стороны.

Максим крепко держался за борта. Старуха сползла с сиденья на дно кузова и беспрепятственно крестилась. Так, на удивленье жителей, прокатили они через станицу.

Машина стлалась, как птица в стремительном лете.

— Стой, дура-голова,— взмолился сомлевший от страха Максим.— Лучше пешком пойдем!

— Ты не беспокойся.

Дорога вильнула...

Машина, мотнувшись, чиркнула лакированным крылом о столб и покатилась мимо дороги прямо по степи.

Моряк к рулю — руль отказал.

— Останови, пожалуйста.

— Черт ее остановит, не кобыла! — Выказывая полную невозмутимость духа, Галаган выпустил руль, закурил и повернулся лицом к Максиму.— Горючее выкачается, сама встанет.

Машину валяло с боку на бок, из-под колес выметывались комья черствой земли.

Пересекли распаханное поле. На меже, упустив лошадей, стоял босой старик. От удивления он не в силах был поднять руки, чтоб перекреститься.

Сбольшого разгона, ухнув, в широком веере брызг перелетели мелкую речушку.

Донесся разорванный собачий лай. Впереди качнулся курган, за курганом шарахнулась потревоженная отара, и навстречу, вырастая в угрозу, начала быстро надвигаться новая станица.

Машина, сбочившись, промызнула по косогору.

Невдалеке, раскинув сухие руки, проплыли кладбищенские кресты.

Под напором силы прущей рушились жердяные изгороди. Плетень был повален с сухим треском.

В передних шинах спустили камеры.

Автомобиль, оставляя рубчатый след на глубоких грядках огорода, замедлил ход и уткнулся мордой в глиняную стену хаты.

От резкого толчка из навесной рамы вылетело зеркальное стекло, с Васьки слетела фуражка.

Выпрыгнули оба враз.

Нахлыстанные ветром лица их были черны, а глаза полны дикого блеска.

— Номер! — скрипуче засмеялся матрос.

Из двора в огород заглянула девчонка и, взвизгнув, пропала. Потом появился нечесаный мужик с винтовкой в руках. Увидав автомобиль, он стал в оцепенении.

— Здравствуй, дядя,— миролюбиво сказал Васька.

— Вы, товарищи, или как вас... чего тут?

— Извиняюсь,— сказал Васька и пошел было к хозяину.

— Я тебе, туды-т твою, пальну вот в бритый лоб, сразу всю дурь выбью.— Он принял наизготовку и передернул затвор.

— Не смей,— крикнул Максим и вытянул перед собой руки, точно защищаясь.— Мы не с худом...

— Пошто хату тревожите?

— Извиняюсь,— повторил матрос тоном, полным сожаления.— Я сам своей голове не рад. Приключился с нами полный оборот хаоса. Ты и сам виноват: зачем хату близко к дороге поставил? За нас, между прочим, ты можешь жестоко ответить. Завтра придут полчане и поставят тебя к стенке, а шкурой твоей, ежели догадаются, обтянут барабан.

Максим, видя, что перебранка грозит им бедою, отодвинул речистого друга и, стараясь придать словам мягкость, обратился к хозяину:

— Почтенный, какое вашей станице название будет?

— А вы сами откуда? — попятился тот.

— Мы из города Кокуя,— сказал матрос и разразился похабной приговоркой, такой кудреватой да складной, что по угрюмой роже мужика скользнуло подобие усмешки. Только сейчас он заметил, что гости безоружны, и опустил винтовку.

— Какая у вас, позвольте, в станице власть будет, кадетская или большевицкая?

— Мы сами по себе.

— А все-таки?

— Я из-под Эрзерума недавно вернулся и порядков здешних знать не знаю.

— Какой части?

Фронтвик затверженно назвал номер корпуса, дивизии и своего полка.

— Сто тридцать второго Стрелкового? — обрадовался Максим. — Дак, боже ж ты мой, я сам солдат турецких фронтов... Под Мамахутоном полк ваш, ежели помните, резервом к нашему стоял, потом к левому флангу примкнул... Да я ж и комитетского председателя вашего, ну его к черту, дай бог памяти... Серомаха знал.

Мужик перехватил винтовку в левую руку, а правую — жест-

кую и корявую, как скребница,— протянул сперва Максиму, потом Ваське:

— Честь имею... Лука Варенюк.

Тем временем на огород со всего курмыша набежали люди. Первыми прискакали востроглазые мальчишки, за ними — лускающие подсолнушки бабы, припелся поглазеть на диво и старый казак Дыркач. Прибежали и бесштаннные казаки в рубашонках с замаранными подолами.

Васька отжал хозяина в сторону и, играя карим с веселой искрой глазом, сказал:

— Купи.

— Кого?

— Автомобиль.

— Шутишь?

— Никак нет.

— На што он мне?

— На базар ездить будешь, в гости к своякам, а когда вздумаешь, и бабу покатаешь.

— Ей, эдакой чертовинной править надо уметь! — усмехнулся Варенюк и почесал поясницу.

— А мы, ты думаешь, умеем? Да ведь доехали! Плохо ли, хорошо ли, а доехали!.. — Увлечшись своей мимолетной выдумкой, матрос подвел его к машине. — Хитрости тут мало. Гляди, вот эту штуковину подвернуть, этот рычажок поддернуть — и пошла поехала.

На моряка во все глаза, не мигая, смотрели бабы и понимающе качали головами.

Дыркач подогом поколотил по шине и сказал:

— Колеса одни чего стоят, чистая резина... Эдаки колеса да под бричку, картина...

— Картина первый сорт, — подтвердил матрос.

— А чего ж вы, товарищи, или как вас там, не по дороге ехали?

— Мы-то? Мы, милый человек, сами с злого похмелья. Нас тетка везла, она и напутала. Э, мать, жива?

Из-под сиденья раком выползла и, озираясь, поднялась старуха.

Мальчишки запрыгали от удовольствия, бабы ахнули и теснее обступили машину.

— Господи Иисусе, — закрестилась старуха. — Где я?

— Купи, — рассмеялся Васька, — со всем и со старухой. За дешево отдам!

— Ратуйте, православные! — завопила та и, задрав юбки, полезла через борт. — Продает, как кобылу!

— Кобыла не кобыла, а полкобылы стоишь.

— Штоб у тебя, у беса, язык отсох... Православные, далеко ль до станицы Деревянковской?

Толпа развеселилась:

— Слыхом не слышали. Куда это тебя занесло, матушка?

— До Деревянковской,— усмехнулся в бороду Дыркач,— до Деревянковской, баба, верстов сто с гаком наберется.

— Батюшки, царица небесная, завезли, окаянные... Зять-то меня на пашне заждался.

— Не кричи,— строго сказал Васька,— куда тебе торопиться? Дойдешь потихоньку.

— Кобель полосатый,— наступала она, распутив когти.— Зенки твои бесстыжие выдеру.

Оробевший Васька пятился... Потом он протянул старухе пучагу мятых керенок:

— Получай за храбрость. Купи себе козу, садись на нее верхом и скачи домой.

Восхищенные матросским острословием, завизжали мальчишки; закатывая под лоб глаза, довольным смехом рассмеялись бабы; и старый казак Дыркач залился кудахтающим смешком, точно мучительной икотой...

Варенюк обошел машину, пощупал кожаные подушки сиденья, поковырял ногтем шину и пригласил гостей в хату.

— Сколько хотите взять? — спросил Варенюк, останавливаясь посредине двора.

— А сколько тебе, односум, не жалко? — в свою очередь спросил Максим, принимавший весь торг за шутку.

— Нет,— шагнул хозяин через порог,— вы скажите свою цену.

Оставшись ненадолго наедине, Максим с Васькой схлеснулись спорить. Максим настаивал поскорее пробираться в город, заявить об автомобиле совету, разыскать свой отряд. Васька настаивал на том, чтобы задержаться в станице на несколько дней,— ему хотелось отдохнуть, погулять и вволю выспаться.

Варенюк возвратился с самогонкой. За столом, уставленным закусками, он долго еще рядился с моряком и наконец срядился. За автомобиль хозяин брался поить обоих гостей допьяна и кормить до отвала десять дней, после чего обещался отвезти их на ближайшую станцию, до которой было верст сорок.

Ударили по рукам.

Хозяин заколот поросенка, засадил в баню за самогонный аппарат дочь Парасю, сыну Паньку приказал подтаскивать сестре ржаную муку, жена растопила печь и занялась стряпней.

В задушевной беседе они скоротали остаток дня, а когда наступил вечер, ярко запылала лампа-«молния», на столе появилось жареное и вареное; по настоянию Васьки, хозяин пригласил двух вдовушек, закрыл уличные ставни на железные болты, запер ворота, и веселье началось.

Васька краснословил без умолку. Шутки-прибаутки сыпались из него, как искры из пышущего горна. Максим с Варенюком пустились в воспоминания фронтовой жизни. Вдовушки на призыве разошлись вольно. Подперев разгасившиеся щеки могу-

чими руками, пронзительными голосами они распевали песни о радостях и горестях любви. Моряк, не переносящий бабьего визга, затыкал певуньям рты то кусками жареной поросятины, то поцелуями. В танцах он завертел, умаял вдовушек до упаду, потом вручил одной гребешок, другой — сковороду:

— Играй, бабы! Сыпь, молодки! Без музыки в меня пища не лезет.

Давно спала задавленная ночью станица; давно хозяйка, выметав из печи все до последнего коржа, забрала ребятишек и ушла в чулан спать; давно угоревшую от самогонного чада Параську сменила сестра Ганка; давно заморился таскать мешки Панько; и давно уже, сунув шапку под голову, спал на лавке Максим; а Васька все еще пожирал поросятину, бросая кости грызущимся у порога собакам, все еще плясал, выкомаривая замысловатые коленца, все еще глотил, расплескивая по волосатой груди, самогонку — аппарат не поспевал за ним: за ночь хозяин, проклиная белый свет, два раза разматывал гаманок и посылал Паньку в шинок. Бабы осипли от смеху — матрос или лапал их за самые нежные места, или рассказывал что-нибудь потешное. И только под утро, высосав досуха последнюю бутылку, изжевав и расплевав последнюю ногу полупудового поросенка, Васька в последний раз на выплясе топнул с такой удалью, что из лопнувшего штиблета выщелкнулись сразу все пять обросших грязными ногтями пальцев...

— Баста! Спать, старухи.

Пьяненькие вдовушки набросили на головы ковровые полупшалки...

— Куда? — спросил матрос, сыто рыгнув.

— Спасибо за компанию, пора и честь знать.

— Ах, оставьте. Эти песни соловьиные слышал я однажды в тихую зимнюю ночь.

— Нет, уж мы, пожалуй, лучше пойдем, — сказала одна, оглядывая себя через плечо в зеркало.

— Пойдем, Груняшка, — как эхо отозвалась другая. — Все мужчины подлещы.

— Птички, — нежно глядя на них, сказал Васька. — Серый волк вас там сгробет, и достанутся мне одни косточки, хрящики...

Он привернул в лампе свет, втокнул за перегородку в комнатушку сперва одну, потом другую, вошел за ними сам и, прихлопнув жиденькую дверку, защелкнул крючок.

...Солнце через окно так нагрело Максиму голову, что ему начал сниться какой-то путаный дурной сон. Бежал будто он по горячей земле, под ногами с жарким треском лопались раскаленные камни. Он поднялся на лавке и, стряхнув сонную одурь, стал прислушиваться... Далеко и близко на разные голоса пересмеивались петухи, залиvisto лаяли собаки, над неприбранным столом жужжали мухи. Полон смутной тревоги, он накинул шинель и вышел во двор.

В вышине разорвалась шрапнель. Бродившие по двору куры, распластав крылья, кинулись под сени. На улице послышался многий топот. Невдалеке кто-то закричал благим матом. Железным боем заклекотал пулемет.

Максим выглянул за ворота.

По улице, точно бурей гонимые, бежали, скакали люди в одном нижнем белье. У иного в руках была винтовка, у иного — седло, за иным волочилась шинель, надетая в один рукав.

Страх сорвал Максима с места.

Он ударился вдоль плетней с такой резвостью, что вскоре начал обгонять других.

Два офицера выкатили из-за угла каменного дома пулемет и, припав за щиток, начали засыпать бегущих смертью.

Улицу вмиг будто выдуло.

На дороге остались лишь подстреленные.

Максим плечом высадил калитку... Пометавшись по пустынному двору, нырнул в конюшню и зарылся под сено, в колоду.

Скоро послышались резкие, ровно лающие голоса и звяканье шпор.

Максим чихнул от попавшей в ноздрю сенины; его выволокли из конюшни.

Сизым острым огнем переблеснули штыки.

— Я не здешний! — крикнул Максим, хватаясь за штыки.

Прапорщик Сагайдаров саданул его прикладом в грудь и сказал:

— Сволочь, я тебе покажу...

Максим упал. Это и спасло его — колоть лежачего было и неудобно и неприятно.

Пленных набрали большую партию и повели расстреливать.

По улице в исключительно беспомощных, присущих только мертвым, позах валялись убитые. Раненые расползались под заборы.

В станицу вступал обоз.

На рессорной бричке, вольно распахнув светло-серую шинель, сидел, ссутулившись, седой полковник, пепельное лицо которого показалось Максиму знакомым... Еще не припомнив, где его мог видеть, он разорвал кольцо конвоя и кинулся к старику.

— Ваше... заступитесь!

Неожиданность испугала полковника. Он откинулся на сиденье и крикнул, как селезень:

— Ак?

— Ваше высоко...

Кучер остановил.

— Что такое? — старик запрокинул голову и оглядел солдата. — Откуда ты меня, это самое, знаешь?

— Так точно, признаю, ваше высоко...

— Кто такой?

— К Тифлису в одном поезде и в одном вагоне ехали... Я еще вашему высокоблагородию чулки шерстяные подарил.

Старик опустил голову и задумался.

Максим стоял, вцепившись в передок брички. Штык справа и штык слева касались его ребер.

Полковник так долго думал, что Сагайдаров осмелился и нетерпеливо кашлянул:

— Прикажете вести?

— Ак?.. Вспомнил, вспомнил каналью... Старший по конвою! Оставьте солдата мне, я его, это самое, лично допрошу. Захвачен с оружием? Нет? Отлично.

Кучер хлестнул по лошадям. Максим, держась одной рукой за крыло брички, побежал рядом.

Остановились перед зданием школы.

Максим с большой расторопностью принялся распрягать лошадей, причем каждую из них награждал такими ласковыми именами, которые не часто доводилось слышать от него и жене Марфе. Потом он поставил лошадей под навес, навалил им сена, перетаскал с возов в дом чемоданы и, покончив все дела, явился к полковнику, который сидел в классной комнате за партой и разбирал бумаги.

— Большевик, сукин сын? С нами, это самое, воюешь?

— Никак нет, ваше высокоблагородие, я не здешний.

— Как же сюда попал? Большевик, каналья?

— Никак нет, ваше-ство, корову приехал покупать.

Полковник наклонил голову так низко, что нос его почти касался исписанных лиловыми чернилами ведомостей. Он вздохнул, пожевал серыми и тонкими, как бечева, губами:

— Помню твою услугу, помню... Солдатики, суконные рыла, насолили мне тогда крепко... Пожалуй, они меня и укокошили бы? А?

— Так точно, ваше высокоблагородие, разбалованный народ.

— Как пить дать, укокошили бы, мерзавцы.— Он смахнул слезинку и строго взглянул солдату в глаза.— Ты, братец, жалеешь, это самое, послужить родине?

— Рад стараться, ваше-ство, службу люблю.

— Отлично. С сегодняшнего дня зачисляю тебя на довольствие и прикомандировываю ездовым в обоз второго разряда. Разыщи на дворе подхорунжего Трофимова и, с моего разрешения, попроси у него шинель с погонами и ефрейторские нашивки.

— Слушаю, ваше...

— Да, это самое, раздобудь-ка мне кислого молока... Здесь покушать и с собой в дорогу возьмем.

— Рад стараться, ваше высокоблагородие, доставлю!

Старик дал ему на молоко керенку и отпустил, оставшись весьма довольным молодцеватой выправкой старого солдата.

Максим нашел во дворе подхорунжего, наскоро переделся

и со всех ног бросился по улице, держа направление к знакомой хате.

В воротах его встретила плачущая хозяйка и ахнула:

— Батюшки, в погонах?

— У нас это просто,— весело отозвался он и покосился на окна.— Я тут знакомого генерала встретил. А к вам заехал кто-нибудь?

— Бог миловал.

Максим смело вошел во двор.

Варенюк под сараем забрасывал автомобиль соломой. Увидав гостя, он бросил вилы и подошел:

— Беда... Не дай бог... Комиссар, скажут, спалят.

— Ты бы заступился, милостивец,— зашептала баба.— Куда ее девать, под подол не спрячешь...

— Будьте спокойны,— ответил Максим.— Скоро выступаем. Где мой товарищ?

— Забери ты его, матерщинника, Христа ради.— Баба вошла в хату и остановилась перед печью.— Найдут его кадеты и нас на дым пустят.

— Где он? — спросил Максим, в недоумении оглядывая пустую хату.

— В трубу, сердешный, забился.

— Куда?

— Она куда,— показала хозяйка.

Максим, изогнувшись, заглянул под чело печки, но ничего не увидел.

— Вася,— зашипел он.— Где ты, друг?

— Братишка... (Матюк.) Отогнали белокопытых? (Матюк.)— глухо, как из могилы, отозвался Васька, и в густом потоке сажки на шесток опустили его босые ноги.

— Лезь назад,— сказал Максим.— Я в плен попался и бегаю вот, ищу кислого молока, но ты, Вася, во мне не сомневайся.

— Какого молока? (Матюк.)

— Лезь выше, Христом-богом прошу, лезь выше. Скоро выступаем. До свиданья...— Он потряс друга за пятку и выбежал из хаты.

Строевые части, передохнув и закусив, уходили за станицу, в просторы степей. В полдень выступил обоз. Максим сидел на возу на горячих хлебах, во всю глотку орал на лошадей и нещадно нахлестывал их кнутом.

Через два дня, улучив удобный момент, он перебежал к красным, угнав пару коней и повозку с патронами.

ДИКОЕ СЕРДЦЕ

Радость гудит в Илькó.
Ноги веселы.
С Фенькой шаг в шаг. Тук-тук.
Внизу море — в реве, в фырке.
Молнья рвет ночь.
Ветер рвет грудь.
Кровь мчит в Илько, мчит кровь.
— Где ж?— спросила Фенька.
— Сюда. Живо.
Торопится тропа.
Галькой закипела тропа.
Собака гагавкнула.
Мигнул огонек.
Дымком пахнуло.
Пинком в калитку. Под ноги — из темноты — подкатился
гремучий пес: гrr-rrr-гау-гау-га.
С козла через порог:
— Здорово, дядя Степан. Хлеб да соль.
— Милости просим.
Блюдо, рыбы кости, ложка в сторону отодвинуты. На столе — вытертая веслом лапа Степанова, с лапоть лапа.
— Садитесь,— пригласил он,— стоя только ругаются.
Оба:
— Плыть надо. Перебрось нас в плавни, на Тамань.
— Помни уговор, Степан.
Огонь качнулся
Степан качнулся
ветер раскачивает кату,
дует в пазы: по стенам сети переливаются. Скула у Степана сизая, литая, а глаз с рябью, зыбкие глаза, как сети.
— Чамра...

— Не поплывешь? — усмехнулся Илько, и губы его дернулись.

— Нет.

Тугая минута молчания.

— Дай ялик нам,— положила Фенька руку на плечо рыбака.— Ялик и паруса.

— Ялик? — нехотя переспросил Степан.— На моем ялике далеко не уплывете: корыто, по тихой воде на нем боязно.

Ветер толкает хату. Позвякивают стекла. Под самыми окнами гремит и хлещет разъяренное море, вспененная волна подкатывается к самому порогу хаты.

Дробен, смутен Степан, задавлен был думкой... Слова вязал в тугие узлы:

— Чамра, товарищи. Переждать ночь. Коли поутихнет к утру — переброшу вас в плавни.

— Ты, дядя, канитель не разводи,— уже сердясь и супя бровь, сказала Фенька.— Время не ждет, до рассвета нам надо быть на том берегу.

Широко вздохнул рыбак.

— Где ж ваш товар?

— Вот товар.

Степан посунул ногой ящики.

— Легковато, упору нет.

— Долго будем с тобой рядиться? — ударила Фенька жаркими глазами.— Дашь лодку или нет?

— Не бойся, лодку вернем,— подсказал Илько.

— Я не боюсь. Кого мне в своей хате бояться? — Рыбак крикнул и наотмашь сшиб со стола котенка, вылавливавшего из блюда недоеденную рыбу. Сорвал с гвоздя шапку.— Пойдемте.

Старший сын Степана с красными отступил. Меньшака Деникин мобилизовал. Не за что Степану любить ни тех, ни этих. Однако комитета подпольного побаивался. Комитетчики все крешники да рыбаки своего курмыша, в случае чего житья не дадут.

В дверь

в ночь

крутень-вертень.

Буря топила море, как азартная девка в смоляных потоках кос своих топит любовника.

Рыбак отговаривал:

— Зря.

— Ставь мачту.— Фенька накатывала в лодку камней для упора. Лодка металась на якоре, гремела цепью. Лодка металась под ногами. Волна вышибала лодку из-под ног.

— К берегу не жмись,— напутствовал Степан.— Забирай на полдень круче, круче. У маяка, на перевале, в бортовую качку не ложись, боже сохрани... Царапай в лоб, в лоб... К берегу не жмись... Ну, с богом. Вира помалу...

— Вира.

Илько ударил веслом, и, подхваченный волнсю, ялик оторвался от берега.

Взвился парус.

В темноте утонул берег, хаты огонек утонул, утонул Крым, пропал и Степан, сгинул и его предостерегающий окрик...

В вольном разбеге раскачивался ялик, дрожал и стонал ялик под ударами волн, топтал ялик кольчатую волну.

Чамра со свистом метала арканы пенистых гребней.

Буй сердце вертел.

Парус был налит пылающим ветром.

Море билось, словно рыба в сетке.

Железная рука Илько захрясла на руле. В темноте поблескивали его горячие, цыганские глаза. Фенька кожаной кепкой — черпак упустила — отплескивала воду.

Оба на корме, нос высок, весела мчаль.

— Пльвем?

— Пльвем.

— Камни за борт.

— Есть камни за борт... Перехвати фал, занемела рука.

На перевале брали килевую качку. Волна крыла подветренный борт. Далеко в стороне мигал огонь маяка.

Забрезжил рассвет. В тумане — берег таманский, чайки, хриплый надорванный крик заблудившегося сторожевого катера.

— Лево руля.

В жарком разбеге кувырчалось взбаламученное зеленое море.

Бу-ря-ру-била-удалых.

Кони — легкие как снежная пурга — уносили троих.

Звонки горные тропы.

Под ветром бежали кусты, прихрамывая.

Копыто искры высекало. Глаз легче птицы голодной. Глаз хватал и тряс каждый куст. Ухо на взводе.

Стороной миновали Уланову будку, последний пост стражи кордонной. Дальше — свди земли. Попридержали коней на шаг.

Илько — керченский рыбачок. Фенька — совсем еще девчонка, залетевшая в Крым с полком волжских партизан. Отступление, плен, бегство из плена, и вот она в горах, в отряде зеленых, где судьба и свела их с Илько. Отряд почти целиком погиб в каменоломнях. Лишь немногим зеленцам удалось уйти под Чатыр-даг, Бахчисарай, Байдары. Илько с Фенькой, по поручению партийного комитета, пробирались на Черноморье для связи с черноморскими партизанами.

Провожал их зеленоец Гришка Тяптя — парень оторви да брось. Английская шинель небрежно накинута на одно плечо и надета в один левый рукав, а правая — свободная рука — всегда готова потянуть из ножен клинок, вскинуть маузер или метнуть

гранату. Крытая синим бархатом кубанка была небрежно сдвинута на облупившийся нос. Плетью сшибал Тяптя сухие сучки, соколиным глазом зорко зырил по сторонам, слова накальвал редко и нехотя — разговаривали за Гришку руки, ноги, чмок, фык, сап, марг, плевки:

— Бра зна?.. Ууу, щцц... Черно... Пуп-пух. Та-та-та-та-та-та.. Ммм... Карамара... Ку-гу? В станицу. Ку-гу? Пакеты везу... Як зарикотили, зарикотили... Эээ, чертяки. Кыш. Фу. Шо тамочко було... ыыы, щцц, ху-ху-ху... Хиба ж ты не зна Хведьку Горобця?

Последнюю весть о Горобце Тяптя подал так: кулак с выкинутым пальцем (револьвер) сунул себе под нос, понимай — Горобца застопали; перед глазами пальцы крест-накрест — Горобец за решеткой; оскаленные зубы — Горобец в контрразведке; плачущего Горобца две руки хлещут со щеки на щеку и — пальцем вокруг шеи, багровая страшная рожа с высунутым языком — Горобец повешен.

Ехали дружки рядом, лука к луке, разговаривали.

Фенька раскачивалась в седле, на дружков веселая поглядывала. Портянка выбилась из ее сапога, трепалась портянка озорным собачьим ухом. В ветре играла ее рыжая вихрастая голова, смеялось широкое, захватанное солнечными пятнами лицо.

— Илько, — позвала она.

Поотстал Илько от Гришки, пересказал.

— Зелеными забиты все горы — от Тамани до Грузии, через Обшад и Красную поляну до Кабарды. Кругом бои, налеты на станицы и города, развеселое житье.

Тропа потекла в лощину.

— Стой! — окрик. Мшелый камень по-над дорогой скалился дулами.

В кустах мелькнула шапка, другая.

Гришка переливчато засвистал и проехал вперед.

Из-за камня вышли трое. Ободранные винтовки приняли на ремень. В обветренных лицах прыгали белки, скалились зубы.

— Грицко, тютюну немає?

— Е.

Косятся на Феньку.

— С городу?

— Ни.

— Чи с камышей?

— Ыыыыы, бра, ха, ууу...

Кони не стояли.

— Чч.

Взяли последний перевал и на рысях стали спускаться в широкую балку.

Лагерь зеленых. В пролете гор — далеко море. Шалаши, землянка. Дымила походная кухня. Одеты по-зимнему, но легко. Оборваны. Трофим Кулик собирает пулемет:

— ...замок — боевая личинка, замочный и подъемный рычаги, верхний спуск, ударник, ладыжка, нижний спуск и боевая пружина... Перекос патрона — лента продергивается влево, рукоятка осаживается до места. А главное для пулеметчика в боевой обстановке — вот тут закрутить гайку потуже. — И он шлепнул Петьку по заду.

Петька неуверенно трогал части пулемета...

— А как такое, дяденька, стрелять по невидимой цели?

— Сперва научись попадать в стенку, а там дело покажет. При стрельбе пальцем дула не затыкай и в дуло не заглядывай.

В землянке начальник отряда Александр с завхозом играли в шашки.

— Здорово, братва, — приветствовала Фенька партизан и прыгнула с седла.

Пока Фенька угощала людей крымским табаком, пока Илько привязывал лошадей, Тяптя уже докладывал начальнику:

— Честь имею явиться.

— Кто приехал? — спросил Александр.

— Да Илько Валет... Ммм... С ним такая девочка подпольная, губы бантиком, нос комфоркой... Чччч... Ячеку хотит организовать, щоб було у нас, як в Москве, а сама в штанах... Уууу.. фффф... — и, сплюнув, уселся Гришка на зарядный ящик.

Завхоз подсек сразу четырех. Александр не захотел больше играть, смахнул белые и черные хлебные корки, а шашельницу — надвое об острую завхозовскую голову.

— Жулик ты, захвост, прожженный жулик... Давно тебя повесить собираюсь, да все забываю.

— Кхе, шутить изволите.

Вошли Илько с Фенькой.

Рука у Александра горячая, плотная рука, как фунтовый карась. Рябоватое лицо подобрано, сухо, печаль и усталость на лице.

— Кыш!

Завхоз и Гришка убрались.

Стол забытыливал нач — хотя какой же там стол? — ленок, понятно; тяжелым взглядом раскубировал Феньку, в бумажку и не заглянул, что бумажка... Пахло в землянке шинельной прелью, земляной мяготью.

— Чего привезли? — спросил Александр.

— Походную типографию.

— Молодцы.

— Рады стараться! — шутливо отозвался Илько и рассказал о разгромах керченской группы зеленых.

Сразу давай дело мять, топтать:

В новороссийской тюрьме полтыщи товарищей.

Их ждет яма.

Они ждут спасения.

Нужен налет.

Подготовку налета вел городской подпольный комитет.

Сгорел подпольный комитет, четвертый по счету.

Александр вызвал в землянку ротных командиров, на преданность которых надеялся, как на верный бой своих наганов, и сказал:

— Каждый час и каждую минуту судьба грозит нам черной гибелью. Заройся ты в море, поднимись под облака, твоя судьба достигнет тебя. Все ли мы с охотой пойдем навстречу судьбе своей?

— Какой разговор...

— Загремим...

Ротный Чумаченко, недавно убежавший из-под расстрела, подклинил:

— Пускай, коли судьбе угодно, задавит нас чижелая тюремная стена, все до единого под ней поляжем, но и там, за решетками, нашим бедолагам легче будет умирать.

— С нами дух наш и судьба наша, — сказал Александр, любивший пышность выражений.

Фенька глядела на него, не спуская глаз, и вспоминала множество рассказов о подвигах его, о его налетах и удачах.

У кухни в розлив обеда заспанный писарек выкричал:

ПРИКАЗ

ПО КРАСНО-ЗЕЛЕНОМУ ПАРТИЗАНСКОМУ ОТРЯДУ

По случаю секретного отъезда моего в неизвестном направлении своим заместителем по части строевой на короткий двухдневный срок назначаю Григория Тяптю, а комиссаром — вновь прибывшую товарища женщину, строго приказываю не волноваться, хотя она и женщина. Пункт второй: за недостойное поведение, то есть грабеж и бандитизм, припать по двадцати горячих товарищу Павлюку и Сусликову Дениске из первой роты. Долой!.. Да здравствует! Подлинное, хотя и без печати, но вернее верного. Ура!

Обеденная очередь рванула:

— Урра-а!..

И отобедавшая музыкантская команда облизала ложку, вытерла сальный рот и с небольшим опозданием тоже уракнула.

В полутемной землянке Савчук, старой службы солдат, рылся в куче погон:

— Одна полоска, четыре звездочки — штабс-капитан... Гладкий, две полоски — полковник... Это ты затверди накрепко. Александр примерял погоны и рассказывал:

— На неделе случилось у нас происшествие. Жучок из второй роты разжился где-то сармачком... И в карточки, верно, подлец, играть не умел: в одну ночь всю роту раздел, разул. Утром хватились, нет Жучка. Слышим, в городе гуляет наш Жучок. И не духовой ли парнишка? Ну, торчал бы где в подпольном укрытии,

так нет, форснуть надо: бабу на коленки, гармонь в зубы, лихача за уши — пошел... Проходит день, два, чу — попался наш мосол. Три дня его пороли, пороли да посаливали. Сдался, собачья отравка, на двести пятнадцатом шомполе сдался. Есть у нас в лягавке свой человек, известил. Пришлось тогда лагерь менять, связать тасовать — канительное дело.

Уписывала Фенька жареную баранину за обе щеки, слушала во все уши.

Александр продолжал:

— Ты насчет дисциплинки спрашиваешь... Дисциплина, она что ж, она на пользу, дороже правой руки... На голод, холод — терпеж, в бою — стой, не устоишь — знай свою прекрасную участь. А только, если ты хочешь знать по совести, в нашем деле эта самая дисциплина девятый гвоздь в подметке... Жми, жги, вари и вся недолга... Приглядишься, во второй роте черноморцы есть. Одичали в горах, по году и больше живого человека не видят, говорить разучились. На днях решил за разбой прочить двоих. Не ложатся под плети. Виноваты, говорят, расстреляй. И фасонны были ребята, а пришлось свалить... Звери, ухо к уху. А за Гришкой поглядывай — хлюст малый, давно бы его в земельный совет отправить, да нужный он человек.

В погоны зашифровался Александр и ускакал с Савчуком в город.

Плыла ночь.

На гребне перевала мерзли посты.

Лил лют норд-ост.

Лагерь в кострах. К кострам сползались, лохматые, угрюмые, солому волокни, сушились, выжаривали исподнее, кашеваров вздушивали, ладили на сошки закопченные котелки, жаловались новой комиссарше:

— Эх, товарищ, да ах, товарищ...

— Запаршивели хуже собак.

— Я в бане с Миколы зимнего не был, шкура-то уж так зудит, так зудит...

— Горюшко-головушка.

— Слушок, будто красны недалече? А?

— Э-эх!

— Как теперь рассудить, должен нам совет жалованье солдатское выдать? По году да по два тут кусты считаем, и ниоткуда ни в зуб толкни!

— Сырость, ремонтнизм корежит.

— Так корежит, не приведи бог... Где-нибудь в Архангельске дождь, а тебя уж в крендель гнет.

— Кусты считаем, казаков шибко тревожим и дожидаемся товарищей, так продолжается наша нехитрая солдатская жизнь.

Вилась Фенька в мужиках, как огонь в стружках.

От костра к костру провожали Феньку глаза ленивые, как сытые вши:

— Заводная...

— Кусаная...

На широкой рогоже завхоз таял коровью тушу. Тут же из неостывшей шкуры зеленцы выкраивали постолы.

Илько с Гришкой корешки.

Валялся Гришка на каменной плите, перед самым огнем, из половинки сырой картошки печать вырезал: от скуки, понятно. На пальцах у него колечки камушками сверкали, которы и без камушков. Пыхтел, сопел Гришка, ровно воз вез. Любовался печатью, углем ее натер, на ладонь прилепнул — фармазонная печать, явственная. Бросил ее Гришка в огонь и заунывно песенку блатную затянул:

Приходи ты на бан, я там буду
Любоваться твоей красотой.
И по ширме шарашить я буду.
Забараблю кудрячке покой.

На Гришкиной груди три банта: красный, зеленый, черный. Шикозные банты, а Илько смеется, в корешка глаз штопором:

— Что это за лименация?

Разгладил Гришка банты, разъяснил:

— Красный — свет новой жизни, заря революции... Зеленый — по службе... Черный — травур по капиталу... Уууу, ччч.

В солому зарылся Гришка и захрапел.

А Илько потянуло к большому костру: в его свете моталась рыжая косматая башка комиссарши.

В кругу слушателей, на подтаявших кочках, подложив под себя скатку, сидел первый в отряде пулеметчик Трофим Кулик, крутил обкуренный солдатский ус и негромко, с журчащей грустью, рассказывал:

— Шутка ли сказать, на действительной семь годочков отбарабил да в плену три — богато рученьками, ноженьками помахал, богато поту утер. Ворочаюсь до дому — сидит в хате слепая matka, смерти дожидается. На дворе ни курчонка, ни собаки. Сарай упал, все криво, косо, не как у людей. Батька красные зарубали, брательник с таманцами отступил, дядья родные Денике служат, вот ты, бисова душа, и разберись, кто прав. Махнул я рукой: помогай, кажу, боже и нашим и вашим, только меня не троньте...

— Гарно...

— Гарно, да не дуже...

— Так и так — яма, стой прямо, упал — пропад.

— ...не поддался я печали, за работу схватился. Потрудился с годик, опнулся малость, лошаденку огоревал; хозяйство маломало скопировал... А ну, посудите, люди добрые, какое без бабы хозяйство. Кругом один, кругом сирота... Удумал я жениться, как ни крутись, а жениться не миновать. Подвернулась на глаза девка подходящая. Марькой звали ту девуку... Обкрутились мы с

ней. Веселая моя Марька, белая, ноздристая да чернобровая — глядеть на нее, сердце не нарадуется,— а по дому лучше старухи...

Трофим задумался, тяжело вздохнул, ровно тяжелую воду разгреб руками.

— Эхе-хе, братушки, лихое нонче времечко, нету счастья человеку.

— Живем, как по вострому ножу ходим,— подсказал кто-то.

— Было времечко, ела коза семечко...

Зажмурился Трофим, голову свесил. Неторопливо отстегнул от пояса кисет, раскурил трубку и ну досказывать:

— Приказ-указ — мобилизация. Оборвалось наше с Марькой счастье... Воевать идти ни оно...

— Жива душа калачика чает.

— Кому божий свет не мил?

— Кругом плач, кругом терзанье...

— ...набралось нас, годков, десятка с два, понадевали по-за плечи мешки с хлебом, в хмеречь посунулись... Смастерили себе шалашики, дубинки покрепче вырубил. Неделю-другую сидим в лесу, как сычи, свету белого боимся. Глядь, бегут наши старики с плачем, с воем: нагрянул в станицу каратель с отрядом, князь Трубецкой; дезертиров ловят, скотину режут, над девками, бабами издеваются.

— Бабам за войну досталось, от каждой власти бабам слезы — тот придет, гусей давит, тот овцу со двора тащит, а иной ухац прямо под юбку лезет.

— Солдату больше и взять негде.

— Не видя бог пошлет.

— ...устроили мы военный совет. Видим, петель много, а конец один — порешить надо гадов. Сказать пустяк, а доткнись до дела, обожгешься. Народу у нас орда, да у каждого глотка-то в тридцать три диаметра. Обсуждали, обсуждали, так и бросили. Чего тут обсуждать?.. Пошла-поехала. Чуть зорька — стучимся в станицу, — как дела? Так и так, князь, его сиятельство, к моладаванам уехамши, в станице гарнизон оставил... Ладно... Врываемся в станичное правление с дубинками, с ружьишками, кричим всячину, у кого сколько голосу хватит... Раскатали мы гарнизону семьдесят душ, бежим по домам... Плач стеной: там сожгли, там ограбили, там истязали. Марьку свою чуть нашел... Забилась в подпечек, плачет, смеется, а не вылезит... Маню ее, зову: «Дурочка, Христос с тобой, очкнись». Насилу выгашил и... не узнал... Осунулась, пожухлела, голова трясется, в кулаке зажала человежье ухо откушенное... Помяли ее, гады, а она на сносях первым брюхом ходила. Горюй не горюй, так, видно, греху быть. Стонать-плакать не время, слышим, назад каратель идет, опять нам в лес подаваться. Посадились мы на коней... И увяжись за мной Марька. Никак не хочет дома оставаться. И упрасивал ее и умаливал — не останусь да не

останусь, — а у нас меж собой нерушимый уговор был, чтобы бабой в отряде и не пахло. Што тут делать? С версту от станицы умотали, а Марька все бежит около меня, за стремя чепляется. Осерчал я тут крепко и товарищей стыдно, не стерпя сердца, хлестнул Марьку плетью.

— Вернись!

— Не вернись, любезный ты мой Трофимушка!

— Вернись, осержусь!

— Нет, супруг ты мой драгоценный, не можно мне вернуться.

— Вернись, скаженная, — закричал я, как бешеный.

— Ой, смертынька моя, убей, не вернись!

Заморозил я сердце, сорвал с плеча винтовку...

трах

и ускакал товарищей догонять.

Сдернул шапку Трофим, и еще ниже свесилась его седая, ровно мукой обсыпанная голова.

— Суди тебя бог.

— Эхе-хе...

— Вот она, жизнь наша!

По обветренным лицам тенью пробежал ветер.

Перезябшие часовые с черных ветровых гор сползли к кострам. Скрюченные руки — рукав в рукав. На башлыках снег. На прикладах снег настыл коркой. Продрогшие, сиплые голоса:

— Собаки, што ль?

— Где же начальники?

— Шутки плохие.

— До кишок смерзлись.

— Винца бы.

— Полсуток без смены.

У костра молча пораздвинулись.

Стуча зубами, подсели к огню. Из непослушных рук рвалась обмотка. Поведенная коробом шинель смерзлась с гимнастеркой.

Потом помалу глотки оттаяли, огонь заострил глаза.

Фенька растолкала Гришку:

— Давай наряд караула!

Спросонья помычал, поурчал Гришка. Сунул лапу за голенищу, — за голенищей у него хранилась вся походная канцелярия.

— Скорей возись! — нетерпеливо крикнула она, слыша за собой разрывы ругани.

Протер Гришка глаза: Фенька...

— Хмы... — запахнулся в шинель и отвернулся. — Ни яких каравулов не треба.

— Дай ротные списки.

— Кыш.

— Ну?

— Отчепись, стерво!

Приподнялся Гришка, накинул в костёр сучков, вытянул из пазухи кисет и плюнул с присвистом.

— Это видала? — и показал.

Кто-то залиvisto заржал.

Гришка принялся ругаться:

— Я начальник, а ты гадина, говядина, смердячий пуп... Ууу, ччч, кх...

Кругом молчали.

Сырые сучки постреливали. Пахнул дым. Фенька закашлялась, отвернулась от огня и спокойно сказала:

— Караулы выставить необходимо. Давай наряд. Чья очередь?

Андрюшка Щерба лупил печеную картошку, поддюкнул Андрюшка:

— Какая тут очередь... Послать вон его почетную банду...

Нехай промнутяся... Вечно в землянке спят да спирт жрут.

Две-три вылуженные простудой глотки поддакнули.

Тут какое дело? Увивалось вокруг Гришки с десяток своих ребят: «почетный конвой». Сыты-пьяны, в работы ни ногой. Коняги под ними — поискать надо. Гришка за конвойцев горой. В караул — ни в какую.

Комиссарша выругалась.

Набрала комиссарша добровольцев и ушла с ними в мерзлую ночь. На дорогах, на ветру провалялись до свету. По заре сбросились в лагерь, в солому, в сон.

Не успел Илько согреться под шинелью:

Крик

гам

бам

пыльно...

Вскочил Илько.

Буза

шухор

тарарам...

Перед землянкой Гришка Тяптя и борзые конвойцы.

— Выходи, курва!

— Вишь, фасон взяла!

— Ни коня, ни возу.

— Гээ...

На шум сбегались.

— Хай...

— Май...

— За стрижену косу...

— Замерзать, што ль?

Из землянки в шинели внакидку вышла Фенька:

— Не дам.

А просили спирту. Погреться. Закачались, зашумели, заголотали, подняли такой хай — смрадно. Налитая дурной кровью рожа Гришки накатывалась на комиссаршу.

— Говори, не дашь?

— Нет.

— Не дашь?

— Нет.

Фенька повернулась и, крепким каблуком сбивая мерзлые кочки, не оглядываясь, ушла в землянку.

Помитинговали-помитинговали и решили: шлепнуть комиссаршу. Гришка, конвойцы, с полдюжины дудаков — не разобрались спросонья в чем дело, — всем выпить хотелось.

Зеленцы просыпались, почесываясь. Крестились на занимавшийся восток, грели котелки.

Илько бегал от костра к костру, пинал спящих, хватал за ноги, за руки.

— Братаны, становитесь... Живенько... Дядьку Гнат... Тришка... Боже ж ты мой!.. Комиссаршу расстреливать повели. Которые побежали...

Илько передом. И наган в рукаве дрожит. Под легкой ногой тропа камень отхаркивала. В кольце конвойцев Фенька размашисто бьет шаг. И ухо рассечено.

— Стой, куда?

— Чо?

— На бут.

— Брось бухтеть!

— Какая твоя нота?

— Дужка от помойного ведра.

— Больше других тебе надо?

— Сунь ему.

— Катись, Валет.

— Стой, лярва... — крикнул отчаянно Илько и махнул наганом. — Дядьку Гнат, Васька...

Заурчали, залаяли.

Подбежал Илькин родной дядька Игнат. Сивый подбежал, Яковенко, Шерба, Хандус, другие...

— А ну, хлопцы, шо туточки творите?

— Та...

— Ууу...

— Сука, готов товарища на бабу променять?..

— Ну? — подставил Илько наган Гришке ко вшивому затылку, — смерти иль живота?

Гришка завял:

— Валет, край... Никогда сроду...

А кругом такое:

— Га.

— Так?

— Ага-бага...

— В цепь!

Попрыгали конвойцы в промоину. Илько с товарищами за камни попрыгали. И затворами шелк-шелк. Быть бы перепалке.

Не миновать бы перепалки. Старики помешали, стоят на тропе, растопырились:

— Ат, бисово отродье!

— Чур, дурни!

— Матке вашей черт!

Пособачились-пособачились и вышли из-за своих прикрытий, все еще сжимая в жестких руках ружья и револьверы. До самого лагеря шли и ругались. Старики разгоняли их палками. Фенька шла сзади и отхаркивала сукровицу.

Кувыркался снежный ветер. Качались вершины широкоплечих гор. Снежной метелью умывалось утро.

Прискакал Александр.

— Каковы дела? — спросил он комиссаршу.

Фенька, оттирая шинельным рукавом запекшуюся на скуле кровь, доложила обо всем.

Ахнул Александр, плюнул, направил ее вместе с Илько в город: с тюрьмой дело по ходу, и в городе люди нужны.

Прощался Илько с дядьком, по тропе бросился Феньку догонять.

На скале, над морем, в ветре, по ночи.

Костер в дыме, похожий на сиреневый куст.

Кисти спелых звезд.

Илько с Фенькой.

На шинельке в узел схлест. Ласковая сила сердце рвет. вспомнила Фенька Трофима: сердце заморозил... Как просто и здорово. Тихо смеется Фенька:

— А ты подломил бы меня, как наш пулеметчик свою Марьку?

— Да, — потрянул он разудалой башкой. Веселым огнем были затоплены глаза его, и легкая кровь винтом била в недумавшую башку его.

Черный ветер сорвал и унес костер. Сны их были бурны и грозовы. Крики ночных птиц булькали над ними. И под ними — далеко внизу — в жарком разбеге кувыркалось море.

Утро градом горячих стрел в них.

Переливались мелкие тропы. Гудела земля, зверем залита. Гудели пятки Илько. Фенька легко попевала за ним, ноги ее были сухи и горячи, как ноги скакунов, от бега задыхающихся на ходу. И глаза ее были веселее солнечных лесных полян.

Город в лихорадке.

День-ночь лавина чемоданов, сундуков, людей движется в порт. С вокзала, из города в порт. Стонали мостовые под кованым шагом ломовиков.

— Пошел... Поше-е-ол!..

К пристани жалась английские, французские корабли. Метали корабли на русский берег токи обмундировки, шотландские консервы, ящики кокосового масла, сгущенное молоко и ящики снарядов с траурным трафаретом:

БЕЙ — НЕ ЖАЛЕЙ, ЕЩЕ ДОСТАВИМ.

Город с верхом был налит ужасом и паникой.

На базаре по телеграфным столбам были развешаны оборванцы: проволокой за шею, унылые руки, толстый язык, — баста.

Вечером пылающие кафе пенились смехом. С собачьей угодливостью улыбались конфетные румыны. Рыдали скрипки. Сильва, Кармен, тройка, которая по Волге-матушке... Мишели и Дианы, Жоржи и Анжелики. Глаза лысые, как перламутровые пуговицы. И ноздри широкие, пляшущие, такие у загнанных, храпящих коней. Спасательный порошок на кончике ножа:

— Аах!

По ночам, закованный в золотые цепи огней, рыдающий и пляшущий, город вздрагивал под ударами ледяного норд-оста. По ночам на Тонком мысу ружейная канитель: контрразведка зарабатывала хлеб и славу.

По заре гудела далекая канонада, по Закубанью стучались красные.

Подполье жило особой жизнью и особыми законами, совсем не похожими на те законы, что прикованы к человеку, как ядро каторжника. Сверкающее колесо дней сыпало удачами, провалами и счетной радостью.

Комитет стоглаз, столап.

В городе мобилизация: подпольный комитет посылает на приемный пункт своих ребят, чтоб сагитировать и увести надежных в горы, в свой отряд.

За вокзалом в тупик загнан вагон патронов: патроны разгрузить и перебросить в горы.

Волнения в местном артиллерийском дивизионе: связаться, организовать, ночью офицеров под лапу, рядовых в горы.

Нужны денюжки: собрать пару копеек у грузчиков и цементников; немедленно устроить налет на полковника Саломатова — за границу собирается — золото, верное дело, край.

Убрать Черныша: Черныш — начальник охраны. Подвешиванье за ребра, селедка, шомпола, иголки под кожу, резиновые палки, лоскутки сорванных ногтей — все это дело его рук. Из тюрьмы стон: «Уберите Черныша»; от районных ячеек вой: «Смотайте гада...» За короткое время он перебил и перевешал три состава подпольного комитета. Не раз в него стреляли, бросили бомбу, и все впустую. Новые агентурные сведения, присланные на лоскутке папиросной бумаги: «Черныш в штабу на заседании, а выйдет к трем часам».

Штаб в пазухе города. Все равно кокнуть. В комнате случайно шестеро.

Жребий бросали чечевицей.

Пала отметина на Илько.

Расплескивая по груди, хватил Илько стакан неразбавленного спирта. Обветренное цыганское лицо его потемнело — кровь взволновалась.

— Фенька, товарищи, дай закурить!

Поймал в портсигаре папироску. Прикуривает у Феньки, а затылок горит.

В дверь кинулся и вспомнил: так же горел затылок, когда его, Ильку, в Балабановскую рощу расстреливать вели.

Автомобилей фырк

крошево лиц

звон шпор.

С корзинкой на голове Илько через дорогу.

— Лепошки... Горячи лепошки...

Штаб.

Из штаба вышел Черныш: папаха, усы, светлая серая шинель, ордена во всю грудь.

Илько навстречу.

Он...

Вот...

Тра-ра-ра-ра-тах!..

Обойму в упор.

Смеется Черныш и рук из кармана не вынул.

От испуга Илько бежать не может. Черкнула мысль острая: «В панцире, говорили мне...»

Налетели шпики, казаки из дворов. Остры сабельки посекали на парне стеганую солдатскую кацавейку.

За день в горы сунули целый обоз мяса; на базаре шпика в сортире утопили; в бухте сожгли пароход со снарядами. Последнее было так: ночью, разгребая грудью кипящую воду, из далекого Марселя прибежал нарядный кораблик. А утром на явочную квартиру рабочего Петра Олейникова зашел подпольщик, матрос Герасим, одетый под английского капитана. Спросил он бутылку спирта и бутылку бензина. Спирт вылил в себя, а бензин засунул в карман и, не говоря ни слова, ушел. У начальника порта Герасим, сверкнув капитанским погоном, потребовал военный катер и на катере отправился «принимать снаряды». Через полчаса на рейде пылал кораблик, оглушительно рвались снарядные погреба, и черный дым затягивал горизонт. Вот и все.

Из тюрьмы опять письмо: «Каждую ночь уводят товарищей. Спасите, помогите».

Сердце в груди ворочается, а руки не достают — не фокус ведь.

Фенька вела подготовку налета на тюрьму. Бегала — бегала язык высунувши: подкуп надзирателей, сигнализация, телефоны,

ключи, охрана, сговор с Александром — дела выше головы, а тут, ба-бах, завалилась Фенька и сама.

Порубленного, избитого Илько за руки, за ноги тащили по тюремному коридору. Голова билась о ступеньки, мела пол. Ржаво твякнул замок. Пахнуло кислой вонью, холодным камнем.

С размаху
 щучкой
 в угол.

От ревущей боли и холода очнулся. С великим трудом поднялся на ноги.

Ни сесть, ни лечь. Посеченная в ленты спина скипелась кровью. Зализал в деснах осколки зубов. От слабости прислонился к стенке и — навзрыд.

.....

После первого допроса заправили Илько в камеру смертников. Там Илько встретил Петьку Колдуна и товарища Сергея.

— Здорово!

— Здорово.

— Хомут?

— Какое... Так и так, ось в колесе, кругом пять в пять, ожидаем с часу на час, ухвертки — ключи — в свою кузницу заказали.

Отлегло, отвалила смертная тошнота от сердца, повеселел Илько и огляделся: камера сутула, стара.

Ленивее волов выматывались мутные дни. Гулкие ночи уползали торопливо, оставляя за собой крики, плач, шелуху шороха. В камере смертников не было ни нар, ни стола, одни стены. По щиколки вода. Здоровые стояли по многу дней. Слабые сидели и лежали в воде.

Каждую ночь выдергивали смертников.

— Макаренко?

— Есть.

— Сидоров Иван?

— Тута.

— Калюгин?

— Я.

— Касапенко?

Молчанье.

— Петро Касапенко?

Из угла торопливо:

— Туточки он... От тифу помер, вонять начинает...

— Собирайсь!

Какие там сборы? Табачок, спички оставят — зачем добро пропадать?: Потухающим глазом цапались за голые стены и, распрощавшись с товарищами, уходили в ночь.

Бандит Петька Колдун дожидался смерти беспокойно. Нанюхавшись марафету и наводя на всех уныние, он метался по камере, царапая когтями грязную грудь — рубашку проиграл, — на груди у него татуировка: «Боже храни моряка».

А товарищ Сергей до последнего часа огрызком карандаша царапал воззвания «к рабочим, солдатам и крестьянам» и каждое утро передавал их туда, на волю.

Белые и чужие недоброе, да кончика не могли найти.

Черныш наружную охрану удвоил. В тюрьме сам деловых тряс: кончика искал. На допрос — на ногах, с допроса — на карачках: «Как да что, да какие твои мнения? Здорово живешь, сукин сын... Цоп, бяк, брык, ах, ах...»

После допроса прочухался Илько в чужой камере: высокое окно, дикий камень прет. На койке, из-под груды тряпья, рыжий затылок.

— Фенька... Фенька.

Стонать перестала.

Приподнялась.

Спрыгнула и упала на Илько, прикрыла его собой, как клушка цыпленка.

— Ты, Илько?

— Я.

— Ну вот, опять вместе.

— Давно сгорела?

— Ерунда... А ты откуда? Из заводиловки? Ну, как?

— Без звука, — прошептал он и улыбнулся.

— Молодец, — поймала и крепко встряхнула его руку. —

Знаешь, нонче ночью налет?

— Знаю.

— Тсс...

Только сейчас он заметил, что за ухом потемнели рыжие волосы, спеклись в лепешку, и щека Фенькина была чем-то проткнута.

Стукнул засов.

Ленивая дверь ржаво зевнула.

Кровяной глаз фонаря уткнулся в двоих.

Фенька перешла на койку.

Стражники стучали прикладами, переступали с ноги на ногу, покашливая в кулак.

Офицер такой красивый:

— Встать!

Двое подняли Илько, встряхнули, приставили к стенке.

Вялый офицер носовым платком чистит рукав, говорит устало:

— Козни зеленцов, налет на тюрьму, состав комитета, все это чепуха, вздор, все известно, меры приняты, крамола будет вырвана с корнем... И даже про них — Илько с Фенькой — он все знает. Конечно, молодость, любовь...

Но это он говорит уже не по службе, а от чистого сердца. Требуется от Илько пустяков: кое-кого назвать и пару-другую адресов.

Молчанье.

Бьется луна в оконном переплете.

Офицер простуженно кашляет:

— Предупреждаю, молодой человек, за неисполнение законных требований я отдам вашу девицу взводу моих солдат.

Илько молчит.

— Ну?.. Я надеюсь, вы будете благоразумны?..

Илько отхаркивает кровь и молча перебирает разбитыми губами. В нижнем этаже фальшивомонетчики горланили:

Крути, верти, моя машина,
Наворачивай пистон...

Фенька сказала глухо, ровно издалека:

— Илько, не смей.

— Вот как! — прорвало офицерскую вежливость, и ругательства хлынули из него.

Стены повалились на Илько. Ведро ледяной воды ему на голову. Опять подняли, прислонили к стенке.

— Ну? — крикнул офицер.

Илько шагнул вперед.

Звонкий голос толкнул его в грудь:

— Не смей!

— Прекрасно, — повернулся офицер к солдатам искомандовал: — Сыромятников, начинай!

Сыромятников передал ружье товарищу и схватил Феньку за волосы, отгибая голову назад.

Илько зажмурился...

Защекотало в носу...

Слодымя била дрожь...

Тошнеконько...

Мутно...

Как в дыму, он видел белеющие Фенькины ноги. Партизанская кровь замитинговала в Илько. Зажмурился, завертелось все в глазах.

— Стой! Ваше благородие, скажу...

— Молчи! — отчаянно крикнула Фенька.

— Ваше благородие... Все скажу, я, я...

Разбегаются мысли, как пьяные вожжи. Не соберет Илько мыслей, шатается Илько и видит вдруг: обняла Фенька стражника за шею крепко-накрепко, а другой рукой за зеленый шнур, за кобур, за наган и — первую пулю в него, в Илько:

Бах...

По гулкому коридору топот многих ног и голоса:

— Братва, выходи!

— Живо-два.

— Хвост в зубы, пятки за уши.

Толпа арестантов царапалась на гору. Цепь зеленцов прикрывала отход.

Радостный Александр спросил об Илько:

— Куда подевался, не видно парня?

Фенька вскинула сползавший с плеча карабин и ответила:

— Загнүлся наш Илько... Сердце у него подтаяло.

В огне броду нет.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Налет на новороссийскую тюрьму был произведен в ночь с 20 на 21 февраля 1920 года. Освобождено шестьсот с лишним человек.

КЛЮКВИН-ГОРОДОК

*В России революция — вспыхнуло
пламя и повсюду произошло грозой.*

Первый радостный снеж засыпал город, словно сетью крыл
худоребрый лес, сеялся на соломенные головы деревень. В степ-
ных просторах потоки снега гонял вольный ветер, на сугробах
играл ветруга зачесами гребней.

Дороги направо

дороги налево

снежный разлив...

На окнах настывали первые узоры.

Клюквин ликовал.

Фасады домишек были убраны ветками зелени и кумачовыми
флагами. Где-то за пожарным депо взмывал оркестр. С окраин к
центру кривыми узкими улочками лавиной стремились жители.
С гиком мчались ребятишки. Вприпрыжку скакали озабоченные
собаки. Широко, деловито шагали мужики. Задыхаясь, оправляя
платки, бежали бабы.

— Заступница... Владычица... Идут.

— И то, идут... Батюшки, Дарюшка, ох... Слава те!

— Куманька, сон-от мне...

Со стороны вокзала в главную улицу втягивался партизан-
ский отряд Капустина. Дымились, всхрапывали приморенные ко-
ни. В седлах раскачивались чубатые партизаны — лица их были
обветрены, забитые снегом черные папахи сдвинуты на затылки.

Через базарную площадь навстречу отряду со знаменами и
оркестром двинулись железнодорожники, крющники, ткачи,
пекаря, кожевники, работники иглы...

— Мамка, гляди, гляди...

— Ээ, брат, силища-то, народу-то!.. Я сэстолько и на Ярдани
не видал.

— Война... Этих лошадей да на пашню бы.

С тротуара стремительно метнулась пестрая юбка:

— Митрошенька...

Молодая женщина грудью ударила в волну лошадей... Задым-
ленный ветрами горбоносый партизан перегнулся из седла,
с лету подхватил ее под локоть и, посадив перед собою, под

дружный одобрительный хохот стал целовать заплаканное смеющееся лицо.

— Ура, ура-а-а...

Задранные головы, распахнутые рты...

— Сват, Ермолай... Сват, дьявол те задери...

— А-а, мил дружок, садово яблочко... Жив?.. Грунька-то тут убивается, двойню тебе родила.

Старуха хваталась за поводья гнедого коня, глаза ее вспыхивали и притухали, ровно копеечные свечки под ветром...

— Михаил Иваныч!.. Не видал ли Петьку?.. Сынка?

Михаил Иваныч — угреватый Мишка Зоб — рвал коню губы и с насадой кричал:

— Не жди своего Петьку, Мавра... Вместе были... Петька, друг до гроба, под Казанью убили... — Зоб в сердцах урезал плетью пляшущего гнедка и ударил в переулочек, к дому.

Старуха так и покатилась.

— Петенька... Батюшки... У-ух, ух...

Торжествующе гремел оркестр. Над городом волной вздымался гимн революции — вдохновенно звенели голоса женщин, согласно гудели баса, взлетая, сверкали детские подголоски. Боевая песнь колыхала, рвала сонную тишину городка.

На площади закипал митинг.

С исполкомовского балкона Капустин кричал в буран, будто спорил с ним:

— Волга — наша! Завтра нашими будут Урал, Украина, Сибирь! Генералы, купцы, фабриканты и всякие мелкие твари, сосущие соки трудового народа — где они?.. Тю-тю... Все вихрем поразметало, огнем пожгло! К Колчаку побежали за белыми булками, за маслеными пирогами...

Передние колыхнулись в хохоте:

— У них с нашего-то хлеба брюхо лупится...

— Ваша благородня, хо-хо...

По всей площади густой рябью потянул гогот.

Спешившиеся партизаны топтались на мерзлых кочках, вполголоса расспрашивали о том о сем, рассказывали о последних боях под Симбирском и Самарой, слушали Капустина.

— Востроголовый мужик...

— Ну-у?

— Пра. А в бою жеще нет. «Ура» — и вперед!

— Капустин худого не попустит...

Ребром ладони Капустин рубил встречный ветер, глазами вязал толпу и громко говорил:

— Революция, свобода, власть... Заварили кашу, надо доваривать! Замахнулись — надо бить! Врагов у нас — большие тыщи!

С севера, из рукавов лесных дорог, сыпались обозы со штабами, ранеными. С далеких Уральских гор задирала сиверка. Остро посвистывал жгучий, как крапива, ветер. Хмурь тушила день, садилось солнце на корень.

Ночью покой притихшего городка охраняли патрули — кованым шагом они гулко били в мерзлые доски тротуаров, от скуки постреливали в далекое звездное небо. На базарной площади, на стыке трех больших улиц, пылал костер. Сонные дряблые лица огонь наливал дурной кровью. Вяло вязались солдатские разговоры, по кругу из рук в руки переходила махорочная закурка.

Ржавыми гвоздями визжала обдираемая обшивка лабазная. — Накинь, Петров, накинь, разгони тоску.

Петров крошил в костер трухлявые доски, переливчато с захлебом чихал, припав на корточки, вертел закурку из сорванного с забора приказа, затягивался и начинал:

— В некотором царстве, в некотором государстве жил-был поп. Было у него не мало, не много — восемь дочек. Нагуляны девки, пшеничный кусок. Поп возьми, да и найми себе работника Чеголду. Ладно, и вот, в одинажное время...

Сказка тонула в чугунном гоготе простуженных глоток.

Темнота ночи редела. Старый солдат Онуфрий бодро отбивал часы на каланче. Обтянутый серыми заборами город закипал с краев. Чуть светок, слободка на ногах. У колодцев бабы гремели ведрами. Мычал гудок в депо, откликался жиденький и дребезжащий с лесопилки, дружно подхватывали мельничные и мощным ревом вспугивали дрему утра. Ежась от свежего ветерка, торопливо шагали рабочие с узелками и мешочками, перекидываясь шутками и незлой руганью.

Бок о бок с макаронной фабрикой, в тяжелом доме купца Савватеев Гречихина под утро кончалось заседание ревкома. Гильда протоколировала: охрана революционного порядка... национализация и учет предприятий... пособия семьям погибших партизан.

В угловой комнате лохматый сынушка купца Гречихина, Ефим Савватеевич, строчил воззвание к трудящимся Ключевинского уезда — искры из-под карандаша летели.

Ефим — художник и артист. Смолоду на чужой стороне скитался, громовое отцово проклятие на шее носил. Революция подсекла старика под корень: два магазина отобрали, маслобойку, рысак Голубчика среди бела дня со двора увели, родовые дедовы сундуки растрясли. С горя удавился старик. Погребали его по кулугурскому обычаю, на дому, с гнусавым многоголосым пением кулугурских попов. Вскоре откуда-то из теплых краев явился и Ефим с клетчатый чемоданом на горбу: по родным местам стосковался, по сытному ржаному хлебу, по говяжьим — с мозговой костью и мучной подболткой — щам, кои варить по-настоящему только на Волге и умеют. Мотал целешвие отцовы дохи и столовое серебро, мазал картины, ходил на охоту. Переворот, чехи, мобилизация. На войну Ефима не манило. Перешел на положение дезертира и перебрался на жительство на городскую окраину, к старому отцову приказчику Илье Ильичу Халь-

зову. Скучно жил. От скуки однажды и на собрание приказчицы пошел. Там познакомился с Гильдой. Потом они встретились еще два раза в городском саду, и любовь накрыла их своим блистающим крылом. Гильда работала в подполье. Он не знал этого и немало дивился ее занятости и постоянной беготне по домишкам рабочей слободки.

— Что у тебя, родни в городе много? — спрашивал он:

— Да, — смеялась она, — много родных.

— Чудеса... Ты сама-то ведь, кажется, из Риги?

— Молчи, дружок. Потом узнаешь.

Вся подобранная и свернутая, как аккуратная лошадь, она удивляла его своей замкнутостью. Энтузиазм молодости был запрятан в ней, как огонь в кремне. И стриженую русую головку, и строгий смуглый профиль, и точеную фигуру — всю ее любил Ефим. А в Гильде мерцала память о рижской гимназии, о большом немецком театре, о прочитанных романах... Ефим — художник, артист, поэт, и талант его, верилось ей, так же широк, как широки его плечи. Как не любить Ефима?..

Близилась дни победы. Однажды, в звонкую осеннюю ночь, взявшись за руки, они до рассвету гуляли по саду, и Гильда, желая сказать ему что-нибудь очень хорошее, вдруг выпалила:

— Знаешь, я большевичка... работаю в подпольной организации...

Он встретил эту весть равнодушно и пробормотал:

— Поскорее бы война кончилась... Я увезу тебя в Крым, на Кавказ, там есть такие чудесные уголки...

...В комнату вошла Гильда и заглянула ему через плечо:

— Ого, расписался... Не думаешь ли ты строчить целую поэму?

— Не беда, мужик большой разговор любит.

— Подумай, Ефимчик, как чудесно. Город наш! Какие у всех сегодня были лица, глаза!.. — Уперев руки в боки и встряхивая бурей светлых кудрей, она протанцевала по комнате и упала в кресло, закрыла глаза: — С ног валюсь...

— Новости есть?

— По фронту — гоним... На днях исполком ждем... Пока мне поручено вербовать инструкторов и агитаторов... Ефимчик, родненький, думаю, ты не откажешься в деревню махнуть?

— В какую, к черту, деревню?

— Ну, объедешь волость, другую, агитнешь по выборам в сельсоветы... Так мало своих людей... Я на тебя рассчитываю.

— Я бы не прочь, но...

— Не беспокойся, инструкциями наградим.

— Я не о том, — оборвал строку, — я буду так скучать... Пламенный вихрь испепелит меня...

— Подай в партком заявление, не могу, мол, ехать — влюблен... Кстати, с завтрашнего дня объявляется партийная неделя, вербовка новых членов... Надеюсь, ты... — Она замаялась.

— О, да, да! — подхватил он. — В душе я всегда чувствовал себя коммунистом, хотя в партийных программах плохо разбираюсь... Ну, да это пустяки. За тобой, голубка, я готов пойти и в рай и в ад... Прослушай вот.

Бойко прочитал воззвание.

Гильда расподдала всю: много эсеровской фразеологии — «сермяжное крестьянство», «свободный народ»; много непонятных для деревни слов; указала места, на которые нужно упереть; подсказала несколько лозунгов и, свернувшись в кожаном кресле калачиком, покатила в сон, словно в яму, полную черного пуха.

Ефим начисто переписал воззвание, швырнул карандаш и на цыпочках — к креслу. Крупно выписанные, пухлые губы тихонько окунул в ее русые волосы...

— О, моя радостная песнь, жидким пламенем поцелуев я налью твою душу до краев, через края...

По коридору загремели мерзлые копыта, в дверь — по-деловому, кулаком:

— Эй... Барышня латышка тут проживают?.. На собрание!

— Фу, черт... Ти-ше.

В дверь — папаха, усы:

— Барышня латышка?.. В бахрушинский дом на профсоюзное собрание... Целый час ишу, наказанье господне.

Заборы ломились под тяжестью приказов: «На военном положении... впредь... строго... пьянство... грабежи... виновные... на основании... вплоть до расстрела». Дольше других задерживало воззвание: «Товарищи и граждане, наш уезд одна трудовая семья. У нас общие интересы. Мечта сбылась! Все в коммуну!» Воззвание было отпечатано в ста тысячах экземпляров и разослано, как на то последовало из губернии разъяснение, «по печальному недоразумению».

У клюквенских жителей, никогда не отличавшихся особой отвагой, от приказов и подобных воззваний голова шла каруселью. Зять не узнавал шурина, свекровь — невестку, сват — брата. Подозрительно озираясь друг на друга, торопливо распозвались обыватели по своим берлогам.

Единственный в городе автомобиль круглые сутки считал ухабы: комендант, ревком, чека, вокзал, телеграф, ревком, чека... На Сенной площади митинг подвод. За город гужом тянулись воза с лесом, железом, коровьими тушами, буханками мерзлого хлеба, — об эти солдатские булки топоры зубрились, — хлопали кнуты и ругань, пересобаченные лошаденки в нитку вытягивались. На речке Говнюшке поднимали уроненный бельми мост.

Торжественно, в потоке музыки прибыл исполком старого состава. Ревком передал исполкому «всю полноту власти».

Машина заработала на полный ход.

Со двора на двор пошли комиссии по реквизициям, конфискации, обследованию, учету, регистрации, с переписью, обысками и розысками. Спешно переименовывались улицы: Бондарная — Коммунистическая, Торговая — Красноармейская, Обжорный ряд — Советский. Вшивую площадь и ту припочли, — сроду на ней галахи в орлянку резались, вшей на солнышке били. Заведующий отделом управления, вчерашний телеграфист Пеньтюшкин, большой был искусник на такие штучки. Полулюноша, полупоэт, он всегда изнывал от желания творить: то подавал в чека феерический проект о поголовном уничтожении белогвардейцев во всероссийском масштабе в трехдневный срок; то на заседании исполкома предлагал устроить неделю повального обыска, дабы изъять у обывателей излишки продуктов, мануфактуры, обуви; то представлял в совнархоз проект постройки гигантского кирпичного завода; то посылал в губернский город донос на местного комиссара здравоохранения, который, по слухам, и т. д. Даже самые глухие и жителями забытые переулки — Заплатанный и Песочный — были переименованы в Дарьяльский и Демократический. В последнее время Пеньтюшкин, не досыпая ночей, лихорадочно разрабатывал проект о новых революционных фамилиях, которыми и думал в первую очередь наградить красноармейцев, рабочих и советских служащих. Он всегда боялся, чтобы кто-нибудь не перехватил его идей, и чрезвычайно неохотно посвящал в свои планы даже друзей.

Облезлые фасады купеческих магазинов лихо перечеркнули красные вывески:

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ № 1
СКЛАД СНАБАРМА
РАЙРЫБА

На главных перекрестках ровно столбы вросли в землю милицейские. Большаком и проселками, дымя морозной пылью, как на пожар, поскакали инструктора, сотрудники, чекисты, нарядчики, курьеры, продовольственники и бравая уездная милиция. Начальник милиции Зыков рапортовал отделу управления: «Всецело соблюдая нравственную сторону вверенных мне милиционеров и дабы привить им воспитательные качества, специальным приказом я отменил пагубную привычку к матерщине». Пеньтюшкин похвалил его.

Ночами бежали из города с возами скарба люди, обиженные революцией, почему-либо не успевшие отступить с чехами. В деревне они надеялись укрыться от гроз и бурь. Двинулся в глубь уезда, с документами народного учителя, и колчаковской армии поручик эсер Борис Павлович Казанцев, оставленный своей организацией для подрывной работы в советском тылу.

Прифронтальная полоса, в городе две власти — гражданская и военная. Исполком как исполком. Начальник гарнизона офицер Глубоковский усат, багров, рыщ. На семейных вечеринках лихой танцор широчайшими малиновыми галифе разметал дорогу к сердцам красавиц. Никто так — с ветерком — не умел проехать по городу на казенной паре, и не кто иной, а он, Глубоковский, на зависть Пеньтюшкину придумал танец «За власть Советов» и хорошим знакомым по секрету сообщал, что разучивает новый вальс «Слава Красной Армии».

Приезжие мужики спозаранок набивались в исполкомовский коридор, разглядывали приказы по стенкам, тихонько, будто в церкви, разговаривали и следили пол лаптями. Звякая ключами, отхаркиваясь руганью, приходил дворник Адя-Бадя:

— Что не с полночи пришли, дьяволы косопалые... Вишь, наследили, медведи.

— Не лайся, старик, мы не за чем-нибудь, мы по казенному делу.

— Иди, иди, не огрызайся! — и метлой выгонял мужиков.

С пожарной каланчи на город падало десять дребезжащих ударов... Исполком наполнялся гулом голосов, треском телефонных звонков и болтовней машинок. Мужики лазили с этажа на этаж, из отдела в отдел, из комнаты в комнату. На мужиков, как кошки, фыркали барышни; секретари щупали тощие мужичьи карманы; величественные завывосседали на инструкциях, схемах и проектах, в которые, по самым точным расчетам, изъязвленная жизнь должна была войти, как нога в лакированный сапог.

В красном зале, тесно заставленном свежими сюда со всего города пальмами, расширенный пленум совнархоза ознакомился с докладом Сапункова о состоянии уездной промышленности.

Не так давно Сапунков, — одна кудря стоила рубля, а всего и за сотню не укупишь, — краснощекий молодец, красовался за прилавком пшеничника, купца Дудкина. Парень не дурак, услужливый и почтительный, до хозяйской копейки старательный, не чня другим, про которых говорилось: «Приказчик гривну хозяину в ящик, полтинник за голенищу». По узким тропам хозяйского доверия он упорно пробирался в душеприказчики, помаленьку сбрасывая с себя азиатчину, поддевку и плюсовые шаровары променял на куцый пиджак с сиреневым галстуком и разговором обзавелся обходительным. Дудкин откупил его от солдатчины, обласкал, пустил в свой дом и прочил поженить на прокисшей в девках старшей дочке Аксинье. Так бы оно, пожалуй, и было, но подоспела революция и вышибла у старика Дудкина из рук сразу всех козырей. А умному человеку и при революции жить можно. За полгода купцов приказчик перебивал в эсерах, анархистах, максималистах и перед Октябрем переметнулся к большевикам. Большевиком в Клюквине насчитывалось худой десяток, да и то половина из них были неустойчивые или малоподготовленные и на какой-нибудь иезуитский

вопрос противников вроде: «Скоро ли в Германии наступит революция, если заключим с ней мир?», не смигнув, отвечали: «Через неделю». Произведенный в лидеры Сапунков вечерами аккуратно ходил на Сенной базар, место сборищ, всячески поносил буржуазию и ее охвостье, покидал митинг последним, порой под утро. Помалу образовывалась жизнь, образовывался и парень: забросил сиреневый гастук, обтянулся френчем; Аксицию сослал на кухню и женился на младшей Дудкиной, Варюше; стариков, вчерашних своих благодетелей, тоже ни разносолами, ни словом ласковым не баловал и держал на собачьем положении. И совсем бы прогнал тестя, да знал, что купцом где-то в саду зарыт клад. Вначале Сапунков жаловался товарищам: «Язык не позволяет мне быть интеллигентным», но через год и это препятствие было преодолено. За год прочитал, по его собственному утверждению, *десять пудов* книг, листовок, воззваний и теперь в любое время и на какую угодно тему мог сделать многочасовой доклад. От неумеренного потребления печатного слова притупились его глаза, выцвел румянец, и в этом, похожем на перелицованное пальто, постаревшем человеке никто из клюквинских жителей не признавал краснощекого кудрявого молодца, волчком вертевшегося по хозяйской лавке или в часы досуга беззаботно травившего базарных собак...

— Взято на учет, — докладывал он пленуму, — около сотни предприятий, из которых одна ткацкая фабрика вырабатывает в месяц двадцать тысяч аршин сукна и столько же мешочного холста; мельницы наши в день могут пропущать до семидесяти тысяч пудов зерна; перспективы товарообмена...

Гладко выходило особенно насчет «перспектив», но когда в докладчика полетели тяжелые, как булыжники, вопросы, требующие немедленного разрешения — он замялся, засморкался, предложил вызвать преда... Председатель исполкома Капустин вошел, на ходу что-то прожевывая, на ходу с кем-то поздоровался и, не дослушав до конца задаваемых вопросов, стал отвечать на полный мах; все было продумано и подытожено раньше: сырье на подборе, госснабжение никудышное, денег нет — после белых в казначействе остались одни дрожжевые бандероли, полученные из губернии грошовые ассигновки будут ухлопаны на ремонт тех же предприятий... Резолюция пленума: «Поднять дух масс. Выделить для руководства предприятиями лучшие силы. Навалиться на буржуазию и кулаков с внеочередной контрибуцией».

Кабинет преда.

Над бумагами склонилось тяжелое, мужичье, будто круто замешанный черный хлеб, лицо Капустина. Все дела, и большие и малые, он делал с одинаковой неторопливостью, со спокойным азартом. Хозяйственно обмозгует, смечет на живую нитку и тут же, следом, схватится наглухо гвоздить: никакое дело от

рук не отбивалось. В доме коммуны, где жили почти все ответственные работники, комната Капустина всегда пустовала: в исполкоме он работал, ел и спал. Голос у него был размашистый и сочный — заговорит, заматерится — сквозь все стенки и этажи слышно... Машинистки кудахчут, чернильные мыши попискивают, а он, знай, садит, ровно дюймовые гвозди заколачивает:

— Ты что же это, пес лохматый, опять качать взялся?.. Ты понимаешь в какое время живем?..

Член президиума, пекарь Алексей Савельич Ванякин, топтался у двери, до колен свесив багровые кулаки и виновато уронив седеющую голову. Смолоду он пристрастился к винцу, и никому, кроме жены, пьянство его не было в досаду — вся слободка пила. Новое время, новые и песни. Революция требовала от слободки людей с трезвой мыслью и твердой рукой. От многолетнего пьянства голова пекаря тряслась, а слезящиеся, налитые мутью глаза его совестливо моргали:

— Прости, Иван Павлыч, слабость наша.

— Когда же будет конец твоей пьяной картине?

— Чего уж там...

— Гляди.

— Вот те крест, Ванюшка, завяжу.

— Сколько раз зарекался?

— Завяжу... Да ежели теперь возьму утильную каплю в рот, в глаза ты мне наплюй.

— Ну, ладно. На-ка вот декрет про чрезвычайный налог, он короткий и темной массе сильно непонятен. Так ты того, разведи его пожиже, разъясни на самом простом, обывательском языке, что за налог такой...

— Я... Сам знаешь...

— Малограмотен? Полбеда. Буржуев одолели, одолеем и грамоту. Главное вникни в декрет, обмозгуй. Пусть секретарь слова твои запишет, а потом вместе разберемся.

Налитый горьким раскаянием, загребая ковер непослушными ногами, Алексей Савельич уходил... На своем столе с тоскливым отчаянием он перебирал ворох бумаг: читать умел только по печатному, скоропись разбирал туго. Потом ругался с шайкой оборванных солдат, вломившихся в исполком с требованием наградных за взятие Уфы; или звонил, без конца восхищаясь диковинным устройством телефона, звонил в чеку к приятелю Никифору Сычугову, и меж ними перекидывался примерно такой разговор:

— Ты, Никишка?

— Я, Лексей Савельич. Здравствуй. Как живем?

— Да ничего. Вы как?

— Мы тоже ничего. Что новенького?

— Да ничего... У вас как?

— У нас тоже ничего... Ночью колчаковского офицеришку шлепнули.

- Дело не плохое... А меня опять сам лял.
- За пьянку?
- За нее за самую, будь она проклята.
- Тебя бить надо.
- Меня? Правильно.
- Заходи вечером, поговорим.
- Ваши гости.
- Принеси проса хоть горстей пять, второй день голуби не кормлены.
- Ладно.
- Тебе хорошо слышать?
- Так себе, будто таракан в ухе.
- Ежели спонадоблюсь, звони.
- Обязательно... И ты звони.
- Я-то позвоню.
- Прощай, Лексей Савельич.
- Прощай, Никишка.

С довольной улыбкой Ванякин бережно вешал трубку, но, увидав франтоватого секретарька, ожесточался и, повышая голос до крика, на самом простом обывательском языке пересказывал очередной декрет, добавляя от себя или о выселении буржуазии из особняков, или о козьем и коровьем молоке, которое через квартальные комитеты бедноты предписывалось «всецело и по совести делить между всеми детьми советского города Ключкина».

В первое же воскресенье Ванякин напивался наново, катался по городу на исполкомовской паре с гармонью, с песней. Разгуливающие по главной улице жители шарахались к заборам и шипели:

— Комиссары... Комиссарики...

Приходили из деревень ходоки, комбедчики, председатели сельсоветов. Капустин запирался с ними в кабинете, угощал чаем с сахарином, подробно выпрашивал о мелочах деревенского житья-бытья, на прощанье тряс дубовую руку делегата и, если это был человек свой, напутствовал:

— Подкручивайте кулакам хвосты!.. Без кулака и буржую городскому не воскреснуть... Себя блюдите пуще глазу — чтоб ни пьянцовки, ни разбою не было... Помни: у нас престолярная революция... Держи уши вилкой и стой на страже!

Каждый день нависали над исполкомом конфликты.

Случилось на трое суток задержать приварочное довольствие гарнизона. Глубоковский с караульной ротой обошел склады упродкома, побивал замки и все запасы мяса, сала, круп перебросил в комендантское управление. Продовольственный комиссар Лосев прибежал в исполком в истерике. Капустин успокоил его, как умел. Совместно составленную жалобу послали в губернию. Не успел Капустин утереть продкомиссаровских слез, как с телеграфа работающий там партиец принес копию только что посланной военной телеграммы:

Н а ч с н а б а р м у

Мероприятия военвластей заготовке продовольствия встречают упорное сопротивление стороны тыловиков, которые сплошь питают ненависть представителям армии. Прошу полномочий необходимых случаях применять оружие. Жду санкции реквизиции вина для нужд армии.

Начгар Глубоковский.

Капустин спрятал телеграмму в карман и велел немедленно вызвать к себе председателя чека Мартынова.

На фабрике без движения хранилось полмиллиона аршин сукна. В губсовнархоз и центротекстиль не раз посылались отношения с просьбой разрешить пустить часть уже начавшего преть сукна на товарообмен. Центры хранили упорное молчание. Сапунков в счет зарплаты выдал рабочим по пяти аршин. Из губернии спешная депеша: *«Сукно отобрать, виновных в выдаче за расхищение народного достояния привлечь к суду ревтрибунала»*. От рабочих делегация: *«Сукна у нас нет, в деревню снесли, променяли»*. Перепугавшийся насмерть Сапунков прибежал в исполком. Капустин и этого успокоил.

Руководитель работ по восстановлению моста, инженер Кипарисов, в деловом разговоре по какому-то поводу назвал продкомиссара генералом. Лосев инженера — скотом. Тот, не желая оставаться в долгу, обложил его по-русски. Тогда юный продкомиссар порвал ордера на снабжение рабочих, вытолкал собеседника из кабинета и будто крикнул: «Хам». Инженер настроил письмо в редакцию, подал заявление в чека, пожаловался своему военному начальству и к концу рабочего дня бледный от негодования прибежал в исполком...

— Поймите, какая наглость... Я со студенческих годов болел интересами народа... Он оскорбил во мне все лучшее, все святое...

Капустин пообещал достать ордера на продукты и сейчас же, в присутствии инженера, позвонил Лосеву:

— Послушай, что там у вас вышло с товарищем Кипарисовым? Нельзя же так...

— Он не товарищ, а беспартийная тварь, — прокричал тот, — такую сволочь давно бы следовало к стенке поставить... Он...

Капустин повесил на крючок трубку:

— Видите ли, инженер, Лосев извиняется и сожалеет о происшедшем... Он у нас заработался, нервничает, ну и... стоит ли вам на мальчишку внимание обращать?.. Поезжайте-ка, кончайте работу, а продукты завтра утром пришлю...

Помимо подобных конфликтов жалили мелкие недоразумения с проходящими воинскими частями, с железнодорожным начальством, с заградительными отрядами, реквизициями, арестами и проч.

Недостаток людей, скудость агитации и невязь с местами чуть

не подломили уездный съезд советов и комбедов. Наехали и бедняки, и кулачки, и кулачишки, и капитал-кулаки всех сортов и мастей. Программа — обух: «Долой контрибуцию, долой разверстку, дай соли, дай гвоздей». Съезд — рычаг, от которого зависел успех продкампании, всяческих заготовок, мобилизаций. Комитет партии послал к делегатам двух агитаторов. Делегатское общепитие в казармах: железные печки, угарный дым, сушились портянки.

— Здравствуйте, товарищи,— в один голос сказали двое присланных.

Дружное молчание.

— Как живете?

Нехотя, через силу:

— Живем, декреты жуем... Двое дён животы дрогнут... Пустое дело — кипятки, и того нет, не сготовили, не додумались... Эх, власть, эх, управители...

— Дорогие товарищи...

— Пустое дело кипятки, плюнуть раз... И трактиры опять же разорили... Захлебнуться нечем.

— Дорогие товарищи...

— Дорогие... У нас мозоли на руках, а у вас на языках...

Угарная махра, угарные разговоры до самого дня открытия. Разговоры разговорами, а чайком так и не распарились мужичьи кишки, так и дрогла в холодной казарме сотня ржаных персон, глотая дым и казенный суп жиже дыму. Лошадям делегатским и тем почету не было — десяток под навесом, а остальные гнулись на юру, склонив унылые морды над гнилым военкоматским сеном. Организовать все это как-то никому и в голову не приходило, а Капустин был в отъезде. Растерявшийся Сапунков побежал на телеграф.

«Срочная шифрованная губком копия губисполком. Ключевинский уезд один из богатейших. Условиях кулачского окружения работа чрезвычайно трудна. Налог местами сорван или проходит вяло. Наложено двадцать пять миллионов собрано пока три. Завтра открывается уездный съезд настроение ненадежное есть опасения срыва. Немедленно высылайте ответственного товарища для проведения съезда».

Ответ:

«Вся ответственность проведения съезда возлагается на учком и президиум исполкома. Случае срыва единовременного чрезвычайного налога или продкампании будете отозваны, преданы суду. Через неделю придем на постоянную работу Павла Гребенщикова».

Съезд открылся многоречивым докладом Сапункова о международном положении. Половина делегатов — в коридорах. В сортире — фракция кулаков.

— Свет в окошки... Га... Ровно у нас неисчерпаемый родник.
— Только и выглядывают, кто слабо подпоясан... Упрись, православные.

— Выходит, дело борона...

Выручил вернувшийся из Москвы Капустин. Угодил в самый кон. Словом о слово ударял, огонь высекал: умел он о самом заковыристом сказать просто и убедительно.

Зал притих, засопел с присвистом, слушая простые и страшные слова о голодающих городах и разоренных войною целых областях, о красном фронте и задачах советской власти.

Саботаж был сломлен, кого надо уговорили, кого надо заставили, но постановления протащили целиком. В новый исполком были выбраны пятнадцать коммунистов и трое сочувствующих.

Без четверти восемь. Последние пятнадцать минут Гильда лежала с распахнутыми глазами, вспоминала о делах вчерашних и сегодняшних. Обуревали сомнения насчет методов преподавания политнаук, насчет целесообразности пичканья рядовых партийцев отвлеченными теориями, когда они не умели провести собрания или не могли толком объяснить, почему введена хлебная монополия.

Часовая стрелка срезала цифру 8. Гильда выпрыгнула из теплого гнезда постели и, шлепая по крашеному полу босыми ногами, побежала к умывальнику. Сквозь захватанное лапой мороза окно просекались острые глаза январского солнца. Гильда, ровно утка, полоскалась в тазу и косила резвую, как лунная вода, улыбку на Ефима:

— Довольно дрыхать, вставай.

— Не хочу,— буркнул сердито.

— Что с тобой?

— Ты опять сейчас за свои конспекты засядешь?

— У меня вечером доклад.

— Когда они кончатся?

— Кто?

— Доклады?

— Дурак... Господи, и почему ты такой... глупый?

— Доклады, собранья... В сущности, чужим людям ты да-ришь все время, мне же...

— Как чужим?

— Не суть важна... Приходишь домой усталая и валишься спать... Мне же, ровно нищему, бросаешь лохмотья минут... В моей душе рвутся бастионы любви, остывающий пепел летит на наши головы...

— Перестань комедианничать... Если бы ты видел мой слободский кружок! Рабочих! С какой жадностью они тянутся к знанию! Ведь это для них все ново! Работа с ними для меня праздник! Если бы ты мог понять... ты не стал бы бить меня пал-

кой по ногам.— Стремительно сдернула с него простыню и плеснула ледяной водой.— Вставай!

Запахтел гневно и с головой завернулся в одеяло.

Гильда быстро оделась, завела примус и — за стол... Но строчки летели и гасли, как капли дождя на песке, мысль рикошетила в Ефима... Первые дни и ночи, первые сладостные стоны... Летели сны светлые и легкие, как осенняя вода... Ефим был ласков и нежен, мчалась пылающая карусель его восторгов. А она? В ней сердце кричало петухом... Бегала, земли под собой не чуяла. Но — дерево осыпает осеннее перо, скоро осыпались и расписные деньки... От слез у любви линияют глаза, перестают различать краски и подбирать цвета... Ефим стал раздражителен и груб... Отчего? Неужели и у них все идет так, как всегда и у всех?.. Как пишут в глупых романах?.. Ефимчик, он был такой хороший... Захотелось подбежать, растормошить, зацеловать... Жарко покраснела, решительно распахнула книгу и потемневшими глазами начала рубить строчки, будто молодая лошадь хрупкий овес.

...Ефим, напевая: «В трагедиях героев ждет могила, в комедиях их цепи брака ждут», неторопливо шел улицей, радовался морозу, снегу, блеску дня. Ветром намытые сугробы сверкали под солнцем. Сытые сизари ворковали под крышами. «Самое время по озерам бы пошляться, блёсен нет и купить негде. Схожу-ка в слободку к Тимошке Ананьеву, пропалой рыбак, должны у него блёсны быть...»

На каланче старый солдат Онуфрий бодро отбивал часы.

На углу широкое грязное окно продовольственной лавки было сплошь уклеено объявлениями, словно сентябрь багряным и седым листом. Хвост очереди загибался в переулок, бабы ругались:

— Ирод бумажек-то сколько налепил... Подумаешь, невесть что...

— Нда, бумажек много, а получать нечего. Насчет селедок-то будто старая записка болтается?

— Свободна вещь. Может, и мерзнем зря?

Заведующий лавкой, стекольщик Кашин, старые объявления не срывал, а новые все подклеивал, а бабы плутали в них. Более смекалистые ребятишки могли безошибочно сказать, какой записке неделя, какой — две.

— Фефелы, примечай, побелели чернила, значит старая... Нечего тут и стоять, носами шмыгать...

Ефим почитал безграмотные каракули, залепившие окно, порадовался на игравшего с собакой мальчишку; пестрая дворняжка с разбегу стремительно опрокидывала мальчишку в сугроб, рвала на нем лохмотья, кружилась над ним, как ошалелая, потом отбегала, наслаждаясь созерцанием своей победы, зарывалась мордой в снег и, отфыркиваясь, заливалась собачьим смехом.

Около исполкома — сборище.

Преподаватель пластических танцев мосье Леон и племянница заводчика Лидочка Шерстнева работали в счет трудповинности. Француз по шинели подпоясан веревкой, на ногах вместо лаковых башмаков опорки; от прежней роскоши у него остались одни пышные усы, даже в такой неподходящей обстановке сохранившие довольно привлекательный вид. Торопливо взмахивая пешней, скальвал лед с тротуара. Лидочка, обнимая метлу руками — замерзли ручки, — гнала ледяные крошки на дорогу. Не по росту длинное, с чужого плеча пальто путало ее шаг. Работающих широким полукругом обступали деревенские мужики, похожие друг на друга, как пеньки. Подходили все новые и новые — в тулупах, с кнутами — подводчики.

— Глянь-ка, Ванька.

— Что тут за ярманка?

— Э-э-э...

— Во, деляги.

— Буржуи, стало быть?

— Они, старик, они самы.

— Кхе, вроде насмех?

— Какой тут смех, слезам подобно.

— Чудно...

— И я баю, чудно дядино гумно — семь лет хлеба нет, а свины роятся.

— Бабам и тем спуску не дают.

— Под один запал.

— Кака бела да аккуратна...

— Пава... Дочка Шерстнева, слышь.

— Ну?

— Вот те крест.

— Ермолай, гляди, девка-то чего выделявает!

Подводчиков распирало от смеху. Хлопали большущими, как коровьи ошметки, рукавицами, толкались, тузили друг друга по бокам — грелись.

По дороге за возами бежали, дымились морозом ломовики. Которые смеялись, которые ругались непристально:

— Тетенька, ягодка, метлу-то не за тот конец держишь...

— Задрррррогла, моя раскррррасавица...

— Легче, барин, легче, погана кишка лопнет!

— Го-го-го-го-го...

Из-за угла вывернулся длинный обоз бочек. Передовым ехал барышник Люлин Илья Федорович — пророчья борода, первеющий барышник по всему уезду, скот гуртами скупал — шапку на нос насунул, не глядит, не мил ему белый свет. За ним, крепко вбивая шаг, шел кривой околоточный Дударев — гроза всех клюквинских шинкарей и запивох, — ковырял мужиков, как за-ржавленным гвоздем, мутным глазом. Помахивая мочальным кнутом и кротко улыбаясь, восседал на своей бочке протодьякон

отец Дивногорский — еще до революции за толстовское вольнодумство был он отлучен от церкви и из города губернского прислан на жительство в Ключевин.

Ободранные, зачумленные лошаденки еле мотались в оглоблях. С лаем, свистом и криками обоз провожали слободские собаки и мальчишки, готовые от усердия через пупок вывернуться:

— Дяденька, не макай куском в бочку, комиссару скажу!..

— Дядюшка, плюнь кобыле под хвост!

Мужики кнүтами отогнали собак и мальчишек. В темных обветренных лицах тихим смехом искрились глаза.

— Штука...

— Вот ты и думай... Не одних нас большевики встречь шерсти гладят.

— В серой-то шапке никак зятек Повалеява будет?

— Похоже.

— Лабаз какой, дом под железом, жить бы да радоваться...

— Не говори, сват.

— Аяй... Грязную бочку... И выдумают же, черти, а-ха-ха...

— Конфуз-то, чаю, уши вянут.

— Конфузно в чужой карман залезть.

— О-хо-хо...

— Без милости.

— Штука с мохорком...

— Савоська, не пора ли лошадей поить?

Ефим помнил Лидочку еще с гимназии, когда-то увлекался ею, в любительском кружке оба ходили в заглавных ролях. Годов пять уже не видел ее, но сейчас узнал с первого взгляда. Нерешительно подошел, приподнял шапку. Она не знала, куда деть метлу, поправила выбившуюся из-под платка каштановую прядь. Дрогнули ее посиневшие губы.

— Ефим... Ефим... Товарищ... не знаю, как вас...

— Все равно,— бледно усмехнулся он,— здравствуйте.

— Ефим Савватейч, дорогой... Это же такой ужас... Я ни в чем не виновата... Я согласна на все, буду служить, трудиться... Пожалейте меня, я вас умоляю.

— Я бы от всей души, но... вы понимаете?

Мужики подошли вплотную, бесцеремонно слушая разговор. Смущенный Ефим улыбался, вертел в руках шапку...

— Я бы с радостью...

— Умоляю... У вас столько товарищей... Вы и сами, кажется, коммунистом стали...

— Да, да...

— Нельзя ли как-нибудь?

— Постараюсь... Честное благородное слово... Пока до свидания.

— Всего доброго.— Лидочка растерянно и умоляюще улыбнулась.— Шапку наденьте, Ефим Савватейч, простудитесь.

Пришел пропадавший на целый час конвоир и, подмигнув подводчикам, скомандовал во всю глотку:

— Смирна, по фронту равняйся! Шабаш, вшивая команда, отдыху вам десять минут с половиной.

Леон и Лидочка присели на поваленную тумбу.

Ефим еще раз поклонился и, подняв воротник, пошел через площадь мимо похожей на виселицу, выстроенной к торжествам арки... «Девочку нужно спасти... Зачем? Так... К кому бы торкнуться?.. С Гильдой разве поговорить?.. Не стоит,— женщина все-таки, черт знает что может подумать... Заверну-ка к Гребенщикову, человек он новый, авось...»

...Уком во весь второй этаж.

Павел Гребенщиков молод, огромен, лохмат.

Его тесная комнатуха была обкурена, обжита; пахло в ней здоровым духом — псиной, молочным жеребенком, рассолом. Стол и бархатные спинки стульев были размашисто исцифрены мелом — Павел любил математику. Нечесанный, невымытый, в одном белье, сидел он в постели и на книжных корках писал инструкцию о перевыборах квартальных комбедов... Гости поддел на вопрос:

— Гречушкин...

— Гречихин,— поправил Ефим.

— ... ты с газетным делом не знаком?

— Нет. Хотя... вы, вероятно, уже слышали обо мне?

— Ну?

— Я художник и поэт.

— Во, во, попоем вместе.

— Я...

— Потом расскажешь. Едем со мной в типографию, кстати и о работе сговоримся.

— О какой работе?

— Будешь театр народный налаживать и мне помогать... по газете. Я ни теньтелелень, и ты ни в зуб ногой, значит дело пойдет.— Гребенщиков закричал на полный голос: — Михе-э-э-йч!..

Михеич у ворот снег кучил, услышал, прибежал, седеющий и румяный:

— Налицо.

— Вызови из исполкома лошадь да позвони Пеньтюшкину, пусть карандашей и бумаги пришлет, а то вон на чем писать приходится,— отбросил он книжные корки.

— Есть налево,— весело отозвался Михеич и убежал трясти телефон.

Помимо уборки двора и комнат, он заведовал партийной

библиотекой, обклеивал город газетами, мыкался по поручениям, был хорошим массовым агитатором, вообще старик на все руки, кабы не малограмотность, которая загораживала от него свет и путала ему ноги... А Павел — председатель укома — месил жизнь, как сдобное тесто, и она пищала у него под жадными руками. Остальные члены укома забегали изредка: голоснуть, подписать протокол, иногда посоветоваться. Сапунков, считая себя одним из старейшин и отцов организации, недолюбливал молодого председателя и часто без толку вламывался в спор, чтобы показать обилие приобретенных знаний: пускался в дремучие дебри изречений, выуживал какую-нибудь историческую аналогию, переплетая ее с поднятым вопросом. В укове не было ни денег, ни жратвы, ни карандашей, ни обстановки, кроме десятка покалеченных стульев и одного стола. Да еще в углу стояло чучело бурого медведя: «Он мужик хороший, от него как будто и теплее», — говаривал Михеич, а Венеру Милосскую он выволок в дровяник. Сознательная канцеляристка Маруся Векман, помаявшись недолгое время в партийном комитете без пайка, перекочевала в финотдел, и теперь Павлу даже бумажонки приходилось налаживать самому. Единственным и верным помощником остался Михеич. Вдвоем они братски делили всю работу укома.

Павел — в штаны, в шинель, в дверь, в исполкомовские санки.

Сытая лошадь высветленной подковой рубила дорогу. Морозный ветер, как пламенем, обдавал лица. У Гребенщикова и шинель и ворот суконной блузы нараспашку.

— Вчера поднимали вопрос о посылке тебя на продкампанию, провалили. Никто тебя, кроме Гильды, толком не знает, а хлеб из мужиков выколачивать — дело разответственнейшее. Покажи себя в городе, на черновой работе, а портфель не убежит.

— Я и не гонюсь... Я понимаю...

— Знаю я вашего брата, интелеягушку... Работать и умеете, но страсть любите у всех на виду быть, в воловью работу вас, чертей, не запряжешь... Вот и в тебе, наверно, капризов и выееров всяческих хоть отбавляй? Ты тоже, кажется, из этих... Сынок, что ли, купеческий?

— Напрасно вы так... Я в подполье полгода работал...

Перебегали типографский двор, Гребенщиков продолжал:

— На днях является в уком Лосев. «Честь, говорит, имею представиться. Прислан я из центра на пост продовольственного комиссара, вот мои рекомендации». И грох на стол пачку бумажек, не вру, с полсотни!.. Матюкнул я его сгоряча... «Что ты, говорю, собачья жила, ровно жених свататься пришел и товар лицом кажешь? Районы надо ставить, ссыпки налаживать, амбары сгнили, есть на чем зарекомендовать себя». Ах, пес!.. Нет, нет! Вас, чертей, в котлах салотопенных вываривать надо, кожу вашу тонкую дубить, а потом уж и подумать, стоит ли до работы допускать...

Метранпаж Елизар Лукич Курочкин провел их в машинное отделение. Помещение грелось одной чугунной печкой, около которой целыми днями топтались наборщики, пекли картошку, поносили порядки и кашляли, задыхаясь от дыма. Печатники за посуленный Лосевым дополнительный паек работали одетые. Расхлябанная плоская машина дребезжала, ровно телега по мостовой, и судорожно выбрасывала большие — с простыни — отпечатанные листы. Гребенщиков выхватил один лист и захохотал. Ефим, обиженный решительностью и грубостью их недавнего разговора, заглянул ему через плечо. По сыроватому листу — вершковыми буквами:

ВОЗЗВАНИЕ

к трудящемуся населению Клюквинского уезда

Я, солдат первой в мире социалистической революции, призываю всех честных граждан крестьян чуткой душой откликнуться на мой пламенный призыв:

Хлеба!
Москва!
Красные волны революции!
Хлеба!
Фронт и тыл!
Мировая коммуна!
Борьба за лучшие идеалы человечества!
Цветы сердца!
Хлеба!
Хлеба!
Хлеба!

Упродкомиссар *Валентин Лосев*

— Видал?

— Нда, со стороны стиля — безвкусица.

Павел, высмеявшись, свернул листок и сунул за пазуху.

Номер газеты набирался вторую неделю. По реалам были разбросаны оригиналы статей и тощие гранки корректуры. Наборщики, сетуя на невзгоды жизни, дружно саботировали. Вождь идейных клюквинских меньшевиков, метранпаж Елизар Лукич Курочкин, сунув рукав в рукав и поблескивая лысой, похжей на жестяной чайник головой, расхаживал по типографии и маятанным голосом говорил, что нельзя верстать полосу, когда нет набора, не хватает типографского материала, нечем промывать шрифтов. За тридцать лет своей работы он, Курочкин, не помнил, чтобы наиболее сознательная часть пролетариата была в более плачевном материальном положении; обещаемые советской властью блага и свободы остаются на бумаге; растоптаны лучшие заветы вождей демократии; идея большевизации и социа-

лизации страны утопична и т. д. Павел не раз схлестывался с ним спорить, но царящий в помещении холод гасил революционный пыл типографов, а голод крутил кишки.

Сегодня Гребенщиков решил действовать. Написал коротенькую, но убедительную записку завздраву эмалированному доктору Гинзбургу, и через час Ефим притащил для промывки шрифтов полведра бензина. Сам Павел съездил в продком, к «солдату первой в мире социалистической революции» Лосеву, потом повидался с Капустиным, по пути прихватил из дому железную печку.

Типографы уже мыли руки и собирались шабашить.

Павел задержал их не надолго и обратился с коротким словом:

— Товарищи! Мне не хотелось бы с вами ссориться... Давайте попробуем говорить по-хорошему... Работать нам так или иначе, а придется вместе и долго, больно долго, значит...

— Молокосос! — ринулся было Елизар Лукич, но его удержали.

При глубоком и несочувственном молчании Павел продолжал:

— Нынче пришлю столяра, ухетует вам двери и окна... Вот еще одна печь. Ставьте ее руками, а не как-нибудь, для себя же, гляди.—Он легонько толкнул колено дымившей печки, и железная труба с грохотом рассыпалась.— Разве это дело? Для себя и то лень поставить как следует...

Кто-то бездумно рассмеялся.

— Пока достал вам немного денег, вот...— Он вывалил на стол свое двухмесячное, вчера полученное жалованье,— разделите понемногу...

— Нам не нужны подачки.

— Это часть вашего заработка, а после как-нибудь раздобудем и еще... Но, товарищи, завтра газета должна выйти во что бы то ни стало! Текущий момент...

— Слыхали, надоело...

— Что надоело?

— Пустозвонство ваше.

Целую минуту все молчали... Потом страдавший одышкой вертельщик Потапов глухо выговорил:

— Мы, товарищ редактор, не супротивники... Жена, черт с ней... И сам не в счет... А вот ребятишки малые, они ваших декретов не читают, жрать просят... Да ежели бы паек мало-мальски... Нам, товарищ, работа не в диковину, работы мы не боимся...

Кто-то поддакнул, кто-то принялся ругать кооперацию, а заодно и комиссара Лосева, переплетчик Фокин подал мысль собраться вечером — вымыть окна и полы, поставить печку, протопить помещение и с утра приняться за работу. Настроение подавленности было рассеяно. За предложение Фокина голосовали единогласно, воздержался один Курочкин. Расходились шумно.

У ворот Павел догнал метранпажа.

— Ты вот что, Елизар Лукич, если будешь затирать бузу, не посмотрю ни на твой революционный стаж, ни на то, что ты коренной пролетарий, в чека отправлю. Поверь слову, перед всеми говорю.

— Верю. Вас, подлецов, на доброе дело нет, а этого только и жди... Чекушкой меня, брат, не запугаешь; сидел шесть лет при царе, посижу и при власти узурпаторов. История вам этого не простит! — И, подняв вытертый лисий воротник, проваливаясь в сугробы, старик ударился через улицу.

Ефим сообразил, что наступил самый подходящий момент, и, оставшись с Гребенщиковым наедине, после нескольких незначительных вопросов сказал:

— За организацию народного театра взяться я и возьмусь, но надеюсь, что все наши учреждения и в частности вы, как человек, пользующийся колоссальным авторитетом, пойдете навстречу?

— Ты о чем?

— Вообще... Мало ли предстоит хлопот?.. Нужно будет приспособить сцену, заготовить костюмы, подобрать труппу... Я еще не знаю, но возможно, придется как-нибудь временно, что ли, просить об освобождении из концентрационного лагеря одной артистки Шерстневой... Она совершенно незаменима на амплу инженю... Она в сущности и попала-то туда, кажется, по недоразумению.

— Ты, Гречихин, напиши свои соображения и завтра покажешь мне... Всю эту историю с народным театром надо двигать быстрее. Кроме того, завтра с утра приходи корректировать газету.

— Но я...

— Поймешь, не юродивый... Дело не хитрое, этот же Курочкин покажет... Ну, прощай.

В свою комнату Ефим ворвался вихрем:

— Ура! Поздравь! Я — помощник редактора и директор народного театра! — Закружил, зацеловал, подбросил Гильду под потолок. — Работать, работать и работать, черт побери!.. Ну, и собака же твой хваленый Гребенщиков, — отпыхнул он и рассказал события дня.

— Бросишь лентяйничать? — Глаза Гильды блеснули радостно.

— Довольно, довольно лодырничать!

— Правда? Ты обещаешь?

— Клянусь костями всех моих славных предков.

Гильда спела новому директору песенку Гейне, усадила его за политэкономию и, поупудрив нос, убежала в гарнизонный клуб «Знамя коммунизма», где вела два кружка.

Клуб ютился в мрачном подвале бывшего трактира Ермолаича. Лестница провоняла кислыми тошнотными запахами.

В бильярдной помещалась читальня с дюжиной тощих брошюр и дешевый буфет: ржаные пряники, окаменевшие крендели и чай с сахарином в тяжелых глиняных кружках, прикованных к стойке проволокой. Свой оркестр целыми вечерами запузыривал марши, мазурки, «Интернационал». Зрительный зал был густо перекрыт плакатами, бумажными флажками и мудрыми изречениями. Сцену освещала керосиновая лампа, углы зала были завалены глыбами промозглого махорочного сумрака.

Молодые солдаты последнего призыва, с шапками в руках, шумно рассаживались по новым нестроганым скамейкам. Немало Гильда потратила усилий, чтобы взнудать солдатское внимание, отучить лущить семечки и перемигиваться во время урока.

— Какая рота, товарищи?

— Вторая, вторая...

— Помните, о чем мы беседовали позавчера?

— Так точно, помним. Про бога и попов.

— Ну вот, сегодня поговорим о другом.

— Смирно! — кричит от дверей ротный, и солдатские голоса смолкают.

Все было мудро и просто:

— Красная армия — защитница трудящихся... Наши враги — кулаки, помещики и капиталисты... Беспощадно... Долг... Красное священное знамя... Долой. Да здравствует... У кого есть вопросы, товарищи?

Вопросы занозистые и в голос и записками:

— Когда война кончится?

— Нельзя ли перевестись в милицию?

— Кто такая Антанта?

— Должна ли свобода защищаться за деньги или даром?

— Почему мобилизованы наши годы, а не другие?

— Просим прибавить хлеба к обеду.

— Сколько коммунисты получают жалованья?

Подсовывались и такие записки, что — ай да люли — молодую лекторшу и в жар и в холод бросало. Обыкновенно минут тридцать набегало сверх часа, она ловко направляла беседу, закругляла вопросы, сводила их на нет и громко объявляла:

— На сегодня хватит, время истекло... Некоторые ваши вопросы довольно трудны, я подумаю над ними и отвечу в следующий урок, послезавтра. Всем понятно?

— Так точно, понятно.

— Выла-а-азь...

Толкаясь, разминая затекшие ноги, распаренные, вываливались на улицу, дымили махоркой, смеялись. Угрожающе гремела команда ротного:

— Станови-и-и-ись, вашу мать!..

Второй час Гильда работала в кружке повышенного типа, с коммунистами: восемь человек на весь полк. И на них было

немало ухлопано сил, чтобы приохотить к занятиям, привить любовь к книге и отучить заглядывать лекторше за кофточку. Вначале помногу приходилось говорить самой. Слушатели, ровно сговорившись, дружным хором молчали. Раз от разу, понемногу раскачивались и царапались, кто как умел, на ледяную гору незбылемых истин. Гильда больше не вела их, только подталкивала и в меру похваливала.

Час растягивался на два, а то еще и с таким.

После лекции у выходной двери ее всякий раз поджидал вновь отстроенный юноша, красный офицер Коля Щербаков и всякий раз, пристукнув каблуком, говорил одно и то же:

— Сочту за счастье проводить вас...— Подхватывал лекторшу под руку и стремительно увлекал ее в расписанную звездами ночь. Кругом каждая снежинка кипела слезой восторга, а глупый и румяный Коля засыпал ее вопросами: «Любители вы Гамсуна и Арцыбашева?.. Может ли идейный коммунист жениться?.. В Индии или в Америке вспыхнет раньше революция?.. Почему девушка закрывает глаза, когда ее целуют?..»

Наговорившись за вечер, Гильда ничего не отвечала и только смеялась. Смех ее был бодр, как хруст кочня на молодых зубах.

Спутник торопился подарить новость:

— В воскресенье у нас в казарме состоялся грандиозный митинг. Выступаю с часовой речью... Говорю о красных фронтах, о баррикадных боях в Берлине и Гамбурге, о близком торжестве коммунизма во всем мире, и, понимаете, две роты молодых солдат как один поднимают руки: «Желаем подписаться в большевики...» Нелепо, но замечательно!.. И командир полка вчера мне сказал: «Нелепо, но замечательно!»

Завидя свой дом, Гильда уже не слушает его; наскоро прощается и бежит, рвет дверь, бурей летит по темной лестнице... «Ефим... Он так любит целовать холодные, поджаренные мороженым щеки». Звенит сердце, озябшие пальцы нашаривают скобу...

В углу, под пальмой, голый Ефим, припав на корточки, с рычанием грызет утащенную из кухни сырую телячью голову. Тело и лицо его дико расписаны углем и цветными карандашами. В ушах, на подвесках бренчат дверные ключи, из ноздрей торчат роговые шпильки, губу оттягивает медное кольцо.

Некоторое время Гильда стоит в оцепенении:

— Что ты делаешь, безумный?

— Я?.. Художественно иллюстрирую первобытного человека.

— Х-ха, где же твое обещание работать?

— Скучно, дружок.

— Болван.

— Я начинаю терять вкус и к твоим поцелуям.

— Что?

— Ррррр, уууууу...— Защелкал зубами, завыл и, размахивая телячьей головой, убежал на кухню.

Книга политической экономии была раскрыта на первой странице.

Во всю стену цветными карандашами — лозунги:

Моя дорога — все дороги!
Мой путь — все пути!
Мое жилище — весь мир!

Были расписаны стены стихами, зверями, лесами и сценками из охотничьего быта. Слеза застилала глаз и мешала разобрать рисунок.

Всю ночь Гильда молча просидела за столом... Слушала бой часов и скрип уличного фонаря, что раскачивался прямо против окна. Стряхивала ночь на фонарь снежные перья, по синему полю далекие сверкали и переливались звезды...

На первое торжественное заседание вновь избранного исполкома были приглашены представители фабрично-заводских комитетов, кооператоры, работники профессиональных союзов и председатели квартальных комитетов бедноты.

Из словесной мякоти многочасовых докладов выпирали ребра задач, а задачи были огромны и просты: выкачать восемь миллионов пудов хлеба и перебросить его в центр; организовать городские низы; из глубин уезда вывезти к линии железной дороги полтораста тысяч кубов дров; потушить разгоравшийся тиф; углубить классовое расслоение деревни; провести всяческие мобилизации.

Во всех речах было одно:
— Товарищи, поддержишь!

В перерыве заседания дежурный подал Капустину телеграмму, присланную из губернского города:

Уральская и Оренбургская области снова неспокойны. Срочно требуются пополнения восточный фронт. Предлагается десятидневный срок всеми имеющимися в наличии силами провести по уезду мобилизации трех очередных годов. Дальнейшие директивы завтра высылаем с курьером. О принятых мерах ежедневно доносите телеграфом.

Капустин повертел в руках бумажку, свистнул... На глаза попался розовый затылок продкомиссара.

— Лосев!

Подбежал:

— Я вас слушаю, Иван Павлович.

— Чего я тебя хотел спросить?.. Как его этого...— Капустин крепко потер лоб.— Да, сколько у тебя сейчас народу?.. Ну, партийцев и этой... саранчи?

— Ответственных работников?

— Ага.

Продкомиссар выхватил из френча новенький, совершенно чистый блокнот — еще не успел записать в него ни единой буквы — и, мельком полистав, выпалил:

— Под рукою четверо, завтра ожидаю двоих, в уезде у меня агентов, инструкторов и райпродкомиссаров... ммм... двадцать восемь, итого... сейчас,— чирк, чирк,— итого тридцать четыре, не считая двух продотрядов и шести летучих заготовительных отрядов...— Уши его зарумянились от удовольствия.

— Вот что, Лосев, твой доклад перенесем на завтрашнее заседание... Сейчас беги к себе, поднимай на ноги курьеров, телефонистку, зажигай в своем дворце огни, наяривай, звони... Понимаешь, боевой приказ, мобилизация!

— Я тут при чем?

— Завтра, к трем часам дня, пришлешь в уком за инструкциями пятерых своих лучших коммунистов и человека три беспартийных, но таких, чтобы... сам понимаешь.

— Позвольте, дорогой Иван Павлович,— Лосев нырнул в портфель и зарылся в бумаги,— согласно циркулярного распоряжения наркомпрода от седьмого сего января...

— За неявку их ответишь ты.

— Посмотрим.

— Ну, живой ногой!

— Я сейчас же дам телеграмму в Москву и в губпродком... Вы срываете мою работу...

Капустин наклонился и сверкнул ему в ухо яростным ругательством. Лосев сгреб бумаги, шапку и убежал, бормоча: «Не понимаю, черт знает что такое, генеральские замашки».

В углу, на широком диване курили и о чем-то крупно разговаривали Гребенщиков, Мартынов и военный комиссар Чуркин — в недалеком прошлом дамский портной. Капустин подошел к ним и показал телеграмму:

— Вот, ребята, наша очередная задача, давайте обсудим.

Поговорили, и, не дожидаясь конца заседания, Чуркин уехал к начальнику гарнизона Глубоковскому составлять текст приказа, так как сам с этим делом был мало знаком, а Гребенщиков убежал разыскивать метранпажа Елизара Лукича: приказ решено было отпечатать этой же ночью.

Утром, зля собак своим унылым видом, двое растяпистых солдат нестроевой роты раззаборивали приказ о мобилизации. За солдатами гужом впритруску бежали козы и, пачкая морды в типографской краске, слизывали приказ с еще не остывшим клейстером. На углах собирались жители, новой тревогой, как льдом, затыгивало город.

В нетопленном укомовском зале Чуркин напутствовал коммунистов, отправляющихся на места для проведения мобилизации. Шинели, полушубки, драповые пальтишки. Глаза ждущие, покорные, как сучки в бревенчатых стенах укома. Крюшники, железнодорожники, ткачи, чуть ли не поголовно и сами мужики, только вчера переобувшие лапти на сапоги, — знали: степной народ своеволен, туго придется... И оттого ли, что ехать все-таки надо, или от унылого голоса Чуркина, читающего ровно над покойником, — голос у него жидкий, как светлая вода, — всем муторно стало... Загородивший собой весь пролет окна богатырь Алексей Галкин густо зевнул.

— Кончай, что ли, военком, али тут тебя до ночи слушать будем?

— Правильно, кончай... Пора... Ясно все.

В текущих делах пожаловались:

— Одежи теплой нет, в чем ехать?

— Нынче в городе тридцать градусов, а там, в степи, он, батюшка, как завернет, завернет...

— Семьи-то как же останутся?.. Ты, товарищ Гребенчиков, приглядывай тут, чтобы, значит, и паек нашим бабам и все такое...

А двое продработников совали ему заявления.

— Мы не на эту работу сюда командированы... Вы поймите, товарищ председатель...

— У меня удостоверение от врача, будьте добры, войдите в положение... Нельзя ли как-нибудь...

Серый после бессонной ночи, Павел постучал по столу согнутым костлявым пальцем и негромко сказал:

— Товарищи, вот вам мандаты, литература и бомбы... На места!

...Степи, степи и черные леса. Петли и переплеты унавоженных дорог. По задумчивым расейским просторам нога за ногу и след в след брели голодные дни. Выюга пела в степи древнюю песнь, зализывала выюга прогонистый волчий след.

Снега, снега...

В снегах дымились теплые гнезда деревень.

Избы, свернувшись в сугробах, дышали хлебным и овчинным дыхом. Глухо вопрошали избы:

— Пошто приехали?

— Товарищи крестьяне, советская власть с надеждой глядит на вас и призывает вас...

Солома, лыко, плетневая хлябь...

— Вот што... та-ак...

— Товарищи...

Мужичий крик утробен, едуча мужичья слеза, земля под нею горит.

— Выходит, красны с белыми дерутся, а серого по шее бьют?

Разговор у деревенского старика гуще чернозема весеннего; скажет этак-то да погода еще:

— Мужичья плешь вроде наковальни, всяку чертоплясину через нее гнут... Что тут будешь делать?.. Ладно, видно. Затирай, старуха, подорожники, а ты, сынок, отгуливай останны деньки. Послужи, отведи свой черед... Не мы первы, не мы и последни...— Подумает, подумает да еще: — Товарищи, скоро ли замиренье выйдет? Какой год маемся, шутка ли?

— Весной, старик, ожидаем.

— Дай ты, господи, самый к севу.

Молодая деревня догуливала останные деньки, переплывала пьяные моря, гармонь разводила на весь мах...

Угоняют нас в четверг,
Прощай, лес, прощай, дуброва,
На крутой советский берег,
Прощай, девка черноброва...

По деревне из конца в конец, подобен вьюге, мел и кружил визг, свист, насадный рев.

— Гуляй, парень, рвись надвое!

— Качай воду, ломай лес!

— В креста, бога, мать!¹

— Га-га-га...

— Поддай пару, голыши, буржуи, не дыши!..

Плясали, плакали, сморкались...

На мельнице на ветрянке,
Прощай, лес, прощай, дуброва,
Окна бьем, летят стеклянки,
Прощай, девка черноброва...

Старая деревня за околицу провожала надежу свою, выла истошно, насадно, на тысячу голосов:

— Батюшки... Ванюшка... Светик ты мой... О-о... О-ох...

В пушистых снегах вились дороги. По сотням дорог мерзло визжали полозья, закуржавелые лошадиные головы мотались в дугах.

К городу

в город, обтянутый серыми дощатыми заборами.

На приемочном, как всегда, трепет и страсть, разухабистая удаль и жалостливая растерянность, сопливые поцелуи, пьянка и песня: русский человек пьет-поет и с горя и с радости...

— Годен, следующий!

¹ К сведению ревнителей нравственности, по тем временам подобная ругань являлась для деревни революционной.

— Годен, давай подходи!

— Годен...

Крутую гору гóря размывали пьяные слезы, песня и гармонь...

Мобилизация, казалось, удалась. Правда, в двух самых крепких волостях и вышла заминка, зато татары, чувашаи и мордва прислали призывников раза в два больше: раз зовут, значит иди и ты, Мишка, и ты, Гришка, и вы, Сабир с Шарипом. Когда родились, черт вас упомнит, совет-бачка кашей масляной кормить будет, штаны даром даст... В казарме с первого дня их прозвали идолами.

Была в городе —

БАНЯ ПАРИЖ,
ОБЩИЕ И СЕМЕЙНЫЕ НОМЕРА

Стала —

КРАСНАЯ КАЗАРМА
ПАРИЖСКАЯ КОММУНА

Окна заколочены фанерой. Оба этажа впабой. По скамейкам, по асфальтовому полу, в коридорах, по бельевым ящикам — всюду лапти, чапаны, пестрядина. Пятилинейные дохлые лампы, тусклый холод, зудящая тоска. Кипяток раз в сутки — по утрам, с полночи в очереди — на всех не хватало кипятку.обеда ждали в сонной одуре, да и обед-то праховый, известно — солдатски щи, хоть ты их ешь, хоть в них портянки полощи. Не стареют старые пословицы. Суточное довольствие: хлеба фунт, сахару шесть золотников, соли по вкусу, приварок никудышный. В первые дни еще терпимо было. Мазались домашние харчи. Потом подвернуло, аяй, начала кишка кишке — казать. Не столько голод, сколько холод донимал. Казарму совсем не топили, дров не было. Хотя и нашлись бы дрова, привезти некому, да и не на чем. Пожалуй, и лошадей разыскать можно было бы, да разве натопишь эдакий сарай, тут каждый день две сажени надо. И окна были все перебиты, ветер сквозь так и хлестал, вольный свет не натопишь. На ремонт средств не хватало, тут делов было на год. Да и то сказать, для кого ее ремонтировать, храницу этакую? Мобилизованным все равно скоро на фронт отправка. Оба этажа были заняты разноязычным говором, вшивыми лохмотьями. Сожгли двери, скамейки, шайки. Зарились на дровяной сарае, да не достать: строгости, порядок, из бани призванных никуда не выпускали. От скуки табуном подваливались к двери, тоскующе и нище, по привычке отцов, просили караульного:

— Пусти, товарищи.

— Не приказано.

— Уважь.

— Не могу.

— Брось вола валять.

— Сказал, не пушу, и все тут.

— Вон сарай, оторвем по доске и этим же следом вернемся.

— Разойдись от двери.

Сулили лепешек, табаку — и не глядит, не подкуришь. По-нуро расходились.

— Чудно, ровно арестантов караулят.

Потом доныхрились: караульный из особой роты.

— Што это за особенна рота?

— Кто их знает... Коммунисты, слышь, да китайцы.

— Ну-у?

— Вот те и гнут, а ты корчишься.

— Приметили, какой на нем сапог? Подошва толще твоей губы, голянице клеймено пятиухой звездой...

Томились, гадали, как да что?.. Целыми днями до обалдения играли затертыми картами, рано ложились спать и подолгу, не спеша, вспоминали деревню, в разговорах распуская душу. Мобилизованные солдаты старой службы и бывшие офицеры держались отдельными кучками.

Как-то в праздник забежал в казарму военком Чуркин, кукарекал:

— Революция... Контрреволюция... Мир без аннексий и контрибуций...

В коридоре кто-то свистнул и заорал:

— Хлеба мало-о-о!

Военком смешался:

— А?.. Что? Хлеба? Вам хлеба мало?.. Вы еще семеро за одной крысой не гонялись...

Слушали, вытараща глаза. «Идолы» из десяти слов понимали одно, да и то не всякое. С опаской подсовывали вопросы:

— Почему не топят?

— Когда обмундировку дадут?

— На фронт погонят, али куда в охрану?

— Будет ли обучение?

— За что держите нас взаперти, ровно зверей?

— В баньку бы...

— С кем воевать? За что воевать?

— Нельзя ли послать к Колчаку делегацию и заключить с ним какой-нибудь мир?

— Почему приказ о мобилизации не был согласован с сельскими обществами?

Чуркин крутил чуб, с пятого на десятое разъяснил, что было по силам его уму, в заключение, сбитый вопросами с толку, выругался и, брэнча кавалерийской шашкой, убежал: до вечера ему нужно было провести еще три таких митинга.

После всего, расправив пушистые усы, выступил фельдфебель Науменко:

— Чули, хлопцы, що вин, сукин сын, нам набрехал?

— Чуем, чуем, добра не жди...

— Войну, братцы, выдумывают большевики, чтобы перевести простой народ, а самим блаженствовать.

— Бежать надо...

Дальше было так.

Недолгое время обучали молодых солдат ружейным приемам и рассыпному строю, потом выдали полный комплект обмундировки. Слух прошел, не нынче-завтра отправка.

— Под козыря.

— Не зевай, ребята, на фронт угонят, оттуда не вырваться.

— Не миновать в разбег пуститься.

— Само собой.

Пожгли подоконники, выдрали рамы и фанеру. Печки порушили, по кирпичу раздергали. К чему и печки, ежели тут жить не думано? Обмундировку кто в мешки потискал, кто на себя напялил. Сгребли караульного, забили ему рот обмоченной онучкой, проволокой зацепили за нежное место и подвесили в предбаннике на перекладину — не могли выломать и сжечь ту перекладину, здорова была.

И в ночь

буйными ватагами

потекли до родных мест.

В бане осталось с сотню, или поболее того, идолов. В городе они были первый раз, бежать убоялись, не знали дорог. Их допрашивали, щупали, нюхали, расстреляли двоих, — членам наскоро организованной комиссии по борьбе с дезертирством они показали способными на любую крамолу, — остальные были отправлены в распоряжение губвоенкомата.

Вскоре разбежался караульный батальон. За ним сорвались две отдельные роты, обучаемые Гильдой. Недели через две от гарнизона осталось: комендантская команда, боевая дружина коммунистов и Чуркин со своим комиссариатом.

Из города на все стороны поскакали отряды по борьбе с дезертирством, тревожно загудели телеграфные провода, полились слезливые воззвания, подкрепляемые громовыми приказами:

Волкомам, комбедам, сельсоветам срочно. Дезертир, вернись!.. Дезертир—изменник революции! Смертельный удар!.. Позор!.. Белые банды!.. Кровожадная свора помещиков и генералов!.. Позор!.. Все виновные, суровое наказание, вплоть до конфискации движимого и недвижимого имущества.

Следом была проведена партийная и профессиональная мобилизация. Негустыми кучками в военный комиссариат шли записываться ткачи, которых можно было узнать по ситцевым пропыленным лицам и сутуловатости; подбадривая себя громким разговором и смехом, прямо с работы, прокопченные и перемазанные олеонафтом и маслом, шли рабочие депо; слободка дала

революционную молодежь и сорвиголов, разных Яшек-кудряшей, Гришек-атаманчиков, которым некуда было девать свою силу и громкая слава о поножовщине которых передавалась из рода в род, из курмыша в курмыш. Призываться с чапанами и вообще быть вместе с ними сорвиголовы считали позором, но со слободскими коммунистами, среди которых было немало отчаюг, они готовы были идти хоть куда и драться с казаками, с офицерами не хуже, чем дрались в слободке на вечерках из-за девок или так, ради смеха.

У приемочных столов шумели очереди.

— Яшка, здорово.

— А-а... Ты тоже воевать, а говорили, тебя баба ухватом заперола...

— Оторвись ты, юрлова шайка.

— Ну-ну, жарнём, за нами дело не станет.

— Удалой долго не думает, сел, да и заплакал.

— Хо-хо-хо...

— Подходи, товарищи, налетай, не задерживай!

— Фамилье?

— Пиши, Гаврил Овчинкин.

— Член партии?

— Обязательно.

— Какой ячейки?

— Первая мукомольная.

— Распишись.

— Неграмотен... И пальцев недостаток, на германской потерял, вона.

— Куда же ты без пальцев пойдешь?

— Я не на пальцах хожу, а на ногах... В крайности, пиши в обоз, кашу варить, и то человек нужен.

— Правильно, Гаврюшка,— зашумел заметно подвыпивший низенький и толстый, похожий на мешок муки, крошник Ведерников,— все до одного пойдем, все помирать будем!.. Душа вон!.. Не поддадимся!.. Никогда сроду не поддадимся!..

Провожали отряд в солнечный воскресный день с музыкой, песнями, речами и клятвами, а проводив, сразу забыли о нем. Жены с детьми подолгу и часто без толку толкались в приемных, глотая невеселые сиротские слезы... Город снова и снова впрягся в работу, как немудрящая, но старательная лошаденка в тяжелый воз.

Неловкая история вышла с военнопленными.

Прибыли они двумя эшелонами и остановились, не разгружаясь. Прислали в исполком делегатов: люди голодают, болеют, мерзнут, нужны подводы, одежда, врач. Военнопленные — уроженцы Клюквинского и соседних недалеких уездов — народ битый, тертый, все Европы сквозь прошли. На чужой стороне

научились орудовать с машинами, вкусили всяческих наук, и теперь для своей страны они являлись настоящим кладом. Прежде чем пустить в деревню, было решено обработать их.

Павел нагрузил санки литературой и — на вокзал.

Помещение крохотное, митинговать пришлось на запасных путях, на юру. В плеске шинельных лохмотьев, в толпе замученных и смертельно усталых людей Павел говорил недолго — ветер леденил зубы, захватывал дыхание. Спрыгнув с тюка литературы, он сорвал рогожку и подал пачку листовок опаленному морозом солдату:

— Ну-ка, землячок, раздай.

— Не нукай, товарищ, еще не запряг,— смущенно улыбнулся солдат и, не взяв листовок, отвел руки за спину.

Другой из-за его плеча визгливо закричал:

— Зачем нам ваши прокламации?.. Хлеба неделю не видим, это да-а-а...

Застонали, закачались промерзшие голоса:

— Голы, босы...

— Страдали...

— Эх, товарищи... Пять годиков, как пять деньков, понимать надо, чувствовать...

— С самой границы митингами кормите... На станциях кипятку — и того нету...

— Скотинка бессловесная.

— Родина, кровь...

— Гляди, товарищ, разуй глаза!

Из лохмотьев виднелись голые куски тела, обрубки рук. Страшно глянули черные в сухой парше лица и вялые обмороженные уши. Павел, пока говорил, как-то не замечал всего этого. Литературу растащили на раскурку, на подтопку костров, на подвертывание на ноги, чему научились у немцев.

— Вижу, сидите в беде,— продолжал Павел, замешавшись в толпу,— но криком горю не поможешь... Выберите из своей среды комиссию в три человека и сейчас же присылайте в исполком, авось вместе чего-нибудь и придумаем. А доктора вам пришлем немедленно и хлеба наскребем...

За вокзалом Павел перегнал обоз ломовиков: широкие сани были внакат полны трупами тифозных и мороженных солдат.

Держать в голодном городе тысячу лишних ртов не сулило ничего путного, необходимо было во что бы то ни стало протолкнуть их дальше. Комитет, под председательством Елены Константиновны Судаковой, развернул воззвание «Ко всем честным гражданам». По городу был произведен сбор теплых вещей. Исполком, отдел собеза и фабрики подкинули, что смогли. И наконец этот спектакль, открытый длиннейшей речью Елены Константиновны. Она говорила, во-первых, как председательница комитета, во-вторых, как заведующая отделом народного образования и потом вообще любила поговорить на народе. Судакова — чле-

ниха исполкома, старая учительница. Вытертая плюшевая шляпка кукишем, вишенки на шляпке. Она отбыла два года ссылки, сидела в тюрьме, о чем не раз напоминала выскочкам и новичкам. Об ее страданиях подробно знала вся клюквинская интеллигенция. Душевную, отзывчивую Елену Константиновну вечно осаждали просители: «Голубушка, ради бога...» Она делала все, что было в ее силах и власти: утешала обиженных, утирала слезы плачущим.

Забежавший в театр на минутку Павел разговаривал с Гильдой в опустевшем после второго звонка буфете. К ним подскочил Ефим, он был одет в блузу рабочего и пенился возбуждением:

— Друг мой, не удирать ли ты собрался?

— Да, ухожу.

— Нет, нет и нет!.. Сегодня ставится моя трагедия!.. Премьера!.. Не пушу! Я и место тебе заготовил... Шпулькин, проводи! Первый ряд, кресло девятое, живо!

Проверял третий звонок.

Вынырнувший откуда-то, похожий на холерного вибриона, Шпулькин уцепил Павла за рукав, Гильда, смеясь, — за другой, и они дружно потащили его в зал.

На спинку кресла была наклеена чрезмерно яркая надпись *редактор*. Тугая шея Павла налилась жаром, выругал Ефима, и в то же время довольное сердце стукнуло раз... и два...

С поклоном расступился занавес.

В глубине сцены — фасад тюрьмы. За решетками окон — измученные лица, кандальный звон. На отшибе, на глыбах гранита, в красно-огненном колпаке и в широком малиновом покрывале — Свобода непринужденно опирается на саженный меч.

Заключенные стонут:

— Святая свобода...

— Ты недосягаема, как греза чистой юности...

— Ты несбыточная сказка...

— В душных теснинах фабрик, в темных рудниках и шахтах миллионы рабов страстно мечтают о тебе...

— О-оо... О-оо-оо!..

Под тюремной стеной проходят оборванцы и какие-то люди, по одежде напоминающие подрядчиков или трактирных молодцов, шепчутся:

— Тюрьма...

— Там забастовщики...

— Туда им и дорога... Больно умны стали, сукины дети, мало ихнего брата повешали, постреляли...

— А все-таки жалко, братцы...

— Стакими-то речами и сам ты, хлюст, угодишь под цинковую крышу.

Среди оборванцев появляется молодой рабочий, размахивает огромным молотком.

— Товарищи, долг совести и честь гражданская призывают нас разбить эти мрачные своды и освободить борцов за святые идеи... Великая наша страна изнемогает...

На сцене полумрак. Скользя, плывут тени в саванах: у одних на шеях болтаются обрывки веревок, другие несут в руках свои головы. Тени стонут:

— Мы тоже погибли за идеи...

— Меня повесили царские палачи...

— Меня обезглавили...

— Отомстите за нас...

— О-о... О-оо!..

Рабочий призывает пойти по стопам мучеников, среди оборванцев трусливый ропот...

Свобода вздымает меч.

— Жалкие обыватели и мещане... Трусливые гады, вы недостойны меня... Лишь одно море свободы, ха-ха-ха...

Тряхнув плащом, Свобода куда-то проваливается, подымая тучи пыли, от которой чихают и борцы за идею и оборванцы. Прочихавшись, рабочий доказывает необходимость восстания. Восстание. Барабаны, знамена, треск рухнувших тюремных стен. На авансцену выходят плачущие от радости мученики, среди них и Свобода в арестантском халате и цепях; рабочий моментально влюбляется в нее. Множество голосов скрещивается в «Марсельезе».

Зрительный зал подхватывает.

Неистовствует оркестр.

Затем хлынул ни с чем не сравнимый одобрительный свист, восторженный топот ног, и в густой гул, как нож в сало, вонзился визгливый голосок Шпулькина:

— Спокойствие, граждане, антракт пять минут!

К Павлу подсел Капустин, с треском высморкался и тесным говорком задышал на ухо:

— Здорово?.. А?.. Вот тебе и купеческий сын, чего у него башка-то вырабатывает?.. А?.. Мученики, обыватели... И до чего все правильно... Ведь я сам два года по пересыльным тюрьмам скитался, я все это произошел...— Пованивало от него спиртом.

Павла это настолько удивило, что он даже привскочил: Капустин хмельного в рот не брал, и рассказывали, как под Новый год на семейной вечеринке Сапункова, куда его заманили, не только отказался выпить предложенную ему стопку, но разбил посудину с вишневой наливкой и, заматерившись, ушел, чем испортил праздничное настроение собравшихся ответработников.

— Ваня, ты маленько выпивши, пойдем домой.

— Я-то?

— Ты.

— Ни в одном глазу.

— Пойдем, а то я с тобой разругаюсь.

— И не проси. Свобода, мученики... Должен я доглядеть, чего у них получится,— вцепился в витую ручку кресла, и никакими силами его нельзя было оторвать, не поднимая шума.

Павел крепко сжал ему руку:

— Ты что дурака валяешь?.. В такое место пришел пьяный да еще скандалничать хочешь?

— Пашка, не проси и не моли. Тебе сказано...

Павел усадил его около себя и сунул ему газету, уговорив прочитать какую-то статью.

Проверещали звонки.

Занавес разбежался...

В зале — поток блестящих глаз, раскрытые рты и лица жалостливые, нахмуренные, удивленные.

...Баррикады, телефоны, солдаты с красными лентами на шапках. В стороне тот же рабочий с женой Анной. Старик со старухой пржеалобно упрашивают их вернуться домой. Они не соглашаются. Старуха хватает за руку дочь, та вырывается и толкает родную матушку так, что она едва не скатывается в зрительный зал. Рабочий с женой декламируют:

— Уйдите прочь, вы, жалкие и ничтожные кроты!.. Ползайте и пресмыкайтесь во прахе!.. А мы локоть в локоть, плечо к плечу пойдем туда, навстречу новой жизни, и с гребня баррикад первые увидим вновь восходящую над миром прекрасную зарю освобожденного человечества!..

Старики с плачем уходят. В зале смех.

С баррикад открывается продолжительная и ожесточенная пальба. В зале пахнет порохом, гарью, бьется в истерике поджарая девица, ржут солдаты и громом хлопков заглушают стрельбу. Успех полный, но это еще не все. Приводят двух пленных золотопогонников. Далеко не любезен их разговор с рабочим. Перед расстрелом они успевают крикнуть:

— Вся земля помещикам, власть капиталистам!

— Боже, царя храни!..

(Ефим подумывал, что неплохо бы было для усиления впечатления приводить на каждый спектакль из чека по парочке приговоренных и на сцене кокать их.)

На носилках подтаскивают раненых, каждый из них перед смертью произносит речь. Пищит полевой телефон, прибегает запыхавшийся вестовой:

— Белые разбиты наголову!.. Ура!..

Этим трагедия и кончилась. Под непомерной тяжестью восторга стонал пол, с театра готова была сорваться крыша.

С плохо смытым гримом в зал прибежал сияющий всеми своими гранями Ефим, схватил Павла за руки:

— Ну, что?.. Как?.. Ничего?.. А?.. Ведь правда ничего?.. Понравилось?..

— Молотком-то ты махал столярным... Он хотя и большой, а столярный, таким не куют.

— Ерунда, молоток можно исправить... А свою трагедию я в Москву пошлю.

— Посылай, брат, советую.

— А-а-а, здрасте, товарищ Капустин, извините, я вас и не разглядел... Волнуюсь, как ребенок... Так советуете послать? Понравилось? Как, ничего?

— Крепко,— убежденно сказал Капустин.— Злее, чем у Гоголя... Там все про хохлов, мура какая-то...

Утопая в словах, как в песке, Павел спросил:

— Кто это?.. Ну, твоя жена?

— Гильда?..

— Нет.

— Ах, Анна... Ты про нее спрашиваешь?.. Сегодня она в ударе! Не правда ли?.. Так это же Лидочка Шерстнева, из концентрациишки, помнишь, бумажку подписывал?.. А что, понравилась?.. Недурна девочка. Не правда ли?.. Сделай милость, пойдем познакомлю... Да вот она и сама, легка на помине...

Подлетела с кружкой:

— Пожертуйте, товарищ.

Пышная, душистая, брови взрамет.

— Познакомьтесь... Лидочка Шерстнева, по сцене Дарьялова-Заволжская... Редактор Гребенщиков,— ему вы, Лида Михайловна, обязаны своим освобождением... А это товарищ Капустин, Иван Павлович... ха-ха-ха, наш красный губернатор.

Улыбнулась Капустину, чуть подкрашенную улыбку задержала на лице Павла.

— Вы председатель коммунистов?.. Я о вас так много слышала, так рада... Пожертуйте на бедных солдатиков, которые...

— Знаю,— буркнул он, не глядя и видя ее. Жесткой рукой встряхнул ее теплую кошачью лапу, и мороз порснул по его лошадиной, сразу вспотевшей спине...

По рассеянности сунул ей в кружку ярлык от вешалки.

Играя зеркальными глазами, она поболтала еще минутку и убежала в толпу.

— Ну, пошли,— решительно сказал Павел, зачаливая Капустина под локоть,— нагляделись.

— Уходите? — вскинулся Ефим.— А восточные танцы в исполнении Лидочки? Чрезвычайно любопытно...

— Некогда... Дела... Ваня, пошли.

На улицах — горбатые сугробы, сверкающая тишина. Обдутый ветром и быстро посвежевший, Капустин начал выматывать из себя обиды:

— Декреты мы писать пишем, а мужика не знаем и знать не хотим... Где надо брать срыву, а где и исподволь... Окажи мужику уважение, капни ему на голову масла каплю, он тебе гору сверотит.

— Время горячее, Иван Павлович, а мужик жаден: капать

тут некогда, плескать только успевай... Вот и приходится ему на глотку наступать: «Твое — мое, дай сюда».

— Время горячее... Мужики это понимают, а которые прикидываются дурачками, так мы им приказываем понять... «Дай хлеба» — дали. Ворчат, а дают. Через месяц разверстку до последнего зерна собрали бы, а нынче прибегает ко мне Лосев, бу-мажонки кажет. «Вот, говорит, в центре вышла ошибочка в рас-четах и приказано нам собрать дополнительной разверстки два миллиона пудиков».

— Здорово.

— А?.. Что делают с мужиком?.. Они там, в центрах, поли-тику разводят, а мы отдувайся. Мужик любит крепкое слово. Раз возьми — даст, а другой раз он тебе вот чего покажет... У него загодя рассчитано, сколько в разверстку сунуть, сколько на семена, сколько на пропой, на прокорм... А тут нате, пожалуй-те, здорово живешь, вышла у нас ошибка в расчетах...

Передохнув, Капустин отфыркнулся, как уставшая лошадь.

— Или чагринский райпродкомиссар, в гроб его мать, навалил под открытым небом девяносто тысяч пудов сена, перемешан-ного со снегом. Ну, не дурак ли?.. Выпади теплый денек, и все оно завтра же сгорит, задохнется... В Мокшановке еще того чи-ще: насобирали битой птицы, целый амбар, она у них и раскисла, всю волость протушили, срам... Вот, Пашка, какими картинами засорется русло, по которому должно проходить быстрое течение советской власти... «Дай людей» — и людей дали, а мы чего с ни-ми сделали? Ты приказ-то о мобилизации читал?

— Какой приказ?.. А что? — спросил Павел, настораживаясь.

— Почитай...

Они остановились под фонарем.

Капустин извлек из портфеля отгиск приказа, и Павел вни-мательно прочитал отчеркнутые красным карандашом места:

§ 2. Учителя и члены комитетов бедноты, твердо стоящие на платформе советской власти и не замеченные в саботаже, призыву не подлежат.

§ 6. Добровольцы и красногвардейцы годов, не подлежащих при-зыву, от службы увольняются. А тех, кто пожелают остаться в ря-дах армии, выделять в маршевые роты и немедленно отправлять на фронт.

§ 9. Призыву подлежат все проходившие в старой армии учеб-ные команды, офицеры всех чинов, а также лица вышеупомянутых годов, которые почему-либо не несли военной службы до революции.

— Это же чистейшая контрреволюция! — воскликнул Павел.

— И я то же говорю. Кто уклонялся от военной службы до революции? Торгаши, купцы и всякие калеки... На какой кляп они нужны нам... А красногвардейцы, фронтовики, учителя, ком-бедчики — наиболее сознательные элементы — от армии отщи-

ты. Ловко?.. Кто же по этому приказу в город явился? С одной стороны, темная и необстрелянная крестьянская молодежь, с другой — ефрейторы, фельдфебеля, офицеры, кулацкие сынки...

— И мы им сами, своими руками выдали оружие?

— Роздали около трех тысяч винтовок, они уволокли их с собой и теперь из нашего оружия будут стрелять в нас.

— Чьих это рук дело? Враг или дурак?

— И тот и другой... Приказ мы поручили сочинить Чуркину, а он, балда, поехал за военными советами к Глубоковскому, тот ему и насоветовал...

Подавленный Павел молчал... Думы дробились, как быстрая вода на камнях... Морозные просторы, снежные зыби, синяя кайма лесов по белому полю, обозы с хлебом и дровами, ссыпки в хлебной пыли, мужичьи крутые шутки, бредущие по волчьему следу дезертиры, всеильные продкомиссары, выколачивающие разверстку и морозящие картошку тысячами пудов, редкие островки партийных ячеек...

— До сего часа,— заговорил Павел,— за недосугом, а вернее, по ротозейству, я не удосужился прочитать текст приказа... А печатал его Курочкин, есть у нас в типографии меньшевичок такой, не предупредил, собака... Впрочем, нечего на других сваливать, мобилизацию провалили мы сами... Во всем виноваты сами... Где были наши головы?

— Пускай теперь Чуркин поедет, соберет дезертиров, пускаяй понюхает, чем там пахнет...

— Не о том разговор, Иван Павлович. Кто этот начальник гарнизона?.. Глубоковский, Глубоковский, только о нем и слышу.

— Офицер какой-то... Наказывал я Мартынову — проверь. Он проверил и говорит: «Ничего страшного, служит в Красной армии второй год».

— Мартынов — шляпа. И вообще у нас чека работает слабо... Ты вот говоришь, людей нехваток, люди на счету... Чепуха, людей у нас хватает, ты это разумей.

— Где они? Укажи!

— У нас один пацет, а семеро руками машут да пайки в два горла жрут... Сколачиваем мы машину управления, обруч диктатуры, а кого в пристяжку подпрягаем? Чиновников, гимназисток, офицеровых жен. Нынче безработных в городе пятьсот, завтра их будет тысяча. Наши безработные всю жизнь железки гнули да под мешки мыряли. Али из них не нашлись бы курьеры, писаря, сотрудники? Дело несручное? Выучатся, и мы с тобой не комиссарами родились.

— Учиться, Пашка, некогда, надо разверстку гнать,— Капустин стал выкладывать свои давнишние мысли о доме, который еще не построен, вокруг которого еще ставятся разметочные столбы и леса городятся.

Но Павел не слушал его и не переставая говорил сам:

— Или взять эсеров. Выставили мы их из города, они рассосались по уезду, окопались в кооперативах и потребительских обществах, в земельных отделах и нарсудах, в Лебедевской волости организовали сельскохозяйственную коммуну, в Марьяновской волости захватили в свои руки совет и комбед... Мартынову эсеры кажутся смиренными овечками, но они еще покажут нам свои волчьи зубы...

— Не круто ли гнешь, чудило-мученик?.. Эсеры, они разные... Был у нас на фронте левых эсеров отряд, неплохо воевали ребята. Выступали, помню, из Тетюш...

— Ты лучше вспомни,— перебил его Павел,— сколько эсеров работали и до сего часа работают заодно с чехами и Колчаками?.. Вспомни московское восстание, Ярославль, заговор Муравьева. Эсеровская партия в массе своей перешла в стан контрреволюции, на нашей стороне были горсточки, да и то до поры до времени...

— Это, пожалуй, и верно.

Проводив Капустина до исполкома, он долго плутал по тихим снежным улицам, мешал дело с бездельем: составлял в уме месячный отчет, который пора было посылать в губком; кричал песню про Ваньку Крюшника, доводя до истерики собак, думал о Лидочке... «Лярвы,— это о буржуях,— почему у них столько красивых баб?...»

Павел был падок на любовь.

Еще будучи мальчишкой, завидовал реалистам и гимназистам — в слободке их звали баяжками,— гуляющим с румяными чистыми девчонками. С распахнутым от восхищения ртом, за много кварталов Павел провожал шарманщика с его нарядной, хрипло распевающей подругой. Вечерами бегал к трактиру под окна, слушал гармонистов и песенников, любовался цветными трактирными плясуньями, беснующимися в пьяном аду. Даже в кино он влюблялся в призрачных красавиц, скользящих по полотну, бредил ими в мальчишеских снах, тосковал о них: все они были такие нарядные и красивые, не похожие на тех, что окружали его... После, когда работал на заводе, его сердце захлебнулось горькой, будто угольный дым, любовью, нежданной и жданной, как находка... Племянница механика, синеглазая Нюрочка... Дядя, проведая об их тайных встречах, надрал Павлу вихры и выгнал с завода, и он — семнадцатилетний парень — сутулясь, прямо из конторы побрел в Сладкую улицу, к красным фонарям, пропивать двухнедельную получку и свою первую любовь.

Павел был молод и жаден до жизни.

Как-то встретил Лидочку на улице, сходил еще раз в театр, и она перебралась к нему с картонками, чемоданами и чемоданчиками. С того дня в его комнате больше не пахло псиной, там прочно воцарился приторный запах пудры, духов и туалетного мыла. Гудящий всеми радостями земли, Павел обрел мудрое

спокойствие. Работал Павел в прежнем градусе, угарно и нахрапом брал то, до чего не доходил молодым умом. Лидочка, по обыкновению, разметавшись, валялась в постели до полудня, учила роли, декламировала и, жмурясь на свет, потягивалась:

— Павлик, иди поцелуй меня.

— Ладно, ладно, вставай... Скажи-ка, чему равен квадрат суммы двух чисел?

— Ха-ха-ха...

Попалась как-то Павлу в руки алгебра, такое-то зло разобрало на непонятные рогульки и закорючки, что он сразу навалился на алгебру и в месяц, будто сквозь репьевый куст, продрался через все математические каверзы и теперь с Лидочкой лист за листом гнал начисто. Ее же натрафил заниматься и с Михеичем. Старик не ладил с ней, и частенько их уроки прерывались ссорой. Гневная и горячая, она прибегала жаловаться, швыряла «Правила грамматики»:

— Я больше не могу.

— Опять ты за свои фокусы?

— Не хочу, не хочу и не хочу... Он ужасный тупица и грубиян.

Павел сводил и мирил их.

Вечерами, когда Лидочка уходила в театр, Михеич, по старой памяти, заглядывал к своему другу, еще из-за порога осведомляясь:

— Ушла?

— Ушла, ушла, проходи, чайничать будем. Ты чего-то больно ее не любишь, да и меня забывать стал.

Старик неодобрительно оглядывал чистую комнату. Его вечно распущенные в улыбке губы теперь поблекли и были обиженно поджаты.

— Что не весел, Михеич?

— Так.

В надежде разогнать тягостное молчание, Павел спрашивал:

— Учишься?

— Учусь, — вздыхал старик, — о, аз, о, буки, о, престрашные веди... Посадит меня прямо, чтоб покривления спинного столба не вышло, писать заставит: «Собака лает, корова мычит», вроде насмех...

— А-ха-ха-ха, вот дура... Ничего, катать, учишь, ройся глубже...

— Где уж нам.

Молча выпивал Михеич стакан чаю и будто нечаянно ронял:

— Зря.

— Брось, как тебе не надоест одно и то же! — морщился Павел, уже зная, куда клонит старик.

— Сердись не сердись, а я за правду завсегда стоять буду.

Не чня она тебе... Нечего сказать, урвал кусочек, спаси бог не позавидовать... Али окромя не нашел бы себе бабу по мысли?

— Была у меня баба...

— Чего ж ты их меняешь, как цыган лошадей...

— Будь ты молодой, рассуждал бы по-другому.

— Я всегда одинаков... Погоди, друг любезный, накладет она тебе в шапку.

Однажды, в минуту особой нежности, со множеством тонких бабьих уловок, Лидочка заговорила о весеннем костюме:

— Павлик, распорядись чекой... Прикажи выдать, у них такая уйма реквизированных вещей...

— Чего?

— Не велик труд, черкни несколько слов на официальном бланке, остальное я берусь уладить сама.

— Я тебе так черкну, дверей не найдешь...

Лидочка испугалась, расплакалась и больше никогда не заговаривала ни о новых ботинках, ни о тонком белье, ни об угнетающем однообразии стола. С репетиции летела с Ефимом на его холостую квартиру, очень теплую и богато обставленную, брошенную теплым и богатым адвокатом, бежавшим в Сибирь.

Ефим снимал с нее беличью шубку, целовал игрушечные руки и, многозначительно заглядывая в глаза, спрашивал:

— Любишь?

— О-о...

Ефим с Лидочкой создали в Клюквине союз революционных поэтов, художников и драматургов, а таких набралось в городе до сорока человек. На первом же собрании союз постановил: немедленно ходатайствовать о пайке и приступить к выпуску ежемесячного литературно-художественного альманаха «Мечты и думы».

Из города гулом гром приказов:

Хлеба

дров

солдат

денег

• за невыполнение взбучка, трибунал.

В степях, лесах, болотах раскатисто ухало эхо:

— О-о... А-а-а... О-уу... Ух... Гони...

Потоки бурных бумажек захлестывали соломенные крепости. Много бумажек, отчаянные сотни, а припев один: «За неподчинение, промедление — кара».

Город корчился в голоде и тифе, отхаркивал ржавую кровь. Хрипящему в горячке городу предлагалось выздоравливать на ногах. По порядкам бежали нарядчики, шумели под окнами, задернутыми тюлевыми занавесками, звякали кольцами наглухо захлопнутых калиток:

— Хозявы-ы-ы, на очистку путей!

В щели вертлявая тля.

— Мы, батюшка, обыватели, жители тихие, мирные.

— Все одно, приказ, строго.

— Мы, товарищи...

— Без разговору весь мужской и женский пол в двадцать четыре срочных секунды.

— Хворые, старые да малые...

Охрипшие нарядчики гремели прикладами в калиточный дребезжень:

— Выходи-и-и, передохли, что ли? Выходи на очистку путей!

— Мы, товарищ батюшка...

Под прикладами, как блудливые кошки, вздрагивали и жмурились домишки, но голосу не подавали. Тихие клюквинские жители отсиживались по чердакам и погребцам...

На путях малосильные паровозы вытягивали голоса в ледяную нитку, зарывались в снега, царапались слабеющими лапами, ввалили жилы и, всхлипывая, замерзали...

Город метался в тифозном жару. Крупными и жесткими, как гречневая крупа, вшами были засыпаны дороги, вокзал, лазареты и серые мешочники, похожие на вшей.

Вошь атаковала деревню.

Вокзал был завален больными вперемешку с трупами, убирать не успевали.

В тупике несколько теплушек, как березовыми дровами, были забиты мерзлыми раздетыми мертвяками. За городом, в беженских бараках, люди наполовину вымерли, остальные разбежались, разнося заразу по деревням. Покорно вымирала тюрьма. Тиф бушевал в лазаретах, в казармах, на этапах. Была объявлена мобилизация врачей. Из тридцати согласилось работать шестеро. Чека расхлопала двоих, остальные двадцать два присягнули в верности, выбрали чрезвычайную комиссию по борьбе с эпидемиями, поделили город на участки, тряхнули воззванием, и борьба началась. Но вшей не держали ни запоры, ни высокие сапоги, ни всяческие предупредительные меры. На кладбище в общие ямы без счета валили мешочников, отпускных солдат, дезертиров, обывателей. Смерть скрутила Чуркина, Сапункова, инженера Кипарисова, умерла Елена Константиновна Судакова.

Был создан летучий санитарный отряд коммунистов. Свой штаб, дежурства круглые сутки. Под лазареты заняли гимназию, церковь, пустующие магазины. Не хватало коек, матрацев, белья — больные валялись на соломе по полу, в коридорах. Мутный, бесперывный бред, крики, стон:

— Пи-и-ить... Пи-и-ить...

Перехворавшая и страшная Гильда нога за ногу брела в продлавку. Часто останавливалась отдыхать, прислонялась к забору или присаживалась на тумбу. Улыбалась солнышку и кланялась ему, как доброму другу.

В кулаке был крепко зажат ордер на *усиленный паек*:

Селедок	1/4 ф.
Масла подсолнечного	1/4 »
Крупы	1 »
Мыла	1/2 »
Спичек	2 коробки

Пробежала собака, Гильда подманила ее, потрепала по теплой морде, вытряхнула из кармана хлебные крошки. Прошел трубочист, показался ужасно забавным, она расхохоталась ему в лицо, хотела извиниться, сказать, что смеется не над ним, что ей вообще сладостно, весело идти по солнечной улице... Но голова закружилась... Всего на несколько секунд... Когда открыла глаза, трубочист чернел уже далеко, в самом конце квартала. Побрела... Навстречу по дороге, беглым шагом — Гильда удивилась и обрадовалась, как быстро можно ходить! — поспешал небольшой отряд с лопатами и ломачами на плечах. Сердце заколотилось в ребра: свои... Слабо пискнула:

— Товарищи... Володя...

Подбежал председатель слободского райкома Володька Скворцов, сдернул рукавицу, поздоровался.

— Ходишь, говоришь?

— Хожу.

— Гляди, девка, а то живо закопаем...

— Теперь раздышусь, не застрашаешь... Куда вы, Володя?.. С лопатами?

— Могилы рыть... Видишь ли, чрезвычайная тройка боится, как бы тиф в население еще глубже не пролез: вот и посылает нас во всякую потычку. Могилы роем, с мертвецами нянчимся, саму смерть борем.

Гильда растерянно улыбнулась, а он продолжал:

— Отъелись мы на коммунистических хлебах, гляди, какие гладкие стали, вошь на нас не держится, скатывается, нас не только тиф, чума не возьмет! — Володька засмеялся, махнул рукавицей, бросился догонять своих.

Гильда проводила отряд глазами, светлыми, как сосульки на солнце, и заплакала.

ХОМУТОВО СЕЛО

*В России революция — это всего-то
света поднялась пыль столбом...*

Уезд засыпáли снега и декреты.

Дремали притихшие заволжские леса. В зимних полях почилá великая тишина. Сыто дремала дремучая деревня, роняя впросонках петушьи крики и бормот бога колокола.

Над оврагом деревня, в овраге деревня, не доезжа леса, деревня, проезда лес, деревня, в долу деревня, за речкой деревня. Богата ты, страна родная, серыми деревнями...

Вот Хомутово село.

Широко разметались избы шатровые, пятистенные, под тесом, под железом. Дворы, как сундуки, крыты наглухо. Ставни голубые, огненные, писульками. В привольных избах семейно, жарко, тараканов хоть лопатой гребн. Киоты во весь угол. Картинки про войну, про свят гору Афонскую, про муки адовы. И народ в селе жил крупный, чистый да разговорчивый. В бывалошное-то время, по воскресным и престольным праздникам, село варилось в торжище, как яблоко в меду. Красные товары, сыпки хлебные, расписная посуда, ободья, дуги, деготь, жемки, пряники, гурты скота, степных лошадей косяки, рев, гам, божба цыганская, растяжные песни слепых и юродивых, карусель, казенка в два этажа. Первеющее было село изо всей округи. И война царская зацепила село краем: из хомутовцев иные в город на военный завод попрятались, а иные вовсе откупались — дома на оборону работали, и хорошо работали: каждый год бабы по одному да по два валяли, ровно блины пекли. Революция, как гроза, ударила в богатое село — торговля хизнула, заглох большак, дела на убыль пошли.

И Капустин Иван Павлович в Хомутове вырос — в скудости да в сиротстве. Матери он не помнил, отца на японской войне кончили, и довелось Ваньке с мальчишек в чужие люди пойти, работать за шапку ржаных сухарей. Потом его увез с собой в город трактирщик Бармин. Служил Ванька и трактирным шестер-

кой, и в мучном лабазе у купца Хлынова на побегушках, и учеником в слесарной мастерской. Два лета ходил по деревням, чинил замки, тазы и ведра. Потом ездили хомутовские мужики сдавать купцу хлеб и слышали, будто попал Ванька в острог, а за какие дела, толком никто так и не знал. После видали его в большом волжском городе, на пристанях крушничал — мешки нянчил. В войну, в дремучем Кудеяровском овраге, урядник Кобелев накрыл шайку не то беглых солдат, не то конокрадов и Капустина с ними. Что были за люди, леший их знает, болтали на селе всячину, да ведь есть которые врут, ровно в заброд бредут по нижнюю губу, только отфыркиваются.

В революцию без шапки, с разинутым ртом стояла деревня на распутье неведомых дорог, боязливо крестилась, вестей ждала, смелела, орала, сучила комлястым кулаком:

— Земля... Свобода...

Как-то праздничным побытом на кровном рысаке купца Хлынова прикатил в Хомутово Иван Павлович, товарищ Капустин.

Все так и ахнули.

На сходке, после поздней обедни, рассказал Иван Павлович, что есть он самый политический человек, давно революцией тайно занимался и всего неделю как вернулся из сибирской тайги, куда был сослан на восемь лет каторжных работ. Жалостливые бабы сморкались в подолаы, а старики вспомнили, что когда-то, вместе с другими парнями, били они и Ваньку в волостном правлении за поругание над царским портретом. Валились старики в ноги, бородами мели землю и Христом-богом молили простить, забыть.

— Сердца на вас не имею, — сказал Капустин старикам, — вы темные, как земля.

Отец Вениамин — мужики, по простоте своей, звали его Выньяминь — отзвонил благодарственный молебен с акафистом за здравие страдальца и мученика за народ, раба божия Иоанна...

На красную горку поехали хомутовцы сеять, а Ивана Павловича выбрали делегатом на первый губернский земельный съезд.

Поздней осенью вернулся Капустин в родное село, навербовал по волости полторы сотни красногвардейцев и повел их на казаков. С этих пор он так и не слазил с седла: воевал с казаками, воевал с чехами, мотался по Заволжью с широкими полномочиями от губисполкома — сколачивал первые комбеды и народные суды, делил землю и крестил солдаткам ребятишек, проводил мобилизацию в Красную Армию и организовывал первые большевистские ячейки и наконец теперь ворочал всем уездом.

В стороне от тракта, за лесами, за болотами, проживало Урайкино село: мордва, чуваша, трава дикая. В лесах — развалины раскольничьих скитов, пчельники, зверье. Жили в скитах сто-

летние старцы; древнего литья певучие колокола вызванивали из ада души разбойников. Вокруг села урочищ стародавних немало: тут клык сожженного грозой дуба — старое становище разбойничье; там Разин яр — богатые клады есть, сказывают старики, да поднять их мудрено. У тех же стариков на памяти церковь урайкинская выстроена, прежде березе молились. Дремало Урайкино в сонной одуре, в густе мыка коровьего, в петушинных криках. Избы топились по-черному; жива еще здесь была лучина; сучок и лыко употреблялись вместо гвоздя; холсты, пестрядину, рядно и дерюжину жители выдeldывали сами; властей второй год не знали и за всеми советами обращались к выжившему из ума попу Силантию; проходила трактом война, революция, продотряды, но сюда никто не заглядывал, так как значилось Урайкино на карте селом Дурасовым, по имени давно умершего помещика, а села Дурасова никто и слыхом не слыхал. Земля — неудобь, песок, глина, мочажина. Редкая семья ржанину досыта ела, больше на картошке сидели. Лошаденки были вислоухие, маленькие, как мыши. Сохи дедовы... Работали мужики в большие дни, по великому обещанию, а то все на печках валялись, в затылках скребли, чадили едучим куревом, шатались из избы в избу, разговоры разговаривали неприподъемные, угарные, как русская лень. Зато чугунок урайкинцы варили!.. Проезжай все царства и республики, а такой не найдешь. Хватишь ковшик урайкинской чугунки и не отличишь пенька от матери родной. По праздникам надевали мужики цветные радостные рубашки, после обедни люто напивались и дрались, сноровя сперва разодрать друг на друге рубашки, а потом — и по рылам. Под веселую руку баб колотили, свято чтя пословицу: «Жена без грозы хуже козы». В долгие, как Иродовы веки, деревенские ночи бабы терпеливо ублажали мужей; вскакивали бабы до зари и дотемна мотались по дому, и в поле и в лес шли и ехали; всякую работу через коленку гнули крутогрудые, налитые бабы, бурестой, трава дикая... В писаные лапти подобутое, лыком подпоясанное, плутало Урайкино в лесах да болотах.

Прислонилась задом к лесу Вязовка, раскольничье село толку спасова согласия. Чудно жили, не люди, а какое-то вылюдье. Звались братцами, ни царю, ни революции ни одного солдата не дали. Жили ровненько; замков и запоров не знали; народ все был самостоятельный. На много верст кругом славилось село своей исключительной честностью. Старики рассказывали: заедет, бывало, в Вязовку торгош — покупай, меняй, чего твоей душе угодно. Денежный ты человек — плати, скудный — и скудному отказу нет: вынет торгош из кисета уголек, у хозяина на столбе воротнем отметочку засечет: «Столько-то за тобой, добрый человек, будут деньги — готовь к покрову, не будут — подожду».

Старые времена, старые дела...

Хомутовская волость, проводив белых, на пашню кинулась — поднимали степь под ярину, перепаживали и засеивали баб.

С покрова до Михайлова дня деньки держались холодные и ясные, как стекло, на току хоть блоху дави, самое для молотьбы время. Деревня спала не разуваясь и с первыми петухами бежала на гумна, торопливо крестилась на занимавшийся восход, на работу валилась дружно — поту утереть некогда. Прожорливые молотилки полным ртом жевали снопы, только полога подставляй. Дробно драдракали цепи, ошалело кружились взмыленные лошади, гикали охрипшие гоняльщики, скрипели сытые воза.

Обмолотилась деревня, в жарко-нажаркой бане косточки распарила, хлебнула самогону ковш, и усталости как не бывало.

Зашумели свадьбы.

Только и разговоров, что про посиделки, вечерки, смотрины. Там жених с товарищами двумя тройками к невесте на девичник поехал, там — большой запой, гостей полны столы; на столах, по заведенному издревле обычаю, лапша со свиной, сальники, курники, пироги. Невеста со словом приветливым обносит гостей. Зевластые бабы бойко рюмочки пригубливают. Девки величают толстую сваху:

Чего наша сваха
Бела и румяна,
Бела и румяна,
Еще черноброва.
Только нашей свахе
При городе жити,
Торгом торговати
Кумачом-китайкой.

Величают жениха с невестой, отца с матерью, дядьев, дедьверьев, всю родню. За песни щедро сыплется похвалы и скупо — деньги. Вьются шелковые ленты в девичьих косах, высокие голоса рубят:

На Ванюше шапочка
осистая,
пушистая...
Наперед она
на-
весистая...
Спереди ему
очей
не видать...
Э-эх, да сзади
плечей
не видать...

Метет шалой бабий визг, вяжется пьяный плетень разговора. Спозаранок жениховы посланные скакали к невесте с повестью.

В окна кнутовищем:

- Подавайте невесту, жених скучает.
- Не торопите, купцы, не торопите.
- Все глаза проглядели.
- Собирам, сватушка, собирам.

Невеста с утра вопила в голос. Подруги с уговорами да прибаутками расплетали, чесали косыньку девичью.

А там — чу — и поезжане ко двору подкатили: с боем выкупали ворота, выкупали косу, дружка разрезал хлебы, меняя половинки, нареченные с земным поклоном принимали родительское благословенье, и все, помолвившись, шумно выходили на двор, где кони, кося искрометным глазом, нетерпеливо переступали, тревожа бубенцы и колокольца. Дружка с иконами обходил поезд.

— Ну, поезжане, кто с нами — садись в сани, а кто не с нами — отходи прочь!

Гремел воротный болт.

— Трогай... С богом.

Тройка уносила свадебный поезд. От венца ехали к молодому.

Свекор с свекровью, наряженные в вывороченные тулупы, встречали молодых в воротах и щедро обсыпали хмелем и житом, чтоб богато и весело жили, поили молодых молоком, чтоб дети были у них не черные, а белые.

На пороге молодых встречала коренная сваха, чарочки им наливала через край и приговаривала:

— Столько бы вам сынков, сколько в лесу пеньков... Да столько бы дочек, сколько в болоте кочек... Перину-то в двое рук взбивали, уж так взбили, так взбили...

С утра готов горной стол.

На улицах свадебное катанье — под дугой бубенцы, в гриве ленты переливались радугой. В лентах, в линючих бумажных цветах — орущее, ревущее, визжащее... Глиняные горшки били, орехи и пряники ребятишкам разбрасывали — молодым на счастье. Осатаневшие бабы, высоко задирая юбки и размахивая сорванными с голов платками, плясали и орали срамные песни.

Вечером всем аулом ехали к молодой на яичницу. А там, глядишь, и разгонные щи недалеки...

На Михайлов день Хомутово проскакали двое верховых — Карлуха Хохленков и Танёк-Пронёк, — то капустинские ребята воротились по домам. Как раз старики от обедни шли и переговаривались:

— Наши башибузуки явились.

— Лебеда-лабуда, крапива, полынь горькая... Хороших людей на войне убивает, а на таких псов и пропаду нет.

— Наведать надо... Ведь он, Пронька-то, сукин сын, крестник мой.

Хохленков проскакал нижний прогон и круто осадил перед своим двором: лошадь с разбегу легонько ткнулась вспененной мордой в ворота, отороченные жестяными пряниками. Калитка была расхлебана, по двору ветер гонял курчонок и разбрыленное сено. Заметалось сердце в Карлухе. Горячую лошадь

под навес к сохе пристегнул, сам в избу. С кровати из-под кучи тряпья стон:

— Кто это?

— Здорово ли живете?

— Карпуша...

— Аль не ждала?

— Какое... Господи...— соскочила с постели босая. Придерживая на груди дырявую рубаху, ловила мужнину руку поцеловать.

— Ложись, Фенюшка, куда вскочила... Аль болезнь крутит?

— Не чаяла... Какое... Господи...

Уложил, укрыл жену тулупом, сам на кровать присел. Жена заплакала навзрыд: прорывались горькие жалобы на деверя, на брата, на всю родню — травили, проходу не давали, попрекая тем, что он, Карпуха, у красных служит, хлеб остался в поле неубранным, Лысенка сдохла, последнюю кобылу чехи со двора увели... Огляделся Карп со свету — пуста изба, кошка на шестке южит.

— Самовар где?

— Шурин за долг забрал.

В избу робко, ровно мышата, вшмыгнули пятилетний сын Мишка и дочь Дунька. Одичавшие, грязные и нечесаные, с руками, в кровь изорванными цыпками, они робко подошли к отцу. Он перецеловал их, вышарил в кармане два куса сахара, вываленного в махорке, — гостинец. Глаза матери были затоплены счастьем. Подвыпил Карпуха, надел новую рубашку, пошел шурина бить.

У плотины на зеленом пригорке торчала косопузая избенка кузнеца Трофима Касьяновича, который уже много лет тому как утонул по пьяному делу в Гатном озере. Осталась после него коротать век с сыном Пронюшкой старая кузничиха Евдоха. Проньку еще покойный батя к кузнечеству приставил. Пронька — ухарь малый — с утра до ночи в своей кузнице железам гремел, огонь травил, песни орал. А Евдоха первой по селу повитухой слыла и шинкарством занималась по-тихой. В восемнадцатом году напаялил Проньку на свои крутые плечи шинель, взял ружье и — пропал. Ждала-ждала Евдоха, под окошечком сидючи, все глаза выплакала... Говаривала старая:

— Увидеть бы соколика хоть одним глазком, тогда и умирать можно.

Пронька приехал и только, господи благослови, вошел в избу, саблю на гвоздь повесил, с матерью за руку поздоровался, — и сейчас же на иконы:

— Мамаша, убери с глаз.

Евдоху так и прострелило.

— Да что ты, Пронюшка?.. Что ты, светик, на образа зверился?.. Али басурманом стал?

— Убери. Не могу спокойно переносить обмана.

Не было сына — горе, вернулся — вдвое, ровно подменили его.
Евдоха бутылку на стол.

Выпил он бутылку и опять:

— Убери.

Евдоха поставила еще бутылку, и эту кувыркнул Пронька.

— А пугала, мамаша, всецело убери, сделай сыну уваженье.

Она не согласна.

Он — за саблю.

Она — караул.

Он — саблей по пугалам.

Она за дверь и — в крик.

Выхватил Пронька из печки горячую головешку да за матерью родной через всю улицу, людям на посмешище, бежит и орет во всю рожу:

— Я из тебя выкурю чертей-то...

А она бежит, бежит да оглянется.

— Брось, сынок, брось... Руку-то обожгешь...

Сердце матери... Ну где, где набрать слов, чтоб спеть песнь материнскому сердцу?..

Старуха стояла на своем и гнала сына из дому. Тот не уступал и выпроваживал ее на жительство в баню. Родные навалились на буяна, и оборотилось дело по-хорошему: сын остался жить в избе, и мать осталась в избе, а передний угол шалью занавесила. У сына сердце покойно — боги не тревожат, и матери терпимо — отдернет занавеску, помолится и опять скроет лики пречистые.

На собрании выбирали совет.

— Савела Зеленова пиши.

— Нет, у меня домашность, — отбивался Савел.

— У всех домашность, просим.

— Когого лешева? Вали, вали...

— Согласно моего нет.

— Не жмись, кум, надо.

Утакали Зеленова.

— Лупана пиши.

Лупан дурачком прикидывался:

— Перекрестись, какой из меня советчик?... Считать до десятку умею...

— Эка выворотил бесстыжу рожу!..

— Вали, вали, просим.

— По-хорошему надо, старики.

— Пришей кобыле хвост... Леня-то, матушка, допрежде нас родилась...

— Единогласно, пиши, его, дьявола.

И так бились с каждым.

Расходились с собрания, бережно подставляя вопросы Таньку-Проньку:

— Прокофий Трофимович, про свободну торговлю в городе ничего хорошего не слыхать?

— Не соля живем, мука.

— Оно какое дело?.. Пустое дело — гвоздь, а нету гвоздя, садись и плачь.

— Проша, говорил ты вроде притчей: «Ждет нас мировая коммуна». Невдомек, к чему это слово сказано? Не насчет ли отборки хлеба?

— Почему нет советской власти за границей? Али они дурее нас?

Пронька на все вопросы отвечал, как умел.

Наказание Евдохе с сыном, от работы отбился. Спозаранок уходил он в комитет бедноты и дьябел там до ночи. А когда выберет вечерок свободный, мать просвещать начнет. Черствая старуха, разные премудрости туго в голову лезли.

— Дурак, наговорил, наговорил, ровно киселя наварил, а есть нечего.

— Плохо вникаешь, мамаша.

— У людей то, у людей сё, а у нас с тобой, чадушко, ничевошеньки. Нынче муки на затевку заняла.

— Ерунда,— говаривал Пронька свое любимое словечко.

— Типун под язык, пес ты лохматый... Последнюю корову со двора сведут, тогда и засвищем во все дыры.

Ночами Евдоха жарко молилась:

— Мати пречистая, вразуми окаянного...

Или подсядет, бывало, на краешек сыновней постели, да и начнет в фартук сморкаться...

— Сынок, образумься... Брось ты революцией заниматься, в года уж вышел, жениться пора, хозяйство хизнуло, кузница тебя ждет... Обо мне, старой, подумай.

— Ерунда,— только и скажет сынок Пронюшка.

Корову свою Пронька назвал Тамарой.

Хомутовская волость второй день рядила ямщика.

Старик Кулаев гонял ямщину лет тридцать из году в год. Выставит, бывало, старикам монопольки лошадиную порцию и — вожжи в руки. В советское время расходу — окромя как писарю сунуть — не требовалось расходу, но и цену подходящую не давали: смета, приказ, порядки, ни на что не похоже.

Облупленным вишневым кнутиком стегал себя старик по смушковым валенкам и, играя белками желтых волчьих глаз, хрипел:

— Рашету нет, пра, ей-богу, рашету нет... Тянусь, будто дело заведено, поперек обычая не хочу лезть... Нынче ковка одна чего стоит? Чудаки, прости господи, ей-бо... Дело заведено.

Старика за полы заплатанной суконной поддевки тащили

сыновья: Ониска и большак Савёл, оба солдаты действительной службы.

— Айда, тятя, айда... Чего тут гавкать?.. Не хотят, не надо.

Тот еще раз оборачивался из дверей и скалил зубы:

— Дуросветы, едри вашу мать, управители... Корма ныне чего? Ковка? Дело заведено...

Сыновья уводили отца.

Смета отдела управления и наполовину не покрывала того, что загнул Кулаев... Набивался ямщик Прошка Мордовин, да дело-то не дудело — обзаведенье у него было никудышнее и лошаденки немудрящие, а тракт большой — не выгнать Прошке... А Кулаев возьмется, так возьмется, ни от слова, ни от дела не отступится: справа богатая, ездовых лошадей косяк — старинный завод.

Гнали за ним десятника.

Приходил старик в черной злой усмешке, обеими руками стаскивал пудовую шапку, которую носил круглый год; расправлял масляный, в кружок подрубленный волос и спрашивал:

— Удумали?

Писарь пододвигал чернильницу, нацеливаясь строчить договор. Председатель долбил согнутым пальцем папку с надписью: «Целькуляры и приказы свыше» и густо вздыхал:

— Скости, Фокич... Смета, ее, каким боком ни поверни, она все смета... А овса общественного десять мешков тебе наскребем.

Советчики:

— Скости.

— Говори делом.

— Чего ты ломаешься, ровно пряник копейный? Другой день тебя охаживаем.

— Ровно за язык повешены.

— Смета... Должен ты уважить.

— Овса тебе наскребем, ешь и пачкайся...

Кулаев заряжал понюшкой оплывший, прозеленевший от табака нос и тряся в чихе:

— Не могу... Хоть голову мне рубите на пороге, не могу! Слово за слово, словом по слову, кнутом по столу.

— Не рашет, мужики... Гоню много... Все бьется, ломается... Ни к чему приступу нет... Нынче одна ковка звякнет в копейку.

В сенях загремело пустое ведро, сторож-беженец Франц крикнул в дверь:

— Едет... Бешеный едет!

Кто сидел — вскочили. Встал и председатель совета Курбатов, но, спохватившись, сел и, колотя звонком по столу, сказал:

— Прошу соблюдать... Чего вскочили?.. Всецело прошу садиться... Едет, так мимо не проедет, чай не царь.

— Царь не царь, а полцаря есть.

Потянулись к отпотевшим одинарным окнам.

К совету с форсом и ямщицкой удалью подлетела пара взмы-

ленных лошадемок. Из возка, обитого малиновым ковриком, вылез завернутый в оленью доху комиссар Ванякин. И еще увидели из окон мужики — улицей проскакали верховые солдаты ваныкинского продотряда.

...За зиму Алексей Савельич Ванякин научился не только телефоном орудовать или пересказывать декреты на самом простом обывательском языке, но кое-чему и другому. И еще он, старый пьяница, переломил себя — пить бросил. На исполкомской работе тошно показалось, и он кинулся в деревню собирать мужицкий хлеб. Никто не видал, когда он спит, ест. Прискачет — ночь-полночь — и прямо к ямщику: «Закладывай!» — «Куда на ночь глядя, окстись, товарищ, — взмолился ямщик, — лошади заморены, а на кнуте далеко не уедешь». — «Запрягай!» — «Хоть обогрейся, товарищ, бабы вон картошки с салом нажарят, а утром бог даст...» — «Давай запрягай, живо!»

Переобуется, подтянет пояса потуже и поскачет в ночь.

Святками в Старом Буяне он отмочил такую штуку, что весь тракт ахнул. Буянский ямщик Иван-бегом-богатый в волостной съезжей рассказывал:

— Оно какое дело, гуляли мы у свата Тимофея на свадьбе. Пир у нас колесом. Пьем-поем и в чушечку не думем. Глядь, прибегает моя старуха с возгласом: «Приехал, принес его налетный». — «Кто такой, кого нелегкая принесла?..» — «Бешеный комиссар приехал, лошадей зычет». — «Отвори ему дурную рожу, — кричу я из-за переднего стола, — большой запой справляем, а он лошадей... Пусть до завтра ждет...» Ушла моя старуха с отказом. Много ли, мало ли времени прошло, глядь-поглядь — скачет комиссар мимо окошек на моей же паре, и тулуп нараспашку. Заходит к свату Тимофею в избу: «Который тут ямщик?» — «Я ямщик», кричу. Не успел я и глазом моргнуть, сгреб он меня да за дверь. Иду по двору, плачу, через два шага в третий спотыкаюсь, а он мне обнаженным наганом и тычет под ребра. «Садись, говорит, экстренно на козлы, держи вожжи». Крик, шум, выбегают за ворота мои сроднички с кольями, с вилами, а он из нагана-то как пальнет, пальнет, лошади-то как хватят и понесли, и понесли... Да-а, пошутил: не чаял я от него и живым вырваться.

После этого случая ни один ямщик не отваживался перечить и ночь-полночь мчал беспокойного седока, не радуясь и чаевым, на которые тот не скупился. К богатым мужикам Ванякин был особенно немилостив. Деревня боялась его как огня, и не было дороги, где бы его не собирались решить, из оврагов не раз во след ему летели пули, но он только посмеивался и отплеивался подсолнухами: семечки грыз и во время речей, и на заседаниях, и на улице, и в дороге, невзирая ни на мороз, ни на ветер. За крутой характер, за семечки и любовь к быстрой езде деревня окрестила его «Бешеным комиссаром»...

Комиссар крепко хлопнул дверью и от порога поздоровался:

— Мир честной компании.

— Поди-ка, добро жаловать.

Ванякин прошел вперед, бросил на стол объемистый брезентовый портфель, содержимое которого было весьма разнообразно: истертые до ветхости инструкции губпродкома, старые газеты, яичная скорлупа, обвалевшийся кусок сала, рассыпанная махорка.

— Заседаете?

— Заседаем, Алексей Савельич, заседаем... Жизни не рад будешь от этих самых заседаний.

Курбатов разгладил по столу смету с оборванными на раскурку краями и сердито посмотрел на всех:

— Домашний вопрос мусолим. С ямщиком вот маята, никак не урядим.

Загалдели:

— Смешки да хахоньки... Ровно в бирюльки играем...

— Дом ждет.

— Овес, а где его взять, спрашивается?.. Ныне его, овес-то, жаром весь покрутило.

— Ты бы нам, товарищ, резолюцию какую похлеще вlepил...

Пра!

Председатель покосился на Ванякина, обиравшего с оттаившей бороды подсолнечную шелуху, и строго зашипел:

— Чшш... Начальнику продотряда, Алексей Савельичу Ванякину, даю полное и решающее слово по текущему вопросу в порядке дня.

Засмеялись.

— Какой это день, вторые сутки дябем.

— Лачим не улачим, ровно мордовску невесту сватам. Овес, говорят, а где его...

— Тьфу, истинный господь... Смех с нами, с дураками.

Ванякин мельком заглянул в смету, подманил Кулаева и ухватил его за концы красного кушака:

— Советску власть признаёшь?

— Пожалей, кормилец, — попятился старик, — у меня семья двадцать шесть человек... Гоню много, тракт большой, ныне ковка одна и та в гроб вгонит... Дело будто заведено, и тянись по дурости, ей-бо.

— А турецку власть хочешь признать? — вновь спросил комиссар.

Старик помучнел:

— Ладно, тридцать мешков овса и по рукам... Что мир, то и мы, мы миру не супротивники.

— Пиши, — подтолкнул председатель писаря. — Пиши: деньги по смете, овса общественного по силе возможности.

Писарское перо помчалось по листу договора галопом.

Кто-то вздохнул, кто-то разбудил тишину смехом:

— Давно бы так.

Из совета Кулаев выскочил, словно из бани, и, держа в обкуренных пальцах копию договора, будто боясь обжечься, бежал улицей и во всю глотку без стеснения поносил комиссара:

— Накачала тебя на мой горб нечистая сила... Чтоб те громом расшибло, чтоб те с кровью пронесло, сукин ты сын!

Ванякин перебирал бумаги и расспрашивал мужиков о житье-бытье. Мужики, поглядывая друг на друга, отвечали осторожно, ровно по тонкому льду шли:

— Да ведь как живем?.. Живем по-советски: керосину нет и соли совсем не видать... Не завидная, товарищ, наша жизнь, одначе на власть не ропщем: планида — власть тут ни при чем, это понимаем.

— Планида-то, планида. — Ванякин исподлобья оглядел собрание. — А долго я буду вокруг вас венчаться?

— Еще, кажись, не сватался, а венчаться собираешься...

— Разверстку добром будете платить?

— Мы и не отказывались... Возили, возили, и все не в честь?

— Воженного-то нет.

— Как нет?.. Чисто девки стряпали... Съим и съим, ровно в прорву бездонную.

— Ругаться будем завтра, — сказал Ванякин, — затем и приехал... Тебе, Курбатов, поручаю созвать к завтрашнему дню со всей волости всех председателей советов.

От порога кто-то сказал:

— Опять килу чесать... Припевай, Гурьяновна.

Далеко о Хомутове бежала славушка худая: то проработника коннут, то телеграфные столбы подпилят, то поезд под откос спустят. Дезертиры по селу — из двора во двор. Придерживали хомутовцы и хлебец. Уповая на них, и соседние волости сетовали на порядки и не торопились с выполнением разверстки.

С осени в хомутовский комбед подобралась было коренная гольтьба. До поры до времени работа велась дружно, пищали зажатые в тиски налогов богатеи, но скоро сами комбедчики, первый раз в жизни дорвавшиеся до легкого хлеба, зажрались. Председатель Танёк-Пронёк к трепаной солдатской шинелишке своей пришел каракулевый воротник, секретарь Емельян Грошев сбросил лапти — напялил лакированные сапоги с калошами. Комбедчики были заклеены сельской беднотой как «присосавшиеся к ярлыку» и свергнуты. В помещении после них остался искалеченный граммофон, провонявший самогоном, и насквозь просаленный шкаф, жирными пятнами реквизированного сала были забрызганы стены, потолок и папка с бумагами. На их место протискались хозяйственные мужики, но вскоре, за немилость к бедноте, тоже с позором были изгнаны. Комбед последнего состава подобрался и подходящ, да неувертлив — его по каждому делу, как по ровной дорожке, проводили за нос хомутовские чертоплясы.

В избенку Танька-Пронька по вызову Ванякина пришли комбедчики, шестеро местных коммунистов и кое-кто из сочувствующих.

— Чего тебе, Алексей Савельич, рассказывать,— оглядывая собравшихся, пожимал плечами Хохленков,— ты сам дальше нашего деревенскую быль предвидишь... Власть на местах, товарищ, она действительно крепкая власть, палкой не сшибешь. Правда, кое-где и пролезли кулаки, но большого вреда от них мы пока не видим. Есть среди них сильно образованные: он тебе и декрет новый растолкует, и в сметах разберется, и бумажку какую хочешь сочинит... Народ у нас около ячейки вьется, и ничего будто, а коснись декрет в жизнь протащить, все боятся, как бы население не рассердилось... А еще скажу то: кто с радости, кто с горя — самогон пьют ведрами, от пьянства глаза лопаются, и народ, известно, в пьяном виде поднимает скандалы.

— Сукины вы сыны,— оборвал его Ванякин,— на печке заплутались, в ложке утонули... В городе мы из буржуев сало ждем, на фронте наши солдаты колят, рубят и стреляют неприятелей, а вы тут перед кулаками на задних лапках ходите.

— И мы ждем...

— Плохо жмете. Конtribusiя у вас не собрана, хлеб не собран, картошку поморозили, птицу протушили, председателем волости у вас сидит кулак Курбатов...

— Мы под него фугас подводим.

— Затем ли вас выбрал народ, чтобы из комбеда устроили вертеп разбойников?..

— Ты во мне дух не запирай! — грохнул кулаком по столу Емельян Грошев.— Я десять годов у кулака в работниках жил, а такого гнета над собой не терпел. Прошу исключить меня из партии ввиду моей причины, как я не прочь от общества, поэтому выхожу, и ты меня лучше не держи! — вытряхнул из шапки на стол измятое заявление.

— И меня не держи! — вскочил с полу мужик по прозвищу Над-нами-кверх-ногами.— Мы и так своей бедностью ужатые... Сократи меня из ячейки, я малоученый и к коммунизму не подготовлен... Весь народ глядит на нас, ровно на зверей, и я не могу переносить всего этого, как местный житель...

— Партия не постоянный двор,— сказал Ванякин, — хотя... насильно никого держать не станем. Партия, она вроде дрожжей...— Он повертел в руках заявление и спросил Грошева: — Грамотен?

— Нет.

— Я, брат, и сам до сорока восьми лет был неграмотным, а революция научила...

— Меня дешевле удавить, чем грамоте выучить,— сказал Грошев, сверля его злым глазом.

— Выучим.

— А выучишь, так я тебя вытряхну из комиссарского тулу-

па и скажу: «Ты иди землю ковырай, а я с портфелем в руке буду круглый год на ямской паре кататься».

— Скажи мне лучше, кто тебе написал эту бумажку?

— Заявление?.. Там, одна...

— А все-таки?

— Ты мне, товарищ, зубы не заговаривай...

— Кто писал?

— Раз, стало быть...

— Кто писал? — Комиссар бросил на стол пудовый кулак. —

Говори!

Грошев посопел и ответил:

— Хозяйка. А тебе забота?

— Да, забота... Вот рассудите, люди добрые, — обратился Ванякин уже ко всем, — надумал человек в трудный час сбежать из партии, и не в нашу семью, а к хозяину с хозяйкой пошел за советом. Они ему и насоветовали, дай им бог здоровья...

Танёк-Пронёк, глядя мимо комиссара куда-то под стол, заговорил:

— Ты, Алексей Савельич, и лаешь нас, а зря... У нас терпенье тоже не купленное. Гоже в городе декреты выдумывать, вам ветер в зад, сидите там, ровно за каменной горой, а гора — мы... В комбеде набедокурили — наш грех, наша слабость... Дисциплина нам и в армии надоела, на мирном положении хочется попьанствовать, побуянить... Заседаешь день, заседаешь ночь, жрать нечего, жалованья ни копейки, ну и — хапнешь, где под руку подвернется...

— Хапнешь? — передразнил его конный пастух Сучков. — Ни стыда, ни совести. У меня родной племянник второй год на фронте страдает, а вы с Карпухой крутнули хвостом, да и домой, тоже вояки...

— Мне на фронте легче было, — строго посмотрел на него Танёк-Пронёк. — Знай стреляй-постреливай, пуля виноватого найдет. А тут что ни день, что ни час: «Дай гусей, дай курей, дай яиц, дай масла, трудповинность, гужналог» — тьфу!.. Да я на фронт бегом побегу, только отпустите меня из этого проклятого комбеда.

— По-моему, — густо, как в трубу, сказал сапожник Пендяка, — Ванякин ругает нас не зря... А которых не только ругать, бить надо... Возьмем Емельяна. Нынче ему хозяйка бумажку написала, завтра хозяин топор в руки сунет и пошлет нам головы тяпать... По-моему, таковым кулацким подхвостникам не место в нашей трудовой компании. Долой! Долой! И долой!

— Он, может статься, шпионить пришел, — зло крикнула солдатка Марья Акулова. — Гнать его!

Грошев нахлобучил на нос шапку, молча погрозил сапожнику корявым пальцем и ушел. За ним поднялся было Над-нами-кверху ногами, но от порога вернулся:

— Простите меня... Я давеча сказал не думаячи... Мне хоть

и страшно быть в вашей шайке, но — я решился, я остаюсь... Кулаков грабить — это правильно, купцов грабить — это правильно. Мы этого сто лет дожидались... Читал раз на базаре мужик книжку про разбойника Кузьму Рощина...

— Иди пока, — махнул рукой Ванякин, — мы тебя со всех сторон обсудим и подумаем, как и что...

Над-нами-кверх-ногами, растерянно ухмыляясь, пятился к двери, приборматывая:

— Я решился, мне все равно, двум смертям не бывать.

Ванякин развернул по столу список хомутовских богатеев и постучал карандашом по столу:

— Итак, товарищи, заседание продолжается... На повестке два вопроса. Первый — хлеб; второй — перевыборы комбеда. Кто хочет высказаться?..

К утру председатели сельсоветов съехались.

Ванякин рассказал про красные фронты, про заграничную революцию: кругом выходило хорошо, но советская власть все же пребывала в тяжелом положении: хлеба не хватало; топлива ни фабрикам, ни железным дорогам не хватало; а саботажу — во, хоть завались. По бумаге он, ярусом накатывая цифры, вычитал, сколько с волости недобрано того, другого, пятого, десятого.

Советчики крякнули:

— Мм-да.

— Последний козон на кон.

— Эдак ноне.

И комбедчики дружно взяли:

— Верно.

— Чего тут жмуриться? С кулаков дерн семь шкур, обростут.

Председатель хмуро:

— Ну, которы удерживайся в рамках.

Ванякин размотал еще одну речь и опять подвел:

— Граждане, надо учитывать критический момент Республики... Попомним заветы отца нашего Карла Маркса, первеющего на земле идейного коммуниста... Еще он, покойник, говаривал: «Сдавай излишки голодающим, помогай красному фронту».

Советчики переглянулись и полезли в карманы за кисетами:

— Надо подумать.

— Культурно подумать.

И комбедчики опять в голос подняли:

— Думай богатый над деньгами, а нам думать не о чем... Давай раскладку кроить.

— Погоди... Нам ваш Карла не бог.

— Хле-е-еб? Вон што?

— Мало?

Сазонт Внуков, дубровинский председатель, встал на скамей-

ку. Разливался звонок, требующий порядка; снова говорил Ванякин, но большинство голов повернулись к Сазонту, разинутыми ртами ловили его распористые, как плотовые клинья, слова: — Крещенье!.. Одно мы знали начальство — урядника... А нынче десять рук в карман тебе тянутся, да десять в рыло... Каково это нашему крестьянскому сердцу?..

Рев

свист

топот...

— Х-ха... Задержали!

— Вызнали в нас дурь-то!

— Урядника вам?

— Хоть в петлю головой...

— Давай раскладку метить, раскладку!..

— Не торопись, коза, в лес, все волки твои будут, — сказал волостной председатель Курбатов, вылезая из-за стола, — по шестнадцать с тридцатки... Слыхано ли?.. Видано ли?.. Под корень хотят мужика валить, — страшно закричал он, ворочая глазами, — дно из нас хотят вышибить... Чего будем жрать?.. Чего будем сеять?..

Солдаток голоса:

— Жеребца мукой кормишь!

— Первый дилектор спекуляции...

— Зачем свиней пшеницей воспитываешь?

— Не кормлю! Кто видал? Докажи!.. Мужик ниоткуда ни одной крошки не получает, отними у него остатный хлеб, без хлеба мужик — червяк, в пыли поворочится, поворочится и засохнет...

— Размочим, — гукнул, как из бочки, сапожник Пендяка.

— ...Засохнет! И вы в городе долго не продышите, передохнете, как тараканы морёны. Все на мужичьей шее сидите... Передохнете, и тору от вас не останется...

— Правильно!

— Неправильно!

— Так, Панфилович, по козырю!

— Верно слово!

— Долой... Долой...

Ванякин вскочил с места:

— Граждане, не могу я этой контрреволюции спокойно переносить... И чего у вас этакий Черт Иваныч в председателях ходит?.. Позор, граждане... На его провокацию о семенном хлебе дам я чистосердечное разъяснение: останутся семена — посеете, не останутся — будьте покойны, власть выдаст, власть, она, товарищи...

— Вот это гоже, — завопил Сазонт Внуков, — жену отдай дяде, а сам иди...

— Благодарим покорно!

— Тише граждане!

Над-нами-кверх-ногами, сбывчившись и зажмурился, тряс нечесаной головой:

— До-ло-о-о-о-о-о-ой...

Заорали, заругались...

И орала и ругались, выходя только за порог до ветру, двое суток.

Все село под окнами слушало.

Выплыло на свет много такого, от чего сам Ванякин ахнул.

Из скупых рассказов татарских и чувашских делегатов удалось уяснить, что главную тяготу разверстки волисполком переложил на глухие деревушки, откуда уже было вывезено по двадцати пяти вместо шестнадцати пудов с тридцатки; там давно люди ели дубовую кору и глину, скотины оставалось по голове на пять дворов, да и та от бескормицы подвешивалась на веревки и дохла.

Списки обложения пришлось пересоставлять сызнова, и на третьи сутки выкачавший весь голос Ванякин просипел:

— Шабаш... Задание дано точно... Разъезжайся по домам, поговорите со своими обществами... Решайте, добром будем делаться или откроем войну?..

Ушел Алексей Савельич на квартиру отсыпаться, но не пришлось уснуть. Следом за ним потянулись кулаки, бедняки, солдаты, вдовы — с доукой, с доносами, с горьким горем...

— Нельзя ли, господин комиссар, хлеба пудик по казенной цене?

— Я насчет мужа узнать... В красных второй год, без вести... Не напишешь ли мне бумажку в Москву? Должны в Москве о муже моем знать...

— Инвалид, разверстку нечем платить, и пахал-то мне тесть.

— За водой ушла, а твои солдаты из печки горячие хлебы вынули да пожрали.

— Муж бьет... Есть ли такой декрет бить законную жену?

— Батюшка, Алексей Савельич, трех сынков у меня германец погатил... Не выдашь ли за них хоть мешок муки гарочной?..¹ С голоду подыхаю, пожалей ты меня, старика...

— Платить неимоготу... Скости, товарищ, яви божеску милость... А мы, стало быть, в долгу не останемся.

— Изоська Шишакин, ярый паразит, хлеб под сараем гноит пудов дваста...

— Солдаты твои, Алексей Савельич, озоруют. Трясуновых девок голых из бани выгнали — утишь ты их.

Ванякин разъяснял, обещал, ругал; писал записки, грозил...

В избу с расцарапанной в кровь рожой прибежал милиционер Акимка Собакин.

¹ Гарочная мука удерживалась за помол и раздавалась бедноте и советским служащим вместо жалованья.

— Дорогой товарищ, прошу вас как идейного товарища, обратите внимание... Проживает у нас на селе девка Аленка Феличкина, никакого с ней сладу нет, отбойная девка, настоящая контра, в ударницах керенских служила, с чехом, сука, жила, самогонкой торгует, хотел я обыскать, а она...

Ванякин вытолкал пьяного Акимку и, приказав хозяину никого в избу не пускать, завалился на горячую печку.

Под крещение в село нагрянул отряд по ловле дезертиров. Разошлись отрядники по квартирам, потребовали поить, кормить их досыта. В том же конце села третью ночь пьянствовал отряд секретного назначения, каковой отряд и сожрал будто у Семена Кольцова годовалого бычка и двух поросят. За день до приезда Ванякина дул несусветный буран, и на село набрела продкоманда по вылову рыбы. Дорога их была дальняя, путь держали на село Шахово — речка там, но заплутались и попали на Хомутово. У инструктора райрыбы Жолнеровича давно печенка смерзлась, из башлыка выглядывало его плачущее румяное лицо, и он несказанно обрадовался, когда запахло кизячьим дымом и теплом.

— Разгружайся ребята, дальше не едем.

— А рыба?

— Будем с рыбой. Сто — двести пудов и тут наловим, я знаю, у них пруд есть. — За месяц до того Жолнерович приезжал в волость реквизировать излишки кожи, саней, сбури.

Рыбу глушили бомбами, колотушками, цедали мордами, сетками, с илом драли. На низу, у старого кауза, мобилизованные бабы и ребятишки сортировали мерзлых окуней, сорожку, шурят.

— Придет весна, покушаем рыбки.

— Не горюй, кума, до весны передохнем все... Ванякин, слышь, последний хлеб отнимать приехал.

— Грому на них, на псов, нет.

— Забыл нас господь-батюшка, царь небесный... Гришка, нака сунь за пазуху парочку, караськи-то больно хороши.

— Старики бают, звезд на небе — и тех меньше стало. Быть беде...

— Бабоньки, а слышали, будто в Марьяновке поп от сана отрекся?.. Напился, матушки мои, налил зенки, да и говорит: «Сейчас пойду Миколаю-угоднику шкалик на шею повешу!» Народ в страхе так и окоченел, а он, бес длинногривый, не будь дурен, возьми да и пойдиди...

Раскрытые рты, глаза по ложке. А рассказчица сыпала и сыпала часто мелким говорком:

— Ждать-пождать — нет, ждять-пождать — нет... Поднялась попадьа и шасть за ним в церковь... А батюшка стоит перед иконой чудотворца сам из себя весь серый... Схватила его попадьа за руку, а рука-то холоднющая-прехолоднющая, закамелела... И сам-то батюшка весь окаменел, прямо как статуя стал.

Вечером по улице шли оттаявший инструктор Жолнерович с милиционером Собакиным. Встретили начальника отряда по борьбе с дезертирством.

— Здорово.

— Наше вам с мохорком.

— Всю рыбу передушили?

— Дочиста. А каковы ваши успехи, товарищ Русаков?

— Дела швах... Дезертиров, что ли, в данной местности нет? Хоть бы одного на смех поймать.

Акимка промолчал... Он дезертиров не пасет, у него своих делов хватает. Инструктор грязным ногтем поцарапал медную пряжку, на которой было выбито «Реальное училище», и не без игривости сказал:

— И чего вы, товарищ, дезертирами интересуетесь, не понимаю?.. Занялись бы лучше самогонкой, здесь ее моря, океаны. В каждом дворе самогонная фабрика.

— Я и борюсь, да не помогает,— подсунул Собакин словцо,— мандат у меня незначительный, милиционер, не бояться ни звания, а вы как человек вполне официальный...

— Уху сочиним,— с восторгом подхватил инструктор,— а? Какого черта в самом деле? Приходите уху хлебать — ерши, окуньки — пальчики оближете! Ну, перед ухой пропустим по наперсточку... Не правда ли, Собакин!

— По наперсточку отчего не выпить?.. Не вино винит, пьянство.

Русаков крутил фельдфебельский ус.

— А как же... дезертиры?

— Бросьте, милейший, никуда они не денутся... На днях из города еще караульный батальон разбежался... Не горюйте, на наш век дезертиров хватит.

— Мм-ма, рискнуть разве разок? — вслух соображал Русаков.

— Тут и думать нечего. Похлебаем ущицы, кувыркнем бутылочку и пойдем на спектакль: мои ребята с просветительной целью ставят.

— Вон дом с зелеными ставнями,— показал Собакин,— Никанора Сулова дом. В бане варит, на нижнем огороде. Я и сам бы закатился на правах милиционера, да с женой стороны неудобство имею, а вы человек проезжий: нынче здесь, завтра там— лафа...

— Сыпьте, милейший, ну что тут такого?.. О борьбе с самогоном и в газетах пишут...

— Ладно,— крикнул Русаков,— иду.

Он набрал из своего отряда десяток самых надежных ребят и пошел с обыском из двора во двор. Из чуланов, подпечей и всяких тайников красноармейцы волокни на улицу и разбивали посуду с самогонкой, самогонные аппараты. Над селом облаком стоял самогонный дух. Пить нигде не пили, а только пробовали, и так на-

пробовались, что не помнили, где кто ночевал. Сам Русаков на ногах держался крепко и все помнил явственно: хлебал уху, плясал казачка, потом тащили его на спектакль; на спектакль он не пошел, а по совету Собакина залился в гости в одну избенку...

В исполкоме только что закончилось совещание председателей сельсоветов. Делегаты рассовывали по кисетам грамотки с цифрами разверстки, подтягивали кушаки на дорогу и ругали Ванякина:

— Загадал загадку!

— Да. Слыхали, говорил «кредический момент», вроде в долг хлеб-то просит?

— Знамо, в долг — без отдачи. Жди от кошек лепешек, от козы орехов.

— Оно и правда, брать да отдавать — одна путаница.

— С нас да с нас... Взять колья да по вилкам их, по вилкам, чтоб и дорогу в деревню забыли.

— Ну, это еще кто кого...

— Мало нас, дураков, бьют...

— Не вешай, парень, голову, не печаль хозяина... Давай-ка закурим на дорожку.

— Лошадей заморили, кой день не кормлены...

Разъезжались по двое, по трое.

Мало уже и народу оставалось, когда в исполком прибежала старуха Кирбитьевна:

— Братушки-ребятушки, чего я вам скажу, не совру... Аленка-то наша комиссарика прельстила, с места не сойти... Целуются-милуются, играют и поют...

Делегаты схватились:

— Бешеный загулял?

— Похоже... Вот тебе и кредический момент.

— Ах, хапуга!

Секретаришка Куньчин заверещал:

— Что же это такое, граждане? Нешто мы будем глядеть? Нешто это порядки? Нашего брата греют, а сами пьянствуют? Нашему брату стаканчик нельзя долбануть, а сами ковшом хлещут? На подобные дефекты, граждане, обратим наше сугубое внимание. Захватим на месте, составим протокол и протоколом этим припрем его, как ужа вилами. Копию в чеку, копию в трибунал, копию в уездный исполком, копию начальнику коммунистов, копию в губпродком...

— Золотая у тебя голова, Куньчин, ущемить его надо... Не захочет он перед всей губернией срамиться, авось, и скостит с нашей волости какую ни на то долю разверстки.

— Ущемить...

— Как?

И заскребли члены в затылках.

Спустя десять минут под окна Аленкиной избы подступил весь президиум волостного исполкома вместе с понятыми. В избе, за занавешенными окнами, было глухо и темно. Осторожно в раму тук-тук:

— Эй, хозяйка!

Тихо, лунно, гневное сопение, снег похрустывал под валенками.

— Хозяйка...

В избе шлепанье босых ног.

— Кто это? Кого черти по ночам носят?

— Дело срочное. Продовольственного комиссара ищем... Он не у тебя тут калачи считает?

— Нету. В глаза не видала вашего комиссара, что он и за комиссар такой.

Под окошками бу-бу-бу и опять в раму:

— Алена, отопри!

— Провалитесь!

— Отопри, не то хуже будет... Ты что деревню-то похабишь?

Голая Аленкина рука отвортила краешек шали, которой было занавешено окно, против луны выглянуло ее белое, ровно в муке вывалянное лицо.

— Полуночники, али вам дня мало? Спокою людям не даете... Не видала вашего комиссара, что он и за комиссар такой.

Курбатов остервенело забарабанил кулаком в раму:

— Отопрешь, паскуда, али нет? Долго с тобой будем рядиться? Признаешь законну власть, али нет? Двери высадим!

Аленка вся высунулась из-за шали и, вздернув рубашку, показала:

— На-ка вот, властитель, выкуси!

Долго бы волостная власть билась в дверь — из дуба литую, — но вот в сенях послышались шаги, загредел отодвигаемый болт. На пороге их встретил, в расстегнутом френче и с наганом в руке... Русаков:

— Вы что разбойничаете?

— Ты, товарищ, убери эту свистульку, — сказал Курбатов, косясь на наган и боком протискиваясь в сени, — мы ведь тоже начальство, хотя и небольшое, а начальство...

Проходили в избу, некоторые крестились на передний угол, рассаживались по лавкам. Понятые кинулись искать самогон, самогону не нашли — недаром же Аленка слыла по селу первой шинкаркой. Секретаришка Куньчин, начиркавший было на чистом листе «Протокол дознания», кинул глазом на Курбатова, свернул бумагу и сунул обратно в рукав.

— Прощенья просим, ошибочка тут вышла... Искали мы бобра, да напали на ясна сокола... Щекочитесь, щекотливые дела волисполкома не касаются.

Брались за шапки и, побрякивая, покашливая, вроде извиняясь, выходили. Аленка провожала немилых гостей. В темных

сенях мужики, кон помоложе, лапали ее. Она по обе стороны хмыстала их по мордам, выталкивала и на прощанье награждала такими словечками, что только — ах!

Русаков вернулся утром на квартиру, к нему подскочил перепуганный старшой:

— Так и так, товарищ начальник, докладываю... Секретный отряд ночью снялся и ушел в степь, в неизвестном направлении.

— Мне-то что?

— А еще докладываю, пропал у нас пулемет и тридцать четыре винтовки.

— Куда делись?

— Не могу знать.

— Ты был пьян, мерзавец?

— Никак нет.

— Немедленно собрать людей.

— Слушаюсь.

Собрал старшой людей, выстроил — семерых не хватало.

— Семерых не досчитываюсь, товарищ начальник.

— Куда делись?

— Не могу знать.

— Ты был пьян, подлец?

— Никак нет.

— Подойди, дыхни.

Дыхнул старшой — изо рта у него несло табаком, портянками, навозом.

Русаков забегал перед строем, схватился за голову:

— Ничего не понимаю... Я спрашиваю, куда подевались винтовки, пулемет, люди?

— Не могу знать.

Правофланговый Косягин ухмыльнулся:

— Должно, с дезертирами убежали, товарищ начальник, окромя им деться некуда.

— С какими дезертирами?

— Дык все с теми же...

— С какими?

— Под боком-то у нас стоял отряд самых секретных дезертиров...

— Как дезертиров? Каких дезертиров?

— Так что не можем знать.

— Чушь какая-то!

— Никак нет, не чушь, а дезертиры.

— Чего же вы меня раньше не предупредили?

Тогда загалдели все разом:

— Я бы и сказал, да не знал.

— И нас уговаривали пристать к ним... Сколько разов подступались, да мы не дураки...

— Конечное дело.

— Мы против советской власти не согласны...

Русаков залепил в морду одному, другому и убежал в избу, бормоча:

— Пропал... За винтовки и пулемет придется под военный суд идти... Ни за что пропал!

Следом за ним вбежал десятник и вручил записку:

Командиру дезерционного отряда т. Русакову.

Доношу хозяин, где вы проживаете, Семен Кольцов, ходит по селу и ведет недоброжелательную агитацию, сиречь сожрали у меня годовалого бычка, две свиньи, овцу, казачье седло, и когда они провалятся в тартарары, ни дна им, ни покрышки вместе с революцией, а также означенный Семен Кольцов нахально не признает советскую власть и предает ее за тридцать серебряников. Мы за нее кровь пред чехами лили, а у него, стервеца, сын в дезертирах, а также сей недостойный гражданин контрреволюционных лошадей укрывает. Нижайше прошу вас и призываю, сделайте с Кольцовым Семеном чего-нибудь циркулирующее, а все имущество, начиная с собаки и возносясь до каурого мерина, передайте в сиротские руки бедноты, босой и голой, холодной и голодной.

Идейный милиционер рабочей, крестьянской гвардии
и армии РСФСР, РКП товарищ *Аким Собакин*.

Русаков разбудил хозяина Семена Кольцова, за ногу сдернул его с полатей, поставил перед собой и запиской милицейской начал в зубы тыкать:

— Ты что же это, дядя, предаешь советскую власть за тридцать сребренников?... У меня пулемет пропал, тридцать четыре винтовочки Гра улыбнулись, а у тебя сын в дезертирах? А ты ходишь по всему селу и советскую власть подрываешь? Разве так честные граждане поступают?

— Господи Иисусе, опять напасть,— протирает старик глаза спросонья.—Тебе, товарищ, чего? Молока? Самогону или, может, щей вчерашних разогреть?

— По твоему молоку — я проволоку... Почему контрреволюционных лошадей укрываешь? Почему...

— Свят, свят... По назлобью, сынок, на меня набрехали. Видит бог...

— Лучше сознайся да отопришься.

— Дозволь, сынок, слово молвить...

До слов ли тут? С дезертирами под одной крышей ночевал, свои люди разбегаются, пулемет и винтовки пропали, хоть и дрянь винтовки, не стреляла ни одна, а придется под военный суд идти...

— Я тебе покажу дезертиров скрывать. Из-за вас, чертей, весь саботаж проистекает. Для начала, согласно постановления губкомдезертир, конфискую я у тебя все хозяйское обзаведенье, начиная с собаки и до каурого мерина включительно, а самого на первых порах упрячу в острог вшей кормить.

И горько заплакал, затрясся старик Семен Кольцов:

— Не губи, сынок, душу крещену, всю правду как на духу поведаю.

— Согласно губкомдезертир...

— Не губи, кормилец, слова не совру.

— Давай похмелиться.

— Мы с хорошим человеком со всей нашей радостью! — Выхватил хозяин из-за божницы бутылку перегону, поставил на стол стаканы.— Кушайте, не стесняйтесь, у нас она не куплена.

И поведал старик Семен Кольцов:

— Секретный отряд вовсе будто и не секретный отряд, а самые секретные дезертиры из деревень Чукчеевки, Нижней Сахчи, Вознесенки и Втулкина. наших среди них вроде и не было никого. Телка у меня годовалого сожрала, двух поросят, и ружьишки ваши они же, будь им неладно, заграбастовали, опричь некому. У пьяных, слышь, разговор был — собираются в степи лошадей у киргизов воровать, вот им и спонадобились ваши ружьишки... Ты пей, сынок, у нас она не куплена, у нас, слава тебе, господи... И верно, товарищ, это разве жизнь? Вчера теленка со двора увели, нынче свинью сожрала, ты вон грозишь по миру пустить, завтра самого к стене... Да-а. А на третий день рождества неизвестный татарин на кауром мерине соли астраханской мешок вез. Наша комбеда его поймала, соль арестовали и поделили члены, отчего в народе был огромный ропот. На того спекулянта, несчастного татарина, за его же соль наложили контрибуцию в сто одну косяку. Он с перепугу и умер в амбаре, а может быть, замерз, бог его знает. Жив был еще, говорил: «Холеру пережил, голодный год пережил, а свободу никак не переживешь». Да-а, остались от татарина сани с подрезами да меринок каурый. Сани бедному председателю достались, а меринок Акимке под верх пошел: скушно Акимке без лошадки — догнать там кого или воды, скажем, бочку, и ту на козе не вкатишь. Ладно. На рождественской неделе нагрнул в село самогонный отряд и прямком шасть ко мне с обыском. Донос, я так думаю. И в уме сроду не держал, какая такая самогонка, и нюхать ее не нюхал, не только что варить. Шарили они, шарили, ну, и... кхе... в чулане нашли будто кадушку с закваской. «Это что?» — спрашивает главный. «Закваска, говорю, ничего вредного, чистый хлеб; праздники на носу — раз, плотников хочу рядить — опять двадцать пять». Главный, ну мальчишка, у него на уме только в балалайку играть, меня за бороду: «Ах ты, такой-сякой, мы в городе собачины досыта не видим, а вы бражничать? Эй, солдаты, бей кадушку, лей барду на улицу». Я и говорю: «Зачем добру пропадать? Лей в корыто, свиньи скушают, а кадушка не виновата. Разобьете у меня кадушку, где я возьму кадушку, сторона наша степная, лесу нет — в зубах нечем поковырять». Отдали мне кадушку. Гляжу, один сыновнюю гимнастерку в мешок сует. «Грабеж, кричу, сын родной Митька с австрийского фронта привез!» А он мне: «Прошу не

оскорблять, теплы вещи Красной Армии нужны. Был такой декрет». — «Неправильный декрет, говорю, сын мой — раненый два раза и на гимнастерку документ может представить». А они свое: «Тепла вещь». Дернул я за рукав: «Хоть рукав да наш, годится бабам чугуны перетирать...»

Весь во власти горестных воспоминаний, старик морщился, плевался, воздымал трясущиеся руки к иконам, богов призывая в свидетели:

— Да-а, хорошо... Только мы с Митькой — он тогда дома проживал — в бане перемылись, попарились, только к самовару подсели, стук-стук в окошко десятник Петра Ворыпай: «Семен Саввич, бедный комитет тебя требует срочно». А до комитету больше версты, я только из бани. Куда я, горячий человек, выпча глаза, на ветер пойду? «Ну его, кричу, и комитет-то ваш к едрени матери». Ушел десятник. Выпил я чаю чашку, другую наливаю. Вот он летит, Акимка, и прямо с разбоем, как атаман Чуркин: «Ты властям не подчиняться? Кумышку гнать? Дезертиров разводить? Все до последнего кола леквизирую». Меня так и перепоясало: разорит, думаю, в корень разорит, чего со псом поделаешь? А Митька и виду не подает, да ему встречь: «Ты, Акимка, не задирайся, и тебя за машинку взять можно, я есть действительный солдат с австрийского фронта, два раза раненый и действительно дезертир, да кругом один, а у тебя, Акимка, не забудь, родной племянник Петька дезертир, шурин дезертир, свояк дезертир». Тут из-за сына и я осмелел: «Мы, кричу, налогу пятнадцать тысяч сдали, четыре воза хлеба за спасибо на элеватор отвезли, вся власть на нас держится, а вы, шаромыги, не только власти, собаке бездомной куска не бросите. У меня на двор каждая палка затасена, грош к грошу слезой приклеен, по солоmine все снесено». Надолго бы нам разговору хватило, да Митька догадался, принес от свата горлодерки четверть. «Давай мириться?» — «Давай», — отвечает Акимка, а у самого глаза, как у базарного жулика, бегают. Хватили по ковшику, хватили по другому, нас и развезло...

Русакова тоже развезло, старика он слушал краем уха. Отчаявшаяся мысль вилась над событиями последней ночи: обыск, уха, пляска под гармошку, Аленка, винтовки... Как ни крутись, суда не миновать.

— Пособи моему горю, лукавый старик, я тебя озолочу...

Но хозяин, навалившись грудью на стол, нес свое:

— Сынок, видишь ты, какое дело... Акимка с братом делится, лесу у него на избу не хватает, а у меня амбар на задах гниет. «Давай, говорит, на каурого мерина менять». Пораскинул я умишком: хлеба большого нет, а ежели и будет — в землю его топтать надо, так и так ни к чему мне амбариска, да и амбариска-то такой, что мышу там повернуться негде. «Меняю, говорю, где наше не пропадало». И поменяли, ухо на ухо. Рассыпал он мой амбар, я каурого меринка в укромное место спрятал. Ладно.

Что ж ты, брат мой, думаешь? На другой день прибегает Акимка: «Где каурый меринок?» — «Амбар мой где?» — «За амбар я тебе по твердым ценам уплачу, а казенного меринка вынь да выложь». «Ищи, говорю, я у тебя никакого меринка не брал». Пошарил он по двору — нет, туда-сюда — нет, на нет и суда нет. Волостному председателю Акимка заявил: «Увели», — а мне пригрозил... И тебя, ангела, он, пес, назузыкал. Я не кулак, я средний житель: две лошадки, две коровы, работников не держу и не держал никогда, сами с сыном хрип гнем... живем ничего, пола полу прикрывает, а за большим не тянемся. Я смиренный, как веник: положь меня к порогу, буду лежать, выброси в сени, буду лежать... Эх, товарищ, грех вам нашего брата, мужика, обижать... Хоть крест с шеи снимай, хоть исподники стаскивай — рук не отведем... Дограбите нас, станем все голые...

— Курвы, — бухнул простуженный голос из-за печки, — кишки из них на скалку выматывать будем...

— Кто там ворчит? — спросил Русаков.

— Тама?.. Кхе, так это ж, должно, сын мой Митька, в дезертирах который, больше там и быть некому... Митька!.. Сы-ын!..

Из-за печки вышел босой, заспанный Митька и, запустив левую руку в ширинку — не одна его тревожила! — правой отдал честь.

Так и так, давно он, Митька, дорывался в Красной Армии послужить, да все случая подходящего не подвертывалось: то хлеб молотили, то свадьба, то в банду его насильно мобилизовали... Теперь решил объявиться, никак в дезертирах невозможно — хозяйству расстройка, тятяше беспокойство и Акимка поедом ест.

Отец затрясся в кашеевом кашле:

— Пропадай он к лешему совсем с каурым меринком... Амбар пусть мне вернет, амбар...

Засунув руки в карман френча, Русаков пробежал по избе и круто остановился перед Митькой:

— Сволочь! — и кулаком сразу сшиб весь сон с его рожи. — Знаешь, чего с вашим братом, дезертиром, делаем?.. А?.. То-то... Тебе, как старому солдату, прощаю... Но ровно через трое суток пулемет и винтовки должны быть здесь! Понял?

— Так точно, понял.

— Вся твою родню оставляю заложниками. В случае чего — шелк, шелк, и дымок в облака. Понял?

— Так...

— Кругом арш!

Митька по-солдатски повернулся через левое плечо, дошел до двери и, заплакав, стал:

— Дозвольте, товарищ, хоть квасу напиться... Да обуться бы, что ли...

С перепугу глаза у Митьки ровно на лубке выбиты.

Ночь по селу — нигде ни гу-гу, не журкнет, не брякнет. Лишь где-где спросонок собака твякнет, вздохнет корова. Уткнувшись носами в закорклые сугробы, черной дремой дремали дремучие избы.

В темной горнице на широкой лавке сидел одетый и в рукавицах Семен Кольцов. По полу были раскиданы овчины, по овчинам в жарком сне разметались ребятишки. Молодуха храпела свирепо и жирно. Семен поглядывал в обметанное ледяной икрой окошко, вздыхал — был он скован бедами, ровно собака репьями. Уши на малахае и те дыбом стояли. Беспokoил храп снохи. Время какое, может, по миру пустят, а она, корова, дрыхнет, и горюшка ей мало. Сунул кулаком под мягкое, обвислое вымя:

— Черт неладный, вставай.

Молодуха как с печки упала:

— Батюшки... Пресвятая богородица... Сон-то на меня какой...

— Понесла без весла... Замолола, дура-надолба... Давай ключ от чулана! Живо!

Шагая через детишек, шлепая босами, тыкаясь сослепу, шарил по стенам:

— И куда его нечистая сила занесла? — Сползала с бела плеча рубаха, волосы путали глаза.

— Одевайся живей, поедешь.

— Куда?

— На кудыкину гору, закудыкала, черт неладный!

(Не спрашивай «куда», удачи не будет; спрашивай: «далеко ли?»)

Старик хлеснул дверью, загремел санным болтом.

Сноха, ровно котят, таскала из чулана на двор пятиришные мешки. Сам укладывал мешки в кованный возок, застилал соломой, рассказывал, куда везти:

— Минуешь Дубовый ерик, и будет на дороге горелый осокорь, где Савку Микитина позапрошлый год грозой убило. Направо дорога, налево дорога, так ты ни по одной не езд, а снорови в развилку попасть, забирай огорком, Сакулиной гривой... Гляди, в дол не спускайся, жеребенка утопишь, мятика... Гривой упорешь сотельника два, тут тебе Лебяжье, Жукова пожня, тальник, гуга — само недоступно место. В ямину сперва соломы погуще натруси. Мешки ставь на-попа, плотнее. Сверху лубьями, дерюжкой прикрой, снежком запуши. Пожню-то Жукова помнишь? Тут тебе лывина, буерак, гуга...

— Помню, батюшка.

— Место заприметь, холера. Лошадь не упusti. Ну, с богом... Вожжи-то держи, дурье гнездо!

Мерзло взвизгнули полозья. Каурый меринок умчал с носом закутанную в тулуп молодайку.

Старик, заперев ворота, отлил, поплевал на пальцы и недовольно крякнул:

— Своему дерьму не хозяин... Свобода... Дожили.

Не раздеваясь, прилег на постель, и только было забылся, в окно тихо брякнули. Семен вскочил: в переплете рамы моталась папаха Антона Марычева. Семен узнал его, но все-таки спросил:

— Кто там?

— Сват, выдь-ка на минутку.

— Пошто?

— Дело есть.

Вышел боковушкой.

— Ты, Антон?

— Я, сват.

— Ты что?

— Да ничего.

Постояли.

— В избу айда, покурим,— пригласил хозяин.

— Некогда.

— Какие тебя дела крутят?

Антон помялся и досказал:

— Мужики у Максима Панкрата собрались, потайное собрание вроде, шут их дери.

— Ну, так что?

— Тебя, значит, зовут.

— Меня?

— Тебя.

— Что за собрание?

— А я не знаю.

— Ну их в прорву...

— А ты иди, сват, иди...— засуетился Антон.— Дело мирское, крепко сердятся которы, иди... Я еще Афанасьева да Поликарпа Лукича позову.— И он торопливо зашагал через улицу.

Максима Панкрата изба полным-полна.

В полушубках, в чапанах сидели по лавкам, по полу. Окна были наглухо занавешены, лампа привернута. Накурили, руки не пробьешь... Собрание еще не начиналось, поджидали кое-кого. Хозяйка качала зыбку; ребяенок, опурившись криком, затихал. Петр Часовня стоял на полу на коленках и вполголоса рассказывал:

— ...Два звонка. Я мешок за ухо да в вагон — нельзя, делегатский; в другую дверь — штабной; я дальше — «Куда прешь, вагон особенного назначения». Три звонка, мое дело хило. Ладно, думаю, смерть, так смерть. Лезу на буфер, сел, ножки свеся. Откуда ни возьмись анчутка, цоп меня за лапоть: «Слазь». Я упираюсь. «Войди, товарищ, в положение, трое суток пресмыкаюсь на вокзале, обовшивел весь; не жулик, не спекулянт, а есть я ходок по деревенскому мытарству». Четвертную сулил, то, се, знать ничего не хочет: «Слазь без литеры и вся недолга». Стащил меня да еще в загровка сунул. Оно, понятно, не больно, а обидно. Нам зуботычины от урядников терпеть надоело. «Ладно, говорю, ма-

шина твоя, земля моя. Езди и езди, а на землю не слазь — моя земля. А как слезешь, тут тебе и башку отшибу на́ разню». Свистнул он, поехал, а я утерся, да и пошел пешечком полтораста верст. «Ладно, кричу, машина твоя...»

Мужики, поблескивая глубокими и темными, как сомяные омуты, глазами, слушали молча.

На печке бабушка Анна трепала лохмотки молитв, баюкала блажного внука и подорожником обклеивала его сочащиеся гноем болячки:

— Не стони, Ванюшка, не стони... Грех, Ванюшка, стонать... Не тешь дьявола, касатик, не стони... За муки-мученские подарит тебе боженька ризу золотую, в пресветлый рай тебя посадят, не стони, голубь сизый...

Побывавший в немецком плену солдат Федор Выгода, припав на корточках, курил перед пылающей пастью голландки и рваным, до дыр заношенным голосом расхваливал немецкое житье:

— ...Знаменитые порядки. Дома один в один, как одного хозяина. Кругом шоссейки, молочные заводы, страхкасы и электричество. В Расеюшке нашей разнесчастной мужик на ногах ходить не умеет, а там, сделай милость, у каждого велосипед, а то и автомобиль. Ты тут целый месяц влачишься в поле на своей лошаденке, а там машина фрррр, в один час все делает. Лошади у немцев, как печки, моют лошадей с мылом два раза в неделю. Обедают, будь то в городе или в деревне, по часам, по звонку. Свиною зарежет — капля не пропадет. Землю разделает, не земля — мука, работать весело. В праздник оденется мужик немецкий чище русского буржуя. Кругом телефоны эти самые и машины, машины, машины, а машина — выгода. С машиной Америка до того дошла, что и работать никому не надо: лежит, слышь, американец на печке, ногу отваяля, нажмет одну кнопку — машина ему спашет, нажмет другую — посеет, нажмет еще — машина хлеб уберет, смолотит и в мешки ссыпет, нажмет...

— Да,—подсказал старик Колухан,—в совете нажмут кнопку, сразу все отберут.

Могучий хохот потряс избу

изба закачалась на корню.

Федор, схватившись за чахоточную грудь, корчился в хриплом кашле. Удары кашля выбивали из него сверкающие лоскутки крови, которые он сплевывал в огонь, а мужики ржали, будто сотни телег катились с высокой горы...

— Прямая выгода...

— Нам раз в день жрать нечего, а все будем лежать да обедать по часам, никакая машина не заработает.

— Ну, кнопка...

— Смехи, пра, ей-богу...

— То-то ты, Федя, и разжирел на немецких хлебах... Гляди, какой стал сочень, зюзяга богатырь...

Колухан:

— Мы сытари веков сохой землю ковыряли, а хлебом своим весь белый свет кормили. Будем работать машинами, кто нас кормить будет?.. Кобыла мне принесет жеребенка — хозяйству прибавление, навозом я землю сдобряю, на лошадке своей и за дровишками съезжу, и на базар, и в степь. Она, лошадка, тварь божья, во всех делах мне помощница и из воли моей не выходит... А машина, она и есть машина: гарь да воль от нее да увече.

— Машина нам ни к чему,— подхватил кудрявый Тихоня,— разбогатеем на машинах, куда станем деньги девать? И еще спрошу, как нам тогда достигнуть царства социализма, ежели Христос заповедывал: при социализме все должны быть бедными?

— А по-моему,— сверкая в полутьме бельмом, как двугривенным, сказал Алеша Сысоев,— жить бы ровненько, не зарываться больно глубоко-то. Ну его, и социализм-то ваш к монаху в штаны.

В избе сидело много и чужих мужиков: то были ходоки из волостей Юрматовской, Белозерской, Санчелеевской, Абдрахманской и еще откуда-то издалека. Держались они сторожко, слова укладывали скупно и бережно, одно к одному.

— Что у вас слышать?

— Одинаково... Щупают почем зря.

— Под метелку гребут?

— До зерна, до мышиноного хвостика.

— Дела мокрее воды... Он, хлеб-то, раз в год родится.

— Куда пойдешь, кому скажешь?

— Народ ходит молчаливый, мученый, ровно с креста снятой. Скоро пахота, сев — ничего и на ум не идет... Руки есть, а ровно оборваны.

— Щель, куда иголку не подобьешь, они бревном распирают... На своем дворе мужик стал не хозяин, все сделались бесовыми работниками...

— Дело какое делают молча, ходят молча, все будто бы потеряли чего.

— Весна придет, с чем взяться?

— Не закон, мужики...

— До Ленина бы еще дойти, потолковать бы...

— Где там, и близко не подпустят.

— Возьми другие губернии, в других губерниях такого грабежа нет... По декрету, слышь, на каждый двор по три коровы выходит. А где у нас они?

— У нас по три кошки нет, не то что коровы.

— Скажи на милость...

— Опять и обмолот был неправильный.

— Жмуриться тут нечего, надо всем миром рывкнуть... Всем-то плюнуть по разу — озеро будет.

— Дда, плюнуть не хитро.

— Что и говорить...

— Так и так, пока сидит над нами эта власть постылая, не видать нам красных дней.

Пришли Семен Кольцов, Онуфрий Добросовестный, церковный староста Агафон Сухинин, Борис Павлович.

— Давай начинай, вся правленья в сборе.

— Жевать тут нечего.

— Верна, Акулина Пелагеевна... Мартьяна разбудите.

Борис Павлович Казанцев облазил за зиму весь уезд, выявил на местах своих единомысленников и сочувствующих, наладил связь между волостями. Почва для работы была благодарная: революция ударила по брюху собственника, проживало по селам немало и толстосумов — горожан, выкуренных из своих нор советской властью, там и сям отсиживались по углам колчаковцы, не успевшие почему-либо отступить с армией. Безобразия, творимые на местах липовыми коммунистами и органами власти, засоренными чуждым элементом, еще более облегчали деятельность Бориса Павловича.

Проговорили всю ночь.

Было решено хлеб попридерживать и начать подготовку восстания.

Под утро, еще затемно, ходоки уехали.

Семен Кольцов заложил жеребца — на хутора погнал, сына Митьку разыскивать.

Сгибли все сроки, отмеренные Ванякиным, добро не вышло. В хлебе отказывать не отказывали и давать не торопились. Села оглядывались одно на другое и с надеждой посматривали на февральское солнце, которое день ото дня наливалось жаром, грозило вот-вот размыть снега и распустить дороги. Правда, кое-откуда и подвозили хлебишко, то затхлый, то в ямах сгноенный, то с песком подмешанный, да и подвозили-то десятками пудов, когда большие тысячи спрашивались. Не выколотив разверстки с Хомутова, нечего было и думать насшибать ее с окружающих сел. До распутицы времени оставалось мало, это понимали и мужики, поглядывающие на солнышко, понимал и город, истекающий призывами.

По волости был пущен слух о новом декрете, которым каждый крестьянский двор обязывался поймать и доставить в райпродком по живому волку.

Мужики взвыли:

— Кум, слышал?

— Знаю.

— По живому, слышь?

— Шутки-баламутки... Блоху, скажем, поймать, и то не вдруг, а это, эка махнули.

Не унывали одни охотники.

Танёк-Пронёк сказал набившимся в комбед мужикам:

— Провокация... Спрашивал я и Ванякина, то же самое, никаких, говорит, волков не надо... А за распространение позорящих советскую власть сплетен с нынешнего дня в пользу культпросвета будем взимать по двадцать пять рублей с каждого сучьего языка.

Из гнезд разоренных монастырей, как черные тараканы, на все стороны расплозились монахи и монашки, сея в темных умах пророчество о царстве антихриста и чудовищные росказни о новоявленных иконах, видениях схимников, о втором пришествии сына божия.

Земля накалялась

село гудело:

— Хле-е-еб... Разве-е-ерстка...

По ночам кто скакал целые воза перепрыгивать, а кто засыпал в квашню последнюю затевку, пока не отняли.

Штались улицей, сбивались в кучки:

— Начисто гребут.

— Без милости.

— Скажи ты, под метелку, до скретинки.

— Амбары охолостят, по дворам пойдут.

— Как хочешь, так и клохчешь.

— Припасли, наработали.

— Мы, гыт, голодны...

— Дармоеды, сукины дети.

— Рабочих мы бы прокормили, рабочих мало... Пожирает наш труд всякая городская саранча, до сладкого куска избалованная, вот что обидно.

— Ни тебе рта разинуть, ни тебе шага шагнуть.

— Это не жизнь, а одна болезнь.

— Так и так подыхать.

Село было похоже на муравейник, в который сунули горячую головню.

На воротах, где жил Ванякин, повесили удувленную на мочалке курицу, в клюв ее была засунута записка: «Не суди меня, Бешеный комиссар, удавилась я по причине огромной яичной разверстки».

В лютое февральское утро, когда снег визжал под ногой, Ванякин повел свой отряд на гумна, в наступление на хлебные крепости. Похлопывая по набитому инструкциями портфелю, Ванякин подбодрял отрядников:

— Не робей, ребята... Так или иначе, но мы должны довести свое дело до победного конца. В своем декрете товарищ Ленин со слезами негодования призывает нас: «Вперед, вперед и вперед с помощью вооруженной силы».

Отрядники — сборная городская молодежь — коротко поддакивали и бодро шагали за Ванякиным с берданками на плечах. За ними, по выбитой корытом дороге, в притруску бежал Танёк-Пронёк и широко, деловито шагал волостной председатель Курбатов.

На гумнах, выше плетней и ометов, были навалены сверкающие пушистые снега.

— Начинай подряд. Чей амбар?

— Прокофия Буряшкина амбар.

Ветер рвал из рук комиссара раскладочный лист.

— Буряшкин Прокофий, сорок пудов... Где хозяин?

— Дома, должно,— буркнул Курбатов,— где же ему и быть, как не дома?

— Васькин, слетай-ка за ним. Самого зови, и ключи пусть несет.

Отрядник Васькин побежал в село, но скоро вернулся, не найдя дома ни ключей, ни хозяина.

— Спрятался.

— Прятаться? Приступи, ребята.

— Пешню надо или лом, прикладом тут не возьмешь,— сказал Танёк-Пронёк, с видом понимающего человека осматривая пудовый заржавленный замок и обитую железными полосами дубовую дверь. Все утро Таньку-Проньку было как-то не по себе, и, желая скрыть это, он суетился, сыпал солдатские прибаутки, красной тряпкой протирал слезящиеся на ветру глаза или выхватывал из-за пазухи вышитый кисет и дрожащими пальцами свертывал сигарку.

Курбатов стоял в стороне, с невеселым равнодушием поглядывая на солдат.

— Что сентябрем глядишь? — крикнул ему Ванякин, поплеывая семечки.

Солдаты засмеялись.

Волостной председатель почесал под черной бородой и не вдруг отозвался:

— Значит, ломать?

— Ломать.

— Умно придумал...

— Что не гнется, то ломать будем... Ни кулаки, ни кулацкие прихвостники пусть на нашу милость не надеются.

— Так, так...

— А твоя какая забота?

— Мое дело десято, не о себе пекусь.

— Не пой лазаря. Иди-ка распорядись насчет подвод, да поживее.

Тяжелый, как грозой налитый, Курбатов ушел и больше не вернулся, а прислал десятского:

— Нету подвод, лошади в разгоне.

Ванякин выругался и послал на розыски подвод отрядников. Гремя прикладами и топая обмерзшими сапогами, солдаты ломились в избы:

— Хозяин!

— Я хозяин.

— Здравствуй.

— Здравствуйте, как не шутите.
 — Лошади дома?
 — Чово?
 — Лошади, говорю?
 — Какие лошади?
 — Запрягай, по приказу Ванякина.
 — Чово?
 — Ну, дурака не валяй.
 — Это ты, товарищ, правильно говоришь: дураки мы, дураки и есть, а были бы умные, не кормили бы вас.
 — Будя, дядя, болтать-то, айда, запрягай.
 — Далёка ли?
 — ...за калёками.
 — Черед не наш, товарищ, мы свой черед отвели, дрова на секцию возили.
 — Лошади дома?
 — Чьи лошади?
 — Твои.
 — Мои?
 — Ну да.
 — Нету у меня лошадей. Одну в Красную Армию мобилизовали, другую украли, постом последняя сдохла.
 — Одевайся, пойдем на двор, посмотрим.
 — Черед не наш, товарищ, мы свой черед...
 — Одевайся, пойдем.
 — Куда пойдем?
 — Там увидишь.
 — Тьфу, истинный господь, ну и жизнь пришла... Иду, иду, не зевай, а лошадей все равно не дам, хошь удавите... Бабы, куда рукавицы-то запропастили? Тьфу, истинный господь, могила...

На дворе мужик запрягал и приговаривал:

— Из оглобель в оглобли... Загоняли... Разве у нас лошади стали? Этих лошадей только на дрова испилить... За неделю из села больше шестисот подвод выгнано... Корм свой, харчи свои, приедешь к вам в город — постоянные дворы разорены, квартиры нет, ночевали намедни на площади, обворовали нас, у кого шлею срезали, у кого тулуп с возу утащили... Полицейские из города гонят, чтоб мы, значит, не мусорили, из села гонят, из избы своей гонят... Ну, ни вздохнуть тебе, ни охнуть.

— Терпеть надо,— поучительно замечал солдат.

— Как такое терпеть живому человеку?

На гумнах гремели разбиваемые замки.

В сусеках темным жаром пламенело зерно. В углах колыхались огромные, как решета, круги паутины. Паутина и пыль крыли ребра бревенчатых стен. Зерном наливали мешок за мешком под завязку, в полутемном пролете дверей дымилась сладковатая хлебная пыль. Разогревшиеся солдаты бегали в одних гимнастер-

ках, и розвальни, крякая, ловили тугие мешки в свои широкие объятия.

Село гудело.

А в исполкоме, ровно в смоляном котле, кипело собрание.

Курбатов надрывался:

— Доколе, граждане, будем пить сию горькую чашу?

Перед исполкомом церковная площадь была запружена народом: солдатки, вдовы, инвалиды — хомутовская гольтьба. Комбед раз в месяц выдавал им понемногу гарочной и жертвенной — от богатеев — муки. Нынче был день выдачи, но еще с утра пронесся слух, что выдавать не будут. В толпе кружились и богатые мужики со своими разговорами:

— Мы последним куском рады поделиться, но, видишь ты, самим животы крутит.

— Уж так крутит, и не сказать.

— Не нынче-завтра все по миру пойдем... Не знай, кто подавать будет.

— Бешеный комиссар последнее дограбит и все в город увезет.

— Крышка, всем крышка.

— А слышали, в волость нову бумажку прислали, кур требуют?..

— Еще того чище... Мы сами мякиной давимся, а их, вишь, на курятину потянуло?.. Гоже.

— Чудак, ваша благородия, а того не понимаешь: пасха жидовска скоро, ну, вот и...

— Упремся, братцы!

— Тут такое дело: или сена клок, или вилы в бок...

Вызванный с задов Ванякин продирался со своими солдатами через толпу. Визгливые женские голоса засыпали его насмешками и бранью. Толпа дышала горячо, бабы размахивали пустыми мешками — злорадно рябила их лица, как ветер воду. В исполкомские окна, будто камни, летели крики гнева.

— Да-а-а-а-а-ва-ай...

— Хле-е-е-ба-а-а-а-а...

На крыльцо исполкомовское вышел Ванякин. За ним — Курбатов. Взметнулся бабий плач, бабий стон.

— Товарищ, подышаем...

— Крайность наша...

— Какие наши добытки?

— Ты хлеб ешь, а он — тебя.

— Мужиков дома нет, куда ни повернись — одна...

— Вмызг уездились...

— Ребятишек пожалей, мал меньша, крупельны. Муж на фронте, а у меня их трое. Старшему шестой год. Куда я с ними?

— Что ему, рылану...

Курбатов махнул шапкой:

— Бабы, прекратите пренья, заткните глотки.

Гам и гул голосов помалу схлынули, затихли...

Ванякин, размахивая одной рукой, а другой неволью расстигивая кобуру, говорил:

— Товарищи, которые бедные, не поддавайся на провокацию кулаков... Хлеба в Хомутове много, хлеб кулаки гноят в ямах, хлеба вам дадим... Но, товарищи, разрешение на выдачу я должен испросить у продкома... Сам распоряжаться, сам раздавать хлеб не могу...

— Аа-а-аа...

— Грабить можешь, а выдавать нет?

— Дай ему!

— ...Советская власть — ваша власть! Советская власть...

Товарищи!

В это время кто-то ударил Ванякина по затылку мерзлым ко- ровым говьяхом, взметнулось множество рук, солдаты дали залп вверх, толпа кинулась в церковную ограду к поленнице, и, кому не досталось поленьев, те выдергивали из плетней кольца.

Была драка.

После драки с исполкомовского крыльца говорил вчерашний коммунист Над-нами-кверх-ногами:

— Мятеж наш законный, давай хлеб делить... Кто не пойдет, тому не дадим ни зерна... Мятеж наш законный, давайте выступать всем миром — нас ни одна пуля не возьмет...

Толпа двинулась на зады, к общественным амбарам. Хлеб делили по три пуда на едока.

На площади остались лежать несколько убитых солдат, сам Ванякин с отрядом отступил на хутора. В Хомутово он вернулся в ту же ночь, поставил к амбарам усиленные караулы.

Через несколько дней в город был послан доклад.

«Ликвидировав в селе Хомутове саботаж, вырвав корни, питавшие массу духом ярости, возмущения и непонимания революционных задач, приходится сказать: мятеж подняла беднота, подло обманутая проклятой кулацкой сворой.

· Столкнувшись вплотную с причинами злостного упора, достигнув источников его и ужаснувшись, приходится подтвердить факт гнусного предательства и, углубляясь еще более в подробности, приходится разжать ненавистью сжатые уста и бросить в лицо виновников слово негодования, презренной краской освещающее истину и клеймящее несмываемым пятном позора выступление кулаков и их подголосков, а также эсеровской шатии-братии, которая где-то здесь трется, но не могу нащупать.

В моем отряде трое убиты, до восьми человек покалечено. Среди населения убиты два жителя, а также мною застрелен председатель волисполкома кулак Курбатов, у которого в рукаве я заметил бомбу, — откуда он ее взял, не знаю. Раненых граждан

учесть не удалось, так как их попрятали. Препровождаю четырнадцать человек арестованных и среди них солдатку Фетинью Полозову, она хотя и беднячка, но дура баба, проучить ее надо.

Население стало более покорно. Все распоряжения советской власти выполняются, хотя и с неохотой. В свободное время созываю к себе на квартиру деревенских коммунистов и бедноту — кто добром не идет, того ташу насильно, — читаю им газеты и разъясняю, кто за что и почему. Приняты все меры, и можно питать надежду, что в коротком будущем отношения умиротворятся, и жители — за кулаков не ручаюсь — жители объединятся в одной общей советской группе, но при условии упорной агитации в пределах партийного ученья и на самых маленьких началах коммунизма.

Подводы мобилизую с окружающих сел. Вчера направлено в город под охраной три тысячи пудов пшеницы, сегодня — три с половиной, завтра посылаю шесть тысяч.

Да здравствует мировая революция!

Алексей Ванякин».

...На заре, когда хомутовские мужики поехали в луга за сеном, когда в печках катался, предвещая оттепель, белый огонь и над избами пушился светлый дым, — над селом взвился страшный бычий рев, перевитый тревожным гудком.

Мальчишки бежали по улице с криками:

— Нархист! Нархист!

Анархистом звали могучего и яростного мирского быка. По лютости своей он был подобен зверю. Держали его взаперти, но не раз в припадке гнева и молодого озорства он рвал ореховую цепь, которой его прикалывали к колоде, ломал изгородь. Вырвавшись на волю, нагонял страх на все село. Ловить его выходили всем миром, буян играючи разметал толпу и, втапывая в землю неувертливых, уносился за околицу, на зеленое приволье лугов. Приплод давал первеющий и жил в большом почете: случилось как-то Анархисту заболеть, и о. Выньямины, подпоенный деревенской молодежью, отслужил в бычьем стойле благодарственный молебен, над чем немало смеялась вся волость.

Прослыша крики мальчишек, сельчане вылетали из дворов и бежали на зады, откуда лился тоскующий и неистовый рев.

— Ну, похоже, опять не слава богу.

— Булгачь народ... Веревок тащи.

По бровке насыпи на подъеме царпался хлебный поезд. Паровоз буксовал, устало отпыхивался, стонал и с таким трудом тащил свой хвост, что продвигался, казалось, не больше одной сажени в минуту. Анархист хмыстал себя по бокам тяжелым, как канат, хвостом с пушистой маклышкой на конце, метал копытами песок и, пригнув до земли голову, со смертельным ревом стремительно бросался встреч паровозу и всаживал могучие рога в

грудь паровозу... Уже были сбиты фонари, обмят передок, но паровоз — черный и фырчащий — наступал: на подъеме машинист не мог остановить. Два рева старались перебороть друг друга и заглушали крики набежавших и суетившихся вокруг людей. Анархист с разбегу ударялся снова и снова... Рога его уже были сломаны, дрожали точеные ноги, ходили взмыленные бока, и морда его была залита кровью, измазана нефтью... Разбежался в последний раз, стукнулся, передние ноги подломились... Испуская последнюю силу страшным ревом, он упал перед врагом на колени, потом медленно рухнул на бок и устало закрыл слипшиеся от крови глаза...

Из-под чугунного колеса брызнула белая кость. Поезд прошел Хомутово, не останавливаясь, — на подъеме машинист не мог остановить...

*В России революция — кипит
страна в крови, в огне...*

Всю сплошную и пеструю¹ строгали морозы. Негреющее солнце плыло в белесоватой мгле, прядало ушами. В ночи горели глазастые звезды, искрились строгой чистоты снега. В степных просторах ветер курил поземкою, дороги опоясывал передувинами.

Сломалась зима дружно.

Дохнуло теплыню, дороги рассопливились, путь рывнул. Закружились, замитинговали шальные грачи, занавоженные улицы умывались лучами, солнышко петухом на маковке дня.

Поплыло, хлынуло...

Фыркающая капелью, ползла масленица мокрохвостая. Из всех щелей — весны соченье. Бурые половики унавощенных дорог исхлестали луговину, обтаяли головы старых курганов, лед полопался на пруду, берега обметало зажоринами.

Село захлебывалось, тонуло в самогоне. Глохтили ковшами, ведрами. Разгульные катались по нижней улице, только шишки выли. В обнимку по двое, по трое, кучками бродили селом, тыкались в окошки.

— Хозявушки, дома ли?

Скрипуче, с сиплым надрывом, с горькими перехватами орала свои горькие мужичьи песни. Пугливую и дикую деревенскую ночь хлестали нескладные пьяные крики и брех глупых деревенских собак.

Подкатило прощенное воскресенье, останний денек, когда все, в ком душа жива, пьют до зеленых сопель, чтоб на весь пост не выдохлось. По-праздничному, с плясовыми перехватами, брякали церковные колоколишки. Разнаряженные бабы и девки расходились от обедни. В выскобленных, жарко натопленных избах за дубовыми столами сидели целыми семьями. Емкие ржаные утробы набивали печевом, жаревом, распаривали чаем с топленным молоком.

¹ К сведению молодых читателей: недели такие были — сплошная пестрая.

Весело на улице, гоже на праздничной.

Солнышко обвисало вихрастым подсолнечником. На пригреве, на лёгкой земле, собаки валялись, ровно дохлые, разморились. Куры рылись в навозе, на обталинах. Дралась петухи-яруны. Лобастый собачонок, пуча озорные гляделки, покотился кубарем под гусака кривошеего, тот крылом по луже и в подворотню.

— Га-га-га...

На обсохшие завалинки выползли старики с подогами, укутанные по-зимнему, в шапках, похожих на гнезда галочки — нахохлились, греются, дружной весне дивуются.

Ребятишки в масленице, как щепки в весенней реке... Рунястые, зевластые, прокопченные зимней избяной вонью, с чумазыми, иссиня-землистыми рожцами, они вливали в уличную суету кипящий смех, галчинный галдеж...

— Ребятёнки, ребятёнки, тяните голосёнки, кто не дотянет, того еееээээээ, аа...

Дух занялся, глотку зальнуло...

Крики:

— Есть его! Есть!

На белоголового и шабонястого, будто птицами расклеванного, парнишку набрасываются всей оравой и кусают.

По улице шеметом стелются зудкие, шершавые лошаденки в погремках, в праздничной наборной сбруе.

— Аг-га-а... Ээ!

— Качай, валяй...

— Наддай, Кузя.

— Ффьфьфью!.. Тыгарга матыгарга за зádоргу но-го-о-ой...

Шапку Кузька потерял, только башка треплется кудрявая, как корзинка плетеная.

— Рви вари!

— Ххах!

У прогона через жиденюкую загородку палисадника, в рыло огурцовской избе, в окошко запрягом — ррах, зньнь...

— Гах... По-нашему...

— Завернул Куземка в гости. Хо-хо-хо-хо...

Обедали братья Огурцовы, побросали ложки, сами за ворота, вчетвером, с поленьями, с тяпкой — туча.

А Куземка

через сугробы

через навозные кучи

под яр

за мельницу...

— Го-го-го!..

Только его и видали. На хутора ударился, к полещику. Не кобыла под ним — змея, всю зиму на соломе постилась, а на масленицу раздобрился хозяин: каждый день Буланка пшеничку хропает.

Девки

бабы

парни

мужики

ребятня.

Крики, визги, хрип утробный, в ливне смеха — ор, буй, гик, гульбище, село на ноготках, кудахтали гармонии.

— Молодой пока, не жалей бока!

— Ха-ха-ха...

— Пррр, держи!

Шапка сшиблена, трут снегу в волосы: молодого солят.

Аксютка Камаганиха в шибле из розвальней через наклеску, подол на голову, сахарницей в сугроб.

— Эх, язви те, дрюпнулась колода!

— Жигулевский темный лес...

— Ромк, Ромка!..

— Крой, бога нет!

Рванул жеребец, улетел Ромка. За ним всем тулаем в мордовский конец ударились, погамузились у церкви да кишкой — перегоняя друг друга — хлынули назад.

Хари, рожи, лица молодые, мордашки, пылающие, нахлыстаные ветром, — огневые, смешливые, бесшабашные, хохочущие, гульные, пьяные... Залепленные комьями навоза и снега бороды, шапки на затылках, ветер в чупрынах... Челеном по улице — бабы платки, полушалки небесного цвета, огненны, всяки... Поддевки, полушубки, подергайчики, полупердени... Тройки, пары, запряжки, возки, розвальни... Нарядные парни, нараспашку, цветные рубашки в глазах мечутся... Напоенные допьяна девки раскалываются припевками, а гармонь торопливо шьет: ты-на-на́, ты-на-на́, ты-на-на́...

За день солнышко сосульки обсосало, к вечеру захрулило, подсохли лужи, загрубели ноздреватые сугробы, день уползал, волоча пылающий хвост заката, выкатились звезды по кулаку.

И весельба уползла в избы.

...В печке пляшет пламя. От хозяйки — блинный дух. Лицо молодой хозяйки как солнышко красное, в масло обмакнутое.

Угар

чад

треск

шип

стук.

В чистой просторной половине гостёбище — половодье, содом, ярмарка, гвалт несусветный.

— Пей, сватушка, пей!

— Ван Ваныч...

— Ык... Я е!

— Опять и обмолот, зарез.

— Дарьюшка, голубушка...

- Ыык... Я е!
- Врут, покорятся.
- Али в них душа, а в нас ветер?
- Отрыгнется мужичий хлеб.
- С кровью отрыгнется...
- Ах, куманек!

Чмок, чмок.

Иван Иванович горько сморщился, махнул рукавом новой гремучей рубахи:

- Дай срок, и мы с них надерем лыка на лапти.
- Аахм... Терпежу нашего нет!
- Кищав, не корячься!..
- Передохнут кои, на всех и земля не родит.
- Тятя, думать забудь.
- Зна... Хо-хо... Баяно-говорено...
- Почтенье тебе, как стоптанному лаптю.
- Догнал я офицера да шашкой по котелку — хряск!
- О, господи!
- Ешь, сват, брюхо лопнет — рубашка останется.
- Хрисан-то те сродни?
- Как же, родня, на одном солнышке онучи сушили.

На столе блинов копна. Щербы блюдо с лоханку. Рыбы куча — без порток не перепрыгнешь. Пирожки по лаптю. Курники по решету. Ватрушки по колесу. Пшенички, лапшенники в масле тонут. Сметаной и медом хоть залейся. Пар в потолок... А самогону самые пустяки, высосали.

- Сухо...
- Не пеки мою кровь...
- Га-хо-хо...
- Хозяин, сухо!
- Дом у него, как вокзал, на все стороны окошки... А кони, кони, как ключи, — не удержишь! — один другого давит.
- Сынок, ни в жисть...
- Ну?

— Брали мы Киев город... Батарея-то как начала садить по святым угодникам... Во, бат!

— Так и так, говорю... Машина, говорю, твоя, земля — моя. — Петр Часовня разглаживал по столу бумажку, ровно молниями исхлыстанную чьими-то резолюциями.

Над столом рожи жующие, плюющие, распаренные, лоснящиеся, осовелье... Буркалами ворочают туда-сюда... Растрепанные, спутанные волосы, рыбы кости, соленая капуста и лапша в бородах... Разговоров — на воз не покладешь, на паре не увезешь.

- Сват, кровя одни...
- На дочь зятем Топорка приму.
- В улоск ряск. В зэхлест арканят.
- Месь думат.

— Сроднички, ешьте, пейте.
— Дай бог не грех.
— Корова?.. От печки до стенки, три сажня...
— Давай менять... У меня — зверь, не лошадь. Воз враскат не пустит, ни-ни, по гребешку, как щука, промызнет.

В глотке: урк, урк, урк...

Бах — в ворота.

На дворе взорвался, посыпался собачий лай.

— Отец, выдь на час.

Над двором висит луна, как блин поджаристый. На дворе холодно, синё, звездно, хоть в орел играй.

— Тестюшка...

— Пррр...

— ...мать.

— Не хочу ехать в ворота, разбирай плетень.

— Х-х-х-х-х...

— Живем, ровно в бирючьих когтях.

Чмок, чмок, чмок...

— Брось, Лёска распряжет, йда!

— Канек-от...

— Йда, черт не нашей волости!

Кряк в два обхвата.

В дверь лезет сват:

— Маслянца, што ты не семь недель...

В избе густо плещется тяжелый гам, вихрится песня, дребезг бабьего визга кроют, нахлобучивают баса.

— А-ха-ха... плохо петь — песню гадить.

— Сухо! Чем дышим?

— Вашу в душу...

— Мерси покорно.

— Раздевайся, тестюшка.

Рукавицы-то на тестюшке по собаке, шапка с челяк, тулуп из девяти овчин. Умасленная башка космата, ровно его цепной кобель рвал. Румяный, нарядный тестюшка, как бывальшный пряник городецкий. В прищуренном глазу плясала душа пьяная, русская — мягкая да масляная, хоть блин в нее мажай. Довольнёшенек, дрюпнулся на лавку, лавка под ним охнула.

Разит самогонкой, овчинами, горелым маслом. Поминутно хлопают дверью — приходят, уходят. Ребятишки на полатах свои, у порога чужие. Шебутятся они больше всех.

Визг

писк

хих

гом.

Гудят пьяные голоса. Обмяклые выкрики, приговорки, рык, хохот, матерщинка-матушка, дрель пляса.

— Гуляй, Матвей, не жалея лаптей!

— А-ахм, мать пресвятая богородица...

- Нашел — молчи, потерял — молчи!
- Перетерпим, передышим!
- Ешь, блин не клин — брюха не расколет!
- Все наши нажитки...
- Полведерка, у Митрофанихи... Сергунька, слётай.

Сергунька с перепоею: рожа красная, как венниками нахлыстанная. Навалился грудью на стол, огурцы хряпает, за ушами пищит. Широкий парень, топором тёсан. Могучая багровая шея была обметана искорками пота. В кулаке зажаты золотые часы — в них Сергунька каждую минуту заглядывает, узнает который час.

- Сергунька... Полведерка, к Митрофанихе.
- Давай... — От нетерпенья сучит пальцами. — Давай!
- Звяк бидоном, шорок в дверь — и нет Сергуньки.
- Свое-то жалко, убей не отдам.
- Учат нас, дураков.

Косы, космы, платки, волосники, полушалки, юбки пузырятся... Рубашки вышитые, красные, сиреневые, в полоску, в искорку, с разводами, а гармонь рвет: ты-на-на́, ты-на-на́, ты-на-на́...

— Аленка, аряххни!

Аленка — гулящая девка. В другое время ее и в избу бы не пустили, а в прощенное воскресенье — вот она... Красава, румянец через щеку, гладкая — не ущипнешь, коса густая, как лошадиный хвост. Платице поплиновое оправила, рассыпала каблуки. В пятках ровно пружины, всю ее сподымья бьет, ну — ядро, буярава! Прошла раз и Феклушка, хозяйская дочь: рожа рябая, рот до ушей — теленка проглотнет, уши торчком, спина корытом, шея тоненька, хоть перерви, верблюд — не девка. Прошла раз, да и отстала, куды...

Пойду плясать,
Прикушу я губку,
Комиссарские штаны
Перешью на юбку.

В пару Алене вышел дезертир Афоня Недоёный. Форсисто одернул лопнувший по швам, выменянный на картошку фрак. Из-под фрака — вышитая рубашка, огневой запал. Что есть силы огрел себя по ляжкам, фыркнул, заржал и в пляс.

— Э-э-э-э-э, шпарь, Аленка!..

Загудела старая раскольничья изба, застонали матицы... Пол гляди-гляди провалится... Из-под лакировок — дым... Мальчишки в визге, со смеху того гляди пупы развяжутся.

— Гоп, гоп!.. Рвай-давай!..

Афонька зубы лошадиные оскалил, накатило на парня, взыграла окаянна сила, цапнул Аленку за грудь:

— Яблочко, медовой налив!

Глянула девка, ровно варом плеснула:

— Не замай!

А ну, ходи, потолок,
Дрыгай, потолочина,
Коммунисты, не форсите,
Пока не колочены...

— Дуй, Фонька!

— Ух, ух!..

— Распахнись, душа! Пошла, Аленушка!

С улицы по окошку: динь-нь... дзень-нь...

Собаки кинулись.

— Бей, можжи!

— Бабоньки...

Бабы шарахнулись от окошек.

— Девоньки!..

Дзень-нь...

С улицы чья-то черная рука стала выдирать раму.

— Матушка... За нашу добродетель...

— Где топор? Сватушка...

Дверь расхлебняли.

Кому надо, вывалились в сени, на двор. Наскоро похватили чего под руку попало и на улицу.

На завалинок упал на колени Танёк-Пронёк и неверными, вихлявыми ударами крестит колом рамы, рычит:

— Пряники-то съела, а ночевать-то не пришла?.. Празднички, гуляночки?.. Отродье ваше...

— Дно вышибем!

— Бей, сватушка, бей, чтоб не жил!

— Глуши!

Хрясть

хлобысть

хмысть

буц

бьяк

чак

хмок.

Пинками Танька-Пронька катили от порядка до самой дороги.

Улицей, как нахлыстанный, бежал Степка Ежик и вопил:

— Гришка... Микишка... Наших бьют!

На крыльцо поповского дома выскочил дежурный красноармеец ваянкинского продотряда, послушал крики, пальнул разок из винтовки вверх и, закулив, вернулся в горницу.

— Чего там? — спросил Ванякин с полатей.

— Драка, пьяные...

Продотряд был разбросан по волости. В Хомутове с комиссаром оставалось четыре человека.

Не успел дежурный докурить сигарки, как поповский дом был окружен грозно гудящей толпой.

— Со двора, со двора заходи, чтоб не убежали, — слышались голоса, — огня давайте!

«Восстание,— подумал Ванякин, спрыгивая с полатей, зубы его ляскнули.— Пропали!».

За окнами — головы в шапках и без шапок, над головами — кольца, вилы, косы, дула охотничьих ружей...

Из распахнутых пастей лился слитный рев!

— Сдавайся!..

— Выходи, кармагалы, на суд-расправу!..

— Попили-поели, пора и бороды утирать... Сдавай оружие!

Ванякин выдвинул из-под кровати ящик с бомбами и сказал:

— Ребята, умрем героями...

Из темных окон поповского дома засверкали выстрелы, полетели бомбы. А дверь уже гремела под ударами топоров, и через минуту — сопящие, воющие, — как прорвавшаяся вода, хлынула в дом.

За ноги, за волосы продотрядники были выволочены на улицу и злой казнью расказнены.

Лунная ночь застонала набатом

волесть понесла, как развожженная лошадь.

К церкви набегал хмельной народ.

Борис Павлович с паперти произносил речь, выговаривая слова громко и четко:

— Комиссарская власть сгнила на корню... По всей нашей великой многострадальной стране комиссарская власть тает как свеча и вот-вот рухнет... От лица славной партии социалистов-революционеров приветствую восставший народ!..

— Ура-а-а-а...

— Долой!

— Никаких ваших партий не надо, хлеба не троньте!

— Будя, наслушались... Партии нужны были при царе, а теперь вся власть должна перейти в крестьянские руки.

— Тише... Просим, просим!

Борис Павлович продолжал:

— ...Основной смысл революции — торжество лучшего над худшим, передового над отсталым, торжество созидания над разрушением... Большевики размахивали косою диктатуры слишком широко... Они обкашивали не только сорную траву вокруг кустов малины, но зачастую подсекали и самоё малину... История, вслед за самодержавием, осудила и комиссародержавие... Поток времени отныне и навсегда поглотит всех больших и маленьких деспотов... Наша партия есть единственная верная защитница интересов трудового крестьянства!.. Мы десятками лет боролись с коммунистическими бреднями!.. Мы — за социализм разумный и выгодный для большинства трудового крестьянства и лучших рабочих!.. Выборы в Учредительное собрание доказали, что народ верит нам!.. Граждане и братья, я вас призываю...

Гудел набат, злоба в силу входила.

— Будя языком молотъ, надо дело делать, — кричал Афоня Недоёный, размахивая винтовкой. — За мной!

Митинг был сорван, народ хлынул за Афонькой.

На краю села, расположившись в нескольких избах, вторую неделю стоял заготовительный отряд московских рабочих. Изголодавшаяся мастеровщина с охотой бралась за слесарную, жестяную, лудильную и всякую другую работу, а потому, когда захваченный врасплох рабочий отряд сдался и был обезоружен, убивать их не стали, а легонько, для порядка, поколотив, заперли в холодный амбар, куда утром жалостливые бабы понесли им хлеба и молока.

Всю ночь над церковной площадью качались саженные костры: жгли волостную библиотеку и дела совета. Шайками шлялись по селу, вылавливали своих коммунистов и комбедчиков. Степку Ежика поймали на гумнах и убили. Карпуху Хохлёнкова оторвали от жены с постели, вывели во двор и убили. Конного пастуха Сучкова, захлеснув за шею вожжами, макали в прорубь, пока он не испустил дух. Сапожнику Пендяке наколотили на голову железный обруч, у него вывалились глаза. Акимку Собакина нашли в погребе, в капустной кадучке. Дезертир Афоня Недоёный рубил его драгунской шашкой, ровно по грязи прутом шлепал, приговаривая: «Вот вам каклеты, а вот антрекот». Зарыли Акимку в навозную кучу, он раздышался и уполз домой. Прослыша про то, Недоёный явился к нему на квартиру и, сказав: «Ах ты, вонючка», — оттяпал ему голову напроць. Танёк-Пронёк засел с карабином в бане и отстреливался до утра. Баню подожгли, но в суматохе молодому кузнецу удалось скрыться: спустя неделю он объявился в дремучих урайкинских лесах со своим партизанским отрядом.

Кругом — через леса и степи — по всей крестьянской земле призывно гудел набат, плыли облака багрового дыма: горели деревни, хутора, коммуны, совхозы...

...Хлеб

разверстка

терпежу нашего нет...

Кругом — через леса и степи — стлался вой разбушевавшейся стихии, деревни взвивались на дыбы, бурно митинговали и выносили приговоры:

...Хлеб придержать

разверстка неправильна

долгой коммунистов!

Из села в село, от дыма к дыму скакали ходоки. Церковные площади ломились от народа. Бородатые ходоки стаскивали шапки, кланялись миру на все четыре стороны:

— Православные...

На корню качались и трещали голоса.

В чистый понедельник в Хомутово нагрянула шайка дезертиров. За матку у них ходил Митька Кольцов. Рваные, одичавшие от постоянной тревоги, — всегда их кто-нибудь ловил, они кого-нибудь ловили, чтобы убить, — с ободранными винтовками за плечами, они цепко сидели на уворованных калмыцких лошаденках и пропащими голосами распевали:

Дезертиром я родился,
Дезертиром и помру..
Расстреляй меня на месте,
А служить я не пойду...

Митька Кольцов яростными речами возмущал народ.

В самый разгар митинга прискакал на взмыленном жеребце белоозерский прасол Фома Двуряусный и стал просить у схода помощи: под Белоозерской восстанцы вторые сутки дрались с карательным отрядом. Фома, страшно выкатывая глаза, крепился на церковь, рвал волосатую грудь и, отирая шапкой мокрое от слез лицо, хрипел:

— Бьют!.. Жгут!.. Дай помощи, православные!.. Не подсобите, и вам завтра то же будет... святая икона... Выручайте, братцы!..

Хомутовская и Белоозерская волости рядом — переженились, перероднились, завязали кровь узлом. Помощь дать страшно и отказать в помощи нельзя.

— Поможем, чем можем.

— Помочи, как не помочь, да ведь с голыми руками туда, брат ты мой, не сунешься?

— Чего там рассусоливать?.. Наряжай охотников. Все мы люди, все человеки... Надо по-божески...

— Пускай молодые идут.

— Молодые! Молодые!

В помощь белоозерцам поскакал Митька со своими галманами, и еще набралось желающих подвод с полсотни.

Карательный отряд был разбит и рассеян. Хомутовцы вернулись с победой, привезли с собой захваченных в плен людей, лошадей, пулеметы, два орудия. Село встречало победителей с иконами, слезами и криками радости.

— Высыпали?

— Высыпали, сват, за милую душу...

— Попала собаке блоха на зуб!

— Сила наша... Мужик, он, его только растрави...

На селе много говорили о геройстве Митьки Кольцова, который первым бросился в атаку и зарубил двух пулеметчиков.

Из города на подавление восстания были высланы два отряда. Меч террора сгоряча бил без разбора, направо и налево, что вызвало в гуще деревень новый взрыв озлобления. Оба отряда скоро были уничтожены, это еще более подняло дух мятежников.

Движение охватило значительные районы Заволжья и отсюда грозило перекинуться в соседние губернии.

По волостям Клюквинского уезда штабом повстанцев была объявлена мобилизация всего мужского населения от восемнадцати до пятидесяти годов. Приказ о мобилизации вычитывался в церквах, на площадях и общих сходах. Кузницы работали день и ночь. В кузницах ковались копья, дротики, крючья и багры, которыми и вооружалось чапанное войнство. Из потаенных мест были извлечены дробовики, обрезы и привезенные с царской войны винтовки. Купец Степан Гурьянов подарил еще его дедом выкопанную из земли медную пушку, на жерле которой славянской вязью был выбит 1773 год.

В татарах появился синебородый праведник Камиль Кафизов. Разъезжая по деревням и улусам, он неутомимо славил аллаха и его единственного пророка Магомета, призывал мусульман на борьбу с русскими. Праведника сопровождали коренные жители и кочевники, жаждавшие послужить богу и пограбить. По пути к ним приставали все новые и новые всадники...

— Бисмилля... рахман рахим... Облоу аккы бар...

Программа правоверных была пряма, как истины корана:

— Русский церыква — канчам!.. Шапка со звездам носишь — канчам!.. В мучейкам¹ служишь — канчам!..

В Березовской волости татары сожгли сельскохозяйственную коммуны и сорокинские хутора — порезали много народу, занасиловали досмерти несколько женщин, угнали скот. В деревне Зяббаровке удавили учительницу. В Юрматке поймали двух отпущников-красноармейцев, торговца-мелочника и инструктора лесных заготовок — перевязали витыми из верблюжьей шерсти веревками, разложили по улице, скакали по ним на лошадях и, изрубив, бросили своим вечно голодным собакам.

Митька Кольцов, к тому времени на съезде пятнадцати мятежных волостей выбранный командующим, вызвал есаула Ваську Бухарцева.

— Даю тебе, Васька, Ново-Козалинский крестьянский полк... Поезжай, пугни татарву, спокою от них, от чертей гололобых нету!.. Прижми ты им хвост, пощекочи пятки, а за неисполнение настоящего в боевой обстановке, будь покоен, — хлопну!

— Я их достигну! — сказал молодой есаул, играя желваками. — Я им докажу, до второго пришествия помнить будут.

Ушел

уехал

ускакал Васька.

Над уездом из края в край волной ходил народ, по дорогам мотались разъезды, скрипели обозы с фуражом и хлебом. Над деревнями стоял вой и плач, от деревни к деревне скакали сотни подвод, шли вооруженные толпы.

¹ В ячейке.

- Э, эй, чьи будете?
- Мы — дальни.
- А все-таки?
- Глебовски.
- Ну, как у вас?
- Шумим.
- Наворочали делов?
- Ох, наворочали... Не пришлось бы узлом к гузну!
- Не робей, на миру и смерть красна.
- Что будем делать дальше?
- А не знай...
- И мы не знаем.
- Та-а-ак... Куда поднялись?
- В Хомутово.
- Поедем одним гужом, мы тоже в Хомутово... Авось, там чего-нибудь да узнаем.
- Али и впрямь теперь без коммунистов жить будем?
- Нам все равно... Царствуй хоть черт с рогами, только бы нас не трогал.
- Что и говорить, все жилы вытянули.
- Ох, мужики, плачем мы в горсть, не заплакать бы нам в пригоршню...

В Хомутове заседал штаб восстанцев.

Сын местного врача, он же прапорщик военного времени, Петр Журавлев кипятился больше всех:

— Нам не удержаться, — скороговоркой сыпал он, бегая по залу и похрустывая суставами пальцев, — мы захлебнемся и пойдем на дно... У нас нет тыла, нет отдела снабжения, нет единого командования, нет единой воли, направляющей гнев народа... Мы будем разбиты и бесславно погибнем, я это заявляю, как человек военный...

— Полноте вам, прапорщик, панику разводить, — обрывал его Борис Павлович. — Наши силы неисчерпаемы, наш тыл — вся страна. Предаваться несбыточным мечтаниям о том, что Хомутовская волость возглавит всероссийское движение, преждевременно. Наша задача проще — взять город и очистить уезд от красных. Город ослаблен мобилизациями, самые верные слуги комиссародержавия угнаны на фронт. Карательные отряды нами разбиты. В городе осталась жалкая кучка защитников, мы их опрокинем и затопчем. Город будет наш...

Член штаба, богатый хуторянин Нелюдим Гордеич, известный по всей волости как большой знаток библии и великий молчальник — жил на людях, а по годам рта не открывал, — вдруг сказал:

— Город — покоище змеиное, сжечь надо... Сжечь, чтоб и пеньков не осталось, а землю эту перепахать.

— Повстанческую армию, — продолжал Борис Павлович, — предлагаю разверстать на полки, каждый полк прикрепить

к своему селу, чтоб село и снабжало полк продовольствием, фуражом, подводами, подкрепляло людским и конским составом...

Голосов одобрительный гул:

— Это как есть, в самую точку...

— Поддерживаем, Борис Павлович, дуй дальше.

— ...в уездном исполкоме, в продовольственном комитете, в военном комиссариате и кое-где по другим осиным гнездам сидят наши друзья: они пересылают мне в штаб всякие секретные сведения... Но друзей этих мало. Необходимо наладить постоянную сеть разведчиков. Время не ждет. Сейчас же предлагаю избрать начальника по разведке и поручить ему не позднее сегодняшнего вечера выслать в город человек десять, людей расторопных и смысленных, для работы по шпионажу и агитации в частях Красной Армии... Прапорщик, не взялись ли бы вы за это дело?

— Я? Нет-нет! Поймите, не могу. Я революционер. Шпионаж? Кровавые тайны? Убийство из-за угла? Не могу, избавьте! Рук не желаю марать... Я лучше умру в рядах народа, хотя предупреждаю: у нас ничего не выйдет.

Густое молчанье.

Члены штаба, вздыхая, поглядывали друг на друга... Наконец Нелюдим Гордеич перекрестился и сказал:

— Берусь.

— Вот и отлично. После заседания останемся и потолкуем... Следующий вопрос — организация крестьянского трибунала.

— Долой! — выкрикнул молчавший до сих пор Митька Кольцов. — Нам трибуналы и при коммунистах надоели... Слышать этого слова спокойно не могу, нервы в голове расстраиваются. По-моему, избрать при каждом полку палача, жалование ему хорошее назначить, и пусть орудует. Так ли я говорю, мужики?

— Так, так, — хором отозвались члены штаба.

Журавлев вышел в сени воды напиться и — пропал.

Все смутное время прапорщик отсиживался в глухом углу уезда, у знакомого лесника Казимира Стефановича: стрелял тетеревов, зайцев, занимался гимнастикой, ухаживал за дочкой лесника, сероглазой панночкой Бориславой.

В Хомутове гуляли дезертиры.

Село ходуном ходило от пляса, рева, свиста...

На Вязовку наступали
Красны неприятели,
Да зеленые герои
Их назад попятили...

Митька торопливо, обливаясь, хлебал мясные щи; солил круто. Борис Павлович водил карандашом по расчерченной флажками и крестиками карте и, под рев двух гармошек, докладывал командующему:

— Сожжен Бутурлинский райпродком. Под Марьевкой отбит гурт скота в шестьсот голов. Восстали и прислали ходоков волости Дурасовская, Старо-Фоминская, Преображенская и Лебедевская. Вчера на рассвете в Кунявинском районе уничтожен продотряд Саломатина. В Горюновском лесничестве подожжены лесные склады. Из Сулинского кооператива все товары бесплатно розданы народу. Полком Гололобова занята станция Поганка, взорвана водокачка, взорван мост через реку Размахниху. По волостям разослан приказ с требованием выслать от каждого села по два ходока на колчаковский фронт...

— Стой,— Митька рукавом отер жирные губы и отложил ложку,— какой приказ?

— Вы, Дмитрий Семенович, сами вчера подписывали... Приказ номер пятый.

— Верно,— подтвердил сидевший рядом Гаврил Дюков,— был такой разговор в народе: послать делегатов на фронт.

Митька задержал подозрительный взгляд на начальнике штаба:

— Нам Колчак тоже не отец родной.

— Вы не понимаете, Дмитрий Семенович...

— Я все понимаю.

— ...ходоков мы посылаем не к Колчаку, а на колчаковский фронт. Будем просить красноармейцев, как истинных сынов своего народа, повернуть штыки и помочь нам в борьбе с коммунистами и советской властью, а потом... потом мы и с Колчаком воевать станем. Чего на него, шкуру, глядеть.

Командующий тряхнул нечесаной головой и пьяно рыгнул:

— Ничего не помню, был я вчера сильно клякнущи...

— Ходоки...

— Черт с ними, с ходоками... Давай разворачивай план театра военных действий.— Вдруг он вскочил и грозно заорал: — Будем мы на город наступать, али нет? Собрал ты мне, начальник штаба, людей, али нет? Я есть командир крестьянского народа...

Уже привыкший к крутому нраву командарма, Борис Павлович достал из кожаной сумки и развернул заготовленный приказ с точной росписью, по каким дорогам, какие полки и когда должны выступать.

— Вот план наступления, Дмитрий Семенович.

Митька выпил ковш огуречного рассола, мельком заглянул в мелко исписанный лист и, скомкав его, бросил к порогу мучникам под ноги.

— Никаких планов не надо, криком возьмем!..

С новой силой грянули гармонисты:

Дезертиры, в ряды стройся,
Красной Армии не бойся...
Заряжайте пистолеты,
Разбивать идем советы...

Митька — дурной и бледный от множества бессонных ночей — подогревал сердце пьянкой, плясал вместе со всеми и, размахивая обнаженной шашкой, отчаянно орал:

— Друзья, все пожжем, покрошим!.. С нами крестная сила!.. Я есть командир крестьянского народа... Я вас призываю: пей, гуляй, чтобы люди завидовали!..

— Ура-а-а!..

— Крой напропалую!

— Эх, городок, посчитаем мы тебе ребра, дай срок!..

Хмурые, сердитые явились старики, вызвали Митьку в сени и начали урезонивать:

— Стыдобушка, головушка... Эдак народ мучится, эдака кругом страсть, а ты гуляешь?..

— Затем ли тебя, сукин ты сын, выбрали?

— Не дело, не дело затеял...

— Поддержись, Митрий, время страшное... Восстанцев наехало тысяч двадцать, по селу ноге ступить негде от народа, все ждут твоего слова, а ты в пьянство ударился...

Митька пятился в избу и растерянно бормотал:

— Простите, старики, Христа ради... Бес попутал, бес попутал... В одну минуту все сделаю... Я такой.— Запнувшись за порог, он упал и, вскочив, закричал: — Где начальник штаба? Где адъютант? Эй, друзья, выходи!.. По коням!.. Слушай мой секретный приказ: идем в наступление на город... Где моя шапка?..

Из распахнутых настежь дверей валил пар. С гамом и путаной бранью выбегали на волю и, перекликаясь, пересвистываясь, исчезали во тьме дворов и переулков.

Была глубокая ночь, но Хомутово не спало. В слепых оконцах мутно желтели огни, от избы к избе ходили возбужденные люди. Улица была заставлена подводами, ломились саженные костры, ржали лошади. Мужичьи командиры, громко командуя, разбирали и строили своих людей, раздавали на руки патроны.

Улицей шел Митька. По мерзлым кочкам брэнчала его припущенная для форсу кавалерийская шашка; с плеча на плечо он был перетянут новыми ремнями — в деревне их звали шлеей. Мужики уважительно здоровались со своим командующим, и он, пробираясь через хаос подвод, то и дело хватался за синий верх ордынской пахахи.

Из дворов тащили охапки пахучего степного сена, у колодцев выпаивали лошадей на дорогу. Около пожарного сарая ползал безногий солдат Прокофий Туркин и плакал пьяными слезами:

— Дай мне лошадь! — кричал он оборванному мужику, подтягивающему поперешник. — Первый пойду... Равнение направо... Шеренга, огонь!.. Ты удобрись, дай мне лошадь! — Хватался за наклейку, пытаюсь забраться в сани.

— Брось, Прокофий, чудить, — оттолкнул его мужик. — И без тебя тошно... Иди проспись, а то ужгу вот кнутом и завертишься у меня кубарем.

— Меня? Кавалера?

Митька хлопнул калиткой, пробежал двор, сени и, нагнувшись, шагнул через порог в избу.

По углам на разные голоса выли бабы — свои и сбежавшаяся родня. За столом в сатиновой пунцовой рубашке сидел отец и чайным стаканом пил самогон... Кружок с рубленой говядиной, деревянные полевые чашки, полные огурцов, моченых яблок и вилоквой капусты. Старик вылез из-за стола и, огладив бороду, полез с сыном целоваться...

— Сынок...

— Тятяша, — повалился Митька отцу в ноги, — выступаем... Я зашел проститься.

— Сынок... Милай!

— Прости, я...

— Встань... Бог простит... Встань Христа ради.

— Тятяша... — Митька заплакал.

— Показнись за народ, сынок... Все помирать будем... — Отец кинулся к божнице и снял подстаринную, в серебряном окладе, икону Николая-угодника. — Жить бы да жить, господи, время-то какое страшное...

Бабы прибавили голосу.

Сын подошел под родительское благословенье, поцеловал вопящую жену и с папачой в руках — в беспамятстве — выбежал на улицу:

— Васька... Макарка...

Есаул первой руки Васька Бухарцев подвел ему заседланного, играющего коня.

— Штаб где? — хрипло спросил Митька.

— Молебен слушают.

— Какой там к матери молебен... Зови! Выступать пора! Бухарцев козырнул и иноходью побежал в церковь.

Ночь обмелела, гасли звезды, белесый рассвет затоплял равнину. Горек был дым костров.

Над мятежной страной, как налитое кровью око, взвилось холодное багровое солнце.

Полки выступали.

За Митькой через все село без шапки и в пунцовой рубашке бежал отец со стаканом в одной руке и с моченым яблоком в другой.

— Сынок, выпей на дорожку... Милостивый бог помощи подаст... Сынок, живое расставанье...

В попутных селах и подселках восстанцев встречали где с иконами и хлебом-солью, где — молча, а где и нехотя.

В чувашском селе Кандауровке Борис Павлович долго раскачивал сход, прося подмоги и грозя лишить непокорных земли.

Кандауровцы упирались:

— Больно строго, по гривне с рога, нельзя ли по семишнику...

— Нам измывки приелись... Эдакое дело, разве мыслимо крутее?

— Сами взы-взы да за телегу, а мы рассчитывайся своими волосами?

— Тут в кулюкушки играть нечего, говорить надо прямо: страшно на такое идти.

Борис Павлович не отступался:

— Сладко вам живется? — спрашивал он мир.

— Плохо живем, — отвечали.

— Где ваш хлеб?

— Вывезли.

— Где земля?

— Земля наша, а все что на земле — советско.

— Где ваши права?

— Права наши зажал в кулак товарищ Хватов, волостной милиционер.

— Наша партия, граждане, партия социалистов-революционеров, партия, которая...

— Вы все хороши. Всех вас на одной бы осине перевешать.

В том же селе по чьему-то доносу был схвачен красноармеец-отпускник Фролов. Двое конных, подхлестывая плетями, рысью пригнали его на площадь.

— Палача давай!

Из толпы вышел, до глаз заросший курчавым волосом, палач Ероха Карасев.

— Которого? — спросил он и, выдернув из-за кушака широколезый топор, подвернул правый рукав полушубка.

Бледный, как мелом намазанный, Фролов попросил напиться. Из ближайшей избы молодушка вынесла ему воды. Колотя зубами о край ковша и обливаясь, он напился и тихо сказал:

— Хочу покаяться... допустите меня до вашего штаба.

— Аа, не мило волку вилы?.. У нас в штабе попов нет, некогда мне с тобой, парень, канителиться. Скидайвай шинель! — заорал Ероха, сорвал с него шапку и повел к саням, на которых, специально для казни, возили с собой мясной стул.

Увидев в санях застекленевшую от крови солому и обмерзший кровью чурбан, отпускник затрепетал и еле слышно выговорил:

— Допустите... до вашего... начальника.

Есаул Васька Бухарцев тронул Ероху за плечо: «Погоди минутку, может, у него что важное», — и повел красноармейца к начальнику штаба.

Осмысленное лицо Фролова Борису Павловичу понравилось; узнав в чем дело, он опять обратился к сходу:

— Граждане, перед вами сейчас выступит раскаявшийся красноармеец. Он, как сын народа, осознал, что оставаться в рядах большевицкой армии преступно. Мы таких приветствуем. Мы таким все их вины прощаем. Пускай перед всем народом говорит по совести, как он по темноте своей попал в лапы комиссаров и как прозрел. От имени восставшего крестьянства я ему дарю жизни! Хочет — останется в наших рядах, не хочет — пусть сидит дома, никто его пальцем не тронет. Мы — против крови невинных, мы — против слепого террора...

Толпа сдержанно загудела и стихла, теснее сгрудившись к пожарной бочке, с которой говорили ораторы. Кроме кандаровцев тут были сотни мужиков из других сел.

Оробевший Фролов, волнуясь и заикаясь, заговорил было на своем родном языке. Митька крикнул:

— Будя лаять по-собачьи, говори, как люди говорят.

Фролов смешался еще больше и замолчал... Потом, спотыкаясь на каждом слове, заговорил по-русски:

— Я — местный житель... Двадцать пять лет... Холост... Отец служил конюхом в именье Шаховского... Был у меня старший брат Иван, тридцати лет, с отцом разделился, умер в холерный год... Я — местный житель... Кто меня знает — тот знает, а кто не знает — тот пусть знает и дальше передаст, чтобы знали... Я бедного состояния, имею одного жеребенка и мать, слепую старуху... До царской войны был я как темный лес... Работал в работниках у мельника Данилы Ржова... Вот забрали на службу, погнали под город Перемышль...

Из толпы голос:

— Это мы знаем... Ты лучше Расскажи, как у красных служил да народ тиранил?

Видя перед собой много знакомых односельчан, Фролов быстро справился со своим волнением и заговорил бойчее:

— Каюсь, служил... С первого шага войны я пошел с Капустиным в ногу, каюсь. Воевал между гор и камней, по степям и лесам, каюсь... В армии мне вдолбили в голову грамоту, могу теперь немного разобратсья что к чему, каюсь: уж лучше остаться бы мне темным, как пенек, и таскать чужие мешки на горбу... Он, Данила Ржов, хороший был человек, спасибо ему, кормить досыта два раза в году кормил, на пасхуда рождество, а воды из-под мельничного колеса давал вволю... А еще вам покаюсь, как кинулись мы в атаку на город Бузулук, то и пришлось мне около вокзала вот этой самой рукой зарубить сынка нашего помещика Сергея Владимировича, был он в по-

гонах поручика и при полной форме... Каюсь, грабил... Уходил из дому, была на мне гимнастерка и шинель, в гимнастерке вши наши деревенские, а нынче,— трясущимися пальцами он расстегнул ворот,— сосут меня блохи уральские, вши уфимские, вши вятские...

Бородатые лица слушателей кое-где осветились улыбками... Борис Павлович зашептался с членами штаба. Фролов ничего не замечал, говорил торопливо, ровно со снежной горы катился:

— На фронте меня два раза ранили, плавал я в гною, плавал в крови, каюсь; сидеть бы мне дома да жевать пироги с горохом... При царе мы, чуваша, плохо жили: начальство русское, суд русский, училище русское... Всей землей кругом владел помещик князь Шаховской... Не было у нас ни лугов, ни выгона, под кладбище участок и то арендовали у князя. Правду я говорю, старики?

— Истинно, Гришутка, так и было! — поддержал дед Леонтий.— Пошли мы, стало быть, к его сиятельству Владимиру Юрьевичу просить землицы. Он затопал на нас, черным словом выругался и говорит: «Когда вырастет у меня шерсть на ладонях, тогда и землю получите»,— и приказал служителю толкать нас в шею... Истинно было.

— А помните станowego пристава Лукина, как он наезжал со стражниками собирать с нашей Кандауровки недоимки?..

— Помним.

— Помните земского начальника Повалишина, того, который...

— Помним, помним...

— В революцию наша волость получила лес и луга монастырские, озеро и угодья помещичьи, земли прирезано на душу по десятине с осьмой... Скажу правду, мне все равно смерть. Вернулся я с фронта, побыл в родном селе с месяц и вижу — действительно, житье стало никудышное: сосед мой Трофим Маврин едал, бывало, мясо по большим праздникам да в деловую пору, а ныне две кадушки насолил свинины и баранины; бывало, напивались вы только по праздникам, а ныне изо дня в день пьяны... Бунтуйте, граждане! Долой советскую власть... Вот за этими чертями,— он ткнул в грудь Митьку и Бориса Павловича,— придет Колчак-генерал, придет Деникин-генерал, придет в коляске его сиятельство князь Шаховской — они вас накормят... А еще я, полуслепой, хотел сказать словечко слепым товарищам дезертирам... Товарищи дезертиры!..

Митька прикладом сшиб Фролова с бочки, поднялся над толпою и начал говорить сам:

— Друзья, это есть шпион, который подкуплен коммунистами... Мы таких будем вырывать с корнем... Они больше всего мутят воду...

Не успел еще Митька досказать свою речь, как акт правосудия был свершен: Ероха Карасев за волосы поднял над толпой и потряс отрубленной головой красноармейца.

Толпа охнула и попятилась.

— Не расходи-и-сь! — грозно крикнул Борис Павлович. — Собрание продолжается.

— Ты не ори, — подступил к нему солдат старой службы Молев, — надел очки-то, думаешь, страшнее тебя и зверя нет?.. Мы ныне и сами во всех кровях купаны... Людей вам не дадим!.. Подвод не дадим!.. — Он крепко выругался.

Фельдшер Докукин, что проживал в селе уже годов сорок и пользовался большим уважением, отсунул Молева и за всех ответил:

— Трудно, а терпеть надо... Авось и перебедем... От советской власти мы не отрекаемся и смутьянам не потатчики.

Из всего кандауровского общества вызвался охотником один старичишка солдатской выхвалки, Зотей, служивший когда-то в городской тюрьме стражником. Митька подарил ему серебряный полтинник и назначил начальником разведки одного из полков.

А ночью конная полусотня белоозерцев покинула ряды и ускакала ко дворам. За ними в одиночку и небольшими шайками потекли по домам восстанцы и других сел. Тогда штабом был сформирован летучий отряд... по борьбе с дезертирством.

В деревнюшке Муровке на все призывы восстанцев сход отмогался.

В мордовском селе Матюшкине жители попрятались в погреба, в картофельные ямы, по гумнам зарывались в мякину.

— Псы моргослепые, — ругался Митька, — гни их, Борис Павлович, круче, не отвертятся.

По распоряжению начальника штаба матюшкинцы были согнаны на митинг плетями.

Борис Павлович, без излишней канители, прочитал заранее заготовленную резолюцию, которая кончалась словами: «Долой вампиров-коммунистов! Долой советы! Да здравствует Учредительное собрание! Все в ряды народной армии!» — после чего обратился к обществу:

— Голосую. Кто — за?

Молчанье.

— Кто против?

Молчанье.

— Принято единогласно. Старики, подписывайтесь.

И поползли по листу каракули грамотных. Неграмотные, мусоля химический карандаш, ставили кружочки и кресты.

— Бараны, — говорил в дороге начальник штаба, — забиты царской властью и комиссарскими кулаками, пользы своей не понимают... Помяните мое слово, Дмитрий Семенович, одер-

жим первые успехи, возьмем город, и лапотники тысячами повалят в нашу армию, как во время Пугачева и Разина.

— А я на Пугачева похож? — спросил Митька, присаясь.

— Постольку поскольку наше движение является общенародным и мы, так сказать, возглавляем стихию крестьянского гнева, история не пройдет мимо наших имен молча...

Хвост армии путался еще где-то в Хомутове и дальше, когда головные полки уже входили в Дерябинские хутора, что под самым городом. Было решено устроить тут дневку, пока подтянется побольше народу, и ударить на город скопом.

Избы были набиты народом, как мешки горохом. От духоты и говора, казалось, крыши готовы были подняться. И на улицах, и вокруг по снежной степи, и в лесочке, привалившемся к хуторам, — всюду переливались беспокойные огни костров, гудели голоса, распряженные лошади жевали сено, и вздернутые оглобли точно угрожали неведомому врагу.

Невдалеке заложеными цугом лошадьми восстанцы гнули в дугу рельсы.

По большаку, на выносе из хуторов, около черной стены леса, как большое вымя, стоял костер и сочил в облака сырой дым. Фельдфебель Когтев сучковатой палкой мешал кашу в артельном котле и рассказывал про Карпаты.

В круг огня въехал парень в городской суконной бекеше.

— Здорово.

— Здорово, приятель, откуда?

— Из города.

— Да ну?

— Где у вас главный?

— Зачем тебе?

— А ты веди давай, брось ушами хлопать, с делом я.— Приехавший спрыгнул с седла и, выхватив из-за пазухи, махнул белым пакетом.

Когтев повел его в штаб.

Штабом был занят каменный дом кулугура Лукьяна Колесова. Мать его, Маркеловна, согнутая старостью пополам, как слепая тыкалась по горнице и охала:

— Вражищи, напасти на вас нет... В избе-то у нас помолено, а вы всё продушили, табашники, богохульники, бритулсы...

Митька в сапогах и в полушубке, грянувшись лицом вниз, спал в пышной постели. Члены штаба пили чай с клубничным вареньем и сообщали инструкцию о выборах по селам крестьянских комитетов, кои и должны были на первых порах заменить советы.

Борис Павлович прочитал привезенное из города письмо и принялся будить командующего:

— Дмитрий Семенович, важное сообщенье...

Тот только мычал и во сне скрипел зубами.

— Дмитрий Семенович, начальник гарнизона Глубоковский обещает сдать город без боя.

Митька поднялся и тяжело зевнул:

— Время сколько?

— Четыре, скоро светать начнет.

— Гады! — разом рассвирепев, крикнул он штабным. — Чай гоняете? Лошади задрогли! Люди мерзнут! С полночи надо было наступать! Почему не разбудили? Изменщики...

Члены штаба засуетились и начали рассовывать по карманам бумаги. Борис Павлович устало сказал:

— Слушаюсь.

За окном шел широкий шорох: так по ночам шуршит весенними льдами тронувшаяся река.

— Чего там? — спросил Митька, прислушиваясь.

Ему никто не ответил.

Тогда он выбежал на крыльцо.

— Кто это? Куда они? — опять спросил командующий, увидя массу конницы, перекатом идущую через хутора.

— Татарва, видимо-невидимо, — вынырнул из темноты Бухарцев. — Ух, эти разыграются, так и черта до слез доведут.

Татарские конники, закутанные в тулупы и чапаны, подбोरистым шагом текли через хутора к далеким огням города. Всадники возникали из ночи, залепленные снегом треухие малахаи и спины их попадали в неверный свет костров и вновь заглатывались тьмой...

— Чекарда ярда! — весело крикнул Митька и повернулся к есаулу: — Живо седлай коней!.. Не я буду, ежели первым не ворвусь в город!

Кольца голодных хвостов захлестывали пшеничный Клюквин. Продкомовские амбары ломились от хлеба, его не успевали вывозить, но жители получали свои четвертки ржанины. Равенство, так равенство — революционный Клюквин ни в чем не хотел отставать от других.

Однажды город был взволнован слухами о закрытии и разграблении храмов божьих.

Началось с пустого.

Торчала в слободке облезлая церквушка всех святых. Слобожане молиться ходили редко и не только не давали дохода, но, наоборот, вгоняли свой приход в голый убыток: растащили на топливо ограду, мальчишки подбрасывали в церковь дохлых кошек, первый в курмыше вор, сапожник Мудрецов, увел у попа козу, а под крещение компания слободских ребят ночью забралась в церковь, вышарила в алтаре ведро красного вина,

возжгла светильники и предалась пиршеству. Утром пришел убираться сторож и увидел спящих на полу на разостланных шинелях слободских ребят — кругом валялись карты, деньги и просвирки, которыми закусывали. Слободской поп о. Ксе-нофонт, радея своему приходу, принялся со сторожем Илюшей Горбылем самогон варить, приспособив на аппарат купель. Ведро в день выгоняли. Церковный староста и сторожева жена потихоньку продавали самогон слободским пьяницам. Но скоро про то пронюхала милиция. При обыске в церковной кладовке были обнаружены кованые сундуки с купеческим добром, тогда церковные двери были завалены сургучной печатью. Тут-то слобожане и вспомнили, что ведь как раз у них, возбуждая зависть соседних приходов, красовалась новоявленная чудотворная икона заступницы казанской. «А поп, он что ж? Добра от него никто не видел, да и зла тоже. Что там ни говорите, а с попом жить как-то спокойнее», — и слобожане в голос решили, что слободской поп — хороший поп. У церкви собралась толпа. Пришли и те, кто не заглядывал в нее со дня крещения или венчания, пришли и те, кто вчера еще растаскивал ограду, приползли и тысячеletние старухи, чудом переживающие мор, войны и революции.

Мужики держались кучками и ругались степенно, бабы возбужденно кричали о том, что жрать нечего, а старухи, размахивая клюками, уже подступали к шагавшему по паперти солдату.

— Матушка...

— Заступница...

— Заперли тебя ироды, запечатали печатью проклятой.

— Погибель наша...

— Неспроста, тетки, ночью собаки выли, — подсказал чей-то насмешливый голос. — Не зря вчера тучи встреч ветра шли, миру конец.

— Православные, что с нами будет?

— Не выдадим, матушка, утрем твои слезыньки пречистые...

К стражу, деревенскому парню, тянулись сведенные высушенные руки... Тот пятился и, спиной загораживая печать, тоскливо поглядывал в сторону города на дорогу и бормотал:

— Не наваливайся, старухи, не тревожь казенну печать... Приедет комиссар, комиссар отопрет, тогда и молитесь сколько влезет... Не наваливайтесь Христа ради, мое дело подневольное...

— Заперли, нечестивцы, плачет-рыдает мати казанская...

— Плачет непорочная...

— Плачет...

И точно, все как будто услышали приглушенные вздохи и всхлипывания... У стража полезли глаза на лоб, кто-то сорвал

с него шапку, костлявые руки схватили его за русы кудри и пригнули долу, где под дверью зияла щель.

— Слушай, окаянный, слушай, пес...

Помучивший от страха парень послушал и, вскочив, заорал:

— Плачет...

Вой занялся сразу и, как огонь посуху, хватил из края в край по всей площади:

— Плачет заступница...

— Погубители веры Христовой...

— За мной, мироносицы! — басом скомандовала бабка Яжея и, взмахнув клюкой, ринулась на паперть.

Сорвали печать, но в церковь замок не пускал — как ржавая серьга, висел на двери пудовый замок. Кто подзуживал в набат ударить, а кто призывал идти в город на выручку попа. Покричали-покричали и бурно потекли по дороге в город, запрудили все улицы и переулки, упиравшиеся в занятый чекой особняк.

Попа пришлось выпустить. Отощавший и переболевший всеми смертными страхами, он умывался слезами радости, торопливо жал руки и без разбору, ровно в светлое Христово воскресенье, со всеми целовался. Толпа, рыча, расходилась, дело кончилось несколькими выбитыми окнами. Павел долго толкался среди слобожан, глядел, слушал, потом вышел в тихий переулок, где его чуть не сшибла лошадь.

— Гэ-эп!

Обдав горячим лошадиным храпом и ветром, в зеленых исполкомовских санках промчался Капустин, но, увидя Павла, круто осадил ёкавшего селезенкой игреневого жеребчика и крикнул:

— Гребенщиков, я к тебе.

— Поедем.

— Садись, — отстегнул Капустин полость и подвинулся. — С утра тебя ищу. Где пропал?

Поехали шагом.

Павел начал было рассказывать про слободку. Капустин перебил его:

— А про депо слышал?

— Нет. А что?

— Забастовка, — сказал Капустин, полуобернув к нему захватанное ветром кирпичного цвета лицо. — Чуешь, чем это для нас пахнет?

— Ты оттуда?

— Да.

— Что там стряслось?

— Дело простое. Пайка второй месяц не выдаем, опять же и хлеба они по утрам получали по фунту, а теперь и хлеба не видят. Нынче утром при раздаче работы хлеба просили, хлеба нет... Секретарь ячейки вызвал меня, а я... я не свят дух.

Первым бросил работу текущий ремонт, сняли средний, сейчас все цеха стоят. Не двинулись бы текстилей снимать, кожевников...

— Митингуют?

— О-о, поливают почему зря, мне и говорить не дали, думал, побыют... Там такое творится — дым столбом.

— Забастовку надо немедленно и во что бы то ни стало сорвать, — сказал Павел. — Ты, Иван Павлович, забеги, потряси Лосева, должен он, стерва, хлеба выдать, а я поеду туда... Идет?

— Идет, — согласился Капустин, выпрыгивая из санок. — Крой, Пашка, как-нибудь надо выкарабкаться.

— А что слышно из волостей?

— В Хомутове бунтуют дезертиры, подробностей пока не знаю... Послан туда наш отряд — день, два — и, думаю, все будет спокойно... Писал мне Ванякин, там какая-то волынка...

Павел уже не слушал и, урезав жеребчика кнутом, ускакал.

...Кабинет продкомиссара был оклеен картами, диаграммами и схемами; подоконники заставлены стеклянными трубочками с образцами хлебных злаков. Из-за вороха наваленных на стол бумаг торчала расчесанная на косой пробор голова продкомиссара Лосева. Из прозеленевшего солдатского котелка оловянной ложкой он черпал полбенную кашу и с чувством собственного достоинства разъяснял:

— К сожалению, уважаемый Иван Павлович, ничего не могу поделывать... Нет плановых нарядов от губпродкома, специальных фондов не имею, в циркулярном письме наркомпрода от второго сего февраля прямо говорится...

Капустин хмуро поглядывал на него, жестким ногтем царапал лаковую крышку стола и, не слушая, доказывал, что не годится ждать каких-то плановых нарядов и жалеть двадцати мешков муки, когда забастовка грозит убить город, оторвав его от всех, и больших и малых, центров.

— К сожалению, я вынужден придерживаться инструкций высших инстанций, перед которыми и отвечаю за свои действия... Пайки основные и добавочные выдаются исключительно по плановым нарядам... Из фонда наркомпрода не могу выдать ни золотника.

Капустин вскочил и бросил кулак на стол:

— Тогда я тебе приказываю выдать!

— Прошу покорно не орать... — поперхнулся непрожеванной кашой и отставил котелок. — Мне надоели ваши генеральские замашки... Не испугался... Я совершенно самостоятелен в своих действиях... Я работаю по директивам центра. Я... — сорвался на визг, — прошу оставить меня в покое! Убирайтесь ко всем чертям! Вон отсюда! Вон!..

Капустин ухватил юного продкомиссара за жабры и поволок его на телеграф к прямому проводу.

...В сборочном, когда вошел Павел, митинг уже кончался. Яруса калеченного железа, рамы на скатах и паровозы были густо обвешаны людьми. Малый свет еле прорывался сквозь закопченную стеклянную крышу, в полумраке смутно плавилась масляные пятна лиц.

Председатель митинга, инструментальщик Дерюгин, с тендера выкрикивал резолюцию. Его, казалось, никто не слушал, каждый орал свое, но за резолюцию голосовали все до одного: забастовку было решено продолжать.

Павел взобрался на тендер и плечом отодвинул председателя:

— Товарищи...

Он частенько хаживал к железнодорожникам в клуб на собрания и спектакли, его знали, многие как будто и уважали; случалось, с ним советовались, но сейчас сразу опрокинули бурей свистков и рева:

— Долой!

— Проухали революцию!

— Вишь, моду взяли?..

— До хорошего дожили...

— Ни штанов, ни рубах!

— Коммуна... Любо дуракам.

— Два месяца бородку притачивают.

— Доло-о-ой...

Гул голосов метался под стеклянной крышей.

Павел дрожал от возбуждения и, выкинув руку вперед, стал ждать, пока утихнет, чтобы начать говорить, но гул рос горбом, кто-то из озорства начал колотить болтом в буферную тарелку, кто-то в паровозной будке дал продолжительный свисток, и Дерюгин махнул масляной кепкой.

— Расходи-и-ись...

Хлынули к выходу.

В дверях, на свету, Павел увидел кое-кого из знакомых. К нему протискался рессорщик, старик Бабаев, поздоровался за руку и, немного гундося, насмешливо спросил:

— Не пляшет?

— Ни хрена.

— Знамо, говорить нечего, так и «да» хорошо.

— Давайте,— сказал Павел, повернув к старику налитое сердитой кровью лицо,— давайте побросаем работу, разбредемся по лесам соловьев слушать или пойдем на речку и станем из проруби рыбу хвостами ловить, как волк ловил...

— Нам вашей рыбы не надо,— зло засмеялся Бабаев.— Где уж нам рыбу есть, когда ухой давимся.

— *Нашей* не надо? А где же *ваша*?

— Наша уплыла... Вам лучше знать, в чей карман она умырнула... Два месяца по губам мажете, а чтоб рабочего человека

голодом морить, такого декрета читать не доводилось... Умирать мы не согласны...

— Челуху городишь, Бабай...

Сцепились спорить, потом ругаться. Увлекая за собой заинтересованных слушателей, они прошли в кузнечный цех.

Гребенщиков, когда работал на заводе, больше всего любил кузницу. В кузнице всегда полыхал огонь, мелькали кувалды, гремело и лязгало железо, осыпая зерна искр. И работа кузнечная — развеселая работа. Хоть и трещат от нее кости, зато думать много не надо, а молодость думать не любит, знай враз-машку бей и бей, чтоб чертям тошно стало.

За стариком он прошел в дальний угол и огляделся: со стен и потолка в сетке паутины хлопьями свисала холодная копоть, остывшие черные горна были похожи на гробы. Лишь в одной рессорной печке под грудой пепла дышал огонь; у печки кузнецы грелись, курили, батыжничали и пекли картошку.

Бабаев достал из-под верстака покрытую ломтем хлеба консервную банку с супом.

— Гляди чего дают: вода с водой. Откуда тут силе взяться? — выплеснул суп Павлу под ноги. — Поди слышал побасёнку, как цыган уговаривал лошадь шибко бегать да мало есть? Со всем было коняга от корму отвыкла да, на беду, сдохла... Так ведь то цыган, в нем и совесть цыганская, а ты вот тоже рот разеваешь и на шею нам, дуракам, навертываешь: «Разруха, транспорт, недостатки механизма», а того знать не хочешь, может, у меня в брюхе разруха-раздируха? Ноги, батенька мой, не ходят... С чего тут силе быть?.. Это разве хлеб?.. Опилки с пылью.

— Он эдакий-то спореет, — подсказал из-за плеча парень с вывернутым веком, — укусишь на копейку, разжуешь на рупь... И суп выдающийся: плесни на собаку — облезет.

Мальчишка-ученик залиvisto рассмеялся, скупно усмехнулись и взрослые, один сказал:

— У нас брюхо луженое... И кишка наша пролетарская тянется, а не рвется.

— Ты нам, Гребенщиков, расскажи, чего нынче обедал? Каклеты, яйца всмятку, али, может, пирожки с мясом?

— Я?.. А я второй день совсем не обедаю, — простодушно отозвался Павел. — Вчера с утра до ночи в типографии проторчал, нынче в слободке... церковь там...

— Знаем...

— Кто хочет посмотреть, чем нас кормят в исполкомовской столовке, приходите завтра, у кого зубы острые...

— Церкви вы зря рушите, — перебил его Бабаев. — Есть бог, нет ли его, дело темное, а вот на клиросе попеть я люблю... И ко всеношной под праздник, хоть и реденько, а хаживаю, грешник... Вам, молодым, фигли-мигли, попеть-поплясать, с

девчонками побеситься, кино, клубы, мы тому не препятствуем, и вы на нас, стариков, собаками не кидайтесь... И все будет тихо, мирно.

Павел принялся поносить самогонщиков, переводящих на зелье хлеб, говорил о бедности республики, о том, что «сразу всего не сообразишь». Старик замахал на него рваными руками.

— Чего ты гнешься, как проволока?.. У нас опорки с ног сваливаются, а ты надел новые-то калоши и несешь оревину... Тебе ветер в зад, ты сухой и чистый... Бедность, так всем бедность, мы к богатству и непривычны... Языком, туды ее растуды, не надо трепать... Ты еще мал, круп не драл, понянчил бы вот кувалду, другое бы запел.

— Я, Бабай, нянчил кувалду.

— А знаешь, за какой конец ее держут?

— Знаю.

— Все мы мастера со стола куски хватать.

Кузнецы поглядели на его новенькие калоши.

Павел густо покраснел... Сбросил шинель и, подвязывая чей-то брезентовый фартук, невесело усмехнулся.

— Давай, шевели печку... Может статься, и не разучился кувалдой махать, надо попробовать.

— Горно у меня на ходу,— прогундосил Бабаев и, насмешливо поглядывая на Павла из-под седых бровей, тронул меха.

Мастеровые молча расступились. По лицам блуждала недоверчивая ухмылка, другие взирали равнодушно.

В печке забушевало пламя.

На широком верстаке валялись готовые рессорные листы, нарубленная шпилька, обрезки размеченного мелом железа. Павел, обжигая через дыры в голицах руки, выхватывал из горна лист за листом, бросал на наковальню и не глядя, как будто небрежно, бил ручником... Но уже по одному тому, как он держал клещи и потюкивал ручником, опытному глазу было видно, что работа эта ему не в диковинку, и кузнецы одобрительно загнули, придвинулись ближе, подавая советы:

— Так, так...

— Концы не перепускай.

— Серьгу обомнешь, легче.

— Ничего, ничего, вваривай.

— Мастерок-хренок...

Волнуясь и ни на кого не глядя, Павел подогнал листы друг к другу, сшил их шпилькой, обжал на струпцинке и бросил на козла; потом выхватил из горна раскаленный хомут и посадил его на связку.

— Подправьте-ка кто...

— Давай,— подскочил Бабаев и вырвал у него ручник, а сам Павел схватил кувалду и начал стремительно, пока не остыл, наколачивать хомут до места.

Повеселевший старик покрикивал:

— Жамкни!

Г-гах!

— Поглядь!

Гак!

— Хватит!

Обливающийся потом Павел ударил еще раз и бросил кувалду: товарная рессора была готова.

Сели, закурили, опять пустились в споры о хлебе и революции, о боге и разрухе железнодорожного транспорта... Надолго бы им разговора хватило, но в цех заглянул секретарь учпрофсоюза и, крикнув: «Муку привезли», — убежал дальше.

Кузнецы, выхватывая из карманов и пазух мешки, бросились в двери. Павел отряхнул забрызганную углем шинель, подтянул ремень, оглянулся — в цехе не осталось ни одного человека; обожженными пальцами он провел по ребрам еще не остывшей рессоры и, мягко улыбнувшись, пошел к выходу.

Заябшая лошадь подхватила и понесла его, как птица. Пружинил встречный ветер, в передок санок били ошметки снега. По дороге в город, перебрасываясь шутками и бойким разговором, шли оживленные кучки рабочих, на горбах у них белели мешки, а в зубах попыхивали раздуваемые ветром цигарки.

Спустя неделю, когда над уездом поднялся во весь свой рост огнеликий мятеж, по городу была объявлена добровольная мобилизация: из сотни железнодорожников Ключевинского узла в отряд записалось больше тридцати человек, на приемочный пункт одним из первых явился рессорщик Бабаев.

Покой притихшего города охраняли разъезды. Подковы гулко били в мерзлую дорогу.

День и ночь из продскладов и баз на вокзал тянулись обозы с мукой, кожами и тюками мануфактуры.

На перекрестках вывихнутых слободских улочек, под тоской серых заборов, жались кучки жителей...

— Ага, бегут... Увозят... Нарботали.

— Это они эвыковыриваются.

— Каюк, всем каюк...

— Ох, бабоньки... Ох, батюшки...

— Не робей, тетки, хуже не будет.

— Может, казенки откроют, — сказал, не попадая зуб на зуб, пирожник Хрущов.

— Кто про что, а щелудивый про баню! — фыркнула вислорожая Фенька Бульда, и все рассмеялись.

Два отбившиеся от артели воза с мукой слобожане растащили.

С пожарной каланчи старый солдат Онуфрий первый уви-

дал надвигающиеся тучи восстанцев: широко раскинувшись, затопив собою белые поля, они шли, подобны земляному потоку... Захлебываясь, задрезжал избитый пожарный колокол.

Ветром тревоги качнуло город.

А в исполкомовских коридорах сновали коммунары и рабочие дружинники, перепоясанные кишками патронных лент. По полу и на канцелярских столах спали вернувшиеся с ночного дежурства отрядники. Сбившийся с ног тщедушный завхоз награждал каждого добровольца ломтем хлеба, банкой консервов и осьмушкой махорки.

В кабинете Капустина заседал ревком.

Гильда протоколировала:

Объявить город и уезд на осадном положении.

Все запасы оружия раздать рабочим.

Сформировать в самом срочном порядке летучий кавалерийский отряд.

Ускорить переброску на север скопившегося на вокзале хлеба, возложить ответственность за всю операцию на Гребенщикова и Климова...

Чистый пикейный воротничок охватывал ее тонкую шею, непокорные после тифа кольца кудрей стояли дыбом, отчего вся она была похожа на ламповый ерш. Сваленный сном в угол дивана, похрапывал продкомиссар Лосев. Иван Павлович Капустин бегал по кабинету и говорил:

— Безобразное поведение отдельных наших отрядов срывает всю работу по ликвидации мятежа. Мародеров необходимо расстреливать на месте!.. Главу семьи, из которой хотя бы один человек ушел в банду, расстреливать на месте! Остальных брать заложниками... Кулацкий дом, из которого семья скрылась, сжигать! Имуущество кулацкое раздавать бедноте... Только решительными и жестокими мерами нам в кратчайший срок удастся задавить мятеж. Время уговоров минуло, каленым железом мы должны, товарищи...

— Не пори горячку, Капустин, — прервал его Павел, — бить надо думаячи. Восстание, несомненно, вдохновляется кулаками... Кулак использует и свое влияние на деревню и наши ошибки, но сам-то кулак прячется за широкую спину бедняка и середняка... Смородин вчера говорил: занимает он с отрядом деревню — кулаки первыми выходят встречать его с иконами, хлебом-солью и изъявляют свою покорность... Направленный в гущу восстанцев, наш удар вызовет еще большее озлобление в массе крестьянства и надолго поссорит нас с деревней... Повторяю, бить надо думаячи. Наша сила не только в штыке, но и в слове убеждения... Предлагаю немедленно выпустить воззвание к трудящемуся крестьянству, кинуть в очаги восста-

ния самых преданных партийцев, чтобы они это воззвание как можно скорее распространили... Громить же со всей решительностью в первую очередь надо кулака, актив дезертиров и тех эсеров и колчаковских шпионов, что, по сведениям нашей разведки, шьются...

— Восстало сто тысяч кулаков! Город окружен! — крикнул, врываясь в кабинет и сверкая налитыми кровью глазами, Пеньтюшкин. Он бросил на стол пучагу свежих депеш.— Товарищи, печальные новости!.. Глубоковский у заставы встречает мятежников с музыкой!.. Мы в западне!.. Восстало сто тысяч...

Капустин — дикий и растрепанный — хлеснул его в ухо и зашипел:

— Не вопи, сукин сын, не поднимай паники...

В задохнувшейся тишине где-то захлопали двери, в открытую форточку, как далекое рыданье, ветер донес всхлипы оркестра.

— Товарищи, спокойствие,— сказал Капустин, откашливая волнение и оправляя оттянутый маузером пояс.— Объявляю заседание закрытым...

По городу стучали выстрелы, и на далеких окраинах крики нарастали, как

о
бва

а-ал...

Павел летел через площадь, полы его шинели бились, словно крылья. С разбега легкими прыжками взял лестницу и в дверях комнаты столкнулся с Лидочкой.

— Милый!

— Прощай,— задохнувшись от бега, сказал Павел. В последнем поцелуе губы прикипели к губам, еще и еще он перецеловал ее золотые глаза и легонько оттолкнул.— Беги к теткам.

— Зачем?

— Беги.

— Как?.. Разве?

— Да, мы отступаем,— подумав, досказал:— на несколько дней.

— А я?

Павел промолчал и прошел в комнату.

Она прислушалась:

— Чу, стреляют... Кто стреляет?..— Глаза ее были круглы, рот перекошен такой гримасой, какую никогда не заучить даже самому искусному актеру.— Павлик, мне страшно.. Это... Это банда?

— Вроде этого,— отозвался он, стоя на коленях перед корзинкой и рассовывая по карманам бумаги.— Беги отсюда, плохо будет.

— А ты?

— Мне надо на вокзал.

— Но тебя поймать могут? Растерзать?

Он свистнул, выдвинул ящик стола и полными горстями стал пересыпать в карман похожие на жолуди кольцовские патроны.

— Михеич где?

— Ах, не знаю.

— Беги, Лида, поздно будет.

— Не хочу одна!

— Ну, прощай,— шагнул он,— некогда.

— Подожди...— Сильными руками она обняла его за шею, крепким подбородком терлась о его небритую щеку.— Не ходи, никуда не ходи, Павлушенька...

— Прощай!

— Милый, убьют... Хочешь, я спасу тебя?.. Убежим к теткам... На вот, надевай, после брата осталась...— Она выхватила из чемодана офицерскую тужурку, перетряхнула ее, блеснул погон.— Никто не узнает. Павлик, я умоляю... Господи...

— Пусти,— глухо сказал он.

— Не пущу!

— Уйди!

— Не пущу! — Она стояла в дверях с тужуркой в вытянутых руках.— Я люблю тебя, убежим вместе,— опустившимся голосом, как издали, сказала она, и из блестящих глаз ее брызнули слезы.

Павел решительно отсунул ее в сторону и выбежал за дверь. В конце коридора перед пылающей пастью голландки, присев на карточки, покуривал Михеич: он, видимо, только проснулся и ничего еще не знал.

— Бежим! — крикнул ему Павел.

— Куда?

— Отступаем. Город сдан.

— Да ну? — вскричал старик.— Я живой ногой... Только обуюсь.— Он был бос.

— Живо!

— Сыпь, Павлушка, я догоню.

По двору ветер гонял стружки. На карнизах, на солнечном угле сизари ворковали про свою голубиную любовь: ба-ба-уу... ба-ба-уу... Город, словно тончайшим облаком, был перекрыт свистом пуль. По двору бродила сама жизнь в обнимку с солнцем... Мысль на миг завертелась вокруг еще в детстве слышанного рассказа про храброго волка, который перегрыз свою схваченную капканом лапу и ушел на волю... Павел утишил бег сердца и, провернув в нагане барабан, вышел за ворота.

На площади густо, как лес в бурю, орала толпа.

Уже неслись чьи-то вопли, кого-то избивали.

Горел исполком, со звоном осыпались стекла, и из верхних выхлестнутых окон, ровно из ноздрей, валил дым.

Из-за угла с гиком вылетела конная ватага человек в полсотню — ружья, багры, веревочные стремяна, у многих вместо сидел были приспособлены подушки. В облаке пуха и перьев ватага промчалась мимо, но один, рыжебородый, держа вилы наперевес, как пику, повернул к Павлу.

— Ты чей?.. Ты чего тут?.. Кажи документы!.. Скидавай сапоги!

Павел ударил его из нагана в рыжую бороду.

Мужик свалился и захрипел.

Павел вскочил на лошадь и, минуя большую улицу, проулками погнался к вокзалу.

Дезертиры громили военный комиссариат. Из окон летели стулья, тяжелые связки дел и, рассыпью, учетные карточки...

— Смелее, ребята!

— Рви до клок, раздергивай до останной нитки... Не власть — наказание!

У подъезда, в тесном кольце зрителей, здоровый косоротый мужик ломом ковырял несгораемую кассу. Бумагами, как снегом, была устлана занавоженная улица. Конопатый парнишка высоко метнул пачку ордеров и взвизгнул от восторга:

— Эх, чивали-вали!

Павел, не обратив на себя ничего внимания, шагом проехал через толпу и опять погнался вскачь.

По дороге из тюрьмы через сенной базар валила шумная ватажка арестантов в брезентовых клейменных бушлатах, шапочках-бескозырках и казенных бахилах на босу ногу. Вел их за собой прославленный по всему уезду бандит Сашка Хомяк.

Выехав за город, Павел, заглотив полную грудь морозного ветра, тряхнул поводьями и забарабанил пятками в ребра лошадей. Вдали, на стеклянной крыше депо, горячими искрами вспыхивало солнце.

По излучинам дороги полз, похожий на коленчатого удава, длиннейший обоз, груженный шкапами, диванами и разным хламом; брели кучки дезертиров караульного батальона; шел и останавливался и снова шел слесарь с паровой мельницы Сафронов. Жена обрывала с него патронташи, ремни и за рукав тянула назад.

— Вояка тоже нашелся... Черт их тут разберет... Пискунов-то полна изба... Айда-ка, айда домой.

— Люди...

— Люди топиться пойдут, и ты за ними?

— Отвяжись, дура, а то вот шарарахну наотмашь и покажишься... — Увидав председателя укома, Сафронов подтянулся и зашагал бодрее. — Здорово, товарищ Гребенщиков.

— Здравствуй.
— Дралала?
— Похоже на это...
— Я вот, значит, тоже... А Дунька насаждает, возьми ты ее зарупь за двадцать. — Затвор из винтовки Сафронов уже потерял.

Павел обогнал обоз.

На вокзальном дворе его встретил Климов.

— Что в городе?

— Город сдан. Шуруешь?

— Шуруем помаленьку. — Климов рукавом отер вспотевшее лицо. — С утра отправил четыре маршрута. Восемь тысяч мешков еще на колесах стоят и остаток грузим, да побаиваюсь, время хватило бы — народу у меня мало, паровозов нет... Город-то?.. Вот так штука! Ведь я тут со вчерашнего вечера канителюсь и ничего не знаю... Где Капустин с отрядом? Где наша хваленая дружина?

Павел прихлеснул лошадь к коновязи.

— Капустин с отрядом и дружиною, думаю, засел в кирпичных заводах. Может быть, сегодня же он захватит город обратно, хотя вряд ли... Много у тебя осталось хлеба?

— Тысяч под семьдесят пудиков, считай, два полных состава... Вагонов у меня хватит, а паровозов — ни одного...

Побежали к начальнику станции. Тот любезно встретил их в своем убогом, уклеенном обязательными постановлениями, кабинетике.

— Прошу садиться.

— Нам сидеть некогда, — сказал Павел и выдернул из кобуры наган. — Нужны два паровоза.

— Звоню, вызываю, не отвечают... С удовольствием бы, верьте слову...

— Хоть из-под земли вырой, а выкати нам пару паровозов, иначе ты из этого кабинета не выйдешь.

Начальник сразу вспотел и сдвинул на затылок красную с кантом фуражку.

— Сейчас отправляю последний маршрут с эвакуирующим... Ни на станции, ни в депо не остается ни одного паровоза, даю честное, благородное...

— Какое там к черту эвакуирующее? Задержать! Нам хлеб важнее!

— Не могу-с... Я человек подчиненный.

— От имени ревкома приказываю немедленно перебросить паровоз под хлебный состав.

— Не могу-с.

Оборвав разговор, вдвоем выбежали на перрон.

На подъездном пути был выстроен состав, готовый к отправке: вереница открытых платформ завалена мотками колючей проволоки, строевым лесом и тюками прессованного сена, а теп-

лушки под самые крыши были забиты мягкой мебелью, театральными декорациями, зеркалами и какими-то плюшевыми людьми.

Пока Климов объяснялся с машинистом, Павел, от неумения в кровь сбивая руки, развертывал сцепку.

Паровоз был переброшен на третий путь к хлебным вагонам.

— Ты, Климов, езжай, проводи.

— А зачем? Машинист — мужик свой.

— Все-таки... Мало ли чего...

— А ты?

— Догоню. Езжай.

— Мне все равно, — сопя сказал Климов и полез в паровозную будку.

Хлебный маршрут как бы нехотя двинулся, тяжело раскачиваясь и лязгая буферами.

У товарного лабаза на разостланные брезенты бунтом были накинаны мешки. Редкой цепочкой бегали с десятков мельничных крюшников и несколько деповских мастеровых. Под ногами хрустело разбрыленное зерно, а в стороне в козла были составлены винтовки работающих.

— Остатки дошибаете? — подошел Павел. — Надолго хватит?

— Тут делов до ночи не переделать, — на ходу отозвался котельщик Сальников, — ты, Гребенщиков, кого-нибудь на подмогу нам подкинул бы... Одним нам не управиться... Нутро загорелось, с утра бегаем без отверту. А тут, не ровен час, и чапаны налетят.

— Поищу вам подмогу. — Павел побежал по порядку теплушек с эвакуиществом и принялся колотить в наглухо захлопнутые двери рукояткой нагана. — Вылеза-а-ай на погрузку зерна... Перестреляю, курвы!

Из теплушек, бормоча какие-то объяснения, выпрыгивали плюшевые люди и шли к лабазу.

— Нельзя же так, товарищ Павел, — подскочил возглавляющий эвакуационную комиссию Ефим, — у меня есть и больные, и старики, и жены ответственных...

— Ну?

— Мне-то, по крайней мере, что делать?

— Таскай мешки.

— Странно... — Ссутулившись, Ефим зашагал к лабазу.

Работа пошла веселее.

Мешками с зерном набивали вагон за вагоном.

На руках вагоны откатывали на второй путь, где сцепщики вязали их цепями.

На крыше вокзала — наблюдательный пункт, туда с большой охотой полез подвернувшийся на глаза Сафронов.

Плачущая жена не отставала от него ни на шаг и под многий

смех, придерживая раздувавшиеся на ветру юбки, по зыблущейся железной лестнице ударилась за ним.

В сторону города, на разведку, были посланы двое.

Неожиданно за семафором укнул паровоз.

Забегали, закричали, и не успела еще разгореться паника, как к перрону подкатил смешанный поезд, набитый отпускными солдатами, мешочниками и дезертирами с Восточного фронта... Выскакивали из вагонов и, размахивая котелками, мчались за кипятком, в собиравшихся тут и там кучах с азартом рассказывали о нападениях на поезд, о перестрелках с кем-то и о последних ценах на муку и масло.

Прибывший паровоз оторвался от своего состава и набирал воду на втором пути.

— Заберем,— негромко сказал Павел котельщику Сальникову, указывая на паровоз,— немного попятить, пристегнуть к своим вагонам и — аминь.

— А эти... пассажиры?

— Хрен с ними... Которые убегут, которые на крыши посадятся... Пойдем-ка разношаем.

— Попытать можно... Эй, работнички чертовы! — крикнул он крошникам.— Шабаш! Забирай винтовки, шагай за нами.

Вдесятером они подошли к паровозу... Тендер был полон, вода хлестала через край.

Сальников запер воду и отвернул железный хобот, а Павел, заглянув в паровозную будку, ахнул:

— Убежал, пес!

— Кто?

— Машинист сбежал.

Еще двое влезли в паровозную будку.

— Вот так клюква!

— Чего-нибудь надо выдумывать...

— Выдумывай не выдумывай — на себе не повезешь.

— Понимающего человека найти бы...

— Где его, неположенного, найдешь?

— Дело труба.

— Ну-ка, погляжу, протискался вперед Сальников, трогая медные рычажки,— молодой был, в помощниках ведь с год ездил, да перезабыл все, шут ее дери...

— А может быть, в поселке машиниста поискать? — предложил весовщик Паранин.

— Времени нет.

— Я живо смотаюсь.

Он убежал.

В паровозной будке стало тихо.

Каждому слышен был лишь стук собственного сердца, сопенье огня в топке да неясный гул голосов, долетавших со станции. Сальников понимал: двинь он машину, будет спасена своя жизнь и сорок вагонов хлеба. К этому сознанию

примешивалось и чувство профессиональной гордости старого мастера. Все следили за его нерешительно ходившими руками.

Павла разжигало молодое нетерпение, хотелось оттолкнуть котельщика и самому наугад начать отвертывать головы всем рычагам и кранам, авось... Остальным просто хотелось уехать, усиливающаяся со стороны города стрельба не сулила ничего путного.

Шш...

Шш...

Шш...

Ш...

Паровоз дрогнул и поплыл назад... Толчок... Далеким переключением звякнули буфера хлебного состава.

— Действуй! — крикнул Павел, выпрыгивая вон.— А я побегу, проверю, не разорван ли где состав?

В этот миг с вокзальной крыши Сафронов с женой в голос рывкнули:

— Чапаны... Чапаны скачут...

Людей ровно вихрем подняло... Голоса завертелись, замесались, будто огонь на большом ветру:

— Паровоз!

— Давай сюда, давай паровоз!

Но паровоз уже был подпряжен к хлебному составу.

Хлопнул выстрел, другой...

Нужно было выиграть несколько минут... Павел с наганом в одной руке и с кольцом в другой руке побежал навстречу мешкам, крикам, мятущимся людям...

— Товарищи!

Его прижали к теплушке.

Упятился, улез на тормоз.

Яростные руки и кулаки потянулись к нему.

— Хватай его!.. Бей!

Поднял револьверы — бу бу бу — поверх шапок и картузов. Схлынули...

Павел улез на крышу теплушки и оттуда опять пытался говорить:

— Товарищи... У кого оружие... Банде — отпор!

Дернулся под ногами вагон и стал: забуксовал паровоз.

Еще яростней взметнулись головы, мешки, протянутые вперед руки: давя друг друга, приступом брали буфера, площадки, карабкались на крыши.

Кучка деревенских парней, во главе с Митькой Кольцовым, как бешеные проскакали по перрону, стреляя безостановочно и на все стороны.

Тогда сотни рук, в едином стремлении сдвинуть хлебный состав с места, вцепились в ребра теплушек, многие плечи подперли каждый выступ вагона, и железный конь, почуяв под-

могу, фыркнул и медленно, через силу, потащил за собой состав...

У Павла в груди, ровно челнок, ходило взволнованное сердце, когда прямо перед собой, во втором этаже вокзала за тюлевой занавеской, как в дыму, он разглядел красную фуражку начальника станции и наведенное на него, Павла, дуло ружья... Не успел поднять кольта... За грохотом выстрела не слышал звона разбитого стекла.

Хлебный маршрут, прибавляя гулкий шаг, уходил на север. На крыше одной из теплушек, раскинув ноги в порыжелых сапогах, лежал председатель Клюквинского укома — скупостонал и все пытался приподняться на локтях, чтобы глянуть туда, в снежные поля...

Город колотила лихорадка.

Шайки восстанцев и вооруженных чем попало обывателей мыкались по улицам, вылавливали по дворам не успевших отступить красноармейцев, из домов вытаскивали коммунистов. Там и сям валялись раздетые до нижнего белья убитые, вокруг них собирались кучки злорадов и любопытов.

На площади — молебен.

После молебна перед многотысячной толпой сельчан и горожан выступали с речами Борис Павлович и бывший председатель уездной управы; говорили отошавший купец Дудкин и рядовые повстанцы; потешил народ своим косноязычием столяр Митрохин; учитель гимназии Аполлинарий Кошечкин, волнуясь и нервно потирая руки, заговорил было: «Пришла пора, восстал народ», — но в это время на площадь с гиком вылетели вернувшиеся с вокзала три конные сотни.

— Ура... Ура-а-а...

Высоко над толпой взлетали шапки.

С трибуны, подбоченившись и картинно опираясь на эфес шашки, говорил уже Митька Кольцов:

— Друзья мобилизованные, пора проснуться, открыть глаза и крикнуть: долой паразитов трудового народа!.. С нынешнего дня своим приказом я временно отменяю советскую власть... И вам, граждане городские жители, довольно спать, пора проснуться и открыть свои глаза! Прошу вас, все как один, присоединяйтесь к народной армии... В нашем штабе получена верная телеграмма: в Елабуге — восстанье, в Москве — восстанье, по всей Симбирской губернии — восстанье, в Саратове — восстанье... На лодке вода и под лодкой вода, дрожит вся Расея!.. Друзья мобилизованные, довольно спать, пора проснуться... Из Петрограда нам везут тридцать тысяч винтовок... Смерть тиранистам, паразитам трудового класса! Да здравствуют большевики и весь простой народ! Долой поганые советы! Да здравствует Учредительное собрание!..

Из города на все стороны двинулись обозы с мануфактурой, кожами, железом и всякой всячиной. По дорогам на обозы нападали шайки дезертиров и грабили их.

В деревнях молились бабы.

Из далеких больших городов, встречу хлебным маршрутам, в дребезжащих теплушках катили красные полки. На грязных вокзальных стенах, под ветром, трепетали обрывки плакатов, газет с приказами и призывами революции.

Под Ключвиным

ударилась.

Город подмял кулацкую деревню, соломенная сила рухнула...

Восстанцы, бросая по дорогам вилы, пики, ружья, на все стороны бежали, скакали и ползли, страшные и дикие, как с Мамаева побоища...

Страна родная... Дым, огонь — конца краю нет!

[1920—1936]

Рассказы
и очерки



НА ВЕРНОЙ ТРОПЕ

1

Слободка куталась в пыльный, дымный вечер. По размытой дождями и развороченной мостовой гремели долгуши ломовиков, дребезжали пролетки. На дороге ребятишки играли в белых — красных. Белые скакали на палочках, размахивали плетью. В их головах красные бросали бомбы — пакеты, набитые пылью.

От тюрьмы к слободке через обширную площадь шли кучки ребят и девчонок с макаронной, со спичечной, с конфетной фабрик Гребезова. Перешучивались, пересмеивались, кричали припевки.

На пороге собственной хибарки Николай Семеныч Грибов — страстный голубятник и рыбак — чистил еще не уснувших язей.

Жена Евдоха подсиняла и, шаркая опорками, развешивала по двору белье.

Грибов выпрямил спину, с присвистом засопел потухшей трубкой и не сказал, а пропел, по своей привычке:

— Ма-ать, самовар поставь-ка, пор-а.

Уставшая Евдоха обернулась от забора и через плечо зло крикнула:

— Ай уморился, на крыше-то сидемши?.. Ай прикажешь разорваться? У меня не десять рук.

В калитку ввалился, блаженно улыбаясь, портной Митька Луковка и, захлебываясь пьяной икотой, сообщил:

— Шабаш, Семеныч, сматывай удочки... Вай-на! Красные бегут — выковыриваются. Вот-вот казаки нагрянут.

Грибов отложил в сторону последнего распотрошенного подуса и поднял бороду.

— Звони больше.

— Х-ха, звони!.. Грю справедливо, чичас из города, все знают.— Портной, размахивая руками, убежал в глубь двора раззванивать новость: говорят, казенки откроют.

Дочери в этот вечер не дождались. Чайничали вдвоем со старухой на вольном воздухе, на дворе, под чахлой березой с оборванными на веники ветвями.

— Куда бы она, ведьма, запропастилась?

— Молода, глупа, еще чего доброго за этими товарищами увяжется.

— Сломит голову.

— Охо-хо.

Евдоха украдкой смахивала мутную слезу и поминала казанскую заступницу.

Ночью в город нахлынули белые. Всю ночь в городе гремели выстрелы.

Домой Ольга пришла поутру. Сбросила дырявый рабочий фартук, умылась и в дровянике на свежих стружках завалилась спать.

2

Сызмальства Ольга в работу втянулась. То на поденку бегала, то с матерью стирала, за пятиалтынный в день в кровь сбивая руки. Года подоспели — и на фабрику поступила.

Дальше — больше.

Начала на вечерние курсы бегать; а к тому времени, когда в город пришли деникинцы, она состояла уже в комсомоле.

Все живое ушло в подполье: тысячи маленьких рук упорно подготавливали большую победу. Ольге поручили небольшой участок, объединявший до дюжины семей рабочих, отступивших в рядах красной дружины.

Аккуратно каждые две недели Ольга бегала по адресам, которые навздевала на память. Раздавала маленькие запечатанные конверты с деньгами. Как могла, успокаивала плачущих женщин, не забывала оделить конфетами ребятишек. Суетливая, как воробей, мчалась по улицам, ныряла в кривые переулочки, проваливалась в прорехи калиток, в черные пасти подвалов.

Бедовая, горловая девка Ольгунька — страсть. Ни из рук, ни из зубов никогда ничего не вырывалось. Казак — не девка. В работе ли, на погулянках ли — всегда за коновода ходила. Вертелки с фабрики Гребезова, макаронщицы, да и все девчонки мельничного курмыша, — все за ней хвостом стлались: шу-шу-шу да шу-шу-шу: это как, да это эдак ли?

Вечером придет Ольга с работы, примутся, бывало, вдвоем дочь пилить — дым в облака.

— Ольга, где ночами шляндаешь, какими такими делами занимаешься?..

— Мое дело.

Евдоха подпрыгнула.

— Твое? Дотанцуешься, девонька, в собачий ящик попадешь. Вон нонче на базаре шестеро висят и языки высунули... А за што? Все за политику.

— Моя шея — моя и забота.

Мать плакала, и сам кряхтел.

— Ох, ведьма, узнаю, што с товарищами возишься — башку оторву, на помойное ведро приспособлю.

Ольга спохватывалась:

— Што вы, роденькие, стекла битого обожрались — эдакое порете.

— Собачья огрыза!

— Холера дохла!

Получки ждали, как светлого дня. Через субботу во вторую приносила девка денежки. Пересчитает старик бумажки, на кучки разложит: в какую дыру скоко сунуть: это на корм голубям, это на новую сетку. У самой по домашности прорех много — тут недостаток, там недочеток.

— Што мало? Где еще сороковка? — спросит, бывало.

— Два дня не выходила на работу, да вот книжек купила.

Нахохлится, как старый дудак в ненастье, заворкует:

— Только деньги на ветер бросать твое дело, нет бы, где каждую копейку домой тащить. Все дурь на уме-то...

— Халява! — поддакнет и мать...

3

Нашла раз Евдоха в чулане в бросовом ящике листов сувой. За селечный хвост дала прочитать пьянчужке портному Митьке Луковке. Листки-то оказались про забастовку: все так и ахнули... Вот так Олюшка, вот так тихоня, вот так гулинька. Считали — высчитывали, кидали — прикидывали: в кого бы такая уродилась. Ни мать, ни отец такими делами не занимались, да и родня, будто не слышать. Правда, сам старик Грибов в молодости разочка два переночевал в клоповке, но как попамши туда в пьяном состоянии и совсем даже, упаси бог, не за темные дела.

Пришла в тот вечер девка с работы и, по своей бабьей специальности, сейчас — ширк к рукомошнику. Ужинать села. Старики так в нее и воткнулись, как шилья в колодку.

— Стерва ты, кудлатая стерва.

— В ривалюцию ударилась.

— Не говори, бат.

— Ни бога, ни царя, ни виновного козыря.

Ольга сразу не сообразила в чем дело и, захлебывая круто посоленный хлеб гороховым супом, просто спросила:

— Чево вы раскудахтались?

Евдоха, забыв о своих шестидесяти годах, вихрем подлетела, замахала перед лицом дочери листками. Горьким упреком и страхом задрезжал ее голос.

— Ох, сука, молода еще родителей-то за нос водить! Аль под цинкову крышу нас хочешь на старости лет засадить? Голубка, аль те не мил вольный свет?

— Не живется в тепле, в суше, за выработку правов взялась, хресьян вздумала жалеть, рабочих, а мать с отцом не жалко.

— Брось, тятя.

— Бросить-то бросим, да не знай — кто подымать будет. Прогонят вот с фабрики, ежели про «это» узнают.. Тогда не взыщи, покормил я тебя, потянула из меня жилы — будет... Тогда штоб и нога твоя на порог не ступала. Тогда вот иди — они тебя пожалеют, что ли, рабочие да крестьяне-то...

— Ни в чьей жалости я не нуждаюсь.

Как нитка за иголкой, тянулась за самим мать, ржаво скрипела:

— У-у, непутева башка, бесстыжи зенки! Отца-то на грех наводишь — велика выросла, да ума не вынесла.

Старик бурчал и бурчал, ровно сухие грибы на бечевку нанизывал.— С голоду подохнешь, вощь съест. Теперь тебе што: ешь, пьешь готовое, чужим горбом заработанное.

Ровно варом в дочь плеснул. Вскочила из-за стола, ложку бросила.

— Хлебом меня не кори, свое ем.

— Взы! Вишь взрызнула! Укажи, где твое-то заработанное.

— Што орешь на отца-то, как на подвластного? — подковырнет и Евдоха.— Ты, сука, не огрызайся, а слушай родительского наученья... Аль те родитель-то — лиходей, худому научит?

— А ну вас!

— Не нукай, еще не запрягла.

— Так-то, матушка моя, ежели не хочешь родительской воле подчиняться — иди на все четыре стороны, голова-те сломить.

— Брось, тятя, раззвонился, ровно соборный колокол в праздник.

Буркнет так Ольгунька, да и опять молчок, только пыхтит, в книжку уткнувшись.

Всеми мыслями и чувствами была там, далеко-далеко в горах, где партизанили свои — красные — и среди них миленок Колька Рыжий...

На Николу Зимнего для ради дня своего ангела Грибов пропустил наперсточек и, возвратившись от обедни, полез на крышу чужого загонять: упал и убили.

Евдохе осталось одно утешенье — дочь. И, мягкосердечная, все еще не теряла надежды поставить ее на путь истинный.

Сядет, бывало, ничком на краешек узкой девичьей постели да и давай-давай в фартук сморкаться.

— Дочка, образумься. Брось ты риволуцией заниматься, в годы уж вышла. Обо мне, об старой, подумай. Засадят, сгноят в тюрьме тебя — как я жить буду?

— Пустяки, — только бывало и скажет любимое слово Ольгуны.

— Щучья ты дочь, Олюнюшка, кабы знала, каково сердцу-то материнскому.

— Погоди, мать, белых прогоним, тогда заживем.

Евдоха, как клушка к цыпленку, припадала к голове дочери пугливо шептала, брызгая слюной и словами:

— Жди, пока черт сдохнет, а он еще и хворать не думал.

Так текло, бежало времечко. Дочь вертелась, металась, горела. У старухи в мотавню старости тыкались слепые, безликие дни...

Черт был живуч.

Морозной ночью, когда слободка спала мертвецким сном, «они» пришли и резко, по-хозяйски постучали.

— Эй!

Мать вскочила и, шлепая босыми ногами, заметалась по комнате, шаря спички.

— Спроси, кто это? — прошептала Ольга и вырвала у ней лампу.

Настойчивый стук повторился. За двойными промерзшими рамами хлопала нетерпеливая ругань, скрипели шаги.

— Живо отпирай, сволочь... Заперлись, иль денег много накопили?

— Счас, счас, — забормотала, заторопилась старуха, накидывая юбочку.

Ольга вспрыгнула на подпечек и улезла в дымовую трубу. Мать только и успела крикнуть ей напоследок:

— Холодно! Простудишься. Надела бы чо.

Ворвались трое. Громко стуча сапогами и звякая шпорами, прошли вперед. Вдули свет. Блеснули погоны. Красные обмерзшие лица шлепали губами. Оглушная Евдоха крестилась, плакала и истуканом стояла около чела¹. Перерыли, повыки-

¹ Ч е л о — наружное отверстие русской печи. (Прим. ред.)

дали из сундуков все. Облазили подпол, подлавку, сарай и, ругаясь, ушли.

Проводила гостей, кинулась к печке.

— Я ухожу, мама.

— Куда?

— Не спрашивай.

Поцеловала мать и ушла в ночь.

5

С тоской леденящей да с крупной надеждой вглядывалась Евдоха в проходящих по улице девок.

Пропала дочурка, совсем пропала, растаяла, как ручей в весенней реке.

Целый годик высидела старуха у окошечка заветного. Ох, долог показался этот годик, длиннее дум стариковских. Все глядела, глядела на покривившуюся калиточку — ждала...

Вот-вот, мол подъявится Ольгунька, по давнишней озорной привычке пинком распахнет дверь — влетит в светелку.

При каждом шорохе, стуке вздрагивала изболевшаяся мать. Залает ночью собака, старуха перекрестится, зачурается, в гнил угол поплывает и все ждет, ждет дочку родную.

Дни ползли, ночи, кряхтя, ползли, ползли недели, катились новолунья и полнолунья.

Год прождать — не мутовочку облизать, — у кого хошь, сердце в груди перевернется, а у матки родной и подавно. Горе едче сулемы.

Горючими слезами выплакала Евдоха глазыньки — ослепла. Ничего не оставалось делать, как Христовым именем побираться — пошла в куски. От горя ошалела старуха. Поседевшая, как выпаренная мочалка, голова от слабости беспрестанно тряслась. Озорные, слободские мальчишки ей кличку дали:

— Трясучка.

Мать не чаяла и в живых Ольгу увидеть. Пропала и пропала. Была и нету доченьки родной. Будто и не было никогда. Ладно.

Теплым весенним днем грелась Евдоха у ворот на солнышке. Со стороны города доносились трески, бухи, было похоже, что качаются и разваливаются дома. Подманила пробежавшего мимо сынишку сапожника — Ваську, которого узнала по голосу.

— Васянька, что там в городу-то делается, трещить больно страшно.

— Эх, тетеря глухая, у тебя все трещит — белые бегут, наши близко.

Через слободку в степь уходили обозы белых. Гремели телеги по выбоинам, ржали кони, глотки пьяно ревели.

Вечером того же дня сидела Евдоха с бабами у ворот — судачили.

— Гляди, гляди — Ольга идет!

— Девоньки — и то!

Старуха так и обомлела, слова вымолвить не может, сидит осовелая.

А через дорогу на перекосы Ольга бежит, каблучками стук-стук-стук-стук, на груди бант красный, на рукаве крест.

Подскочила, обняла мать, горячими губами впиалась в сухую и крепкий старухин рот.

— Дожили, мама!

— Анчутки сдохли! — подсказала та, захлебнувшись радостью от близости дочери.

— Черти в воду, пузыри кверху.

— Как с облака упала.

Не могла бельмами видеть: ощупала ноженьки, рученьки, головушку — все целехонько. Обцеловала всю.

Пошли во двор под руку.

И в молодом и в старом сердце звенела радость — в каждом своя...

— Што же тебе теперь награда будет?

— Не без этого, — засмеялась Ольга, — обязательно будет.

6

Завертелась Ольгунька в работе, как щепка в весенней реке. Днем все бегала, ночами редко дома ночевала — заработалась. Матери не нужно было больше христарадничать ходить — домовничала.

Чувствуя около себя дочь в редкие минуты и, глотая слезы, Евдоха начнет, бывало, как неразведенной пилой пилить:

— Пожалела бы ты себя, чадушко. Вишь — костлява стала, как вобла.

— Пустяки.

— Аль тебе свобода-то дороже матери родной, сука ты эдакая... От работы-то лошади дохнут. Отдохнула бы трохи.

— Пустяки, мама, отдыхать некогда — работы выше головы...

Или выберет, бывало, вечерок свободный, начнет просвещать мать, книжку ей прочитает, расскажет что. Беда со старухой — черствая. Все новое-то в голову туго лезет — слушает, да и заскрипит:

— Сорока, сорока, наговорила, как каши наварила, а есть нечего.

Смеется Ольгунька, заливаясь.

Так и жили, старая да молодая — и близкие и далекие друг другу.

ПЕРВАЯ ПОЛУЧКА

1

Бедно жила семья крючника Ивана Рулева.

Сам по летам работал на пристанях, а зимами, когда жизнь на Волге замирала, сапожничал и клал слобожанам печки. Мать ходила по людям, стирала белье, помыла. Рожала каждый год — ровно блины пекла — по одному да по два. Не приживались ребятишки: месяц, другой, много-много годик помается, да и свернет голову под крыло.

Шутка сказать: родила-родила Феклуша, счет потеряла, а в живых осталось два погодка — Кирилка да Ольгунька. На чадушек своих дышит мать не надышится, а они худющие оба, в чем только душа держится, кости на них во какие, хоть хомуты вешай.

Об сладких ли кусках думать, когда все на тебе рвется и расползается. День ко дню ложился, как кирпич к кирпичу. Так и жили без кокурок, без варакушек, на сухом куске. Об жареве, об вареве ли тут думать? Феклуша опурилась работавши, а прокормить своих галчат не в силах была. А сам-то Иван — мужик горячий да шалой. И не сказать, чтобы запьянцовский, а так, пришей-пристегай: вступит в zenки, накатит окаянная сила, и начнет рвать, метать. Про получку жена лучше и не спрашивай: корову продал и деньги пропил, — короткий разговор. А как заикнется она о недостатках, сгребет ее Иван за жидкие волосенки и давай куделить, всю в один синяк изобьет. И кричать не моги, характерный был мужик, чуть что — сейчас схватит топор и давай самовар или сундук рубить.

Забьется Феклуша с ребятишками куда-нибудь в темный угол на погребницу или сеновал и глотает молча горькие слезы, да грешком выдранные волосы вычесывает.

Детки — родная кровь — примутся, бывало, улещать ее:
— Не плачь, мамка, мы тебе на помойке лимонных корок наберем... Приложишь к синякам-то, они и заживут.

Сопя и краснея со злости, Кирилка добавлял:

— Погоди, мамка, вырасту большой, башку ему откручу, а тебя белыми пирожками и говядиной кормить буду.

А Рулев сидел в кабаке, в гудящем кругу пропойц, и, сам не радуясь лютости своей, плакал скупыми мужицкими слезами.

— Брось, Ванька,— утешали его,— баба не горшок, не разобьется.

Частенько загребистая отцова лапа шерстила и Кирилку с Ольгунькой. На дочь еще меньше шишек валилось: была она девочка забитая, тихонькая, ею, бывало, хоть полы мой да пороги подтирай,— рук не отведет. А Кирилка не из того материала был скроен — кремень мальчишка. В отца характером пошел — жесткий, из волчат волчонок, из зверей зверенок: хоть в ступе его толки, хоть в котле вари, хоть огнем жги — не сдаст.

Отец видел в нем надежду свою, любил его колючей любовью, а бил походя. Напется, бывало, в дым, раскуражится:

— Корись!

Кирилка молчит, в глазах злоба сверкает.

Огребет его отец и ну сплеча охаживать ременными вожжами:

— Корись, сукин сын!

Посинеет от надрыву, как уголь почернеет Кирилка, но никогда отец не дождется крика: «Тятенька, прости Христа ради».

Мать не подступись, ни-ни,— разорвет.

Из сил выбьется мужик, бить бросит и видит: покатился сын по полу, не дышит. На руки схватит, прижмет к своей богатырской груди, крестить начнет, целовать закрытые глаза, разбитые в кровь губы.

— Сынок, надежа моя!

На руках бережно потащит его в трактир водкой отпаивать.

— Кирилка, сердечушко мое, али я зашиб тебя, прости меня, окаянного...

После таких побоев мальчишка и глаз не казал. Несколько дней жил в Кобыльем овраге или за слободкой в разрушенных кирпичных сараях. Медным пятакон сводил синяки с рожги и, давась обидой, грозил слободке:

— У-уу...

Соскучившись об матери, он возвращался домой, голодный и грязный.

Не только отца, но и всех обитателей своего дома не любил Кирилка. За свою недолгую жизнь со всех сторон он только и ловил тычки да пинки. Одни шелкали шутя, чтобы подразнить, другие — из озорства, иные — от злости. Корзинщик Горбила

всякий раз больно стегал прутом, когда кто-нибудь из ребятишек проходил мимо его хибарки. Всякому любо было позабыться с парнишкой.

Кирилка растил в груди злобу против всего мира.

2

Подвал, в котором жили Рулевы, был длинен и мрачен. Из угла старые иконы безразлично разглядывали неприглядную обстановку: окованный расписной жестью сундук, шкаф с посудой и большую кровать за ситцевым пологом.

Субботний вечер теплым шумом заметал слободку. В подвал едва долетал гул улицы. Мать с Ольгунькой сидели на сундуке и разматывали мотушку пряжи. Сын лежал на печке. Они были голодны и ждали отца с получкой.

Вот по двору покатила пьяная отцовская песня. Мать бросила работу и, как глупенькая, заметалась по подвалу, хватаясь то за самовар, то без нужды опираясь головной платок.

— Мать пресвятая, господи Исусе, идет.

В сенях загремело по ступенькам сшибленное отцовским пинком пустое ведро, в дровянике раскудахтались усевшиеся на нащест куры, и, низко наклонившись, чтобы не высадить лбом косяка, через порог шагнул отец.

Одно ухо ему кто-то раскровянил, рубашка была располыснута до самого пупка.

— Мать, ужинать!

— Не варила, Ваня, седни, не обессудь... Дай четвертак, Олька на живую ногу за сеledкой-серебрянкой слетает.

— Четвертак?.. Четвертаки на дороге не валяются, я за них под мешки мыряю... То-то...

Он тяжело опустился на табуретку, вынул сшитый из разноцветных лоскутков кисет и вытряхнул медяки, которые со звоном покатались во все стороны.

Мать с дочерью ползали по полу, собирая деньги, а Кирилка молча лежал на печке и сверлил отца глазами, налитыми ненавистью.

Отец разул один стоптанный грязный сапог и, увидав сына, обрадовался:

— Сынушка, надежда моя... Слазь, целуй мне ногу.

Тот лежал и молчал.

Старик общарил карманы, нашел оставшийся от трактира огрызок заваянного сахару и крикнул:

— Кирюха, держи гостинец... Только сперва ногу поцелуй, сделай родителю уважение.

Мальчишка не сделал ни одного движения, не ответил ни слова.

Такое отношение взбесило старика. Он метнул на печь сапог и рявкнул:

— Слазь, паскуда...

Ольгунька с плачем кинулась за дверь, в сени. Мать, боясь между желанием убежать от побоев и защитить сына, стояла у стола и шептала:

— Господи, господи, царица небесная, заступница матушка...

За волосы одним рывком Иван стащил сынишку с печи. Мать завыла благим матом и грохнулась на пол, обняв ноги мужа.

— Ух... Уух...

Иван, запнувшись о жену, упал.

Кирилка метнулся к шестку, схватил утюг, полный горячих углей, и бросил отцу в голову. Взревел Иван, вскочил и вслед за сыном в одном сапоге выбежал в сени, на двор, но того уже и след простыл.

Вернулся Рулев в подвал и принялся неторопливо, без азарта, бить жену. А ночью, при свете измятой жестяной лампы, избитая Феклуша сидела у изголовья мужа и картофельной мукой присыпала ожоги на его багровой шее.

— Ах, прохвост, выкормил-выпоил на свою шею... В отца утюгом... А-а? Много ли в нем мозгу, стервеце... Тоже характер справляет... Все твои, матушкины повадки.

— Глупый он, несмышлениш.

— Замолчь, сука!

3

На том же дворе, где проживали и Рулевы, в темной бросовой бане ютилась артель пыльщиков. Всю неделю жили они согласно, а по воскресеньям, надев новые рубашки, шли после поздней обедни в трактор «Эльдорадо» и, напившись, затевали драку.

Глядеть сбежалась вся улица.

После одной из таких драк разгоряченный пыльник Игнат Чекушкин бежал прочь от места побоища и, засунув палец в рот, щупал, сколько выбито зубов. Отбежав с полквартила, он пошел тише. Схватился за голову — картуза нового нет. Пожалел: невелики деньги полтинник, а взять негде, не вошь, в гашнике не удержишь. Хотел Игнат домой идти, да вспомнил свою неприветливую грязную баню и повернул на гору, где каждый праздник слободские мужики и ребята собирались играть в орлянку.

Там Игнат встретил и Кирилку, одиноко сидевшего на бугре в стороне от людей.

— Кирюха, ты чего на отшибе, ворожишь, што ль?

Мальчишка устало и безразлично взглянул на него.

— Думаю.

Пильщик заржал во всю глотку, подсел и хлопнул его по плечу.

— Брось, паря, не забивай голову... Думает богатый над деньгами, а нам думать не о чем.

Кирилка, как большой, матюкнулся и, сплюнув отвернулся в сторону. Поглядел на Волгу, на синие дремучие леса и с напускной беззаботностью сказал:

— С отцом разодрался... Домой больше жить не пойду.

— Та-ак, в какую же путину ударишься?

— Воровать пойду.

Замолчали оба и задумались каждый о своем.

На горе голосистая гармонь бойко плела звонкий перебор и чучка шатающихся ребят хрипло и озорно орала:

Две сестренки одной крови —
Это пара голубей,
Губки алы, черны брови,
Хоть родная мать убей!.

Девичьи голоса задорно отвечали:

Ты не стой у ворот,
Не стучи подборами,—
Меня не подкуешь
Холодными подковами...

— И думать забудь,— сказал Игнат,— воровство самое последнее дело.

— Как-никак, а все лучше, чем христарадничать идти...— В его памяти всплыли завидные картинки сытой и пьяной жизни слободских воров. Вон Афонька Бульга, Мишка Горбач по ширме ударяют, а живут как? Распишутся по разу и неделю гуляют.

— Есть чему позавидовать, дурачина ты, простофиля. Летают соколы до время, попадут в сыскную, там требуху-то отобьют... Айда-ка лучше завтра со мной на завод, работать приспособлю.

— Чего мне там делать? Чертей ковать?

— Дело найдем, подрядчику бутылку в зубы — и короткий разговор. А подрядчик нашинский.

— Молодой я, не возьмут.

Проговорили они весь вечер. Ночевал Кирилка с пильщиком в бане, куда мать тихонько принесла ему пучок луку зеленого и ломоть круто посоленного черного хлеба.

4

Широко распахнутые заводские ворота сотнями заглатывали мастеровых дневной смены и артельных рабочих. Протолкнувшись через табельную, Кирилка, держась за Игната, очутился на заводском дворе. Сперва он обалдел от царящей вокруг суеты, лязга и грохота.

Несмотря на ранний час, завод дрожал в бешеной, огненной лихорадке. С визгом на поворотах по двору катились вагонетки с углем, открытые площадки обрезков железа, костылей, бракованных поделок и путаной проволоки. В широких окнах мастерских дребезжали прокоптевшие стекла.

Посредине двора громоздились леса — строился новый заводской корпус. По зыбкому настилу Игнат провел мальчишку на верхний ярус, где их встретил старик в суконной поддевке и лакированных, подсветленных деревянным маслом. Пыльщик сдернул с нечесаной головы обтрепанный картузишко и низко поклонился.

— До вашей милости, Карп Митрич...

Наметанным глазом подрядчик скользнул по чумазой рожице мальчишки, по его проросшим грязью и обметанным цыпками ногам и строго спросил:

— На поденку? Скоко годов?

— Пятнадцать, — соврал Кирилка, накинув три.

— Как он, Карп Митрич, сирота горькая, и родитель его убившись на войне, а парнишка шустрый и почитатель, и мы, стало-ть, понятие имеем и в долгу не останемся.

Карп Митрич взял Кирилку за подбородок и, глядя ему в глаза, наговорил, ровно топором насек:

— Двугряш на день. Делов не бояться. Десятника слушаться. Обед час. Работа с шести утра до шести вечера. Будешь ленишься — за хвост и в чан с известкой.

Игнат, кланяясь, упряился к сходням, а старик повел парнишку в другой конец яруса, где весело, по-утреннему здоровались звонкие топоры и вперегоньшки стучали молотки. Сочная матерщина горластых десятников перешибала все и гремела, как гром небесный в ясный день.

...Неделя пролетела незаметно.

В субботу Кирилка получил первую в своей жизни получку: рубль с двугривенным. Почувствовав себя человеком самостоятельным, он решил пропить двугривенный и пропил в компании с товарищами. Домой, в свой подвал, ввалился с шумом:

— Здорово ли живете?

Лежавший на кровати отец встал и, почесываясь, с удивлением спросил:

— Кирилка, да ты никак пьян, щучий сын?

Сын ударил об стол оставшимся серебряным рублем и зло засмеялся.

— Тятка, рабочий я теперь человек, али с устатку и выпить нельзя?..

СЕДАЯ ПЕСНЯ

За Салом, в глухой степи, где вздыбливаются встречные ветра да яростно клекочут бездомные беркуты, грудастый донской жеребец настиг калмыцкую кобылицу.

Длинногривая летела, распластываясь над травой, металась из стороны в сторону, а грудастый напористым галопом шел по следам и, равняясь с ней, ржал буйно и нетерпеливо.

Длинногривая не сдавалась. Она хлестала копытами в грудь дончака, кидалась на него с оскаленными зубами. Уши ее были плотно прижаты, а глаза цвета синеватой нефти, казалось, вот-вот брызнут огнем беспредельной ярости. Это была самая дикая лошадь из калмыцких табунов.

По всей степи носились скакуны, вспугивая медных кобчиков, перемахивая через буераки, птицами взметываясь на курганы. Трава горела под их копытами. На просторе калмыцких кочевий грудастый смял и растоптал упорство длинногривой...

— Моя мало-мало приплод есть, — сказал опаленный зноем калмык, и его лунообразное лицо засияло.

— Э-э, не скажи, Учур. Жеребец-то ведь мой? — неторопливо ответил ему казак.

Калмык запротестовал:

— Ну так что ж, бачка? А кобыла мой, приплод тоже мой, бачка!

— Ну нет... Шутишь ты, Учур... И не по-христиански судишь. — Казак строго помотал пальцем перед раскосыми глазами калмыка. — И где это написано, штоб кобыла святым духом? А? Н-ни-и-и-где! Кобыла што — пустое место! А жеребец туточки винова-а-ат. А жеребец, я тебе говорю, мо-о-ой, — тянул казак. — Стало быть, и о приплоде речи не может быть, акромья как мой, — да и только.

Калмык был уничтожен такими доводами, но отказаться от высказанной мысли не мог.

— Ну, как же, бачка... Мой кобыла ведь,— отчаянно упорствовал он.

— Эх ты, душа астраханская. Да я ж тебе...— И казак снова начинал втолковывать калмыку свою правоту и обещать, что его бог покарает за жадность. Для большей убедительности казак то повышал голос до крика, то понижал до шепота. Калмык слушал и обливался потом.

Полдень застал их в кибитке Учур. Они пили кумыс и продолжали препираться. Эти два человека представляли прямую противоположность друг другу. Калмык был сонлив, неуклюж и колченог. Ходил он вразвалку, а бегать, как и все калмыки-наездники, не умел. Казак же, наоборот, был гибок и прям. Во всех движениях его скользила уверенная лень, а в глазах постоянно вспыхивали лукавые огоньки. Незаметно разговор их отклонился в сторону. Калмык, замирая от страха и любопытства, осторожно выспрашивал...

— И он все может?

— Как пить дать,— утверждал казак, прихлебывая белую жижицу.— Скажем, согрешил ты — не отдашь мне приплод, а бог тут как тут. Ты что ж, говорит, Учур, жеребенка-то Максимова зажил? А? А рази ж, спросит, такой уговор у вас был? Ну и...— Казак оборвал и потянулся за кисой¹.

— Ну и что, бачка?

— И-и-и, не говори. Осерчает!

— Осерчает?

— Дюже!

Натешившись над калмыком, Максим поднялся с кошмы и вышел. В кибитку донесся его голос:

— Значит, столковались, кунак? Коли кобылка — будет твоя, а жеребчик — мой. Так, что ли? А с счастливого четверть водки магарыча.

Учур, слышав о водке, закивал головой, заулыбался, блестя глазами. Казак вскочил в седло, поднял плеть и, припав к вытянувшейся шее лошади, растаял в июльском мареве...

А через год, когда степь снова задымилась пестротканьем, Учур появился в станице, во дворе Максима, и закричал пронзительным голосом:

— Моя приплод привел, ставь водка!

Вокруг кобылицы калмыка вертелся тонконогий жеребенок и уморительно прыгал. Максим засмеялся, вспомнив прошлогодний спор.

— Афонька, беги в кабак,— приказал он младшему сыну.

Пока тот бегал, Максим успел рассмотреть жеребенка. С первого же взгляда этот смешной упрямец сильно понравился каза-

¹ Чашка.

ку. Опытный глаз быстро приметил и оценил в нем задатки скакуна.

Прибежавший из монополюшки Афонька поставил четверть на стол, достал из погреба соленых огурцов, винограду, порезал пшеничный бурсак, и под черешнями, склонившимися над столом, закипела попойка. Кончилась она тем, что вконец захмелевший калмык в ночь уже сел на выменянного за свою длинногривую поджарого мерина и уехал обратно в степь, икая и распевая песни.

Пел о том, что звезды указывают ему дорогу к кибитке, что из жеребенка вырастет хороший скакун и дадут за него целый табун коней, а Учур подарил его казаку за четверть водки.

На заре, когда казачки, прогоняя коров в табун, петухами перекликаются, приветствуя друг дружку, Максим снова осмотрел сосунка.

— Толк выйдет. Должен выйти,— уверял он себя.— Ну, ну, шельма,— ласково грозил жеребенку, который, собираясь в комочек, норовил лягнуть хозяина.— Ишь ты, азиат!

С этого дня Максим стал растить и холить жеребенка. Каждое утро гонял его по траве, чтобы копытца, вымытые росой, крепки и не были ни хрупкими, ни мягкими. Часто купал его, чистил, кормил как-то по-особенному и никого не подпускал к нему. «Пусть одного хозяина имеет»,— думал он. Жеребенок знал голос Максима и, гремя копытцами, стремительно летел на его зов, прыгая через собак, растянувшихся на солнцепеке, свиней, опрокидывая ведра и все, что попадалось ему на пути. Максим так ревностно заботился о своем любимце, отдавая ему все свои помыслы, что тот и в снах стал прыгать перед ним, буйно веселясь. А казак, опасаясь за целость его ног, испуганно кричал: «Го! Го!»— и, просыпаясь, бежал в конюшню.

Где бы ни был Максим, у соседа ли, в станичном ли кабаке, он неизменно затевал разговор о жеребенке.

— Ну, брат, и конь у меня, ну и конь — и-и-и,— тянул он, сладко закрывая глаза и подперев щеку ладонью.— Конь... конь... картинка! — крутил Максим головой. И вдруг, встрепенувшись и вытаращив глаза, грохал кулаком по столу и хрипел, перегибаясь к собеседнику:

— Знаешь... Ни у кого нет такого! Ни у кого!

— Рано хвалишься, Максим Афанасьевич. Ешо ничево не види.о.

— Брешьшь!

Долго казак ломал голову, выдумывая, как бы позанозистей назвать жеребенка. Извелся, а не мог подыскать подходящего имени своему любимцу и пошел к атаману. Тот сидел в палисаднике в одних кальсонах и, изнывая от жары, тянул ирьян.

— Зови Ханом,— посоветовал он.— И коротко и хорошо, а к тому же и конь твой из азиатов,— глубокомысленно закончил атаман и напросился на магарыч.

— Это как будто подходяще,— согласился Максим.

С тех пор только и было слышно в его дворе:

— Хан, чертова голова, куды лезешь,— гудел старший сын Гришка, отгоняя жеребенка от мешков с мукой.

— Ха-а-ан,— ласково кликал сам Максим.

— Хан, проклятущая животиная,— вопили бабы, заметив, как озорной сосунок топчет цыплят.— У-у, идол пучеглазый, бодай тебе покорежило!

Жеребенок срывался с места, взбрыкивая, летел в дальний угол двора, мчался обратно и, вздыбливаясь, на скакивал на баб. Те визжали переполошливо и лепили на Хана ядовитейшие ругательства. Максим, прислонясь к амбару, покатывался со смеху.

— О-ххо-ххо! Ой-ой, умори-и-или,— болтал он руками и под яростные взгляды баб покатывался еще пуще и перегибался пополам, как надломленный тополек. А потом он угощал любимца бубликами и сахаром.

Домочадцы роптали:

— Связался черт с грешной душой. То, бывало, во двор не заманишь, а теперь со двора не выпроводишь. Покою нет.

А Максима словно и не касалось это. И лишь когда кто-нибудь вооружался увесистым поленом, намереваясь вздрючить провинившегося бесенка, он выступал на защиту:

— Я тебе...

И покушавшийся, охлажденный грозным окриком, моментально забывал о своем гневе и прощал Хану все его прегрешения. Обрывать Максим любил и умел. Лет пять назад он коротко объявил собравшейся полудневать семье:

— Ну, детки, наживайте, а я вам не слуга боле. Будя, поработал.— И довольным взглядом обвел свой богатый двор.— Ишь добра-то!

Домочадцы переглянулись. Сыновья закашляли, бабы прижухли. Пелагея, седеющая жена Максима, встала и поклонилась мужу:

— Твоя воля, батюшка. И на этом спасибо.

А Гришка, скупой и расчетливый, чуть не плача, загундосил:

— Дык как же так, папаша, покос вить подходит. Мыслимое ли дело?

— Зась... горлан,— грохнул Максим.— Работника наймайте.

И среди тяжелой тишины вышел из-за стола.

С того дня он дома бывал реже, чем ненастье среди летней поры. Либо он сидел в станичном кабаке, который держал грузный казак Свирякин, либо мотался по ярмаркам, покупая и выменивая лошадей. Лошадником Максим был страстным. Все маклеры, конокрады, цыгане области знали его и в глаза и за глаза. Погулять Максим всегда был не прочь. Часто, прокутив все, что бы-

вало у него на руках, он лимонил ключи у задремавшей супружницы и тихонько пробирался в амбар. Пять-шесть приятельских тачанок воровски подкатывали ко двору, мигом нагружались тяжелой пшеницей. А потом Максим снова гулял несколько дней. Когда же Пелагея бодрствовала, а Максиму лень было воровать у калмыков коней на пропой своей души, он промышлял по мелочи.

— Бабка, колесо-то у тачанки совсем покорежилось, — говорил он деловитым тоном. — В кузню надо бы.

— И то верно, — соглашалась Пелагея. — Вот уж Гришку пошлю.

— Дождешься твоего Гришку. Лодырь губастый. Отец не сделает, так никто не подумает. — И Максим, продолжая ворчать, снимал с тачанки колесо и катил его по улице перед собой.

У церкви Максим останавливался, набожно крестился и, оглядываясь по сторонам, сворачивал в переулок, где ульем гудело свирякинское заведение. Колесо обыкновенно домой не возвращалось.

— Починяет кузнец, — отмахивался Максим на все вопросы домочадцев.

Хан привязал Максима ко двору. Незаметно прошло три года. Из нескладного жеребенка вырос точеный красавец-скакун. Легко, по-оленьи, носил он свое тело на тонких ногах и мог долго скакать, не уставая. В его экстерьере не было ни одной задоринки. Знатоки ахали и часами любовались могучим длинноскошенным плечом, высокой холкой и глубокой грудью. Каждый из них считал долгом, прощупав пах и крестец Хана, многозначительно крякнуть.

Передние ноги скакуна были поставлены узко, а задние широко и прямо, так, что от маклака и до подошвы копыта с внешней стороны можно было провести совершенно отвесную линию. Такая постановка ног у скаковых лошадей — многообещающий задаток. Мать Хана была удивительно красивой: не гнедая, не рыжая, а светло-золотистая с переливами.

От матери ему досталась рыба гибкость и волнистая грива, а от грудастого отца — напористость в беге, белые чулки на все ноги и в лоб маленькая звездочка с проточиной до самого храпа.

Даже и тогда, когда Хан стоял, в нем чувствовалась напряженная готовность сорваться подобно тетиве. А когда скакал, то конечностей ног не было видно, и казалось, что летит он, не касаясь земли. Всадник же видел отшлифованную струю чугуна, бешено бьющую навстречу.

Зависть и удивление, половодьем разливающиеся вокруг Максима, еще больше возбуждали его гордость и делали его недостижимо счастливым. О продаже Хана он и думать не хотел.

— Голову клади — не отдам, — говорил покупателям.

Сотник Сафронов прилип к Максиму, как цимлянский репей к собачьему хвосту. Продай да продай. Они стояли посреди дво-

ра и вели горячий разговор. Сотник давал уже за Хана тысячу рублей, но Максим упрямо крутил головой. Тогда молодой офицер выхватил из кармана щегольского кителя пачку кредиток и сунул ее Максиму.

— На, бери, тут три тысячи... больше не имею... на, давай коня.

Максим отстранил деньги.

— Отдай, — чуть не заплакал Сафрон и, сорвав с головы си-
реневою папаху, ударил ее оземь.

— Не отдам, — отрезал Максим, швыряя свою.

Сотник побагровел, как спелая слива, резко повернулся и пошел, рубя шаги. У калитки он громко плюнул и так рванул ее, что крашенный частокол задрожал и загудел. Максим же, тихо посмеиваясь, глядел ему вслед.

— На́ десять, ваше благородие, только отвяжись...

На Успенье в станице открывался кермаш¹, и казаки стали готовиться к скачкам. Максим готовился уже давно. Целую неделю кормил он Хана сухарями, на зорях, чтобы никто не видел, проминал его в займище, а на ночь смазывал ему ноги свежим коровьим маслом. Сам же он почти ничего не ел, спал на голой земле, чтобы стать легче, и даже бросил пить. Казак волновался и нигде не находил себе места.

Утром, в день скачек, Максим открыл двери конюшни. Хан встретил его, гремя кованым ржаньем и нетерпеливыми копытами. За это утро домочадцы сбились с ног, снаряжая своего хозяина на праздник. Гришка оправлял новое седло с серебряным набором, Афонька выколачивал потники, а бабы украшали уздечку разноцветными лентами. Максим, стараясь казаться степенным, осматривал подковы Хана. Недавно он собственноручно перековал жеребца, а потому осмотром остался вполне доволен.

— Ну, Хан, смотри не выдавай, — тихо обратился он к своему любимцу и заискивающе погладил его ладонью. — Уж я ли тебя не кохал...

Через час Максим, красуясь бравой посадкой, выезжал со двора. За воротами Хан плавно, как волна, поднялся на дыбы, так же плавно опустился и, чуть покачиваясь, пошел легко, играючи. «Хороший знак», — подумал Максим.

На кермаш съезжались со всего Дона. Были тут и строголицые, бородатые, словно с икон сошедшие, старообрядцы из глухих хуторов и заимок, цыгане и цыганки, наглые и крикливые неряшливые пастухи с западных степей и диковатые калмыки с дальних кочевий. В этой пестрой толпе шныряли маклеры из Ростова с непомерно толстыми цепочками на жилетках и нафабранными усами.

¹ Большая ярмарка, на которой торгуют главным образом скотом.

Кермаш клокотал, захлебывался в зное, в пронзительной разноголосице.

На вечер орда степняков перекадилась к станичным садам, где сидельцы уже врыли призовой столб и провели плугом глубокую борозду — грань, заходить за которую воспрещалось. Максим беспокойно ерзал в седле, отыскивая чужих скакунов — соперников Хана. «Колыхалины скачут, Дохновы, — молчаливо отмечал он, — вон и фетисовская кобыла. А это? Э-э-э, да и Фроловы скачут». Перед Максимом мелькнул на горбоносом донце продувной и плутоватый Егорка Фролов. В зубах он держал бублик, и его веснушчатая рожица сияла довольством.

Атаман, записав Хана в «скачущие», сказал Максиму, уронив улыбку и глаза на свои лакированные сапоги:

— Видал, у Сафронова какой жеребец? Смотри, парень!

Сотник Сафронов, жаждая затмить славу Хана и тем уничтожить его упрямого хозяина, привел из Бухары прекрасного, белого в ржавом крапе скакуна. Бухарец на первый взгляд казался нескладным потому, что был длинен и гибок, как кошка, но ходил он мягко, будто плыл, и это заставило Максима настроиться. «Добрый конь, чего и говорить», — признался он самому себе.

Хан горячился, храпел и часто дыбился, порываясь скакать. Вокруг него толпились степняки. Сафронов прогрел своего бухарца у призового столба. Он то вел его коротким галопом, то пускал на размашистый намет. Ни сотник, ни Максим не замечали друг друга. Станичные казаки, предугадывая, что бой за первенство будет между ними насмерть, хитро перемигивались и пересмеивались.

Дед Сахнов, гордый тем, что больше других знает о Хане и его хозяине, опустив на грудь грязно-желтую бороду, рассказывал окружающим медленно, словно нехотя:

— Приплоду от Хана Максим не желает иметь. Другой, говорит, такой лошади не может быть. Ну, кобылок-то из-под Хана и пристреливает. Плачет, а стреляет.

— Да, держится он за лошадку, — поддакивают слушатели.

— Дык как же, — прыгает дед. — Сыну родному не отдал. Сы-ыну! Приходит, значит, Гришка на леваду ночью — разбудил отца: так и так, батя, отдай мне, мол, Хана, а доли из хозяйства никакой не надо. А Максим и отвечает: «Вот што, сынок, ты пустых разговоров зря не затевай. Помру — твой конь тады, а теперь брысь, не то арапником вздую». Отрубил доразу! Натянул чекмень на голову и хр-р-р-р, здорово ночевали!

— Эй, кто скачет, становись! — закричали у атаманского стола. Толпа загудела и придвинулась к самому столбу.

— Осади за борозду, о-сс-сади, кому говорят, — надрывались сидельцы, сминая конями край толпы. Наездники строились в шеренгу. Максим, собиравшийся скакать сам, в последнюю минуту раздумал и посадил на Хана Афоньку.

— Смотри... и чтоб плетью ни-ни,— строго-настрого приказал он обрадованному сыну и боком затесался в толпу.

Скачки назначили на двадцать верст. Скакуны должны были перемахнуть за бугор, дойти до мостовской толоки и через бугор же вернуться обратно к столбу. Когда все было готово, наездники отъехали за столб саженой на шестьдесят для разгона. Лица выдавали наездников. На одних стыла деревянная улыбка, по другим растекалась бледность.

Атаман, размеря шаг, важно подошел к столбу. Окинув окружающее быстрым взглядом, он махнул рукой, давая знак наездникам. Те волнуемой лентой рысью пошли к столбу, ревниво наблюдая друг за другом. Гомон в толпе разом стих, будто его отсекли клинком. В нахлынувшей тишине слышен был только неясный гул, изредка звяканье подков, неосторожное треньканье удил. Кони шли дружно, бок о бок. Пахло кожей, конским потом, чувствовалось огромное напряжение.

Атаманская рука медленно подняла флажок. Наездники, как по команде, пригнулись и влипли в атамана звереющими глазами. Кони заплясали. Атаман, обрывая томление, резко дернул флажок книзу.

— Пошел! — взвизгнул он, приседая.

Шеренга хлестко метнулась и поломалась. В толпе всадников на миг вспыхнул крик. Кое-где из пыльной завесы поднялись руки с нагайками. От столба по накренившейся земле помчался бешеный ураган.

Толпа ожила и заголосила. Атаман, откинув флажок, поребачьи засуетился и, вскочив на первую попавшуюся лошадь, полетел вдогонку скачущим. За ним увязалось еще с полдюжины самых азартных.

Максим, взором проводив скакунов за бугор и чувствуя, как в груди его что-то ноет и давит, опустил на землю и предался терзающему раздумью. Перед глазами его плыли Хан и белый бухарец.

Афонька тоже волновался. Он искоса наблюдал за сотником и видел, как тот, напрягаясь, сдерживает своего скакуна. «Тугоуздая лошадь», — решил Афонька. Время от времени он сам испытывал Хана. Отпускал повод и сжимал ногами его бока, но Хан не менял резвости. Афонька тревожился и еще подозрительней наблюдал за сотником.

Орда, ожидая появления скакунов, кучками сидела на траве. Разговоры не вязались. Все чаще глаза тянулись к горизонту, подолгу всматриваясь в каждую чернеющую неровность. Некоторые, не вытерпев, скакали к бугру и уныло возвращались обратно.

— Не видно, — разочарованно бросали настороженной толпе.

— Слышишь, Максим, не видно еще, чего задумался?

— Не лезь, — свирепо огрызнулся тот на молодого краснощекого казачка.

Внезапно мальчишка, карауливший на кургане, сорвался и, махая шапкой, погнал буланого жеребчика вниз.

— Идут, идут...— зашумело кругом, затормошилось.

— Где идут?

— Идут, — вопил мальчишка, задыхаясь и осаживая жеребчика. — Скачут... от Кривой межи... сафоновский конь впереди...

— Как?.. — Максим зашарил руками по поясу, одернул рубаху.

На бугре одновременно выросли два скакуна. На мгновение они четко обрисовались и нырнули вниз. Склон бугра они взяли так быстро, что толпа вторично увидела их уже несущимися по ровной, как стол, толоке. Белый конь тянулся в струнку, неся высокого сотника, а Хан, казалось, скакал без всадника. Афоньки, прильнувшего к шее коня, не было видно. Сотник часто опускал нагайку на своего бухарца.

— В плеть кладет, — кто-то рассмеялся нервно и зло. Люди, тяжело дыша, напирали друг на дружку, тянулись, извивались, как черви. Максима била лихорадка. Ему казалось, что Хан отстает, но вместе с тем он хорошо видел, как легок его ход и как напрягается сафоновский конь.

До столба оставалось сажень двести. Теперь уже ясно было видно, что скакуны идут ровно, голова в голову, но бухарец с каждым махом вырывается наперед. Максим похолодел. «Выдаешь, Хан», — тоскливо прошептал он.

Дробный, нарастающий стук копыт болью отзывался в его сердце. В глазах темнело, и словно кто-то настойчиво дергал землю у него из-под ног. «Хан... Ханушка...», — дрожали его посиневшие, как от мороза, губы. Всадники приближались. Над взметывающейся гривой Хана поднялось бледное лицо Афоньки и снова провалилось. Максим рванулся вперед.

— Ходу!.. Ходу! — надрывно крикнул он и покатился по земле, царапая ее ногтями и жалобно скуля.

Вслед за этим случилось то, чего никто не ожидал, и даже впоследствии долго еще сомневались в правдивости происшедшего. Хан, услышав знакомое слово, прынул ушами и вдруг, словно оторвавшись от земли, золотеющим лучом блеснул перед самыми глазами людей. Толпа ахнула и разорвалась перед ним.

Последние полсотни сажень Хан пролетел, как ласточка, оставив далеко за собой стремительного бухарца, который перед сокрушающим натиском Хана, казалось, топтался на месте.

Афоньку сняли с седла почти беспамятного. Он хватался за грудь, тяжело ловил воздух, открывая рот, как сазан, выброшенный на берег. Максим висел на мокрой шее Хана.

Кругом выло, стонало, ухало. Бухали выстрелы. Бешеные страсти скручивали, душили орду. Сафонов рванул бухарца и погнал прочь за сады, кровавая ему рот и нещадно полосая плетью. По бугру цепочкой тянулись отставшие скакуны. Воющая орда, как буря, двинула в кабак. Пожарищем поднялась пыль.

Кабак звенел. Дрожала, гудела земля. Максим, как расслабленный, вертелся, угощая направо-налево, лепетал:

— Братцы... дружки... Слово знаю... Слово... Скажу, жизни лишится — обгонит!

— Ве-ерим!

— Ве-е-е-ерим!

— Братцы... братцы... — молотил себя в грудь.

В сумерках он промчался по станице, выкрикивая слова песни. Он почти лежал на спине Хана, а в руках, обхвативших шею коня, держал бутылку. Хан унес его в степь. Там, на кургане, Максим долго размахивал руками.

— Обогнать? Ш-ш-шалишь! — И он закатывался в хриплом смехе. Хохотал казак, словно тяжелые колеса катил по каменной мостовой.

— Ох-ох-оо-хо! Ха-ха-ха-ха!

Откашлявшись, снова заливался тоненько и пронзительно.

— Хи-хи-хи-хи! — Смех его кувыркался в просторах, мчался, прихрамывая, и обрывался, словно прыгнув куда-то глубоко. Потом Максим растянулся и захрапел. Полнотелая луна, как дородная хозяйка, выплыла и глянула на курган. Полынь задымилась по всей степи, потянуло прохладой. Неумолчно кричали кузнечики, ухали водяные бычки.

Хан бродил над курганом, обнюхивая хозяина. Долго, настроженно вглядывался он в глухую серебряную даль и, словно подавленный ее бесконечным, первобытным величием, вытянул шею и, раздувая ноздри, ослепительно звонко заржал.

Еще прошли годы, легкие, как облака.

Много подвигов совершил Хан. Сотни скакунов обошел на состязаниях. Скакал Хан с англичанами, с арабами, с карабахами, отпускал на полголовы, а слышав: «Ходу!» — бросал назад хваленых коней.

На царский праздник приехал в станицу атаман Донского войска. Казаки джигитовали, рубили, кололи — доблесть доказывали. А Максим такое выкинул, что у всех дух захватило. Выскочил наперед, разогнал Хана и в Дон, с трехсаженного обрыва... бух! На лету уже уши коню ладонями зажал.

Рысцей притрусил к яру атаман, смотрит вниз. Сгрудились и казаки. А на том месте, где Хан грудью воду рассек, расплывается пена... Целую вечность прождали, пока вынырнет всадник... Атаман за это рубль пожаловал Максиму, а Хана осмотрел и вздохнул:

— Царский конь!..

— Казацкий, — поправил Максим.

Рубль, полученный Максимом, был юбилейный и имел на одной стороне головы царя Михаила и императора Николая Второго. Первого и последнего из дома Романовых. Не многие удо-

ставались такой награды и хранили ее на божницах и в сундуках. А Максим бросил новенький целковый кабатчику. Поймал кабатчик монету, засуетился. Стол накрыл, овса Хану дал, одежду Максиму потащил сушить. Ржут казаки, глядя на голого, бабы отворачиваются, в платочки хихикают. А Максим хоть бы хны. Сидит, водку дует да в окно поглядывает, Ханом любитесь.

Много ли человеку счастья надо, и что такое счастье?

У иного оно в потаенном сейфе лежит, у другого босоножкой под чужими окнами кружится, а Максимова плясало, железом подкованное на все четыре ноги. Горела и не горела казацкая жизнь, а на склоне вдруг пожарищем вспыхнула, да так ярко, аж зажмурился Максим.

— Эх, и доля ж мне выпала, — сказал он перед смертью. — Спасибо тебе, Хан. Умели мы с тобой песенки петь.

Гладил казак Хана, говорил ему слова ласковые, а Хан к хозяйскому лицу тянулся, колени сгибал.

Так прощались друзья-товарищи.

А потом закружилось, помутилось в голове Максима, качнулись сады станичные, волнами заходили. Крест, что на колокольне долгие годы неподвижно торчал, сорвался и поплыл золотым коршуном, припадая на одно крыло. Пламенем куда-то метнулся Хан.

— Бом... Бом... Бом... — заплакали колокола.

О чем это они? Уж не о грешной ли душе?

Домочадцы Максимова реки льют.

— О-о-ой, да на ково же ты нас поки-и-и-и...

А старушка-побирушка:

— Шаршество небешное новопрештавленному...

Дед Сахнов:

— Был и нету! Прожил, как гопака на свадьбе отодрал. Дай, кабатчик, штоф под ей-богу. Любил покойничек!

Холит и бережет Афонька Хана, как Максим, ложась в гроб, приказывал. Поджидает брата Гришу с германского фронта, чтобы передать ему или вымолить себе наследство — счастье отцовское. А Хан воды не принимает, от овса отворачивается. Ночами хозяина зовет не дозвется.

— Ешь, ешь, Хан, — убивается Афонька.

Весной помутился Тихий Дон. Замитинговали станицы.

— Свобода!

— Свобо-о-ода!

— Послужили белым царям!

— Довольно!

— Свобода? А ну, хлебнем!

Гришка с фронта на фронт переметнулся, домой не зашел. По задонским степям заколыхался в боях «2-ой Революционный». А на станицу тяжелым орудийным шагом наступал полковник Семилетов.

Первым из первых, как клинок, влетел Сафронов. Камышом зашаталась, зашептала станица.

— Возьмет Хана!

— Отдаст ли?

— Шалишь!

— Купит за грош!

— Есаул!

— Эй, Афонька! Принимай покупателя старинного, выводи коня.

— Не продажный, — бурчит Афонька.

Сафронов во дворе, как на параде.

— Мо-олча-ать, сволочь!

Афонька кошкой к есаулу.

— Кто сволочь? Душу вырву!

— Назад... — Вороном поднялся наган. Есаул белый-белый.

Остановился Афонька, пальцы скомкал, как веточки, хрустнули пальцы. Есаул к конюшне, Афонька за ним. Плечом дверь подпер. «Не замай, не дам!» За дверью Хан копытами стукнул.

— Не дашь? — задрожали губы есаула. — Не дашь? Становись... К стенке... — Клацнул курок.

А Афонька изогнулся и железной занозой, что дверь подпирают, есаула по черепу — р-р-р-аз!

Мать на крылечке руками всплеснула.

— Сын-о-к! Головушка твоя горькая...

— Молчи, мать. Где седло?

— Ой, горюшко!

Не видела старуха затуманенными глазами, как Хан вынес Афоньку за ворота.

Вторые сутки скачет Афонька, остановиться не может. Мотается от станицы к станице, от хутора к хутору, не находит след «2-го Революционного». Где же тут найти? Степь под метелью стонет. Снега летят — свету не видно. Грудью режет Хан метелицу, мелькает над оврагами. Наудалую!

И вынесла удалая.

Носился в степях партизанский отряд, жег экономии, крушил офицерские полки. Пробивался отряд к Дону, к Миронову. А Афонька больше смерти боялся последней минуты расставания с Ханом...

Помчались дни, простреленные, продырявленные. Падали ночи, исполосованные клинками. Шатаясь, брели окровавленные рассветы, как обозы с недострелянными и недорубленными.

Занимались над степью пожарища. Метались дикие кони, — звезды брызгали из-под копыт. И в каждый бой Афонька летел впереди, пьяный своим счастьем, своей двадцатой весной. Забыл Афонька отцовский завет, забыл про Гришку. В отряде Хан был как золотой в кисете бобыля.

К весне прорубились партизаны к Афонькиной станице. Станица ощерилась штыками, злобно заскрежетала пулеметами. И

пулеметы на белых снегах, на степном раздолье подписали смертный приговор Хану.

Какими словами сказать об этом? Какими песнями?

Журавлиной — так она высоко в небе и до сердца не достанет. Волчья — за горло берет! А лебединой еще никто не слышал.

Отвалился Афонька от холодеющего коня, поднялся, глухой ко всему, с пустыми, отцветшими глазами. Шагнул — зацепился за ноги Хана. И показалось Афоньке, что Хан не пускает его. И, собрав всю свою силу, сжавшись в кулак, шагнул еще раз, другой, третий...

Много было боев потом, много было коней, но ни один, ни один не подходил под рост Афоньке. Он часто пропадал теперь по целым суткам. Возвращался так же неожиданно, раздавал отбитых где-то жеребцов и снова исчезал.

— Как гость в отряде, — говорили у костров.

Думали, кричали, качали головами.

К схватке с атаманцами готовились долго и осторожно. Столкнулись в Дубовой Балке и дрались жестоко. После боя тут же построились для переклички. Командир с побуревшей тряпкой на руке выкрикивал бойцов. И часто молчание отвечало ему. Шеренга конников хмуро темнела. Дымящиеся кони обрастали инеем, как богатым, серебряным убором.

— Афанасий Каргин, — крикнул командир, сурово оглядывая шеренгу.

Афонька качнулся в седле. Был он бескровен и слаб. Папаху он потерял в бою, и правое плечо его было глубоко разрублено вкось. Афонька захрипел и не то засмеялся, не то закашлял. Видно было, как он напрягается что-то сказать, но губы его не шевелились. Розовые пузырьки стали появляться в уголках рта и нарастать, как пена.

— Поддержите его, — крикнул командир. — Положить в тачанку. Чего смотрели?

Бородатый казак обнял сползающего с седла Афоньку и, заглянув ему в глаза, опустил на снег, к копытам коней.

— Ему и тут мягко, — сказал он, вытирая о гриву окровавленные руки...

На меже толоки, на той самой погиб Хан, где когда-то славу догонял своему хозяину. Не каждому скакуну выпадает такой конец.

А Афонька в Задонье, под ветрами, сложил свою голову.

Плывут облака над Дубовой Балкой.

Еще через три весны Гришка пахал землю. Надел достался за бугром, на самом краю вековой целины. И нашел Гришка подкову. Подкова — счастье, домой бери. Дома, повечеряв, Гришка

что-то вспомнил и схватился за чекмень. Достал из кармана железинку, к огню поднес. Так и есть!..

...Несется звон из землянки... Динь... Динь... Динь... Золотом сыплются искры... Кует отец подковы с заклетьями, с крестами... На малиновом железе рубит буквы — имя любимца.

Почти стерлось на железинке имя, а все же еще заметно. Голову опустил Гришка.

А ночью встала перед ним степь широкая-широкая. Хан летит по ней, стремяна от боков отлетают. Из травы поднимается Максим, смеется. Радостно ржет Хан. Максим за луку хватается.

— Ходу!

У Хана крылья распластываются... Ветер свистит... Трава кланяться не успевает... Качается степь... Сны... Сны...

[1923]

В ОДИН ХОМУТ

1

После митинга Степаныч и Серега домой не пошли: в клубе остались чайничать.

И хотя работали они в одной мастерской и виделись на дню раз тыщу, но словом редко-редко перебрасывались. Да об чем и разговаривать Сереге с Степанычем?

Да, да, — ну и наговорились.

Серега, сильно занятой, мечется завсегда ровно бешеный. То в ячейку, то в комиссию, в завком, на собрание убежит — туда-сюда: с семью собаками не догонишь.

Ну, а Степаныч? Об нем будет совсем другой разговор. Мастеров таких, как он, поискать да поискать. И совсем напрасно звоняри звонят: есть, мол, такие машины — сунь в нее, скажем, дерьма кусок, конфеткой оборотится. Напрасные разговоры. И наплюйте вы в глаза тому, кто скажет «будут». А почему? Потому *талан* нужен. У входа во все мастерские подковки эдаки медны, и рельефные надписи на них поистерлись: «Завод построен в 1893 г.» Тогда же и собран завод. В тот год Степаныч и работать начал. За тридцать с лишним годков разболтался его станок. Прямо надо сказать — никуда. Только это его пустит, а он и затарахтит как телега по мостовой. А поглядеть бы, что на нем Степаныч выделывает? Игрушки, да и только.

И пускай комсомол Яшка раззванивает о вычитанной диковине, выдумали будто в Америке эдакое — пущены сразу сорок станков и прохаживается промежду ними один мастер, надсматривает вроде... А в станках тех разметочка, калибр, табличка механическая, магнитный зажим. Ходит это мастер, надглядывает, масленкой тычет, а станки сами зажаривают...

Не верит Степаныч. И вся мастерская не верит. Шмыгнет носом комсомол Яшка, уйдет, сказав на прощанье:

— У вас старые понятия о технике.

Золотые у Степаныча руки. Он и сам им цену знает. По делам-то давно бы быть ему инженер-механиком, а через гордость свою да крутой нрав и посеячас Степаныч числится мастером токарно-го цеха.

Серега ему племяншом родным доводится. Что там ни говори, а все родная кровь: любил его старик какой-то своей колючей стариковской любовью. А как увидятся, обязательно сцепятся ругаться. Молодому-то все смешки да хаханьки, а старик ершится.

Вот и нонче сидели они в клубе, чайничали и эдак серьезно промежду собой разговаривали.

— Гляжу я на тебя, дядя, гляжу и диву даюсь... Коренной ты есть рабочий человек и грамоту шибко знаешь, а все топыришься... Как лошадь без зуба, все морду-то в сторону от кормушки воротить.

— В какую это сторону?

— В такую. В фабзавком выбирали — не пошел. В ячейку тебя с кой поры зовут — ровно и не слышишь.

— Ну?

— А запишись в коммунисты, за тобой вся мастерская, все старики пойдут.

— Больше ничего не скажешь?

— Тебя выслушать хочу.

Степаныч допил стакан, другой налил и только тогда раскачался:

— Полсотни годиков без партии прожил, да, слава те господи, сыт был... Молодежь еще туда-сюда: вам жить, вам и порядки наводить... А мы как-нибудь, потихо-легонечку дотянем... Нам помирать не нонче-завтра... Пей — простынет...

Помолчали.

— Таки-то дела, племянничек... Тебе вот на меня дивно смотреть, а мне на тебя. Ни на вечерку не сходишь, не попляшешь, и одеться бы мог, люди добры говорят, по седьмому разряду огребашь бабки-то, а на тебе, смотри, как рванина, ровно и не мастеровой, а золоторотец какой. Сидишь — думаешь, ходишь — думаешь, все одно, што потерял чего иль забыл, да вспомнить не можешь... И мы были молодыми, и мы трясли кудрями. Партия, партия... А ты в комсомоле своем, а все ходишь, голым брюхом сверкаешь. Пей говорю, замерз чай-то.

Серега встрепенулся.

— Кому, кому, а не тебе бы, дядя, об наживе говорить... Знаешь, кто скоро-то наживается?

Старик отвернулся, разглядывая плакат.

— Хе, как не знать... Я не к тому сказал.

— То-то... А што у нас интеллигенции и в партии и в комсомоле большинство, так сами мы и виноваты. Как не приучены зебры...

— Звери што-ль эдаки?..

— Звери. В сторону топыримся. Кто бы за нас чего делал, а нам бы тепло подвалило.

— Понес...

Клуб полон яркого света: от него и глаза у людей веселей. Где-то в дальних комнатах гремит песня, ровно серебряными нитками расшитая треньканьем балалаек и мандолин,— хоровой и музыкальный кружки репетируются.

— Ты мне, Сережка, расскажи, как у вас эта сама декусия? Еще не перекусались?

— Пока нет, а тебе што, забота?

— Чудно.

— Чудно, да не больно.

— А перекусаетесь, все равно перекусаетесь.

— Поглядим.

— Тут и глядеть нечего... Возьми ты крестьянскую семью: покуда ноги носят старика, все хозяйство в порядке. Сковырнись старик, и завертит куролесица: каждый сын себя в дому хозяином считает. Каждый норовит другому на глотку наступить... Был Ильич здоровый, и дело шло; плохо ли, хорошо ли, а шло: не ку-сались...

Густой гул клуба ровно ножом полоснул чей-то истошный крик:

— Ленин помер!..

— Товарищи...

Все повскакали из-за столиков. Парень от двери, захлебываясь словами, торопливо читал телеграмму.

Степаныч слушал, вытянув избитую стружкой, промасленную копотью, костлявую шею. Жевал губами.

— Ну, дядя, идешь?

— Иду, иду, Сережка... Варезку вот запропастил куда-то, варезку...

Клуб быстро опустел.

2

Всего полчаса назад мирно дремавшую вечернюю Москву стегало газетное многоголосье.

— Экстр-выпуск!

— Смерть товарища Ленина!

По руслу тихих улиц окраины, мимо пустырей, заборов, равнодушных домов катился черный поток людей, катилось горячее дыхание. Газетчиков рвали нарасхват и тут же где-нибудь под фонарем, под воротами, в подъезде трепетно прочитывали зыбкие строчки. Газетные листки еще пахли сладковатой типографской краской и пачкались под пальцами.

— Умер.

— Умер.

Ни Серега, ни Степаныч домой не пошли. Что делать дома? Никто не шел домой (в каждом доме покойником веяло). Бежали

дальше на углы, на перекрестки улиц, туда, где толпа чернела гуще. Бежали будто ждали еще чего-то услышать, чтоб быть в куче: лучше как-то.

— Ильич...

— Ленин...

На перекрестке глухо гудели голоса об одном. Расталкивая толпу, бежали своим путем трамваи. В сетке сорившегося снега, как мухи в паутине, бились мальчишки.

— Экстр-выпуск! Смерть!

Лихач. Шуба. Котиковая шапочка.

— Мальчик. Телеграмму.

Сует газетчику бумажку и, не дожидаясь сдачи, запахивается в пушистый воротник.

— Пошел.

Лихач уносит. Толпа провожает его молчаливыми, глубоко запавшими глазами.

Фабричный сторож Панкратов тоже покупает телеграмму. Бережно свертывает и прячет ее за пазуху. (Всего месяц, как выучился грамоте.) Степаныч здоровается с ним.

— Беда, Панкратов.

— И не говори...

— Завтра работать аль как? Не слыхал?

— Должны ба.

Толпа прибывает, как река в половодье; расплескивается во всю ширину улицы, заходит в переулки.

Один задавленный утробный вздох. С корнем вывертывается: из-под самого сердца.

Какая-то баба крестится, и никто не смеется над ней: это тоже из-под сердца.

И только далеко за полночь улицы начинают мелеть от людского гомону.

— Товарищ Ленин.

— Ильич.

Степаныч с Панкратовым вместе молчком дошли до самого дома. На темной лестнице шаркали тяжелыми валенками, сопели.

Черным крылом ночь прикрыла осиротевшую Москву, широкую Россию...

И весь мир.

3

На фабрике все было как будто по-старому. В огненном беге дрожали цехи. Суетились мастеровщина: точили, рубили, строгаги, сваривали, тюкали. И работы утром роздали по полной порции: все по-заведенному.

А вот поди ж ты: валится все из рук — што ты хочешь, то и делай. Пацаненок Федька попросил Степаныча с болта изусенец

слизнуть и гайку с контргайкой пригнать. Взял Степаныч болт, да и сорвал резьбу, хотел переточить — еще хуже помял. Вытирашил Федька глаза, стоит.

— Ну, чего разинул рот — иди, уж сделаю.

Покачал парень головой — отошел.

Взялся Степаныч болванку подшипника точить, щечку переточил. И это брак — в переплавку надо.

И с чего бы стало? Никогда с Степанычем такого не было. Сережка идет: увидит — засмеет; бросил испорченный подшипник под стол, сам будто по делу железом загремел. С обеда хоть пошабашить, так впору.

— Ты што ходишь?

— За тобой, дядя... Венок Ильичу-то надо. Ты бы тово. А? Первый мастер, можно сказать.

— Что ж, для такого случая...

И обедать не пошел Степаныч. Часа два повозился и такой-то венок сгροхал, двоим чуть поднять.

— Красить надо.

На общем собрании объявили: идем с Ильичем прощаться. Лица печалью ровно закопчены, а в глазах туман. Работу побросали с обеда: бегали домой умыться, переодеться.

В город двинулись трехтысячной дымной лавиной. Разрывая морозную муть, и день и ночь двигалось множество фабрик.

День и ночь.

Замоскворечье, Пресня, Сокольники, Рогожский — вся заводская Москва. В рабочей массе тонут редкие островки каракулевых шапок. Хвосты.

С Моховой, с Тверской, Лубянки, Свердловской.

Не всякий видел вождя при жизни, но разве кто не знает его, и разве не всем он дорог, родной?

Под траурными парусами знамен плывут очереди.

Комсомольцы.

Рабфаковцы.

Притихшие, задумавшиеся над чем-то бóльшим, чем книги, песни, веселье. Они идут по кругу в пятый и десятый раз. Снова и снова. Взглянуть и запомнить. Глазами сказать последнее.

— Прощай.

В последний раз.

Красные солдаты. На какие подвиги не вдохновлял их образ вождя! Какие страны не топтаны красной конницей!

Ребятишки-школьники.

Пионеры.

Нахохлившиеся, как воробьи в ненастье. Все слова скупы и глухи. Морщатся озябшие лица.

А вот мужики-крестьяне с мешками за плечами, приехавшие проститься со стариком. Проститься, забыть все прежние обиды и ссоры.

На дорогах качаются огромные костры. Они заостряют и кра-
сят черные знамена, венки, лица. Огонь застилает Степанычу
глаза едучей слезой, мороз выжимает крик.

Степаныч с комсомолом Яшкой венок несут. В затылок горя-
чо дышат три тысячи своих, сто тысяч.

Шорох шагов прибором бьется у дверей белого дома.

Взглянуть.

Запомнить.

Глазами сказать последнее.

— Прощай.

В дверях у всех ровно ветром сдунуло шапки. Широкие лест-
ницы. Из глубины далеких комнат — похоронный марш.

Тихо.

— Прощай.

Лица, закопченные печалью.

С тихим рокотом выкатились опять на площадь.

Степаныч догнал племянника. Пошли рядом.

— Рука-то занемела... Ровно отвалиться хочет... Это венок.

— Что ж не сказал, перехватили бы.

— Ладно... Чего там... Сережка, а ведь я в коммунисты наду-
мал... Право... Всю ночь нонче не спал... И выдумал... Пра...

Сергея крепко ударил старика по плечу.

— Молодец! В один хомут, значит. Везти легче будет...

ДАЛЕКОЕ ЗАРЕВО

О многом, виденном и слышанном на фронтах в годы гражданской войны, много уже рассказано и еще будет рассказано в книге «Россия, кровью умытая».

Писать о своем непосредственном участии как-то неловко, да, кажется, и не о чем: на фронте я все время был рядовым бойцом — сперва в Красной гвардии, потом в Красной Армии — и никаких особых подвигов не свершил. Сообразуясь с обстановкой, временами приходилось менять винтовку на перо журналиста или вести низовую партийную работу. Эшелоны, тифозная вошь, этапные коменданты, казармы, окопы, контузия, два огнестрельных ранения, лазареты; снова работа, деревня, фронт — узор жизни, обычный для тех незабываемых годков...

Хотя об одном эпизоде все же коротенько расскажу.

Служили на германском фронте два моих старших двоюродных брата — Иван и Михаил. После неоднократных ранений их снова гнали на фронт. Дезертировали, их ловили и с маршевыми ротами гнали опять на позицию... Семнадцатый год, революция, пьяный от радости тыл — митинги, демонстрации, — а на далеких фронтах продолжали греметь орудия, гибнуть солдаты. Письма братьев волновали меня, в письмах же агитировал их бежать с фронта, но по причинам тогда для меня непонятным, фронт, хотя и поредевший, продолжал стоять. И надумал я съездить туда сам, все рассмотреть и разузнать на месте. Это было в последних числах декабря семнадцатого года.

Захожу в Самарский городской комитет партии и через полчасика — тогда все делалось быстро — вышел оттуда, нагруженный литературой и имея на руках мандат, которым мне предоставлялось право... свободного проезда по всем железным дорогам революционной страны.

На другой день я был готов в поход — красногвардейская шинель, домашняя шапка и дырявые валенки. Вокзал, теплушка,

солдатня, мешочники. И замелькали станции, лица, дни и ночи. Впрочем, станции не так-то часто мелькали: от Самары до Тулы ехал, помнится, больше двух недель. Под Тулой — крушение, несколько теплушек были разбиты в щепы, две скатились под откос. Отсюда с эшелонем матросов — на Москву.

Москва. На улицах сугробы, грязный снег извозчичьим клячам по брюхо, зеркальные витрины гастрономических магазинов, горлающиеся на церковных куполах галки: все это мельком, с площадки трамвая.

Александровский вокзал, переполненный сверх всякой меры эшелон. Полтора суток еду на крыше. За Смоленском, в сторону фронта, поезда идут почти пустые. Спускаюсь с крыши в мягкий вагон и отсыпаюсь на плюшевом диване...

— Двинск, дальше поезда не ходят, вылезай, служивый.— В дверях купе стоит с веником в руке проводник.

Вокзал загажен, выбиты стекла, в зале 1-го класса митинг. И за вокзалом — митинг: как жаль, что тогда никому и в голову не приходило записывать речи митинговых ораторов — вот была бы книжища и для историков и для словесников.

Двинск — это уже фронт. Где-то в двадцати километрах на северо-запад — линия немецких окопов и нужный мне полк — 149 Черноморский. Еще раз рассматриваю нацарапанный карандашом на измятой бумажке план и, расспросив для верности нескольких солдат и жителей, иду в пригород — Форштадт.

На загорбке у меня два преогромных мешка. Один с гостинцами — сухари, лепешки, другой мешок туго набит комплектами московской большевистской газеты «Социал-демократ» и брошюрами Коллонтай «Кому нужна война». Снег по колено, мешки час от часу кажутся все тяжелее, еле тащусь. Миновал последние домишки предместья, впереди — снежное поле, синяя кайма хвойных лесов.

За день прошел не больше пяти верст. Темнеет. Упарился, язык на сторону, полными горстями хватаю снег. Ночь. В стороне от дороги — огоньки, собачий лай. Довалился.

— Пустите переночевать.

— Кто таков?

Рассказываю, как умею, и заученно называю номер полка, роты, позицию. Оказывается, что это землянки какой-то саперной команды. Саперы поят меня чаем. Желая чем-нибудь отблагодарить за гостеприимство, наугад тащу из мешка старый номер газеты и начинаю читать вслух. Пошли расспросы о России, о большевиках и т. д. Проговорили до рассвета. Утром двое вывели меня на дорогу, объяснили, как добраться до позиции.

Мост через Двину. Часовой останавливает меня и, не обращая внимания на мои горячие увещевания, отправляет в штаб корпус, что помещался недалеко от моста в каменном двухэтажном доме. Встречает дежурный, седоусый полковник, и снова:

— Кто таков? Какой части? Дезертир?

— Я из Самары,— выпаливаю в свое оправдание, и от волнения больше не могу выговорить ни слова.

— Солдат? Какой части? Почему шляешься по тылам? — но скоро, видимо, хорошенько рассмотрев меня, он уже другим тоном спрашивает.— Сколько лет?

Я стыжусь своей молодости и молча, выбрав из обшлага, подаю мандат. Полковник медленно, после каждой строки посматривая на меня, читает удивительный мандат, потом просматривает содержание моих мешков и говорит:

— В прифронтовой полосе штатским шляться не полагается. Вечером с почтовым фургоном отправлю тебя в Двинск, на гауптвахту, до выяснения личности.

Свет меркнет в моих глазах... Кричу в ярости:

— Я агитатор... Я большевик... Я к брату еду,— и вываливаю на стол пачку мятых писем.

Он мельком просматривает штемпеля на конвертах, выходит в соседнюю комнату и долго звонит куда-то по телефону. Потом приносит мне пропуск и уже ласково ворчит:

— Носит вас тут, не сидится дома... Подчасок проводит до поста номер два, а оттуда на позицию ездят походные кухни, попросись, может быть, посадят и подвезут.

После я узнал, что этот полковник — сочувствующий. Вообще к тому времени на северном участке фронта с солдатскими массами оставалось только революционно настроенное офицерство.

К вечеру, торжественно восседая на горячем баке с борщом, добираюсь до Черной горки, по окутанному колючей проволокой гребню которой чернели землянки и окопы нашей передовой линии.

Так вот он, настоящий фронт!.. Сердце колотится в ребра.

К кухне бегут солдаты с бачками и через минуту кто-то уже кричит:

— Ванька... Кочкуров... Брат приехал.

Из землянки выходит Иван. Я еле узнаю его. В пятнадцатом— он тогда работал в Самаре, на фабрике Грабежова,— уезжал на фронт молодой и полный сил. Сейчас меня встречал — исхудавший страшной худобой, сутулый, с землистым лицом...

Мигом в землянку набилось полным-полно. Все больше молодежь — вологодские, костромские, вятские, волжане — старых солдат оставалось мало. Торопливые расспросы, и первые ответы невпопад. Прежде всего собравшиеся заинтересовались содержимым мешка с сухарями и лепешками: хотя и понемногу, но всем досталось, не пропали мои труды даром! Фронт голодал: с осени семнадцатого на передовые позиции не попадал сахар, крупа, махорка, не хватало хлеба, через день ели борщ с кониной. Землянка похожа на звериную нору. Вдоль стен глиняные нары, сырость, духота. Под шинелями — расчесанные грязные тела, многие в лаптях, а иные и вовсе босиком. (Это в январе!) И вспо-

нились мне тут подлые статейки буржуазных, эсеровских и меньшевистских газет о «разнузданной солдатчине», бегущей с фронта и не желающей больше воевать за «дорогую родину»...

...Коптит лампешка (стекла нет). Сообща мы въедаемся в истертые газетные листы, и строки эти наливаются кровью и слезами. Разговоров — на всю ночь.

Утром полковой комитет собирает митинг. С пятого на десятое пересказываю что знаю, информирую о разгорающейся по всей стране гражданской войне, о задачах революции и т. д. Выступают фронтовики, речи их немногословны, но страшны.

После митинга целым взводом отправляемся к немцам брататься, захватываем с собой несколько экземпляров привезенной мною брошюры, свежие номера «Окопной правды» и «Факела» — газета в один лист: с одной стороны русский текст, с другой — немецкий. Братаются на этом участке уже несколько месяцев, конфликты довольно редки. Один раз чья-то предательская рука засыпала пулеметным огнем высыпавшую на открытое место русскую роту, другой раз русский офицер застрелил немецкого солдата.

Не более сорока — шестидесяти сажен отделяют наши окопы от германских. Все это пространство густо, рядов в пятнадцать, забрано колючей проволокой. Кое-где на ржавых шипах ветер треплет истлевшие лоскутья чьих-то штанин и шинелей. Черная горка, Золотая горка, Иллукстские укрепления — холодом заливает от рассказов солдат о жестоких боях, бывших еще не так давно в этих местах.

По набитой тропе выходим к немецким окопам. По брустверу шагает в светло-серой шинели часовой. Кося глазом в сторону своих траншей, он осторожно улыбается нам и негромко выговаривает:

— Траствуй, геноссе.

Нас встречает немецкий офицер — краги, стек, холеное, с девичьим румянцем во всю щеку, лицо. Презрительно осматривает наши лохмотья и свистит в серебряный свисток. Ментально появляется краснорожий дядька и, любезно улыбаясь, ведет нас по ходу сообщений. Окопы и ход сообщений бетонированы и электрифицированы, чистота умопомрачительная. Немецкие солдаты приветствуют нас сдержанными восклицаниями и ведут к себе.

Жилые помещения просторны. Вдоль стен расставлены самые настоящие кровати, застланные одинаковыми одеялами, из-под каждого одеяла выпущена чистая простынь. На стенах развешаны начищенные до жару медные кастрюли, сковороды: эти кухонные приборы почему-то больше всего угнетали и раздражали меня, смотрел на них до ломоты в глазах. Но осмыслить свою неприязнь к этому наглому блеску я тогда вряд ли мог...

Кое-кто из бывалых солдат знает по-немецки десяток-другой слов, помогает жестикуляция и мимика, словом — разговариваем.

Наши из карманов и пазух извлекают ослизлые куски конины из вчерашнего котла и променивают на табак и вино. Немцы, обдав мясо кипятком, тут же и поедают его: они живут голоднее нас. Улучив момент, когда дядька куда-то отвернулся, взводный Трофимов передает немецкому солдату туго свернутую пачку литературы. Тот быстро прячет ее за ошкур штанов и крепко жмет нам руки.

Собираемся домой. Немцы пошли было нас проводить, но на бруствер выскочил тот же — в крагах и со стеклом, что-то резко выкрикнул, и наши провожалыщики — через левое плечо кругом марш — вернулись к себе.

Дня через два и они к нам пришли в гости — притащили коньяку и немного вареных в мундирах картошек. Мы угощали их все тем же борщом с падалью. Вчерашние враги сидели за этой скудной трапезой и кляли царя, кайзера и всех тех, кто затеял эту кровавую игру, стоившую много миллионов человеческих жизней.

Увы, спустя три месяца, ослепленные дисциплиной и гонимые железною рукой своих генералов, немецкие корпуса двинулись на советскую Россию и кровью рабочих и крестьян залили поля многострадальной Украины, Дона, Крыма и Кубани. Неудачи на французском фронте, наконец, отрезвили немецких солдат, и они повернули штыки против своих господ и деспотов.

...Недели через полторы с эшелонам фронтовиков я катил в тыл; горели помещичьи именья; кое-где уже пошаливали зарождающиеся банды; на Дону во славу революции не умолкая гремели пушки красногвардейских отрядов — веселая была дорога.

[1933]

ДОРОГА ДОРОГАЯ

1

Цветет зима вьюгами да морозами.

По пригорку, по сверкающему снежному полю разбежались ели да сосенки — светло-зеленые, темно-зеленые, просто зеленые, седые с морозом, сизые, сизые с дымом.

Звенит топор лесоруба.

Ничком и навзничь, переплетясь ветвями, в полном беспорядке, точно на поле битвы, лежат порубанные сосны.

Туши уже освобожденных от сучьев медноствольных сосен с яру — по ледяному желобу — устремляются на берег Волги, где их ловят баграми сплотовщики и вяжут в чельню.

Бездыханна лежит Волга, во льды закована, снегами повита.

Но вот отшумели мартовские вьюги.

Зима сдает.

День ото дня — острее солнце, светлее облака, звончее и неистовой дробь дятла, на припеке горячей земля и все узывнее, печальней даль дымящихся полей.

Под солнцем горячо блестят подернутые настом белые — белее серебра — снега.

У обнажившихся берегов все ширятся и ширятся, играя свинцовой рябью, зажорины.

На берегу, в каше грязного размякшего снега, с утра до ночи толкуются люди бригады Степана Ильича Ведерникова, торопясь закончить вязку плотов до наступления половодья.

Апрель... Снега дрогнули, поплыли, зашумели мутные потоки...

Из всех щелей — весны соченье.

Синё дымятся поля, по деревьям задорно горланят петухи, и — зиме вдогонку — солнце мечет блестящие копыя.

Ночь темным-темнешенька!

Ночь полна хлюпающих шорохов и шепотов.

Ночью, по какому-то древнему закону природы, ночью Волга тронулась.

Волга, как щитом, играя и звеня льдиною, всей своей силой устремилась в дальний поход.

Вода начала прибывать.

На берегу — оживление. На мостках бабы с высоко подпернутыми подолами колотят вальками белье. Шумная детвора скачет босоплясом с проталинки на проталинку. Гусак и гусыня благонамеренно и несколько благосклонно озирая цветущий и прекрасный мир, выводят на первую воду свой шумный выводок: это ли не олицетворение нищенского семейного благополучия...

По берегу стелется дым костров, возбужденный говор, смрад кипящей смолы.

Неустанно звенят топоры, сочно чавкают деревянные колоушки, загоняя меж бревен последние клинья.

Бригадир Ведерников отирает вспотевшее лицо бараньей шапкой и густо запекает:

Вот у нашего бурлака...

Бригада подхватывает:

Э-э, дубинушка, ухнем,
 Э, да зеленая сама пойдет
 Идет
 идет
 идет
 идет...
 Сама пойдет
 Идет
 пошла
 сама пошла
 пошла
 пошла...

По-весеннему задорны голоса.

Скрипит деревянное колесо вóрота; разбрыливая светлые брызги, натягивается и дрожит канат.

Готовые кошмы плотов одна за другой всплывают и отводятся на глубокую воду.

По раздолью волжскому плывет весна.

Ведут пристрелку первые грозы, порывают первые майские громы, первыми теплыми дождями умываются поля и леса.

Весна...

Шумит, несет грозная вода, тащит деревья, и дрязг, и копны

прошлогоднего сена, затопляет еще не обсохшие берега, треплет зеленеющие ветви прибрежных кустов.

Весна...

Станицы журавлей, курлыкая, тянутся на север.

Над плотом кружат чайки.

Навстречу плывут темные леса, ярко зеленеющие берега, бакана, землянки бакалщиков, караваны нефтеналивных барж, закопченные кирпичные корпуса фабрик, полузатопленные черные деревеньки и кое-где уцелевшие купола старинных церквей — иные из них были свидетелями набега орды Батыя, — шумные таборы галок толкуются над потускневшими от времени церковными крестами.

Весна...

Вода, играючи, уже обтекает прибрежную деревеньку — древние избы в страхе пятаются на пригорок, а иные стоят по пояс в реке, точно собираясь плыть.

С крутояра, затрепетав последней смертной дрожью, медленно валится и, ухнув, погружает в мутные воды седую главу свою тысячелетний дуб. С крутояра сыплется комья глины, камни, рвутся последние артерии корней. Подхваченный быстрым течением богатырь безвольно стремится вниз по реке. И долго будет крутить его на водоворотах, хлестать волною на перекатах, гнестить ветром; чайка будет присаживаться на его мертвые ветви отдохнуть, помечтать; наконец исполина прижмет к берегу; потом вода спадет, придут мужики с топорами и пилами и рассекут его на дрова.

Весна...

С черемух и диких яблонь осыпается цвет.

В убогой лодчонке, точно персонажи пушкинской сказки, сплывают старух со старухою. Старуха — суровое и еще цветущее красотою лицо — сидит в распашных веслах, а старух выбирает сеть и часто — мелким говорком — приговаривает:

— Хоть и меленька, а есть... Хоть говенненька, а наша...

В сетке трепещутся десятка два запутавшихся в мелкой ячее головлей и щурят.

Дерет понизовый ветер — бездумно, как время, катится волна за волной, прибрежные кусты бьют поклоны, на высокой мачте полощется выцветший порыжелый флажок.

Над плотом кружат чайки.

От очага тянет смолистым сдобным дымком и пригорелой кашей. Артельная кухарка Клавдейка — тугоногая, босая девка с засаленными грудями — размашисто бьет железною в кусок подвешенного на проволоку рельса и кричит на всю Волгу:

— Эй-ча... Охломоты... Ужинать ча...

К очагу со всего плота, кроме вахтенных, сходятся плотовщики и рассаживаются за артельный, наспех сколоченный из нестроганных досок стол.

Вихрастый Серега козырем проходит мимо кухарки раз и другой, заигрывает с ней и, потешаясь над ее сибирским выговором, сыпет скороговоркой:

Милка чо, да милка ча,
Милка, чакаешь по ча.
Я не ча да я не чо,
Ежли чакну, ну так чо?..

— Хороша девка,— вслух высказывает свои соображения Серега,— и широка она и глубока, как Волга...

— Ох, парень,— отзывается кривой старик Семен Иваныч, сверкая из-под косматой брови бельмом, точно двугривенным,— не хвали день с утра, а бабу с вечера...

Клавдейка накладывает в деревянную писаную чашку каши и, подавая парню, с притворным неудовольствием шипит:

— Отчепись, отор.

— Угадай,— хохочет Серега и шлепает ее по широкой спине,— угадай, чего девке снится ча?

Она бьет его по рукам ложкой и — похорошевшая, разругавшаяся — убегает к очагу.

Остальные плотовщики ужинают молча, внимая гневному говору далекого грома.

4

Волга, Волга...

Синие просторы, ветер, перекаты, разлив вечерних и предутренних зорь, дымы рыбацких костров да песен немолчный плеск...

С верховьев Волги и Камы, с далекой Вятки и тихой Светлуги, с угрюмого Керженца, Унжи и Чусовой, с зеленых просторов Оки и с дремучей Суры — бегут плоты.

Горячий денек, спелое солнце.

Мир и тишина в прибрежных лесах.

Безгневны и светлы речи птиц.

Над плотом кружат чайки.

Вылинявшие на солнце цветные рубашки пузырем вздуваются на могучих торсах плотовщиков, по водной глади далеко несется стонущий напев Дубинушки, каленый мат да зычный покрик лоцмана:

— Э-ге-ге-ге-е... Выбирай правый лот.

В голове плота, у тяжелого ворота, неспешно похаживают два десятка плотовщиков.

Под их железными руками жалобно скрипит дерево. Из воды, подобна удаву, ползет толстая шейма.

Клевщик Серега стоит наготове. Он бос, без шапки, воротник гимнастерки расстегнут — во всей его фигуре удаль и гордое сознание своей силы и пышущей молодости.

Под солнцем жирно лоснятся туши бревен. Широкая лопасть отпорной плюхи бугрит воду.

Простор просит песни, чугунного гоготу, громкого голоса.
По гулянке (вышке) похаживает седобородый, богатырского
вида лоцман и покрикивает:

— Эге-ге-ге-ге-е... Замораживай.

Лот выбран. Серега с одного удара загоняет в кольцо шеймы
железную занозу.

Плот, занося левое плечо, лихо огибает песчаную отмель, за-
тем, выбравшись на стремя реки, выравнивается и ходко сплы-
вает к синеющим вдали Жигулям.

Жара мало-помалу сваливает, вечерняя прохлада сменяет
палящий зной.

По берегам густеют тени.

За синим щетинистым хребтом Жигулей медленно затухает
заревое жаркой зари, переливаясь всеми красками, которые ког-
да-либо были на палитрах художников всего мира.

Волга затихает.

Навстречу пробегает нарядный пароход, сверкая первыми
огнями. Волна заплескивает на плот, на крайних чельнях ходу-
ном ходят бревна маломерки.

Скоро пароход, укнув, скрывается за дальним мысом, эхо
пароходного гудка катится по волжскому простору и замирает
где-то далеко-далеко в нагорной стороне.

На плоту начинается веселье.

Пиликает саратовская двухрядка, около одной из казенок
разгорается пляска.

Молодые, сильные, напоенные ветрами голоса горланят ча-
стухи, которые я и записываю, пристроившись у огонька.

Солнце ходит высоко,
Уж весна недалеко.
К сплаву времечко идет,
Скоро Волга позовет.

На угорье у дороги
Зеленеют три сосны.
По-ударному работать
Обещались мы с весны.

Петька лодырь долго был,
Бригадир с ним маялся.
В стенгазету угодил—
Живехонько исправился.

Сплав досрочно мы закончим,
Что же тут такого,
Подготовку провели
Нынче образцово.

Незаметно оторвались
От лаптей оборочки.
По-ударному бежали
В лес на заготовочки.

Было я не знал, что делать,
Водку жрал и самогон,
А теперь в избу-читальню
Хожу слушать патефон.

Мы с матаней выходили
Слушать венку на заре.
Хорошо играет венка
За рекою на горе.

На буксирном пароходе
Флагу не имеется.
На молоденьких на нас
Советска власть надеется.

Ныне ранняя весна,
Реки разливаются.
Комсомолка поцелует —
Сердце разрывается.

Моя милка под Москвой
На инженера учится,
Через годик, через два
Что-нибудь получится.

Мы с колхозницей Марусей
Не сошлись характером:
За Марусей я гонюся,
А она за трактором.

Боем бьет меня тоска,
По ночам не спится,
Заразили меня книги,
Я хочу учиться.

Записываю частушки час, два, пальцы деревенеют, глаза
слипаются.

— Спать, ребяташки, спать,— кричит лодман.— Завтра по-
дыму чем свет, Самара...

Гармонь и песни смолкают.

Через несколько минут могучий храп потрясает казенку.
Небо расписано звездами.

Из предрассветного тумана вдали вырисовываются контуры
большого города, дымящего заводскими трубами.

[1935]

ПРИМЕЧАНИЯ

ГУЛЯЙ ВОЛГА

Первые двадцать глав были опубликованы в журнале «Октябрь», 1930, № 1—3. Полностью роман напечатан в 1932 году в журнале «Земля Советская», № 4, 5 и отдельной книгой в ГИХЛе. Начиная со второго издания (1933) в книгу были включены «Литературные додарки» — дополнительные исторические и литературные материалы о Ермаке. Помеченная во всех изданиях двумя строками точек глава 9-я («О вотчине худародного боярина Толоконникова») так и осталась ненаписанной.

С 1932 по 1936 год роман был издан шесть раз.

К работе над «Гуляй Волгой» Артем Веселый приступил осенью 1926 года. В сохранившемся библиографическом списке прочитанной им литературы одних лишь книг (не считая статей) около 300 названий. Кроме того, Артем Веселый проплыл по следам Ермака «по русским и сибирским рекам под двенадцать тысяч верст».

По свидетельству самого автора, он «никогда не был историком» и решал тему в поэтическом плане. Тем не менее, чуть ли не за каждой страницей романа стоит богатейший фактический материал. Так, чтобы написать об оружейных мастерах Кучума (гл. 29), писатель «месяца два читал книжки о выделке оружия». Вот его рассказ о том, как были написаны в сцене угощения казаков Строгановыми два абзаца о яствах: «Тоже я ковырялся, ковырялся в этой теме. Благодаря упорству я дорылся до поваренных дел того времени: попалась мне в библиотеке рукопись игумена Соловецкого монастыря XVII века. Он дает там ключарию расписание на неделю. Это, действительно, кулинарная поэма: там из рыб одним больше ста блюд готовилось, или квас выделявался двадцати—тридцати сортов». (Артем Веселый, Стенограмма выступления на собрании литобъединения при журнале «Смена» 27 сентября 1935 г.)

Много и тщательно работал Артем Веселый над языком романа: целиком книга переписывалась три раза, а отдельные главы—до сорока раз. И не удиви-

тельно, что к концу работы автор знал весь текст наизусть и на литературных встречах и вечерах читал отрывки из «Гуляй Волги» на память.

По мотивам романа Артемом Веселым написаны пьеса и киносценарий. Пьеса «Гуляй Волга» опубликована в журнале «Знамя», 1933, № 3 и 4; киносценарий «Завоеватели» — в журнале «Волжская новь», Куйбышев, 1935, № 1.

Роман печатается по тексту: Артем Веселый, «Гуляй Волга», изд. 6-е, «Советский писатель», М. 1936. Большинство подстрочных примечаний дается по «Словарику малопонятных слов», составленному самим автором для пятого издания.

РОССИЯ, КРОВЬЮ УМЫТАЯ

Роман впервые опубликован в 1932 году (изд-во «Федерация»). Но начиная с 1921 года отрывки и главы будущего романа появлялись в периодической прессе и входили в сборники произведений Артема Веселого.

В 1925—1926 годах были написаны первые главы—«Слово рядовому солдату Максиму Кужелю» и «Пожар горит разгорается»; в 1927 году закончена глава «Пирующие победители»; в 1927—1928 написан «Черный погон»; в 1929 — «Над Кубанью-рекой»; в 1929—1931 — «Горькое похмелье».

Все эти главы составили первую часть романа. Глава «Смертию смерть поправ» была написана лишь в 1934 году и включалась в роман с 3-го издания (1935).

Вторая часть представляет собой доработанный автором более ранний (1924—1925) роман «Страна родная».

Эпюды «Гордость», «Суд скорый», «Отваги зарево», «В степи» впервые опубликованы в 1928 году; «Взятие Армавира» — в 1929; «Письмо», «О чем говорили пушки» и «Сад блаженства» — в 1931. В последующих изданиях в состав эпюдов были включены: «Дикое сердце» (1924), «Филькина карьера» (1925), «Из Туретчины» (1931) и «Побратимы» (1935).

С 1932 по 1936 год роман был издан четыре раза.

Замысел романа родился у автора весной 1920 года, когда он в качестве редактора газеты агитационно-инструкторского поезда ездил на Кубань.

«В одно, как говорится, прекрасное утро,— рассказывает писатель,— на перегоне от Тихорецкой к Екатеринодару, я поднялся чуть свет, выглянул из окна купе и — ахнул. И — сердце во мне закричало петухом. На фоне разгорающейся зари, в тучах багровеющей пыли двигалось войско казачье — донцы и кубанцы — тысяч десять. (Как известно, на Черноморском побережье между Туапсе и Сочи было захвачено в плен больше сорока тысяч казаков, обезоруженные, они были распущены по домам и на конях — за сотни верст — походным порядком двинулись к своим куреням.) Считанные секунды — и поезд пролетел, но образ грандиозной книги о гражданской войне во весь рост встал в моем сознании. В тот же день в поездной типографии были отпечатаны письма-обращения к участникам гражданской войны, отпечатаны и разославы во все населенные пункты Кубанской области, Черноморья, Ставропольской губ., Ингушетию, Чечню, Кабарду, Адыгею, Дагестан. Спустя месяц в Москву мне

былоприслано больше двух пудов солдатских писем. Завязал связи с наиболее интересными корреспондентами. Первые годы я употребил на сбор материала. У меня скопились груды чистейшего словесного золота, горы книг. Материал подавлял меня, его хватило бы на десяток романов. Я не мог справиться с хлынувшим на меня потоком. Только спустя четыре года я начал писать книгу...» («Литературная газета», 1934, 26 декабря).

Артем Веселый использовал огромное количество материалов по истории и этнографии казачества, по истории революционного движения. Начиная с 1925 года он ежегодно, а иногда и по нескольку раз в год ездил на Кубань, беседовал с сотнями рядовых участников мировой и гражданской войн, знакомился с архивными документами в крайистпартах. Зимой 1926 года он прошел весь путь отступления 11-й армии через астраханские пески.

В архиве писателя сохранился план романа, относящийся к 1933 году. Приводим его в сокращенном виде:

Глава первая. Россия на переломе 1916—1917 гг. Провинция, деревня, фронт, большие города. Экономика, политика, быт. Разгорающееся забастовочное движение в промышленных центрах. Февральская революция в Петрограде. Эхо революции в провинции и на фронте. Апрель — май, накопление сил в пролетарских низах. Фронт. Июнь — июль. Октябрь — страна срывается с якорей и на всех парусах устремляется в море гражданской войны.

Глава вторая. Москва рабочая, Москва большевистская, Москва первых месяцев 1918-го. Уличные митинги. Заводы. Буржуазия. Политические партии. Большая семья рабочего Игната Гребенщикова. Борьба с контрреволюцией. Создание партизанских дружин и первых отрядов Красной Армии. Состояние московской партийной организации и разветвляющиеся организационной и агитационно-пропагандистской работы в низах. Ленин. Первые декреты.

Глава третья. Слово рядовому Максиму Кужелю. (Напечатана.)

Глава четвертая. Пожар горит разгорается. (Напечатана.)

Глава пятая. Большой город на Украине, приблизительно—Киев или Екатеринослав. Сложность обстановки: переплет борьбы классовой, национальной, сословной. Трудности первых месяцев существования советской власти. Состояние партийной организации. Немецкая оккупация. Зарождение первых повстанческих отрядов и банд. Революционное подполье.

Глава шестая. Над Кубанью-рекой. (Напечатана.)

Глава седьмая. Екатеринодар. Семнадцатый год во всем его многообразии. Слабая партийная организация. Фрол — вечеринки, пивнушки, работа по четырнадцать часов, воскресная школа, тайные собрания, партия... Дядя — меньшевик с завода Кубаноль, казармы артиллеристов, горячка предвыборной кампании. Побольше имен и характеристик низовых большевиков, с которыми Фрол работал. Брат — учитель, пра-

порщик, впоследствии примыкает к красным. Разгром организации, накопление сил в низах, борьба за влияние на периферии. Город изолирован. Новороссийск, гражданская война.

Глава восьмая. Крутая гора.

Станица раскачивается... Ревком, борьба с контрреволюционным казачеством, первые банды на Таманском полуострове. (Материалы этой главы в 3-м и 4-м изданиях романа включены в главу «Над Кубанью-рекой». — З. В.)

Глава девятая. Черный погон. (Напечатана.)

Глава десятая. Пирующие победители. (Напечатана.)

Глава одиннадцатая. История с авто. (Этюд «В степи». — З. В.) Подготовка восстания в Ейском и Таманском отделах. Типы белых подпольщиков. Красные партизаны. Вся глава в огненной рамке восстаний.

Глава двенадцатая. Москва. Революция и контрреволюция. Связь с заграницей. Коминтерн. Большая политика.

Глава тринадцатая. Дневник комиссара. Общее и повсеместное восстание. Второй поход добрармии. Сдача города. Борьба за Армавир и Пятигорск. Поход таманцев... Последние бои на пятигорском плацдарме и Тереке.

Глава четырнадцатая. Горькое похмелье. (Напечатана.)

Глава пятнадцатая. Клюквин городок. (Напечатана.)

Глава шестнадцатая. Село Хомутово. (Напечатана.)

Глава семнадцатая. Сила солому ломит. (Напечатана.)

Глава восемнадцатая. Южный фронт с лета 1919: борьба за Царицын, восстание донцов, Украина, Урал. Белые переходят в наступление. Рейд Мамонтова, Курск, Орел, работа партизан и Махно в тылу белых. Белые бегут.

Глава девятнадцатая. Железное братство.

...Большевики в подполье и работа армейского особого отдела в тылу врага. Фенька едет в Крым. Симферополь, Керчь, разгром краснозеленых. Остальная глава делается по канве «Дикого сердца».

Глава двадцатая. Юденич, защита Петрограда. Северный фронт, Петроград. Москва, Иваново-Вознесенск и другие промышленные районы — организаторы победы на фронтах гражданской войны.

Глава двадцать первая. История курсантского полка. Борьба за окраины республики — Закавказье, Восток, Урал, Сибирь.

Глава двадцать вторая. Махновщина.

Глава двадцать третья. Польский фронт.

Глава двадцать четвертая. Перекоп. Концовка.

В настоящем издании роман печатается по тексту: Артем Веселый, «Россия, кровью умытая», Гослитиздат, М. 1936.

На верной тропе

Рассказ написан в 1921 году. Впервые опубликован в журнале «Пролетарское студенчество», М. 1923, № 2, под названием «Зеленя» и подписан не псевдонимом, а настоящим именем писателя — Н. Кочуров.

Первая получка.

Рассказ начат в 1917—1918, окончен в 1920 году. Авторская дата — 1921 — относится ко времени подготовки его к печати. В рукописи рассказ назывался «Разбег в жизнь».

Впервые напечатан в 1922 году в журнале «Юный коммунист» (№ 15—16). Входил во многие сборники Артема Веселого.

Рассказы «На верной тропе» и «Первая получка» автобиографичны. В них отражена жизнь старой самарской рабочей слободки, где прошли детство и юность писателя.

Оба рассказа печатаются по тексту: Артем Веселый, Повести и рассказы, М. 1932.

Седая песня

Рассказ написан в первой половине 1920-х годов. Авторской даты под текстом нет. При жизни писателя не публиковался. Впервые напечатан в журнале «Знамя», 1957, № 4.

Печатается по рукописи.

В один хомут

Рассказ впервые опубликован в журнале «Прожектор», М. 1924, № 3, под заглавием «Талан».

Печатается по тексту: Артем Веселый, Повести и рассказы, М. 1932.

Далекое зарево

Очерк написан в 1933 году по предложению редакции журнала «Знамя», которая, подготавливая специальный номер, посвященный 15-летию Красной Армии, обратилась к ряду писателей с просьбой «в эпизодах, фрагментах, отрывках из дневников дать свои воспоминания о гражданской войне, свои впечатления о Красной Армии».

Полученные редакцией материалы, в том числе и очерк Артема Веселого, были опубликованы в журнале «Знамя», 1933, № 2. На страницах этого же номера с воспоминаниями также выступили А. Серафимович, Б. Лавренев, Матэ Залка, С. Щипачев и др.

Поездку на русско-германский фронт в декабре 1917 — январе 1918 года Артем Веселый описал также в очерке «На фронте», опубликованном в самарской большевистской газете «Солдат, рабочий и крестьянин», 1918, № 261.

Печатается по тексту: «Знамя», 1933, № 2.

Дорога дорогая

Очерк написан в 1935 году, когда Артем Веселый на рыбачьей лодке проплыл по Волге от Рыбинска до Астрахани, пристал к плотам и плыл с ними до Саратова. Впоследствии он рассказывал:

«У меня явилась мысль написать книжку «Первый сплав» — о том, как молодой парень из глуши первый раз плывет. Его глазами посмотреть мир, страну советскую». (Неопубликованная стенограмма выступления Артема Веселого в редакции журнала «Смена», 1935.)

С этим неосуществленным замыслом тесно связан не публиковавшийся до сих пор очерк «Дорога дорогая».

Печатается по правленному автором в 1936 году машинописному экземпляру.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>М. Черный</i> . Артем Веселый.	3
Гуляй Волга. Роман	25
Росня, кровью умытая. Роман	197

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ

На верной тропе	597
Первая получка	604
Седая песня	610
В один хомут	624
Далекое зарево	630
Дорога дорогая	635
Примечания	641

АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ

**Избранные
произведения**

Редактор И. Чеховская
Художественный редактор
Ю. Боярский
Технический редактор С. Розова

Корректор К. Полетика

Сдано в набор 3 VI 1958 г.
Подписано к печати 1 X 1958 г.
Бумага 60×92¹/₁₆ 40,5 печ. л.
41,09+1 вкл.—41,15 уч.-изд. л.
Тираж 75 000 экз. А-08368.
Цена 13 р. 95 к. Заказ 1994.

Гослитиздат, Москва, Б-66,
Ново-Басманная, 19

Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Московского городского совнархоза
Москва, Ж-54, Валовая, 23.